



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





**STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES**











Анненкова, Р. В.  
„

**ВОСПОМИНАНІЯ**  
И  
**КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ**

СОБРАНІЕ СТАТЕЙ И ЗАМѢТОКЪ

П. В. Анненкова.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 л. 7.

1881

Д. П.

ГЛ 3321  
А67252  
1877  
V.3



• (594)

**СОДЕРЖАНІЕ**  
**ТРЕТЬЯГО ОТДѢЛА**

	СТР.
I. — ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ (1838—1848 г.) . . .	1
П. — ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ А. С. ПУШКИНА (ИЗЪ ПОСЛѢДНИХЪ ЛѢТЪ ЖИЗНИ ПОЭТА.) . . . . .	225
Ш. — Н. В. СТАНКЕВИЧЪ (БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРЕЪ). . . . .	268





# ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ

1838—1848.

## I.

...Я познакомился съ Виссаріономъ Григорьевичемъ Бѣлинскимъ за годъ до моего отъѣзда за границу, именно осенью 1839 года. Онъ пріѣхалъ тогда въ Петербургъ для сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ», привезенный изъ Москвы И. И. Панаевымъ, и уже находился во второмъ или третьемъ періодѣ своего развитія.

Извѣстно, что Бѣлинскій выступилъ на литературное поприще статей въ «Молвѣ» 1834 года, носившей заглавіе «Литературныя мечтанія — элегія въ прозѣ». Это было обзорѣніе русской словесности, обратившее на себя вниманіе бойкостью слова и характеристикой эпохъ и лицъ, которая не имѣла никакого сходства съ обычными и, такъ-сказать, узаконенными опредѣленіями ихъ въ нашихъ курсахъ словесности. Лирическій тонъ статьи съ философскимъ оттѣнкомъ, заимствованнымъ отъ системы Шеллинга, сообщалъ ей особенную оригинальность. Все было тутъ молодо, смѣло, горячо, а также и исполнено промаховъ, сознанныхъ и самимъ авторомъ въ послѣдствіи; но все обличало возникновеніе какихъ-то новыхъ требованій мысли отъ русской литературы и русской жизни вообще. Старикъ Каченовскій, — вѣроятно, обольщенный свободными отношеніями критика къ авторитетамъ и частыми отступленіями его въ область исторіи и философіи, старый профессоръ, призвалъ тогда къ себѣ Бѣлинскаго, — этого студента, еще не такъ давно исключеннаго изъ университета за малыя способности, какъ говорилось

въ опредѣленіи совѣта, жалъ ему горячо руку и говорилъ: «Мы такъ не думали, мы такъ не писали въ наше время» <sup>1)</sup>. Менѣе волненія, конечно, произвела статья въ Петербургѣ, гдѣ уже созрѣвали извѣстныя сатурналіи только-что основанной «Библіотеки для Чтенія», съ ея глумленіями надъ наукой и надъ всяческими убѣжденіями; но и здѣсь статья не прошла незамѣченной мимо глазъ. Съ этихъ поръ именно Н. И. Гречъ, какъ человѣкъ, еще болѣе другихъ приличный въ сонмѣ литературныхъ публицистовъ той эпохи, усвоилъ систему воззрѣнія на Бѣлинскаго, сравнительно еще благосклонную. Онъ высказывалъ ее потомъ не разъ во всеуслышаніе: «умный человѣкъ, но горькій пьяница, и пишетъ свои статьи, не выходя изъ-запой». Бѣлинскій-пьяница былъ такъ же мыслимъ, какъ Лессингъ на канатѣ, или что-нибудь подобное. Съ тѣхъ же поръ О. В. Булгаринъ, съ своей стороны прозванный Бѣлинскаго «бульдогомъ», началъ свою, столь долго непрерываемую жалобу на извращеніе умовъ, свои чуть не 20-лѣтніа нападки на новый духъ въ литературѣ, грозящій лишить Россію, къ стыду потомковъ и посрамленію передъ Европою, всѣхъ ея умственныхъ сокровищъ <sup>2)</sup>...

Впрочемъ, какъ ни задорна была статья Бѣлинскаго по своей формѣ, особенно для петербургскихъ самозванныхъ знаменитостей, въ обличеніи и опозореніи которыхъ критикъ, по собственному признанію, находилъ *блаженство неизгасимое, сладострастіе безграничное*, но собственно она нисколько не потрясала ни одного изъ нашихъ старыхъ авторитетовъ, и постоянно ко всѣмъ имъ относилась съ величайшимъ энтузіазмомъ. Смѣлость заключалась не столько въ изслѣдованіи, сколько въ началахъ и принципахъ, высказанныхъ критикомъ и предпосланныхъ изслѣдованію. Статья болѣе грозила обличеніемъ людямъ и предметамъ, и только надъ очень немногими изъ нихъ исполняла угрозу. Бѣлинскій еще не вносилъ ни малѣйшаго раскола въ тотъ молодой кружокъ, сформировавшійся въ началѣ тридцатыхъ годовъ, подъ сѣнію московскаго университета, изъ котораго потомъ вышли самыя замѣчательныя личности послѣдующихъ годовъ. Зародыши различныхъ и противоборствующихъ мнѣній уже находились въ немъ, какъ легко убѣдиться изъ именъ, составлявшихъ его персоналъ (К. Аксаковъ, Станкевичъ и др.); но заро-

<sup>1)</sup> Разсказъ В. Г. Бѣлинскаго.

<sup>2)</sup> Жалобы эти не остались безъ послѣдствій для литературы. При изданіи Пушкина (1854 г.) возникли цензурныя затрудненія, при передачѣ сужденій нашего поэта о Державинѣ, такъ какъ прежде того состоялось распоряженіе цензурнаго комитета оберегать отъ неуроченныхъ критикъ имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личности самого Булгарина. Никто не чувствовалъ тогда обиды, наносимой первымъ тремъ великимъ именамъ нашего отечества — этимъ уравненіемъ ихъ съ персоной издателя „Сѣверной Пчелы“.

дыши эти еще не приходили въ броженіе и таились до поры до времени за дружескимъ обмѣномъ мыслей, за общностью научныхъ стремленій. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаковъ былъ тогда германизирующимъ философомъ, не менѣе Станкевича; П. Кирѣевскій — завзятимъ европейцемъ и западникомъ, не уступавшимъ Т. Н. Грановскому; а послѣдній, скоро присоединившійся къ этому кругу, послѣ сотрудничества своего въ «Библіотекѣ для Чтенія» Сенковского, дѣлилъ вмѣстѣ со всѣми ими поэтическое созерцаніе на прошлое и настоящее Россіи. Бѣлинскій, который такъ много способствовалъ впослѣдствіи къ разложенію круга на его составныя части, къ разграниченію и опредѣленію партій, изъ него выдѣлившись, является на первыхъ порахъ еще простымъ эхомъ всѣхъ мнѣній, сужденій, приговоровъ, существовавшихъ въ нѣдрахъ кружка, и существовавшихъ безъ всякаго подозрѣнія о своей разнородности и несовмѣстимости. Вотъ почему восторженная статья Бѣлинскаго, отличающаяся капризнымъ ходомъ, нѣкоторою разорванностью и недостаткомъ сосредоточенности, представляетъ еще безсознательное смѣшеніе наименѣе родственныхъ или схожихъ другъ съ другомъ настроеній. Чисто-славянофильское представленіе идетъ здѣсь рядомъ съ чисто-западнымъ; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей натапливаются на гиперболы, достойныя Сергѣя Глинки въ самыя сильныя минуты его патріотическаго одушевленія; либерализмъ и консервативное ученіе (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самыхъ явленій, которыя ими обозначаются) попеременно возвышаютъ голосъ, нимало не смущаясь своимъ сосѣдствомъ. Для примѣра, какъ начинающій критикъ нашъ стоялъ еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицію реформамъ, достаточно напомнить нѣкоторыя изъ положеній статьи.

Значеніе народныхъ обычаевъ и нерушимое ихъ сбереженіе въ средѣ племени составляло еще для Бѣлинскаго 1834 года дѣло первой и точно такой же важности, какимъ оно казалось впослѣдствіи для наиболѣе ярыхъ противниковъ молодого критика изъ славянской партіи. Въ простыхъ и грубыхъ нравахъ онъ находилъ еще, вмѣстѣ съ послѣдними, отблески поэзіи, называя только жизнь, или создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборотъ, будущіе славянофилы, вѣроятно, вполне раздѣляли тогда мнѣніе Бѣлинскаго, а именно, что въ реформахъ своихъ Петръ Великій былъ совершенно правъ и народенъ не сколько не менѣе любого московскаго царя старой эпохи. Особенно характерно то мѣсто въ статьѣ, гдѣ, переходя на сторону великаго реформатора, онъ предпосылаетъ, однакоже, скорбное, прощальное

воззваніе къ погибающей старинѣ и притомъ въ словахъ и образахъ, которые теперь, при опредѣлившейся личности Бѣлинскаго, составляютъ для насъ какъ-будто невѣроятную, фальшивую черту, искажающую его фізіономію. «Прочь достопочтенныя, окладистыя бороды, — говоритъ онъ. — Прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружокъ, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣнили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокій, униженный жемчугомъ повоинникъ — простой чародѣйный нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлолицыхъ и голубоокихъ красавицъ... Простите и вы, заунывные русскія пѣсни, и ты, благородная и граціозная пляска: не ворковать уже нашимъ красавицамъ голубками» и т. д.

Вотъ откуда выходилъ Бѣлинскій. Либерализмъ безличнаго дружескаго кружка тоже былъ представленъ въ статьѣ, довольно полно, самымъ основнымъ ея положеніемъ, по которому литература наша есть дѣло случайнаго возникновенія и соединенія нѣсколькихъ болѣе или менѣе талантливыхъ лицъ, въ которыхъ общество не нуждалось, и которыя сами, въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи, могли обходиться безъ общества. Отсюда — ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на ихъ качества, таланты и усердіе. Можно догадываться, что въ кругъ ходило съ успѣхомъ и европейское представленіе о важности буржуазіи и tiers-état для государства, потому что Бѣлинскій ищетъ въ разныхъ сословіяхъ нашего отечества тѣхъ дѣятелей, которые помирятъ европейское просвѣщеніе съ коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городскихъ людей, ремесленниковъ, даже мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ<sup>1)</sup>, и тутъ же оговариваясь, въ виду возможныхъ возраженій съ другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ, или, *отринте всего, въ чьей идеѣ народа*». Словомъ, знаменитая первая статья *maid-speech* Бѣлинскаго отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояніе образованной молодежи, у которой всѣ виды направленій жили еще какъ въ первобытномъ раю, о-бокъ другъ съ другомъ, не находя причинъ къ обособленію и не страшась взаимной близости и короткости. Связующимъ поясомъ была тутъ одинаковая любовь къ наукѣ, свѣту, сво-

<sup>1)</sup> Кольцовъ уже введенъ былъ тогда Станкевичемъ въ кругъ московскихъ друзей его и, по всей вѣроятности, былъ косвенной причиною тѣхъ надеждъ, которыя выражалъ Бѣлинскій на людей *средняго положенія*.

бодной мысли и родинѣ. Можно уподобить это состояніе значительному водному бассейну, въ которомъ будущіе рѣки и потоки мирно текутъ вмѣстѣ до той поры, когда геологическій переворотъ не раздѣлитъ ихъ и не откроетъ имъ пути въ противоположныя стороны. Бѣлинскій именно былъ тѣмъ подземнымъ огнемъ, который ускорилъ этотъ переворотъ.

Не мудрено, если придетъ кому-нибудь въ голову спросить: стоить ли такъ долго останавливаться на журнальной статейкѣ, не совсѣмъ свободной отъ противорѣчій и, вдобавокъ еще, съ опредѣленіями, отъ которыхъ потомъ отказался самъ авторъ ея. Вопросъ легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатлѣніе, какъ первый опытъ ввести исторію самой культуры нашего общества въ оцѣнку литературныхъ періодовъ. Нужно ли говорить, какъ она была принята молодыми умами въ Петербургѣ, сберегавшими себя отъ заговора противъ литературы, устроивавшагося передъ ихъ глазами? Для нихъ она упраздняла множество убѣжденій и представленій, вынесенныхъ изъ школы. Протестующій характеръ статьи въ этомъ отношеніи былъ очень ясенъ не только для тѣхъ корифеевъ партіи «Библіотеки для Чтенія», о которыхъ мы говорили, но и людямъ соглашавшимся со многими изъ ея положеній, но не любившимъ видѣть безцеремонное колебаніе преданій, да еще на основаніи чужихъ философскихъ системъ. Таковы были Пушкинъ и Гоголь. И тотъ, и другой были оцѣнены весьма благосклонно критикомъ, но сохраняли о немъ почти всю жизнь упорное молчаніе. Первый, по свидѣтельству самого Бѣлинскаго, только посылалъ къ нему тайно книжки своего «Современника», да говорилъ про него: «Этотъ чудакъ почему-то очень меня любитъ»<sup>1)</sup>. Сужденіе второго мы сами слышали: «Голова не дюжинная, но у нея всегда чѣмъ вѣрнѣе первая мысль, тѣмъ нелѣпѣе вторая». Замѣчаніе касалось выводовъ, добываемыхъ Бѣлинскимъ изъ своихъ эстетическихъ и философскихъ основаній и о приложеніи этихъ выводовъ прямо и непосредственно къ лицамъ и фактамъ русскаго происхожденія, хотя тотъ же Гоголь указывалъ позднѣе на статьи Бѣлинскаго о его собственной, Гоголевской дѣятельности, какъ на образцовыя, по своей неотразимой истинѣ и мастерскому изложенію.

Итакъ, въ Петербургѣ первая статья Бѣлинскаго и всѣ, слѣдовавшія за ней, нашли отголосокъ всего болѣе въ тѣхъ молодыхъ учителяхъ русскаго языка и словесности, которые созывались для казенныхъ замкнутыхъ училищъ и корпусовъ, разроставшихся, по

<sup>1)</sup> Пушкинъ прибавлялъ, по тому же свидѣтельству, секретно и еще замѣчаніе, что у Бѣлинскаго есть чему поучиться и тѣмъ, кто его ругаетъ.

принятой системѣ, все болѣе и болѣе, въ исключительныя заведенія для воспитанія всего *благороднаго* русскаго юношества цѣликомъ. Не то, чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературѣ: послѣдняя держалась долго, красовалась еще на экзаменахъ вплоть до преобразованія закрытыхъ школъ и корпусовъ, но, благодаря молодымъ учителямъ этихъ заведеній, а за ними и болѣе части нашихъ гимназій, образовалась, съ появленія статей Бѣлинскаго, о-бокъ съ утвержденной программой преподаванія русско-й словесности, другая, невидная струя преподаванія, вся вытекавшая изъ опредѣленій и созерцанія новаго критика и постоянно смыкавшая въ молодыхъ умахъ все, что заносилось въ нихъ схоластикой, педантизмомъ, рутинной, стародавними преданіями и благонамѣренной прикрасой. Растительное дѣйствіе этой невидимой струи увеличивалось вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ развитіемъ критика, съ котораго, можно сказать, персоналъ учителей и молодыхъ людей вообще той эпохи не спускалъ глазъ, и, такимъ образомъ, имя Бѣлинскаго было уже очень громко въ средѣ нарождающагося поколѣнія, въ школахъ и аудиторіяхъ, когда оно еще не признавалось въ литературныхъ партіяхъ, не вѣдалось добросовѣстно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы другихъ и не обращало никакого вниманія даже самихъ чуткихъ стражей русскаго просвѣщенія. Работа Бѣлинскаго и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеаловъ нравственности и высокаго, философскаго разрѣшенія задачъ жизни, — эта работа не умолкала, куда самъ онъ числился скромно въ рядахъ русскихъ второстепенныхъ подцензурныхъ писателей и журнальныхъ сотрудниковъ. Для тогдашняго цензурнаго вѣдомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналовъ — Сенковскій, Гречъ, Булгаринъ, за исключеніемъ Пушкина и Гоголя, слишкомъ уже ярко выступавшихъ впередъ. Чрезвычайнымъ счастіемъ должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала въ Бѣлинскомъ на первыхъ порахъ моралиста, который, подъ предлогомъ разбора русскіхъ сочиненій, занялъ единственно исканіемъ основъ для трезваго мышленія, способнаго устроить разумнымъ образомъ личное и общественное существованіе. Впослѣдствіи она распознала въ немъ вліятельнаго писателя и всемирно старалась не допускать примѣненіе его идей къ историческимъ лицамъ и современности, но и при этомъ способъ пониманія дѣятельности Бѣлинскаго она отчасти все-таки продолжала считать его, съ голоса «Сѣверной Пчелы», за человека, производящаго преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая можетъ быть терпима по самой дикой своей оригинальности, но остается безвредной тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе и подробнѣе вы-

сказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохраненіемъ нѣкоторыхъ существенныхъ положеній и мыслей у Бѣлинскаго, которыя пробирались на свѣтъ подъ именемъ чудовищностей и нелѣпостей. Это же обстоятельство поясняетъ многое въ послѣдующихъ явленіяхъ общественной жизни нашей, которыя безъ того могутъ показаться странными, неожиданными и негаданными сюрпризами.

## II.

Я сошелся съ Бѣлинскимъ въ первый разъ у А. А. Комарова, преподавателя русской словесности во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ. Комаровъ занималъ и квартиру въ зданіяхъ корпуса.

Пріѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ имѣлъ особенное значеніе, какъ уже было сказано, для небольшого круга тогдашнихъ молодыхъ людей, которые въ литературномъ триумvirатѣ О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ѳ. В. Булгарина, выросшемъ на благодатной почвѣ Смирдинскихъ капиталовъ, въ конецъ ими истощенныхъ,—видѣли какъ-бы олицетвореніе затаеннаго презрѣнія къ дѣлу образованія на Руси, образецъ хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконецъ — ловко устроенный планъ надувательства благонамѣренностью и патріотизмомъ тѣхъ лицъ, которыхъ нельзя было надуть другимъ путемъ. Надо сказать, что это дѣло въ три руки производилось съ замѣчательнымъ искусствомъ. Неистощимое, часто дѣльное и почти всегда ѣдкое остроуміе Сенковского, глумившагося надъ русской «quasi»-наукой, старалось, вмѣстѣ съ тѣмъ, удалить всякую серьезную попытку къ самостоятельному труду и отравить насмѣшкой источники, къ которымъ трудъ этотъ могъ бы обратиться. Гречъ распространялся о развратѣ умовъ и совѣстей въ Европѣ, умилаясь зрѣлищемъ здороваго нравственнаго состоянія, въ какомъ находилась наша родина, а товарищъ его безпрестанно указывалъ на тѣ тонкія струи яда и отравы, которыя, несмотря на усилія триумvirата, все-таки пробиваются къ намъ изъ чужбины и извращаютъ сужденія публики о русскихъ писателяхъ и русскихъ дѣятеляхъ вообще. Замѣчательно, что эти великіе мужи петербургской журналистики тридцатыхъ годовъ иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочемъ, до явнаго разрыва, но ссорились изъ-за права *протекціи* надъ писателями, которую каждый хотѣлъ имѣть въ своихъ рукахъ исключительно. Протекція сдѣлалась основнымъ критическимъ мотивомъ, направлявшимъ оптику лицъ и произведеній. Протекція раздавала мѣста такъ же точно въ литературѣ, какъ и въ администраціи:

она производила въ чины и званія талантовъ людей, какъ гг. Масальскаго, Степанова, Тимоѣева и др., и даже нѣсколько разъ жаловала просто въ геніи, какъ, напримѣръ, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынѣшнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозванной опеки надъ литературою въ людяхъ, желавшихъ сохранить, по крайней мѣрѣ, за этимъ отдѣломъ общественной дѣятельности нѣкоторый призракъ свободы и человѣческаго достоинства. При отсутствіи общественныхъ и политическихъ интересовъ, бороться съ триумвиратомъ становилось почти дѣломъ чести; по хорошему или дурному отношенію къ триумвирату, стали узнавать въ нѣкоторыхъ кругахъ молодежи—впрочемъ, очень немногочисленныхъ—нравственные качества людей. Вражда къ триумвирату еще усилилась, когда оказались практическія слѣдствія распоряженія, состоявшагося около того же времени,—вовсе не допускать соперничества журналовъ и терпѣть одни уже существующія изданія, что приравняло органы триумвиратовъ къ нынѣшнимъ концессіямъ желѣзныхъ дорогъ, съ *гарантіей правительства*. Пріѣздъ Бѣлинскаго былъ, какъ сказано, особенно важенъ тѣмъ, что возвѣщалъ новую попытку бороться съ литературными концессіонерами, послѣ трехъ неудачныхъ попытокъ: двухъ въ Москвѣ, предпринятыхъ сперва «Телескопомъ», а затѣмъ «Московскимъ Наблюдателемъ», — журналомъ, даже и основаннымъ именно съ этою цѣлью, въ 1835 году <sup>1)</sup>. Третья, въ Петербургѣ, взята была на себя «Современникомъ» Пушкина — и тоже безуспѣшно. Съ новымъ правиломъ о журналахъ, казалось, всѣ походы противъ откупщиковъ общественнаго мнѣнія должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднѣйшее распоряженіе относительно раскольниковъ, которымъ дозволялось сохранять свои старыя часовни и молельни съ строгимъ запрещеніемъ воздвигать новыя около нихъ, но разнилось отъ него тѣмъ, что тогдашнее цензурное вѣдомство признало возможнымъ допустить официальное подновленіе старыхъ литературныхъ часовень, чего раскольники не могли дѣлать съ своими иначе, какъ тайно или съ подкупомъ. Въ это время А. А. Краевскій, тогда еще сравнительно молодой человѣкъ, усиленно добивался возможности очистить себѣ мѣсто въ ряду журнальных концессіонеровъ эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному матеріальному разсчету, но и по нравственнымъ побужденіямъ: противопоставить злой вооруженной силѣ дру-

<sup>1)</sup> Для поддержанія этого изданія, Гоголь принялъ на себя роль пропагандиста и собиралъ подписки со всѣхъ своихъ знакомыхъ въ Петербургѣ — и, прибавимъ, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый изъ насъ долженъ былъ имѣть и имѣлъ своего «Наблюдателя».



гую, тоже вооруженную силу, но съ иными основаніями и цѣлями. Онъ принялся искать редакторскаго кресла для себя по всѣмъ сторонамъ и притомъ съ выдержкой, упорствомъ и твердостью, дѣйствительно замѣчательными, плодомъ которыхъ было появленіе сперва «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду», подъ его редакціей (дипломъ на издательство пріобрѣтенъ былъ тогда извѣстныиъ Плюшаромъ у довольно мелочного, хитраго и скупого старика Воейкова), въ которыхъ, какъ извѣстно, участвовалъ и Бѣлинскій. Затѣмъ, въ 1838 году, А. А. Краевскій открылъ и перекупилъ право на возобновленіе «Отечественныхъ Записокъ», у извѣстнаго П. Свинына, прямо уже отъ своего имени, и, по сдѣлкѣ съ нимъ, не покидая еще «Прибавленій», объявилъ о выходѣ своего старо-новаго журнала, сдѣлавшагося вскорѣ настоящей его собственностью. Кличъ, который онъ тогда кликнулъ, съ одобренія самыхъ почетныхъ лицъ петербургскаго литературнаго міра, ко всѣмъ, еще не подпавшимъ подъ позорное иго журнальныхъ феодаловъ, отличался и очень вѣрнымъ расчетомъ, и признаками полной искренности и благонамѣренности. «Если и эта новая попытка,—говорилъ новый издатель своимъ сторонникамъ—противопоставить оплотъ Смирдинской кликѣ не удастся, то всѣмъ намъ останется только сложить руки и провозгласить ея торжество».

Бѣдний А. Ф. Смирдинъ и не воображалъ, что дастъ свое имя для обозначенія очень неблагоприятнаго литературнаго періода. Честный, добрый, простодушный, но безъ всякаго образованія, онъ соблазнился, получивъ неожиданно довольно большое состояніе отъ книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвѣщенія. Кажется, самый этотъ капризъ былъ еще подсказанъ ему петербургскими журналистами, которые и завладѣли честолюбивымъ торговцемъ для своихъ цѣлей. Меценатъ-книгопродавецъ, подавленный ихъ авторитетомъ, смотрѣлъ на весь міръ ихъ глазами, расточалъ деньги по ихъ совѣтамъ и говорилъ на своемъ купеческо-приказничьемъ языкѣ про всякое начинаніе, про всякій талантъ, неискавшій покровительства тріумвиратовъ: «это наши недоброжелатели-съ!» А чтó дѣлали съ нимъ его доброжелатели, успѣвшіе потомъ разорить и еще одного такого же импровизированнаго двигателя русскаго просвѣщенія, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедическаго Словаря» — почти неизмѣрно. Я самъ слышалъ изъ устъ Смирдина, уже въ эпоху его бѣдности и печальной старости, рассказъ, какъ, по совѣту Вулгарина, онъ предпринималъ изданіе, кажется, «Живописнаго Путешествія по Россіи», текстъ котораго долженъ былъ составить авторъ «Выжигина», взявшійся также и за заказъ гравюръ въ Лондонѣ. Въ этомъ смыслѣ заклю-

ченъ былъ формальный контрактъ между ними, причемъ Смирдинъ назначалъ 30 тысячъ рублей на предпріятіе. Долго ждали картинокъ, но, когда онѣ пришли, Смирдинъ съ ужасомъ увидѣлъ, что онѣ состоятъ изъ плохихъ гравюръ, исполненныхъ въ Лейпцигѣ, а не въ Лондонѣ. На горькія жалобы Смирдина въ нарушеніи контракта, Булгаринъ отвѣчалъ, что никакого нарушенія тутъ нѣтъ, потому что въ контрактѣ стоитъ просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавецъ попался въ нее. Когда Смирдинъ рассказывалъ мнѣ этотъ пассажъ, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голосъ задрожалъ: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца!» — бормоталъ онъ.

Вызывающее дѣйствіе того новаго клича собрало подъ знамя обновленнаго журнала много старыхъ и молодыхъ силъ, державшихся въ сторонѣ отъ литературы, какъ то доказалъ первый, гражданскій номеръ «Отеч. Записокъ» (1839 года), исполненный замѣчательными, по времени, статьями; всѣ онѣ принадлежали перу и начинающихъ, и заслуженныхъ нашихъ писателей. Бѣдные и богатые принялись работать на журналъ г. Краевского, почти безъ вознагражденія или за ничтожное вознагражденіе, доставляя только издателю средства бороться съ капиталистами, заправлявшими дѣлами литературы, что продолжалось нѣсколько долѣе, чѣмъ бы слѣдовало, какъ впоследствии думали иные; но это относится къ предположеніямъ, которыя такъ и должны остаться предположеніями, и о которыхъ ничего другого сказать нельзя. Любопытенъ однако анекдотъ, ходившій тогда по городу: О. В. Булгаринъ, по чувству самосохраненія, скоро угадалъ новую силу, являющуюся на журнальномъ поприщѣ съ «Отечественными Записками», и опасность, которая грозитъ авторитетамъ коленовожатыхъ печати, если она рѣшительно обратится противъ нихъ. При встрѣчѣ съ редакторомъ новаго журнала, О. В. Булгаринъ предлагалъ ему просто-за-просто присоединиться къ союзу журнальных магнатовъ и сообща съ ними *управлять* дѣлами литературы. Предложеніе было, конечно, устранено собесѣдникомъ.

Возвращаясь къ дѣлу, слѣдуетъ замѣтить, что послѣдующіе номера журнала представляли, какъ и первый номеръ его, опять много прекрасныхъ стихотвореній, дѣльныхъ статей и даже умныхъ критикъ, но не обнаруживали въ редакціи ничего похожего на опредѣленные начала, на литературныя убѣжденія и тенденціи, которыя однимъ искусствомъ въ веденіи журнальнаго дѣла, въ собираніи людей около себя, однимъ трудолюбіемъ и даже упорною ненавистью къ врагамъ еще не могутъ быть замѣнены съ успѣхомъ.

Въ Петербургѣ оказался съ «Отечественными Записками» велико-  
липпный складъ для ученыхъ и беллетристическихъ статей, но не  
оказалось ученія и доктрины, которыхъ можно было бы противо-  
поставить развратной проповѣди руководителей «Библиотеки для  
Чтенія» и «Сѣверной Пчелы». Приходилось оглянуться на Москву,  
которая дѣйствительно была тогда средоточіемъ нарождавшихся  
силъ и талантовъ, сильно работала надъ философскими системами,  
доискиваясь именно *принциповъ*, и не боялась ни рѣзкаго поле-  
мического языка, ни даже отвлеченнаго, туманнаго склада рѣчи,  
лишь бы выразить вполнѣ свою мысль и нажитое убѣжденіе. Раз-  
сказываютъ, что при имени Бѣлинскаго, предложеннаго И. И. Па-  
наевымъ, г. Краевскій не узналъ въ немъ того человѣка, который  
долженъ былъ положить основаніе его общественному значенію <sup>1)</sup>.  
Обстоятельства принудили его все-таки обратиться къ Бѣлинскому,  
но когда критикъ нашъ, послѣ предварительныхъ переговоровъ,  
весьма облегченныхъ тѣмъ, что, покинувъ «Московский Наблюдатель»  
1838 года, Виссаріонъ Григорьевичъ не имѣлъ уже органа для  
своей дѣятельности и средствъ для существованія, когда, говоримъ,  
критикъ явился въ Петербургъ въ 1839 году на постоянное жи-  
тельство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее пред-  
чувствіе въ кругѣ противниковъ петербургскаго направленія было,  
что виѣстъ съ нимъ явилась на сцену и живая мысль, и доста-  
точно сильная рука, чтобъ подорвать или по крайней мѣрѣ осла-  
бить, наконецъ, союзъ литературныхъ промышленниковъ, въ сущ-  
ности презиравшихъ русское общество со всѣми его стремленіями,  
надеждами и съ его претензіями на устройство своей духовной  
жизни.

### III.

Подъ впечатлѣніемъ страстнаго тона философскихъ статей Бѣ-  
линскаго и особенно пыла его полемики, позволительно было пред-  
ставлять его себѣ человѣкомъ исключительныхъ мнѣній, не терпя-  
щимъ возраженій и любящимъ господствовать надъ бесѣдой и со-  
бесѣдниками. Признаюсь, я былъ удивленъ, когда на вечерѣ А. А.  
Комарова мнѣ указали подъ именемъ Бѣлинскаго на господина не-  
большого роста, сутуловатаго, со впалой грудью и довольно боль-  
шими, задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и какъ-  
то сразу, по-товарищески, отвѣчалъ на привѣтствія новыхъ знако-  
мющихся съ нимъ людей. Разумѣется, я уже не встрѣтилъ ни ма-

<sup>1)</sup> «Литературныя Воспоминанія» И. Панаева. «Современникъ», 1861, февраль.

лѣйшаго признака внушительности, позированія и диктаторскихъ замашекъ, какихъ опасался, а, напротивъ, можно было подмѣтить у Бѣлинскаго признаки робости и застѣнчивости, не допускавшіе, однакожъ, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрощенныхъ услугахъ какого-либо торопливаго доброжелателя. Видно было, что подъ этой оболочкой живетъ гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще, неловкость Бѣлинскаго, спутанныя рѣчи и замѣшательство при встрѣчѣ съ незнакомыми людьми, надъ чѣмъ онъ самъ такъ много смѣялся, имѣли, какъ вообще и вся его персона, много выразительнаго и внушающаго: за ними постоянно свѣтился его благородный, цѣльный, независимый характеръ. Мы слышались объ увлеченіяхъ и порывахъ Бѣлинскаго, но никакихъ порывовъ и увлеченій, въ этотъ первый вечеръ моего знакомства съ нимъ, однакожъ, не произошло. Онъ былъ тихъ, сосредоточенъ и — что особенно поразило меня — былъ грустенъ. Повѣряя теперь тогдашнія впечатлѣнія этой встрѣчи всѣмъ, что было узнано и разслѣдовано впоследствии, могу сказать, съ полнымъ убѣжденіемъ, что на всѣхъ мысляхъ и разговорахъ Бѣлинскаго лежалъ еще оттѣнокъ того философско-романтическаго настроенія, которому онъ подчинился съ 1835 года, и которому непрерывно слѣдовалъ въ теченіи четырехъ лѣтъ, несмотря на то, что смѣнилъ Шеллинга на Гегеля въ 1836—37 году, распрощался съ иллюзіями относительно своеобразной красоты старорусскаго и вообще простаго, непосредственнаго быта, и перешелъ къ обожанію «разума въ дѣйствительности». Онъ переживалъ теперь послѣдніе дни этого философско-романтическаго настроенія. Въ тотъ же описываемый вечеръ зашелъ разговоръ о какой-то шутовской рукописной повѣсти, на манеръ Гофмана, сочиненной для потѣхи, сообща, нѣсколькими лицами, на сходкахъ своихъ, ради время-убіенія: «Да», сказалъ серьезно Бѣлинскій, «но Гофманъ — великое имя. Я никакъ не понимаю, отчего доселѣ Европа не ставитъ Гофмана рядомъ съ Шекспиромъ и Гёте: это — писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положеніе это и другія, ему подобныя, Бѣлинскій унаслѣдовалъ и сберегалъ еще отъ эпохи Шеллинговскаго созерцанія, по которому, какъ извѣстно, внѣшній міръ былъ причастникомъ великихъ эволюцій абсолютной идеи, выражая каждымъ своимъ явленіемъ минуту и ступень ея развитія. Оттого фантастическій элементъ Гофмановскихъ рассказовъ казался Бѣлинскому частицей откровенія или разоблаченія этой всетворящей абсолютной идеи и имѣлъ для него такую же реальность, какъ, напримѣръ, вѣрное изображеніе характера, или передача любого жизненнаго случая. Въ описываемую

эпоху онъ уже принадлежалъ всецѣло Гегелю и вполне усвоилъ идеалистическій способъ пояснять себѣ явленія окружающей жизни, людей и событія, что сообщало послѣднимъ почти всегда въ его устахъ какой-то грандіозный характеръ, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелкихъ практическихъ изъясненій какого-либо факта и вопроса, мало-мальски выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка дѣлъ, онъ вообще не любилъ и только по особенному настроенію, принятому на себя преднамѣренно въ Петербургѣ — еще принуждалъ себя выслушивать ихъ. Конечно, уже не было у него прежней еще недавней, восторженной проповѣди о «великихъ тайнахъ жизни», *безъ предчувствія и разгадки которыхъ, существованіе человека сдѣлалось бы, какъ онъ говорилъ, не только безцѣльнымъ, но положительно величайшимъ бѣдствомъ, какое только можно было бы придумать для земнорожденныхъ*, но все-таки нашъ русскій міръ, наша современность, даже нѣкоторыя подробности жизни отражались не иначе въ его умѣ, какъ въ многозначительныхъ образахъ, въ широкихъ обобщеніяхъ, поражавшихъ и увлекавшихъ новыхъ его слушателей. Вообще корни всѣхъ старыхъ, уже пройденныхъ имъ ученій и созерцаній еще жили въ немъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, тайной жизнью и при всякомъ случаѣ готовы были пустить ростки и отпрыски и дѣйствительно по временамъ оживали и цвѣли полнымъ цвѣтомъ, что составляло, посреди занятого петербургскаго круга пріятелей Бѣлинскаго, величайшую его оригинальность и виѣсть neodолжимую притягивающую силу.

Замѣчательнымъ и волнующимъ явленіемъ того времени были посмертныя сочиненія Пушкина, которыя постепенно обнародывалъ «Современникъ» 1838 — 39 гг., перешедшія въ руки П. А. Плетнева. Они — эти чудныя сочиненія — находили въ Бѣлинскомъ такого, можно сказать, энтузіаста и цѣнителя, какой еще и не выпадалъ на долю нашего великаго поэта. Это уже былъ не тотъ Бѣлинскій, который года за два передъ тѣмъ и еще при жизни Пушкина считалъ дѣятельность его завершенной окончательно и въ послѣднихъ произведеніяхъ его хотя и распознавалъ еще печать гениальности, но заявлялъ, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать отъ его пера. Теперь это было поклоненіе безусловное, почти паденіе въ прахъ предъ святыней открывающейся поэзіи и передъ вызвавшимъ ее художникомъ. Особенно «Каменный Гость» Пушкина произвелъ на Бѣлинскаго впечатлѣніе подавляющее. Онъ объявилъ его произведеніемъ всемірнымъ и колоссальности неизмѣримой. Когда, однажды, мы просили его разъяснить, въ чемъ заключается мировое значеніе этого созданія и что онъ еще находитъ въ немъ, кромѣ изящества образовъ, поэтичности характеровъ

и удивительной простоты въ веденіи очень глубокой драмы, Бѣлинскій принялся за развитіе той мысли, что все это составляетъ только вѣдншее отличіе произведенія, а подземные ключи, которые подъ нимъ бѣгутъ, еще важнѣе всѣмъ видимой и осязаемой его красоты. Онъ принялся за разслѣдованіе этихъ живыхъ источниковъ, но на первыхъ же положеніяхъ остановился и сконфуженно проговорилъ: «Вотъ этакъ со мной всегда случается: примусь за дѣло, занесусь Богъ знаетъ куда, да и опѣшусь; не знаю, какъ выразить мою мысль, которая, однакожъ, для меня совершенно ясна». Онъ махнулъ рукой и отошелъ въ сторону съ какимъ-то болѣзненнымъ выраженіемъ лица. Видимо, что въ драмѣ Пушкина заключено было для него новое откровеніе одной изъ «тайнъ жизни», передача одной изъ «субстанцій», какъ тогда говорили, человѣческаго духа, но онъ не могъ или не хотѣлъ разъяснять ихъ передъ кружкомъ, мало приготовленнымъ къ пониманію отвлеченностей и не отличавшимся наклонностію къ «философированію».

Со второй или третьей встрѣчи, однако же, обнаружилась у Бѣлинскаго та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собесѣдниковъ (что нѣсколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда съ какой-то незлобивою, почти ласковой насмѣшкой, съ легкой ироніей надъ самимъ собой и надъ окружающими. Совсѣмъ тѣмъ, сквозь тогдашнюю веселость Бѣлинскаго пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Онъ былъ печаленъ и не случайно, а какъ-то глубоко, задумчиво. Не нужно было быть ни особенно зоркимъ наблюдателемъ, ни особенно искуснымъ психологомъ, чтобы открыть эту черту: она бросалась въ глаза сама собою. И немудрено было ей оказаться: Бѣлинскій переживалъ страданія своего разрыва съ московскими друзьями, только-что обнаружившагося передъ его отъѣздомъ изъ Москвы, и долженъ былъ чувствовать сильнѣе горечь этого обстоятельства теперь, въ чужомъ, незнакомомъ и непривѣтливомъ городѣ, куда былъ занесенъ.

Очень несправедливо думали и думаютъ еще теперь, что Бѣлинскому было ни почемъ разставаться съ людьми и мѣнять свои отношенія къ нимъ на основаніи различія убѣжденій. Многіе тогда говорили и чуть не печатали, что онъ находилъ даже въ томъ выгоду, ибо всякій такой поворотъ открывалъ истокъ его жолчи, злобнымъ инстинктамъ, наклонности къ ругательству и оскорбленію, которыя иначе задушили бы его! Могу сказать наоборотъ, что рѣдко встрѣчалъ я людей, которые бы болѣе страдали, будучи принуждены, вслѣдствіе неотстранимаго логическаго и діалектическаго развитія своихъ принциповъ, удаляться въ другую сторону отъ прежнихъ еди-

компилировъ. Онъ долго мучился, какъ потерей стараго созерцанія, такъ и потерей старыхъ собесѣдниковъ, и только убѣжденный въ законности поворота, имъ сдѣланнаго, освобождался отъ всѣхъ тревогъ и пріобрѣталъ новое качество, именно гибъ и негодованіе противъ тѣхъ, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка — критически отнестись къ составнымъ частямъ московскаго интеллектуальнаго кружка и подвергнуть его анализу, за которымъ должно было послѣдовать отдѣленіе различныхъ элементовъ, его составлявшихъ, положена, какъ извѣстно, Бѣлинскимъ въ статьѣ подъ заглавіемъ: «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ «Московского Наблюдателя», помѣщенной въ «Телескопѣ», 1836 года... Статья эта въ полемическомъ смыслѣ принадлежитъ къ мастерскимъ вещамъ автора и по яркости красокъ и рѣзкой очевидности доводовъ не утеряла, кажется намъ, относительной занимательности и донныѣ. Вся она обращена была противъ главнаго критика «Московского Наблюдателя» С. П. Шевырева, у котораго онъ спрашивалъ, чему онъ вѣруеть, какіе законы творчества и основныя философско-эстетическія или ээическія идеи исповѣдуетъ, — разоблачая при этомъ его дилеттантскія отношенія ко всѣмъ художественнымъ теоріямъ, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправданія личныхъ своихъ вкусовъ, для потворства немногимъ избранникамъ изъ своихъ близкихъ знакомыхъ и для указанія обществу цѣлей въ мѣру случайныхъ и мимолетныхъ своихъ ощущеній. Особенно возставалъ Бѣлинскій противъ мнѣній критика о важности *свѣтскаго* и *свѣтско-дамскаго элемента* въ литературѣ, которые могли, будто бы, возвысить ея тонъ и благороднѣе устроить жизнь самихъ авторовъ: «Художественный и *свѣтскій*», — отвѣчалъ Бѣлинскій, «не суть слова однозначія, такъ же какъ дворянинъ и благородный человѣкъ... Художественность доступна для людей всѣхъ сословій, всѣхъ состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; свѣтскость есть принадлежность касты... Свѣтскость еще сходится съ образованностью, которая состоитъ въ знаніи всего по-немногу, но никогда не сойдется съ наукою и творчествомъ» и т. д. Статья эта вообще была одна изъ тѣхъ, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы, и отыскиваются новыя. Для насъ въ ней особенно важны ея грустныя заключительныя строки: «Всего досаднѣе, что у насъ не умѣютъ еще отдѣлять человѣка отъ его мысли, не могутъ повѣрить, чтобъ можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себѣ враговъ* изъ привязанности къ какому-нибудь задушевному мнѣнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Онъ доканчи-

валъ мысль восклицаніемъ: «Но если мысли и убѣжденія доступны вамъ, идите впередъ и да не совратятъ васъ съ пути ни расчеты эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людскоѣ, ни обольщенія ихъ коварной дружбы, стремящейся въ-за мѣну своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища — независимости мнѣнія и чистой любви къ истинѣ!»

Или мы сильно ошибаемся, или въ этомъ торжественномъ тонѣ ясно слышится глубокой, искренней вопль души, накануне потери нѣкоторыхъ изъ ея симпатій и убѣжденій. Слова Бѣлинскаго со держать еще и пророчество. Предчувствіе не обмануло Бѣлинскаго. Разрывъ съ журналистомъ и его партіей не напрасно казался ему отважнымъ дѣломъ: съ той минуты и до нынѣшней включительно Бѣлинскому составлена была въ извѣстныхъ кругахъ репутація дикаго ругателя всего почтеннаго и достойнаго на русской почвѣ, и попытки удержать за нимъ эту репутацію въ потомствѣ возобнов ляются еще отъ времени до времени и на нашихъ глазахъ.

Одновременно съ этой статьёй, давшей сильный толчокъ къ разрушенію мирно процвѣтавшей общины друзей науки и просвѣщенія было еще множество и другихъ случаевъ, при которыхъ Бѣлинскій открыто искалъ боя и враговъ. Такъ, онъ не задумался назвать «Современникъ» Пушкина, со второй его книжки, «Петербургскимъ Московскимъ Наблюдателемъ» по направленію, замѣтивъ въ немъ (справедливо или нѣтъ,—это другой вопросъ) поползновеніе искать себѣ читателей и судей въ одномъ, исключительно свѣтскомъ кругѣ. Помните, что эта полемика съ «Современникомъ» произвела въ то время почти столько же шума и негодованія, какъ и замѣтка его нѣсколько прежде сдѣланная и изъ другого круга представленій. Въ статьѣ «О повѣстяхъ Гоголя», именно, онъ проводилъ мысль даже и не имъ первымъ высказанную, что всѣ древнія и новыя эпическія поэмы, выросшія по образцу «Иліады», какъ-то «Энеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Россиада» и проч., замѣняя живыя, неподдѣльныя народныя преданія и представленія другими, хитро придуманными на ихъ манеръ, принадле жать къ фальшивому роду произведеній. Ужасъ всего стараго пада голическаго міра нашего, видѣвшаго въ этой замѣткѣ образецъ не простительнаго невѣжества и ересь, превышающую воображеніе, былъ невыразимъ. Такъ, критикъ нашъ плодилъ вокругъ себя враговъ со всѣхъ сторонъ, число которыхъ увеличивалось почти съ каждой новой его замѣткой о старыхъ нашихъ писателяхъ, несходной съ традиціоннымъ ихъ пониманіемъ. Корыстный представитель этихъ не довольныхъ. Бугаринъ, говорилъ въ «Сѣверной Пчелѣ», что при способѣ сужденія, обнаруженномъ Бѣлинскимъ, ему нипочемъ дока



ить какое угодно положеніе, хоть слѣдующее: *«измѣна—дѣло не худое и даже похвальное»*, и по пунктамъ, имѣвшимъ тогда почти уголовный характеръ, упрекалъ критика, опираясь на его сужденія о Державинѣ, Карамзинѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ, въ тѣхъ же чувствахъ, какія питають къ Россіи *«завистливые иностранцы, ренегаты, безбородые юноши и проч.»*. Вотъ какъ поставленъ былъ литературный споръ съ перваго же раза и велся отчасти въ этомъ смыслѣ, конечно, съ меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина съ братіей.

Теперь дѣло стало еще серьезнѣе, потому что Бѣлинскій совершилъ разрывъ съ тѣмъ кругомъ людей, которому принадлежалъ всецѣло, съ тѣми немногими, мыслию которыхъ дорожилъ, и удаленіе отъ которыхъ грозило ему дѣйствительнымъ одиночествомъ на свѣтѣ.

Что же произошло между ними?

Оставляя въ сторонѣ житейскія размолвки съ друзьями, о которыхъ имѣемъ и особенно тогда имѣли очень смутное, неполное представленіе, обращаюсь къ разногласію ихъ въ области мысли. Когда Бѣлинскій напечаталъ въ томъ же 1839 году, въ журналѣ г. Краевского, еще не будучи его признаннымъ постояннымъ сотрудникомъ, двѣ свои статьи—рецензію на книгу Ѳ. Н. Глинки *«Очерки бородинскаго сраженія»* и библиографическій отчетъ о *«Бородинской годовщинѣ»* Жуковского,—ему казалось, что онъ выводилъ только логически-правильныя заключенія изъ основаній Гегеля и непогрѣшительно прилагалъ ихъ къ живому факту, къ дѣйствительности. Надо сказать, что, съ первыхъ же попытокъ Бѣлинскаго къ опредѣленію значенія *дѣйствительности* въ жизни народовъ и лицъ, онъ встрѣтилъ уже противорѣчіе у многихъ изъ своихъ друзей, которые не желали уступать свое право — быть настоящими и несмѣняемыми судьями всякой дѣйствительности. Но разгорѣвшійся споръ этотъ выросъ до разрыва связей только въ 1839 г. Лѣтомъ этого года, какъ извѣстно, Москва, а съ ней и Россія праздновали великое патріотическое торжество—открытіе памятника на Бородинскомъ полѣ. Одушевленіе было общее и понятное. Лѣтомъ 1839 г., я случайно находился въ Москвѣ и смотрѣлъ изъ окна одного родственнаго мнѣ дома противъ Кремля на великолѣпный крестный ходъ, огиравшій Кремлевскія стѣны, въ замкѣ котораго шелъ митрополитъ Филаретъ, сопровождаемый самимъ императоромъ Николаемъ Павловичемъ верхомъ. Это было кануномъ, такъ сказать, торжественнаго открытія Бородинскаго памятника въ августѣ того же года. Горячихъ толковъ и патріотическаго одушевленія и теперь уже возникало много, но я, тогда еще незнакомый ни съ одной изъ личностей описываемаго круга, не могъ и предчувствовать, какъ

сильно будут ими занимать последствия оттоления этого события. Бѣлинскій издучась воспользоваться открытіемъ Бородинскаго памятника, чтобы подтвердить нѣхъ нѣдрость гегелевскаго афоризма о тождествѣ дѣйствительности съ истиной и разумностью, и разобрать въ удовлетворную сущность этого положенія. Но съ первой же статьи оказался, что изданные обобщеніе правды носить новости къ необычайнымъ выводамъ, къ рѣзкимъ, чудовищнымъ заблужденіямъ. Напрасно друзья Бѣлинскаго представляли ему всѣ опасности прямого, непосредственнаго приложенія его идеи къ русскому міру, — Бѣлинскій, никогда не знавший сдѣлать, уступокъ, добровольныхъ уклоненій, еще болѣе укрѣплялся нѣхъ ослѣпленіемъ. Надо было избраться всю теорію, или оставаться ей вѣрнымъ до конца. Ему показались даже, что выступилъ именно та минута, о которой он говорилъ прежде, когда для спасенія своей мысли и совѣсти слѣдуетъ рѣзаться на откровенный разрывъ съ самыми близкими людьми. Повѣрившій Г. рассказываетъ въ своемъ извѣстномъ запискѣхъ, что передъ отъѣздомъ Бѣлинскаго изъ Москвы произошли между нимъ споры, за которыми послѣдовало охлажденіе между друзьями. Ближе, впрочемъ, недолго, всего годъ, и кончилось полнымъ признаніемъ нѣхъ, такъ какъ первая причина ссоры — слѣбное провозглашеніе дѣйствительности — признало было самымъ его извѣдникомъ Бѣлинскимъ, фил.-софскій и жизненный ошибкой. Описание спора у Г. очень подробное: оно показываетъ первую бурю, возникшія у насъ отъ столкновенія системъ и отвлеченностей съ явлениями реальнаго характера. Г. добавляетъ еще свое описаніе изустно слѣдующей и подробностей. Когда черезъ годъ послѣ перваго столкновенія съ Бѣлинскимъ Г. явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бѣлинскаго и, разувѣтсѣ, возобновилъ съ нимъ распрію по поводу новаго ученія. И тогда-то, рассказывать Г., въ жару спора со мной, Бѣлинскій прибѣгъ къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико и его устахъ: «Пора намъ, братецъ», сказалъ критикъ, «осиротѣвшимъ бѣднымъ, замаскированнымъ уличникомъ и признаться, что онъ всего обманется драмъ передъ событиями, гдѣ дѣйствуютъ народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ исторія». По сознанию Г., онъ пришелъ въ ужасъ отъ этихъ словъ, тотчасъ же изолгалъ и удалился. Ему показалось, что тутъ совершилось какое-то стриченіе отъ правъ собственнаго разума, какое-то непонятное и чуждое самоубійство. Черезъ два года, по возвращеніи изъ вѣторого своего удаленія въ Новгородъ снова въ Петербургъ (1841 г.) Г. уже не имѣлъ никакихъ поводовъ прешираться съ критикомъ и былъ одинаковаго мнѣнія по всѣмъ вопросамъ.

Бѣлинскій явился такимъ образомъ въ чуждый ему городъ

глубокой раной въ сердцѣ; но онъ все еще надѣялся переименовать взгляды друзей на свои теоріи, высказавъ всю свою мысль по поводу спорнаго пункта, ихъ раздѣлявшаго. Въ началѣ 1840 года, онъ явился со статьей «Менцель, критикъ Гёте», въ «Отечественныхъ Запискахъ». Здѣсь, подавляя всей силой своего презрѣнія мелкіе умы, кропотливо разбирающіе, что имъ нравится и что не нравится въ историческихъ явленіяхъ, Бѣлинскій создаетъ особныя права, преимущества, даже особую нравственность для великихъ художниковъ, великихъ законодателей, гениальныхъ людей вообще, которые уполномочиваются изобрѣтать особныя дороги для себя и вести по нимъ современниковъ и человѣчество, не обращая вниманія на ихъ протесты, волненія, симпатіи и антипатіи. Болѣе полной подчиненности въ пользу привилегированныхъ избранниковъ судьбы нельзя было проповѣдывать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много вѣрныхъ замѣтокъ, сдѣлавшихся теперь уже общимъ достояніемъ, какъ, напр., замѣтку о мѣткости и исторической важности непосредственнаго чувства въ народныхъ массахъ, о родственной связи, существующей всегда между стремленіями великихъ умовъ и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ея основного софистическаго характера, отстранявшаго вполне критическія отношенія къ общественнымъ вопросамъ. Все это продолжалось недолго. Къ осени того же 1840 г. Бѣлинскій уже вышелъ изъ чада направленія, грозившаго остановить всю его дѣятельность, съ самаго начала.

У насъ уже много было писано объ этой эпохѣ развитія Бѣлинскаго и съ различными цѣлями. Предметъ, однакоже, не вполне выясненъ, потому, можетъ быть, именно, что слишкомъ много занималъ изслѣдователей и раздуть ими до размѣровъ важнаго психическаго явленія, чему способствовалъ и самъ Бѣлинскій своими послѣдующими объясненіями. Въ сущности это былъ просто безграничный *оптимизмъ*, которымъ разрѣшалась Гегелева система часто и не на одной только русской почвѣ; она уже и въ другихъ странахъ, какъ въ Пруссіи, производила тѣ же результаты, по существу ей двоясмыслію. Стоило только понять ея опредѣленіе государства, какъ конкретнаго явленія, въ которомъ отдѣльная личность должна найти полное успокоеніе и разрѣшеніе всѣхъ своихъ стремленій, — стоило только, говоря, понять это опредѣленіе въ одномъ извѣстномъ, officialномъ смыслѣ, чтобы придти къ обоготворенію всякаго существующаго порядка дѣлъ. Первымъ руководителемъ Бѣлинскаго однакоже на этомъ поприщѣ самообольщенія былъ въ то время не кто иной, какъ нынѣшній \*) отрицатель всѣхъ, доселѣ

\*) Умершій во время составленія этихъ замѣтокъ.

извѣстныхъ, формъ правленія, врагъ сложившихся окончательно государствъ, обособившихся національностей, ихъ общественныхъ преданій и вѣрованій — М. Б. Первая ошибка въ діалектической выкладкѣ, о которой говоримъ, и которая имѣла такіа послѣдствія для Бѣлинскаго, принадлежитъ ему.

#### IV.

Есть причины полагать, что годы 1836—37 были тяжелыми годами въ жизни Бѣлинскаго. Мнѣ довольно часто случалось слышать отъ него потомъ намѣки о горечи этихъ годовъ его молодости, въ которые онъ переживалъ свои сердечныя страданія и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни онъ никогда не выдавалъ, какъ-бы стыдился своихъ ранъ и ощущеній. Только однажды онъ замѣтилъ, что ему случалось, какъ нервному ребенку, проплакивать по цѣлымъ ночамъ воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсѣмъ воображаемое, какъ онъ говорилъ. Замѣчательно, что эти оба года, исполненные для него жгучихъ волненій и потрясеній, были употреблены имъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще и на занятіе философіей Гегеля, которая нашла особенно краснорѣчиваго проповѣдника въ лицѣ одного молодого отставного артиллерійскаго офицера, выучившагося скоро и хорошо по-нѣмецки и вообще обладавшаго способностію къ быстрому усвоенію языковъ и отвлеченныхъ понятій. Это былъ М. Б. Въ 1835 году онъ не зналъ, что дѣлать съ собой и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадавъ его способности, засадилъ за нѣмецкую философію. Работа пошла быстро. Б. обнаружилъ въ высшей степени діалектическую способность, которая такъ необходима для сообщенія жизненнаго вида отвлеченнымъ логическимъ формуламъ и для полученія изъ нихъ выводовъ, приложимыхъ къ жизни. Къ нему обращались за разрѣшеніемъ всякаго темнаго или труднаго мѣста въ системѣ учителя, и Бѣлинскій гораздо позднѣе, т.-е. спустя уже 10 лѣтъ (въ 1846 г.), еще говорилъ мнѣ, что не встрѣчалъ человѣка болѣе Б. умѣвшаго устранять, такъ или иначе, всякое сомнѣніе въ непреложности и благолѣпіи всѣхъ положеній системы. Дѣйствительно, никто изъ приходящихъ къ Б. не оставался безъ удовлетворенія, иногда согласнаго съ основными тѣзами ученія, а иногда просто фиктивного, выдуманнаго и импровизованнаго самимъ комментаторомъ, такъ какъ діалектическая его способность, какъ это часто бываетъ съ діалектиками вообще, не стѣснялась въ выборѣ средствъ для достиженія своихъ цѣлей.

Какъ бы то ни было, но только упоеніе Гегелевскою философіею съ 1836 года было безмѣрное у молодого кружка, собравшагося въ Москвѣ во имя великаго германскаго учителя, который путемъ логическаго шествія отъ однихъ антиномій къ другимъ разрѣшалъ всѣ тайны мірозданія, происхожденіе и исторію всѣхъ явленій въ жизни, виѣсть со всѣми феноменами человѣческаго духа и сознанія. Человѣкъ, незнакомый съ Гегелемъ, считался кружкомъ почти-что несуществующимъ человѣкомъ: отсюда и отчаянныя усилія многихъ, бѣдныхъ умственными средствами, попасть въ люди цѣною убійственной головоломной работы, лишавшей ихъ послѣднихъ признаковъ естественнаго, простаго, непосредственнаго чувства и пониманія предметовъ. Кружокъ постоянно сопровождался такими людьми. Бѣлинскій очень скоро сдѣлался въ немъ корифеемъ, выслушавъ основныя положенія логики и эстетики Гегеля, преимущественно въ изложеніи и комментаріяхъ Б. Надо замѣтить, что послѣдній возвѣщалъ ихъ, какъ всемірное откровеніе, сдѣланное человѣчествомъ на-дняхъ, какъ обязательный законъ для мысли людской, которую они исчерпываютъ вполне безъ остатка и безъ возможности какой-либо поправки, дополненія или измѣненія. Слѣдовало, или покориться имъ безусловно, или стать къ нимъ спиной, отказываясь отъ свѣта и разума. Бѣлинскій, на первыхъ порахъ, и покорился имъ безусловно, стараясь достичь идеала безстрастнаго существованія въ «духѣ», подавляя въ себѣ всѣ волненія и стремленія своей нравственности и органической природы, безпрестанно падая и приходя въ отчаяніе отъ невозможности устроить себѣ вполне просвѣтленную жизнь, по указаніямъ учителя.

Дѣло, конечно, не обходилось тутъ безъ сильныхъ протестовъ со стороны неопита. Даръ проникать въ сущность философскихъ тезисовъ, даже по одному намеку на нихъ, и потомъ открывать въ нихъ такія стороны, какія не приходили на умъ и специалистамъ дѣла—этотъ даръ поражалъ въ Бѣлинскомъ многихъ изъ его философствующихъ друзей. Онъ не утерялъ его и тогда, когда, повидимому, предался душой и тѣломъ одному извѣстному толкованію Гегелевской системы. Способность его становиться по временамъ къ ней совершенно оригинальнымъ и независимымъ способомъ и заставляла сказать Г., что во всю свою жизнь ему случилось встрѣтить только двухъ лицъ, хорошо понимавшихъ Гегелево ученіе, и оба эти лица не знали ни слова по-нѣмецки. Однимъ изъ нихъ былъ—французъ Прудонъ, а другимъ русскій—Бѣлинскій. Возраженія послѣдняго на нѣкоторые изъ догматовъ системы иногда удивительно освѣщали ея слабыя, схоластическія стороны, но уже не могли потрясти *отры* въ нее и высвободить его самого изъ-подъ ея гнета.

Извѣстно восклицаніе Бѣлинскаго, весьма характеристическое, которыми онъ заявлялъ свое мнѣніе, что для человѣка весьма позорно служить только орудіемъ «всемирной идеи», достигающей черезъ него необходимаго для нея самоопредѣленія. Восклицаніе это можно перевести такъ: «Я не хочу служить только ареной для прогулокъ «абсолютной идеи» по мнѣ и по вселенной». Опроверженія такого рода, какъ бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Б., не лишеннаго, какъ все проповѣдники, деспотической черты въ характерѣ. Впослѣдствіи образовались сильныя размолвки, именно вслѣдствіе протестовъ Бѣлинскаго, на которые учитель отвѣчалъ, съ своей стороны, весьма энергично. Уже въ сороковыхъ годахъ, говоря мнѣ объ искусствѣ, съ какими Б. умѣлъ бросать тѣнь на лица, которыхъ заподозрѣвалъ въ бунтѣ противъ себя, Бѣлинскій прибавилъ: «Онъ и до меня добирался. — Взгляните на этого Кассія», — твердилъ онъ моимъ пріятелямъ, — «никто не слыхалъ отъ него никогда никакой пѣсни, онъ не запомнилъ ни одного мотива, не проронилъ съ рота и случайно никакой ноты. Въ немъ нѣтъ внутренней музыки, гармоническихъ сочетаній мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человѣческой природы. Вотъ какими закоулками добирался онъ до моей души, чтобы тихомолкомъ украсть ее и унести подъ своей полой». Оба пріятеля, какъ извѣстно, вплоть до 1840 года безпрестанно ссорились и также безпрестанно мирились другъ съ другомъ, но въ лѣто 1836 г. они еще жили безоблачной, задушевною жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда въ теченіи 1836 г. Бѣлинскій, введенный въ семейство Б., нашелъ тамъ, какъ говорили его знакомые, необычайный привѣтъ, даже со стороны женскаго молодого его населенія, къ чему онъ никогда не относился равнодушно, убѣжденный, что ни одно женское существо не можетъ питать участія къ его мало эффектной наружности и неловкимъ пріемамъ. Бѣлинскій ѣздилъ въ Тверь и жилъ нѣкоторое время въ помѣстьѣ самихъ Б. Бесѣды, которыя онъ велъ подъ кровомъ ихъ дома, подъ обаяніемъ дружбы съ однимъ изъ его членовъ, при вниманіи и участіи молодого и развитаго женскаго его персонала, конечно, должны были крѣпче запасть въ его умъ, чѣмъ при какой-либо другой обстановкѣ. Результаты оказались скоро. Когда Бѣлинскій опять возвратился къ журнальной дѣятельности и принялъ на себя, въ 1838, изданіе «Московского Наблюдателя», совершенно загубленнаго прежней редакціей, — на страницахъ журнала уже излагались не Шеллинговы воззрѣнія въ томъ лирическо-торжественномъ тонѣ, какой они всегда принимали

у Бѣлинскаго, а строгія Гегелевскія схемы въ надлежащей суровости языка и выраженія и часто съ нѣкоторою священной темнотою, хотя и старыя воззрѣнія и новыя схемы имѣли много родственнаго между собою. Къ тому же, однимъ изъ сотрудниковъ журнала, отъ котораго ждали переворота въ области литературы и мышленія, состоялъ теперь М. Б. Онъ именно и открылъ новый фазисъ философізма на русской почвѣ, провозгласивъ ученіе о святости всего *дѣйствительно* существующаго.

Одно, хотя и очень короткое время, Б., можно сказать, господствовалъ надъ кружкомъ философствующихъ. Онъ сообщилъ ему свое настроеніе, которое иначе и опредѣлить нельзя, какъ назвавъ его результатомъ *сластолюбивыхъ* упражненій въ философіи. Все дѣло ограничивалось еще для Б., въ то время, *умственнымъ наслажденіемъ*, а такъ какъ самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно новаго питанія и возбужденія, то обширное, безбрежное море Гегелевской философіи пришлось тутъ какъ нельзя болѣе кстати. На немъ и разыгрались всѣ силы и способности Б., страсть къ витійству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей безпрестанно случаи къ торжествамъ и побѣдамъ, а наконецъ, пышная, всегда какъ-то праздничная по своей формѣ, шумная, хотя и нѣсколько холодная, малообразная и искусственная рѣчь. Однако же эта праздничная рѣчь и составляла именно силу Б., подчинявшую ему сверстниковъ: свѣтъ и блескъ ея увлекали и тѣхъ, которые были равнодушны къ самымъ идеямъ, ею возвѣщаемымъ. Б. слушали съ упоеніемъ не только тогда, когда онъ излагалъ сущность философскихъ тезисовъ, но и тогда, когда спокойно и степенно поучалъ о необходимости для человѣка ошибокъ, паденій, глубокихъ несчастій и сильныхъ страданій, какъ неизбѣжныхъ условий истинно-человѣческаго существованія.

Б. самъ рассказывалъ впоследствии, что однажды, послѣ вечера, посвященнаго этой матеріи, собесѣдники его, болѣею частью молодые люди, разошлись спать. Одинъ изъ нихъ помѣстился въ той же комнатѣ, гдѣ опочивалъ и самъ учитель. Ночью послѣдній былъ разбуженъ своимъ молодымъ товарищемъ, который, со свѣчою въ рукахъ и со всѣми признаками отчаянія на лицѣ, требовалъ у него помощи: «Научи, что мнѣ дѣлать»,—говорилъ онъ,—«я погибающее существо, потому что какъ ни думалъ, не чувствую въ себѣ никакой способности къ страданію». Дѣйствительно, полюбить страданіе, и особенно въ юношескіе годы—трудновато.

Естественно, однакожъ, что такое продолжительное умственное, діалектическое, философское пированіе могло быть устроено только при одномъ условіи: совершеннаго обезпеченія себя отъ протестовъ

со стороны людей огорченныхъ или негодующихъ на жизнь, при условіи осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или въ чемъ сомнѣваются. Необходимо было прежде всего убѣдить всѣхъ, которые сильно чувствовали *злобу дня*, въ томъ, что ихъ личныя, отдѣльныя попытки осужденія современности или основъ, на которыхъ она держится, суть преступленія противъ существующей «дѣйствительности», т.-е. преступленіе противъ «всесірной идеи», которая въ данную минуту въ нее воплотилась, другими словами, противъ самого «высшаго разума». Спокойствіе и нужное расположеніе духа для философированія покупались только этой цѣною. И ничѣмъ другимъ В. въ эту эпоху не занимался, кромѣ прямыхъ и косвенныхъ внушеній этого рода. Ему принадлежитъ вводить въ печать новаго русскаго презрительнаго слова «прекраснодушіе», возбуждавшаго такое недоумѣніе въ публикѣ и журналахъ своимъ, дѣйствительно, не очень складнымъ составомъ, которое, будучи буквальнымъ переводомъ нѣмецкаго «Schönseligkeit», призвано было обозначать у насъ благородныя, но несостоятельныя отрицанія личнаго мышленія и личнаго суда надъ современностію. Ему принадлежитъ распространеніе у насъ того крайняго, чистѣйшаго и вмѣстѣ безглаголиваго идеализма, который съ ужасомъ отворачивался отъ всякаго житейскаго шума, смѣшивая подъ однимъ общимъ названіемъ *низшихъ явленій субъективнаго духа* все, что мѣшало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбахъ и призваніи человечества: онъ просмотрѣлъ французскій переворотъ 1830 года, ничего не распозналъ въ общественномъ движеніи, наступавшемъ за нимъ во Франціи (Ж.-Зандъ, Сентъ-Симонъ, Ламэнэ), ничего не видалъ въ современной ему юной Германіи, уже основавшей свой органъ въ 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher». Онъ только заклеилъ эти явленія названіемъ необузданныхъ шалостей *разсудочнаго*, но не философскаго ума. Самъ Шиллеръ объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — гениальнымъ ребенкомъ, который никогда не могъ возвыситься отъ теплыхъ, хорошихъ ощущеній до спокойнаго созерцанія идей и міровыхъ законовъ, управляющихъ людьми, до объективнаго пониманія предметовъ. Отецъ русскаго идеализма, В., вмѣстѣ съ тѣмъ былъ весьма податливъ и на житейскія наслажденія, которыми пользовался совершенно безопасно, и за которыми гнался какъ-то наивно, простодушно. Жизнь и философія тутъ не мѣшали другъ другу. Впрочемъ, слѣдуетъ еще разъ повторить, что нигдѣ, можетъ быть, философскій романтизмъ не воплощался въ такомъ сильномъ, по средствамъ и дарованіямъ, представителѣ, какимъ былъ В. Прикрытый математически-строгими формулами Ге-



гелевой логики, романтизмъ этотъ казался по наружности очень суровой проповѣдью, будучи въ сущности только потворствомъ и оправданіемъ для самыхъ утонченныхъ прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Бѣлинскаго, однакоже, это было другое дѣло: философскія занятія далеко не служили ему потѣхой и развлеченіемъ, а наоборотъ — горькимъ и тяжелымъ искусомъ, который онъ проходилъ съ трудомъ и самоотверженіемъ, надѣясь обрѣсти истину, покой для мысли и совѣсти на концѣ его. Надо было привыкать къ строю мыслей, отрываемыхъ новыхъ созерцаніемъ и безпощадно убивать въ себѣ всякое сомнѣніе въ немъ, всякій позывъ къ противорѣчію. Философскій оптимизмъ требовалъ очень многого. Путемъ отвлеченностей и метафизическихъ выкладокъ, онъ превращалъ въ научныя аксіомы, въ философскія истины и въ откровенія «духа» — ходячія общественныя начала, за малыми исключеніями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всѣхъ умственныхъ и другихъ отпращиваній, навѣваемыхъ и вызываемыхъ текущей минутой.

Въ этомъ благопріятномъ разъясненіи текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяніе, которое производилъ на всѣхъ тогдашній глубоко-консервативный, религіозный, даже съ мистическимъ оттѣнкомъ, семейно-добродѣтельный, нравственный, *музыкальный* Б., — такой, какимъ его знали до 1840 г., когда онъ уѣхалъ за границу изъ Россіи.

Съ тѣхъ поръ онъ ушелъ далеко; но потребность созиданія системъ и воззрѣній, обманывающихъ духовныя потребности чловѣка, вмѣсто удовлетворенія ихъ — осталась все та же, и тотъ же романтизмъ, ищущій необычайныхъ выводовъ и потрясающихъ эффектовъ, слышится и въ его призывахъ къ разрушенію обществъ, и къ истребленію цивилизаціи, какъ прежде слышался въ воззваніяхъ къ высшему героическому пониманію и осуществленію нравственности и чловѣческаго достоинства.

Уже и тогда многіе, какъ покойный В. П. Боткинъ, напримѣръ, и самъ Бѣлинскій, по временамъ, понимали хорошо источники проповѣди Б. Описывая мнѣ его личность въ 1840 году, тогда мнѣ еще совершенно незнакомую, Бѣлинскій говорилъ: «Это пророкъ и громовержецъ, — но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ». Таково было послѣднее впечатлѣніе, вынесенное имъ изъ долгихъ сношеній съ учителемъ. Но въ общественномъ значеніи никто не отказывалъ философіи Б., потому что она дѣйствительно составляла прогрессъ въ умственномъ развитіи нашего общества и служила прогрессу. Способъ пониманія цѣлей и задачъ жизни, ею

усвоенный, заключалъ въ себѣ много фантастичнаго элемента, но, конечно, стоялъ неизмѣримо выше того грубаго способа ихъ представленія, который царствовалъ у большинства современниковъ. Смыслъ, который система Б. отыскивала не только въ политическихъ, но даже въ будничныхъ эфемерныхъ явленіяхъ текущаго дня, дѣйствительно, былъ произвольный и навязанный имъ насильно, но все-таки это былъ смыслъ, для усвоенія котораго слѣдовало еще многому поучиться и о многомъ подумать. Положенія проповѣди Б. слишкомъ многое узаконяли въ существующихъ порядкахъ—это правда, но они узаконяли ихъ такъ, что порядки эти переставали походить на самихъ себя. Они становились идеалами въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ были на реальной почвѣ. Нравственныя требованія отъ всякой отдѣльной личности носили у него характеръ безграничной строгости: вызовъ на героическіе подвиги составлялъ постоянную и любимую тему всѣхъ бесѣдъ Б. Гегелевское опредѣленіе личности, какъ поприща, на которомъ совершается таинство самоопредѣленія и окончательнаго разоблаченія «творящей идеи», уполномочивало уже требовать отъ каждаго человѣка самыхъ напряженныхъ усилій на пути развитія своего сознанія и нравственныхъ доблестей. Б. и требовалъ этихъ усилій, съ вдохновеніемъ и настойчивостью, которыя вошли уже у него въ организмъ и привычку. Такъ, даже наканунѣ французскаго переворота 1848 года, въ Парижѣ, когда онъ самъ перешелъ на чисто-политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступилъ къ разговорамъ, тайнымъ махинаціямъ и клубнымъ мѣрамъ въ извѣстномъ родѣ,—онъ готовъ былъ всегда призывать людей къ чистымъ подвигамъ, цѣломудренной жизни и идеальному пониманію ея задачъ. Это и заставило Г. прозвать его тогда же (1847 г.) въ шутку «старой Жанной д'Аркъ». Г. прибавлялъ, что это и дѣвственница, но только *анти*-орлеанская, такъ какъ питаетъ отвращеніе къ королю Луи-Филиппу—орлеанскому.

Человѣкъ, предшествовавшій Б. въ изученіи Гегеля и даже впервые, какъ мы сказали, посвятившій самого Б. въ науку, Н. В. Станкевичъ, никогда не доходилъ до полнаго абсолютнаго оптимизма въ философій. Станкевичъ уже и потому не могъ соперничать въ этомъ съ товарищемъ, что, выходя съ нимъ изъ однихъ основаній и не менѣе его отданный во власть романтическаго настроенія, не способенъ былъ, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, къ грубымъ обобщеніямъ. По причинамъ просто- и чисто-физиологическимъ, онъ останавливался въ недоумѣніи передъ каждой скрытой и явной несправедливостью, такъ же точно, какъ и передъ всякимъ чрезмѣрнымъ увлеченіемъ.

У него была повѣрка излишне заносчивыхъ тезисовъ въ чувствѣ иѣры, да къ тому же онъ снабженъ былъ и даромъ юмора, который открывалъ ему оборотную тѣневую сторону предметовъ. Этого дара вовсе не доставало Б. Должно считать счастливымъ обстоятельствомъ для Б. то, что, въ эпоху его самой жаркой проповѣди, Станкевичъ (съ осени 1837 г.) и Грановскій (за годъ до того) были за-границей, а Г. проходилъ первое свое удаленіе, сперва въ Вятку, а потомъ во Владиміръ; случись они тогда въ Москвѣ, законодательная дѣятельность Б. и его декреты по предметамъ мышленія получили бы значительное ограниченіе и измѣненіе.

Остается теперь посмотрѣть, какъ всѣ эти свойства и качества философской системы Б. отразились тогда на душѣ Бѣлинскаго.

## V.

На первыхъ порахъ вліяніе новой философской системы Б. не было выгодно для таланта Бѣлинскаго. Бѣлинскій прежде всего приступилъ тогда къ изученію схемъ, формулъ, дѣленій — всѣхъ почти неосязаемыхъ тѣней колоссальнаго міра абстракціи, называемаго логикой Гегеля, и приступилъ съ пыломъ и фанатическимъ одушевленіемъ, лежавшими въ его природѣ. Сдѣлавъ обѣтъ ученическаго послушанія системѣ, онъ уже не измѣнилъ своему обѣту до конца. Онъ вложилъ опеку на свой подвижной умъ, на свое тревожное сердце, создалъ планъ, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли, и употреблялъ неимоверныя усилія, чтобы отогнать отъ себя всѣ наводненія врожденнаго ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Бѣлинскаго не покидало сомнѣніе даже въ правѣ отдаваться впечатлѣніямъ внѣшней жизни, своему чувству, своимъ сердечнымъ влеченіямъ. Онъ страдалъ въ мысли, также какъ и въ способѣ относиться ко всему реальному въ его собственномъ существованіи. Это было уже далеко не наслажденіе философіей, какъ въ періодъ Шеллингова вліянія, — это былъ тяжелый трудъ, каторжная работа, принятая на себя изъ надежды близкаго воскрешенія въ будущемъ, и потомъ уже радостнаго существованія на землѣ, безъ сомнѣній, колебаній и томительныхъ вопросовъ. Мучительный искусь, добровольно проходимый однимъ изъ характеровъ, наименѣе способныхъ къ подчиненности, не кончился и тогда, когда Бѣлинскій ознакомился съ ученіемъ о *дѣйствительности*, хотя оно, повидимому, должно было бы освободить его отъ напрасныхъ исканій идеально-совершенныхъ правилъ и основъ жизни. По крайней мѣрѣ въ литературѣ слѣды

того же послушническаго искуса сохраняются и въ статьяхъ его отъ 1838-го года. Слово его, такое бодрое и развязное дотошъ, становится въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 года неопредѣленнымъ, туманнымъ, словно чахнетъ, занятое преимущественно выясненіемъ философскихъ терминовъ (особенно терминъ «конкретность» стоилъ ему долгихъ трудовъ и безпрестанныхъ повтореній одного и того же понятія на разные лады), переложеніемъ ихъ на русскій языкъ и толкованіемъ ихъ смысла для русской публики. По временамъ, это бѣдное, уже обезличенное слово старается еще придать себѣ видъ развязности, скрыть схоластическія путы, мѣшающія его движенію, казаться свободнымъ, смѣлымъ словомъ, несмотря на ту цѣпь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соотвѣтствовавшія тѣмъ мимолетнымъ протестамъ противъ теоріи, о которыхъ говорено. Вообще же журналъ «Московскій Наблюдатель», органъ Бѣлинскаго съ 1838 года, представлялъ въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ печальную арену, гдѣ можно было видѣть замѣчательнаго и своеобразнаго мыслителя въ униженномъ положеніи страдальца, изнывающаго и слабѣющаго подъ дѣйствіемъ жестокой умственной дисциплины, лишившей его силъ, но которую онъ продолжаетъ упорно налагать на себя, не признавая ее за наказаніе. Журналъ истомилъ редактора и всѣхъ тѣхъ, которые за нимъ тогда слѣдили. Многіе изъ друзей редактора были также очень недовольны имъ и не скрывали своего мнѣнія. Позволю себѣ при этомъ сказать нѣсколько словъ о собственныхъ моихъ тогдашнихъ впечатлѣніяхъ по этому поводу.

## VI.

Извѣстно, что «Московскій Наблюдатель» 1838 года открылся передовою статьею Рѣшера: «О философской критикѣ художественнаго произведенія». О ней много было говорено и тогда, и потомъ, въ нашей литературѣ, и все-таки мнѣ приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала къ числу тѣхъ чрезвычайно сухихъ и отвлеченныхъ трактатовъ, гдѣ понятія подъ натѣрѣлой рукой писателя складываются сами собою въ затѣйливые узоры, оставляя въ сторонѣ, какъ вздорную пошлѣху, всѣ соображенія о насущныхъ потребностяхъ извѣстнаго общества, объ условіяхъ или нуждахъ его существованія въ данную минуту. Статья опредѣляла будущее направленіе журнала. Она дѣлила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумѣется, предпочтеніе первому—философскому отдѣлу, какъ заключающему въ себѣ един-

ственные истинные и непреложные законы для суда надъ произведеніями. А непреложность этихъ законовъ доказывалась процессомъ изслѣдованія, свойственнымъ философской критикѣ, которая, распознавъ мысль художественнаго произведенія, выдѣляетъ эту мысль изъ созданія, развиваетъ ее самостоятельно, по философски, допытывается всѣхъ возможныхъ ея выводовъ, и потомъ возвращаетъ эту мысль снова созданію, наблюдая, все ли то сказано въ образахъ и подробностяхъ созданія, что обнаружилось въ философскомъ анализѣ его. Если да—да; если нѣтъ,—тѣмъ хуже для созданія!

Три низшіе отдѣла критики, т.-е. критика психологическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатіями Бѣлинскаго. Не говоримъ уже о скептической, давно имъ презираемой, но и психологическая, и историческая критики, какъ неимѣющая руководителя въ абсолютныхъ законахъ мысли и искусства, цѣнились имъ весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этомъ, что онъ говорилъ по поводу послѣдней изъ нихъ: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Законы творчества вѣчны, какъ законы разума. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхиль или Софокль были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ дѣлалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества... До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла», и пр.

Бѣлинскій тутъ просто не походилъ на самого себя. Между тѣмъ, въ статьѣ Рётшера, предъ тѣми рубриками критики ставились бѣдныя явленія нашей печати и письменности, вымѣривался ихъ ростъ, и, на основаніи полученныхъ четвертей и вершковъ, имъ отводилось помѣщеніе въ одномъ изъ отдѣловъ. Такъ поступилъ Бѣлинскій съ сочиненіями фонъ-Визина, которыя отнесъ къ вѣдомству критики исторической, вмѣстѣ съ изумительнымъ товарищемъ—сочиненіями Вольтера, а «Юрія Милославскаго» подчинилъ вѣдѣнію критики психологической, придавъ ему тоже необыкновеннаго спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого страннаго полухудожника и полуфилософа», замѣчалъ Бѣлинскій. Но недостало даже таланта и опытности Бѣлинскаго, чтобы къ названнымъ русскимъ авторамъ приложить всѣ требованія критическаго отдѣла, которому они дѣлались подсудны, и найти въ нихъ всѣ тѣ черты, которыя по теоріи должны были въ нихъ существовать непременно. Онъ обѣщалъ представить это свидѣтельство совпаденія теоріи съ живымъ примѣромъ, но не исполнилъ обѣщанія—и по весьма понятной причинѣ. При осуществленіи задачи, либо тео-

рія должна была лопнуть по всѣмъ составамъ, либо примѣры отбиться совсѣмъ отъ теорій.

За то Бѣлинскій исполнилъ другое. Чѣмъ болѣе отрекался онъ отъ права личнаго сужденія, тѣмъ болѣе завладѣвали его умомъ мертвыя философскія схемы и тезисы, которыя не только заслонили передъ его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на ихъ мѣсто. Когда актеръ Мочаловъ создалъ роль Гамлета въ Москвѣ, Бѣлинскій написалъ большую статью о трагедіи и о московскомъ исполнителѣ главной ея роли. Какъ же представился Гамлетъ воображенію Бѣлинскаго? Конечно, такъ же, какъ и Гёте, — человѣкомъ страдающимъ бѣдностью воли въ виду огромнаго замысла, на который онъ себя предназначаетъ. Но откуда эта немощь воли и сопряженный съ нею страданія въ лицѣ, умѣющемъ при случаѣ поступать очень смѣло и рѣшительно? — спрашивалъ себя Бѣлинскій. Отвѣтъ давался схемой. Гамлетъ, по ея опредѣленію, выражаетъ собою всѣ признаки того психическаго состоянія, когда человѣкъ, мирно жившій съ собою и про себя, переходитъ къ существованію въ «дѣйствительности» во внѣшнемъ мірѣ, такомъ запутанномъ и бессмысленномъ на первый взглядъ. Борьба и страданія, неразлучныя съ этимъ погруженіемъ въ хаосъ и въ кажущуюся грубость реального міра, отнимаютъ у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются къ нему, когда Гамлетъ, послѣ долгаго, мучительнаго искуса, приходитъ къ чувству покорности передъ законами, управляющими этимъ непонятнымъ, грознымъ міромъ дѣйствительности, къ тихому убѣжденію, что надо быть *всегда готовымъ на все*. Такимъ образомъ, Гамлетъ преобразился въ представителя любимаго философскаго понятія, въ олицетвореніе *известной* формулы (что дѣйствительно, то — разумно), и Бѣлинскій на этомъ пьедесталѣ устраниваетъ апофеозу какъ великому творцу драмы, такъ и замѣчательному его толкователю на московской сценѣ.

Постоянныя превращенія живыхъ образовъ въ отвлеченія начинаютъ появляться все болѣе и болѣе у Бѣлинскаго. При обзорѣ нѣ журналовъ 1839 года, Бѣлинскій дѣлаетъ замѣтку о статьѣ Губера: «Фаустъ». Что такое Фаустъ Гёте? Для Бѣлинскаго той эпохи, Фаустъ есть точно такая же философская схема, какъ и Гамлетъ, даже почти ничѣмъ и не отличающаяся отъ нея. Фаустъ, какъ человѣкъ глубокій и всеобъемлющій, долженъ былъ выдти изъ естественной гармоніи духа, поссориться съ дѣйствительностію, къ которой обратился за утѣшеніемъ и познаніемъ, и послѣ ряда кровавыхъ испытаній, мучительной борьбы, паденій и оболъченій — возвратиться снова къ полной гармоніи духа, но уже гармоніи, про-

свѣтленной опытокъ и сознаніемъ. Онъ прозрѣлъ подѣ конецъ разумъ и оправданіе всего сущаго. Фаустъ умираетъ въ блаженствѣ и отъ блаженства такого сознанія.

Какъ ни тяжело было, повидимому, приложить этотъ способъ опредѣленія предметовъ искусства къ чему-либо, выросшему на русской почвѣ, Бѣлинскій, однако же, не остановился передъ трудностію. Я сказалъ, что, при появленіи въ «Современникѣ» 1838 года посмертныхъ сочиненій Пушкина, Бѣлинскій испыталъ болѣе чѣмъ восторгъ: даже нѣчто въ родѣ *испуга* передъ величіемъ творчества, открывшагося глазамъ его. Въ литературной хроникѣ «Московского Наблюдателя» 1838 года, отдавая отчетъ о четырехъ томахъ «Современника», заключающихъ неизданныя произведенія великаго поэта, Бѣлинскій спрашивалъ себя: что такое Пушкинъ? Оказалось, что та же схема, которая служила мѣриломъ внутренняго достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для опредѣленія послѣднихъ произведеній Пушкина. Вотъ собственныя слова Бѣлинскаго: «Въ самомъ дѣлѣ»,—говоритъ онъ,—«чтобы постигнуть всю глубину этихъ гениальныхъ картинъ, разгадать ихъ вполне таинственный смыслъ и войти во всю полноту и свѣтлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни и выдти изъ борьбы прекраснѣйшаго въ гармонію просвѣтленнаго и примиреннаго съ дѣйствительностію духа. Повторяемъ, примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни—вотъ характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина».

Было бы очень странно, если бы этотъ философскій тезисъ, такъ могущественно и деспотически овладѣвшій умомъ Бѣлинскаго, остался безъ приложенія къ предметамъ политическаго и общественнаго характера, или замѣнился тамъ какимъ-либо инымъ, несхожимъ съ нимъ, созерцаніемъ. Непослѣдовательность такого различія въ опредѣленіяхъ была бы очевиднымъ опроверженіемъ самыхъ основаній теоріи, а Бѣлинскій былъ всегда послѣдователенъ и въ истинѣ, и въ минутныхъ заблужденіяхъ своихъ. Такимъ образомъ являлась у Бѣлинскаго и политическая теорія, въ силу которой человекъ для того, чтобы устроить правильныя отношенія къ обществу и государству, долженъ разрѣшить въ себѣ ту же задачу, какую разрѣшили Гамлетъ и Фаустъ своими персонами, а Пушкинъ—своими произведеніями. Разница состояла здѣсь въ томъ только, что на политической и социальной почвѣ уже не предстояло возможности выбирать явленій, предпочитать одни другимъ, производить имъ оцѣнку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать ихъ всѣхъ одинаково и цѣликомъ. Бѣлинскій поэтому требовалъ, «чтобы человекъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ суще-

ствованіемъ, вмѣсто дѣйствительнаго человѣческаго существованія, призналъ ложью и обманомъ умственные похоти своей личности, подчинился требованіямъ и указаніямъ государства, которое есть единственный критеріумъ истины на землѣ, проникнулъ въ глубокій смыслъ его идеи, превратилъ все могучее его содержаніе въ собственные убѣжденія свои, и тѣмъ самымъ сдѣлался уже представителемъ не случайныхъ и частныхъ мнѣній, а выраженіемъ общей, народной, наконецъ мировой жизни или, другими словами, сталъ *духомъ во плоти*. Бѣлинскій продолжалъ далѣе: «Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходимъ, потому-что кто никогда не ссорился съ жизнью, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнью: ссора не можетъ быть цѣлью самой себѣ, но имѣть цѣлью примиреніе. Горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность требуетъ или полнаго мира съ собою, полнаго признанія себя со стороны человѣка, или сокрушаетъ его подъ свинцовою тяжестью своей исполинской длани».

Мѣсто это находится въ разборѣ книги: «Очерки Бородинскаго сраженія» О. И. Глинка, которая ознаменовала, какъ знаетъ, полный расцвѣтъ гегелевскаго оптимизма въ русской литературѣ.

Такова вкратцѣ у Бѣлинскаго исторія зарожденія и развитія гегелевскаго оптимизма, которая, такъ-сказать, прошла у насъ передъ глазами.

## VII.

Нельзя покончить, однако же, съ этимъ періодомъ дѣятельности критика, не повторивъ еще разъ того, что было сказано о его частыхъ возстаніяхъ противъ своихъ же догматовъ: въ противность всему строю и всѣмъ заключеніямъ признаннаго и усвоеннаго имъ ученія, изъ-подъ пера Бѣлинскаго безпрестанно вырывались положенія, похожія на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунтъ противъ началъ, угнетавшихъ его умъ, высказывались тѣ, на время подавленные и притавившіяся, критическія силы Бѣлинскаго, которыя ждали окончанія философскаго погрома, чтобы явиться снова на свѣтъ въ полномъ блескѣ. Не удивительно ли было, напримѣръ, въ самомъ пылу гегелевскаго настроенія, когда такъ процвѣтало благоговѣніе къ «идеѣ» и неутомимое исканіе ея—вычитать у Бѣлинскаго слѣдующія строки, въ его разборѣ плохой драмы Полевого «Уголино»: «Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предпола-



заетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благоговѣйнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозрѣваетъ ее...» Помню хорошо недоумѣніе, которое возбуждали въ насъ подобные внезапные повороты (а ихъ было не мало), наносившіе болѣе или менѣе чувствительные удары самымъ основамъ и первымъ началамъ найденной философской системы. Помню также, что многіе изъ насъ и обращались къ автору въ подобныхъ случаяхъ за разъясненіями этихъ противорѣчій; но разъясненія Бѣлинскаго болѣею частію обнаруживали досаду на людей, подвергавшихъ его экзамену, и давались, какъ даются отвѣты дѣтямъ на ихъ разпросы. «Неужто вы думаете», говорилъ Бѣлинскій, — «что я долженъ при каждомъ мнѣніи справляться съ тѣмъ, что сказалъ когда-то прежде: — да вотъ теперь я васъ ненавижу, а черезъ день буду страстно любить». Много было истины въ этихъ словахъ. Бѣлинскій особенно боялся тогда противорѣчій, потрясающихъ новую его систему, и отзывался гнѣвно и нервно о людяхъ, ихъ высказывавшихъ; но оказывалось, что онъ больше всего и думалъ именно о такихъ людяхъ. Въ связи съ этой чертой находилась и другая, не менѣе любопытная. Онъ негодовалъ, становился угрюмъ и золъ именно, когда встрѣчалъ непрекращаемое согласіе съ его положеніями, хотя это и не часто случалось, точно ему не доставало тогда возраженій и обличеній. Внутренняя жизнь Бѣлинскаго въ эту эпоху представляла раздвоеніе, по-истинѣ, трагическое и исполнена была страданій и сомнѣній, которыя по временамъ онъ и открывалъ собесѣдникамъ въ рѣзкомъ, неожиданномъ словѣ, можно сказать, въ воплѣ истерзанной души. Онъ судорожно и отчаянно держался за новыя свои вѣрованія, но съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствовалъ, что они мѣняются, тускнутъ и испаряются на его собственныхъ глазахъ.

Но въ этотъ же періодъ времени случалось и такъ, что Бѣлинскій боролся съ гнетущими условіями метафизическаго деспотизма не одними вспышками и порывистыми движеніями врожденной ему критической мысли, а и цѣлыми продуманными сужденіями и приговорами, которые шли наперекоръ теоріи и всѣмъ ея толкователямъ.

И какъ гордился самъ Бѣлинскій этими доказательствами и заявленіями самостоятельности своего ума! Въ письмѣ къ И. И. Панаеву 19-го августа 1839 года, напечатанномъ въ «Современникѣ» 1860 года, въ январѣ мѣсяцѣ, онъ шутиливо, но съ чувствомъ нескрывимаго торжества вспоминаетъ, что еще осенью прошлаго года объявилъ вторую часть «Фауста» Гёте сухой, мертвой символистскою, къ великому негодованію и изумленію всѣхъ москов-

скихъ друзей-философовъ. Они не находили почти словъ для выраженія своего гнѣва и презрѣнія къ смѣльчаку, налагавшему руку на своего рода «философскій Апокалипсисъ», а теперь опустили головы, прочитавъ въ «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Vischer), говоритъ Бѣлинскій, который буквально повторилъ все то, что возвѣщалъ онъ, непризнанный Бѣлинскій, за годъ передъ тѣмъ.

И было чѣмъ гордиться!

Что касается до насъ, то мы жаждали ересей Бѣлинскаго, противорѣчій Бѣлинскаго, измѣнъ его своимъ положеніямъ и нарушеній философскихъ догматовъ, какъ подарковъ: они, казалось, возвращали намъ стараго Бѣлинскаго 1834—35 годовъ, когда онъ имѣлъ, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направление \*). Не то, чтобы кружокъ его петербургскихъ сторонниковъ ясно прозрѣвалъ несостоятельность системы и выводовъ, изъ нея получаемыхъ — для этого онъ не былъ достаточно развитъ философски — но онъ чувствовалъ безпокойство, слѣдуя за развитіемъ учителя, сильно недоумѣвалъ, когда ему — кружку этому — не позволяли ропота даже и на самыя обыденныя явленія жизни, и безпрестанно обращалъ глаза назадъ, къ прежнему Бѣлинскому 1835 года, издателю 6-ти книжекъ «Телескопа», гдѣ помѣщены статьи и разборы, оставшіеся и доселѣ памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколѣнія, впервые ихъ выслушавшія. Можетъ быть, это подозрительное состояніе кружка, всегда готоваго сорваться съ тезисовъ на практическую дорогу прямой, наглядной опѣнки предметовъ, безъ всякихъ справокъ о томъ, что они представляютъ въ идеѣ, и было причиной грустнаго, осторожнаго, сдержаннаго обращенія Бѣлинскаго съ кружкомъ. Онъ не довѣрялъ ни его покорности отвлеченнымъ понятіямъ, ни особенно его способности проникнуться ими въ должной степени, и однажды, когда заговорили передъ нимъ о здоровомъ практическомъ смыслѣ Петербурга, поправляющемъ увлеченія, и подъ дыханіемъ котораго изсыхаютъ всѣ источники фантазій и мечтаній, Бѣлинскій вспыхнулъ и съ гнѣвомъ проговорилъ: «Я вижу, куда вы клоните. Вамъ никогда не удастся сдѣлать изъ меня то, что вы хотите!» Онъ

\*) Въ «Телескопѣ» 1835 года, помѣщены были образцовыя статьи: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», «О стихотвореніяхъ Баратынскаго», «Стихотворенія Владиміра Бенедиктова» и «Стихотворенія Кольцова». Надеждинъ, поручившій изданіе «Телескопа» Бѣлинскому, при своемъ отъѣздѣ за-границу, былъ удивленъ по возвращеніи въ декабрѣ 1835 года и доброкачественностію статей, въ немъ помѣщенныхъ, и запущенностію редакціи, не додавшей множество книжекъ журнала. Таковъ былъ и потомъ Бѣлинскій, какъ «редакторъ».

еще боялся за судьбу своего идеализма въ Петербургѣ, да и долго потомъ, даже послѣ отрезвленія своей мысли, происшедшаго въ 1840 г., еще держался за него, какъ за отличіе, которое не слѣдовало терять на новомъ мѣстѣ. Дѣло, однако же, сложилось иначе.

## VIII.

Послѣ всего этого длиннаго отступленія, возвращаясь къ разсказу. Поселясь въ Петербургѣ, Бѣлинскій началъ ту многотрудную, работающую жизнь, которая продолжалась для него восемь лѣтъ сряду, почти безъ всякаго перерыва, потрясла самый организмъ и забѣла его. На первыхъ порахъ, послѣ довольно долгаго пребыванія на квартирѣ Панаева, онъ нанялъ себѣ помѣщеніе на Петербургской Сторонѣ, по Вольшому проспекту, въ красивомъ деревянномъ домикѣ, съ довольно просторной, но сырой и холодной комнатою, и съ небольшимъ кабинетомъ, жарко натопленнымъ, гдѣ я и нашелъ его уже зимой 1840 года. Противоположность въ температурѣ этихъ комнатъ не производила, повидимому, особаго дѣйствія на здоровье хозяина, но за то постоянно награждала посѣтителей его обычными зимними дарами Петербурга — флюсами, гриппами и подчасъ жабами. Укрывшись въ своемъ тропически-душномъ кабинетѣ, Бѣлинскій весь отдался мысли, и велъ сурово-уединенную, почти аскетическую жизнь, изъ которой, по временамъ, выходилъ въ кругъ новыхъ своихъ знакомыхъ, гдѣ его строгій видъ, всего чаще перемежавшійся со вспышками гнѣва или негодующаго юмора, еще болѣе обнаруживалъ основной фонъ, подкладку, такъ-сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя: наименѣе проницательный собесѣдникъ, если не понималъ, то чувствовалъ существенную принадлежность этого человека — живое олицетвореніе образовъ, изобрѣтенныхъ поэзіей для передачи мучительныхъ стремленій и порываній безпокойнаго сердца и возбужденной мысли. Только это былъ титанъ добродушный. Въ отличіе отъ романтическихъ типовъ этого рода, которыхъ намъ представляютъ обыкновенно лишенными слабыхъ или любезныхъ сторонъ характера, Бѣлинскій обладалъ въ значительной степени тѣми и другими. Нельзя было не замѣтить его ребячески-чистой довѣрчивости къ хорошему слову и честному помышленію, передъ нимъ высказаннымъ, а потомъ его комическаго гнѣва на себя, когда онъ открывалъ — (что дѣлалось очень скоро) — несовсѣмъ чистые источники этихъ заявленій. Его наивная неопытность въ дѣлахъ общаго житія безпрестанно вовлекала въ ошибки такого рода, хотя за минутами подобныхъ промаховъ у него слѣдовало почти тотчасъ же

отрезвленіе, и тогда онъ уже открывалъ въ характерахъ и явленіяхъ стороны, которыя ускользали и отъ очень пытливыхъ и осторожныхъ людей.

Но, вообще говоря, потребности въ людяхъ, въ водоворотѣ жизни, въ повѣркѣ себя другими, и всѣхъ — другъ другомъ, Бѣлинскій тогда не обнаруживалъ. Онъ обходился безъ всего этого по цѣлымъ недѣлямъ. Послѣ погрома, испытаннаго его новой теоріей, онъ уже дни и ночи стоялъ передъ письменнымъ своимъ бюро. Довольно узкій, тропическій его кабинетъ изъ двухъ оконъ, между которыми стояло это бюро, имѣлъ еще, у противоположной стѣны и въ разстояніи пяти-шести шаговъ, кушетку, съ маленькимъ столикомъ у изголовья. Бѣлинскій почти всегда писалъ, какъ то требуется для журнальныхъ статей, на одной сторонѣ полулиста и бросалъ страницу, какъ только достигалъ ея конца. Затѣмъ онъ ложился на кушетку и принимался за книгу, послѣ чего, перевернувъ высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помѣхи ни въ чтеніи, ни въ писаніи, отъ этихъ промежутковъ въ теченіи мыслей. Такъ создавались срочныя и несрочныя статьи, утомлявшія его физически гораздо болѣе, чѣмъ умственно. Рука и слабая грудь его болѣли, но голова оставалась постоянно свѣжа. Впрочемъ, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую онъ испытывалъ съ тѣхъ поръ, какъ покинулъ московскій свой кружокъ и обвинялъ его на другой, незамѣнившій стараго.... Онъ долго не могъ также привыкнуть къ Петербургу, къ его образу жизни — разбѣренной и осторожной, но кончилъ такимъ полнымъ признаніемъ его значенія и разныхъ гражданскихъ и полицейскихъ гарантій для личности, имъ представляемыхъ, что помирился съ нимъ окончательно.

Но у Бѣлинскаго, взаимоотношенія общества, были тогда три постоянные, неразлучные собесѣдника, которыхъ послушаться вдоволь онъ почти уже и не могъ, именно Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ. О Пушкинѣ говорить не будемъ: откровенія его лирической поэзіи, такой нѣжной, гуманной и вѣстѣ бодрой и мужественной, приводили Бѣлинскаго въ изумленіе, какъ волшебство или феноменальное явленіе природы. Онъ не отдѣлялся отъ обаянія Пушкина и тогда, когда, ослѣпленный творчествомъ Лермонтова, весь обратился къ новому свѣтилу поэзіи и ждалъ отъ него переворота въ самихъ понятіяхъ о достоинствѣ и цѣли литературнаго призванія. При отъѣздѣ моемъ за границу въ октябрѣ 1840 года, Бѣлинскій спросилъ, какія книги я беру съ собою. «Странно вывозить книги изъ Россіи въ Германію», отвѣчалъ я. — А Пушкина? — «Не беру и Пушкина»...

—Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, безъ Пушкина,—замѣтилъ Вѣлинскій.

О второмъ его собесѣдникѣ—Гоголѣ—скажемъ сейчасъ нѣсколько пояснительныхъ словъ. Но что касается отношеній, образовавшихся между Вѣлинскимъ и третьимъ, самымъ позднимъ или самымъ новымъ и молодымъ его собесѣдникомъ—именно Лермонтовымъ, то они составляютъ такую крупную психическую подробность въ жизни нашего критика, что объ ней слѣдуетъ говорить особо.

Важное значеніе Вѣлинскаго въ самой жизни Н. В. Гоголя и огромныя услуги, оказанныя имъ автору «Мертвыхъ Душъ», уже были указаны нами въ другомъ мѣстѣ \*). Мы уже говорили, что Вѣлинскій обладалъ способностью отзываться, въ самомъ пылу какого-либо философскаго или политическаго увлеченія, на замѣчательныя литературныя явленія съ авторитетомъ и властью человека, чувствующаго настоящую свою силу и призваніе свое. Въ эпоху Шеллингизма, одною изъ такихъ далеко-озаряющихъ вспышекъ была статья Вѣлинскаго: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», написанная вслѣдъ за выходомъ въ свѣтъ двухъ книжекъ Гоголя: «Миргородъ» и «Арабески» (1835 г.). Она и уполномочиваетъ насъ сказать, что настоящимъ воспріимникомъ Гоголя въ русской литературѣ, давшимъ ему имя, былъ Вѣлинскій. Статья эта, вдобавокъ, пришлась очень кстати. Она подоспѣла къ тому горькому времени для Гоголя, когда, вслѣдствіе претензій своей на профессорство и на ученость *по вдохновенію*, онъ осужденъ былъ выносить самыя злостныя и ядовитыя нападки, не только на свою авторскую дѣятельность, но и на личный характеръ свой. Я близко зналъ Гоголя въ это время, и могъ хорошо видѣть, какъ озадаченный и сконфуженный не столько яркими выходами Сенковского и Булгарина, сколько общимъ осужденіемъ петербургской публики, ученой братіи и даже пріятелей, онъ стоялъ совершенно одинокій, не зналъ, какъ выйти изъ своего положенія и на что опереться. Московскіе знакомые и доброжелатели его покажъстъ еще выражали въ своемъ органѣ («Московскомъ Наблюдателѣ») сочувствіе его творческимъ талантамъ весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себѣ право отдаваться вполне своимъ впечатлѣніямъ только на-единѣ, келейно, въ письмахъ, домашнимъ образомъ. Руку помощи въ смыслѣ возбужденія его упавшаго духа протянулъ ему, тогда никѣмъ непрощенный, никѣмъ неожиданный и совершенно ему неизвѣстный, Вѣлинскій, явившійся съ упомянутой статьей въ «Телескопѣ» 1835-го года. И съ какою статьей! Онъ не давалъ въ ней совѣтовъ автору, не разбиралъ, что въ немъ похвально и что подлежитъ нареканію,

\*) См. мои «Воспоминанія и Критическіе очерки», т. I, въ статьѣ о Гоголѣ.

не отвергалъ одной какой-либо черты, на основаніи ея сомнительной вѣрности или необходимости для произведенія, не одобрялъ другой, какъ полезной и пріятной,—а, основываясь на сущности авторскаго таланта и на *достоинствѣ его міросозерцанія*, просто объявилъ, что въ Гоголѣ русское общество имѣетъ будущаго *великаго писателя*. Я имѣлъ случай видѣть дѣйствіе этой статьи на Гоголя. Онъ еще тогда не пришелъ къ убѣжденію, что московская критика, т.-е. критика Вѣлинскаго, злостно перетолковала всѣ его намѣренія и авторскія цѣли,—онъ благосклонно принялъ замѣтку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокаго соболѣзнованія къ русской жизни и ея порядкамъ слышится во всѣхъ разсказахъ Гоголя», и былъ доволенъ статьей, и болѣе чѣмъ доволенъ: онъ былъ осчастливленъ статьей, если вполнѣ вѣрно передавать воспоминанія о томъ времени. Съ особеннымъ вниманіемъ остановился въ ней Гоголь на опредѣленіи качествъ истиннаго творчества, и разъ, когда зашла рѣчь о статьѣ, перечиталъ вслухъ одно ея мѣсто: «Еще созданіе художника есть тайна для всѣхъ, еще онъ не бралъ пера въ руки,—а уже видитъ ихъ (образы) ясно, уже можетъ счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изобразившаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чѣмъ вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также онъ знаетъ и то, что они будутъ говорить и дѣлать, видитъ всю нить событій, которая обовѣетъ и свяжетъ между собою...»—Это совершенная истина,—замѣтилъ Гоголь, и тутъ же прибавилъ съ полусагнѣнчивой и полунасмѣшливой улыбкой, которая была ему свойственна: «только не понимаю, чѣмъ онъ (Вѣлинскій) послѣ этого восхищается въ повѣстяхъ Полевого». Мѣткое замѣчаніе, понавшее прямо въ больное мѣсто критика; но надо сказать, что, кромѣ участія романтизма въ благожелательной оцѣнкѣ разсказовъ Полевого, была у Вѣлинскаго и еще причина для нея. Вѣлинскій высоко цѣнилъ тогда заслуги знаменитаго журналиста и глубоко соболѣзовалъ о насильственномъ прекращеніи его дѣятельности по изданію «Московскаго Телеграфа»; все это повліяло на его сужденіе и о беллетристической карьерѣ Полевого.

Но рѣшительное и восторженное слово было сказано и сказано не на-обумъ. Для поддержанія, оправданія и укорененія его въ общественномъ сознаніи, Вѣлинскій издержалъ много энергіи, таланта, ума, переломалъ много копій, да и не съ одними только врагами писателя, открывавшаго у насъ реалистическій періодъ литературы, а и съ друзьями его. Такъ, Вѣлинскій опровергалъ критика «Московскаго Наблюдателя» 1836 г., когда тотъ, въ странномъ энтузіазмѣ, объявилъ, будто за одно «слышу», вырвавшееся изъ устъ

Гараса Булыби въ отвѣтъ на восклицаніе казнимаго и мучимаго сына: «слышишь-ли ты это, отецъ мой?» будто за одно это восклицаніе—«слышу», Гоголь достоинъ былъ бы безсмертія; а въ другой разъ опровергалъ того же критика и не менѣе побѣдоносно, когда тотъ выразилъ желаніе, чтобы въ разсказѣ «Старосвѣтскіе помѣщики» не встрѣчался намекъ на *примычку*, а всѣ сношенія между идиллическими супругами объяснялись только однимъ нѣжнымъ и чистымъ чувствомъ, безъ всякой примѣси.

Вспомнимъ также, что «Ревизоръ» Гоголя, потерпѣвшій фіаско при первомъ представленіи въ Петербургѣ и едва не согнанный со сцены стараніями «Библиотеки для чтенія», которая, какъ говорили тогда, получила внушеніе извнѣ преслѣдовать комедію эту, какъ политическую, несвойственную русскому міру, — возвратился, благодаря Бѣлинскому, на сцену уже съ эпитетомъ «геніальнаго произведенія». Эпитетъ даже удивилъ тогда своей смѣлостью самихъ друзей Гоголя, очень высоко цѣнившихъ его первое сценическое произведеніе. А затѣмъ, не останавливаясь передъ осторожными замѣтками благоразумныхъ людей, Бѣлинскій написалъ еще рѣзкое возраженіе всѣмъ хулителямъ «Ревизора» и покровителямъ пошловатой комедіи Загоскина «Недовольные», которую они хотѣли противопоставить первому. Это возраженіе носило просто заглавіе: «Отъ Бѣлинскаго», и объявляло Гоголя безоглядно великимъ европейскимъ художникомъ, упрочивая окончательно его положеніе въ русской литературѣ. Бѣлинскій самъ вспоминалъ впоследствии съ нѣкоторой гордостью объ этомъ подвигѣ «прямой», какъ говорилъ, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библиографическое извѣстіе о выходѣ «Мертвыхъ Душъ», VI, 396, 400, 404 etc.). Таковы были услуги Бѣлинскаго по отношенію къ Гоголю; но послѣдній не остался у него въ долгу, какъ увидимъ.

Николай Васильевичъ Гоголь жилъ уже за границей въ описываемое нами время, и уже два года, какъ основался въ Римѣ, гдѣ и посвятилъ себя всецѣло окончанію первой части «Мертвыхъ Душъ». Правда, онъ побывалъ въ Петербургѣ зимой 1839 года и читалъ тамъ здѣсь первыя главы знаменитой своей поэмы, у Н. А. Прокоповича, но Бѣлинскаго не было на вечерѣ: онъ находился случайно въ Москвѣ. Врядъ-ли Гоголь и считалъ тогда Бѣлинскаго за какую-либо надежную силу. По крайней мѣрѣ въ нимолетнихъ отзывахъ, слышанныхъ мною отъ него нѣсколько позднѣе (въ 1841 году, въ Римѣ) о русскихъ людяхъ той эпохи, Бѣлинскій не занималъ никакого мѣста. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарныя воспоминанія отложены въ сторону. И понятно, — отчего:

между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском Наблюдателѣ», горькіе отзывы Вѣлинскаго о нѣкоторыхъ людяхъ того кружка, который уже призывалъ Гоголя спасти русское общество отъ философскихъ, политическихъ и вообще западныхъ мечтаній. Н. В. Гоголь видимо склонялся къ этому призыву и начиналъ считать настоящими своими цѣнителями людей надежнаго образа мыслей, очень дорожащихъ тѣмъ самымъ строемъ жизни, который подвергался обличенію и осмѣянію. Николай Васильевичъ вспомнилъ о Вѣлинскомъ только въ 1842 году, когда для успѣха «Мертвыхъ Душъ» въ публикѣ, уже представленнаго на цензуру, содѣйствіе критика могло быть не бесполезно. Онъ устроилъ тогда одно *тайное* свиданіе съ Вѣлинскимъ, въ Москвѣ, гдѣ послѣдній случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, въ кругу своихъ петербургскихъ знакомыхъ, не имѣвшихъ никакихъ соприкосновеній съ литературными партіями: секретъ свиданій былъ дѣйствительно сохраненъ, но, какъ я узналъ послѣ, они нисколько не успѣли завязать личныхъ дружескихъ отношеній между писателями. Все это было, однакоже, еще впереди и случилось уже въ мое отсутствіе изъ Петербурга и Россіи.

Теперь же, наканунѣ моего отъѣзда за-границу въ 1840 г., Вѣлинскій какъ-то особенно былъ погруженъ въ изученіе и пересмотръ гоголевскихъ сочиненій. Онъ и прежде пропитался молодымъ писателемъ настолько, что безпрестанно цитировалъ разныя лаконически-юмористическія фразы, столь обильныя въ его твореніяхъ, но теперь Вѣлинскій особенно и страстно занимался выводами, какіе могутъ быть сдѣланы изъ нихъ и вообще изъ дѣятельности Гоголя. Можно было подумать, что Вѣлинскій повѣряетъ Гоголемъ самыя начала, свойства, элементы русской жизни, и ищетъ уяснить себѣ, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ произведенія поэта къ собственнымъ философскимъ его, Вѣлинскаго, воззрѣніямъ, и какъ они съ ними могутъ ужиться. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что время измѣненія и перелома въ созерцаніи Вѣлинскаго опредѣлить весьма трудно съ нѣкоторой точностію. Фактически несомнѣнно, что въ слѣдующемъ 1841 году свершился мгновенный поворотъ критика къ новымъ убѣжденіямъ, но приготовлялся онъ ранѣе и тогда, когда критикъ еще не покидалъ старой почвы и старой теоріи. Я сохраняю убѣжденіе, что вмѣстѣ съ другими агентами его отрезвленія — уроками жизни, развитіемъ собственной его мысли и внушеніями друзей — Лермонтовъ и Гоголь были не послѣдними агентами, что доказывается и статьями о нихъ, написанными Вѣлинскимъ въ теченіи 1840 года. Подъ дѣйствіемъ поэта реальной жизни, каковымъ былъ тогда Гоголь, философскій оптимизмъ Вѣлинскаго долженъ былъ



разложиться, какъ только его серьёзно сопоставили съ картинами русской дѣйствительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь бѣдѣ, — слѣдовало или соглашаться съ художникомъ, общающемся еще много новыхъ созданий, въ томъ же духѣ, или покинуть его, какъ не понимающаго той жизни, которую изображаетъ. Притомъ же обличенія Гоголя довершали рядъ обличений, начатыхъ уже самымъ строемъ жизни и критическимъ умомъ Вѣлинскаго прежде. Конечно, болѣе правильное пониманіе известной формулы Гегеля о тождествѣ дѣйствительности и разумности, освободившее умъ Вѣлинскаго отъ философскаго обмана, дано было совсѣмъ не Гоголемъ, но Гоголь его подтвердилъ. Такимъ-то образомъ расплачивался Николай Васильевичъ съ критикомъ за все, что получилъ отъ него для уясненія своего призванія; но вотъ что замѣчательно: обоимъ имъ суждено было помѣняться ролями и разойтись по тѣмъ же дорогамъ, по которымъ пришли другъ къ другу. Пока Вѣлинскій, выведенный однажды на почву реализма, прокладывалъ себѣ дорогу все далѣе и далѣе по одному направленію, — романистъ, способствовавшій ему обрѣсти этотъ вѣрно намѣченный путь, возвращался самъ, послѣ долгихъ блужданій, къ той исходной точкѣ, на которой стоялъ, при самомъ началѣ, его критикъ. Обиѣявшіе мѣстами, они уже, каждый съ своей стороны, стремились достичь крайнихъ, послѣднихъ выводовъ своего положенія, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли — мысли, обращенной въ различныя стороны.

## IX.

Что касается Лермонтова, то Вѣлинскій, такъ-сказать, овладевалъ имъ и входилъ въ его созерцаніе медленно, постепенно, съ насилиемъ надъ собой. При первомъ появленіи знаменитой Лермонтовской думы: *«Печально я ляжу на наше поколѣнье»*, помѣщенной въ № 1-мъ *«Отечественныхъ Записокъ»* 1839 года, — этого монолога, надъ которымъ, впоследствии, критикъ долго и часто задумывался, которымъ не могъ насытиться и о которомъ позднѣе не могъ наговориться, — Вѣлинскій, еще жившій въ Москвѣ, выразился коротко и ясно: *«Это стихотвореніе энергическое, могучее по формѣ»*, — сказалъ онъ, — *«но нѣсколько прекраснѣе по содержанію»*. Известно, что выражалъ эпитетъ *«прекраснодушный»* въ нашемъ философскомъ кружкѣ. Однакоже Вѣлинскій не успѣлъ отдѣлаться отъ Лермонтова однимъ рѣшительнымъ приговоромъ. Несмотря на то, что характеръ лермонтовской поэзіи противорѣчилъ

временному настроенію критика, молодой поэтъ, по силѣ таланта и смѣлости выраженія, не переставалъ волновать, вызывать и раздражать критика. Лермонтовъ втягивалъ Вѣлинскаго въ борьбу съ собою, которая и происходила на нашихъ глазахъ. Ничто не было такъ чуждо сначала всѣмъ умственнымъ привычкамъ и эстетическимъ убѣжденіямъ Вѣлинскаго, какъ иронія Лермонтова, какъ его презрѣніе къ теплomu и благородному ощущенію въ то самое время, когда оно зарождается въ человѣкѣ, какъ его горькое разоблаченіе собственной своей пустоты и ничтожности, безъ всякаго раскаянія въ нихъ и даже съ нѣкотораго рода кичливостію. Новость и оригинальность этого направленія именно и привязывали Вѣлинскаго къ поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Вѣлинскій не распознавалъ въ Лермонтовѣ отголоска французскаго байронизма, какъ этотъ выразился въ литературѣ парижскаго переворота 1830 года и въ произведеніяхъ «юной Франціи», — а также и примѣси нашего русскаго велико-свѣтскаго фрондѣрства, построеннаго еще на болѣе шаткихъ основаніяхъ, чѣмъ парижскій скептицизмъ и отчаяніе. Но онъ не отыскивалъ другія причины и основанія, а не тѣ, которыя выходили изъ самой жизни поэта. Художническій талантъ Лермонтова закрывалъ лицо поэта и мѣшалъ распознать его. Кромѣ замѣчательной силы творчества, которую онъ постоянно обнаруживалъ, — онъ еще отличался проблесками безпокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость въ поэзіи, и, по теоріи, источника ей приходилось искать въ долгомъ трудѣ головы, въ пламенномъ сердцѣ, мучительномъ опытѣ и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на нихъ. И вотъ, Вѣлинскій принялся защищать Лермонтова — на первыхъ порахъ отъ Лермонтова-же. Мы помнимъ, какъ онъ носился съ каждымъ стихотвореніемъ поэта, появившимся въ «Отечественныхъ Запискахъ» (они постоянно тамъ печатались съ 1839 года), и какъ онъ прозрѣвалъ въ каждомъ изъ нихъ глубину его души, большое, нѣжное его сердце. Позднѣе, онъ также точно носился и съ «Демономъ», находя въ поэмѣ, кромѣ изображенія страсти, еще и пламенную защиту человѣческаго права на свободу и на неограниченное пользованіе ею. Драма, развивающаяся въ поэмѣ между мѣстеческими существами, имѣла для Вѣлинскаго совершенно реальное содержаніе, какъ біографія или мотивъ изъ жизни дѣйствительнаго лица.

Памятникомъ усилій Вѣлинскаго растолковать настроеніе Лермонтова въ наилучшемъ смыслѣ остался превосходный разборъ романа «Герой нашего времени», отъ 1840 года. Здѣсь-то, свисая Печорина отъ обвиненія въ дикихъ помыслахъ, въ циническихъ вы-

идеяхъ безпрестанно-рисующагося и себя оправдывающаго эгоизма, что сдѣлало бы его лицомъ противо-эстетическимъ, а стало быть, по теоріи, и безнравственнымъ, Бѣлинскій находитъ гипотезу, способную дать ключъ къ уразумѣнію наиболее возмутительныхъ поступковъ героя. Бѣлинскій пишетъ по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, въ высшей степени искусственную и краснорѣчивую. Найденная имъ гипотеза состоитъ въ томъ, что Печоринъ еще неполный человѣкъ, что онъ переживаетъ минуты соборнаго развитія, которыя принимаетъ за окончательный выводъ жизни, и самъ ложно судить о себѣ, представляя свою особу мрачнымъ существомъ, рожденнымъ для того, чтобы быть палачомъ ближнихъ и отравителемъ всякаго человѣческаго существованія. Это — его недоразумѣніе и его клевета на самого себя. Въ будущемъ, когда Печоринъ завершитъ полный кругъ своей дѣятельности, онъ представляется Бѣлинскому совсѣмъ въ другомъ видѣ. Его строгое, холодное и чуждое лицемѣріе самоосужденіе, его откровенная провѣрка своихъ наклонностей, какъ бы извращены онѣ ни были, а главное — сила его духовной природы, служатъ залогомъ, что подъ этимъ человѣкомъ есть другой, лучшій человѣкъ, который только переживаетъ эпоху своего искуса. Бѣлинскій пророчилъ даже Печорину, что примиреніе его съ міромъ и людьми, когда онъ завершитъ всѣ естественныя фазисы своего развитія, произойдетъ именно черезъ женщину, такъ унижаемую, попираемую и презираемую имъ теперь. Какъ добрая нянька, Бѣлинскій слѣдитъ далѣе за всѣми движеніями и помыслами Печорина, отыскивая при всякомъ случаѣ всевозможныя облегчающія обстоятельства для снисходительнаго приговора надъ нимъ, надъ его невыносимой претензіей играть человѣческой жизнію по произволу и дѣлать кругомъ себя жертвы и трупы своего эгоизма. Одинъ только разъ Бѣлинскій останавливается передъ выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже словъ для уясненія грубой мысли героя и признаваясь, что не понимаетъ его. Случилось это тогда, когда Печоринъ, при мысли, что обольщенная имъ женщина проведетъ ночь въ слезахъ, чувствуетъ трепетъ неизъяснимаго блаженства и проговариваетъ: «Есть минуты, когда я понимаю вампира! — а еще слышу добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!» — «Что такое вся эта сцена?» восклицаетъ наконецъ Бѣлинскій. — «Мы понимаемъ ее только, какъ свидѣтельство, до какой степени ожесточенія и безнравственности можетъ довести человѣка вѣчное противорѣчіе съ самимъ собою, вѣчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства, но *последней ея черты мы рѣшительно не понимаемъ*»...

Такъ боролся Бѣлинскій съ Лермонтовымъ, который, подъ ко-

нецъ, однако же одолѣлъ его. Выдержка у Лермонтова была замѣчательная: онъ не сказалъ никогда ни одного слова, которое отражало бы черту его личности, сложившейся, по стеченію обстоятельствъ, очень своеобразно; онъ шелъ прямо и не обнаруживалъ никакого намѣренія измѣнить свои горделивыя, презрительныя, и подчасъ и жестокія отношенія къ явленіямъ жизни на какое-либо другое, болѣе справедливое и гуманное представленіе ихъ. Продолжительное наблюденіе этой личности, виѣстъ съ другими, родственными ей по духу на Западѣ, забросили въ душу Вѣлинскаго новыя сѣмена того позднѣйшаго ученія, которое признавало, что вѣрнѣйшей чистой лирической поэзіи, свѣтлыхъ наслажденій образами, психическими откровеніями и фантазіями творчества — миновало, и что единственная поэзія, свойственная нашему вѣку, есть та, которая отражаетъ его разорванность, его духовныя немощи, плачевное состояніе его совѣсти и духа. Лермонтовъ былъ первымъ человекомъ на Руси, который навелъ Вѣлинскаго на это созерцаніе, впрочемъ, уже подготовленное и самымъ психическимъ состояніемъ критика. Оно пустило обильныя ростки впоследствии.

Такимъ образомъ, всѣ матеріалы для устраненія отвлеченнаго, философскаго принципа, вся нужная подготовка для выхода изъ фальшиваго псевдо-гегелевскаго оптимизма были уже теперь налицо; но Вѣлинскій освобождался отъ стараго воззрѣнія, такъ тщательно воспитаннаго имъ въ себѣ, медленно, какъ отъ любви, хотя уже съ половины 1840 года онъ не могъ вспоминать и говорить безъ ужаса и отвращенія о статьѣ своей: «Менцель», которой онъ открылъ этотъ замѣчательный годъ своей жизни и которая была написана имъ еще въ Москвѣ (1839 г.). Эстетическія статьи, о которыхъ мы сейчасъ говорили, послѣдовавшія за ней, были плодомъ уже петербургскихъ его думъ. На нихъ еще лежитъ во многихъ мѣстахъ отблескъ стараго направленія, но съ ними снова выходилъ на литературную арену замѣчательный критикъ въ полномъ обладаніи своей мыслью и своимъ увлекательнымъ словомъ. Проснулись всѣ его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензіями, — онъ составляли почти *событія* въ литературномъ мірѣ того времени. Всѣ онъ устанавливали новыя точки зрѣнія на предметы, читались съ жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатлѣніе на современную публику, на всѣхъ насъ, какіе бы оттѣнки прежнихъ, не вполне покинутыхъ убѣжденій, еще ни встрѣчались въ нихъ, и какъ бы самъ авторъ ни осуждалъ впоследствии нѣкоторыя изъ ихъ положеній и приговоровъ, за излишній пылъ и черезъ мѣру высокій тонъ ихъ. Вѣлинскій, какъ критикъ-художникъ, являлся дѣйстви-

ально челоѣкомъ власти и могущества, подчиняющимъ себѣ. Достаточно вспомнить для объясненія обаятельнаго дѣйствія всѣхъ его рецензій 1840 года, послѣ «Менцеля», что въ каждой изъ нихъ происходила, такъ-сказать, художническая анатомія даннаго произведенія, открывалось его внутреннее строеніе съ очевидностью и осмысленностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслажденіе, чѣмъ чтеніе самаго оригинала. Это было восстановленіе произведенія, только уже проведеннаго, такъ-сказать, черезъ душу и эстетическое чувство критика и получившаго отъ фанатизма съ ними новую жизнь, большую свѣжесть и болѣе глубокое выраженіе. Такъ, въ художническо-эстетической критикѣ 1840 года, Бѣлинскій находилъ выходъ изъ опутавшаго его философскаго догматизма. Съ этимъ направленіемъ я его и оставилъ, при моемъ отъѣздѣ за-границу.

## X.

Прежде отъѣзда мнѣ пришлось, однако же, побывать опять въ Москвѣ. На этотъ разъ Бѣлинскій снабдилъ меня письмомъ къ Василію Петровичу Боткину, котораго я вовсе не зналъ, но о которомъ много и часто говорилось при мнѣ. Я побѣждалъ къ нему при первой возможности. Это было въ половинѣ іюня 1840 года.

Я засталъ В. П. Боткина, въ бесѣдѣ сада, прилегавшаго къ извѣстному дому Боткиныхъ на Моросейкѣ. Тутъ онъ устроилъ себѣ очень изящный лѣтній кабинетъ, гдѣ и проводилъ всѣ свободные свои часы, окруженный многочисленными изданіями Шекспира и комментаріями на него европейскихъ изслѣдователей. Онъ составлялъ тогда статью о Шекспирѣ. Я нашелъ въ Боткинѣ тѣхъ временъ молодого челоѣка въ красивомъ парикѣ, съ чрезвычайно умными и выразительными глазами, въ которыхъ меланхолическій оттѣнокъ восторженно сѣялся огоньками и вспышками, свидѣтельствовавшими о физическихъ силахъ, далеко не покоренныхъ умственными занятіями. Онъ былъ блѣденъ, очень строенъ, и на губахъ его мелькала добродушная, но какъ-то осторожная улыбка,—словно врожденный его скептицизмъ, по отношенію къ людямъ, сохранялъ надъ нимъ свои права и въ области безграничнаго идеализма, въ которой онъ тогда находился.

Впослѣдствіи оказалось, что онъ стоялъ на границѣ радикальнаго нравственнаго переворота, котораго и самъ еще не предчувствовалъ. Никто не обращалъ вниманія на внезапные проблески страсти на лицѣ и въ рѣчахъ, которыя часто прорывались у него,

и никому не приходило въ голову подозрѣвать, что въ немъ живъ еще другой человекъ, кромѣ того, котораго знали и любилъ окружающіе его друзья и товарищи.

Мы, разумеется, разговаривали о Бѣлинскомъ и о его мучительныхъ исканіяхъ выхода изъ положеній, очень основательно выведенныхъ изъ даннаго тезиса и очень несостоятельныхъ въ приложеніяхъ къ практической жизни. «Онъ платится теперь, — скажи мнѣ задумчиво и какъ-то строго Боткинъ, словно обращаясь къ самому себѣ, — за одну, весьма важную ошибку въ своей жизни — презрѣніе къ французамъ. Онъ не нашелъ у нихъ ни художественности, ни чистаго творчества, и за это объявилъ имъ непримиримую вражду, а между тѣмъ — безъ знанія ихъ политической пропаганды о нихъ и судить не слѣдуетъ. *Вашъ Петербургъ* принесетъ Бѣлинскому большую пользу въ этомъ отношеніи: онъ непремѣнно измѣнитъ его взглядъ на французовъ». *Вашъ Петербургъ* однако же не былъ въ настоящей мысли Боткина такой панацеей для Бѣлинскаго отъ заблужденій, какъ онъ это заявлялъ. Изъ обширной переписки, которую велъ Боткинъ съ Бѣлинскимъ въ то время, оказалось, что другъ критика еще очень боялся, чтобы на новой почтѣ и отдѣленный отъ своего естественнаго, московскаго круга критикъ не выпустилъ изъ вида великія начала философскаго пониманія предшественниковъ литературы и нравственности!

Разборъ Гоголевскаго «Ревизора», написанный Бѣлинскимъ тогда же, послужилъ отвѣтомъ на эти напрасныя опасенія. Такъ какъ статья эта составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и біографическую черту изъ жизни критика, то я и останавливаюсь на ней.

Можетъ быть, нигдѣ въ сильнѣйшей степени не сказались всѣ самыя видныя качества эстетической критики Бѣлинскаго, о которой говорили, какъ именно въ этомъ разборѣ «Ревизора», котораго Бѣлинскій противопоставлялъ «Горю отъ ума». Здѣсь каждое движеніе души у Хлестакова, городничаго, его жены, дочери, да и вообще у дѣйствующихъ лицъ комедіи выслѣжено съ неутомимостію мыслителя-психолога, разрѣшающаго трудную задачу, которая ему предложена: каждый намекъ на ихъ характеры, часто заключающійся въ одномъ словѣ или бѣглой чертѣ уловленъ со вдохновеніемъ, можно сказать, равносильнымъ художническому. Весь ходъ творческой мысли автора разобранъ до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что онъ присутствуетъ въ какой-то критической лабораторіи, гдѣ разлагаются передъ его глазами всѣ замыслы, приемы и дальновидные расчеты художническаго производства. Тайны чужой работы для Бѣлинскаго какъ-бы не существуютъ. Между прочимъ здѣсь находилось множество мыслей, кото-

ия потомъ, къ удивленію, были усвоены самимъ Гоголемъ и встрѣчаются въ его собственной зашитѣ своей комедіи, какъ, напримѣръ, ислъ, что грубая ошибка городничаго, принявшаго мальчишку Хлестакова за ревизора, есть дѣйствіе встревоженной совѣсти. «Не грозя дѣйствительность, а призракъ, фантомъ или, лучше сказать, нъ отъ страха виновной совѣсти должна была наказать человека израковъ (городничаго)», говорилъ Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ. Уже знаменитое положеніе Гоголя, что честное существо въ «Ревзорѣ» есть смѣхъ, даже и оно сказано было Бѣлинскимъ прежде. Помянувъ, что основа трагедіи всегда зиждется на борьбѣ, возбуждающей состраданіе и заставляющей гордиться достоинствомъ чвѣческой природы, Бѣлинскій продолжаетъ: «такъ и основа комдіи—на комической борьбѣ, возбуждающей смѣхъ; однако же, въ смѣхѣ не одна веселость, но и мщеніе за униженное челоическое достоинство, и, такимъ образомъ, другимъ путемъ, не ели въ трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона»; и много еще подобныхъ мѣстъ заключалось въ статьѣ. Я не вывожу изъ этого сближенія никакихъ заключеній, хотя и позволительно думать, что Гоголь читалъ статью Бѣлинскаго, по крайней мѣрѣ, весьма внимательно. Что же касается «Горя отъ ума», то Бѣлинскій считалъ комедію изумительной оригинальностью нравовъ и гениальной сатирой, но не находилъ въ ней художнически-построеннаго созданія и, восхищаясь ею, сожалѣлъ, что не можетъ приложить къ ней тѣхъ способовъ философско-эстетическаго анализа, которые употреблялъ для разбора «Ревизора». Онъ былъ еще связанъ теоретическими запрещеніями и ограниченіями; и много позднѣе, въ эпоху обращенія къ политическимъ и общественнымъ вопросамъ, о которой пророчилъ В. П. Боткинъ, Бѣлинскій и считалъ этотъ приговоръ далеко не исчерпывающимъ всего знанія комедіи Грибоедова.

Между прочимъ, въ это же самое время, Бѣлинскій покончилъ въ расчеты и связи съ человекомъ, котораго онъ цѣнилъ еще не вно очень высоко и котораго глубоко уважалъ и любилъ, — съ А. Полевымъ. Подъ гнетомъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, А. Полевой, сдѣлавшійся издателемъ «Сына Отечества», перешелъ на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи и саго развитія независимой, критической журнальной дѣятельности, у которой, между прочимъ, онъ самъ же и открылъ у насъ. Отвѣчая теперь презрительно и насмѣшливо о молодыхъ попыткахъ искать какія-то особенныя начала для жизни и мысли, безъ справки опытомъ и условіями времени, Полевой думалъ сдѣлаться необходимымъ человекомъ въ томъ кругу людей и понятій, къ которымъ

пристроился послѣ паденія «Московского Телеграфа». Но расчетъ его и тутъ не удался. Онъ былъ имъ подозрителенъ и тогда, когда защищалъ ихъ. Всего этого было, однакоже, довольно, чтобы потушить у Бѣлинскаго тѣ искры привязанности, которыя онъ постоянно питалъ въ душѣ къ прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Онъ это и высказалъ откровенно въ разборѣ «Очерковъ русской литературы» Н. А. Полевого, разборѣ, который можетъ стать рядомъ съ прежнимъ его разборомъ дѣятельности С. П. Шевырева по яркости красокъ и убѣдительности доводовъ: оба эти разбора заслоняли людей новаго поколѣнія отъ вліянія авторитетовъ и репутацій, переставшихъ отвѣчать потребностямъ времени, и оба порѣшили участь двухъ значительныхъ именъ въ литературѣ.

Когда я вернулся послѣ трехмѣсячной лѣтней отлучки моей съва въ Петербургъ, я нашелъ въ Бѣлинскомъ большую переищу. Бѣлинскій уже вышелъ изъ психическаго кризиса, въ которомъ я его оставилъ. Упреки, которые онъ дѣлалъ себѣ въ глубинѣ души и уединенно за свое недавнее увлеченіе, высказывалъ онъ теперь торжественно, явно, во всеуслышаніе. Тонъ и складъ его разговоровъ проникнутъ былъ самообличеніемъ самымъ яркимъ и безпощаднымъ. Онъ уже пережилъ и позабылъ боль скорбныхъ признаній и дѣлалъ ихъ теперь публично. Получая укоры со всѣхъ сторонъ, Бѣлинскій уже свободно разбиралъ ихъ, оправдывалъ и пополнялъ. Станкевичъ писалъ изъ Берлина съ изумленіемъ о *новыхъ* теоріяхъ, народившихся въ Петербургѣ; о негодованіи же въ кругѣ Г., въ которомъ числился, кромѣ О. и другихъ, тогда еще и Грановскій, было уже нами сказано выше. Даже и обличенія постороннихъ лицъ, гораздо менѣе друзей стѣснявшихся пріискиваніемъ позорныхъ источниковъ для объясненія ультраконсервативной дѣятельности Бѣлинскаго, находили въ немъ своего адвоката. Онъ становился на сторону своихъ диффаматоровъ, досказывалъ имъ самъ черты, которыя могли бы усилить ядовитость ихъ полемики, и только для себя не находилъ никакого оправданія. Такъ разрѣшался его кризисъ. Можно было подумать, что Бѣлинскій находитъ что-то облегчающее для себя въ этихъ безпрестанныхъ истязаніяхъ своей репутаціи. Черта такого самобичеванія проявлялась у Бѣлинскаго иногда и безъ особенно важныхъ поводовъ, порождая иногда уморительныя и юмористическія всыпки. Извѣстно, что нашъ критикъ погрѣшилъ еще въ 1839 г. пятиактной, скучно-психической и сентиментальной комедіей («Пятидесятилѣтній дядюшка»), о которой не любилъ вспоминать, и которой стыдился. Однажды и уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ ея появленія, когда Бѣлинскій имѣлъ въ литературѣ значи-



гельное имя и вліяніе, онъ былъ представленъ гдѣ-то извѣстному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который съ перваго же слова объявилъ, что онъ не сочувствуетъ его критической дѣятельности, но за то находитъ комедію его гениальной вещью. Бѣлинскій затѣмъ уже никогда не могъ вспомнить объ этомъ отзывѣ безъ выраженія безмѣрнаго изумленія, какъ будто дѣло шло о чемъ-то совершенно невозможномъ и неестественномъ.

Достойно замѣчанія еще и то обстоятельство, что смыслъ вообще философскихъ статей Бѣлинскаго не былъ разгаданъ и патриотами-консерваторами эпохи, которымъ статьи должны были бы придтись по сердцу, и которые, наоборотъ, присоединились къ толпѣ, преслѣдовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радѣвшіе, какъ о внутреннемъ, такъ и о внѣшнемъ достоинствѣ русской жизни, какъ, напримѣръ, С. Шевыревъ, не угадали помощи, какую приносятъ статьи Бѣлинскаго ихъ собственному дѣлу, по множеству очень умныхъ и дѣльных замѣтокъ о психологіи народной, которыя въ нихъ заключались и опередили науку о психической жизни народовъ, нынѣ появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманномъ языкѣ Бѣлинскаго — и далѣе не пошли, довольствуясь случаемъ лишній разъ поглумиться надъ противникомъ. Такимъ образомъ, большого политическаго смысла не обнаружилось ни съ той, ни съ другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески нѣкотораго политическаго смысла зародились у насъ только въ разгарѣ великаго спора между славянофилами и западниками, тамъ они и окрѣпли, о чемъ будемъ говорить далѣе.

## XI.

По осени того же 1840 года, явился въ Петербургъ молодой человѣкъ, М. К.—въ, изъ Москвы, переводчикъ «Ромео и Юлія», уже составившій себѣ репутацію человѣка съ основательными филологическими познаніями и съ замѣчательными способностями къ увлеченному мышленію и къ критикѣ идей. Но въ это время онъ преслѣдовалъ еще и другія цѣли, стараясь показаться человѣкомъ не только энциклопедическаго образованія, но и страстныхъ житейскихъ увлеченій, занимаясь точно также философскими соображеніями, поэзіей, искусствомъ и творчествомъ, какъ и сообщеніемъ своей фizioноміи демоническаго выраженія. Желаніе прослыть человекомъ, способнымъ понимать и чувствовать въ себѣ всѣ стороны существованія, бросало его, по временамъ, въ необычайныя попыт-

ки, подсказывало дѣйствія и порывы совершенно фантастическаго характера, частію искренніе, такъ какъ онъ дѣйствительно обладалъ страстной, увлекающейся натурой, а частію придуманные, въ видѣ украшенія, отличія, *полезной* психической черты. Все это виѣстъ довольно плохо вязалось съ планами ученой и труженнической жизни, какіе онъ дѣлалъ для себя, и создавало изъ него загадку для окружающихъ, чего онъ и хотѣлъ. Уже съ 1839 года, К—въ былъ сотрудникомъ «Литературныхъ Прибавленій» и «Отечественныхъ Записокъ» г. Краевского, и виѣстъ съ Бѣлинскимъ, при обновленіи редакціи послѣдняго журнала, очутился въ числѣ главныхъ его руководителей. По прибытіи въ Петербургъ, онъ остановился также у И. И. Панаева, — орудія и агента этого обновленія. Онъ появился, однако же, не надолго, пробираясь въ Берлинъ, для окончанія философскаго и научнаго образованія во-первыхъ, а во-вторыхъ для исполненія одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновенію, выходка В. по поводу одной московской исторіи вызвала въ самомъ кабинетѣ Бѣлинскаго порядочно безобразную сцену между К—вымъ и В., когда оба они находились уже въ Петербургѣ. Дѣло должно было разрѣшиться дуэлью въ Берлинѣ. Къ удовольствію друзей, принимавшихъ участіе въ противникахъ, дуэль не состоялась вовсе <sup>1)</sup>. Въ Петербургѣ К—въ былъ предшественъ, какъ я сказалъ, репутаціей человѣка нервнаго характера и оригинальнаго ума, питаемаго особенно знакомствомъ съ источниками господствовавшихъ тогда теорій, и, наконецъ, писателя, уже отличившагося мастерствомъ своимъ выражать мѣтко и живописно оригинальныя стороны философскихъ идей, историческихъ эпохъ и предметовъ искусства вообще. Критическія статьи К—ва дѣйствительно возбѣщали очень свѣжій, разнообразный и сильный талантъ; между ними остается мнѣ памятной рецензія его на книгу Зиновьева: «Основаніе русской стилистики», гдѣ первое возникновеніе риторики, какъ науки, оправдывалось строемъ всей древней греческой жизни и цивилизаціи, и осязательно показывалась нелѣпость ея претензіи на званіе науки въ быту новыхъ обществъ. Тѣмъ же характеромъ блестящаго изложенія и пониманія исторической и бытовой сущности вопросовъ отличаются и многія другія его статьи въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 и 1840 гг. Бѣлинскій очень дорожилъ его сотрудничествомъ въ «Отечествен-

<sup>1)</sup> При отъѣздѣ моемъ за границу, Бѣлинскій, рассказывая подробности сцены, поручалъ мнѣ стараться о примиреніи враговъ. „Было бы большимъ несчастіемъ“, говорилъ онъ, „потерять такого человѣка, какъ К—въ; дѣйствуйте особенно на В.— онъ же резонеръ и на сдѣлку пойдетъ скорѣе“.

ныхъ Запискахъ» и ожидалъ отъ того большихъ послѣдствій для журнала, чего, однакоже, не сбылось.

К—въ переживалъ тогда тотъ періодъ развитія, который можно назвать *«сиротностію молодости»*, и который часто разрѣшается явленіями, которыя кажутся совершенно невозможными и дикими въ приложеніи къ лицу, узнанному нами позднѣе, когда оно уже вполне опредѣлилось. Съ физіономіи его почти не сходило тогда выраженіе нѣкотораго легкаго презрѣнія къ *интеллигенціи*, его окружавшей, а поступки его еще сильнѣе выражали убѣжденіе въ своемъ правѣ не дорожить ею. Бѣлинскій не составлялъ исключенія. К—въ ни мало не скрывалъ высокаго понятія о самомъ себѣ и большихъ надеждъ, возлагаемыхъ имъ на свою будущность, и думалъ, что они могутъ служить достаточнымъ основаніемъ для снисходительнаго взгляда на его рѣзкія выходки и несправедливости къ друзьямъ, которые только и занимались тѣмъ, чтобъ поддерживать, поощрять и укрѣпить его дѣятельность и вліяніе. Въ короткое время своего пребыванія въ Петербургѣ, кромѣ нѣкоторыхъ библіографическихъ статей, онъ перевелъ, вмѣстѣ съ другими участниками, романъ Купера «Патфайндеръ» и составилъ этюдъ «Сарра Толстая», который появился въ «Отечественныхъ Запискахъ» почти передъ самымъ его отъѣздомъ за границу. Бѣлинскій, еще до напечатанія этого этюда, былъ очень доволенъ имъ и даже много говорилъ о немъ, но не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ перемѣнилъ свое мнѣніе объ этюдѣ, о чемъ я уже узналъ впоследствии. Ему сдѣлались вдругъ противны психическія изысканія въ области *духа*, анализъ неумовимыхъ чувствъ и ощущеній внутренняго человѣческаго существованія, словомъ, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьёй К—ва, но которая начинала уже терять всякое значеніе для Бѣлинскаго. Было и еще соображеніе. По всему складу мысли и дѣятельности К—ва, съ первыхъ же его шаговъ за границей, все яснѣе оказывалось, что онъ гораздо болѣе занятъ мыслию водворить въ своемъ отечествѣ новыя основы положительнаго соверпанія и вѣрованія, какія онъ открылъ въ позднѣйшей философіи «Откровенія» Шеллинга, чѣмъ призваніемъ работать на просвѣтленіе загроубѣлой русской общественной среды, прямо и непосредственно, какъ того требовало время. Самъ К—въ скоро подтвердилъ всѣ догадки Бѣлинскаго. Еще въ Гамбургѣ, ступая, такъ сказать, впервые на почву Европы, онъ думалъ, что успѣхъ «Отечественныхъ Записокъ» доставитъ ему и Бѣлинскому средства безбѣднаго существованія на всю жизнь, а мѣтѣ чѣмъ черезъ годъ онъ прекратилъ всѣ сношенія съ журналомъ. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дѣло неясно-

стію денежныхъ расчетовъ между редакціей и сотрудниками ея, между тѣмъ какъ дѣло разъясняется вполне отвращеніемъ К—на слѣдовать по пути безповоротнаго отрицанія, которое боится и не желаетъ разъясненій. Въ 1842 году, онъ на этомъ основаніи подозрительно относился даже къ «Мертвымъ Душамъ» Гоголя, какъ и имѣлъ случай лично убѣдиться, и не столько къ поэміѣ, сколько къ будущимъ ея панегиристамъ, которыхъ предвидѣлъ и которыхъ болѣе опасался, чѣмъ выводовъ самаго произведенія. Въ глухую осень 1840-го года (октября 5-го), мы съ нимъ сѣли на послѣдній пароходъ, отправлявшійся изъ Петербурга въ Любекъ. Вѣлинскій, Кольцовъ и Панаевъ провожали насъ до Кронштадта.

Я упомянулъ имя Кольцова. Это была моя первая и послѣдняя встрѣча съ этимъ замѣчательнымъ человекомъ. Какъ теперь смотрю на малорослаго, коренастаго поэта, со скулистой, чисто-русской фізіономіей и съ весьма пытливымъ и наблюдательнымъ взглядомъ. Все время проводовъ онъ молчалъ, какъ-бы озадаченный и подавленный умнымъ, а еще болѣе—развязными рѣчами литературныхъ авторитетовъ,—рѣчами, которыя выслушивалъ съ покорнымъ вниманіемъ неопита. Это была какъ будто обязательная маска, принятая имъ въ литературномъ обществѣ, которое такъ много дѣлало для распространенія его извѣстности, потому что и ко мнѣ, совершенно безвѣстному и нисколько не вліятельному лицу кружка, онъ подошелъ, послѣ обѣда въ Кронштадтѣ, со словами: «не забывайте, что вы обязаны насъ учить и просвѣщать». Много было искреннаго въ чувствѣ, которое ему подсказывало подобныя слова, но много въ нихъ было также и привычки, взятой въ постоянное обращеніе съ кругомъ писателей. Она не мѣшала, однако же, его сужденію. По словамъ Вѣлинскаго, не было человека болѣе зоркаго, проницательнаго и догадливаго, чѣмъ Кольцовъ съ его спокойнымъ и покорнымъ видомъ: онъ распознавалъ людей сквозь кору наносной культуры и цивилизаціи и судилъ о нихъ очень правильно и самостоятельно. Это не мѣшало ему и въ жизни, и въ поэтической дѣятельности, отдавать по временамъ самого себя безповоротно во вліяніе и управленіе какой-либо излюбленной личности, чѣмъ онъ тоже выражалъ свою русскую природу вполне. Вѣлинскій, наприимѣръ, распорядился его мыслию и душой самовластно: кромѣ того, что критикъ нашъ высвободилъ его народную и поразительно-образную пѣсню отъ дурныхъ резонерскихъ привычекъ, онъ навѣялъ также Кольцову сперва его религіозныя гимны, а затѣмъ пробудилъ въ немъ зародыши поэтическаго созерцанія жизни и жажду по наслажденіямъ бытія, какую оно за собой выводитъ. При Кольцовѣ ссѣмались, однако же, все та же оригинальная форма, тотъ же

оборотъ и неподражаемый складъ рѣчи, на что бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавнія подозрѣнія, брошенныя на поэта въ присвоеніи чужой литературной собственности. Есть анекдотъ отъ эпохи, теперь нами передаваемой, который Бѣлинскій повторялъ не разъ. Въ разгарѣ московскаго философскаго настроенія, собрался однажды у В. П. Боткина кружокъ друзей, занимавшихся наукой наукъ, и притомъ собрался въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идеѣ, по открытію новаго фактора въ духовной жизни, по приобрѣтенію новаго горизонта для мысли и т. д. Кружокъ ликовалъ одною изъ этихъ нематеріальныхъ, отвлеченныхъ и теперь уже немногими понятныхъ радостей. Случайно попалъ на него и Кольцовъ, конечно, не вполне уразумѣвавшій основанія восторженныхъ рѣчей своихъ друзей, но общее настроеніе подѣйствовало на него обаятельно. Онъ самъ просвѣтлѣлъ и, удалившись въ кабинетъ хозяина, сѣлъ за письменный его столъ и возвратился черезъ нѣсколько минутъ къ пріятелямъ съ бумажкой въ рукахъ. «*А я написалъ пьсенку*», сказалъ онъ робко, и прочелъ стихотвореніе: «Пѣснь лихача Кудравича», пьесу, которой по-своему какъ-бы отвѣчалъ и вторилъ шумной рѣчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Не мѣшаетъ сказать мимоходомъ, что часть біографіи Кольцова, касающаяся его семейныхъ дѣлъ, кажется, должна быть принята теперь съ нѣкоторою осторожностью и оговоркой, необходимыхъ особенно для подтвержденія догадки, что собственно никакого преднамѣреннаго и обдуманнаго преслѣдованія со стороны родныхъ не было въ жизни Кольцова. Они тогда и долго потомъ еще не считали себя виновными передъ покойнымъ, и дѣйствительно могутъ быть—если не оправданы, то пощажены на судъ потомства. Они жили по правиламъ, обычаямъ и воззрѣніямъ «грубой культуры, которую унаслѣдовали отъ отцовъ, и понять не могли, что прітѣсняютъ и наконецъ губятъ близкаго человѣка однимъ образомъ своихъ дѣлѣхъ понятій и своей жизнію по этимъ понятіямъ. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлбно и безсознательно, и только въ этомъ и заключается именно трагизмъ семейнаго положенія Кольцова, обреченнаго на жизнь въ безобразной средѣ съ той степеню развитія, которую уже имѣлъ...

Мы такъ и уѣхали, оставивъ Бѣлинскаго при разработкѣ эстетическихъ началъ, которыя онъ понималъ далеко не такъ узко, какъ положено думать объ эстетическихъ пріемахъ вообще. По нѣкоторымъ чертамъ, мною уже приведеннымъ, можно судить, какое многозначительное содержаніе онъ сообщалъ имъ, а чѣмъ далѣе онъ

шелъ, тѣмъ все болѣшую широту получали и его эстетическія начала, обнимавшія не одни только условія и задачи искусства, но и связанные съ ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати, о послѣдней. При отъѣздѣ я уносилъ съ собой образъ Бѣлинскаго преимущественно какъ правоучителя и объ этомъ считаю нужнымъ сказать теперь нѣсколько словъ.

Кто не знаетъ, что моральная подкладка всѣхъ мыслей и сочиненій Бѣлинскаго была именно той силой, которая собирала вокругъ него пламенныхъ друзей и поклонниковъ. Его фанатическое, такъ-сказать, исканіе правды и истины въ жизни не покидало его и тогда, когда онъ на время уходилъ въ сторону отъ нихъ. Авторитетъ его какъ моралиста никогда не страдалъ между окружающими отъ его заблужденій. Необычайная честность всей его природы и способность убѣждать другихъ и освобождать ихъ отъ дурныхъ пристрастій мысли, продолжали дѣйствовать на друзей обаятельно и тогда, когда онъ шелъ въ разрѣзъ съ ихъ убѣжденіями. Очеркъ его моральной проповѣди, длившейся всю жизнь его, былъ бы и настоящей его біографіей.

Къ концу 1840 года нравственное уже не выводилось изъ болѣе изъ полного устраненія своей личности, своего я, и изъ передачи всего себя въ лоно безпредѣльной *любви*, какъ въ первый (шеллинговскій) періодъ развитія; оно не заключалось также въ *пониманіи* самого себя, какъ высшаго творческаго момента въ дѣятельности всеобщаго разума и высшей идеи, какъ выходило по Гегелю. Безпредѣльная *любовь* и абсолютное *пониманіе* своей духовной сущности, какъ начала, изъ которыхъ вытекаютъ всѣ правила жизни, замѣнялись другимъ и единственнымъ дѣятелемъ. Теперь нравственное для Бѣлинскаго состояло въ эстетическомъ воспитаніи самого себя, т.-е. въ приобрѣтеніи чуткости къ правдѣ, добру, красотѣ, и въ усвоеніи неодолимаго органическаго отвращенія къ безобразію всякаго вида и рода. Я живо помню еще бесѣды, въ которыхъ онъ развивалъ это положеніе. По его убѣжденію, хорошимъ пособіемъ для возведенія себя на степень разумнаго человѣка и просвѣтленной личности можетъ служить изученіе основныхъ идей въ истинно-художественныхъ созданіяхъ. Всѣ эти основныя идеи суть выѣстъ съ тѣмъ и откровенія моральнаго міра. Изъ разбора и усвоенія ихъ возникаетъ въ обществѣ, мало-по-малу, кодексъ нравственности, не писанный, безъ мраморныхъ таблицъ и хартій, но лучше ихъ укореняющійся въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ, лучше ихъ устрояющій внутренній бытъ человѣка, а черезъ человѣка и бытъ цѣлыхъ поколѣній. Каждый новый гениальный художникъ привноситъ, такъ-сказать, въ этотъ свободный кодексъ нравственныхъ началъ

звую черту, новую подробность, которая почерпнута прямо изъ аблюденія и опредѣленія элементовъ духовной природы человѣка. Образуется рядомъ съ живущими, дѣйствующими, писанными и неписанными, нужными и ненужными уставами общечитія и благочитія—другой уставъ, неизмѣримо болѣе свѣтлый, разумный и серьезный, которому слѣдуютъ люди, развитые эстетически. Человѣкъ, юспитанный на міросозерцаніи великихъ художниковъ, поэтовъ, философовъ, мыслителей, подъ конецъ самъ становится способнымъ къ творчеству въ области нравственныхъ идей, открываетъ новыя начала правды и возвѣщаетъ ихъ, покоряясь имъ самъ и покоряя имъ другихъ. Бѣлинскій нашелъ очень много глубокихъ соображеній на этой почвѣ, съ которой онъ сошелъ въ концѣ своего позрища на другую, тоже давшую ему много немаловажныхъ выводовъ и о которой еще рѣчь впереди.

И какъ онъ вострепнулся, когда около той же эпохи возвѣщенъ былъ новый журналъ «Маякъ», долженствовавшій, какъ говорили, преимущественно способствовать возобновленію и развитію старой, до-Петровской и испытанной русской морали, позабытой нашимъ свѣтскимъ и литературнымъ обществомъ. Бѣлинскій прежде всѣхъ бросился поднять эту перчатку. Онъ отозвался о скоромъ появленіи журнала враждебно и сердито, и передъ самымъ отъѣздомъ юнимъ показалъ мнѣ даже мѣсто изъ приготавливаемой имъ статьи, гдѣ упоминалось о журналѣ: «Въ нашу уснувшую литературу началъ вкрадываться китайскій духъ; онъ началъ пробираться не подъ своимъ собственнымъ, то-есть китайскимъ именемъ *Дзунъ-Кинъ-Дзынь*, съ чужимъ паспортомъ, съ подложною фамиліею и назвался *мо-малымъ духомъ*. Говорятъ, что добрые мандарины приняли благое замѣреніе надавать на русскомъ языкѣ журналъ, имѣющій цѣлю распространеніе въ русской литературѣ этого благовопно китайскаго духа» (въ разборѣ «Ольги», романа автора «Семейства Холмскихъ»). Издуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не имѣло еще вполне степени негодованія, объявившей его при извѣстіи о замыслѣ основать журналъ для защиты отжившихъ началъ, отъ бы нѣкогда и очень важной исторической эпохи. Все это было какъ-бы предчувствіемъ той ожесточенной борьбы, какую онъ повестъ скоро противъ тѣхъ же началъ съ врагами, гораздо болѣе яльными и многочисленными, чѣмъ будущая редакція обѣщаннаго журнала \*).

\*) По странной случайности, въ то самое время, когда обновленные «Отечественныя Записки» принимали то направленіе, о которомъ говоримъ, въ Москвѣ возникъ журналъ «Москвитининъ», который долженъ былъ служить какъ-бы противодѣйствіемъ петербургскому изданію. «Москвитининъ» былъ основанъ въ 1841 году.

Частныя нападки Вѣлинскаго на моральничанье повели однакоже къ недоразумѣнью, которое чуть-ли не продолжается и до сихъ поръ. Надо припомнить, что Вѣлинскій вполне усвоилъ себѣ дѣленіе Гегеля нравственныхъ началъ на двѣ области: *моральную* (Moralität), къ которой онъ отнесъ болѣе или менѣе хорошо придуманныя правила общежитія, и собственно—*нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлетъ у него самыя законы, управляющіе психическимъ миромъ человѣка и порождающія этическія потребности и представленія. Сдѣлавшись проводникомъ этихъ мыслей въ русской жизни, Вѣлинскій началъ свой долгій подвигъ преслѣдованія въ литературѣ и вообще явленіяхъ нашего общества того, что онъ называлъ моралью и моральничаньемъ. Когда возвратилось къ нему, послѣ въ-котораго перерыва, его яркое и откровенное слово, онъ уже не прекращалъ своего неуныннаго гоненія на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у насъ въ театрѣ, словесности и жизни, такъ какъ посредствомъ его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и другихъ относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благомыслиемъ, но коварнымъ резонерствомъ, желающимъ поддѣлать очевидные факты жизни ихъ толкованіемъ, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенціи, рассчитанной на получение дешевыхъ способовъ, безъ хлопотъ и усилій, репутаціи честности и порядочности, наконецъ, все, что отзывалось китайскимъ раболѣпнымъ отношеніемъ къ старинѣ и изувѣрскимъ отвращеніемъ къ трудамъ новаго времени, все это клеймилось у Вѣлинскаго однимъ прозвищемъ «морали и моральничанья» и преслѣдовалось со снѣдостью, весьма замѣчательной по тому времени. Безпощадное обличеніе этого чудовища «морали» разсыпано у него почти по всѣмъ его статьямъ отъ той эпохи. Чтобы ознакомиться, каковыя энергическія языкомъ оно обыкновенно производилось, любопытные могутъ прочесть любую изъ его рецензій (см., напримѣръ, рецензію на романъ Р. Зотова «Цинъ-киу-Тонгъ», V, 261). или любой театральнй отчетъ (см. отчетъ о комедіи С. Навроцкаго «Новый Недоросль», VI, 163;—Вѣлинскій писалъ и театральныя фельетоны при «Отечественныхъ Запискахъ»). Онъ достигъ того, что опошилъ у насъ самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однакоже, даромъ. Она дала поводъ его врагамъ составить ему, пользуясь недоразумѣніемъ и игрой словъ, репутацію безнравственнаго существа, не признающаго законовъ, безъ которыхъ никакое общество держаться не можетъ. Они успѣли объявить безнравственнымъ человѣка, который всю жизнь вскалъ основныхъ принциповъ идеально благороднаго существованія на землѣ, который былъ, на зло своимъ насѣшкамъ надъ моралью, однимъ



изъ замѣчательнѣйшихъ *моралистовъ* своей эпохи, и который проповѣдывалъ и поддерживалъ кругомъ себя спасительную ненависть ко всему пошлomu, лицеѣрному, унижающему.

Я провелъ три года за границей, весьма мало получая извѣстій изъ родины. Въ этотъ промежутокъ времени свершился весьма важный переворотъ въ психическомъ состояніи и въ направленіи всей дѣятельности Вѣлинскаго, — а стало быть и въ его представленіяхъ о нравственности, какъ скоро увидимъ.

## XII.

Мы покинули Петербургъ за непривычнымъ для него занятіемъ. Петербургъ принялся за чтеніе иностранныхъ газетъ: онъ былъ изволиванъ неожиданно *Египетскимъ* вопросомъ. Десять лѣтъ передъ тѣмъ, въ началѣ 30-хъ годовъ, публика наша очень мало интересовалась даже и такимъ событіемъ, какъ французскій переворотъ 1830 года, и не справлялась о причинахъ, его породившихъ. Теперь было нѣсколько иначе: по первому слуху о возможности столкновений въ Европѣ, любопытство овладѣло даже и лѣнивыми умами. Иностранныя газеты и брошюры, насколько ихъ можно было достать, очутились въ рукахъ даже и наименѣе привычныхъ къ такой ношѣ. Потребность справляться о ходѣ дѣлъ въ Европѣ осталась, однако-же, и по минованіи грозы. То, что прежде составляло, такъ-сказать, привилегію высшихъ аристократическихъ и правительственныхъ сферъ, становилось дѣломъ общимъ.

Вліяніе, какое начинаетъ оказывать съ 1840 года Европа и ея дѣла на тогдашнюю нашу интеллигенцію, заставляетъ меня нехотя обратиться къ туристскимъ моимъ воспоминаніямъ и сказать нѣсколько словъ о томъ, что русскіе находили вообще въ современной Европѣ и преимущественно во Франціи, смѣнившей Германію въ ихъ благорасположеніи къ западнымъ культурамъ.

Итакъ, въ западной Европѣ, куда мы прибыли черезъ четыре дня довольно бурнаго плаванія, — шли большія приготовленія. Германія собиралась на войну съ Франціей за принципіи *законности*, нарушенной египетскимъ пашей, который вздумалъ перемѣнить вассальныя свои отношенія къ Портѣ на протекторатъ Франціи, поддерживавшей его въ этомъ намѣреніи. Англія, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость ихъ, когда дѣло пошло о Турціи. Правительства континента страшно обрадовались этой поддержкѣ Англіи: она давала имъ возможность обнаружить,

безъ всякаго риска, сдерживаемую дотоли ненависть къ революціонной, *безпринципной* Франціи; народы ихъ, еще лишённые представительства, собирались биться съ врагомъ за свою честь, страдавшую отъ самохвальства парижскихъ журналистовъ, отъ бравадъ республиканцевъ и лѣвой стороны французской палаты депутатовъ. Катавасія эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берегъ въ Травемюнде. На одной станціи, по дорогѣ изъ Либекъ въ Гамбургъ, М. К.—въ показалъ мнѣ, повуда намъ готовили завтракъ, листокъ нѣмецкой газеты, гдѣ сообщалась новинка, знаменитая патріотическая пѣсенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна) nicht haben», облетѣвшая потомъ всю Германію изъ конца въ конецъ.

Воинственное движеніе по поводу дикаго, свирѣпаго и, несмотря на лукавство свое, пошловатаго египетскаго эксплуататора, къ счастью, длилось не долго, что избавило Европу отъ удовольствія видѣть за французскими «contingents» фригійскія шапки, а за нѣмецкими «ландштурмами»,—и нашихъ интендантскихъ чиновниковъ. Луи-Филиппъ утомился каждодневно слушать «Марсельезу» подъ окнами Тюльери и получать ежеминутно извѣстія о военно-революціонномъ настроеніи умовъ; а благоразумная Англія, заручившись трактатомъ почти со всей Европой, который гарантировалъ права Турціи, оставила его открытымъ на случай присоединенія къ нему Франціи, когда пожелаетъ. Все было спасено такимъ образомъ, и Нептунъ съ береговъ Сены и Темзы могли безъ стыда вернуть назадъ выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все пріутихло въ сѣверо-германскомъ мірѣ, оказалось, что Франція не только не потеряла у него кредита, но чуть-ли онъ еще и не выросъ. По крайней мѣрѣ такъ можно было думать въ Берлинѣ, по соединеннымъ усиліямъ полиціи, церкви, науки, театра и даже балета — отклонить возбужденное вниманіе публики отъ Парижа и дѣлъ его. Цѣлыя вѣдомства и корпораціи въ Берлинѣ, казалось, только и думали о томъ, чтобы бороться съ Парижемъ, мѣшать его вліянію, предохранять людей отъ его соблазновъ, какъ въ мірѣ идей, такъ и въ житейскомъ мірѣ, изобрѣтая, на замѣну ихъ, свои собственные соблазны, не столь рѣшительнаго и яркаго характера.

Не говоря уже о попыткахъ придать бѣдному тогда городу на рѣкѣ Шпрее фальшивое подобіе большой резиденціи и важнаго политическаго центра, — вплоть до 1848 года тамъ сочинялись проповѣди, выходили ученые трактаты, создавались философія и искусство для борьбы съ французскимъ *нечестіемъ* и для пристыженія его. Одинъ вопросъ проводился въ безчисленныхъ видахъ и

слышался, можно сказать, повсюду: допустить-ли солидный нѣмецкій умъ, нѣмецкая вѣрность историческимъ преданіямъ, привязанность нѣмцевъ къ своему очагу и домашнимъ порядкамъ, наконецъ, нѣмецкая потребность добираться до ядра каждой мысли — допустить-ли они восторжествовать надъ собой легкомыслію и нечестію одного романскаго племени, растерявшаго коренныя основы человѣческаго и гражданскаго существованія. Вопросъ этотъ открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, съ церковныхъ кафедръ, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Примирѣлая, осторожная Франція Луи-Филиппа порождала такое сокровище тайной злобы и гнѣва въ нѣкоторыхъ официальныхъ и консервативныхъ кругахъ, какового они не нашли у себя, когда та же Франція, черезъ 15 лѣтъ, тяготѣла почти надъ всѣми европейскими кабинетами \*). Дѣло объясняется просто: іюльская революція 1830 года впервые нанесла тяжелый ударъ трактатамъ 1815 года и нравственнымъ и политическимъ основамъ, установленнымъ «Священнымъ Союзомъ». Рана, нанесенная Франціей 1830 года общему порядку дѣлъ и теченію мыслей въ Европѣ, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки болѣла и возбуждала тяжелыя мысли насчетъ исхода болѣзни. Отсюда и крики, призывъ безчисленныхъ врачей и исканіе возможныхъ средствъ скорого исцѣленія.

Покуда, однакожъ, всѣ попытки заслонить какъ-нибудь отъ глазъ людей Парижъ и Францію не вполне достигали желаемаго успѣха. Тому много мѣшала и такъ-называемая «юная Германія», обратившая у насъ тотчасъ же вниманіе на себя. Побѣжденная десять лѣтъ тому назадъ на улицахъ и площадяхъ, она успѣла теперь захватить въ свои руки часть публицистики, философскую полеміку и преимущественно обличеніе нѣмецкой науки, жизни и нѣмецкаго искусства: она открыто шла за знаменемъ и фортуной чужестраннаго народа, умѣющаго такъ много ставить политическихъ и общественныхъ вопросовъ передъ собой. Не то, чтобы партія эта имѣла какую-либо плодотворную, государственную идею или обладала какими-либо ученіемъ, способнымъ отвѣчать на всѣ требованія. Она предпринимала только расшевелить нѣмецкій міръ и имѣла за собой даже и нѣкоторое довольно значительное меньшинство осторожныхъ и хладнокровныхъ умовъ, которые возмущались долгимъ промедленіемъ въ исполненіи нѣкоторыхъ торжественныхъ обѣщаній, данныхъ народамъ въ 1813 году и недавними попытками измѣнить,

\*) Разумѣется, при этомъ были, какъ и всегда, блестящія исключенія: такіе люди, какъ Гумбольдтъ, Варнгагенъ, Ранке, Гервинусъ, Гансъ и др., никогда не исповѣдывали ужаса къ французскимъ идеямъ вообще и къ французскому обществу въ частности.

въ возможности, смыслъ и сущность протестантизма. Большинство, однако же, сопротивлялось разлагающему дѣйствию «юной Германіи», сколько могло. Общество нѣмецкое, съ администраціей во главѣ, приняло тогда очень простую систему дѣлить людей на два разряда: на людей, симпатизирующихъ Франціи, позабывъ всѣ многочисленные ея вины передъ Германіей, и на людей, довѣряющихъ нѣмецкому генію, хотя бы онъ еще и не вполне обнаружилъ всѣ свои силы и средства. Этотъ послѣдній отдѣлъ, покровительствуемый и высшими официальными сферами, исповѣдывалъ еще и ученіе, по которому всякой свободной политической дѣятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка къ ней въ безмятежномъ царствѣ мысли, науки и теоріи. Берлинскій университетъ, благодаря соединеннымъ усиліямъ администраціи и людей науки, выросъ самъ собой въ готовое царство такого рода: нѣмецкая ученость процвѣтала тамъ, какъ нигдѣ. Пользуясь правомъ ознакомленія съ курсами прежде выбора ихъ, мы каждый вечеръ ходили по аудиторіямъ и слушали знаменитѣйшихъ его профессоровъ. Я еще засталъ въ университетѣ почтеннаго Вердера, друга и учителя Станкевича, Грановскаго, Тургенева, Фролова и многихъ другихъ русскихъ. Онъ объяснялъ логику Гегеля и продолжалъ цитировать стихи и афоризмы изъ Гёте для сообщенія красокъ жизни и поэзіи отвлеченнымъ формуламъ учителя. Риттеръ, Шеллингъ тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекція Сталя — философа-платониста и одного изъ будущихъ основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагалъ основанія, необходимыя для осуществленія истинно-христіанскаго государства, нигдѣ еще не достигшаго вполне своего настоящаго типа, и т. д.

Однако же, либеральное, политическое движеніе умовъ, данное 1830 годомъ, не заглушалось конференціями берлинскаго университета, а напротивъ, еще росло подъ его тѣнію. Для поддержанія его существовали тогда и сильно шумѣли «Jahrbücher» Руге, чисто-революціонный органъ, тоже непокидавшій философизма, но сдѣлавшій его орудіемъ преслѣдованія нѣмецкихъ порядковъ и вообще скромности и узкости нѣмецкаго созерцанія жизни. Какъ-бы въ опроверженіе этого упрека отечественной наукѣ, Германія произвела нѣсколько ранѣе книгу, исполненную теологической эрудиціи и возбуждавшую, на первыхъ порахъ, повсемѣстный ужасъ — не только въ совѣтахъ и канцеляріяхъ, но и между отъявленными либералами — извѣстную книгу Штрауса. Свободное изслѣдованіе начинало переростать требованія тѣхъ, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда нѣмецкая эрудиція и теорія разовьется, особенно въ области теологіи и политической экономіи, такую

лостъ выводовъ и положеній, что подскажетъ тогдашнему газету и клубному нашему мудрецу, Н. И. Гречу, его общезвѣстное, бокомысленное замѣчаніе. Около 1848 года онъ во всеуслышаніе орнулъ: «Не Франція, а Германія сдѣлалась теперь разсадникомъ ращенныхъ идей и анархій въ головахъ. Нашей молодежи слѣало бы запрещать ѣздить не во Францію, а въ Германію, куда еще нарочно посылаютъ учиться. Французскіе журналисты и революціонные фантазеры — невинные ребята въ сравненіи съ иещими учеными, ихъ книгами и брошюрами». Онъ былъ правъ послѣднемъ отношеніи, но показѣсть можно было еще безопасно своей нравственности оставаться въ Берлинѣ и свободно выбиъ точку зрѣнія и свою тенденцію между спорящими сторонами, всякаго новопріѣзжаго туда изъ русскихъ, соотечественники его, прожившіе нѣсколько лѣтъ въ этомъ центрѣ нѣмецкой эрудиціи, живо спрашивали, если онъ изъявлялъ желаніе оставаться въ ѣ: чѣмъ онъ, прежде всего, намѣренъ быть? *отрымъ-ли*, благонымъ нѣмцемъ (der treue, edle Deutsche), или суетнымъ, взбалненнымъ французомъ (der eitle alberne Franzose)? О томъ, не заетъ ли онъ остаться русскимъ — не было вопроса, да и не могло ѣ. Собственно русскихъ тогда и не существовало; были регистраны, ассесоры, совѣтники всѣхъ возможныхъ именованій, наконецъ, ѣщники, офицеры, студенты, говорившіе по-русски, но русскаго а въ положительномъ смыслѣ и такого, который могъ бы выдержъ пробу, какъ самостоятельная и дѣльная личность, еще не надалось.

Въ одноѣ изъ берлинскихъ кафе (Подъ-Липами) у Спарньяи, отличавшагося громаднымъ количествомъ нѣмецкихъ и иноанныхъ газетъ и журналовъ, я встрѣтилъ, однажды вечеромъ, хъ русскихъ высокаго роста, съ замѣчательно красивыми и выительными фizioноміями, Тургенева и В—на, бывшихъ тогда азлучными. Мы даже и не раскланялись; ни съ однимъ изъ нихъ ще не былъ знакомъ и не предчувствовалъ близкихъ моихъ отеній къ первому. Въ Берлинѣ же я распрощался и съ М. К.—вымъ. ѣ записался въ слушатели университета, а я отправился на югъ, лиже къ Италіи, чтобы съ первыми весенними днями ступить ея классическую почву.

---



орять эту картину, вслѣдъ за многими уже свидѣтелями, не пред-  
оить здѣсь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только въ этомъ мірѣ, такъ хорошо устроенномъ,  
впрестанно кидалась въ глаза и поражала меня. Несмотря на  
о великолѣпную обстановку публичной жизни и несмотря на стро-  
жайшее запрещеніе иностранныхъ книгъ (въ моденскомъ герцог-  
вѣ обладаніе книгой безъ цензурнаго штампа наказывалось ни-  
гѣ, ни менѣе, какъ *каторгой*), французская безпокойная струя  
чилась подъ всей почвой политическаго зданія Италіи и раз-  
дала его. Подземное существованіе ея не оставляло никакого со-  
внѣнія даже въ умахъ наименѣе любопытныхъ и внимательныхъ.  
о не было тайной и для австрійскаго правительства, которому  
о безпрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя,  
смотря на трактаты, временнымъ, случайнымъ правительствомъ въ  
недоставленныхъ ему провинціяхъ, и умножать, для самосохраненія,  
иско, бюджетъ, наблюденія, мѣропріятія и т. д.

Въ мартѣ 1841 года я уже былъ въ Римѣ, поселился близъ  
оголя и видѣлъ папу Григорія XVI дѣйствующимъ во всѣхъ  
огочисленныхъ спектакляхъ римской Святой Недѣли и притомъ  
дѣйствующимъ какъ-то вяло и невнимательно, словно исправляя  
обычную, домашнюю работу. Въ промежуткахъ облаченія и потомъ  
рядовъ, онъ, казалось, всего болѣе заботился о себѣ, сморкался,  
кашлялся и скучнымъ взоромъ обводилъ толпу сослужащихъ и  
обытныхъ. Старый монахъ этотъ точно такъ же управлялъ и  
оставшимся ему государствомъ, какъ церковной службой: сонно и  
застранно переполнилъ онъ тюрьмы Папской области не уголовными  
еступниками, которые у него гуляли на свободѣ, а преступниками,  
торые не могли ужиться съ монастырской дисциплиной, съ деспо-  
тической и вмѣстѣ лицемерно-добродушной системой его управленія.  
о то уже Римъ и превратился въ городъ археологовъ, нумизма-  
въ, историковъ отъ мала до велика. Всякій, кто успѣвалъ про-  
маться до него благополучно сквозь сѣть различнаго рода него-  
евъ и мошенниковъ, его окружавшую, и отыскать въ немъ, нако-  
цѣ, спокойный уголъ, превращался тотчасъ же въ художника,  
блѣофила, искателя рѣдкостей. Я видѣлъ нашихъ отдыхающихъ  
жупниковъ, старыхъ, степенныхъ помѣщиковъ, офицеровъ отъ  
юссо, зараженныхъ археологіей, толкующихъ о памятникахъ, ка-  
мяхъ, Рафаэляхъ, перемѣшивающихъ свои восторги возгласами объ  
цивильно-глубокомъ небѣ Италіи и о скукѣ, которая подъ нимъ  
огранично царствуетъ, что много заставляло смѣяться Гоголя и  
ванова: по вечерамъ, они часто рассказывали курьезные анекдоты  
въ своей многолѣтней практики съ русскими туристами. Въ удив-

жизни, а забывать, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, повидному, успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себя перед стоящими ее задачи. Намекъ на то, что европейская цивилизация может еще ожидать отъ Франціи важныхъ услугъ, не раз могла ему приводить невозмутимаго Гоголя въ некоторое раздраженіе. Отрицаніе Франціи было у него такъ неозвратно и рѣшительно, что при спорахъ по этому предмету онъ терять обычную свою осторожность и осмотрительность, и ясно обнаруживалъ не только точное знаніе фактовъ и идей, которыя затрогивалъ.

У Иванова долъ убѣжденіи въ той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менѣе, но, какъ часто случается съ людьми глубоко-аскетической природы, — искушенія и сомнѣнія жили у него рядомъ со всѣми вѣрованіями его. Онъ никогда не выходилъ изъ тѣнъ совѣсти. Можно даже сказать про этого замѣчательнаго человѣка, что всѣ самыя горячія мнѣнія его выразить не дѣлѣ въ творчествѣ свои вѣрованія и убѣжденія рождалось у него такъ же точно изъ нутренней потребности подавать, во что бы то ни стало, волнованія его сомнѣнія. И не всегда удавалось ему это. Притомъ же, наоборотъ, съ Гоголемъ, онъ имѣлъ заглавную неуверенность къ себѣ, къ своему сужденію, къ своей подготовкѣ для рѣшенія занимавшихъ его вопросовъ, и потому съ радостію и благодарностію опирался на Гоголя, при возникающихъ безпрестанно затрудненіяхъ своей мысли, не будучи, однако же, въ состояніи упротворять ее исполнѣ и съ этой поддержкой. Вотъ почему при неожиданно возникшемъ диспутѣ возникъ съ Гоголемъ, за обѣдомъ, у Фальбона, о Франціи (а диспуты о Франціи возникали тогда повсюду въ каждомъ городѣ, семействѣ и дружескомъ кругу), Ивановъ слушать аргументы обѣихъ сторонъ съ напряженнымъ вниманіемъ, но не сказать ни слова. Не знаю, какъ отразилось на немъ наше словопрвеніе и чью сторону онъ тайнѣ держалъ тогда. Два черезъ два онъ встрѣталъ меня на Монте-Ринсіо и, улыбаясь, повторялъ не очень замисловатую фразу, слышанную мною въ жару разговора: «Итакъ, батюшка, Франція — очась, недоставленный подъ Европу, чтобы она не застывала и не плѣскалась». Онъ еще думалъ о разговорѣ, между гдѣ какъ Гоголь, добродушно помирившись въ тотъ же вечеръ со своими горячими оппонентами (онъ преподнесъ ему въ залогъ примиренія замѣчаніе, тщательно выбранный въ извѣчкѣ, встрѣтившейся по дорогѣ изъ Фальбона), забыть и думать о томъ, что такое говорилось часъ тому назадъ.

Надо сказать, что пренія по поводу Франціи и ее судьбы раз-



ваились во всѣхъ углахъ Европы — тогда, да и гораздо позднѣе, вплоть до 1848 года. Вѣроятно, они происходили въ то же время тамъ, далеко, въ нашемъ отечествѣ, потому-что съ этихъ поръ знатимъ къ землѣ Вольтера и Паскаля становятся очевидными у насъ, пробиваютъ кору нѣмецкаго культурнаго наслоенія и выходятъ на свѣтъ. Но и при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что русская интеллигенція полюбила не современную, дѣйствительную Францію, а какую-то другую — Францію прошлаго, съ примѣсью будущаго, — е. идеальную, воображаемую, фантастическую Францію, о чемъ вору далѣе.

#### XIV.

Чѣмъ болѣе приходилось мнѣ узнавать Парижъ, куда я попалъ, конецъ, въ ноябрѣ 1841 года, тѣмъ сильнѣе убѣждался, что вода для зависти сосѣдей онъ дѣйствительно заключаетъ въ себѣ ень много, благодаря сильно развитой общественной жизни своей, оей литературѣ, и прочему, но — причинъ для суевѣрнаго страха редъ его именемъ онъ содержитъ весьма мало. Я засталъ Парижъ лею или неволею подчиненнымъ строго-конституціонному порядку; авда, что этого никто не хотѣлъ видѣть, а видѣли только опасности, представляемыя народнымъ характеромъ французовъ, забывая и томъ коренное отличіе конституціоннаго режима, состоящее въ способности мѣшать развитію дурныхъ національных сторонъ наклонностей. Еще очень много было людей, считавшихъ даже средство спасать народы отъ заблужденій и увлеченій опаснѣеаго зла, которое оно призвано цѣлить.

Послѣ популярнаго, воинственнаго Тьера, управленіе Франціей нялзъ на себя англоманъ по убѣжденіямъ Гизо, который въ не-зисти и презрѣніи къ самодѣтельности и измышленіямъ народ-хъ массъ и ихъ вожаковъ совершенно сходилсѣ съ королемъ, гя оба они были обязаны именно этимъ массамъ и вожакамъ имъ возвышеніемъ. Оба они были также и замѣчательные мысли-и въ разныхъ родахъ: — король, какъ скептикъ, много видѣв-і на своемъ вѣку и потому не полагавшійся на одну силу прин-ловъ безъ соотвѣтственнаго подкрѣпленія ихъ разными другими ласными способами; министръ его, какъ бывшій профессоръ, при-кшій устанавливать основныя начала, имъ самимъ и открытыя, и ритъ въ ихъ непогрѣшимость. Изъ соединенія этихъ двухъ док-инеровъ противоположнаго рода, возникла особая система консти-ціоннаго правленія, старавшаяся водворить, въ странѣ переворо-зъ, мудрствующую, резонирующую и себя провѣряющую свободу.

Система располагала множеством приманок для энергичных людей, которым нужно было составить себѣ имя, положеніе, и ору, — но безпощадно относилась къ тѣмъ, которые не признавая ея призванія водворить порядокъ въ умахъ и ея ученіе о важности правительственныхъ сферъ и строгой іерархической подчиненности. Добрая часть французовъ, однакоже, система эта казалась имъ творенной, невообразимой пошлостью: жить безъ всякой надежды успѣхъ какой-либо внезапной, политической импровизации, какъ либо отчаяннаго и счастливаго покушенія (*coup-de-tête*), могло сказать мимоходомъ, всѣмъ издавались съ особенной энергіей и ростомъ министерствомъ Гизо въ теченіи восьми лѣтъ, — жить — значило, по собственнымъ словамъ партизановъ непосредственной народной дѣятельности, обречь себя на позоръ передъ потомствомъ. Партіи истощались въ усиліяхъ подорвать министерство, и въ 1 году, совершенно случайнымъ образомъ, опрокинули его, но вмѣстѣ съ конституціонной монархіей.

Говоря правду, имъ дѣйствительно не за что было любить министерство. Его «мѣщанская» честность и стыдливость имъ ему лажомить Францію фразами о ея призваніи побуждать народъ къ вѣдшему ихъ преуспѣянію, и воспрещали также раздѣлять сторги толпы къ недавнему еще прошлому страны, которое велось не иначе, какъ временемъ доблестей и славы. Оно вдобавъ неустанно обличало пустоту и ничтожество народныхъ идеаловъ проектовъ революціоннаго обновленія государства и различныхъ укоренившихся догматовъ народного самолюбія и тщеславія. Вся добродѣтель поведенія не могла сдѣлать, конечно, правды Гизо популярнымъ въ его отечествѣ. Да онъ и не гнался за популярностію, презирая ее столько же, сколько и героевъ, вознемихъ клубами и партіями, и рассчитывая единственно на поддержку, степенной части населенія, которая въ нужную минуту, однако же, позорно измѣнила, какъ извѣстно. Взаимно попуности, онъ искалъ почетнаго имени въ исторіи, и думалъ найти, вмѣстѣ съ своимъ старымъ королемъ, сдѣлавъ изъ Франціи свободное и благочинное государство, водворяя въ немъ конституціонныя нравы, работая неуныпно за обузданіемъ крайнихъ политическихъ страстей — и все это подъ перекрестнымъ огнемъ печати, которая, несмотря на пресловутые *сентябрьскіе* законы, пользовалась при немъ свободой, не имѣвшей себѣ подобія на континентѣ за исключеніемъ маленькой Бельгіи и нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи. Притомъ же, каждый день Гизо приносилъ свою систему публичное обсужденіе въ тогдашнія, почти постоянно бурныя заседания палаты депутатовъ, гдѣ онъ часто достигалъ до героизма

откровенности и до цинизма въ отвѣтахъ врагамъ. Впослѣдствіи вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституціонный фундаментъ для страны, нагло объявлена была, при второй имперіи, презрѣнной игрой въ парламентаризмъ и замѣнена игрой полицейскихъ агентовъ на улицахъ, скандальной журналистикой въ печати и законодательнымъ корпусомъ въ четырехъ глухихъ стѣнахъ, безъ правъ трибуны и безъ гласности!

Изъ боязни прослыть эгоистическимъ «буржуа», лишеннымъ органа для пониманія народныхъ стремленій и скрытыхъ бѣдствій работающихъ классовъ, немногіе рѣшались тогда высказывать исполнѣ все, что они думали о Парижѣ 40-хъ годовъ. Достоверно, однако же, что путешественники имѣли тогда дѣло съ городомъ исполнѣ изысканнымъ по своимъ приемамъ и обычаямъ, который отличался, какъ естественнымъ слѣдствіемъ конституціонныхъ порядковъ, мягкостію сношеній, отсутствіемъ мелкой подозрительности къ людямъ, возможностью для всякаго иностранца отыскать сочувствіе, симпатическій отголосокъ на любое серьезное мнѣніе или начинанье, а, наконецъ, и относительною честностію всѣхъ сдѣлокъ частныхъ людей между собою. Все это, какъ извѣстно, исчезло тотчасъ же при второй имперіи. Для подтвержденія этого краткаго очерка достаточно поставить его въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ сдѣлался городъ Парижъ, послѣ потери іюльской конституціи.

На совѣсти и репутаціи Гизо, конечно, есть нѣсколько пятенъ. Такъ, его упрекали въ употребленіи неблагородныхъ средствъ для поддержанія своей системы, въ подкупахъ избирателей и особенно въ томъ, что для легчайшаго управленія ими, онъ держалъ число избирателей на ограниченной цифрѣ, какую засталъ самъ. Все это правда и опровергнуто быть не можетъ, но правда также и то, что упрочить конституціонные порядки во Франціи онъ могъ только, какъ доказалъ это послѣдующій опытъ, единственно съ тѣмъ персоналомъ единомышленниковъ, который находился у него въ рукахъ. Такимъ знатокамъ англійской исторіи, какъ король Луи-Филиппъ и Гизо, не могло быть безъизвѣстно, что только *упроченная* конституціонная система бываетъ способна къ перестройкѣ себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своихъ основаній. Прижѣръ англійской конституціи былъ на лицо: она имѣла тоже свои эпохи «*снисходительныхъ*» подкупныхъ парламентовъ, но не только побѣдоносно вышла изъ всѣхъ опасностей и затрудненій, а измѣнила все законодательство о выборахъ въ камеру общинъ, восстановила право обиженныхъ мѣстностей и сословій на посылку депутатовъ въ парламентъ и переформировала весь составъ представительства, не утеравъ при этомъ ни на волосъ коренного своего зна-

ченія и вліянія на страну. Весь вопросъ, такимъ образомъ, сводился для Гизо и его администраціи на *упроченіе* конституціи, и нельзя сказать, чтобы онъ слѣпо, эгоистически и бессознательно защищалъ дѣйствующіе законы о выборахъ. Въ жару преній о расширеніи ихъ, онъ не разъ заявлялъ мнѣніе, — что дѣло измѣненія ихъ не можетъ ограничиться въ такой странѣ, какъ Франція, однимъ присоединеніемъ *способностей* къ лику избирателей. За этимъ присоединеніемъ «способностей» онъ уже прозрѣвалъ новыя уступки и всеобщее народное голосованіе — тотъ грубый и ничего не выражающій отвѣтныи вопль толпы, которая постоянно возвращаетъ вопрошателя только слова, брошенныя имъ въ ея среду, что и совершалось постоянно при Наполеонѣ III. Какъ бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризмъ Гизо и Луи-Филиппа, столько преслѣдуемый и позоримый впоследствии ихъ врагами, подыалъ бы въ постепенномъ, прогрессивномъ своемъ развитіи благосостояніе Франціи и рабочихъ ея классовъ, не менѣе послѣдующихъ *декретовъ* второй имперіи о національныхъ мастерскихъ, о перестройкѣ цѣликомъ заново Парижа, о созданіи «городковъ» для мастеровыхъ (*cités ouvrières*) и проч.

## XV.

Нужно ли говорить, что сочувствіемъ нетерпѣливыхъ или пылкихъ умовъ въ Европѣ пользовалась совсѣмъ не Франція Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала противъ ея конституціонныхъ мнѣній, не отвѣчающихъ, по ея мнѣнію, духу страны. Въ самомъ дѣлѣ, что въ надобность была германскимъ передовымъ людямъ, а имъ и другимъ кружкамъ политиковъ до какой-то новой Франціи, старающейся держаться въ границахъ своей хартіи, Франціи приличной, благопристойной и тѣмъ самымъ извращающей всѣ старыя понятія о странѣ, которыя сложились у народовъ съ конца прошлаго столѣтія? Для нихъ это была совершенно невѣдомая Франція, которую они и изучать не хотѣли, а искали прежней, еще недавней, хорошо всѣмъ знакомой, типической Франціи, той, которая имѣетъ абсолютныя рѣшенія по всѣмъ вопросамъ соціального, политическаго и нравственнаго характера, а когда они слишкомъ долго медлятъ своимъ появленіемъ, принимаетъ мѣры вызвать ихъ сплном. Вотъ эта послѣдняя, старая Франція и была еще тогда для многихъ въ Европѣ исконной, вѣковой Франціей, а другая, только что начинавшая показываться на политическомъ горизонтѣ, считалась податкомъ, наводненіемъ злого духа, словомъ — призракомъ,

самозванно подмѣнившимъ родовую фязіономію страны какою-то отвратительно-гладкой, глупой маской. Не зная, чѣмъ объяснить это превращеніе, заграничныя партіи объясняли его не иначе, какъ насиліемъ безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ исторіи: смирный король-гражданинъ, Луи-Филиппъ, постоянно честился, у себя дома и за порогомъ его, прозвищемъ «le tupan», Гизо называли заграницей, напримѣръ, — въ Англіи, конституціоннымъ «герцогомъ Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрѣніе русскихъ бужковъ на Францію недалеко отходило отъ общаго представленія ея дѣлъ, сложившагося у крайнихъ либераловъ Европы: у насъ тоже искали потаенной Франціи, вмѣсто той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно смѣнитъ вторую. Смѣна и дѣйствительно произошла скорѣе, чѣмъ ожидали ея — и дала совсѣмъ непредвидѣнные результаты. Она именно очистила дорогу великолѣпной французской имперіи, которая такъ хорошо отмстила за всѣ предшествовавшія ей правительства, разсѣявъ и подавивъ какъ своихъ, такъ и ихъ враговъ. Кажется, въ этой роли Немезиды и состоитъ все ея историческое призваніе. Въ Россіи одинъ только Т. Н. Грановскій, по особенному историческому чутью, которымъ былъ надѣленъ, и по присущему ему чувству истины, старался какъ можно менѣе вторить хору ругателей монархіи Луи-Филиппа, а въ числѣ его ругателей были у насъ очень высоко-поставленные, правительственныя лица. Помню, что, лѣтомъ 1845 года, нѣсколько словъ, сказанныхъ мною въ защиту Гизо, на дачѣ въ Соколовѣ (близъ Москвы), возбудили общій насмѣшливый протестъ друзей. Грановскій, однако же, при самомъ разгарѣ спора, взялъ меня подъ руку и, уводя въ сосѣднюю аллею, промолвилъ имъ съ юморомъ въ интонаціи, непередаваемомъ на бумагѣ: «Оставьте насъ съ нимъ на-единѣ потолковать, господа, и объ насъ не беспокойтесь. Мы къ вамъ вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразилъ онъ мнѣніе, что политическіе идеалы Гизо преднамѣренно узки и скромны, соотвѣтственно тому невеликому представленію о политическихъ способностяхъ французовъ, котораго министръ никогда не скрывалъ. «Но пренебреженіе къ народному духу» — добавилъ Грановскій — «не можетъ обойтись даромъ во Франціи: она знаетъ, что этому духу обязана своимъ мѣстомъ и ролью въ исторіи Европы. Такъ или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержитъ: они и умны, и ошибаются не по-французски, и вотъ это-то имъ не простится». Я не думалъ тогда, что слова Грановскаго были — пророчество.

Надо замѣтить и то, что борющаяся и такъ интересовавшая всѣхъ позади стоящая, революціонная Франція производила свои на-

падки на строй конституціонной жизни и порядки, ею введенные, съ большою ловкостью, энергіею и замѣчательнымъ талантомъ: она почти вся состояла изъ даровитѣйшихъ людей эпохи. Группа писателей, преслѣдовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатлѣніе на лицъ, образованныхъ литературно, да обладала и другимъ привлекательнымъ качествомъ. Она поднимала, кромѣ вопросовъ текущаго дня, передъ которыми мы всегда чувствовали слабость своего практическаго опыта и сужденія, еще и всего болѣе широкіе, отвлеченные вопросы будущности, тѣмъ новаго соціального устройства Европы, смѣлыя постройки новыхъ формъ для науки, жизни, нравственныхъ и религіозныхъ вѣрованій, а наконецъ, критику всего хода европейской цивилизаціи. Здѣсь мы уже были, что называется, на просторѣ, приученные изъ-мала къ великоблѣннымъ гипотезамъ, къ широкимъ, изумительнымъ обобщеніямъ и умозаключеніямъ.

Такимъ образомъ, когда осенью 1843 года я прибылъ въ Петербургъ, то далеко не покончилъ всѣ расчеты съ Парижемъ, а, напротивъ, встрѣтилъ дома отраженіе многихъ сторонъ тогдашней интеллектуальной его жизни.

Книга Прудона «de la Propriété», тогда уже почти-что старая; «Икарія» Кабе, малочитаемая въ самой Франціи, за исключеніемъ небольшого круга мечтательныхъ бѣдняковъ-работниковъ; гораздо болѣе ея распространенная и популярная система Фурье — все это служило предметомъ изученія, горячихъ толковъ, вопросовъ и чаяній всякаго рода <sup>1)</sup>. Да оно и понятно. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трактаты эти были тѣ же метафизическія эволюціи, только эволюціи, перенесенныя на политическую и соціальную почву. За ними туда и послѣдовали цѣлыя фаланги русскихъ людей, образованныхъ возможностью выйти изъ абстрактнаго отвлеченнаго мышленія безъ реальнаго содержанія къ такому же абстрактному мышленію, но съ кажущимся реальнымъ содержаніемъ.

Та часть вѣрныхъ и зрѣлыхъ практическихъ указаній, какая заключалась въ этихъ трактатахъ, и чѣмъ европейскій міръ не замедлилъ воспользоваться — всего менѣе обращала на себя наше вниманіе, да и не въ томъ было вообще призваніе трактатовъ на Руси. Въ промежуткѣ 1840—43 гг. такіе трактаты должны были совер-

---

<sup>1)</sup> Я уже не говорю о новой религіи «человѣчества», изложенной фантастическимъ теозофомъ Пьеромъ Леру, въ его книгѣ «de l'Humanité»: она по близости къ надѣвшему піетизму и невыдержанности мысли, въ философскомъ отношеніи, къ чему мы были всегда очень чувствительны, не имѣла особеннаго успѣха. Я цитирую разныя книги на память, можетъ быть, не совсѣмъ точно обозначая ихъ полное заглавіе.

ить окончательный переворотъ въ философскихъ исканіяхъ русской интеллигенціи, и сдѣлали это дѣло вполне. Книги названныхъ авторовъ были во всѣхъ рукахъ въ эту эпоху, подвергались всестороннему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ, Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ, а нѣсколько поздне, чего не было съ прежними теоріями, и своихъ мучениковъ. Теоріи Прудона, Фурье, къ которымъ поздне присоединился Луи-Бланъ съ извѣстнымъ трактатомъ: «Organisation du travail», образовали у насъ особенную школу, гдѣ всѣ эти ученія жили въ смѣшанномъ видѣ и исповѣдовались какъ-то за-разъ адептами. Въ такой не слишкомъ плотной и солидной амальгамѣ, вышли они лѣтъ черезъ пятнадцать послѣ того на свѣтъ и въ русской печати.

Бѣлинскій пристроился къ общему направленію, какъ только первые лучи социальной метафизики дошли до него, но и тутъ, какъ и въ философскій періодъ, онъ началъ съ начала. Самъ Бѣлинскій и съ кѣмъ не переписывался за границей, но до насъ доходили духи черезъ пріѣзжающихъ, что онъ погруженъ въ чтеніе пространной «Исторіи Революціи 1789 г.» Тьера. Пресловутое твореніе Тьера, не очень глубоко понимавшаго эпоху, но очень эффектно излагавшаго наиболѣе выпуклыя ея стороны, ввело его въ новый міръ, доселѣ мало знакомый ему и понудило идти далѣе въ изученіе его. Уже на моихъ глазахъ въ Петербургѣ принялся онъ за исторію того же событія, отличавшуюся вполне отсутствіемъ всякой овѣрки лицъ и дѣлъ, именно за сочиненіе Кабе—«le Peuple», который находилъ признаки необъятнаго коллективнаго ума во всѣхъ дѣяніяхъ, когда вступали въ дѣло народныя массы, и который объяснял, наконецъ, даже паденіе республики трогательнымъ, святымъ обродушеніемъ тѣхъ же массъ, одерживающихъ побѣды надъ врагами не для себя, не для извлеченія немедленной пользы изъ событія, а для прославленія своихъ принциповъ—братолюбія, равенства и справедливости. Впрочемъ, эти и другія, совершенно противоположныя духу сочиненія служили Бѣлинскому просто средствомъ отыскать первые свѣтла социализма, заброшенныя переворотомъ 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видѣть его зачатки съ контикомъ, парижской коммуной, героями стараго коммунизма, Бабефомъ и Буонаротти, чтобы распознать современную его физиономію и понять основательно нѣкоторые его ходы въ нашу эпоху. Никакого рѣшенія по всѣмъ этимъ явленіямъ онъ не имѣлъ, да и всѣми предлагаемыми тогда рѣшеніями былъ недоволенъ. Необычайное впечатлѣніе произвела на него только книга Луи-Блана: «Histoire de la révolution française», тѣмъ именно, что показала, какого рода интересъ и ка-

кую массу поученія и даже художественныхъ качествъ можетъ заключать въ себѣ исторія нашихъ дней, переживаемаго, такъ-сказать, мгновенія, подъ рукой сильнаго таланта, хотя бы исторія такого рода и употребляла въ дѣло подчасъ не совсѣмъ испробованные материалы, а подчасъ и просто городскую сплетню.

По возвращеніи моемъ, въ 1843 году, въ Петербургъ, почти первымъ словомъ, услышаннымъ мною отъ Бѣлинскаго, было восторженное восклицаніе о книгѣ Лун-Блана: «Что за книга Лун-Блана!» говорилъ онъ. «Вѣдь этотъ человѣкъ нашъ ровесникъ, а между тѣмъ, что такое я передъ нимъ, наприимѣръ? Просто стыдно подунуть о всѣхъ своихъ кропаніяхъ передъ такими произведеніями. Гдѣ они берутъ силы, эти люди? Откуда у нихъ являются такая образность, такая провицательность и твердость сужденія, а потомъ такое иѣткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная даютъ содержаніе мысли и таланту побольше, чѣмъ литература и философія...» Очевидно, эстетическое и публицистическое направленіе уже потеряло для Бѣлинскаго свою привлекательность и отодвигалось на задній планъ въ его умѣ; но все же волей и неволей онъ оставался при немъ, потому что только съ помощію его можно было поднимать самыя простые вопросы общественной морали и касаться, хотя-бы и косвенно, предметовъ русскаго современнаго быта и развитія. Подобно тому, какъ крестьяне покупали тогда нужныя имъ земли на нихъ задареннаго ими помещика, такъ покупалось въ литературѣ право говорить о самомъ пустомъ, но все-таки публично дѣлѣ, и о снискѣ того или другаго всѣмъ извѣстнаго общественнаго явленія, призывая на помощь и выставляя впередъ грамматику, математику, хорошіе или дурные стихи, даже водевили Александринскаго театра, московскіе романы и т. д.

Таково было дѣйствіе французской культуры на добрую половину нашего русскаго міра. Но вотъ что замѣчательно. Измѣняя свой способъ воззрѣнія на призваніе писателя и помѣщая задачи литературы уже въ средѣ общественныхъ вопросовъ, ни Бѣлинскій, ни весь кружокъ тогдашнихъ западниковъ и не думалъ выбрасывать прежнихъ своихъ представленій за бортъ, какъ негодный баластъ, не приносилъ никакой каннибальской жертвы изъ коренныхъ основаній прежняго своего созерцанія. Какъ ни различно было у нихъ пониманіе сущности нѣкоторыхъ политико-экономическихъ тѣхъ, какъ ни горячи были между ними споры по частностямъ и способамъ приложенія новыхъ полученныхъ идей, весь кружокъ сходился, однакоже, безусловно въ нѣкоторыхъ началахъ: онъ одинаково принималъ нравственный элементъ исходной точки всякой дѣятельности, жизненной и литературной; одинаково признавалъ важность эстетическихъ тре-



бованій отъ себя и отъ произведеній мысли и фантазій, и никто въ немъ не помышлялъ о томъ, чтобъ можно было обойтись, напри-  
мѣръ, безъ искусства, поэзій и творчества вообще какъ въ жизни,  
такъ и при политическомъ воспитаніи людей. Кстати замѣтить, что  
въ виду частыхъ споровъ между друзьями было выражено позднѣе  
въ литературѣ нашей подозрѣніе, что самый кругъ дѣлился еще на  
баричей, потѣшавшихся только идеями, и на демократическія натуры,  
которыя принимали горячо къ сердцу всѣ философскія положенія и  
дѣлали ихъ задачами своей жизни. Мнѣніе это можетъ быть отне-  
сено къ числу догадокъ, которыми удобно отстраняются затрудненія  
точного опредѣленія явленій. Въ кругѣ, о которомъ идетъ дѣло, не  
всегда только «баричи» старались уйти отъ строгихъ заключеній и  
выводовъ, какіе необходимо истекаютъ изъ теоретическихъ положе-  
ній, и не всегда только «демократы» понимали яснѣе своихъ това-  
рищей сущность началъ, и старательнѣе ихъ доискивались послѣд-  
няго слова философскихъ проблемъ. Очень часто роли мѣнялись, и  
врагами увлеченій и защитниками крайнихъ мнѣній дѣлались не тѣ  
лица, отъ которыхъ всего вѣрнѣе было ожидать подобныхъ заявле-  
ній, что можно было бы подтвердить многочисленными примѣрами.  
Дѣло въ томъ, что отличительную черту всего круга надо искать  
въ другомъ мѣстѣ и прежде всего въ пылѣ его философскаго оду-  
шевленія, который не только уничтожилъ разницу общественнаго по-  
ложенія лицъ, но и разницу ихъ воспитаній, привычекъ мысли, без-  
сознательныхъ влеченій и предрасположеній, превративъ весь кругъ  
въ общину мыслителей, подчиняющихъ свои вкусы и страсти при-  
знаннымъ и обсужденнымъ началамъ. Темпераменты въ немъ, конечно,  
не сглаживались, психическія и философскія отличія людей прояв-  
лялись свободно, большая или меньшая энергія въ пониманіи и въ  
выраженіи мысли существовали на просторѣ, но всѣ эти силы шли  
во слѣдъ и на служеніе идеѣ, господствовавшей въ данную минуту,  
которая родила и связывала членовъ круга въ одно неразрывное  
цѣлое и, если можно такъ выразиться, сіяла одинаково на всѣхъ  
лицахъ. Бывали въ нѣдрахъ круга и упорныя разногласія, — оже-  
сточенная борьба не разъ потрясала его до основанія, какъ мы уже  
говорили и увидимъ еще далѣе, но междуусобія эти происходили  
исключительно по поводу правъ того или другого начала на господ-  
ство въ кругѣ, по поводу водворенія той или другой философской  
или политической схемы въ умахъ и упроченія за ней правъ на со-  
чувствіе и повиновеніе. Другихъ побужденій и другого дѣла кругъ  
этотъ не зналъ. Такъ шло до 1845 года, когда подъ тяжестію  
собственной своей слишкомъ абстрактной задачи и подъ напоромъ  
новыхъ общественныхъ и социальныхъ вопросовъ — кругъ сталъ рас-

падаться и распался окончательно къ 1848-му году, оставивъ послѣ себя воспоминанія, которыя еще не разъ, думаю, будутъ обращать на себя вниманіе мыслящихъ русскихъ людей.

## XVI.

Осенью 1843 года, проѣздомъ черезъ Москву, я познакомился съ Г., а также съ Т. Н. Грановскимъ и со всѣмъ кругомъ московскихъ друзей Вѣлинскаго, котораго зналъ доселѣ только по слышкѣ. Я еще засталъ ученое и, такъ-сказать, междусловное торжество, происходившее въ Москвѣ по случаю первыхъ публичныхъ лекцій Грановскаго, собравшаго около себя не только людей науки, всѣ литературныя партіи и обычныхъ восторженныхъ своихъ слушателей—молодежь университета, но и весь образованный классъ города—отъ стариковъ, только-что покинувшихъ ломберные столы, до дѣвицъ, еще не отдохнувшихъ послѣ подвиговъ на паркетѣ, и отъ губернаторскихъ чиновниковъ до неслужащихъ дворянъ. Единодушіе въ привѣтствіи симпатичнаго профессора со стороны всѣхъ этихъ лицъ, раздѣленныхъ между собою всѣмъ родомъ своей жизни, своихъ занятій и цѣлей, считалось тогда очень знаменательнымъ фактомъ, и дѣйствительно фактъ имѣлъ нѣкоторое значеніе, обнаруживъ, что для массы публики существуютъ еще и другіе предметы уваженія, кромѣ тѣхъ, которые издавна указаны ей общимъ голосомъ или официально. Съ такой точки зрѣнія, публичныя лекціи Грановскаго, пожалуй, могли считаться и политическимъ событіемъ, хотя самъ знаменитый профессоръ, посвятившій свои чтенія сжатимъ, но выразительнымъ очеркамъ нѣсколькихъ историческихъ лицъ, постоянно держался, съ тактомъ и достоинствомъ, никогда его не покидавшими, на той узкой полосѣ, которая отведена была ему для преподаванія. Отъ сдѣлалъ изъ нея цвѣтушій оазисъ науки, какой только могъ. Въ мастерскихъ его рукахъ, эта узкая полоса изслѣдованія получила довольно большіе размѣры и на ней открылась возможность дѣлать опыты приложенія науки къ жизни, морали и идеямъ времени. Лекціи профессора особенно отличались тѣмъ, что давали чувствовать умный распорядокъ въ сбереженіи мѣстъ, еще недоступныхъ свободному изслѣдованію. На этомъ-то замиренномъ, нейтральномъ клочкѣ твердой земли подъ собой, имъ же и созданномъ и обработанномъ, Грановскій чувствовалъ себя хозяиномъ; онъ говорилъ все, что нужно и можно было сказать отъ имени науки, и *рисовалъ* все, чего еще нельзя было сказать въ простой формѣ

если. Большинство слушателей понимало его хорошо. Такъ поняло и лекцію о Карлѣ Великомъ, на которую и я попалъ <sup>1)</sup>. Образъ установителя цивилизаціи въ Европѣ былъ въ одно время и художественнымъ произведеніемъ мастерской кисти, подкрѣпленной громадною, переработанной начитанностью и указаніемъ на настоящую роль всякаго могущества и величества на землѣ. Когда, въ заключеніе своихъ лекцій, профессоръ обратился прямо отъ себя къ публикѣ, напоминая ей, какой необъятный долгъ благодарности лежитъ на насъ по отношенію къ Европѣ, отъ которой мы даромъ получили блага цивилизаціи и человѣческаго существованія, доставшіяся ей путемъ кровавыхъ трудовъ и горькихъ опытовъ, — голосъ его покрылся взрывомъ рукоплесканій, раздавшихся со всѣхъ концовъ и точекъ аудиторіи.

Это единодушнѣе похвалы за смѣлость профессора (смѣлость могла тогда заключаться въ публичномъ заявленіи сочувствія къ Европѣ) — породила мысль у нѣкоторыхъ изъ друзей его, что наступила настоящая минута примиренія между двумя большими литературными партіями — западной и славянофильскою, споръ между которыми уже сильно разгорѣлся въ промежутокъ 1840 — 43 годовъ. Съ цѣлью снести противниковъ и приготовить ихъ сближеніе, затѣянъ былъ въ слѣдующемъ 1844 году дружескій обѣдъ, на которомъ присутствовали почти всѣ корифеи двухъ противоположныхъ ученій, какіе находились тогда въ Москвѣ: они подали на немъ другъ другу руки и объявили, что одинаково связаны служеніемъ наукъ и одинаково уважаютъ всѣ безкорыстные убѣжденія, порождаемыя ею. Но *диаломатическій* миръ, когда борьба не исчерпана еще вполне, рѣдко имѣетъ прочныя основанія для мира между людьми. Поводы къ расладу между собравшимися на обѣдъ существовали еще въ такомъ обиліи, благодаря стеченію многихъ обстоятельствъ, а въ томъ числѣ и дѣятельности Бѣлинскаго, что, съ окончаніемъ, можно сказать, послѣдняго заздравнаго тоста на обѣдѣ, всѣ стояли опять на старыхъ мѣстахъ и въ полномъ вооруженіи.

Что же произошло въ промежутокъ этихъ трехъ послѣднихъ лѣтъ? Собственно ничего новаго не произошло, а только повторилось въ обновленной формѣ и на другихъ, гораздо болѣе сложныхъ и продуманныхъ основаніяхъ — старое явленіе отпора Москвы цивилизаторской заносчивости Петербурга. Москва *дѣлала* консервативную оппозицію, на основаніи старыхъ началъ русской культуры, — Петербургу, провозглашавшему несостоятельность почти всѣхъ старыхъ русскихъ началъ передъ общечеловѣческими началами, т.-е. передъ европейскимъ развитіемъ. Не разъ уже приходилось обѣимъ нашимъ

<sup>1)</sup> Тѣмъ же лекціи Грановскаго была средневѣковая исторія Франціи и Англіи.

столицамъ вступать въ борьбу на этой почвѣ, но никогда, можетъ быть, споръ между ними не захватывалъ столько вопросовъ научнаго свойства и не обнаруживалъ столько талантовъ, многосторонней образованности, хотя и принужденъ былъ, по обыкновению, держаться на литературной, эстетической, философской и частію археологической аренахъ, и притворяться, никого, впрочемъ, не обманывая, невиннымъ споромъ двухъ различныхъ видовъ одного и того же русскаго патріотизма, а иногда даже и пустымъ разногласіемъ двухъ школьныхъ партій.

Въ сущности, дѣло тутъ шло объ опредѣленіи догматовъ для нравственности и для вѣрованій общества и о созданіи политической программы для будущаго развитія государства. Не очень точны были прозвища, взаимно даваемые обѣими партіями другъ другу, въ видѣ эпитетовъ: *московской* и *петербургской* или *славянофильской* и *западной*, — но мы сохраняемъ эти прозвища, потому-что они сдѣлались общепотребительными, и потому, что лучшихъ отыскать не можемъ: неточности такого рода неизбежны вездѣ, гдѣ споръ стоитъ не на настоящей своей почвѣ и ведется не тѣмъ способомъ, не тѣми словами и аргументами, какихъ требуетъ. Западники, что бы о нихъ ни говорили, никогда не отвергали историческихъ условій, дающихъ особенный характеръ цивилизаціи каждаго народа, а славянофилы терпѣли совершенную напраслину, когда ихъ упрекали въ наклонности къ установленію неподвижныхъ формъ для ума, науки и искусства. Дѣленіе партій на *московскую* и *петербургскую* можно допустить нѣсколько легче, и оно попятно, въ виду той массы слушателей, которая тамъ и здѣсь пристроилась къ одному изъ двухъ противоположныхъ ученій; но и оно не выдерживаетъ строгой повѣрки: какъ разъ въ обществу Москвы принадлежали вліятельнѣйшіе западники, какъ Чаадаевъ, Грановскій, Г. и др., а въ Петербургѣ издавался журналъ «Маякъ», который въ манерѣ защищать старые авторитеты напоминаетъ современнаго намъ, пресловутаго Veuillot и можетъ назваться «Père Duchêne'емъ» консерватизма, преданій и идеаловъ старины. Въ Петербургѣ же сочувствіе къ славянофильству въ высшихъ слояхъ общества сказывалось много разъ и очень явственно. Мы увидимъ даже, что враждующіе итѣли еще пока чрезвычайно много точекъ соприкосновенія между собою, впоследствии или утерянныхъ, что въ средѣ ихъ существовали мысли, предметы, убѣжденія, передъ которыми умолкали разногласія. Когда я познакомился съ Г., онъ намъ читалъ только-что написанную имъ, извѣстную, остроумную параллель между Москвой и Петербургомъ. Сопоставляя упорство Москвы въ сохраненіи всяческихъ, почтенныхъ и непочтенныхъ своихъ особенностей, съ развязностью Петербурга,

не признающего важности ни въ чемъ на свѣтѣ, кромѣ развѣ *приказанія*, полученнаго изъ надлежащаго источника, Г. все-таки не могъ скрыть, несмотря на всѣ свои юмористическія и саркастическія выходы, жертвой которыхъ были въ равной степени обѣ столицы наши, своего тайнаго благорасположенія къ одной, старѣйшей изъ нихъ, — благорасположенія, отъ котораго онъ не освободился и въ періодъ заграничной эмиграціи. Да онъ и не старался отъ него освободиться, а, напротивъ, какъ будто сберегалъ въ себѣ это чувство. А ужъ это-ли не былъ западникъ! Много такихъ примѣровъ благородной невыдержанности убѣжденій встрѣчается и въ другихъ лицахъ обѣихъ партій.

Тѣмъ не менѣе, борьба между партіями шла оживленная, особенно нѣсколько позднѣе и послѣ того, какъ она успѣла поставить себѣ опредѣленные цѣли; да и было за что бороться. Образованный русскій міръ какъ-бы впервые очнулся къ 30-мъ годамъ, какъ будто внезапно почувствовалъ невозможность жить въ томъ растерянномъ умственномъ и нравственномъ положеніи, въ какомъ оставался дотолѣ. Общество уже не слушало приглашеній отдаться просто теченію событій и молча плыть за ними, не спрашивая, куда несетъ его вѣтеръ. Всѣ люди, мало-мальски пробужденные къ мысли, принялись около этого времени искать, съ жаромъ и алчностью голодныхъ умовъ, основъ для сознательнаго разумнаго существованія на Руси. Само собою разумѣется, что съ первыхъ же шаговъ они приведены были къ необходимости, прежде всего, добраться до внутренняго смысла русской исторіи, до ясныхъ воззрѣній на старыя учрежденія, управлявшія нѣкогда политическою и домашнею жизнію народа и до правильнаго пониманія новыхъ учрежденій, замѣнившихъ прежде бывшія. Только съ помощью убѣжденій, приобретенныхъ такимъ анализомъ, и можно было составить себѣ представленіе о мѣстѣ, которое мы занимаемъ въ средѣ европейскихъ народовъ, и о способахъ самовоспитанія и самоопредѣленія, которые должны быть выбраны нами для того, чтобы это мѣсто сдѣлать во всѣхъ отношеніяхъ почетнымъ. Все зашевелилось: исканія пошли, какъ извѣстно, съ двухъ противоположныхъ точекъ, и рано или поздно должны были привести изслѣдователей въ столкновение. Шумъ первыхъ ихъ ошибокъ и составилъ содержаніе всей эпохи нашего развитія, которая обозначается общимъ именемъ — эпохи сороковыхъ годовъ.

Люди этой эпохи не разъ уже обзывались, даже и при ихъ жизни, пустыми идеалистами, не способными вывести за собой ни малѣйшей реформы, измѣнить въ чемъ-либо окружавшаго ихъ строя жизни. Замѣчательно, что идеалисты сороковыхъ годовъ сами почти соглашались съ своими судьями и постоянно твердили, даже и пе-

чатию, что поколѣнію ихъ, какъ переходному, суждено только приготовить матеріалы для реформъ и измѣненій. О доброкачественности и пригодности этихъ матеріаловъ только и шелъ у нихъ весь споръ. А что споръ былъ не совсѣмъ бесплоденъ — это доказывалось съѣнами развитія, которыя онъ заложилъ, просочивъ всѣ слои тогдашняго образованнаго общества, и которыя вышли на свѣтъ, даже и послѣ систематическаго искорененія ихъ въ 1848 году, еще полными силами и жизни въ двухъ великихъ реформахъ настоящаго царствованія. Никто, полагаемъ, не станетъ опровергать, что начала русской народной культуры, замѣтныя въ крестьянской реформѣ, и начала европейскаго права, открывающіяся въ судебной — приготовлены были издавна тѣмъ самымъ споромъ, о которомъ говоримъ. Можно пожелать и всѣмъ нижешнимъ предметамъ споровъ такой же завидной исторической участи.

## XVII.

Однимъ изъ важныхъ борцовъ въ плодотворномъ диспутѣ, завязавшемся тогда на Русь, былъ Г. Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства, этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ немощными остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, ужѣвшій схватить и въ складъ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идѣ ту яркую черту, которая даетъ имъ фیزیономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ, которая ниталась, во-первыхъ, тонкой наблюдательностью, а во-вторыхъ и весьма значительнымъ капиталомъ энциклопедическихъ свѣдѣній, была развита у Г. въ необычайной степени, — такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, немощность фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума — приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ. Послѣ всегда горячій, но и всегда строгой, послѣдовательной рѣчи Бѣлинскаго, скользящее, безпрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Г. требовало уже отъ собесѣдниковъ, кромѣ напряженнаго вниманія, еще и необходимости быть всегда на-готовѣ и вооруженнымъ для отвѣта. За то уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношеній съ Г., а претензія, напущенность, педантическая важность просто бѣжали отъ него или таяли передъ нимъ, какъ воскъ передъ огнемъ. Я знавалъ людей, пре-

имущественно изъ такъ-называемыхъ серьезныхъ и дѣльныхъ, которые не выносили присутствія Г. За то были и люди, даже между иностранцами, въ эпоху его заграничной жизни, для которыхъ онъ скоро дѣлался не только предметомъ удивленія, но страстныхъ и слѣпыхъ привязанностей.

Почти такіе же результаты постоянно имѣла и его литературная, публицистическая дѣятельность. Качества первокласснаго русскаго писателя и мыслителя—Г. обнаружилъ очень рано, съ перваго появленія своего на арену свѣта, и сохранилъ ихъ въ теченіи всей жизни, даже и тогда, когда заблуждался. Вообще говоря, мало встрѣчается на свѣтѣ людей, которые бы умѣли сберечь, подобно ему, право на вниманіе, уваженіе и изученіе въ то самое время, когда онъ отдавался какому-либо увлеченію. Ошибки и заблужденія его носили еще на себѣ печать мысли, отъ которой нельзя было отдѣлаться однимъ только презрѣніемъ или отрицаніемъ ея. Этой стороной своей дѣятельности онъ походилъ на Бѣлинскаго, но Бѣлинскій, постоянно витавшій въ области идей, не имѣлъ вовсе способности угадывать характера людей, при встрѣчѣ съ ними, и не обладалъ такимъ юморомъ психолога и наблюдателя жизни. Г., наоборотъ, какъ будто родился съ критическими наклонностями ума, съ качествами обличителя и преслѣдователя темныхъ сторонъ существованія. Это обнаружилось у него съ самыхъ раннихъ поръ, еще съ московскаго періода его жизни, о которомъ говоримъ. И тогда Г. былъ умомъ въ высшей степени непокорнымъ и неуживчивымъ, съ врожденнымъ, органическимъ отвращеніемъ ко всему, что являлось въ видѣ какого-либо установленнаго правила, освященнаго общимъ молчаніемъ, о какой-либо непровѣренной истинѣ. Въ такихъ случаяхъ хищническія, такъ-сказать, способности его ума поднимались пѣликомъ и выходили наружу, поражая своею ѣдкостью, изворотливостью и находчивостью. Онъ жилъ въ Москвѣ на Сивцовомъ-Вражѣ еще невѣдомымъ для публики лицомъ, но уже приобрѣлъ извѣстность въ кругу своемъ, какъ остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды; конечно, онъ не всегда умѣлъ держать подъ спудомъ тайну тѣхъ слѣдственныхъ протоколовъ, тѣхъ послужныхъ списковъ о близкихъ и дальнихъ личностяхъ, какіе велъ въ умѣ и про себя. Люди, безпечно стоявшіе съ нимъ объ руку, не могли не изумляться, а подѣ-часъ и не сердиться, когда открывались тѣ или другія части этой невольной работы его духа. Къ удивленію, виѣстѣ съ нею уживались въ немъ самыя нѣжныя, почти любовныя отношенія къ избраннымъ друзьямъ, не избавленнымъ отъ его анализа, но тутъ дѣло объясняется уже другой стороной его характера.

Какъ бы для восстановленія равновѣсія въ его нравственной орга-

низацин, природа позаботилась, однако же, вложить въ его душ одно neodолимое вѣрованіе, одну непобѣдимую наклонность: Г. вѣровалъ въ благородныя *инстинкты* челоѳического сердца, анализ его умокалъ и благоговѣлъ передъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ передъ единственной, несомнѣнною истиной существованія. Онъ высоко цѣнилъ въ людяхъ благородныя страстныя увлеченія, какъ бы ошибочно они еще ни помѣщались, и никогда не смѣялся надъ ними. Эта двойная, противорѣчивая игра его природы—подозрительное отрицаніе, съ одной стороны, и слѣпое вѣрованіе—съ другой, возбуждали частыя недоумѣнія между нимъ и его кругомъ и были поводомъ къ спорамъ и объясненіямъ; и именно въ огнѣ такихъ пререканій, до самаго его отъѣзда за-границу, привязанности къ нему еще болѣе закалились, вмѣсто того чтобы разлагаться. Оно и понятно почему: во всемъ, что тогда думалъ и дѣлалъ Г., не было ни малѣйшаго признака лжи, какого либо дурного, скрыто-вскормленнаго чувства или расчетливаго коварства; напротивъ, онъ былъ всегда весь цѣликомъ въ каждомъ своемъ словѣ и поступкѣ. Да была и еще причина, заставлявшая прощать ему даже иногда и оскорбленія,—причина, которая можетъ показаться невѣроятной для людей, его незнавшихъ.

При стойкомъ, гордомъ, энергическомъ умѣ, это былъ совершенно мягкій, добродушный, почти женственный характеръ. Подъ суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, подъ прикрытіемъ очень мало церемоннаго и нисколько не застѣнчиваго юмора, жило въ немъ дѣтское сердце. Онъ умѣлъ быть какъ-то угловато нѣженъ и деликатенъ, а при случаѣ, когда наносилъ слишкомъ сильный ударъ противнику, умѣлъ тотчасъ же принести ясное, хотя и подразумеваемое покаяніе. Особенно начинающіе, ищущіе, пробующіе себя люди находили источники бодрости и силы въ его совѣтахъ: онъ прямо принималъ ихъ въ полное общеніе съ собой, съ своей мыслью, что не мѣшало его разлагающему анализу производить подѣ-часъ надъ ними очень мучительныя психическіе эксперименты и операціи. Говорили о странной аномаліи? Онъ самъ чувствовалъ эту струну добродушія въ себѣ и принималъ мѣры, чтобы она звучала не слишкомъ явственно. Самолюбіе его словно было оскорблено при мысли, что кромѣ ума и способностей, у него могутъ еще подмѣтить и доброту сердца. Ему случалось насильственно ломать природный свой характеръ, чтобы на нѣкоторое время казаться не тѣмъ, чѣмъ онъ созданъ, а челоѳкомъ свирѣпаго закала; но капризы эти длились не долго. Другое дѣло было, когда онъ попалъ за-границу и укрѣпился въ партіи движенія: тамъ онъ принялся за переработку своего характера очень серьезно. Нельзя было оставаться въ средѣ и во главѣ



опейскихъ демократовъ, сохраняя ту же откровенность въ приёме жизни и обхожденія, какъ въ Москвѣ. Одно это могло уже нить человѣка передъ клубнымъ и социалистическимъ персонажемъ, который охотно пользуется добродушіемъ, но весьма мало цѣль его. Г. принялся гримироваться для новой своей публики въ звѣка, носящаго на себѣ тяжесть громаднаго политическаго мана и призванія, между тѣмъ, какъ въ сущности его занимали всѣ пообразившія идеи науки, искусства, европейской культуры и т.п., потому-что онъ былъ по-своему также и поэтомъ. Слѣды этой загодарной работы надъ собой оказались особенно послѣ того, въ первый попытки его помочь русскому обществу въ работѣ сочиненія съ себя одежду *ветхаго* человѣка—встрѣтили общее сочувствіе: онъ выработалъ изъ себя неузнаваемый типъ. Какая готовъ поправить всѣ связи и воспоминанія, всѣ старыя симпатіи въ ересяхъ абстрактнаго либерализма, какое надменное легковѣріе въ эти извѣстїи, льстящихъ личному настроенію и ему поддакивающимъ, и какое неуспынное стояніе на караулѣ при всякомъ чувствѣ эти, при всякой частной и національной склонности, чтобы оно изсказило величественнаго облика, какой подобаетъ безстрастному овѣку, олицетворяющему судьбу народовъ! Впрочемъ, надо сказать, что Г. никогда вполне не достигалъ цѣли своихъ стараній. Онъ успѣлъ выворотить себя на изнанку, а успѣлъ только перегнуть себя. Онъ успѣлъ еще и въ другомъ — онъ нажилъ себѣ изходное страданіе, и если чья судьба можетъ назваться трагическою, то, конечно, именно его судьба, подъ конецъ жизни. По бычайно-пытливому и проницательному уму онъ разобралъ до последней пылинки ничтожество, пошлую и комическую сторону большинства корифеевъ европейской пропаганды и, однакожъ, слѣдовалъ имъ <sup>1)</sup>. По живому нравственному чувству, которое ему было съ Бѣлинскимъ, Грановскимъ и со всей русской эпохой 40-хъ годовъ, онъ возмущался безстыдствомъ, цинизмомъ мысли и поступковъ у свободныхъ людей, собравшихся подъ однимъ съ нимъ знаменемъ, и бережно таялъ свое отвращеніе. Со всѣмъ тѣмъ, товарищи руководимые чутьемъ самосохраненія, отгадали въ немъ врага и брательники на него свое обычное оружіе — клевету, сплетню, диф-

<sup>1)</sup> Мнѣ вспомнился при этомъ характеристическій анекдотъ. Послѣ 1848 г. одинъ русскихъ эмигрантовъ С\* издумалъ составить альбомъ изъ портретовъ тогдашней многочисленной русской эмиграціи, которую называлъ *настоящей Россіей*. Онъ писалъ къ Г. за портретомъ. „Я согласенъ дать,—отвѣчалъ Г., мой портретъ въ экзиль, но съ тѣмъ, чтобы въ нее былъ принятъ и сотоварищъ мой—крѣпостной Я, недавно убѣжавшій отъ своего барина въ Парижъ“.

фанацію, пасквиль. Г. остался одинъ <sup>1)</sup>. Но до всего этого еще далеко. Когда я узналъ его, Г. былъ въ полномъ блескѣ лодости, исполненъ надеждъ на себя, составляя гордость и уніе своего круга. Въ эпоху первыхъ публичныхъ лекцій Грессаго, онъ волновался, писалъ о нихъ статьи и торжествовалъ усвоего друга такъ шумно, что, казалось, будто празднуетъ свой собственный юбилей <sup>2)</sup>.

А, между тѣмъ, связи его съ Т. Н. Грановскимъ начались леко не подъ счастливыми предзнаменованиями. Замѣчательно и стойательно, что зародыши различныхъ направленій и первые рихъ показались у насъ какъ-то за-разъ въ концѣ 30-хъ годовъ начала сороковыхъ. Едва началось страстное изученіе нѣмецкой лософіи съ той *положительной* ея стороны, о которой мы рили, какъ на скамьяхъ московскаго университета уже сформался кружокъ молодыхъ людей, обратившихъ вниманіе не на лософію, а на социальные вопросы, поклонившіеся не Гегелъ Сень-Симону (1834). Во главѣ кружка стоялъ юноша, студестественно-математическаго факультета, будущій кандидатъ еи именно, этотъ самый Г. Онъ позже говорилъ мнѣ, что и он его молодая партія смотрѣли очень подозрительно на Станкеви Грановскаго, отзывались враждебно и насмѣшливо объ ихъ тїяхъ, какъ о прїятномъ препровожденіи времени, найденномъ сужии людей. Г. носился, на первыхъ порахъ, со своимъ (Симономъ, какъ съ кораномъ, и рассказываетъ въ собственныхъ пискахъ, что, являсь однажды къ Н. А. Полеову, назвалъ егъ *стальнымъ* человекомъ за равнодушный отзывъ о реформаторѣ. ] Полеовой грустно и гнѣвно замѣтилъ: «Вотъ и трудись всю ж чтобы верный мальчикъ назвалъ тебя никуда негоднымъ. — ] дите, — прибавилъ онъ пророчески, — то же будетъ и съ вами».

<sup>1)</sup> Въ числу поэтическихъ страницъ, какихъ у Г. много, принадлежитъ он его послѣднато путешествіи въ Неаполь и воспоминанія тамъ монастыря кармел Горькія, глубоко-печальныя и трогательныя мысли, вынесенныя ему тихимъ моремъ, показывають состояніе его души и принадлежать къ драгоценнѣйшимъ автофическимъ остаткамъ, которыми слѣдуетъ дорожить по справедливости.

<sup>2)</sup> Горячія статьи его о Грановскомъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, 1844 „Москвитининъ“, 1844, еще и тѣмъ были замѣчательны, что онъ противопавля в руку славянской партіи, предлагая миръ на честныхъ условіяхъ. Вотъ что писалъ онъ у нея для своихъ единомышленниковъ: „Нѣтъ положенія *объясняющее* сительно прошедшаго Европа, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобы возставаться имъ, недостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть *общеглавова* развитія, надобно именно не быть исключительно русскимъ, т. е. понимать се противопавляющее зап. Европѣ, а братственнымъ“ („Москвитининъ“, 1844 г., Партія славянофиловъ отчасти приняла эти условія мира, какъ увидимъ, но с ворками много ихъ измѣнившихъ).

камість въ умѣ молодого социалиста жило полное презрѣніе къ чистому мышленію и къ его представителямъ на Руси. Это такъ вѣрно, что когда Г. возвратился изъ первой своей Вятско-Владимірской жизни (1889 г.) въ Москву, кружокъ нашихъ философствующихъ принялъ его довольно холодно и не скрылъ, что считаетъ его человѣкомъ еще не развитымъ и отсталого образа мыслей. Обстоятельство это и заставило Г. обратиться къ источнику благодати, къ изученію Гегеля, которымъ дотогѣ пренебрегалъ. Открытіе, сдѣланное имъ тогда, имѣло важныя послѣдствія. Онъ усмотрѣлъ въ системѣ учителя совсѣмъ не то, что видѣли его новыя друзья. Онъ признавалъ совпаденіе исторіи и человѣческаго прогресса съ ходомъ идеи, развивающейся діалектически въ логикѣ Гегеля, но думалъ, что моменты видоизмѣненія этой идеи соответствуютъ только общественнымъ и релігіознымъ переворотамъ исторіи. Поступательные шаги въ человѣчествѣ, по этому толкованію, обнаруживаются тогда, когда какой-либо изъ историческихъ народовъ начинаетъ мѣнять старыя основы своей жизни. Тогда только и наступаютъ минуты реального осуществленія прогрессивныхъ идей въ исторіи. На этихъ, такъ-сказать, постоянныхъ, но и феноменальныхъ, случайныхъ протестахъ человѣчества и зиждется возможность признать единство эволюцій и логической идеи съ историческими явленіями, а не на основаніи естественнаго, рокового и неизбѣжно-прогрессивнаго хода человѣческаго развитія. Способъ такого пониманія допускался системой Гегеля наравнѣ съ другими: стоило только перевести идеи учителя изъ одного разряда фактовъ въ другой. Г. привлекъ къ своему образу пониманія и старовѣровъ философіи. Оказалось, что, выступивъ на литературное и жизненное поприще съ враждебнымъ настроеніемъ противъ лучшаго, существовавшаго тогда круга людей, Г. не только сошелся и сговорился съ ними, но и сталъ впереди его, какъ авторитетъ, въ вопросахъ отвлеченнаго мышленія. Философія сдѣлалась въ его рукахъ оружіемъ крайне-острымъ и далеко берущимъ, но славянская партія выставила противъ нея другое, тоже хорошо испробованное оружіе. Такимъ образомъ, въ началѣ сороковыхъ годовъ, послѣ короткой размовки, Бѣлинскій, Грановскій, Г. и др. были уже сплочены единствомъ стремленій, и хотя внутренніе раздоры продолжали еще, отъ времени до времени, возникать между ними, но при общности принциповъ и особенно въ виду опаснаго врага, славянофильской партіи, они уже никогда не расходились такъ, чтобы не слышать голоса другъ друга и не отвѣчать на призывъ товарища.

# XVIII.

Не будучи постояннымъ жителемъ Москвы и посѣщая ее случайно, чрезъ довольно долгіе промежутки времени, я не имѣлъ чести познакомиться съ домоу Елагиныхъ, который, состоя изъ хозяйки, А. П. Елагиной, племянницы В. А. Жуковского, сыновей ея отъ перваго мужа, извѣстныхъ братьевъ П. В. и И. В. Кирѣевскихъ, и семейства, пріобрѣтеннаго въ послѣднемъ бракѣ,—былъ любимымъ мѣстомъ соединенія ученыхъ и литературныхъ знаменитостей Москвы, а по тону сдержанности, гуманности и благосклоннаго вниманія, въ немъ царствовавшему, представлялъ нѣчто въ родѣ замуренной почвы, гдѣ противоположныя мнѣнія могли свободно высказываться, не опасаясь засадъ, выходокъ и оскорбленій для личности препирающихся. Почтенный домъ этотъ имѣлъ весьма замѣтное вліяніе на Грановскаго, Г. и многихъ другихъ западниковъ, усердно посѣщавшихъ его: они говорили о немъ съ большимъ уваженіемъ. Можетъ быть, ему они и обязаны были нѣкоторой умѣренностью въ сужденіяхъ по вопросамъ народнаго быта и народныхъ вѣрованій,—умѣренностью, которой не зналъ уединенно стоявшій и дѣйствовавшій Бѣлинскій, называвшій ее прямо любезностію чайнаго столика. Обратное дѣйствіе западниковъ на московскихъ славянофиловъ, составлявшихъ большинство въ обществѣ Елагинскаго дома, тоже не подлежитъ сомнѣнію. Все это, вѣсть взятое, даетъ ему право на почетную страницу въ исторіи русской литературы, наравнѣ съ другими подобными же оазисами, куда скрывалась русская мысль въ тѣ эпохи, когда не доставало еще органовъ для ея проявленія <sup>1)</sup>.

Я самъ имѣлъ случай видѣть притѣръ воздѣйствія на Г. бесѣдъ съ людьми другаго настроенія, несходнаго съ его собственнымъ, хотя въ притѣрѣ, который хочу привести, слышится также и отголосокъ его прежняго обхожденія съ социальными вопросами. Въ одно изъ утреннихъ моихъ посѣщеній Г., въ мезонинѣ его дома на Свѣтловъ-Вражкѣ, гдѣ помѣщался его кабинетъ, онъ заговорилъ о презрѣніи, которое выражено было Бѣлинскимъ къ мужицкому быту вообще, названному имъ *«ланомной и сермяжной домашностию»*. Фраза находилась въ разборѣ какой-то пустой

<sup>1)</sup> Мы слышали впрочемъ, что собранія въ домѣ Елагиныхъ все-таки должны были прекратиться соотъ концы, вслѣдствіе все болѣе и болѣе возмущающей горячности споровъ между вѣствующими на томъ и ономъ партій. Довольно привести одинъ примѣръ: въ 1845 г. разсужденія о западѣ Н. М. Языкова: «Не каино», и о поступкѣ автора, его вальсавшаго тутъ же называли дуломъ между П. Р. Кирѣевскимъ и Т. Н. Грановскимъ, едва удержавшись другъ отъ друга.

книжонки съ разсказами изъ народной жизни, грубо и комически идеализированной авторомъ. «Книжка книжкой,—говорилъ Г.,—но отънвъ неостороженъ и самъ по себѣ, и тѣмъ, что даетъ потачку журналу считать себя большимъ бариномъ передъ народомъ. За что презирать лапотъ и сермяжку? Вѣдь онъ не болѣе, какъ признакъ крайней бѣдности, вопіющаго недостатка. Можно ли дѣлать изъ нихъ поворные эпитеты, а между тѣмъ такіе эпитеты стали рас-  
пложаться въ журналѣ. Мнѣ иногда бываетъ очень трудно защищать его. Я, напримѣръ, ничего не нашелъ отвѣтить Хомякову, когда онъ, подобравъ эти фальшивыя ноты, замѣтилъ:—«хоть бы вы растолковали редактору, что онъ ходитъ въ сапогахъ потому только, что у него есть подписчики на «Отечественныя Записки», а не будь у него подписчиковъ на «Отечественныя Записки», и онъ не далекъ бы ушелъ отъ лапотника».

Т. Н. Грановскій, по временамъ, также смотрѣлъ не совсѣмъ одобрительно на нѣкоторыя полемическія выходы Вѣлинскаго, особенно на тѣ, которыми затрогивались личности писателей, но ни онъ, ни Г. уже не допускали и мысли о потворствѣ славянско-народной партіи въ ея жалобахъ на безцеремонность критика—жалобахъ, имѣвшихъ постоянно въ виду его анализъ прошлыхъ и настоящихъ литературныхъ «слабъ» Россіи. Въ мнѣніяхъ объ этихъ, такъ-называемыхъ, *слабахъ* они почти постоянно сходились съ критикомъ. Не далѣе какъ въ 1842 г., Вѣлинскій, возмущенный тѣмъ, что одинъ изъ московскихъ профессоровъ не иначе смотрѣлъ на его изслѣдованія въ области литературы, какъ на преступленія противъ величества русскаго народа (*lèse-nation*), написалъ довольно злой и остроумный памфлетъ, подъ названіемъ «Педантъ», въ которомъ осмѣивалъ слабыя стороны мнѣній и пріемовъ своего черезчуръ жаднаго противника. Памфлетъ имѣлъ большой успѣхъ и, раз-  
уѣбется, раздражилъ до-нѣльзя того, кто послужилъ ему оригиналомъ. Вѣроятно, полагая возможнымъ требовать отъ Грановскаго важныхъ уступокъ на основаніи знакомства по университету и дому Благинныхъ, обиженный предложилъ ему, въ присутствіи многихъ свидѣтелей, довольно надменный вопросъ: «Неужели послѣ такой статьи онъ, Грановскій, еще рѣшится подать публично руку Вѣлинскому, при встрѣчѣ?» — «Какъ! подать руку? — отвѣчалъ Грановскій, вспыхнувъ:—На площади обниму» <sup>1)</sup>. Говоря вообще, Вѣлинскій былъ, если можно такъ выразиться, смутителемъ московской жизни: безъ его раздражающаго слова, можетъ быть, она сохранила бы долѣе тотъ наружный видъ изящнаго разномыслія, неисключающаго мягкихъ и дружелюбныхъ отношеній между спорящими, кото-

<sup>1)</sup> Разсказъ Вѣлинскаго.

рый составлялъ ея отличіе въ первый періодъ великой литературной распри, завязавшейся у насъ. Бѣлинскій, рѣшительными афоризмами и прогрессивно-растущей смѣлостью своихъ заключеній, ставилъ ежеминутно, такъ-сказать, на барьеръ своихъ московскихъ друзей со своими врагами въ Москвѣ. Первый, почувствовавшій несообразность положенія людей, изловчающихся какъ можно приличнѣе и ласковѣе наносить другъ другу если не смертельныя, то очень тяжелыя раны, былъ благороднѣйшій и послѣдовательнѣйшій Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ. Правда и то, что для него славянизмъ и русская народная жизнь составляли болѣе, чѣмъ доктрину или ученіе, защищать которыя обязываетъ честь: славянизмъ и народный русскій строй жизни сдѣлались жизненными основами его существованія и кровію его самого. Г. рассказываетъ въ своихъ запискахъ, какъ, встрѣтившись на улицѣ, К. С. Аксаковъ трогательно распрощался съ нимъ навсегда, не признавая въ немъ болѣе товарища на жизненномъ пути. Съ Грановскимъ дѣло было еще знаменательнѣе. К. С. Аксаковъ пріѣхалъ къ нему ночью, разбудилъ его, бросился къ нему на шею и, крѣпко сжимая въ своихъ объятіяхъ, объявилъ, что пріѣхалъ къ нему исполнить одну изъ самыхъ горестныхъ и тяжелыхъ обязанностей своихъ—разорвать съ нимъ связи и въ послѣдній разъ проститься съ нимъ, какъ съ потеряннымъ другомъ, несмотря на глубокое уваженіе и любовь, какія онъ питаетъ къ его характеру и личности. Напрасно Грановскій убѣждалъ его смотрѣть хладнокровнѣе на ихъ разномыслія, говорилъ, что, кромѣ идей славянства и народности, между ними есть еще другія связи и нравственные убѣжденія, которыя не подвержены опасности разрыва, — К. С. Аксаковъ остался непреклоненъ и уѣхалъ отъ него сильно взволнованный и въ слезахъ <sup>1)</sup>. Тогда еще у насъ ученіе и взгляды порождали внутреннія нитяныя драмы.

Въ домѣ же Елагиной, Г. встрѣчался съ постояннымъ своимъ оппонентомъ А. С. Хомяковымъ, въ которомъ чрезвычайно уважалъ собственную свою способность усматривать въ мысляхъ и фактахъ присущую имъ отрицательную сторону, ихъ немоши и болѣзни, и потому искалъ диспутовъ и столкновеній съ противникомъ такой силы, такой эрудиціи и такого остроумія. Въ это время Г. уже напечаталъ свою извѣстную, очень живую, хотя и отвлеченно-философскую статью: «Дилеттантизмъ въ наукѣ» («Отечеств. Записки», 1842 г.), въ которой давалъ право наукѣ нисколько не беречь дорогихъ преданій, убѣжденій, облегчающихъ существованіе людей и народовъ на землѣ, и уничтожать ихъ безъ робости, какъ только

<sup>1)</sup> Рассказъ Т. Н. Грановскаго.

они противорѣчатъ въ чемъ-либо ея собственнымъ научнымъ основаніямъ. Въ этомъ правѣ науки онъ находилъ и ея отличіе отъ дилеттантизма, равно неспособнаго отдаться младенческой душой поэзіи народныхъ измышленій и слѣдовать неуклонно по пути анализа и строгаго изслѣдованія предметовъ. Этими качествами дилеттантизма и объясняется его природная способность мѣшать всѣмъ дойти до окончательныхъ выводовъ, подѣ предлогомъ дружелюбной помощи каждой изъ сторонъ. Взаимнъ и въ вознагражденіе какихъ-либо утратъ въ жизни, авторъ сулилъ отъ имени науки рядъ высокихъ наслажденій ума и такихъ здравыхъ убѣжденій, которыя съ избыткомъ вознаграждать за все, что могло быть потрясено или уничтожено ею. Статья обнаруживала страстную, полнѣйшую вѣру во всемогущество науки, подѣ которой разумѣлась все-таки философія естествознанія, и, несмотря на нѣсколько тяжелый языкъ, была глубоко-радикальной статьей по своему содержанію. При первой встрѣчѣ съ А. С. Хомяковымъ, Г. наткнулся, въ противоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже полнѣйшій радикализмъ, но совсѣмъ иного вида.

Г. разсказалъ самъ, въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ изданій, часть тѣхъ ошибокъ его съ Хомяковымъ, которыя касались преимущественно строя, духа и основаній нѣмецкой философіи. Изъ этихъ сообщеній ясно оказывается, что главнѣйшимъ аргументомъ Хомякова противъ Гегелевой системы служило положеніе, что изъ разбора свойствъ и явленій одного *разума*, съ исключеніемъ всѣхъ другихъ, не менѣе важныхъ нравственныхъ силъ челоуѣка, никакой философіи, заслуживающей этого имени, выведено быть не можетъ. О другой части своихъ споровъ съ Хомяковымъ — теозофской, Г. едва упоминаетъ въ запискахъ, можетъ быть потому, что она казалась ему гораздо менѣе важной, чѣмъ первая, но позволительно теперь не согласиться съ его мнѣніемъ.

Основнымъ, хотя еще и невысказываемымъ ясно поводомъ къ этой второй части ихъ диспутовъ послужило, предпринятое тогда А. С. Хомяковымъ, возстановленіе (реабилитація) византізма, столь опозореннаго между учеными на Западѣ. Способъ пониманія и приложенія его нашими прямыми, натуральными его защитниками — наставническимъ персоналомъ духовныхъ семинарій и академій, увеличивалъ еще отвращеніе къ нему. Съ извѣстнаго письма Чаадаева, однакожъ, въ 1836 году, въ которомъ византізмъ объявлялся источникомъ умственного и политическаго растлѣнія всей Россіи и предавался чуть-чуть не проклятiю исторiи, уже нельзя было обойти вопроса о византізмѣ всякому, кто захотѣлъ бы сообщить своимъ вѣрованіямъ и убѣжденіямъ видъ критически обсужденнаго и раз-

смотрѣннаго дѣла. А. С. Хомяковъ не только не обходилъ вопроса, но настойчиво примѣшивалъ его ко всѣмъ явленіямъ жизни и къ такимъ сферамъ дѣятельности человѣческой, гдѣ его присутствіе всего менѣе ожидалось, вездѣ давая ему, подъ рукою, роль мѣрила истинны, добра и красоты. Ключъ къ пониманію многихъ крайне оригинальныхъ мнѣній и приговоровъ школы Хомякова, которые шли наперекоръ всѣмъ добытымъ фактамъ и положеніямъ, лежитъ именно въ изобрѣтеніи и употребленіи этого новаго критериума для оцѣнки историческихъ явленій. Тезисы и положенія ея въ родѣ того, что религіозная сторона западнаго искусства и преимущественно до-рафаэлевской живописи есть произведеніе слабосильнаго мистицизма, а не прямого христіанскаго созерцанія, что привлекательный идеалъ стараго русскаго правителя представляетъ намъ царь Оедоръ Ивановичъ въ своей особѣ, а прекрасный типъ правленія въ народномъ духѣ являетъ царствованіе Елизаветы Петровны въ новой нашей исторіи,—всѣ эти тезисы, говоримъ, и другіе, еще болѣе смѣлые и страстные, оттого и приводили въ такое недоумѣніе противниковъ школы Хомякова, что они не вполне знали ея тайну и не обладали ключемъ къ разбору этихъ загадокъ.

Что Хомяковъ былъ добросовѣстенъ и вѣровалъ въ свои начала — тутъ не можетъ быть и слова, но позволительно думать, имѣлъ онъ тѣмъ, что его умъ, преимущественно діалектическому, не имѣлъ знанія византизма, передѣлать приговоръ исторіи, поворачивать общее мнѣніе назадъ — могла имѣть свою обольстительную сторону. Какъ бы то ни было, объявляя византизмъ великимъ и еще не имѣвшимъ объясненій явленіемъ въ человѣчествѣ, А. С. Хомяковъ тѣмъ самымъ страдалъ и уничтожалъ громадную массу историческихъ, художественныхъ и теологическихъ трудовъ Запада, враждебныхъ источнику цивилизаціи, понижалъ его кичливость и многіе предметы его гордости, какъ, напримѣръ, эпохи «реформаціи» и «возрожденія», до смысла второстепенныхъ и даже болѣзненныхъ явленій человѣческой мысли. Реформація была для него жалкой попыткой западныхъ народовъ исправить религію, примѣе источники которой замѣнены католицизмомъ на-глухо, а эпоха «возрожденія», ей предшествовавшая, отчаяннымъ призывомъ, со стороны тѣхъ же народовъ антическаго міра, на помощь для созданія у себя чего-либо подобнаго на науку, искусство и цивилизацію. Положительная сторона въ защитѣ неспасающаго византизма основывалась у него на представленіи и пониманіи церковнаго восточнаго ученія, какъ такова, которое допускаетъ полную свободу мысли при неограниченной авторитетѣ политическаго или церковнаго догмата. А. С. Хомяковъ не стѣснялся исторіей византійской инженеріи, кото-



рая могла противорѣчить этому положенію. Во-первыхъ, для него дѣльной, безпристрастной исторіи византійскихъ грековъ вовсе не существовало на свѣтѣ, и все, что выдается за ихъ исторію въ Европѣ, представлялось ему чуть ли не сплошной клеветой или жалкимъ недоразумѣніемъ, а во-вторыхъ, она не могла бы служить ни подтвержденіемъ, ни опроверженіемъ его мысли, если бы и существовала. Начала, лежавшія въ основѣ восточнаго христіанства, были такъ глубоки и высоки, что политическое и общественное развитіе самой страны за ними не поспѣвало. Можно себѣ представлять растлѣніе константинопольскаго двора, общественныхъ нравовъ и государственныхъ порядковъ въ какомъ угодно видѣ, но духъ и созерцаніе, хранимое церковью народа и переданное ею вѣкамъ, все-таки остается единственнымъ фундаментомъ, на которомъ можетъ быть утверждено великое, образованное и нравственное—христіанское государство. Въ византійской имперіи ея церковное ученіе и есть настоящая ея исторія, ея мысль и ея право на благодарность народовъ. Въ позднѣйшихъ брошюрахъ, которыя А. С. Хомяковъ издавалъ за границей, въ пятидесятыхъ годахъ, подъ псевдонимомъ «Ignotus», содержится изложеніе главныхъ пунктовъ этого ученія и вытекающаго изъ нихъ взгляда на взаимныя отношенія народа къ своимъ іерархамъ и властямъ въ христіанской общинѣ. Восточное христіанство даже рядомъ и на зло азіатскому деспотизму, иногда становившемуся во главѣ его, сберегло представленіе о собраніи вѣрныхъ, какъ прототипъ государства, гдѣ каждый зависитъ отъ каждаго, и гдѣ каждый есть въ одно время и подначальное, и руководящее лицо. Оно допускало фактически, но не знало въ принципѣ дѣленія людей на учителей и учениковъ, на обязанныхъ повелѣвать и обязанныхъ повиноваться, потому что всѣ люди имѣли одно назначеніе—служить *церкви*,—и малѣйшій изъ нихъ могъ стать рядомъ съ превознесеннымъ членомъ въ теченіи этой непрерывной службы и по ея требованію. Самые догматы, выработанные восточнымъ христіанствомъ, при всемъ своемъ характерѣ непререкаемости и неизмѣнности, еще нисколько не стѣсняють свободы движенія для философской мысли, благодаря полученной ими въ «соборахъ» глубинѣ и всеобъемлемости: они облачаютъ человѣческое разумѣніе со всѣхъ сторонъ, какъ атмосфера или небо облачаютъ нашу землю. Сверхъ того, философія, не чуждающаяся теологическихъ истинъ, нравственныхъ и бытовыхъ вопросовъ, такая, зачатки которой находятся въ византійскихъ учителяхъ, отвѣчаетъ точно также на требованія сердца, какъ и на запросы самаго тонкаго метафизическаго анализа, и по этому двойственному характеру она именно и должна, рано или поздно, пустить живые отпрыски во всѣ виды науки, освѣжить и обновить умственный бытъ Европы.

Въ такому великому дѣлу обновленія захудавшаго, въ нравствен-  
номъ смыслѣ, европейскаго существованія призвана та національность,  
которая судьбами исторіи и Провидѣнія сдѣлалась наслѣдницей и  
представительницей византизма въ мірѣ, какова бы, впрочемъ, ни  
была покажеться бѣдная, смиренная, приниженная доля этой избран-  
ной національности.

Болѣе отвлеченнаго радикальнаго мышленія нельзя было проти-  
вопоставить философскому радикализму Г., и послѣдній сознавался,  
что А. С. Хомяковъ заставилъ его прочесть волюнтаристичныя исторіи  
Неандера и Гфрѣрера и особенно изучать исторію вселенскихъ со-  
боровъ, мало знакомую ему, для того, чтобы возстановить нѣкото-  
раго рода равновѣсіе въ спорѣ съ противникомъ и имѣть возмож-  
ность повѣрять обильныя ссылки Хомякова на каноны и параграфы  
соборныхъ постановленій, которыми онъ сыпалъ на память, противо-  
поставляя ихъ точнымъ нѣмецкимъ тезисамъ Г.

Если основное положеніе Хомякова, точка исхода всей его си-  
стемы, имѣла такой радикальный характеръ, то само собою разу-  
мѣется, что выводы, практическія приложенія, политическія, исто-  
рическія и литературныя сужденія, ею обусловливаемыя, должны были  
еще въ сильнѣйшей степени носить отбѣнокъ пренебреженія къ за-  
падной цивилизаціи, суроваго взгляда на ея развитіе и рѣшитель-  
наго отрицанія большей части ея продуктовъ. Оно такъ и было.  
Самъ А. С. Хомяковъ прилежно слѣдилъ за ходомъ и открытіями  
наукъ, художествъ и даже ремеслъ въ Европѣ, будучи однимъ изъ  
самыхъ развитыхъ людей на Руси, но школа, нѣтъ образованная,  
понеслась, какъ всегда бываетъ, въ данномъ ей направленіи уже  
безъ оглядки и осторожности, сохраняемыхъ основателями. Все, съ  
чѣмъ носились тогда наши «западники», начиная отъ романовъ  
Ж. Занда, имѣвшихъ большой успѣхъ между ними, по социальнымъ  
вопросамъ, которые они поднимали, до новыхъ попытокъ къ устро-  
енію политическаго и экономическаго быта государствъ (Контъ, Пру-  
донъ, Мишеле),—все это отстранялось школой Хомякова, какъ не-  
стоящее вниманія. Европа объявлялась несостоятельной для здоро-  
ваго искусства, для удовлетворенія высшихъ требованій человѣче-  
ской природы, для успокоенія религіозной жажды народовъ и водво-  
ренія справедливости, правотѣрности и любви между ними. Ей пред-  
назначались естественныя, финансовыя, техническія науки, великія  
промышленныя изобрѣтенія, созданіе громадныхъ торговыхъ и воен-  
ныхъ флотовъ—словомъ, баснословныя успѣхи по всѣмъ отдѣламъ  
вѣдѣній, способствующиye матеріальной сторонѣ существованія. Она  
осуждалась на развитіе комфорта, роскоши, богатствъ, которыя и  
накаплиются ею въ бездѣльных количествахъ. Благополучіе Европы,

безпримѣрное въ исторіи, продолжаетъ еще расти, въ ущербъ все болѣе и болѣе грубѣющему нравственному смыслу ея. Она даже закрываетъ глаза отъ возстающей передъ ней смерти въ образѣ пролетаріата, который расплодился подъ ея кровомъ и грозитъ возобновленіемъ временъ варварства. Отъ европейскихъ литературъ школа Хомякова брала и помнила только подходящія мѣста изъ ихъ сатириковъ, моралистовъ и обличителей; историкъ и писатели Европы цѣнились по количеству упрековъ и нареканій, какіе случалось имъ проронить относительно своего времени и прошлаго ихъ отечества. Иностранная хрестоматія школы вся почти состояла изъ образцовъ этого рода, которые и цитировались ею часто и охотно. По свидѣтельству всѣхъ слышавшихъ Хомякова, онъ производилъ критику социальнаго и интеллектуальнаго положенія Европы съ особеннымъ искусствомъ, блескомъ и остроуміемъ, хотя и въ границахъ приличія и осторожности, свойственныхъ его чуткому уму. Какъ Г., со своей стороны, ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевленіе, онъ самъ еще не избавился отъ дѣйствія этой критики. Слова Хомякова, по нашему мнѣнію, оставили слѣды въ умѣ и сердцѣ Г. противъ его воли, можетъ быть, и отразились въ позднѣйшей его проповѣди о несостоятельности и банкротствѣ западной жизни вообще.

На пути этихъ жаркихъ преній встрѣчалось, однако же, имя, вокругъ котораго споръ шумѣлъ и пѣнился особенно яростно, на подобіе потока, встрѣтившагося съ неподвижной скалой. Это было имя нашего колосса, который, принимая отъ сената титулъ «отца отечества», сказалъ рѣчь, какъ-бы отвѣчающую изъ глубины прошлаго столѣтія на современныя волненія потомковъ: «Намъ всегда вадлежитъ помнить участь Царяграда и Византійской имперіи, для того, чтобъ за пустыми занятіями не потерять своего государства». За то имя этого человѣка и причислялось наиболѣе горячими адептами школы къ разряду той вольницы, тѣхъ изгоевъ общества и ненавистниковъ русскаго быта, которыхъ во всѣ времена было много на Руси, не только между приказными и по царевымъ кружаламъ, но даже и въ почтенныхъ, но особенно строгихъ семействахъ. Эти-то изгой и произвели реформу, когда одинъ изъ геніальнѣйшихъ людей всѣхъ вѣковъ сдѣлался ихъ представителемъ и захватилъ бразды управленія московскимъ царствомъ. Радикальнѣе этого нельзя было отвѣчать западникамъ, благоговѣвшимъ передъ реформой; за то западники и истли своимъ противникамъ, предавая съ своей стороны поруганію все, чтó тѣ считали святыней народнаго духа и народныхъ воспоминаній.

Въ печати, на скромномъ поприщѣ тогдашней публицистики,

все это, разумеется, являлось въ смягченномъ видѣ, высказывалось не такъ ярко и откровенно. На сцену люди выходили, за очень малыми, всѣмъ извѣстными исключеніями, вѣсколько принаряженные. Однако же слѣды домашнихъ бурь должны были отражаться и въ журнальной литературѣ, и дѣйствительно отражались. Журналъ «Москвитянинъ», сдѣлавшійся эхомъ славянофильской школы, доходилъ въ защитѣ своихъ основныхъ положеній—о богатствѣ русскаго народнаго духа, о его религіозной сущности, объ элементахъ смиренія, кротости, терпѣнія, мудрости, его отличающихъ, до крайнихъ границъ увлеченія, до утвержденія, напримѣръ, что земля русская удобрялась для исторіи, не какъ земли западныхъ народовъ, кровью населеній, а только слезами ихъ. Журналъ «Отеч. Записки», сдѣлавшійся съ 1840 года центромъ соединенія для «западниковъ», въ своей проповѣди общечеловѣческаго развитія, законы котораго одинаковы, какъ они утверждали, для всѣхъ странъ, почасту простиралъ отрицаніе народныхъ отличій до степени непониманія, казавшейся напускной и предумышленной. Оба журнала вели ожесточенную полемику, и, конечно, не было недостатка съ обѣихъ сторонъ въ взбалмошныхъ головахъ, въ «*enfants perdus*», которыхъ редакціи выпускали въ видѣ застрѣльщиковъ: они-то и производили тѣ курьёзы и абсурды, которыхъ можно набрать довольно большое количество и тутъ, и тамъ. Многіе и доселѣ еще полагаютъ, что эти курьёзы и абсурды именно и составляютъ характеристическія черты тогдашней журналистики, но раздѣлять этотъ взглядъ не предстоить возможности. За обоими журналами стояли еще люди, смотрѣвшіе гораздо далѣе того горизонта, которымъ ограничивались, по необходимости, публичные органы, ими поддерживаемые. Такъ, Бѣлинскій понималъ всѣ вопросы гораздо глубже, чѣмъ «Отеч. Записки», гдѣ писалъ, а за Бѣлинскимъ стояли еще Грановскій, Г. и др., часто вовсе не раздѣлявшіе взглядовъ своего журнала. Съ «Москвитяниномъ» это еще было очевидно и рѣзче. Люди, подобные обоимъ Кирѣевскимъ, Хомякову, Аксаковымъ, никакъ не могутъ быть привлечены къ отвѣтственности за всѣ зазорныя выходки редакцій. По обширности пониманія славянофильскаго вопроса, по дѣльности и внутреннему значенію своихъ убѣжденій, они стояли гораздо выше «Москвитянина», который постоянно считался ихъ органомъ и поддерживался ими наружно.

Такихъ образомъ, обѣ литературныя партіи, въ описываемое время (1843) стояли какъ два лагеря другъ противъ друга, каждый со своими шпагами. Казалось, онѣ уже никогда и не будутъ встрѣчаться иначе, какъ съ побужденіемъ наносить взаимно удары и обиживаться вызовами, но время, годъ прибывающаго разнѣше-

ніа устроили дѣло иначе. Уже въ половинѣ этого періода, между 1845—46 г., въ умахъ передовыхъ людей обоихъ становъ свершился поворотъ и начало возникать предчувствіе, что обѣ партіи олицетворяютъ собой каждая одну изъ существеннѣйшихъ необходимыхъ развитія, одно изъ началъ, его образующихъ. Партіи должны были бороться такъ, какъ онѣ боролись, на глазахъ публики, для того именно, чтобы выяснить всю важность содержанія, заключающагося въ идеяхъ, ими представляемыхъ. Только послѣ ихъ усилій, трудовъ и борьбы можно было распознать, сколько жизненной правды заключается въ идеѣ народнаго, племенного.

## XIX.

Въ концѣ 1843 г., Бѣлинскій, уже женатый, занималъ небольшую квартиру на дворѣ дома Лопатина, котораго лицевая сторона выходила на Аничкинъ мостъ и Невскій проспектъ.

Въ этомъ помѣщеніи Бѣлинскій предоставилъ себѣ три небольшихъ комнаты, изъ коихъ одна, попросторнѣе, именовалась столовой, вторая за ней слыла гостиной и украшалась сафьяннымъ диваномъ съ обязательными креслами вокругъ него, а третья—нѣчто въ родѣ глухого коридорчика обѣ одномъ окнѣ—предназначалась для его библіотеки и кабинета, что подтверждали шкафъ у стѣны и письменный столъ у окна. Впрочемъ, самъ хозяинъ нисколько не подчинялся этому распредѣленію: въ столовой онъ постоянно работалъ и читалъ, а диванъ гостиной служилъ ему болѣею частію ложемъ при частыхъ его недугахъ; въ кабинетъ онъ заглядывалъ только для того, чтобы достать изъ шкапа нужную книгу. Двѣ заднія комнаты занимала его семья, умножившаяся вскорѣ дочерью Ольгою.

Ребенокъ этотъ, а потомъ сынъ, прожившій не долго и унесшій съ собою въ могилу послѣднія силы отца, да еще цвѣты на окнахъ—составляли тогда предметъ его ухаживаній, заботъ и нѣжнѣйшихъ попеченій. Они одни были его жизнію, которая начинала уже убѣгать отъ него и угасать по-немногу. Вскорѣ ему уже предписано было носить респираторъ при выходѣ на воздухъ, и онъ шуточно говорилъ мнѣ: «вотъ какой я богатъ сдѣлался! Максимъ Петровичъ у Грибоѣдова ѣдалъ на золотѣ, а я дышу черезъ золото: это будетъ еще по-важнѣе, кажется!»—Часто заставлялъ я его на диванѣ гостиной въ совершенномъ изнеможеніи, особенно послѣ усиленныхъ трудовъ за срочной статьёй, оставлявшихъ его съ головной болью и въ лихорадкѣ. Надо сказать, впрочемъ, что онъ очень скороправлялся послѣ этихъ пароксизмовъ, поддерживаемый тѣмъ нап्रा-

женнымъ состояніемъ духа и воли, которое уже не покидало его съ 1842 года, и которое, поднимая его часто съ одра болѣзни и давая ему обманчивый видъ человѣка, исполненнаго жизни и энергіи, разрушало въ то же время и послѣднія основы его страдающаго организма.

Возбужденное состояніе сдѣлалось, наконецъ, нормальнымъ состояніемъ его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тѣхъ поръ, пока болѣзнь окончательно не сломила его. Самыя тихія, дружескія бесѣды чередовались у него съ порывами гнѣва и негодованія, которые могли быть вызваны первымъ анекдотомъ изъ насущной жизни или даже рассказомъ о какомъ-либо дикомъ обычаѣ иной, очень далекой страны. Кто-то однажды разсказалъ передъ нимъ способъ, которымъ добывалъ себѣ евнуховъ хорошей расы старый египетскій паша, Мегеметь-Али. Мегеметь дѣлалъ изъ него разію на какое-либо сосѣднее негритянское племя и приказывалъ захватывать при этомъ всѣхъ дѣтей мужскаго пола; затѣмъ надъ плѣнными производился строгій выборъ, а избранные экземпляры подвергались извѣстной операціи, послѣ которой ихъ тотчасъ же зарывали, по-полюсь, въ горячій песокъ степи. Половина дѣтей умирала, а другая, выдержавшая опытъ, разсмѣялась старымъ злодѣемъ разнымъ турецкимъ сановникамъ, въ которыхъ онъ почему-либо нуждался. Кровь бросилась въ голову Бѣлинскому; онъ подошелъ къ анекдотисту, и прожизнѣ жалобнымъ голосомъ: «зачѣмъ вы разсказали это;—мнѣ придется теперь не спать ночь». Жена Бѣлинскаго вообще чрезвычайно боялась вечеровъ, когда онъ засиживался съ друзьями въ разговорахъ.

По дѣйствию воображенія и представительной способности, развитыхъ у него неизмѣрно, онъ переносилъ ненависть на лица, уже отошедшія въ область исторіи, на давноминувшія событія, почему-либо возмущавшія его. У него было множество враговъ и предметовъ злобы, какъ въ современномъ мірѣ, такъ и въ царствѣ тѣней, о которыхъ онъ равнодушно говорить не могъ. Объективныхъ, то есть, по-просту сказать, индифферентныхъ отношеній къ историческимъ дѣятелямъ или важнымъ фактамъ исторіи вовсе и не знала эта страстная природа. Бѣлинскій превращался какъ будто въ современника различныхъ эпохъ, на которыхъ натѣкался въ чтеніи, выбиралъ сторону, которую слѣдовало защищать, и боролся съ противной стороной, уже давно замолкшей,—такъ, какъ будто она сейчасъ нарушила его нравственный покой и убѣжденія. Нѣчто подобное, въ обратномъ смыслѣ, происходило и съ предметами его симпатій, которыя онъ отыскивалъ въ разныхъ вѣкахъ и у разныхъ народовъ: онъ влюблялся въ героев своей мысли, вскакивалъ съ

мѣста при одномъ ихъ имени и нерѣдко защищалъ ихъ отъ современной критики до послѣдней возможности. Онъ неохотно разставался со своими друзьями. Но всего болѣе однако-же тратилъ онъ силъ на вражду и негодованіе. Кругъ враговъ его, кромѣ дѣйствительныхъ и состоявшихъ на лицо, увеличивался всѣмъ персоналомъ, добытымъ въ чтеніи: онъ боролся такъ же страстно съ тѣми прошлаго, какъ и съ людьми и событіями настоящаго.

Можно себѣ представить, чтó происходило, когда Вѣлинскій покидалъ безотвѣтныхъ своихъ подсудимыхъ и случайно наткнулся на живое, современное лицо, стоявшее передъ нимъ во-очію съ какимъ-либо ограниченнымъ пониманіемъ серьезнаго предмета или съ какой-либо тупой и обскурантной теоріей. Въ то время вообще не умѣли различать человѣка отъ его слова и сужденія, и думали, что они неизбѣжно составляютъ одно и то же. Всѣхъ менѣе допускалъ это различіе Вѣлинскій и громовыя его обличенія въ подобныхъ случаяхъ разрывали всѣ связи съ оппонентомъ и не оставляли никакой надежды на возобновленіе ихъ въ будущемъ. Послѣдствіемъ такого образа сношеній со свѣтомъ была, конечно, необходимость жить въ одиночествѣ или только въ сообществѣ очень близкихъ людей, на чтó Вѣлинскій охотно и осуждалъ себя, не измѣняя нисколько своихъ пріемовъ мысли и сужденій, когда насильно и случайно вводился въ другую среду.

Понятно, что въ такомъ же напряженномъ состояніи духа происходило и его чтеніе, даже и тогда, когда обращалось на предметы ученаго и отвлеченнаго содержанія. Мы уже упомянули, что въ этотъ періодъ его жизни, оно — чтеніе это — все прогрессивно разрасталось въ сторону экономическихъ и политическихъ вопросовъ. Такой манеры чтенія, какую усвоилъ себѣ Вѣлинскій, достаточно было, чтобы надсадить и болѣе сильный организмъ. Къ книгѣ, къ статьѣ, любому ученію и мнѣнію, начиная отъ самыхъ добросовѣстныхъ трактатовъ, захватывающихъ глубочайшіе интересы общества и человѣчества и кончая самыми ничтожными произведеніями русской словесности — Вѣлинскій всегда относился болѣе чѣмъ серьезно, относился страстно, допытывался психическихъ причинъ ихъ появленія, создавая имъ генеалогію, разбирая одну по одной чертѣ ихъ нравственной физіономіи. Поводовъ для восторговъ и вспышекъ гнѣва находилось тутъ множество. Сколько разъ случалось намъ заставить его — послѣ оконченной книги, статьи, главы — рассказывающимъ вдоль грехъ своихъ коимъ-то со всѣми признаками необычайнаго волненія. Онъ тотчасъ же принимался передавать свои впечатлѣнія отъ чтенія, въ горячѣй, ничѣмъ не стѣсненной импровизаціи. Я находилъ, что эта импровизація еще лучше его статей, но статьи въ такомъ

тонъ и не пишутся, да и писаться не могутъ. Если судить по количеству и массѣ ощущеній, порывовъ и мыслей, какіе переживалъ этотъ замѣчательный человѣкъ каждый день, то можно назвать его коротенькую жизнь, такъ быстро сгорѣвшую на нашихъ глазахъ, достаточно продолжительной и полной. Въ тому слѣдуетъ прибавить, что Бѣлинскій такъ востался, сѣбѣ выразиться, въ авторовъ, которыхъ изучалъ, что постоянно открывалъ ихъ затаенную, невысказанную мысль, поправлялъ ихъ, когда они измѣняли ей или нарочно затеняли ее, и выдавалъ ихъ послѣднее слово, которое они боялись или не хотѣли произнести. Этого рода обличенія были самой сильной стороной его критики. Такъ, во многихъ иностранныхъ, преимущественно экономическихъ и социальныхъ писателяхъ, онъ угадывалъ направленіе, которое они примутъ или должны принять. Такъ, напримѣръ, онъ говорилъ о Жоржъ-Зандѣ, котораго, впрочемъ, очень уважалъ, что писательница эта гораздо болѣе связана тѣми идеями и принципами, которые отвергаетъ, чѣмъ сколько сама то думаетъ; о Тьеръ, онъ замѣчалъ, что въ его «Исторіи французской революціи» послѣдняя является чѣмъ-то въ родѣ *божьяго поущенія*, отчего въ ней становится многое непонятнымъ, несмотря на очень ясное и гладкое изложеніе. Пьера-Леру Бѣлинскій называлъ взбунтовавшимся католическимъ попомъ и т. д., а о русскихъ нашихъ дѣтеляхъ и говорить нечего — онъ почти безошибочно опредѣлялъ всю будущую ихъ дѣятельность по первымъ представленнымъ ими образцамъ ея.

Не мудрено, если при этой постоянной работѣ его духа пріятели его находили, что съ каждой новой встрѣчей онъ уже стоялъ не тамъ, гдѣ его видѣли наканунѣ: неустанное колесо мысли уносило его часто далеко изъ ихъ глазъ. Полемикъ его суждено было выразить именно эту сторону его психической натуры, жаждавшей борьбы и движенія, подобно тому, какъ критико-публицистическія статьи изобличали его способность самообладанія и его господство надъ собственной мыслию.

Послѣ этого уже не трудно представить себѣ, что въ войнѣ между западниками и славянофилами Бѣлинскій оказался врагомъ непримиримымъ, между тѣмъ какъ другіе собраты его по оружію, какъ Г., или Грановскій и проч., считали себя втайнѣ только временными врагами нашей національной партіи и ждали отъ лучшихъ ея представителей только разъясненія ихъ программы, чтобы протянуть имъ руку. Правда, и Бѣлинскій пришелъ позднѣе къ мысли о необходимости разобрать дѣльное въ ученіи славянофиловъ отъ несовѣстнаго дѣльнаго наноса, да также допустилъ и оговорки, ограждающія собственное его западное воззрѣніе отъ упрека въ слѣпой



страсти ко всѣмъ европейскимъ порядкамъ, но онъ послѣдній ки-нулъ брешь, которую фанатически защищалъ отъ вторженія эле-ментовъ темнаго, грубаго, непосредственнаго мышленія народныхъ массъ, противопоставляя знамя общечеловѣческаго образованія всѣмъ притязаніямъ и заявленіямъ такъ-называемыхъ народныхъ культуръ.

Исходной точкой всей ожесточенной полемики его противъ та-кихъ культуръ и противъ ихъ защитниковъ было убѣжденіе, что они могутъ возникать при всякомъ порядкѣ вещей и уживаться со всякимъ строемъ жизни, къ которому привыкли или который по-чему-либо излюбили. Наоборотъ, ему казалось, что основной харак-теръ общечеловѣческаго образованія именно и состоитъ въ томъ, что люди, его усвоившіе, подвергаютъ критикѣ и обсужденію всѣ формы существованія и удовлетворяются только тѣми, которыя отвѣчаютъ логикѣ и выдерживаютъ самый строгій анализъ. На этомъ основа-ніи Бѣлинскій дѣлилъ міръ на зрячіе и слѣпые народы, и послѣд-ніе были ему противны по принципу, какими бы въ прочемъ добро-дѣтелями, высокими качествами души, способностями и другими знат-ными преимуществами ни обладали.

Нужно ли прибавлять, что о какой-либо справедливости по от-ношенію къ людямъ, народамъ и предметамъ не было и помину при томъ, да о справедливости Бѣлинскій, въ пылу битвы, и не забо-тился, въ чемъ совершенно походилъ и на своихъ противниковъ, вступавшихъ точно также. И онъ, и они спасали только свои воз-зрѣнія, казавшіяся имъ благотворными по своимъ послѣдствіямъ, а о томъ — сколько падало при ихъ столкновеніяхъ напрасныхъ жертвъ, сколько наносилось грубыхъ ударовъ, ничѣмъ не оправдываемыхъ, идеямъ и вѣрованіямъ, сколько страдало за-даромъ репутацій и лич-ностей — никто и не думалъ. Все это предоставлялось разобрать по-слѣдующей исторіи и возратить каждому должное и заслуженное. Для современниковъ же оставалась горькая, упорная борьба, отчаян-ная, многолѣтняя ненависть другъ къ другу, закоренѣлая до того, что она даже пережила многихъ борцовъ и продолжалась отъ ихъ имени на ихъ гробахъ.

Еще до возвращенія моего на родину, именно въ 1842 г., Бѣ-линскій, вскорѣ послѣ своего памфлета «Педантъ», о которомъ я уже упоминалъ, нанесъ и еще другой, тяжелый ударъ одной весьма вѣстной личности московскаго круга — нынѣ покойному К. С. Акса-кову. Извѣстно, что К. С. Аксаковъ, при появленіи первой части «Мертвыхъ Душъ», въ томъ же 1842 г., написалъ статью, въ ко-торой проводилъ мысль о сходствѣ Гоголя по акту творчества и силѣ созданія съ Гомеромъ и Шекспиромъ, находя, что только у однихъ этихъ писателей, да у нашего автора обнаруживается даръ

указывать въ пошлыхъ характерахъ и въ самомъ пороки еще нѣ-  
которую внутреннюю крѣпость и своего рода силу, которая почер-  
паются ими уже отъ принадлежности къ мощной и здоровой націо-  
нальности. К. С. Аксаковъ, приравнивая Гоголя къ Гомеру, по  
акту творчества, позабылъ при томъ упомянуть о множествѣ гениаль-  
ныхъ европейскихъ писателей, отличавшихся тоже необычайными  
творческими способностями, которые, такимъ образомъ, какъ-будто  
ставились всѣ ниже Гоголя, а вдобавокъ — еще прямо объявлялъ,  
что въ дѣлѣ романа, понятаго какъ продолженіе древне-греческаго  
эпоса, — уже ни одно *современное европейское имя* не можетъ быть  
поставлено рядомъ съ именемъ Гоголя, ни въ какомъ случаѣ. Ни-  
что не могло возмутить Вѣлинскаго болѣе этихъ афоризмовъ. Тотъ  
самый Вѣлинскій, который первый провозгласилъ Гоголя гениальнымъ  
художникомъ, объявлялъ теперь и печатно, и устно, что гениальность  
Гоголя, какъ создателя типовъ и характеровъ, хотя и не можетъ  
быть опровергаема, но имѣетъ все-таки значеніе относительное. По  
содержанію и внутреннему смыслу задачъ, разрѣшаемыхъ русскими  
авторами, она ограничена умственнымъ и нравственнымъ положеніемъ  
страны, и дѣло, имъ производимое, не можетъ идти ни въ какое  
сравненіе съ вопросами и тѣмами европейскаго искусства, съ цѣлями,  
какія оно себѣ задавало и задаетъ теперь въ лицѣ лучшихъ сво-  
ихъ представителей; что затѣмъ никакой предполагаемой крѣпости  
и силы народнаго духа въ выводимыхъ Гоголемъ на сцену лицахъ  
не обрѣтается, ни о какомъ такомъ значеніи ихъ, вѣроятно, авторъ  
и не думалъ, а если и думалъ, то ребячески ошибался. Вдобавокъ,  
Вѣлинскій прибавлялъ, что Гоголь не только не выше всѣхъ евро-  
пейскихъ романистовъ, но, превосходя многихъ изъ нихъ даромъ  
непосредственнаго творчества, наблюденія и поэтическаго чувства,  
уступаетъ въ объемѣ и значеніи основныхъ идей нѣкоторымъ, даже  
и не очень крупнымъ явленіямъ европейской литературы. Всѣ эти  
замѣтки наносили достаточно сильный ударъ новому, предпринятому  
толкованію Гоголя, но Вѣлинскій присоединилъ еще къ этому нѣ-  
сколько саркастическихъ выводовъ изъ положеній своего противника  
и заключалъ споръ насмѣшкой. Послѣднимъ ударомъ — *coup de grâce* —  
этой полемики со стороны Вѣлинскаго было его заявленіе, что если  
судить по нѣкоторымъ лирическимъ мѣстамъ первой части «Мерт-  
выхъ Душъ», въ которыхъ обѣщаются изумительныя откровенія от-  
носительно внутренней и вѣншей красоты русской жизни, то Гоголь  
можетъ, пожалуй, утратить и значеніе великаго *русскаго* художника.  
Съ тѣхъ поръ имя Вѣлинскаго пронеслось «яко зло», въ лагерѣ  
славянофиловъ, и даже сдѣлалось у нихъ какъ-бы олицетвореніемъ  
наносной, имъ съ тѣмъ не связанной, чуждой народу петербургской

визація, между тѣмъ какъ сами они отписали за собой Москву, къ городъ, гдѣ особенно живетъ и развивается чуткое пониманіе ескаго народнаго духа со всѣми его члннми и представленіями.

## XX.

Я засталъ Вѣлинскаго еще подъ вліяніемъ этой полемики, раз-аженнаго ею въ высшей степени и собирающагося на новня битву. Проходило дня, чтобъ не завязывался разговоръ о московскомъ ннманіи нравственныхъ и политическихъ задачъ Европы и Рос-і, о московскихъ толкованіяхъ Гоголя и сторонъ русской жизни, ъ разоблаченныхъ, о московскомъ представленіи порядковъ старо-скаго быта и о морали, которая истекаетъ изъ ученія славяно-шловъ или въ немъ подразумѣвается. Повторяемъ, о справедлив-сти къ противникамъ тутъ не было и помысла, да и противники атили той же монетой своему петербургскому оппоненту и его ртіи. Споръ сошелъ на вражду и пререкательство между двумя родами. Съ обѣихъ сторонъ патріотизмъ заключался въ томъ, ъбъ унижить одну столицу на счетъ другой. Для человѣка, нѣ-олько чуждаго страстей, въ которыхъ истощались обѣ партіи, не о возможности сохранить что-либо похожее на свободное ннѣніе. нхода показѣсть не существовало. Надо было выбирать между ртіями, жертвуя всѣми возраженіями, которыя могли появляться, умѣ, при ихъ взаимныхъ напраслинахъ, и, такъ-сказать, обез-пчить себя въ пользу своей собственной стороны.

Никто не испыталъ на себѣ полнѣе и болѣзненнѣе дѣйствіе этой рестрѣлки между двумя центрами нашего развитія, какъ И. С. тургеневъ, очутившійся въ средѣ ихъ, когда явился изъ-заграницы, иступивъ вскорѣ потомъ и на литературное поприще съ поэмой «Параши» (1843 г.). Заподозривъ въ немъ съ первыхъ же ша-въ истаго западника, партія, недружелюбно смотрѣвшая на образ-а чуждаго воспитанія и развитія, словно задалась мыслью—со-ать какъ можно болѣе помѣхъ на его жизненномъ пути. Цѣлая ллекція пустыхъ анекдотовъ о его словахъ, выраженіяхъ, замѣ-ніяхъ, собиралась тпательно противниками и пускалась въ ходъ, нужными прикрасами и дополненіями. О произведеніяхъ Турге-ва до «Записокъ Охотника»—иначе и не говорилось, какъ о чу-вищностяхъ западнаго развитія, пересаженныхъ, безъ всякихъ нзнаковъ таланта, на русскую почву. Не такъ думалъ Вѣлинскій, крившій съ-разу въ «Параши» признаки недюжинной авторской олюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрѣ-

ніа на предметы: «что мнѣ за дѣло до всѣхъ анекдотовъ о немъ, — говорилъ Бѣлинскій:—кто написалъ «Парашу», тотъ съумѣетъ поправить себя, въ чемъ будетъ нужно и когда будетъ нужно». Слова его и на этотъ разъ оправдались. Быстрое, ослѣпительное развитіе художническаго таланта въ Тургеневѣ, вмѣстѣ съ развитіемъ качествъ его нравственной природы, его духа благорасположенія, терпимости вообще къ людямъ и особенно справедливости къ ихъ трудамъ и убѣжденіямъ — примирило съ нимъ всѣхъ его бывшихъ преслѣдователей и поставило его самого въ центрѣ умственного движенія.

Впрочемъ, въ то время, между партіями таилась, однако же, одна связь, одна примиряющая мысль, болѣе чѣмъ достаточная для того, чтобы открыть имъ глаза на общность цѣли, къ которой онѣ стремились съ разныхъ сторонъ... Но еще не наступило время для разъясненія этого примиряющаго начала, лежавшаго въ зернѣ посреди браннаго поля и безпрестанно затаптываемаго ногами борцовъ. Зерно, однако же, проросло, несмотря на всѣ невзгоды, какъ увидимъ. Связь заключалась въ одинаковомъ сочувствіи къ порабощенному классу русскихъ людей и въ одинаковомъ стремленіи къ упраздненію строя жизни, допускающаго это порабощеніе, или даже на немъ именно и основаннаго. Покажѣте никто еще не хотѣлъ видѣть сродства въ основномъ мотивѣ, двигавшемъ обѣ партіи, и когда, по временамъ, мотивъ этотъ обнаруживался самъ собой, партіи наши торопились поскорѣе замаять его. Для вѣщаго укрѣпленія розни, не довѣряли ни чувствамъ, ни характеру, ни намѣреніямъ другъ друга. Въ Москвѣ говорили по поводу петербургскихъ гуманитарныхъ протестовъ: «Петербургъ сдѣлалъ изъ либерализма и своего отчаянія покойное вольтеровское кресло, въ которомъ и нѣжится». Изъ Петербурга отвѣчали на это: «на московскихъ историческихъ пуховикахъ еще слаще должно спать, — особенно подъ гулъ сорока-сороковъ». Ко всему этому присоединялись еще и стихотворныя перебранки. Въ Москвѣ писались пасквили и эпиграммы на Бѣлинскаго и притомъ людьми, въ житейскомъ отношеніи, несомнѣнно чистаго нравственнаго характера, а изъ Петербурга имъ отвѣчали ругательной пѣсенкой, содержавшей, между прочимъ, такую строфу:

Да, Россія — властью вашей —  
Та же, что и до Петра:  
Набиваетъ брюхо кашей  
И рыгаетъ до утра.

Какое же тутъ могло быть соглашеніе?

Раздраженный полемикой, Бѣлинскій сдѣлался подозрительнымъ въ высшей степени. Такъ, движимый все тѣмъ же опасеніемъ за

элементы европейскаго развитія, онъ недружелюбно отнесся и къ швейцарской провинціальной литературѣ, къ появившимся тогда сборникамъ, харьковскимъ, архангельскимъ и другимъ, усматривая тутъ стремленіе образовать маленькіе центры цивилизаціи, въ противоположность большимъ, государственнымъ центрамъ—петербургскому и московскому—и проводить у себя дома, въ тихомолку, идею о самостоятельной народной культурѣ, которая способна сама отыскать въ себѣ всѣ нужныя основы.

Пробасть, раздѣлявшая партіи, особенно расширилась, когда у насъ публично зашла рѣчь о правахъ на наше патріотическое и родное сочувствіе всѣхъ иноземныхъ—австрійскихъ, венгерскихъ, грецкихъ славянъ. Рѣчь эта, впервые поднятая М. П. Погодинымъ, перешла въ русскую печать изъ официальныхъ и частныхъ круговъ, гдѣ конфиденціально держалась съ начала 30-хъ годовъ—въ такомъ декламаторскомъ видѣ, что на первыхъ порахъ вызвала

Вѣлинскаго глумленіе надъ ея формой и содержаніемъ. Положеніе, принятое имъ по славянскому вопросу, имѣло одинаковый источникъ съ тѣмъ, которое онъ выбралъ относительно славянства вообще. Поводомъ къ отрицанію этого вопроса служило Вѣлинскому опять предположеніе, что за вопросомъ скрывается попытка прославленія чуждыхъ народныхъ культуръ и усиліе противопоставить ихъ теперь съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ выработаннымъ началамъ европейской мысли. Въ самомъ дѣлѣ, попытка на этотъ разъ могла разсчитывать на тѣ невольныя симпатіи къ угнетеннымъ племенамъ и народамъ, которые должны жить и дѣйствительно жили въ русской публикѣ. Никто болѣе самого Вѣлинскаго не былъ предрасположенъ къ такому рода сочувствію, но при мысли, что тутъ можетъ существовать языкъ—возвысить бѣдное, племенное творчество съ его суевѣріями, заимованіями и бессознательными проблесками истины на степень равную или даже высшую обдуманнѣйшихъ основъ и началъ европейскаго образованія—при одной этой мысли Вѣлинскій устранилъ всѣ другія изображенія и нерѣдко насиловалъ свое чувство. Такъ и въ настоящемъ случаѣ вышло, что Вѣлинскій хладнокровно относился къ блестящимъ трудамъ и жертвамъ тѣхъ почтенныхъ иностранныхъ вѣдѣтелей славянства, которые спасли языкъ и нравственную физиономію своихъ племенъ отъ конечной гибели посреди другихъ, враждебныхъ имъ народовъ. Не болѣе справедливости, впрочемъ, оказывали и противники Вѣлинскаго ему самому, когда принимались избирать основы и побужденія его оппозиціи. Они объявляли его словескомъ, преданнымъ самымъ узкимъ интересамъ существованія, а имѣющимъ даже и органа для пониманія патріотическихъ или родныхъ инстинктовъ. Они шли и далѣе. По горячѣй его защи-

тѣ государственныхъ пріемовъ Петра I, по заявленнымъ симпатіямъ къ Петербургу, они объявляли его желаніемъ и врядъ-ли *спомня* *безкорыстнымъ* централизаторомъ и бюрократомъ. Централизаторомъ онъ, дѣйствительно, и былъ, но не въ томъ смыслѣ, какъ говорили его враги,—не въ пользу какого-либо существующаго уже порядка дѣлъ и вещей, а того дальняго, который представлялся ему въ видѣ единенія всѣхъ народовъ Европы на почвѣ одной общей цивилизаціи, подъ покровомъ однихъ законовъ для разумнаго существованія.

Съ какимъ одушевленіемъ говорилъ онъ о первыхъ проблескахъ этой будущей централизаціи, этого будущаго строя жизни, которое усматривалъ и въ сближеніи европейскихъ народовъ между собой посредствомъ новыхъ дорогъ, международныхъ установленій и проч., и въ ихъ усиліяхъ создать, не уничтожая родовыхъ и племенныхъ особенностей каждой страны, одинъ общій кодексъ для государственнаго и общественнаго существованія человѣчества! А вѣсть съ тѣмъ, онъ уже не могъ, да и не хотѣлъ сдерживать своего негодованія, какъ только ему казалось, что обнаруживаются признаки посягательства на этотъ мерцающій вдали и еще далеко не обработанный кодексъ. Все, что затрудняло его осуществленіе со стороны народнаго тщеславія, заносчивости этнографовъ, возвеличивающихъ ту или другую изъ народныхъ группъ на-счетъ всѣхъ другихъ національностей, или со стороны скептицизма, почерпавшаго въ отрицательныхъ и темныхъ подробностяхъ современной европейской жизни доводы въ пользу устраненія ея отъ дѣлъ,—все это приводило его въ неописанное волненіе. Во многомъ онъ и заблуждался, какъ показало время, при восторженномъ изложеніи своихъ надеждъ на развитіе Европы, но онъ заблуждался — доблестно, какъ бываетъ съ людьми, глубоко-вѣрующими въ какую-либо великую идею! Бѣлинскій до того ревниво охранялъ добро, собранное старой и новой европейской цивилизаціей, что уже подозрительно смотрѣлъ на образцы и замѣчательныя произведенія другихъ, чуждыхъ ей культуръ и отзывался о нихъ очень сдержанно. При появленіи поэмы «Наль и Дамаанти» въ художественномъ переводѣ Жуковскаго, онъ ограничился напоминовеніемъ читателю, какъ греческій эпосъ «Иліада» выше измышленій индійскаго народнаго творчества. То же самое было и тогда, когда прекрасный переводъ Я. К. Грота познакомилъ русскую публику съ финской эпосею: «Калевала», съ этими памятникомъ фантазій и представленіемъ народа, нѣкогда населявшаго, какъ говорятъ, всю Европу. Противопоставляя опять финскій эпосъ греческому созерцанію жизни, Бѣлинскій находилъ въ первомъ только безобразную фантазію, чудовищные образы и сплетенья, свойствен-

ные дикому народу, и которые должны оттолкнуть всякаго, кто разъ ознакомился со стройностію, мѣрой и изяществомъ греческой народной производительности.

Какъ ни важны были, однако же, всѣ эти вопросы, и къ какой яркой полемикѣ ни давали они поводъ, все же они не могли заслонить ни на минуту передъ Вѣлинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда цѣликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романѣ «Мертвыя Души». Романъ этотъ открывалъ критикѣ единственную арену, на которой она могла заниматься анализомъ общественныхъ и бытовыхъ явленій, и Вѣлинскій держался за Гоголя и романъ его цѣлко, какъ за неожиданную помощь. Онъ какъ-бы считалъ своимъ жизненнымъ призваніемъ поставить содержаніе «Мертвыхъ Душъ» вѣ возможности предполагать, что въ немъ таится что-либо другое, кромѣ художественной, психически и этнографически вѣрной картины современнаго положенія русскаго общества. Всѣ силы своего критическаго ума напрягалъ онъ для того, чтобъ отстранить и уничтожить попытки къ допущенію какихъ-либо другихъ, смягчающихъ выводовъ изъ знаменитаго романа, кромѣ тѣхъ суровыхъ, строгообличающихъ, какіе прямо изъ него истекають. Послѣ всѣхъ своихъ отступленій въ область европейскіхъ литературъ, въ область славянства и проч., онъ возвращался съ этого поля, болѣе или менѣе удачныхъ битвъ, опять къ своему постоянному, домашнему дѣлу, только освѣженный предшествующими кампаніями. Домашнее дѣло это заключалось преимущественно въ томъ, чтобъ выбить изъ литературной арены навсегда, если можно, какъ дикихъ, коварныхъ и своекорыстныхъ ругателей гоголевской поэмы, такъ и восторженныхъ ея доброжелателей, прозрѣвавшихъ въ ней не то, что она дѣйствительно даетъ. Онъ не усталъ указывать правильныя отношенія къ ней и устно, и печатно, приглашая при всякомъ случаѣ и слушателей, и читателей своихъ подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросѣ — почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмѣ; почему могутъ совершаться на Руси такія невѣроятныя событія, какія въ ней рассказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рѣчи, мнѣнія, взгляды, какіе переданы въ ней.

Вѣлинскій думалъ, что добросовѣстный отвѣтъ на вопросъ можетъ сдѣлаться для человѣка, добывшаго его, программой дѣятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себѣ и другихъ.

Къ этому же времени относится и появленіе въ русской изящной литературѣ, такъ-называемой «натуральной школы», которая созрѣла подъ вліяніемъ Гоголя, объясняемаго тѣмъ способомъ, ка-

кимъ объяснялъ его Вѣлинскій. Можно сказать, что настоящимъ отцомъ ея былъ—последній. Школа эта ничего другого не имѣла въ виду, какъ указаніе тѣхъ подробностей современнаго и культурнаго быта, которыя не могли еще быть указаны и разобраны никакимъ другимъ способомъ, ни политическимъ, ни научнымъ разслѣдованіемъ. Кстати замѣтить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеемъ риторическаго, безталантнаго, фальшиво-благонатрѣннаго изложенія русской жизни, Булгариннымъ, но изъ вражды къ Вѣлинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко-презиравшіе литературную и критическую дѣятельность Булгарина. Оно и до сихъ поръ держится у насъ, несмотря на свое происхожденіе и на свою бессмыслицу.

### XXIII.

Покуда все это происходило вокругъ имени Гоголя, самъ онъ повернулъ въ такую сторону, куда не пошли за нимъ и многіе изъ тѣхъ, которые считались людьми, раздѣляющими всѣ его взгляды. Въ февралѣ 1844 г., я получилъ отъ него неожиданно и послѣ долгаго молчанія слѣдующее письмо:

«Февраля 10-го, Нича. 1844.

«Ивановъ прислалъ мнѣ вашъ адресъ и сообщилъ мнѣ вашу готовность исполнять всякія порученія. Благодарю васъ за ваше доброе расположеніе, въ которомъ, впрочемъ, я никогда и не сомнѣвался. Итакъ, за дѣло. Вотъ вамъ порученія: 1-е... (это первое порученіе заключалось въ понужденіи друга Гоголя, товарища его по Нѣжину, а теперь повѣреннаго по дѣлу печатанія «Мертвыхъ Душъ» въ Петербургѣ, Н. Я. Прокоповича, къ скорѣйшему доставленію наличныхъ вырученныхъ денегъ и расчетовъ. Какъ мало любопытное, мы его пропускаемъ и прямо переходимъ ко второму порученію, какъ самому существенному для насъ, которое уже и выписываемъ цѣликомъ, съ сохраненіемъ ореографіи автора).

«2. Другая прозба. Увѣдомте, въ какомъ положеніи и какой приняли характеръ нынѣ толки, какъ о М. Душахъ, такъ и о сочиненіяхъ моихъ. Это вамъ сдѣлать я знаю будетъ отчасти трудно, потому-что кругъ, въ которомъ вы обращаетесь болѣею частію обо мнѣ хорошаго мнѣнія, стало быть, отъ нихъ, что отъ козла молока. Нельзя-ли чего-нибудь достать внѣ этого круга, хотя чрезъ знакомыхъ вашихъ знакомыхъ, черезъ четвертые или пятые руки. Можно много довольно умныхъ замѣчаній услышать отъ тѣхъ людей, которые совсѣмъ не любятъ моихъ сочиненій. Нельзя ли при



бномъ случаѣ также узнать, что говорится обо мнѣ въ салонахъ Карина, Греча, Сенковского и Полевого, — въ какой силѣ и степени ихъ ненависть, или уже превратилась въ совершенное равношiе. Я вспомнилъ, что вы можете узнать кое-что объ этомъ даже у Романовича <sup>1)</sup>, котораго вѣроятно встрѣтите на улицѣ. Онъ съ сомнѣнiя бываетъ по-прежнему у нихъ на вечерахъ. Но дѣйте все такъ, какъ бы этимъ вы, а не я интересовался. Не дурно же узнать мнѣнiе обо мнѣ и самого Романовича.

«За все это я вамъ дамъ совѣтъ, который пахнетъ страшною ариной, но тѣмъ не менѣе очейъ умный совѣтъ. Тритесь побольше людьми и раздвигайте всегда кругъ вашихъ знакомыхъ, а знайте эти чтобы непременно были опытные и практическiе люди, глѣбущiя какiе-нибудь занятiя; а знакомясь съ ними держитесь такого правила: построже къ себѣ и по снисходительнѣе къ другимъ, въ хвостъ этого совѣта положите мой обычай не пренебрегать никакими толками о себѣ, какъ умными, такъ и глупыми, и никогда не сердиться ни на что. Если выполните это, благодать будетъ надъ вами, и вы узнаете ту мудрость, которой ужъ никакъ не узнаете изъ книгъ, ни изъ умныхъ разговоровъ.

«Увѣдомте меня о себѣ во всѣхъ отношенiяхъ какъ вы живете, какъ проводите время, съ кѣмъ бываете, кого видите, что дѣлаютъ вамъ знакомые и незнакомые.

«Въ какомъ положенiи находится вообще картолюбiе и ...любiе, что нынѣ предметомъ разговоровъ какъ въ большихъ, такъ и въ малыхъ обществахъ, натурально въ выраженiяхъ приличныхъ, чтобы оскорбить никого. Затѣмъ, обвиняя васъ искренно и душевно и зная всякихъ существенныхъ пользъ и прiобрѣтенiй, жду отъ васъ ораго увѣдомленiя. Прощайте. — Вашъ Г.»

«Адресуйте во Франкфуртъ на Майнѣ, на имя Жуковского, который отнынѣ учреждается тамъ, и гдѣ чрезъ мѣсяцъ я напѣрентъ самъ».

Письмо принадлежало къ числу тѣхъ, которые удивляли весьма многихъ къ Гоголю людей, какъ Плетнева, наприимѣръ, своими безмечными вопросами о толкахъ и мнѣнiяхъ публики по поводу его чиненiй. Гоголь требовалъ особенно перечета наиболѣе дикихъ и зобразныхъ мнѣнiй. Даже и не очень короткiе знакомые Гоголя вальены были письмами подобнаго рода и подали поводъ думать, о любопытство это, подъ благовиднымъ предлогомъ изученiя отношiй публики къ его дѣятельности, прикрываетъ у него особый

<sup>1)</sup> Тоже нѣжинскiй товарищъ Гоголя, проживавшiйся въ литературѣ съ большими влiями и посѣщавшiй для того разныя литературныя круги.

видъ ѣдкаго тщеславія, которое способно еще доставлять ему нѣкотораго рода наслажденіе. Что касается до меня, я обрадовался письму Гоголя и написалъ ему пространный отвѣтъ съ откровенностію и добродушіемъ, которыя мнѣ самому напоминали незабвенныя вечера въ Римѣ, Альбано, Фраскати и проч., когда мы проводили чудныя южныя ночи въ безконечныхъ толкахъ и разговорахъ о всемъ и о вся, когда за этими разговорами, какъ не-разъ случалось въ Тиволи, даже вовсе не ложились въ постель на ночь, а просиживали до утра на окнѣ тратторіи, дремля подъ шумъ фонтана, который монотонно плескалъ посреди ея двора, перерѣзывая великолѣпныя линіи древняго греческаго храма, высившагося на другомъ его концѣ. Тогда все понималось просто и также говорилось. Но я ошибся жестоко — времена переѣвились. Не предчувствуя еще новаго направленія, принятаго Гоголемъ, я неожиданно и невольно попалъ въ больное мѣсто его мысли и растревожилъ ее. Хорошо помню, что, отвѣчая на его вызовъ, я представилъ ему положеніе партій относительно его романа и передавалъ полемику Бѣлинскаго съ ними, причемъ, конечно, не считалъ нужнымъ отзываться осторожно ни объ одной изъ нихъ. Мнѣ казалось, что я обязанъ былъ высказать ему всю мою мысль сполна, какъ онъ того просилъ, и потому, можетъ быть съ нѣкоторымъ излишнимъ пыломъ и негодованіемъ, говорилъ и о врагахъ его изъ *саломовъ* Булгарина и Сенковского и о друзьяхъ его изъ московской партіи. Не подозрѣвая тѣсныхъ связей, образовавшихся у Гоголя съ послѣдней въ то время, я впадалъ въ одну изъ тѣхъ опрометчивыхъ искренностей, которыя заставляютъ человека раскрываться въ собственной своей правдивости. Гоголь, призывавшій искренность, не выдержалъ этой и не понялъ дружескаго письма.

Въ концѣ его, если не измѣняетъ мнѣ память, находилось еще замѣчаніе, что въ ту переходную эпоху, въ которой мы живемъ, почти невозможно себѣ и представить такого дѣла, которое бы получило отзвукъ въ потомствѣ, такъ какъ оно, вѣроятно, не захочетъ и знать о нѣкоторыхъ надеждахъ и стремленіяхъ нашего времени. Конечно, замѣчаніе принадлежало къ разряду громкихъ, но невѣрныхъ и заносчивыхъ афоризмовъ, какіе въ частной интимной перепискѣ сливаются нерѣдко съ пера у человека, желающаго сказать скорѣе болѣе, чѣмъ менѣе того, что ему кажется нужнымъ, и не предвидящаго вдобавокъ, что слово его будетъ прочитано не дружескимъ, а уже подозрительнымъ глазомъ судьбы и цензора. Можно было ожидать опроверженія и разъясненія замѣчанія, но, конечно, не того, что я получилъ.

Съ спокойной совѣстью я отправилъ мое, не въ мѣру откоро-

нное, письмо, и черезъ два мѣсяца получилъ на него отвѣтъ. Былъ просто приведенъ въ недоумѣніе этимъ отвѣтомъ. Онъ со- держалъ въ себѣ строжайшій, болѣе чѣмъ начальническій, а какой- пастырскій выговоръ, точно Гоголь отлучалъ меня торжественно отъ общенія съ вѣрными своей церкви. Въмѣсто мнѣ знакомаго до- родушнаго, прозорливаго, все понимающаго и классифирующаго пси- холога—стоялъ теперь передо мною совсѣмъ другой человѣкъ, да и человекъ, а какой-то проповѣдникъ на каедрѣ, имъ же и воз- вѣнчанъ на свою потребу, громашій съ нея грѣхи бѣдныхъ людей направо и налѣво, по власти кѣмъ-то ему данной и не всегда на хорошенъко, чѣмъ они дѣйствительно грѣшатъ. Тонъ письма билъ меня совсѣмъ съ толка, потому что я еще не зналъ тогда, ка- ко роль пророка и проповѣдника Гоголь уже довольно давно усвоилъ себѣ, что въ этой роли онъ уже являлся г-жѣ Смирновой, Пого- ину, Языкову, даже Жуковскому и многимъ другимъ, грома и по- менамъ бичуя ихъ съ ловкостью почти что ветхо-завѣтнаго чело- века. Привожу это письмо цѣликомъ:

«Франкфуртъ, мая 10-го (1844).

«Благодарю васъ за нѣкоторыя извѣстія о толкахъ на книгу. о ваши собственные мнѣнія... смотрите за собой; они пристрастны. суеумѣренныя эпитеты, разбросанные кое-гдѣ въ вашемъ письмѣ уже казываютъ что они пристрастны. Человѣкъ благоразумный не по- зволялъ бы ихъ себѣ никогда. Гнѣвъ или неудовольствіе на кого- то ни было всегда несправедливы, въ одномъ только случаѣ мо- гутъ быть справедливо наше неудовольствіе, когда оно обращается противъ кого-либо другого, а противъ себя самого, противъ соб- венныхъ мерзостей и противъ собственного неисполненія своего долга. це: вы думаете, что вы видите дальше и глубже другихъ, и удив- етесь, что многіе, повидимому, умные люди, не замѣчаютъ того, ъ замѣтили вы. Но это еще Богъ вѣсть кто ошибается. *Передо- е люди* не тѣ, которые видятъ одно что-нибудь такое, чего другіе видятъ, и удивляются тому, что другіе не видятъ; *передовыми дѣлами* можно назвать только тѣхъ, которые именно видятъ все то, ъ видятъ другіе (всѣ другіе, а не нѣкоторые), и опершись на сумку эго видятъ все то, чего не видятъ другіе и уже не удивляются ну, что другіе не видятъ того же. Въ письмѣ вашемъ отраженъ овѣкъ просто унывшій духомъ и невзглянувшій на самого себя. либъ мы всѣ вмѣсто того чтобъ разсуждать о духѣ времени, взгля- ли какъ должно всякой на самого себя, мы больше гораздо бы вы- рали. Кромѣ того, что мы узнали бы лучше, что въ насъ самихъ ключено и есть, мы бы приобрѣли взглядъ яснѣе и многосторон-

нѣй на всѣ вещи вообще и увидѣли бы для себя пути и дороги тамъ, гдѣ грѣховное уныніе все темнитъ передъ нами и вмѣсто путей и дорогъ показывается намъ только самое себя, т. е. одно грѣховное уныніе. Злой духъ только могъ подшепнуть вамъ мысль, что вы живете въ какомъ-то переходящемъ вѣкѣ когда всѣ усилія и труды должны пропасть безъ отвѣта въ потопствѣ и безъ ближайшей пользы кому. Да если бы только хорошо освѣтились глаза наши, то мы увидали бы что на всякомъ мѣстѣ, гдѣ бы ни довелось намъ стоять, при всѣхъ обстоятельствахъ, какихъ бы то ни было, способствующихъ или поперечныхъ, столько есть дѣла въ нашей собственной, въ нашей частной жизни, что можетъ быть самъ умъ нашъ помутился отъ страху, при видѣ неисполненія и пренебреженія всего, и уныніе не даромъ бы тогда закралось въ душу. По крайней мѣрѣ оно бы тогда было болѣе простиительно, чѣмъ теперь. Признаюсь, я считалъ васъ (не знаю почему) гораздо благоразумнѣе. Самой думѣ моей было какъ-то неловко, когда я читалъ письмо ваше. Но оставлю это, и не будемъ никогда говорить. Всякихъ мнѣній о нашемъ вѣкѣ и нашемъ времени я терпѣть не могу, потому что они всѣ ложны, потому что произносятся людьми, которые чѣмъ-нибудь раздражены, или огорчены... Напишите мнѣ о себѣ самомъ, только тогда когда почувствуете сильное неудовольствіе противъ себя самого, когда будете жаловаться не на какіе-нибудь помѣшательства со стороны людей, или вѣка, или кого бы то ни было другого, но когда будете жаловаться на помѣшательства со стороны своихъ же собственныхъ страстей, лѣни и недѣятельности умственной. Еще: и луча вѣры нѣтъ ни въ одной строчкѣ вашего письма и малѣйшей искры смиренія высокаго въ немъ незамѣтно! И послѣ этаго еще хотѣть, чтобъ умъ нашъ не былъ одностороненъ, или чтобъ былъ онъ безпристрастенъ. Вотъ вамъ цѣлый возъ упрековъ. Не удивляйтесь, вы сами на нихъ напросились. Вы желали отъ меня освѣжительнаго письма. Но меня освѣжаютъ теперь одни только упреки, а потому ими же я прислушался и вамъ.

«А вмѣсто всякихъ толковъ о томъ, чѣмъ другой виноватъ или невыполнилъ своей обязанности, постарайтесь исполнить тѣ обязанности, которые я наложу на васъ. Пришлите мнѣ каталогъ Сирдинской бывшей библіотеки для чтенія, со всѣми бывшими прибавленіями. Онъ полнѣйшій книжный нашъ Реестръ, да присоедините къ тому Реестръ книгъ всѣхъ напечатанныхъ Синодальной типографіей: это можете узнать въ Синодальной лавкѣ. Да еще сдѣлайте одну вещь: выпишите для меня мѣлкимъ почеркомъ всѣ критики Сенков. въ Библіотекѣ для чтенія на М. Д. и вообще на всѣ мои сочиненія, такъ чтобы ихъ можно послать въ письмѣ. Сколько

и ни просилъ объ этомъ, никто не исполнилъ. Каталогъ Смирды кажется мой у Прокоповича. Пошлите тоже съ почтой, которая нынѣ принимаетъ посылки. Адресуйте въ Берлинъ на ния служащаго при тамошней миссіи графа Мих. Мих. Віельгорскаго для доставки мнѣ, если почта не возметъ доставить во Франкфуртъ прямо на мое ния. Вотъ вамъ обязанности покажѣть истинно Христіанскія. Отъ васъ требуетъ выполненія этаго долга прямо, безвозвратно. — Н. Гоголь ».

Несмотря на совершенно неожиданный для меня учительскій и раздраженный тонъ этого письма, оно меня все-таки глубоко тронуло: во-первыхъ, и замѣчательнымъ литературнымъ своимъ достоинствомъ, а во-вторыхъ — и преимущественно какой-то безпредѣльной вѣрой въ новое созерцаніе, нѣ возвѣщаемое. Загадкой оставалось для меня только слѣдующее: какимъ процессомъ мысли Гоголь перемѣсь прямо на меня все, что я говорилъ вообще о современныхъ людяхъ, и отыскалъ въ моихъ сообщеніяхъ личный вопросъ, — уныніе, ропотъ, недовольство судьбой и другія качества неудачнаго честолюбца. Но особенно не могъ я понять, откуда тутъ взялся еще вопросъ о религіозныхъ моихъ убѣжденіяхъ, о состояніи моей души и совѣсти, такъ какъ исповѣдываться въ нихъ я не имѣлъ ни малѣйшаго помысла передъ Гоголемъ, да онъ и не возбуждалъ такого вопроса. Передавать толки публики о «Мертвыхъ Душахъ» и по этому поводу представить свидѣтельство о болѣе или менѣе удовлетворительномъ состояніи своего религіознаго чувства — кому же это могло придти въ голову? Впослѣдствіи все это объяснилось. Письмо Гоголя, какъ и множество другихъ такихъ же, полученныхъ разными лицами въ Россіи, было однимъ изъ той гряды облачковъ, которая предшествовала появленію роковой книги «Переписка съ друзьями». Письма возвѣщали ей близкое восшествіе на горизонтъ. Гоголь, ужаснувшійся успѣха своего романа между западниками и людьми непосредственнаго чувства, весь погруженъ былъ въ замыселъ разоблачить свои настоящія историческія, патріотическія, моральныя и религіозныя воззрѣнія, что, по его мнѣнію, было уже необходимо для пониманія готовящейся 2-й части поэмы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, все болѣе и болѣе созрѣвали въ умѣ его надежда и планъ надѣлать, наконецъ, безпутную русскую жизнь кодексомъ великихъ правилъ и неизбѣжныхъ аксіомъ, которыя помогли бы ей устроить свой внутренній міръ на образецъ всѣмъ другимъ народамъ. Но намѣреніе оставалось еще покажѣть тайной для всѣхъ, и служить какимъ-либо поясненіемъ дѣйствій Гоголя не могло. Въ потемкахъ я отвѣчалъ Гоголю, что получилъ его письмо, благодарю за участіе ко мнѣ,

не огорчаюсь его выговорами, не отвергаю вовсе его совѣтовъ, но считаю нужнымъ указать ему на странную ошибку. Онъ считаетъ меня человекомъ весьма высокаго мнѣнія о себѣ, надменнымъ и страдающимъ гордостью, а между тѣмъ могъ бы замѣтить въ теченіи долгихъ нашихъ сношеній, что я скорѣе имѣлъ претензію считать себя ничтожѣйшимъ изъ дѣтей міра, и безъ всякаго вознагражденія, о которомъ говорить поэтъ, употребившій однажды это выраженіе.

Затѣмъ корреспонденція наша прекращается на-долго, до 1847 года, когда, живя уже съ большимъ Бѣлинскимъ на водахъ въ Силезіи, въ Зальцбрунѣ, я опять получилъ отъ Гоголя письмо, но уже мягкое и отчасти грустное письмо. Книга его «Переписка съ друзьями» уже вышла и принесла ему такую массу огорченій, упрековъ, наконецъ, клеветъ и незаслуженныхъ оскорбленій, что онъ склонился подъ этой бурей общественнаго негодованія, какъ тростникъ—до земли. Состояніе его духа отразилось и на письмѣ, но объ этомъ послѣ. Съ тѣхъ поръ уже благодушное, ласковое, снисходительное настроеніе не покидало Гоголя по отношенію къ старому его корреспонденту и собесѣднику, и всякій разъ, какъ мы встрѣчались, до самой его смерти, выказывалось съ новой силой. Въ 1851 году, за годъ до своей кончины, провожая меня изъ своей квартиры, въ Москвѣ, на Никольскомъ бульварѣ (домъ графа Толстого), онъ, на порогѣ ея, сказалъ мнѣ взволнованнымъ голосомъ: «Не думайте обо мнѣ дурного и защищайте передъ своими друзьями, прошу васъ: я дорожу ихъ мнѣніемъ».

Страдальческій умиротворенный и на все уже подготовленный обликъ Гоголя,—Гоголя послѣднихъ дней,—остался въ моей жизни самымъ трогательнымъ воспоминаніемъ, наравнѣ съ обликомъ медленно умирающаго и все еще волнующагося Бѣлинскаго.

Бѣдный, запутавшійся другъ, погибшій добровольной и мучительной смертью именно потому, что жилъ въ эпоху столкновеній неустановившихся вѣрованій, одинаково важныхъ и неустрашимыхъ, и которую такъ горячо защищалъ противъ мнѣнія о ея переходномъ состояніи! Чрезвычайно замѣчательно слѣдующее обстоятельство. Въ мартѣ 1848 года, занимаясь обработкой 2-й части «Мертвыхъ Душъ» въ Москвѣ, онъ пишетъ старому своему товарищу, уже упомянутому Н. Я. Прокоповичу, что труду его мѣшаютъ, во-первыхъ, недуги, а во-вторыхъ — отраженіе на авторѣ всѣхъ невыгодныхъ вліяній шаткаго *переходнаго* времени, въ которое онъ живетъ. Итакъ, ужасъ и негодованіе, возбужденные въ Гоголѣ однимъ намекомъ на то, что эпоха эта можетъ быть названа переходною, обновались совершенно черезъ четыре года, да и не только обновались, но сама мысль признана еще неоспоримой истиной, на осно-

личнаго опыта. Вотъ это замѣчательное мѣсто письма, съ ко-  
го я тогда же снялъ точную копію, конечно, не объясняя ни-  
причинъ, почему я считаю его особенно важнымъ.

„Москва, 29-го марта (1848).

Болѣзни пріостановили мои занятія «Мертвыми Душами», ко-  
го пошло было хорошо. Можетъ быть, болѣзнь, а можетъ быть—  
что какъ поглядишь, какіе глупые настаютъ читатели, какіе  
любовные цѣнители, какое отсутствіе вкуса... просто не поды-  
ма руки. *Странное дѣло, хоть и знаешь, что трудъ твой*  
*я какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки*  
*менное неустройство отнимаетъ нужное для него спо-*  
*воленіе».*

Какъ далеко стоитъ это признаніе отъ восклицанія: «Злой духъ  
могъ подшепнуть вамъ мысль, что вы живете въ какомъ-то  
подвѣдѣ, когда всѣ усилія и труды должны пропасть  
отзвука въ потомствѣ...»—Увы! Какъ еще положеніе это ни-  
когда опрометчиво, заносчиво и ложно, сказанное неловко и не-  
вѣрно, самъ Гоголь, страстно опровергавшій его, испыталъ еще  
разъ въ пользѣ своихъ усилій и трудовъ *для потомства*,—  
именно, результатомъ котораго было, какъ извѣстно, сожженіе 2-й  
части «Мертвыхъ Душъ». Если бы дѣло состояло тогда въ его  
именіи, то результатомъ этого настроенія могло бы быть и нѣчто  
иное—именно сожженіе всѣхъ его трудовъ вообще. Правда, тутъ  
въсплала душевная болѣзнь, патологическое состояніе мозговыхъ  
цѣнностей, — но развѣ переходныя эпохи именно и не отличаются  
и болѣзнями, которыя сами суть не что иное, какъ произведе-  
ніе глухой борьбы началъ въ глубинѣ души и мысли каждаго раз-  
ночеловѣка.

Но всѣмъ тѣмъ мнѣ легко сознаться теперь и повторить, что  
признаніе о бесплодности трудовъ, предпринятыхъ въ переходное  
время, которыми я погрѣшилъ тогда, и которое вызвало такія не-  
удачныя, было вполне необдуманно и ложно въ основаніи. Ни  
слабость Гоголя, ни дѣятельность самого Бѣлинскаго, а также  
идей 40-хъ годовъ вообще изъ обоихъ лагерей нашихъ не остались  
слѣда и вліянія на ближайшее потомство, да найдутъ, по всѣмъ  
вѣроятіямъ, еще не одинъ отголосокъ и въ болѣе отдаленныхъ отъ  
поколѣніяхъ. Это убѣжденіе только и могло вызвать состав-  
леніе настоящихъ «Воспоминаній».

---

XXIV.

Мнѣ приходится говорить теперь о замѣчательномъ въ истц нашихъ литературныхъ партій 1845-мъ годѣ и приступить къ краткому библиографическому отчету о нѣкоторыхъ статьяхъ начала «Москвитянина», состоявшаго слишкомъ малое время подъ посредственной редакціей И. Кирѣевскаго. Статьи были важныя событіемъ описываемой эпохи, и безъ разбора ихъ — дальнѣйшій рассказъ о ней утерялъ бы свой настоящій смыслъ. Онѣ именно означаютъ ту минуту, съ которой распря между славянами и западниками приняла у насъ новый, менѣе безпощадный и слѣпый характеръ, чѣмъ прежде, хотъ и долго потомъ еще не нуждалась въ воинственномъ одушевленіи, но тонъ становился другой. Перемотона и самой рѣчи, на которую рѣшились прежде всѣхъ славяни, имѣла значительныя послѣдствія по отношенію къ внутреннимъ деламъ и положенію дѣйствующихъ лицъ въ обѣихъ партіяхъ.

Извѣстно, что, кромѣ Бѣлинскаго, вопросъ объ отношеніи къ родной культурѣ къ европейскому образованію занималъ еще Гр. Новоскаго и Г., съ ихъ друзьями. По близкимъ отношеніямъ къ славянскимъ дѣятелямъ, вопросъ этотъ имѣлъ сойтись имъ съ людьми противнаго лагеря, нравственную цѣну которыхъ они очень хорошо знали, на какой-либо нейтральной почвѣ. Дѣйствительно, поведеніе славянской партіи господствовало полное отрицаніе европейства, и возможно было никакое примиреніе и соглашеніе. Черезъ это препятствіе именно и перешагнули Кирѣевскіе, Хомяковъ и ихъ друзья, когда въ 1845 году приняли въ свои руки редакцію журнала «Москвитянина». Они сдѣлали первый шагъ на-встрѣчу западникамъ. Можно сказать, что новые редакторы «Москвитянина», овладѣвъ журналомъ, ничего другого и не имѣли въ виду, какъ правый шагъ, съ ихъ точки зрѣнія, постановленія и разрѣшенія вопроса. Тогда и оказалось съ перваго же раза, что для славянской партіи европейской цивилизаціи столько же дорогъ, какъ и любящему европейцу, но дорогъ не какъ готовый образецъ для подражанія, а какъ надежный вкладчикъ въ капиталъ собственныхъ умственныхъ и нравственныхъ сбереженій русской народной культуры, какъ хорошій пособникъ въ обработкѣ ею самой своего капитала.

Первымъ дѣломъ редакторовъ было, поэтому, устраненіе и отверженіе тѣхъ мнѣній своихъ собственныхъ единомышленниковъ, которые или презирали типъ европейской цивилизаціи, или противъ поставляли его славянской культурѣ, какъ нѣчто враждебное слѣдней или къ ней неприменимое. Руководящая статья И. В.



бескаго въ 1-мъ № «Москвитинина» за 1845 годъ («Обозрѣніе  
свременнаго состоянія словесности») наносила тяжелые удары пре-  
мудователямъ Запада и, прежде всего, старому критику того же  
«Москвитинина» — С. Ш., который въ 1841 году въ статьѣ:  
«Взглядъ на образованіе европейское», выражалъ мнѣніе, что Рос-  
си, не испытывая ни реформаціи, ни революціи и тѣмъ самымъ  
принимавшая въ себѣ великое нравственное единство, не можетъ дѣ-  
лать духовной жизни съ болѣзненнымъ европейскимъ міромъ, а ско-  
рѣе призвана, можетъ быть, исцѣлить и обновить его. И. В. Ки-  
рѣвскій не менѣе С. Ш. вѣровалъ во всѣ, такъ-сказать, догматы  
либеральной партіи, въ печальное раздвоеніе европейской жиз-  
ни, въ необходимость и возможность ея обновленія началами во-  
стокаго любуудрія, что и высказывалъ въ своемъ трактатѣ; но  
И. В. Кирѣвскій, вѣстѣ съ тѣмъ, имѣлъ представленіе о роли  
Запада въ дѣлѣ цивилизаціи гораздо болѣе широкое, чѣмъ уль-  
ман-славяне изъ его собственной партіи, которымъ и не замедлилъ  
сказать горькія истины.

Во второй своей статьѣ («Москвитининъ», № 2, 1845 года)  
онъ объявлялъ оба направленія наши, какъ чисто-русское, такъ и  
западное, одинаково ложными, и это на основаніяхъ, которыя  
были гораздо болѣе оскорбительны для собственной его партіи, чѣмъ  
для враждебной ей. «Чисто-русское направленіе ложно потому, —  
сказалъ онъ, — что пришло неизбежно, роковымъ образомъ, къ  
изданію чуда и призыву его на помощь своей вѣры, ибо только  
оно можетъ воскресить мертвеца — русское прошлое, которое такъ  
быстро оплакивается людьми этого воззрѣнія. Направленіе, вдоба-  
вку, не видитъ, что каково бы ни было просвѣщеніе европейское,  
истребить его вліяніе, послѣ того, какъ мы однажды сдѣлались  
причастниками, уже находится внѣ нашей силы, да это было бы  
великимъ бѣдствіемъ». — «Оторвавшись отъ Европы, — добавлялъ  
онъ, — мы перестаемъ быть общечеловѣческимъ національностью, ли-  
шимся всѣхъ благъ римско-греческаго образованія» («Москвитя-  
инъ», 1845 года, № 2, стр. 63 — 78). Западникамъ, подъ ко-  
ими преимущественно разумѣлся Бѣлинскій, какъ самый крайній  
изъ нихъ, посылался тоже довольно тяжкій укоръ. Направленіе ихъ  
состояло въ непониманіи того, что истины Запада суть только  
отголоски христіанскихъ началъ, и упрекъ добавлялся замѣчаніемъ,  
что они «жемоподобно управляются одной страстью къ предмету обо-  
ихъ, которая и привела ихъ къ нелѣпой мысли, будто все уже  
исчерпано Европой и стоить только подбирать какъ святиню все, что  
бросается нужнаго и ненужнаго» (стр. 73). Вмѣсто этихъ пу-  
стыхъ направленій, для Кирѣвскаго существуетъ и важно только

представленіе о двухъ родахъ образованія—одно то, которое творится чрезъ внутреннее устроеніе духа, силою извѣщающей въ немъ истины. Это самое разумное, высшее, и уже безъ познаній Европы обойтись не можетъ. Другое—низшее образованіе слагается чрезъ формальное развитіе разума и приобрѣтеніе высшихъ познаній, съ помощью одного заимствованія; оно дѣлаетъ изъ человѣка подобіе логически-технической выкладки, безъ національныхъ и всякихъ другихъ убѣжденій (74). Въ концѣ изслѣдованія является у Кирѣвскаго резюмирующій тезисъ, который гласитъ: «потому, любовь къ образованности европейской, равно какъ и любовь къ нашей,—обѣ совпадаютъ въ послѣдней точкѣ своего развитія въ одну любовь, въ одно стремленіе къ живому, полному, всечеловѣческому и истинно-христіанскому просвѣщенію». Обѣ статьи И. В. Кирѣвскаго произвели громадное впечатлѣніе и нашли доброжелателей и порицателей одинаково въ обоихъ лагеряхъ—славянскомъ и западномъ. Бѣлинскій принадлежалъ къ числу порицателей. Въ постройкѣ статей онъ усмотрѣлъ отчасти вѣнецкій характеръ, искусно, но фальшиво обобщающій предметы, а потомъ и нѣкоторую непослѣдовательность: «Какъ же это, — говорилъ онъ, — Кирѣвскій отыскалъ племя, способное дополнить развитіе Европы свѣжими элементами своего издѣлія, а между тѣмъ предлагаетъ ему идеалы цивилизаціи собственнаго своего измышленія. Да вѣдь идеаль-то цивилизаціи и есть само это избранное племя! Нѣтъ, ужъ если вы не обманываете самого себя, говоря, что сподобились читать въ книгѣ суждѣній о призваніи русскаго народа, такъ не стыдитесь лежать передъ нимъ во прахѣ. Я больше люблю Ш. и П., которые, не бродя по сторонамъ, просто ревутъ: «мы спасители, мы обновители!» — ужъ и знаешь, чтó имъ на это отвѣчать».

Третья статья И. Кирѣвскаго, которая, по плану его, должна была заняться текущими явленіями литературы, къ сожалѣнію, не появилась въ печати.

Не менѣе рѣшительно и строго отнесся къ доморощеннымъ гонителямъ Запада и А. С. Хомяковъ въ двухъ прекрасныхъ своихъ статьяхъ: а) «Письмо въ Петербургъ» («Москв.», 1845, № 2): о русскихъ желѣзныхъ дорогахъ; и б) «Мнѣніе иностранцевъ о Россіи» («Москв.», 1845, № 4).

Послѣдняя не была подписана и, конечно, имѣла въ виду вѣстную книгу Кюстина, которая, несмотря на строгое запрещеніе ея, читалась у насъ повсемѣстно и возбуждала характеристикою нѣкоторыхъ лицъ и событій саркастическіе толки въ-тихомолку, очень невинные, но очень безпокоившіе однакоже административныхъ людей эпохи. Обычныхъ славянофильскихъ оговорокъ и въ этихъ

гяхъ нашлось много. Какъ и Кирѣевскій, Хомяковъ объявлялъ первой изъ нихъ просвѣщеніе не чѣмъ инымъ, какъ просвѣтленіе всего разумнаго состава въ человѣкѣ или народѣ, дополняя мысль еще замѣчаніемъ, что такое просвѣтленіе можетъ совпасть съ наукой, а можетъ существовать и безъ нея, не теряя отъ своего благотворнаго дѣйствія <sup>1)</sup>. Какъ и Кирѣевскій, онъ адпопнялъ обличенію друзей обличеніе западниковъ и школы Бѣлинскаго, которыхъ винилъ въ непростительной односторонности. Въ гературныхъ сужденіяхъ своихъ, какъ И. В. Кирѣевскій, такъ А. С. Хомяковъ, очень близко подходили къ Бѣлинскому, а часто и дальше его. Вотъ, наприимѣръ, мѣсто изъ второй статьи Киевскаго: «Произведенія нашей словесности, какъ отраженія европейскихъ, не могутъ имѣть интереса для другихъ народовъ, кромѣ интереса статистическаго, какъ показанія мѣры нашихъ ученическихъ гѣховъ въ ученіи ихъ образцовъ» («Москв.», № 2, с. 63). Сильнѣе того ничего не говорилъ п. Бѣлинскій, а сколько брани вытерпѣлъ за подобныя, теперь уже совершенно оправданныя приговоры! Правда — славянская наша партія, часто соглашаясь втайнѣ съ поведеніями ненавистнаго ей критика, старалась всемѣрно держать я въ сторонѣ отъ него, отыскивая подѣ-часъ довольно хитростныя способы возможности, раздѣляя его мнѣніе, противорѣчить. Приимѣровъ этому много. Оградивъ такимъ образомъ убѣжденіе свои отъ всякихъ подозрѣній въ потакательствѣ врагамъ, Хомяковъ тѣмъ съ болѣею силой обращается къ старовѣрамъ собенной партіи, чурающимся отъ Запада какъ отъ язви. «Не думайте», восклицаетъ онъ: «что подѣ предлогомъ сохранить цѣлостность жизни и избѣжать европейскаго раздвоенія, вы имѣете право отвергать какое-либо умственное или вещественное усовершенствованіе Европы». — «Есть что-то смѣшное», продолжаетъ онъ: «и въ что-то безнравственное въ этомъ фанатизмѣ неподвижности» . стр. 82—83). — «Знайте», поясняетъ онъ далѣе, «что усвоечуждыхъ стихій производится въ силу законовъ нравственной роды народа и производить новыя явленія, обнаруживающія его особенность, многосторонность и самостоятельность». — Онъ даже ниваетъ нашихъ ультра-патріотовъ и гонителей Запада просто итвяками, лишенными вѣры въ силу истины и здоровыхъ началъской жизни, которую защищаютъ и которая на нашихъ глазахъ, жотря на характеръ подражательности, ей свойственной, уже опе-

<sup>1)</sup> Въ этомъ мѣстѣ Хомяковъ приводитъ въ примѣръ такихъ мудрыхъ и свѣтлыхъ, сложившихся, однако же безъ участія формальнаго знанія, — царствованія Оеа Илландича, Алексѣя Михайловича и императрицы Елизаветы Петровны, о чемъ ю уже говорено.

редила своихъ учителей во многомъ: въ ней, наприѣръ, немислино такое явленіе, какъ *баварское* искусство, занятое воспроизведеніемъ въ одно время греческихъ, византійскихъ и средневѣковыхъ памятниковъ.

Было довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она не сдѣлала, не имѣя еще и понятія объ исторіи искусства вообще, но мѣткость всѣхъ другихъ опредѣленій Хомякова была признава славянами по отношенію къ западникамъ, а западниками по отношенію къ славянамъ.

Вторая статья Хомякова: «Мнѣніе иностранцевъ о Россіи», любопытна была тѣмъ, что освобождала иноземныхъ авторовъ и ихъ русскихъ подсказывателей отъ отвѣтственности за нелѣпости, распространяемыя ими о Россіи. Чтѣ другое могли бы они говорить? — замѣчаетъ Хомяковъ. Основное жизненное начало народа, откуда все исходитъ, весьма часто не только не понимается другими народами, да нерѣдко и имъ самимъ. Прииѣромъ тому можетъ служить Англія, и доселѣ не понимаемая, по мнѣнію автора, ни чужеземными, ни *своими* писателями <sup>1)</sup>. При одномъ формально научномъ образованіи и при одномъ логическомъ способѣ добыванія идей — прибавляетъ онъ — нѣтъ и возможности уловить душу народа, уразумѣть начала, которыми онъ живетъ. Вотъ почему нашъ простой народъ, не пошедъ за высшими классами въ логическомъ и формальномъ образованіи, оказалъ, по Хомякову, громадную услугу Руси. «Тутъ произошло», говоритъ авторъ, «безсознательное ясновидѣніе человѣческаго разума, которое предугадываетъ многое, чему еще не можетъ дать ни имени, ни положительнаго очертанія» (Ж 4 «Москов.», с. 38). Сохранивъ свою національную культуру, русскій народъ подготовилъ дорогіе матеріалы для народнаго самосознанія, которое еще болѣе укрѣпится и сильнѣе выразится послѣ усвоенія элементовъ европейской цивилизаціи, и уже сдѣлаетъ тогда невозможнымъ жетолкованія русской жизни, какъ со стороны чужеземныхъ, такъ и своихъ изслѣдователей.

Даже и такой труженникъ, какъ П. В. Кирѣевскій, весь посвятившій себя собиранію памятниковъ народнаго творчества и не охотно являвшійся на журнальную арену, принималъ участіе въ дѣлѣ созиданія прочныхъ основъ для своей партіи. Онъ опровергалъ въ

<sup>1)</sup> Это сѣрое положеніе А. С. Хомякова, всѣми замѣченное и не оставленное безъ возраженія, показывало еще разъ, какъ далеко увлекалъ его блестящій умъ, склонный къ рѣшительнымъ словамъ и афоризмамъ, ради потрясающаго ихъ дѣйствія на слушателей. Вотъ чтѣ говорилъ онъ далѣе въ подтвержденіе своей мысли: «Вездѣ она (Англія) является, какъ созданіе условнаго, мертваго формализма... но она вѣдѣтъ съ тѣмъ нѣтъ преданія, поэзію, святость домашняго очага, теплоту сердца и Диккенса, *мыслимаго брата*, нашего Гоголя» (!). „Москв.“, 1845 г., № 4, с. 29.

№ 3 «Москвитянина» известное положеніе М. П. Погодина, по которому русскій народъ всегда отличался мягкостію, податливостію, не зналъ сословной розни и *легко покорялся* всякому требованію. П. В. Кирѣевскій считалъ это положеніе оскорбительнымъ для русскаго народа, предлагалъ другое поясненіе его исторіи и вызвалъ жаркое возраженіе М. П. Погодина, подтверждавшаго свою прежнюю тѣму о податливости русскаго народа ссылками на лѣтописи.

Вообще можно полагать, что старый редакторъ журнала имѣлъ причины раскаяваться въ томъ, что предоставилъ органъ свой другимъ рукамъ, несмотря на быстрое нравственное и матеріальное значеніе, приобретенное «Москвитяниномъ» подъ новой редакціей. Уже съ 3-го номера, М. П. Погодинъ успѣшилъ оградить себя отъ нападокъ своихъ слишкомъ добросовѣстныхъ и откровенныхъ друзей, требованія которыхъ все болѣе и болѣе росли и грозили оставить его самого и добрую часть его партіи позади себя. Въ статьяхъ: «За русскую старину» (№ 3, с. 27) онъ съ нескрываемой досадой возражаетъ на упрекъ или на *клевету*, какъ выразился, будто славянофилы не уважаютъ Запада, будто хотятъ воздвигнуть мертвый трупъ, будто нечестиво поклоняются неподвижной старинѣ. Обиженный редакторъ довольно иронически поясняетъ, что они ратуютъ только за русскій духъ, вѣющій изъ старины, за самостоятельность жизни, а потомъ и за свободное признаніе всѣхъ заслугъ запада, востока, сѣвера и юга (с. 31).

Это значило не отвѣчать вовсе на сущность вопроса. По окончаніи года, М. П. Погодинъ успѣшилъ принять журналъ опять въ свои руки и легко успѣлъ лишить его значенія, которое онъ сталъ приобретать. «Москвитянинъ» влачилъ довольно безцвѣтное существованіе, опаздывая книжками и изрѣдка оживляясь полемическими искрами, скоро потухавшими безслѣдно въ массѣ литературнаго хлама. Такъ продолжалось до 1850 г., когда новое поколѣніе, исключительно воспитанное Москвой, опять обратило на журналъ вниманіе публики. Имена свѣжихъ дѣятелей, оживившихъ тогда редакцію журнала, подъ знаменемъ котораго они собрались, теперь хорошо извѣстны. Это были, по части художественнаго производства, А. Островскій, А. Писемскій, А. Потѣхинъ, Кокоревъ и другіе, а по части критики и философіи — Ап. Григорьевъ, Эдельсонъ, Т. Филипповъ и др. Петербургъ тотчасъ же завязалъ и съ ними полемику, принявъ ихъ за эпигоновъ — послѣдковъ старой могущественной партіи, но это уже относится къ другому періоду литературы и развитія.

Московскіе западники, съ Грановскимъ и Г. во главѣ, не оставили руки, такъ великодушно протянутой имъ партіей славянъ,

безъ отвѣта. Они просто обрадовались возможности завязать съ высокоразвитыми своими противниками опять нѣкоторый обмѣнъ мыслей, такъ какъ главный ровъ, мѣшавшій всякому сношенію между обоими лагерями, былъ если не вполнѣ, то на половину засыпанъ. Слово возвратилось борцамъ, потому что они могли уже разумѣть другъ друга. Сохраняя всѣ свои отличія и свою независимость, не признавая очень многія изъ положеній славянъ, которыми они окрашивали и дополняли главную тему о пользѣ и необходимости изученія Европы, а особенно не отрекаясь отъ права и обязанности энергически противиться при случаѣ выводамъ, которые они дѣлали изъ исторіи, какъ русской, такъ и европейской вообще—московская западная партія признавала, однако же, важность ихъ послѣдняго *profession de foi* и поняла необходимость и законность уступокъ и съ своей стороны. Уступки эти и были сдѣланы, какъ увидимъ. Но Бѣлинскій оставался внѣ всего этого движенія.

## XXV.

Одновременно съ раздвоеніемъ въ лагерѣ «славянъ», послѣдовало точно такое же и у западниковъ: «Москвитянинъ» вызвалъ много бурь въ нѣдрахъ этой партіи, и на одной изъ такихъ бурь, лѣтомъ 1845 г., я присутствовалъ. Лѣто 1845 года оставило во мнѣ такія живыя воспоминанія, что я и теперь (1870 г.) по прошествіи слишкомъ 25-ти лѣтъ, какъ будто вижу передъ собой каждое изъ тогдашнихъ лицъ московскаго кружка, и какъ будто слышу каждое ихъ слово. Для меня это—не дальнее, на половину позабытое прошлое, а какъ будто событіе вчерашняго дня. Голоса, выраженіе физіономій и поза людей—стоятъ въ памяти такъ живо, точно мы недавно разошлись по домамъ; постараюсь передать мои воспоминанія съ наивозможной вѣрностью.

Грановскій, Кетчеръ и Г. извѣстили своихъ пріятелей, что на лѣто 1845 г. они поселяются въ селѣ Соколовѣ—въ 25-ти или 30-ти верстахъ отъ Москвы. Село принадлежало помѣщику Д—ву, который, на случай своихъ пріѣздовъ въ вотчину, оставилъ за собой большой домъ, а боковые флигеля и домикъ позади предоставилъ наемщикамъ, вмѣстѣ съ великолѣпнымъ липовымъ и березовымъ садомъ, который отъ дома сходилъ подъ гору, къ рѣкѣ. На противоположной сторонѣ рѣки и горки, по общему характеру русскаго пейзажа, тянулся сплошной рядъ крестьянскихъ избъ. Въ обонхъ флигеляхъ размѣстились семейства Г. и Грановскаго, а домикъ позади занялъ Кетчеръ. Помѣщикъ не беспокоилъ наемщи-

въ. Въ рѣдкіе свои наѣзды онъ только *приказывалъ* крестьянамъ крестьянкамъ *свободно* гулять по своему саду, проходя верени-ми мимо оконъ большого дома. Какъ ни легка, повидимому, была а барщина, но она возбуждала сильный ропотъ въ людяхъ, къ и приговоренныхъ, чему наемщики были сами свидѣтелями не разъ.

Вѣроятно, ни ранѣе, ни позже, Соколово уже не представляло кой поразительной картины шума и движенія, какъ лѣтомъ 1845 да. Пріѣздъ гостей къ дачникамъ былъ невѣроятный, громадный. бѣды устраивались на лугу передъ домомъ почти колоссальныя, и ѣз хозяйки—Н. А., жена Г., и Е. В. Грановская, уже привык-ія къ наплыву посѣтителей, справлялись съ этою толпой неизом-рно ловко. Сами онѣ представляли изъ себя очень различные ны, хотя и связаны были тѣсною дружбой. Жена Г., со своимъ пткимъ, едва слышнымъ голосомъ, со своей ласковой и болѣзненной ыбкой, со всѣмъ своимъ дѣтски-нѣжнымъ, хрупкимъ и страдаю-мъ видомъ, обладала еще страстностью характера, пламеннымъ ьбраженіемъ и очень сильной волей, что и доказала на дѣлѣ при ьчалѣ своей жизни и при концѣ ея. Елизавета Богдановна Гра-овская была олицетвореніемъ спокойной, молчаливо-благодарной и айнѣ радостной покорности своей судьбѣ, устроившей ея положен-е какъ жены и какъ женщины. Обѣ онѣ способны были, каждая ь-своему и съ различными побужденіями, на очень значительныя ьртвы и подвиги, если бы то потребовалось. Всегда окруженный юими московскими пріятельницами, онѣ показѣтъ служили въ ооловѣ тѣмъ умиряющимъ, эстетическимъ началомъ, которое сдерж-ивало пиры друзей, гдѣ на шампанское не скупились, въ тонѣ ьсолой, но далеко не распушенной бесѣды.

Я появился среди этого персонала Соколова въ концѣ іюня ѣсяца, былъ принятъ имъ съ величайшимъ радушіемъ, но съ от-ѣнкомъ, который бросался въ глаза. Какъ гость изъ Петербурга изъ ближайшаго кружка Вѣлинскаго, я долженъ былъ почувство-ть, въ средѣ самыхъ дружескихъ изліяній, ту ноту разногласія, ьссонанса, какая уже существовала между двумя отдѣлами запад-ѣй партіи. Нота эта звучала и въ ироническихъ шуткахъ Г., и въ ьрвномъ хохотѣ Кетчера, и въ полусерььзной фizioноміи Гранов-аго, которая попеременно разглаживалась и темнѣла. Всѣмъ не- ьходимо было пропѣть противную эту ноту поскорѣ вслухъ, чтобы ѣйти опять въ простыя, откровенныя отношенія другъ къ другу. ьто и не замедлило случиться.

Въ тотъ же самый день все общество собралось на прогулку ѣ поля, окружавшія Соколово, на которыхъ, по случаю ранняго ьнтья, царствовала теперь муравьиная дѣятельность. Крестьяне и

крестьян убирали поля въ костюмахъ, почти примитивныхъ, что и дало поводъ кому-то сдѣлать замѣчаніе, что изъ всѣхъ женщинъ одна русская ни передъ кѣмъ не стыдится, и одна, передъ которой такъ никто и ни за что не стыдится. Этого замѣчанія достаточно было для того, чтобы вызвать ту освѣжающую бурю, которой всѣ ждали. Грановскій остановился и необычайно серьезно возразилъ на шутку: — «Надо прибавить, сказалъ онъ, — что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того, и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней кинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей русской литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность». Съ этого и начался споръ.

Я не упомянулъ, что въ числѣ постоянныхъ гостей Соколова былъ еще вѣнчанный человѣкъ кружка — издатель «Моск. Вѣд.» Евг. Фед. Боршъ. По убѣжденіямъ своимъ, онъ принадлежалъ вполнѣ партіи крайнихъ западниковъ, отыскивая вмѣстѣ съ ними основныя для мысли и для жизни въ философіи, исторіи, слѣдя за теоріями социализма, и нисколько не ужасаясь никакихъ результатовъ, какіе бы могли оказаться на концѣ этихъ розысканій; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не принималъ на вѣру никакихъ заманчивыхъ посуловъ доктринъ, откуда бы она ни исходила, если только мало-мальски приближалась къ утопіи или обнаруживала попользованіе на произвольный выводъ. Онъ постоянно воевалъ съ идеалами существованія, которыхъ тогда возникало множество. Вообще, это былъ критикъ убѣжденій и вѣрованій своего круга, съ которыми раздѣлялъ многія изъ его надеждъ и всѣ основныя положенія. Онъ стоялъ постоянно съ ногой, занесенной, такъ-сказать, изъ своего лагеря въ противоположный, охлаждая слишкомъ радужныя чаянія или черезъ-чуръ sanguinическіе порывы своихъ друзей. Обширная начитанность и поистинѣ замѣчательная доля мѣткого и ядовитаго остроумія, эффектъ котораго увеличивался еще отъ противоположности съ недостаткомъ въ произношеніи — дѣлали изъ Евг. Борша выдающееся лицо круга <sup>1)</sup>. Онъ тотчасъ понималъ, что завязавшійся споръ не есть какая-либо рѣшительная битва, имѣющая въ концѣ положеніе сторонъ, а

<sup>1)</sup> Изъ множества его цѣлыхъ замѣтокъ я помню одну, обращенную къ собесѣднику, который на основаніи Прудона, отыскивалъ въ анархіи спасительное средство для современнаго общества. — «Что, вѣроятно, потому, — сказалъ Евг. Боршъ, — что анархія всегда идетъ въ союзу монархіею». Въ другой разъ онъ отвѣчалъ одному профессору, который съ нѣкоторыми провинціальными акцентомъ, восклицалъ: — «Я, — сказалъ Евг. Боршъ, — знаю, что ты ничего другого не можешь», замѣтилъ Евг. Боршъ.



только простое объясненіе между ними; поэтому онъ и ходилъ свободно между сторонами, не приставая ни къ одной. Иначе принялъ дѣло Кетчеръ, которому казалось уже необходимостью произвести себя въ адвокаты отсутствующей петербургской стороны, какъ еще мало онъ самъ ни раздѣлялъ всѣхъ ея воззрѣній. Онъ поднялъ перчатку Грановскаго и повелъ съ нимъ споръ о *принципахъ* чрезвычайно горячо, какъ окажется, надѣюсь, и изъ сокращенной моей передачи этого любопытнаго препирательства. За точность и порядокъ мыслей и за приблизительную вѣрность самаго выраженія ихъ — ручаюсь <sup>1)</sup>).

— Да, помилуйте, какъ же можно, — восклицалъ Кетчеръ, — обобщать на этотъ манеръ каждое пустое замѣчаніе. Какой же человекъ удержитъ голову на своихъ плечахъ, если изъ каждого его слова, нущеннаго на вѣтеръ, станутъ вытягивать разные смыслы. Вѣдь это преображенскій приказъ. А если ужъ обобщать, Грановскій, такъ ты бы лучше поставилъ себѣ вопросъ: не участвовалъ ли самъ народъ въ составленіи нашихъ дурныхъ привычекъ, и не есть ли наши дурныя привычки именно народныя привычки?

— Постой, братъ Кетчеръ, — возразилъ Грановскій, — ты говоришь: не слѣдуетъ обобщать всякую случайную замѣтку; во-первыхъ, любезный другъ, случайныя замѣтки состоятъ въ близкомъ родствѣ съ тайной нашей мыслию, а во-вторыхъ, собраніе такихъ замѣтокъ составляетъ иногда цѣлое ученіе, какъ, напримѣръ, у Бѣлинскаго. — А я тебѣ долженъ сказать здѣсь прямо — добавилъ Грановскій съ особеннымъ удареніемъ на словахъ, — что во взглядѣ на русскую національность и по многимъ другимъ литературнымъ и нравственнымъ вопросамъ я сочувствую гораздо болѣе славянофиламъ, чѣмъ Бѣлинскому, «Отеч. Запискамъ» и западникамъ.

За этимъ категорическимъ объявленіемъ послѣдовала минута молчанія. Гораздо позднѣе мысль, выраженная Грановскимъ, повторилась много разъ и самимъ Г., отъ своего имени въ его заграничныхъ изданіяхъ, но впервые она была сказана именно Грановскимъ и въ Соколовѣ. Г. конечно, принялъ участіе въ завязавшемся спорѣ, нисколько не предчувствуя, разумеется, что не далѣе, какъ черезъ годъ, онъ придетъ самъ въ столкновеніе съ Грановскимъ по вопросу, совершенно схожему съ тѣмъ, который теперь разбирался <sup>2)</sup>).

<sup>1)</sup> Замѣтки и цитаты, тогда же брошенныя мною на бумагу для памяти, много помогли восстановленію всей этой сцены.

<sup>2)</sup> Въ „Запискахъ“ Г. разсказана подробно исторія его ссоры въ 1846 г. съ Грановскимъ по поводу неосторожнаго браннаго слова, произнесеннаго О.—нымъ въ присутствіи сожительницы, впоследствии жены К. Тогда Г. стоялъ за О., не имѣя къ нему случайнаго, непечатаго выраженія, а обиженнымъ уже являлся К., такъ

Теперь онъ держалъ сторону Грановскаго, хотя не такъ рѣшительно, какъ можно было думать, судя по вѣшнимъ признакамъ сходства въ ихъ настроеніяхъ. Прямая, неуклонная, откровенная дѣятельность Бѣлинскаго приходилась ему всегда по душѣ, несмотря на множество оговорокъ, какія онъ противопоставлялъ ей, да и предчувствіе близости горькихъ расчетовъ съ самимъ Грановскимъ, вѣроятно, уже возникло въ его умѣ и сдерживало его слово. Вѣшательство его въ разговоръ носило дружелюбный характеръ.

— Пойми же ты, братецъ,—говорилъ онъ, обращаясь къ Кетчеру,—что кромѣ общаго народнаго вопроса, о которомъ можно судить и такъ, и иначе, между нами идетъ дѣло о нравственномъ вопросѣ. Мы должны вести себя прилично по отношенію къ низшимъ сословіямъ, которыя работаютъ, но не отвѣчаютъ намъ. Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на оскорбленіе ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы же сами? Официальныхъ адвокатовъ у нихъ нѣтъ,—понимаешь, что всѣ тогда должны сдѣлаться ихъ адвокатами. Это особенно не мѣшаетъ понять теперь (1845 г.), когда мы хлопочемъ объ упраздненіи всякихъ управъ благочинія. Не для того же нужно намъ увольненіе въ отставку видимыхъ и невидимыхъ исправниковъ, чтобы развязать самимъ себѣ руки на всякую потѣху.

Кетчеръ не любилъ оставлять послѣдняго слова за противникомъ. Онъ возопилъ противъ попытки примѣнять еще и нравственность, послѣ національности, къ пустому случаю, разросшемуся въ такой диспутъ, утверждалъ, что обличеніе какого-либо несомнѣннаго факта, хотя бы и самаго прискорбнаго характера—никогда не можетъ быть безнравственно, а, наконецъ, послѣ насмѣшливыхъ отзывовъ о новыхъ народившихся руссофилахъ (на этого рода пикантныя приправы къ спорамъ никто тогда не скупился), перешелъ къ Бѣлинскому, который собственно и составлялъ настоящій предметъ всего разговора. Кетчеръ замѣтилъ, что врядъ ли мы и имѣемъ право судить о настоящихъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго на русскую народность, такъ какъ онъ ихъ никогда не высказывалъ вполнѣ, да и въ виду цензуры и не могъ передать всей своей мысли, какъ по этому предмету, такъ и по многимъ другимъ. Здѣсь Грановскій опять остановилъ Кетчера и покончилъ споръ замѣчаніемъ, которое поразило всѣхъ своей неожиданностью; привожу его буквально:

— Знаешь ли, братъ Кетчеръ, что я имѣю тебѣ сказать по поводу твоего замѣчанія о цензурѣ. Объ умѣ, талантѣ и честности Бѣлинскаго не можетъ быть между нами никакого спора, но вотъ

легко прощавшій прежде мимолетныя замѣтки. Грановскій поддерживалъ К. и раздѣлялъ его негодованіе.

то я скажу о цензурѣ. Если Бѣлинскій сдѣлался силой у насъ, то тѣмъ онъ обязанъ, конечно, во-первыхъ, самому себѣ, а во-вторыхъ, нашей цензурѣ. Она ему не только не повредила, но оказала ольшую услугу. Съ его нервнымъ, раздражительнымъ характеромъ, такимъ словомъ и увлеченіями онъ никогда бы не справился, безъ цензуры, со своимъ собственнымъ матеріаломъ. Она, цензура, заставила его обдумывать планы своихъ критикъ и способъ выраженія и дѣлала его тѣмъ, чѣмъ онъ есть. По моему глубокому убѣжденію, Бѣлинскій не имѣетъ права жаловаться на цензуру, хотя и ее благодарить тутъ не за что: она, конечно, также не знала, что дѣлаетъ.

Споръ былъ вполне истощенъ именно этимъ заявленіемъ Грановскаго. Все было сказано, что Грановскому хотѣлось сказать. Когда за тѣмъ кто-то замѣтилъ, что всѣ рѣзкія, анти-національныя выходки Бѣлинскаго происходятъ еще изъ горячаго демократическаго чувства, возмущеннаго тѣмъ состояніемъ, до котораго доведены народныя массы, Грановскій горячо присталъ къ этому мнѣнію, находя въ немъ разгадку многихъ излишествъ критика, которыя все-таки считалъ явленіемъ ненормальнымъ и печальнымъ. Споръ прекратился. Онъ сдѣлалъ свое дѣло, очистивъ совѣсть и позволивъ себѣ возвратиться уже безъ всякихъ помѣхъ къ простымъ, дружескимъ и искреннимъ отношеніямъ.

Въ моемъ пониманіи этотъ споръ еще имѣлъ и другое значеніе. Это было первое крупное проявленіе мысли, давно уже таившейся въ умахъ, о необходимости болѣе разумныхъ отношеній къ простому народу, чѣмъ тѣ, которыя существовали въ литературѣ и въ нѣкоторыхъ слояхъ мыслящаго класса людей. Литература и образованные умы наши давно уже разстались съ представленіемъ народа, какъ личности, определенной существовать безъ всякихъ гражданскихъ правъ и служить только чужимъ интересамъ, но они не разстались съ представленіемъ народа, какъ дикой массы, не имѣющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя. Споръ вынудилъ собою переворотъ, совершившійся въ понятіяхъ одного отряда западниковъ относительно способовъ судить и оцѣнать доминирующую культуру и нравственную фیزیономію толпы.

Года два-три передъ тѣмъ никому изъ западной партіи и въ слову не приходило провѣрять самые смѣлые свои приговоры объ бычачьихъ, вѣрованіяхъ, моральныхъ свойствахъ народа, или заботиться объ основательности и справедливости своихъ воззрѣній на то быть, надежды и ожиданія. Все это было дѣломъ личнаго вкуса и каждому предоставлено было думать объ этихъ предметахъ, что угодно, безъ малѣйшей ответственности за свои мнѣнія и за свою точку зрѣнія. Тонъ горделиваго, полу-барскаго и полу-педантиче-

скаго презрѣнія къ образу жизни и къ изысканіямъ темнаго, работающаго царства водворился незамѣтно въ средѣ образованныхъ круговъ. Особенно бросался онъ въ глаза у горячихъ энтузіастовъ и поборниковъ ученія о личной энергіи, личной инициативѣ, которыхъ они не усматривали въ русскомъ мірѣ. По часту отзывы ихъ объ этомъ мірѣ смахивали на чванство выходца или разбогатѣвшаго откупщика передъ менѣе счастливыми товарищами. *Кичливость образованностию* омрачала иногда самыя солидные умы въ то время и была по преимуществу темной стороною нашего западничества. Она же — западничество это — и положило предѣлъ подобному извращенному примѣненію его началъ къ жизни. Споръ, изложенный выше, былъ результатомъ давнишняго желанія одного отдѣла нашихъ западниковъ заявить формальный протестъ противъ легкомысленнаго трактованія вопросовъ народной жизни, каковыя погрѣшали нѣкоторые ряды его собственной партіи. Можетъ быть, никто не принялъ такъ горячо къ сердцу ново-возникшаго вопроса о самобытной мысли темныхъ людей, какъ одинъ изъ надежнѣйшихъ и горячихъ друзей круга, именно К. Д. Кавелинъ, человекъ, вносившій обыкновенно страстное одушевленіе во всѣ свои какъ научныя, такъ и житейскія убѣжденія. Привычка къ высокому обращенію съ народомъ была такъ обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшіеся впоследствии самыми горячими адвокатами его интересовъ и правъ. Уже гораздо позднѣе и въ Петербургѣ; куда онъ переѣхалъ и гдѣ приходилось всего болѣе расчищать дорогу благорасположенному отношенію ко всѣмъ видамъ народнаго творчества, — пропаганда Кавелина не умолкала вплоть до конца 50-хъ годовъ. Здѣсь кстати сказать еще, что человекъ, тоже не мало содѣйствовавшій къ измѣненію способа относиться къ народу и представлять себѣ его умственную жизнь, былъ столь много осмѣянный нѣкогда славянофилами Тургеневъ. Первые его рассказы изъ «Записокъ Охотника», явившіеся въ «Современникѣ» 1847 г., положили конецъ всякой возможности глумленія надъ народными массами. Не почва для «Записокъ Охотника» была уже подготовлена, и Тургеневъ выразилъ ясно и художественно сущность настроенія, которое уже носилось, такъ-сказать, въ воздухѣ.

## XXVI.

Возвращаясь къ Соколову. Въ срединѣ лѣта подмосковное село это образовало нѣчто въ родѣ подвижнаго конгресса изъ безпрестанно наѣзжавшихъ и пропадавшихъ литераторовъ, профессоровъ, артистовъ, знакомыхъ, которые видимо всѣ имѣли цѣлью переки-

тятся идеями и извѣстіями другъ съ другомъ. Хозяева жили въ гранномъ многолюдствѣ и повидимому не имѣли времени сосредото-  
читься на какомъ-либо своемъ собственномъ, специальномъ занятіи.  
Вѣсти калейдоскопически смѣнялись гостями: тутъ, кромѣ Панаева,  
ставившаго и описаніе Соколовской жизни, промелькнули въ моихъ  
запахъ Н. А. Некрасовъ, давно уже мнѣ знакомый и возбуждав-  
шій тогда общій симпатическій интересъ своей судьбою и своей  
поэзіей, затѣмъ Ив. Вас. Павловъ, здѣсь впервые мною и встрѣ-  
ченный, и поражавшій оригинальной грубостію своихъ пріемовъ,  
одъ которыми таилось у него много мысли, наблюденія, юмора и  
т. д.; Евг. Фед. Коршъ, старый Щепкинъ, молодой, рано умершій  
наследко, начинающій живописецъ Горбуновъ, сдѣлавшій литографи-  
рованную коллекцію портретовъ со всего кружка <sup>1)</sup>—были постоян-  
ными посѣтителями Соколова. Совсѣмъ не праздно жили и хозяева  
дачи въ этомъ водоворотѣ гостей и наѣзжихъ со всѣхъ сторонъ,  
звѣзды могло показаться сначала. Такъ, Г. печаталъ и продолжалъ  
свои письма объ изученіи природы; Грановскій приготовлялся къ  
новой, второй серіи публичныхъ своихъ лекцій; Кетчеръ переводилъ  
Шекспира упорно. Иногда онъ на цѣлые дни пропадалъ изъ Соко-  
лова, въ грязной, сѣрой блузѣ, и захвативъ только съ собою ку-  
сокъ хлѣба. Онъ тогда бродилъ по лѣсамъ, окружавшимъ Москву,  
однажды встрѣтилъ тамъ истощеннаго бѣглаго солдата, съ пора-  
женной ногой, который не очень дружелюбно посмотрѣлъ на него.

<sup>1)</sup> Я сохраняю его каррикатурный листокъ, дѣланный карандашомъ и изобра-  
жающій Г., Грановскаго, Корша, Панаева, мою особу и др. въ ночной бесѣдѣ, какія  
туда часто бывали на обрывѣ горы, въ садовомъ павильонѣ соколовскаго парка.  
Вругу, собиравшемуся въ Соколовъ, недоставало двухъ весьма крупныхъ членовъ его,  
П. Боткина и О. Оба они жили за-границей, въ Парижѣ, и первый, по рассказу  
Панаева, тоже недавно возвратившагося оттуда, усленно старался офранцузить  
и въ языкѣ, образѣ жизни, нравахъ, и уже отличался яркой ненавистью къ ста-  
рому своему идолу—идеализму. Второй философски растрачивалъ остатки своего,  
иногда громаднаго, состоянія и очень солиднаго здоровья. Впрочемъ, скандальныя  
мелочи Панаева объ обоихъ не вполне передавали ихъ нравственное содержаніе,  
потому что первый, Боткинъ, съѣздивъ въ Испанію, подарилъ русскую публику за-  
мѣчательно-унымымъ и картиннымъ описаніемъ страны, а второй, О., возвратясь на  
родину въ 1846, производилъ такое сильное обаяніе своей поэтической личностью,  
что сдѣлался почти чѣмъ-то въ родѣ директора совѣсти—directeur de conscience—въ  
всѣхъ семьяхъ—у Г. и у Н. А. Тучкова. Дамы обѣихъ семей унывали написанными  
тогда поэтически-философскими и социальнo-скорбными стихотвореніями „Моно-  
лוגъ“—да и мужская половина семей, какъ оказалось впоследствии, подпала въліянію  
и не менѣе женской. Тайна этого обаянія заключалась въ какой-то апатической,  
ночной нервозности характера, позволявшей О. постепенно достигать крайнихъ гра-  
дусовъ, какъ въ жизни, такъ и въ мысли, и уживаться, страдая, со всѣми самыми  
невозможными положеніями, легко, какъ у себя дома.

Кетчеръ вынулъ у него занозу изъ ноги, перевязалъ рану и отдалъ ему свой кусокъ хлѣба. Когда туземное и пришлое населеніе Соколова собиралось въ сходку, на какомъ-либо изъ его форумовъ (кроѣ многочисленныхъ обѣдовъ Соколова, такимъ форумомъ служила еще и круглая площадка въ глубинѣ парка, обнесенная великолѣпными липами), то разговоры, пренія, рассказы, происходившіе на этихъ форумахъ, отражая все многообразіе характеровъ, умовъ и настроеній, носили еще одинъ общій тонъ, который и былъ господствующимъ тономъ всѣхъ бесѣдъ этой эпохи.

Политическихъ разговоровъ, въ прямомъ смыслѣ слова, на этихъ импровизированныхъ академіяхъ, почти никогда не происходило. Тогдашняя публичная жизнь снабжала только людей юмористическими анекдотами и показѣсть ничего болѣе не давала. Собственно же основныя принципы, управлявшіе обществомъ—вовсе и не затрагивались. Разсуждать о нихъ считалось дѣломъ празднымъ, и говорить о нихъ начинали тогда, когда въ примѣненіи своемъ они достигали или комическаго, или трагическаго абсурда. До тѣхъ поръ это были явленія, для всѣхъ, давно отпѣтыя и похороненныя. Вспоминали о нихъ особенно, когда настояла надобность ускользнуть изъ когтей того или другого изъ мертвецовъ, ходившихъ по землѣ, и пускавшагося неожиданно преслѣдовать живыхъ людей. Взамѣтъ, въ первомъ планѣ стояли европейскія дѣла, ученія, открытія: они и составляли господствующую ноту въ разговорахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ проходила еще другая красная нитка черезъ всю многообразную сѣть узоровъ свободной бесѣды въ Соколовѣ. Она-то и давала предчувствіе объ общемъ происхожденіи и родствѣ всѣхъ мнѣній и мыслей, тамъ высказывавшихся, несмотря на частую ихъ противоположность. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что въ Соколовѣ не позволялось только одного—быть ограниченнымъ человекомъ. Не то чтобъ тамъ требовались непременно эффектные рѣчи и проблески блестящихъ способностей вообще—наоборотъ, труженики, поглощенные исключительно своими спеціальными занятіями, чествовались тамъ очень высоко—но необходимъ былъ извѣстный уровень мысли и нѣ которое достоинство характера. Воспитанію мысли и характера въ людяхъ и посвящены были всѣ бесѣды круга, о чемъ бы они въ сущности ни шли, что и давало имъ ту однообразную окраску, о которой говорено. Еще одна особенность: кругъ берегъ себя отъ соприкосновенія съ нечистыми элементами, лежавшими въ сторонѣ отъ него, и приходилъ въ безпокойство при всякомъ, даже случайномъ и отдаленномъ, напоминовеніи о нихъ. Онъ не удалялся отъ свѣта, но стоялъ особнякомъ отъ него—потому и обращалъ на себя вниманіе, но вслѣдствіе именно этого положенія въ средѣ его раз

илась особенная чуткость ко всему искусственному, фальшивому. Всякое проявленіе сомнительнаго чувства, лукаваго слова, пустой разы, лживаго завѣренія угадывались ими тотчасъ и вездѣ, гдѣ оявлялись, вызывали бурю насмѣшекъ, ироніи, беспощадныхъ обличеній. Соколово не отставало въ этомъ отношеніи отъ общаго правила. Вообще говоря, кругъ этотъ, важѣйшіе представители котораго на время собрались теперь въ Соколовѣ, походилъ на рыцарское братство, на воюющій орденъ, который не имѣлъ никакого письменнаго устава, но зналъ всѣхъ своихъ членовъ, разбѣянныхъ ю лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоялъ, по какому-то соглашенію, никѣмъ въ сущности не возбужденному—молчаливо всего теченія современной ему жизни, имѣвшая ей вполне разультаться, ненавидимый одними и страстно любимый другими.

## XXVII.

Исторія послѣдовавшихъ вскорѣ внутреннихъ разногласій «западной» партіи достойна не менѣе вниманія, чѣмъ и исторія ея возникновенія и вліянія въ обществѣ. За протестомъ московскихъ друзей противъ исключительнаго европеизма Бѣлинскаго послѣдовалъ расколъ въ самомъ московскомъ отдѣлѣ западниковъ. Оба главѣйшіе его представителя, Г. и Грановскій, разошлись по вопросамъ, возникшимъ въ концѣ-концовъ на почвѣ той самой западной цивилизаціи, явленіями которой они такъ занимались. Толчокъ къ новому подраздѣленію партіи дали уже идеи социализма и связанный съ ними переворотъ въ способѣ относиться къ метафизическимъ представленіямъ. Самые первые проблески этого разногласія между друзьями оказались опять въ Соколовѣ, хотя разгаръ спора, со всѣми его послѣдствіями, относится уже къ слѣдующему, 1846 году. Позволю себѣ остановиться теперь же на этой подробности, которая, въ различныхъ видахъ и формахъ, повторялась и во многихъ другихъ кружкахъ и отдѣлахъ нашего «западничества».

Кому неизвѣстно, что собственно *русскій* социализмъ, или то, что можно назвать народными экономическими представленіями, заключался въ очень ясныхъ и узкихъ границахъ, состоя изъ ученія объ общинномъ и артельномъ началахъ, т.-е. изъ ученія о владѣніи и пользованіи сообща орудіями производства. Въ этомъ скромномъ, ограниченномъ видѣ, данномъ всей нашей исторіей, *русскій* социализмъ и былъ поставленъ впервые на видъ славянофилами, съ приравкой однакожъ, что онъ можетъ служить не только образцомъ экономическаго устройства для всякой сельской и ремесленной про-





торыми приходилось работать его неопитамъ: «Торговля и сословіе купцовъ, ею созданное, не что иное, какъ паразиты въ экономической жизни народовъ»; — «результаты *коллективнаго* труда рабочихъ достаются даромъ патрону, который всегда оплачиваетъ только *единичный* трудъ»; — «правильная ассоціація распределяетъ работу по силамъ каждого, а вознагражденіе по нуждамъ его»; — «способности рабочего не даютъ ему права на большую долю вознагражденія, будучи сами даромъ случая»; — «искусство и талантъ суть уродливости нравственнаго міра, схожія съ уродливостями физическими, и никакой оцѣнки и оплаты не заслуживаютъ»; — «рабочій имѣетъ такое же право на произведенную имъ цѣнность, какъ и заказчикъ ея»; — «цивилизація Европы есть прямое порожденіе праздныхъ ея сословій» — и такъ далѣе, и такъ далѣе. Я привелъ здѣсь только тезисы и положенія новаго социализма, какія попали подъ перо, но ихъ было множество, и всѣ они раздражали воображеніе гораздо болѣе, чѣмъ цѣлыя системы этого же направленія, въ родѣ системъ Сень-Симона или Фурье, такъ-какъ у перваго іерархическій характеръ ученія, а у втораго искусственная гармонія темпераментовъ и психическихъ серій — возбуждали многими своими сторонами недоумѣніе и юморъ. При афоризмахъ же и тезисахъ «воюющаго» социализма — наоборотъ — никто и не предъявлялъ требованій на очевидность и убѣдительность доказательствъ. Сила этихъ громоносныхъ положеній заключалась не въ ихъ логической неотразимости, не во внутренней ихъ правдѣ, а въ томъ, что они возвѣщали какой-то новый порядокъ дѣлъ и какъ-будто бросали полосы свѣта въ темную даль будущаго, открывая тамъ неизвѣстныя, счастливыя области труда и наслажденія, о которыхъ всякій судилъ по впечатлѣнію, полученному въ короткое мгновеніе той или другой изъ подобныхъ вспышекъ. Эти *прозрѣнія* въ будущее, однакожъ, дѣйствовали чрезвычайно различно на людей самаго круга. Грановскій, напримѣръ, сколько-бы не обольщался ими.

Признавая европейскій социализмъ явленіемъ, которое уже не можетъ быть оставлено безъ вниманія ни историкомъ, ни вообще мыслящимъ челоувѣкомъ, онъ смотрѣлъ на него, какъ на болѣзнь вѣка, тѣмъ болѣе опасную, что она не ждетъ и не ищетъ помощи ни откуда. «Социализмъ, — говорилъ онъ, — чрезвычайно вреденъ тѣмъ, что пріучаетъ отыскивать разрѣшеніе задачъ общественной жизни не на политической аренѣ, которую презираетъ, а въ сторонѣ отъ нея, чѣмъ и себя, и ее подрываетъ». Иначе отнеслись къ нему Г. и Бѣлинскій.

Воинственные манифесты социализма, возвѣщавшіе истребительный походъ его на европейскую цивилизацію, не приводили ихъ въ ужасъ.

Конечно, ни у того, ни у другого, не было и помина объ у  
всѣхъ его предписаній или о превращеніи всѣхъ его претен  
догматы собственной своей «вѣры» (это было бы и нелѣпо и  
обстановкѣ). Многие изъ пивелирующихъ декретовъ социализм  
казались и имъ юношескими вспышками, но они смотрѣли и  
бодрѣ, хладнокровнѣе и спокойнѣе, чѣмъ Грановскій, на  
современной образованности, если бы она и должна была пот  
нѣкоторый ущербъ. А въ томъ, что образованности этой пред  
не малое испытаніе—уже никто не сомнѣвался: тогда во всей  
думали, что съ социализмомъ надвинется на нее свирѣпый у  
долженствующій потрясти всѣ такъ долго и такъ трудно на  
сю вѣрованія, убѣжденія, привычки, мысли и историческія  
Разница въ способахъ относиться къ этимъ предчувствіямъ  
рота именно и образовала ту рознь въ московскомъ кружкѣ,  
торой теперь говорить. Г. былъ за-одно съ Бѣлинскимъ, и с  
смотрѣли прямо и открыто въ лицо всѣмъ симптомамъ разл  
грозынннхъ, но ихъ нѣтъ, Европѣ со стороны социализма,  
знавая, но и не ужасаясь развалинъ, которыя онъ долженъ  
вести. Они думали, что изъ пепла старой цивилизаціи Европ  
никнетъ фениксъ—новый порядокъ вещей, какъ вѣнецъ и п  
ное слово ея тысячелѣтняго развитія.

Всѣ предчувствія переворота, напротивъ, тревожили Гран  
въ высшей степени, и самый переворотъ, какъ онъ предста  
его уму, не вызывалъ у него ни малѣйшей сннпатіи, никаки  
дужныхъ надеждъ или ожиданій. Разногласіе между друзьями  
какъ виднѣть, совершенно невиннаго характера, не имѣя въ  
нимъ своего ничего, кроиъ предположеній и гаданій, но оно  
воздакъ еще проіянн и диспутанн, обнаруживавшіи в  
сторонѣ и на другіе преднеты нравственнаго характера. Раз  
нувшись, споръ уже поддерживался множествомъ горячихъ  
товъ, прибывавшихъ къ нему со стороны, изъ ученыхъ и д  
авленій тогдашней жизни.

Однимъ изъ такихъ горячихъ матеріаловъ должно счита  
жду прочихъ, хорошо извѣстную книгу Фейербаха, которая и  
лась тогда во всѣхъ рукахъ. Можно сказать, что нигдѣ  
Фейербаха не произвела такого потрясающаго впечатлѣнія. Е  
нашнхъ «западныхъ» кружкѣ, нигдѣ такъ быстро не упр  
остатки всѣхъ прежнихъ, предшествовавшихъ ей, содержаній. И  
уиѣтее, явился горячимъ истолкователемъ ея положеній и  
ченій, связывая между прочимъ, открытый ею переворотъ в  
сти метафизическихъ идей съ политическимъ переворотомъ, к

возвѣщали социалисты, въ чемъ Г. опять сходился съ Бѣлинскимъ <sup>1)</sup>. Но Грановскій съ горечью въ душѣ, уже тронутой сомнѣніями, отбивался отъ того послѣдняго слова, которое требовали у него друзья по поводу всѣхъ подобныхъ явленій и не говорилъ его, силясь сохранить подъ собой историческую, конкретную основу существованія, подымаемую со всѣхъ сторонъ. Онъ начиналъ расходиться съ собственнымъ кругомъ, съ тѣмъ кругомъ, въ которомъ, по собственнымъ словамъ его, заложены были цѣликомъ его сердце и вся нравственная часть его существованія. Охлажденіе и разногласіе между друзьями уже существовало втайнѣ прежде, чѣмъ вышло наружу. Уже въ Соколовѣ, Грановскій сказалъ разъ при мнѣ, шутя отпрашиваясь у общества въ Москву для свиданія съ другими пріятили, тамъ оставшимися и преимущественно съ домою Елагинныхъ: «Мнѣ это нужно, чтобы не совсѣмъ заглубѣть между вами — вотъ мы вѣдь успѣли уже лишити меня безсмертія души». Слова эти, несмотря на шуточный ихъ характеръ, поразили меня тогда же, какъ разоблаченіе. Черезъ годъ, именно въ 1846 г., рѣшеніе Грановскаго было принято окончательно. Г. рассказываетъ въ своихъ «Запискахъ», что Грановскій однажды положительно объявилъ ему, послѣ какого-то горячаго пренія между ними, что онъ, Грановскій, не можетъ дальше идти съ прежними своими товарищами въ томъ направленіи, какое все болѣе и болѣе усвоится имъ, и изъ котораго онъ не видитъ никакого разумнаго выхода; что онъ принужденъ, съ болью въ душѣ, выдѣлиться изъ дорогаго ему круга, по многимъ религіознымъ, нравственнымъ и историческимъ вопросамъ, и заявить это твердо и искренно. Г. былъ пораженъ: онъ терялъ друга — и какого друга! — своей молодости, да и видѣлъ еще, съ какой глубокой печалью на лицѣ и какимъ голосомъ Грановскій представилъ свой ультиматумъ! Изумленный и растерянный, Г. обратился тогда же за разъясненіемъ дѣла, а если можно то и за посредничествомъ къ Е. Ѳ. Боршу, но онъ встрѣтилъ у него уклончивый отвѣтъ, который показывалъ, что не всѣ члены круга расположены смотрѣть на заявленіе Грановскаго, какъ на минутную или капризную вспышку. Е. Боршъ не одобрялъ крутой постановки вопроса, какую сдѣлалъ Грановскій, но изъ объясненій его можно было догадаться, что самъ

<sup>1)</sup> Естаети замѣтить еще фактъ. Для Бѣлинскаго собственно были сдѣланы въ Петербургѣ, однимъ изъ пріятелей, переводы нѣсколькихъ главъ и важнѣйшихъ мѣстъ изъ книги Фейербаха — и онъ и г. Грановскій, ослѣдственно познакомились съ произведеніемъ критикъ, опровергающихъ его старыя мистическіе и философскіе идеалы. Нужно ли прибавлять, что Бѣлинскій былъ пораженъ и ошеломленъ до того, что оставался совершенно нѣтъ передъ немъ и утерять свою способность изрѣкаться какихъ-либо мнреній отъ себя, чѣмъ всегда такъ отличался.

Борисъ признавалъ однако основательность поводовъ, которые дали Грановскаго къ его заявленію. Разрывъ приобрѣталъ значеніе несомнѣннаго факта и требовалъ, подобно перелому кости въ снѣгѣ, наложенія на первыхъ порахъ перевязки и предоставленія живительному дѣйствію времени—произвестъ срастаніе члѣновъ. Такъ и было сдѣлано. Полнаго, совершеннаго исцѣленія однако не послѣдовало между надломленными членами кружка. А, между тѣмъ, я былъ свидѣтелемъ, что до конца жизни ни Грановскій Г., ни Бѣлинскій не могли говорить другъ о другѣ безъ умиленія и глубокаго сердечнаго чувства.

## XXVIII.

Что же дѣлалъ Бѣлинскій за все это время? Въ концѣ этого года (1845) Бѣлинскій жилъ на дачѣ, на Парголово, противъ сосноваго лѣса, окружавшаго озеро Парголово. Мы туда и ушли съ Бѣлинскимъ, когда, по прибытіи въ Петербургъ, я пріѣхалъ навѣстить его и переговорить о всемъ, что дѣлалъ за лѣто. Я ему передалъ подробности впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ пребыванія въ Соколовѣ. Онъ выслушалъ вѣжливо мое сочувственное описаніе тамошнихъ дѣлъ и словъ, и молвилъ: «Да, московскій человекъ — превосходный человекъ; кромѣ этого онъ, кажется, ничѣмъ болѣе не сдѣлается».

Бѣлинскій оставался теперь почти одинъ со знаменемъ и дѣломъ непримиримой вражды. Онъ считалъ своей обязанностью выше держать это знамя на показъ съ тѣхъ поръ, какъ ряды защитниковъ стали разстроиваться. Не безъ огорченія смотрѣлъ Бѣлинскій на сближеніе враждебныхъ партій въ Москвѣ,—сближеніе которое сдѣлалось возможнымъ, какъ онъ думалъ, только потому что одна партія не вполне договаривала свою мысль и не вполне обнаруживала свои конечныя цѣли, а другая—западническая, вѣрно обрадовалась сочувственному слову и съ закрытыми глазами предавалась обычному своему наслажденію—кидаться на шею врагамъ и поскорѣе сажать ихъ за одинъ столъ съ собою. Причины раздѣла увеличивались все болѣе и болѣе между друзьями: въ бою съ славянофилами, Бѣлинскому приходилось задѣвать и всѣхъ союзниковъ, старыхъ и новыхъ. Недоразумѣнія копились поэтому лагерьъ западниковъ почти при всякомъ обитіи мыслей между разными друзьями. Сбереглась въ цѣлости только одна черта въ обычныхъ сношеніяхъ. Друзья не скупились на взаимныя обличенія и жестокіе упреки, когда стояли лицомъ другъ къ другу, и о

ались тотчас же въ прежнихъ друзей и вѣрныхъ товарищей, когда молчали или расходились по домамъ. Беречь свои симпатіи, нажитыя въ теченіи долгаго времени, становилось тогда для всѣхъ необходимою, нисколько не мѣшавшею каждому настаивать на своихъ убѣжденіяхъ и ихъ проводить въ свѣтъ.

Бѣлинскій приступилъ тотчасъ же, съ обычной своей страстью и искренностью, къ опредѣленію и уясненію пунктовъ разногласія, образовавшихся между московскими и петербургскими задниками. Прежде всего, онъ отнесся скептически и насмѣшливо къ серьезнымъ мишамъ, съ которыми ученые въ Москвѣ разбираютъ опросы русской жизни, перенося ихъ на почву науки, философіи, философствующей исторіи и проч. По его мнѣнію, вопросы эти не уйдутся въ такой пышной обстановкѣ и могутъ разрѣшиться очень простыми, не хитрыми и не мудренными мѣрами и принципами, доступными каждому, самому простому пониманію. Такъ же точно и о отношеніи литературы къ образованнымъ классамъ общества Бѣлинскій думалъ, что послѣдніе нуждаются скорѣе въ правильномъ строеніи ихъ образа мыслей, чѣмъ въ знаніи послѣднихъ результатовъ европейской науки. Первое наглядное приложеніе этой системы грипанія дальнихъ разъясненій и глубокомысленныхъ упражненій въ верѣ идей, Бѣлинскій сдѣлалъ тотчасъ же на письмахъ Г. объ ученіи природы, которыя стали появляться тогда же въ «Отечественныхъ Запискахъ». Онъ признавалъ, что какъ положенія, такъ цѣли этихъ чрезвычайно умныхъ статей въ высшей степени важны, но не признавалъ возможности извлечь изъ откровеній естествознанія моральныхъ и воспитательныхъ указаній, нужныхъ особенно для русскихъ читателей, большинство которыхъ еще не обзавелось органами для пониманія первыхъ нравственныхъ началъ: «И какими увлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ написаны эти статьи, — ворчалъ Бѣлинскій, — точно Г. составилъ ихъ для своего удовольствія. Если я могъ понять въ нихъ что-нибудь, такъ это потому, что имѣю за собой десятокъ несчастныхъ лѣтъ колобродства по нѣмецкой философіи, — но не всякій обязанъ обладать такимъ преимуществомъ!»

Несомнѣнно, что въ такихъ и имъ подобныхъ заявленіяхъ Бѣлинскаго сквозило желаніе имѣть дѣло съ общественной литературой, занимающеюся насущными вопросами дня, съ популярнымъ изложеніемъ научныхъ и моральныхъ истинъ (онъ вздыхалъ по литературѣ этого рода и въ одномъ изъ тогдашнихъ своихъ годовичныхъ ~~бюллетеней~~ словесности), но все-таки основанія его приговора казались очень жесткими. Они лишали интеллигентныхъ людей эпохи ~~каждый~~ <sup>каждого</sup> утѣшителя отъ пустоты жизни, какое они еще находили

въ наукѣ и въ отвлеченной постановкѣ вопросовъ. Они отняли единственную арену, на которой дозволялось проявленіе мысли. (Собствовать уничтоженію этой арены или умаленію ея значенія публикѣ, значило просто, по мнѣнію противниковъ Бѣлинска играть за-одно и въ руку съ обскурантами. Въ Москвѣ смотр на эту оппозицію Бѣлинскаго эрудиціи и чистому мышленію, к на громадную ошибку увлекающагося критика и, вдобавокъ, к на плохой расчетъ. Нельзя вызвать, — говорили тамъ, — популяр пропаганду науки, закрывая или подрывая настоящіе источники мой науки, принуждая или отстраняя ея дѣятелей и замѣщая нѣшніи условія умственной жизни одними упреками, страстны призывами и пожеланіями лучшаго, тщета которыхъ должна б ясна самому вспыльчивому критику еще болѣе, чѣмъ кому-либо ино. Такъ расходились московскіе западники все далѣе и далѣе отъ цен западничества, образованнаго Бѣлинскимъ въ Петербургѣ.

Помню любопытную сцену, приходящуюся къ этому же време я былъ случайнымъ свидѣтелемъ ея. П. Н. Кудрявцевъ, проѣз въ Берлинъ, куда посылался для окончанія своего профессорск образованія, посѣтилъ, разумеется, въ Петербургѣ Бѣлинскіа этого пріятеля молодыхъ своихъ годовъ, который въ авторѣ «Флейи находилъ когда-то идеаль природнаго эстетическаго вкуса и по манія. Но встрѣча ихъ теперь оказалась въ высшей степени сд жанной, холодной и напряженной — и, конечно, по ней трудно б бы догадаться о родственныхъ связяхъ, нѣкогда существовавши между этими людьми. Кудрявцевъ являлся точнымъ представител московскаго взгляда на теперешнюю дѣятельность петербургск критика, и весь ходъ разговора, завязавшагося между старі друзьями, ясно показывалъ, что тутъ лежитъ, въ скрытой фор довольно сильно назрѣвшій раздоръ. Какъ теперь смотрю на въ кую фигуру П. Н. Кудрявцева, въ синемъ фракѣ съ свѣтл металлическими пуговицами: онъ опрокинулся на кресло въ пріемн столовой Бѣлинскаго и останавливалъ порывы своего собесѣдн. отрывочными, холодными фразами, которыя, будучи сказаны об нымъ глухимъ голосомъ его и при каменномъ выраженіи на его ли падали, какъ судейскіе приговоры. Бѣлинскій выбралъ опять ста Г. для того, чтобы черезъ нихъ переслать упреки московскимъ дямъ за ихъ абстрактныя отношенія и къ жизни, и къ нау. Кудрявцевъ отвѣчалъ коротко: «Безъ абстракцій нельзя обойт при многихъ научныхъ вопросахъ — за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Напрасно Бѣлинскій с рался развитіе мысль о необходимости предпочтенія тѣхъ научны положеній, которыя наиболѣе приложимы къ современному быту,

необходимости трактованія этихъ положеній наиболѣе понятнымъ для читателей образомъ, — Кудрявцевъ отвѣчалъ: «Что за іерархія такая въ наукахъ? Отвлеченныя науки такъ же необходимы, какъ политическія, и другъ другу помогаютъ. Почему не заниматься тѣми, съ которыми болѣе знакомъ, и въ формѣ, которая болѣе подручна?» Въ такомъ тонѣ шла бесѣда нѣкоторое время. Весь мѣзь Бѣлинскаго, однако, не могъ долго выдержать этого рѣшительнаго отвода всѣхъ его положеній, — отвода, повидимому, очень покойнаго, но въ сущности — весьма гнѣвнаго и непріязненнаго. Бесѣда падала сама собой, и старые друзья хладнокровно разстались, обмѣниваясь самыми пошлыми вопросами на прощаніи, точно сторонніе. Устами Кудрявцева говорила извѣстная часть московскаго университета.

И тотъ же самый П. Н. Кудрявцевъ черезъ годъ, когда я осѣтилъ его уже въ Берлинѣ, при мнѣ очень сурово и рѣшительно становилъ нѣкоего г. С—ва, ученика и поклонника Шеллинга, но только очень низкой пробы, когда тотъ вздумалъ, очертя голову, угнать Бѣлинскаго оглуомъ. Надо знать, что С—въ предлогомъ для своихъ ругательствъ взялъ неблагопріятный отзывъ о Шеллингѣ, къ-то высказанный Бѣлинскимъ (кажется, въ статьѣ о «Тарантасѣ» графа Соллогуба), а самъ Кудрявцевъ въ то время состоялъ подъ вліяніемъ Шеллинговой «Философіи Откровенія» и говорилъ о ней съ упоеніемъ, что не помѣшало ему, какъ сказано, ругать отнять слово у своего единомышленника. Но такъ почти всегда дѣйствовали противники Бѣлинскаго, да и онъ самъ, принадлежавшіе къ особому, теперь уже вымершему, роду противниковъ.

Не болѣе злобы и ожесточенія сохранилъ и Г., знавшій отзывъ критика о его статьяхъ и упоминавшій объ этихъ отзывахъ потомъ не разъ. «Чудакъ этотъ, — говорилъ онъ, — изволить находить, что трудно выказать болѣе ума и дѣльнаго взгляда на предметъ въ болѣе темныхъ выраженіяхъ, но онъ забываетъ, что иначе никакого ума и взгляда на русскомъ языкѣ и показать нельзя». Впрочемъ, Г. скоро былъ съ избыткомъ вознагражденъ за строгіе приговоры критика. Вслѣдъ за письмами объ изученіи природы, появились въ «Отечествен. Запискахъ» первыя главы извѣстнаго романа Г. <sup>1)</sup>, и авторъ нѣлъ тотчасъ же удовольствіе видѣть, какъ внезапно переѣнились всѣ отношенія Бѣлинскаго къ его авторской дѣятельности. Бѣлинскій пришелъ отъ начальныхъ главъ романа въ положительный восторгъ, который возрасталъ по мѣрѣ развитія повѣсти. Критикъ нашъ, конечно, не просмотрѣлъ романтическаго колорита, который положенъ былъ на главные дѣйствующія лица романа, но

<sup>1)</sup> „Кто виноватъ?“

отношенія самого автора повѣсти къ своимъ лицамъ, горькая правда, съ которой онъ излагаетъ ихъ порывы и мечтанія, не исключаящая, впрочемъ, и глубокаго сочувствія къ нимъ, а наконецъ—картина поучительной житейской драмы, возникающая изъ фальшивыхъ общественныхъ ихъ положеній,—все это поразило критика, почти какъ неожиданность. Онъ многого ожидалъ отъ лучезарнаго ума Г., но такого мастерства «сочиненія» не ожидалъ. «Вотъ гдѣ его сила,—говорилъ онъ,—вотъ гдѣ онъ на-просторѣ, и вотъ какая арена ему открылась для богатырскихъ литературныхъ упражненій, къ которымъ онъ склоненъ». Г. былъ тронутъ этимъ неожиданнымъ успѣхомъ своего романа, переломившимъ сухое настроеніе критика. «Виссаріонъ Григорьевичъ,—замѣчалъ онъ потомъ шутя, но очень довольный приговоромъ,—гораздо болѣе любить наши сказочки, чѣмъ наши трактаты, да онъ и правъ. Въ трактатахъ мы безпрестанно переодѣваемся отъ надзора и раскланиваемся любезно съ каждымъ буточникомъ, а въ сказкѣ ходимъ гордо, и никого знать не хотимъ, потому что въ карманѣ плакатный билетъ имѣемъ: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные». Г. подтвердилъ свое воззрѣніе на «сказку», да оправдалъ и пророчество Бѣлинскаго, напечатавъ въ 1847 г. («Современникъ», 1847 года) такъ-называемыя «Записки» и т. д. (о душевныхъ болѣзняхъ вообще, и проч.). Это была тоже сказка, но—сказка, захватывавшая глубокіе психологическіе и соціальные вопросы.

Была, однакожъ, и еще причина для этихъ симпатическихъ изліяній Бѣлинскаго, кромѣ той, которая порождалась самымъ литературнымъ достоинствомъ произведенія Г.: Бѣлинскій склонялся все болѣе къ признанію важнаго значенія, такъ-называемой, беллетристики, разнообразной, умной, цѣпкой беллетристики, какая существуетъ во всѣхъ странахъ Европы, образуя въ нихъ такой же существенный элементъ общественнаго развитія, какъ и художественныя произведенія, и часто служа пособіемъ для ихъ пониманія. Со стороны Бѣлинскаго этотъ вводъ новаго дѣятеля въ область искусства и это снабженіе его патентомъ на право гражданства въ ней не было измѣной старымъ положеніямъ критика 1840—1845 гг., а только дополненіемъ ихъ. «Великія, образцовыя произведенія искусства и науки,—говорилъ онъ,—были и останутся единственными пояснителями всѣхъ вопросовъ жизни, знанія и нравственности, но до появленія такихъ произведеній, заставляющихъ иногда ждать себя по-долгу, беллетристика — дѣло необходимое. Въ эти долгіе промежутки она предназначена занимать, питать и поддерживать умы, которые безъ нея обречены были бы на праздность или на повтореніе старыхъ образцовъ и преданій». Желать возникновенія



еллетристики, не придавая ей значенія послѣдняго судьи всѣхъ временныхъ задачъ—значило для него только желать обмѣна идей и сбора необходимаго матеріала для разрѣшенія этихъ задачъ уже путемъ науки и творчества, когда наступитъ ихъ время. Зачатки такой беллетристики Бѣлинскій усмотрѣлъ именно въ вышеупомянутомъ романѣ Г., что однажды и высказалъ публично въ разборѣ его, не придавая ему художническаго значенія, но ставя его высоко, какъ произведеніе умнаго, наблюдательнаго и развитаго человѣка. Но тѣмъ же поводамъ и первыя произведенія другого писателя, [С. В. Григоровича, выступившаго въ 1846 съ повѣстью «Деревня», а которой послѣдовала другая «Антонъ Горемыка» — обѣ возбуждшія множество толковъ — встрѣчены были чрезвычайно сочувственно ашимъ критикомъ. Онъ увидалъ въ нихъ начало эры талантливыхъ азоблаченій и ловкой провѣрки жизненныхъ явленій изъ сельскаго нашего быта, важность которыхъ была теперь несомнѣнна для него.

Какую скромную роль ни отводилъ еще Бѣлинскій беллетристикѣ вообще въ литературѣ, но ходатайство за нея и предъявленіе ю правъ на вниманіе — показались еще многимъ ересью. Ново и шко было то, что критикъ признавалъ учителями общества уже не одни гениальные или очень крупныя таланты, какъ прежде, а и всю безымянную массу литераторовъ и дѣятелей, разрабатывающихъ вопросы жизни и времени, по мѣрѣ силъ своихъ и пониманія. Первая, усмотрѣвшая новое направленіе Бѣлинскаго, была, конечно, чень чуткая къ видоизмѣненіямъ его мысли—славянофильская партія. Она объявляла все ученіе о беллетристикѣ прославленіемъ пупичной «болтовни», приниженіемъ серьезныхъ тружениковъ въ пользу «горлановъ». Мнѣ самому приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ—и не безвѣстныхъ—лицъ этой партіи замѣчаніе, что поавленіе беллетристики на одну доску съ поэтическимъ трудомъ похоже на оскорбленіе «святаго духа».

Московскимъ умѣреннымъ западникамъ новая пропаганда Бѣлинскаго не показалась ни очень новой, ни такой страшной для сла образованія: они знали участіе беллетристики въ созданіи обшлаго умственнаго строя современной Европы. Притомъ же, внутри руга жело убѣжденіе, что нападки враговъ Бѣлинскаго порождены росто недоразумѣніемъ, у многихъ даже и сознательнымъ, ибо прелѣдователемъ художественности, чистаго творчества и серьезнаго руда нельзя было его и представить себѣ. И она были правы, какъ доказалъ восторгъ Бѣлинскаго при появленіи въ томъ же 1845 году, еще въ рукописи, «Вѣднхъ людей» Достоевскаго, которыхъ онъ считалъ, на первыхъ порахъ, замѣчательнымъ художническимъ произведеніемъ.

XXIX.

Въ одно изъ моихъ посѣщеній Бѣлинскаго, передъ обѣдомъ, когда онъ отдыхалъ отъ утреннихъ писательскихъ работъ, я со двора дома увидѣлъ его у окна гостиной, съ большой тетрадью въ рукахъ и со всѣми признаками волненія на лицѣ. Онъ тоже заѣтилъ меня и прокричалъ: «Идите скорѣе, сообщу новость»... «Вотъ отъ этой самой рукописи,—продолжалъ онъ, поздоровавшись со мною,—которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это—романъ начинающаго таланта: каковъ этотъ господинъ съ виду и каковъ объемъ его мысли—еще не знаю, а романъ открываетъ такіе тайны жизни и характеровъ на Руси, которыя до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у насъ соціального романа и сдѣланная притомъ такъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно художники, т.-е. не подозревая и сами, что у нихъ выходитъ. Дѣло тутъ простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагаютъ, что любить весь міръ есть необычайная пріятность и обязанность для каждого человѣка. Они ничего и понять не могутъ, когда колесо жизни со всѣми ея порядками, наѣхавъ на нихъ, дробитъ имъ молча члены и кости. Вотъ и все,—а какая драма, какіе типы! Да я и забылъ вамъ сказать, что художника зовутъ «Достоевскій», а образцы его мотивовъ представлю сейчасъ». И Бѣлинскій принялся съ необычайнымъ пафосомъ читать мѣста, наиболѣе поразившія его, сообщая имъ еще болѣе яркую окраску своею интонаціей и нервной передачей. Такъ встрѣтилъ онъ первое произведеніе нашего романиста <sup>1)</sup>.

И этимъ еще не кончилось. Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать для молодого автора то, что онъ дѣлалъ уже для многихъ другихъ, какъ, напримѣръ, для Кольцова и Некрасова, т.-е. высвободить его талантъ отъ резонерскихъ наклонностей и сообщить ему силы, такъ-сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладѣвать предметами прямо, съ-разу, не надрываясь въ попыткахъ, но тутъ критикъ встрѣтилъ уже рѣшительный отпоръ. Въ домѣ же Бѣлинскаго прочитанъ былъ новыиъ писателемъ и второй его рассказъ: «Двойникъ»; это—сенсационное изображеніе лица, существованіе

<sup>1)</sup> Во время вторичнаго моего отсутствія изъ Россіи, въ 1846 году, почти такое же настроеніе охватило Бѣлинскаго, какъ разсказывали мнѣ, и съ рукописью „Обыкновенная исторія“ И. А. Гончарова — другимъ художественнымъ романомъ. Онъ съ перваго же раза предсказалъ обоимъ авторамъ большую литературную будущность, что было не трудно, но онъ еще предсказалъ, что потребуются имъ много усилій и много времени, прежде чѣмъ они наживутъ себѣ творческія идеи, достойныя ихъ таланта.

котораго проходить между двумя мірами — реальнымъ и фантастическимъ, не оставляя ему возможности окончательно пристроиться ни къ одному изъ нихъ. Бѣлинскому нравился и этотъ разсказъ по силѣ и полнотѣ разработки оригинально-странной тѣмы, но мнѣ, присутствовавшему тоже на этомъ чтеніи, показалось, что критикъ имѣетъ еще заднюю мысль, которую не считаетъ нужнымъ высказать тотчасъ же. Онъ безпрестанно обращалъ вниманіе Достоевскаго на необходимость *набить руку*, что называется, въ литературномъ дѣлѣ, приобрести способность легкой передачи своихъ мыслей, освободиться отъ затрудненій изложенія. Бѣлинскій, видимо, не могъ свести съ тогдашней, еще расплывчатой манерой разсказчика, озвращавшагося поминутно на старыя свои фразы, повторявшаго и измѣнявшаго ихъ до безконечности, и относилъ эту манеру къ неопытности молодого писателя, еще не успѣвшаго одолѣть препятствій со стороны языка и формы. Но Бѣлинскій ошибся: онъ встрѣтилъ не новичка, а совѣтъ уже сформировавшагося автора, обладающаго потому и закоренѣлыми привычками работы, несмотря на то, что въ являлся, повидимому, съ первымъ своимъ произведеніемъ. Достоевскій выслушивалъ наставленія критика благосклонно и равнодушно. Внезапный успѣхъ, полученный его повѣстью, съ-разу оплотворилъ въ немъ тѣ сѣмена и зародыши высокаго уваженія къ самому себѣ и высокаго понятія о себѣ, какія жили въ его душѣ. Успѣхъ этотъ болѣе чѣмъ освободилъ его отъ сомнѣній и колебаній, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторовъ: въ еще принялъ его за вѣщій сонъ, пророчившій вѣщцы и капиоліи. Такъ, рѣшаясь отдать романъ свой въ готовившійся тогда альманахъ, авторъ его совершенно спокойно, и какъ условіе, слѣдующее ему по праву, потребовалъ, чтобъ его романъ былъ отнесенъ отъ всѣхъ другихъ статей книги особеннымъ типографскимъ накомъ, напимѣръ — каймой.

Впослѣдствіи изъ Достоевскаго вышелъ, какъ извѣстно, изумительный искатель рѣдкихъ, поражающихъ феноменовъ чловѣческаго мышленія и сознанія, который одинаково прославился вѣрностію, финностію, интересомъ своихъ психическихъ открытій — и количествомъ обманныхъ образовъ и выводовъ, полученныхъ путемъ того же самаго тончайшаго хирургически-остраго, такъ-сказать, психическаго анализа, какой помогъ ему создать и всѣ наиболѣе яркіе его типы. Съ Бѣлинскимъ онъ вскорѣ разошелся — жизнь развела ихъ въ разныя стороны, хотя довольно долгое время взгляды и соображенія ихъ были одинаковы.

Я не успѣлъ еще сказать, что двѣ зимы 1844 и 45 гг. — Петербургъ видѣлъ въ стѣнахъ своихъ и постоянного своего анта-

гониста Н. Кетчера. Н. Кетчеръ провель въ Петербургъ эти зимы по служебнымъ дѣламъ своимъ и страшно скучаль по родному своему городу, въ который и возвратился окончательно лѣтомъ 1845 г., гдѣ, какъ мы видѣли, я и засталъ его на дачѣ въ Соколовѣ. Въ Петербургѣ онъ занимался переводомъ съ нѣмецкаго какой-то терапевтической или фармацевтической книги, долженствовавшей служить руководствомъ для учебныхъ заведеній вѣдомства медицинскаго департамента, но поверхъ этой книги всегда лежали на письменномъ его столѣ томики Шекспира въ оригиналѣ и въ нѣмецкомъ текстѣ, и онъ свободно переходилъ отъ перевода учебной книги къ переводу поэтическихъ созданій британскаго драматурга. Въ промежутки между этими занятіями онъ посѣщаль театръ и общество петербургскихъ актеровъ, которыхъ довольно своеобразно воспитываль, ругая почти все, что имъ нравилось и на что они возлагали большія надежды. Онъ иногда и собираль ихъ въ своей квартирѣ, на Владимірской. Тутъ я встрѣтилъ однажды и В. А. Каратыгина, бывшаго въ апогей своей славы. Знаменитый трагикъ эпохи показался мнѣ нѣсколько нелѣпымъ со своимъ громаднымъ ростомъ, густымъ и глухимъ басомъ, величавымъ видомъ и тупо-сдержаннымъ и значительнымъ словомъ. По бѣшенству жестовъ, изысканности позъ и утрировкѣ выраженій, онъ частенько бываль нелѣпъ и на сценѣ, но тутъ онъ выкупаль эти недостатки инстинктивной отгадкой главной черты изображаемаго характера, проведеніемъ ея черезъ всю роль и передачей ея въ возможной яркости и рельефности, чѣмъ и достигаль подъ-часъ замѣчательныхъ эффектовъ.

Пребываніе Кетчера ознаменовалось постоянными нескончаемыми толками о различіи и противоположныхъ качествахъ обѣихъ нашихъ столицъ. Бѣлинскій, огорченный *сдѣлками* партій въ Москвѣ, гремѣль противъ города, имѣющаго тлетворное вліяніе на самыхъ здравомыслящихъ людей, а Кетчеръ исполняль теперь роль адвоката Москвы, что было согласно съ обычаемъ, принятымъ въ кругѣ— всегда стоять за отсутствующихъ. Мы видѣли, что лѣтомъ, возвратясь на свое родное пепелище, въ Москву, онъ оказался, наоборотъ, горячимъ защитникомъ петербургскихъ взглядовъ. Впрочемъ, въ спорахъ между друзьями не было ничего новаго, за исключеніемъ одной черты: тутъ препирались уже не представители двухъ враждебныхъ партій, а представители одной и той же дружеской партіи, что подтверждало ея распаденіе. Обѣ столицы, Москва и Петербургъ, опять употреблены были въ дѣло, какъ прежде въ борьбѣ съ чистыми славянофилами,—для обозначенія духа и содержанія новыхъ отдѣловъ раздвоившейся партіи западничества. Москва и Петербургъ присуждены были, какъ и прежде, взимать на себя увлеченіе, стра-

сти, гнѣвные вспышки современниковъ и служить имъ орудіями борьбы. Петербургское «западничество» выражалось устами Бѣлинскаго: «Между питерцемъ и москвичемъ, — говорилъ Бѣлинскій, подразумѣвая уже однихъ западниковъ (я сохраняю здѣсь смыслъ рѣчей его, но не самую форму ихъ), — никакой общности взглядовъ долго существовать не можетъ: первый — *сухой* человѣкъ по натурѣ, второй — *елейный* во всѣхъ своихъ словахъ и мысляхъ. У нихъ различныя роли, они только мѣшajúть и гадаютъ другъ другу, когда ойдутся». Этотъ афоризмъ я передалъ почти буквально, потому что часто слышалъ его отъ Бѣлинскаго. Затѣмъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, если позволительно мечтать о появленіи у насъ большой литературной и общественной партіи когда-либо, то ее слѣдуетъ ожидать только изъ Петербурга, потому что единственно въ Петербургѣ люди знаютъ истинную цѣну вещей, словъ и поступковъ, а затѣмъ еще и потому, что единственно въ Петербургѣ люди ничѣмъ не большаються, и принимаютъ, безъ благодарности и умиленія, всякіе одарки и милости, какъ нѣчто имъ слѣдующее; а наконецъ, и потому, что способны, безъ сердечныхъ болей, отдѣливаться отъ загарѣлыхъ мыслей и отъ хорошихъ людей, если они ни къ чему не ведутъ или мѣшajúть достиженію разъ поставленной цѣли. Какъ далеко ушелъ Бѣлинскій отъ своихъ, еще не очень давнихъ томленій по Москвѣ и нѣжныхъ воспоминаній о ней! Кетчеръ, отъ имени московскихъ западниковъ, выражалъ совсѣмъ другое мнѣніе. По его толкованію, вся работа петербургскаго человѣка заключается въ томъ, чтобы *прослыть* умнымъ человѣкомъ, причемъ всяческія озвѣрѣнія, убѣжденія, тенденціи считаются у него различными видами дурачества, мѣшajúщими устройству карьеры, а затѣмъ уже, прослывъ умнымъ человѣкомъ, петербуржецъ спитъ и видитъ, какъ и продать себя подороже со всѣмъ своимъ багажомъ.

Въ статейкѣ «Петербургъ и Москва», написанной Бѣлинскимъ, въ 1846, для альманаха Некрасова и отражающей хорошо его юморъ съ другомъ, критикъ совнается, что Москва больше и лучше штаеть, больше и лучше думаетъ, но онъ прибавлялъ еще въ разговорахъ своихъ къ этому замѣчанію, что въ Петербургѣ люди лучше держатъ себя и порядочнѣе себя ведутъ, точно приготовляясь къ какому-то серьезному: на этомъ основаніи истому и распушенному мочалку становится даже и жутко жить на берегахъ Невы. Кетчеръ ~~давалъ~~ отвѣтъ и на это положеніе. Онъ, приблизительно, выражалъ такую мысль: излишества, безобразіе и всякія чудовищности москвича не почтеннѣе приличія и сдержанности питерца. Тамъ всѣ уродливости на-голо и ничѣмъ другимъ, какъ уродливостями, не слытъ, а здѣсь въ цѣлый годъ не узнаешь, какой человѣкъ у тебя

передъ глазами, герой ли добродѣтели или отъявленный негодяй. — Замѣчательно, что въ такихъ противоположныхъ терминахъ преніи между друзьями могли держаться цѣлые мѣсяцы сряду, но это от того, что въ споръ заплеталось множество личныхъ вопросовъ и множество соображеній, порождаемыхъ явленіями и событіями каждаго дня въ двухъ столицахъ. Притомъ же споръ этотъ былъ тогда не всемістный, общій, и происходилъ, такъ или иначе, въ каждой домѣ, гдѣ только собирались люди, не чуждые литературѣ и вопросамъ культуры.

Какими бы странными, пустыми и праздными ни казались всѣ споры подобнаго рода современными людьми, но нельзя сказать, чтобы они лишены были вовсе дѣльныхъ основаній и поводовъ для возникновения своего въ эпоху, когда процвѣтали: западная партія на примѣръ, въ Москвѣ и Петербургѣ усматривала въ лицахъ, и сочувствію ихъ къ тому или другому городу, отбѣнки мнѣній, распознавать которые другимъ путемъ было очень трудно, видѣла срамъ по одному расположенію человѣка къ тому или другому центру и падническаго направленія настоящее знамя человѣка и его истинныя взгляды на общее дѣло просвѣщенія, угадывала, наконецъ, цвѣтъ и краски, въ какіе должны отливаться всѣ его убѣжденія. Были скіи даже по степени симпатическихъ отношеній къ одной изъ сторонъ наклоненъ былъ узнавать своихъ единомышленниковъ или свихъ тайныхъ недоброжелателей. Все это, однако же, продолжалось недолго, какъ сейчасъ увидимъ, потому что характеръ самихъ предметовъ сравненія началъ, съ переходомъ однихъ дѣятелей и представителей направленія на другую почву, съ исчезновеніемъ иныхъ вовсе изъ среды партій, — мѣняться часто: мѣрило для расцѣпки и опредѣленія величинъ, противопоставленныхъ другъ другу — оно зывалось безпрестанно невѣрнымъ, неприложимымъ.

Гораздо долѣе этого спора держались толки и пренія по поводу известной *фигуры*, условнаго представленія, по которому сдѣланные славянофильства признавалась Москва, а западнически тенденціи Петербургъ. Препирательства, вызванныя этой *фигурой* возобновлялись нѣсколько разъ и въ послѣдствіи, но и они кажутся теперь занятіемъ, придуманнымъ для себя людьми, страдавшими обліемъ праздныхъ слѣзъ. Глазу современнаго человѣка чрезвычайно трудно найти во всѣхъ этихъ спорахъ исторически-вѣрный фактъ такъ-какъ онъ видитъ теперь одни обложки явленій, не распознавая связи ихъ съ психической жизнію эпохи и развлеченъ тѣмъ, что всѣ эти остатки недавняго нашего прошлаго стоятъ передъ нимъ уже въ новомъ, совершенно переработанномъ, почти неузнаваемо

дѣ, какой сообщило имъ послѣдующее развитіе нашей мысли и чати, принявшееся за ихъ возстановленіе въ свою очередь.

Но толки и горячія бесѣды не составляли для Бѣлинскаго никогда настоящаго дѣла, а только были приготовленіемъ къ нему. Татѣямъ его весьма часто предшествовалъ долгій обмѣнъ мыслей съ кружащими людьми или предпосылалось изложеніе идей, его записавшихъ, въ дружескихъ разговорахъ, чѣмъ онъ одинаково разсвѣтлялъ самому себѣ свои тѣмы и будущій порядокъ ихъ развитія. Такъ случилось и теперь.

Бѣлинскій воспользовался появленіемъ романа гр. Соллогуба «Тарантасъ», чтобы поговорить серьезно, подробно и уже печатно со всеми московскими друзьями. Извѣстно, что западники чрезвычайно гнѣвно относились другъ къ другу въ своемъ интимномъ кружкѣ, о чутъ ли Бѣлинскій не первый перенесъ эту откровенность и въ печать. Правда, примѣръ подала славянская партія въ «Москвитинѣ», какъ мы видѣли. Она принялась тамъ за чистку домашняго дѣла и за сведеніе счетовъ между собой, но тотчасъ же и отказалась отъ этой попытки, находя, вѣроятно, что малочисленность ея ещѣ требуетъ крайней осторожности и снисходительности въ обращеніи членовъ между собой. Только на условіи взаимной поддержки партія и могла сохранить свою цѣлость и сберечь весь свой персоналъ, нужный для борьбы. Потребность держаться сплоченной, по возможности, передъ врагами приводила ее затѣмъ уже постоянно не только къ публичному, непрестанному выставленію на показъ лучшей стороны своихъ дѣятелей, причѣмъ тщательно покрывались молчаніемъ всѣ частныя разногласія съ ними, но и къ отысканію блестящихъ сторонъ дѣятельности у такихъ людей своего круга, которые ихъ вовсе не имѣли. Всѣ соображенія и расчеты подобнаго рода никогда не помѣщались въ головѣ Бѣлинскаго и никогда не могли остановить его. Онъ и теперь отдался вполне своему напѣвленію, безъ всякаго колебанія. Статью Бѣлинскаго о «Тарантасѣ» гр. Соллогуба можно назвать образцомъ мастерской полемики, говорящей гораздо болѣе того, что въ ней сказано формально. Она произвела сильное впечатлѣніе на людей, умѣвшихъ различать за смышленой рѣчью другой, потаенный голосъ, а кто тогда не умѣлъ этого? Бѣлинскій чрезвычайно искусно воспользовался двойнымъ характеромъ разбираемаго произведенія, изображавшаго очень вѣрно, иногда даже съ истиннымъ юморомъ, скудную умственную и житейскую крену, по которой двигались представители, какъ нашей первобытной, такъ и поправленной, шеголеватой Руси, но въ то же время дополнявшаго еще свои картины фантазіями на счетъ будущаго блестящаго развитія той самой печальной среды, которую рисовало. Вы-

ходило такъ, что грубость и безплодіе почвы именно и даютъ право надѣяться на полученіе съ нея обильной жатвы и ослѣпительныхъ результатовъ. Бѣлинскій отдавалъ полную справедливость реальной живописи предметовъ и образовъ, какую находилъ въ романѣ, и относился съ презрѣніемъ къ фантастическимъ пророчествамъ и поясненіямъ его, которые, говорилъ онъ, ничего не доказываютъ, кромѣ бѣдности сужденія и созерцанія автора, если только не полагать у него *ироническихъ* намѣреній. Бѣлинскій называлъ всѣ эти дѣтскія *прозрѣнія въ будущее* Россіи донъ-кихотствомъ, но прибавлялъ, что это донъ-кихотство невинное и еще очень низкое, второстепенной пробы, а есть и другое, болѣе опасное и лучше обдуманное, — а затѣмъ критикъ восходилъ къ описанію этого донъ-кихотства высшаго сорта и порядка, начало котораго Бѣлинскій усмотрѣлъ за границей въ сферѣ науки, исторіи и философіи, стало-быть — въ сферѣ высоко-развитыхъ людей <sup>1)</sup> и предостерегалъ отъ появленія его у насъ. Это донъ-кихотство высшего полета, по мнѣнію Бѣлинскаго, вѣруеть въ возможность примиренія началъ, діаметрально противоположныхъ другъ другу, убѣжденій и взглядовъ, взаимно исключающихъ другъ друга, и занято отысканіемъ какого-нибудь уголка въ области мысли, гдѣ бы могъ спокойно совершиться устраиваемый имъ насильственный бракъ, против-естественный союзъ различныхъ направленій. Какъ ни пышно съ вида это псевдо-научное донъ-кихотство, располагающее однако же огромными средствами эрудиціи, діалектики и философской находчивости, оно все-таки, говорилъ Бѣлинскій, сродни пошловатому донъ-кихотству Соллогубовскаго романа. Обои́мъ имъ обще стремленіе искать спасенія отъ жизненной правды, бьющей въ глаза, въ области лжи и фантазіи. Всѣ намѣренія и цѣли полемической статьи этой были достаточно ясны и прозрачны для всѣхъ, посвященныхъ въ дѣла литературы, но Бѣлинскому хотѣлось досказать и послѣднее свое слово. Онъ вѣнчилъ въ заслугу автору и то обстоятельство, что онъ далъ генерическое имя и отчество вздорному герою-мечтателю своего романа, назвавъ его «Иваномъ Васильевичемъ». — «Мы теперь будемъ знать, говорилъ Бѣлинскій, какъ называются у насъ всѣ фантазеры этого рода», — а извѣстно, что и И. В. Кирѣевскій, авторъ замѣчательныхъ статей «Москвитинина» — носилъ то же имя и отчество.

Какъ отразилась эта статья на московскихъ друзьяхъ Бѣлинскаго, — видно изъ рѣчей и мнѣній на дачѣ въ Соколовѣ, о которыхъ было уже говорено прежде.

<sup>1)</sup> Онъ имѣлъ въ виду преимущественно новую систему Шеллинга (Философія откровенія), а послѣ нея ученіе Бюше (Bishez) — о католическомъ социализмѣ, и другія.



XXX.

Между тѣмъ приближалось время очень важнаго переворота въ жизни Бѣлинскаго.

Скорѣе чѣмъ можно было ожидать, оказалось, что Бѣлинскій ошибался, когда, благодаря ослабѣвшей энергіи нашихъ партій, пророчилъ близкое воцареніе равнодушныхъ отношеній къ существеннымъ вопросамъ русской жизни, или когда опасался, что партіи окончательно сойдутся на какомъ-либо фантастическомъ представленіи изъ области исторіи, права и народнаго быта, которое не будетъ имѣть ни малѣйшей связи съ современнымъ положеніемъ дѣлъ. Ничего подобнаго не случилось, да и не могло случиться. Какіе бы шаги ни дѣлали умѣренные отдѣлы нашихъ партій на встрѣчу другъ другу — сойтись они все-таки никакъ не могли, какъ показало, и очень скоро—послѣдующее время. Между ними лежала пропасть—образовавшаяся изъ различнаго пониманія роли русскаго народа въ исторіи и различнаго сужденія о всѣхъ другихъ факторахъ и элементахъ той же исторіи. «Славяне», какъ извѣстно, давали самое личное участіе въ развитіи государства пришлымъ иноплеменнымъ элементамъ, за исключеніемъ византійскаго, и во многихъ случаяхъ смотрѣли на нихъ, какъ на несчастіе, помѣшавшее народу выразить вполне свою духовную сущность. «Европейцы», наоборотъ, приписывали внимательству постороннихъ національностей большое участіе въ образованіи московскаго государства, въ опредѣленіи всего хода его исторіи, и даже думали, что этнографическіе элементы, внесенные этими чуждыми національностями,—и устроили тѣ, что называется теперь народной русской фizioноміей. Разногласіе сводилось окончательно на вопросъ о культурныхъ способностяхъ русскаго народа, и вопросъ оказался настолько силенъ, что положилъ непродоходимую грань между партіями.

«Славянская» партія не хотѣла, да и не могла удовольствоваться уступками своихъ враговъ,—пониманіемъ народа, напримѣръ, какъ одного изъ многочисленныхъ агентовъ, слагавшихъ нашу исторію,—а еще менѣе могла удовольствоваться признаніемъ за народомъ нѣкоторыхъ симпатическихъ, нравственно-привлекательныхъ сторонъ характера, на что охотно соглашались ея возражатели. Она требовала для русскаго народа кое-чего большаго. Она требовала именно утвержденія за нимъ громадной политической, творческой и моральной репутаціи, великой организаторской силы, обнаружившейся въ созданіи московскаго государства и въ открытіи такихъ общественныхъ, семейныхъ и религіозныхъ идеаловъ существованія, каковымъ

ничего равносильного не могут противопоставить наши поздние и новые порядки жизни. На этомъ основаніи и не заботясь историческихъ фактахъ, противорѣчившихъ ея догмату, или тѣхъ ловко въ свою пользу, она принялась по частямъ за колоссальнаго образа русскаго народа, съ цѣлью создать изъ типъ, достойный поклоненія. Съ первыхъ же признаковъ этого боты по сооруженію, въ лицѣ народа, апофеозы нравственнымъ вѣкамъ и идеаламъ старины, и еще не дожидаясь ея конца, и скіе западники, цѣлымъ составомъ, усвоили себѣ задачу—неу объявлять русскій народъ славянофиловъ *ложе-народомъ*, проиіемъ ученой наглости, изобрѣтающей историческіе черты и ріалы, ей нужные. Особенно укоряли они своихъ ученыхъ пниковъ въ наклонности принимать подъ свою защиту, по неомости, даже и очень позорные бытовые и историческіе фактирин, если ихъ нельзя уже пропустить молчаніемъ или нельзякомъ отвергнуть, какъ выдумку враговъ русской земли.

Полемика эта длилась долго и особенно разгорѣлась въ 50-хъ годахъ, въ эпоху замѣчательныхъ славянофильскихъ ковъ (1852—1855 г.: «Московскій Сборникъ», «Сибирскій нинъ», «Бесѣда»). Душой этой полемикой, послѣ того, какъ стало и Бѣлинскаго, былъ тотъ же самый Грановскій, запонный нѣкогда петербургскими друзьями въ послабленіи врагамъ онъ самъ рѣдко выходилъ на арену. Правда, что это всегда врагъ великодушный. Извѣстно, что въ разгарѣ спора много сказано дѣльныхъ положеній съ обѣихъ сторонъ и много жилось талантовъ, успѣвшихъ пріобрѣсти себѣ впоследствии нныя имена. Ни одинъ изъ нихъ не прошелъ незамѣченнымъ новскимъ спервоначала. Человѣкъ этотъ обладалъ въ высшей живучей совѣстливостію, понуждавшей его указывать на дост и заслугу вездѣ, гдѣ онъ ни встрѣчалъ ихъ, не стѣсняясь ни посторонними, кружковыми или тактическими соображеніями. Н приходилось намъ всѣмъ слышать отъ него такую оцѣнку еныхъ враговъ и враговъ его направленія, какую могли бысамые благорасположенные къ нимъ біографы на свои ст] Между прочимъ, онъ очень высоко цѣнилъ молодого Валуева, извѣстной статьи о «Мѣстничествѣ» въ одномъ изъ славянскихъ сборниковъ, такъ рано умершаго для отечества, и го о немъ не иначе, какъ съ умиленіемъ.

Освобожденный отъ страха видѣть заключеніе спора, таюстоившаго ему, какимъ-нибудь простымъ компромиссомъ межтіями, Бѣлинскій уже спокойнѣе и объективнѣе отнесся къ вопросу о долѣ, какую должны имѣть и имѣютъ народныя а

ь культурномъ развитіи страны. Теперь (1846), когда оказалось, го дѣло обличенія заносчивой пропаганды и излишествъ національной партіи можетъ разсчитывать на старыхъ сподвижниковъ — ююкойный отвѣтъ на вопросъ значительно облегчался. Нельзя уже ло не видѣть, что ученіе о народности, какъ поводъ къ измѣнѣнню нынѣшнихъ условій ея существованія, имѣетъ весьма серьезную сторону; только опираясь на это ученіе, открывалась возможность говорить объ ошибкахъ русскаго общества, повредившихъ чести достоинству государства. Примѣръ былъ на лицо. «Славянская» партія, несмотря на всѣ возраженія и опроверженія, прибрѣтала съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе вліянія и подчиняла себѣ умы, же и не очень покорные по природѣ, и подчиняла одной своей оповѣдью о неузнанной, несправедливо оцѣненной и безчестно-приженной русской народности.

И дѣйствительно, какъ бы сомнительна ни казалась идеализація рода, производимая «славянами», какими бы шаткими ни объявлялись основы, на которыхъ они строили свои народные идеалы — бота «славянъ» была все-таки чуть ли не единственнымъ дѣломъ ми, въ которомъ общество наше принимало наибольшее участіе, которое побѣдило даже холодность и подозрительность официальныхъ круговъ. Работа эта одинаково обольщала всѣхъ, позволяя издновать открытіе въ нѣдрахъ русскаго міра и посреди общей разальной скудости — богатаго нравственнаго капитала, достигающаго гти за-даромъ. Всѣ чувствовали себя счастливыми. Ничего подобнаго «западники» предложить не могли, у нихъ не было никакой иьной и обработанной политической теоремы, они занимались изслѣданіями текущихъ вопросовъ, критикой и разборомъ современныхъ еній, и не отваживались на составленіе чего-либо похожаго на алъ гражданскаго существованія, при тѣхъ матеріалахъ, какіе давала и русская, и европейская жизнь. Добросовѣстность «запниковъ» оставляла ихъ съ пустыми руками, — и понятно, что ожительный образъ народной политической мудрости, найденный вьянофилами, начиналъ повтому играть въ обществѣ нашемъ весьма ную роль.

Вольное обращеніе съ исторіей, на которое имъ постоянно указали, нисколько не останавливало роста этого идеала и его разіа; напротивъ, свобода толкованія фактовъ способствовала еще процвѣтанію, позволяя вводить въ его фізіономію черты и робности, наиболѣе привлекательныя для народнаго тщеславія и болѣе дѣйствующія на массы. Ошибки, невѣрности, нарушенія дѣтельствъ приходились тутъ еще на здоровье, такъ сказать, алу и на укрѣпленіе партіи, его воспитавшей. Между тѣмъ —

сознательно или бессознательно — все-равно — партія достигала съ помощью своего спорнаго идеала несомнѣнно весьма важныхъ цѣлей. Тутъ случилось то, что не разъ уже случалось на свѣтѣ: рискованныя и самовольныя положенія принесли гораздо болѣе пользы обществу и людямъ, чѣмъ осторожныя, обдуманныя и потому робкіе шаги безпристрастнаго изслѣдованія. Партія успѣла ввести въ кругозоръ русской интеллигенціи новый предметъ, новаго дѣятельнаго члена и агента для мысли — именно народъ, и послѣ ея проповѣди ни наукъ вообще, ни наукъ управленія въ частности уже нельзя было обойтись безъ того, чтобы не имѣть его въ виду при разныхъ политико-соціальныхъ рѣшеніяхъ и не считаться съ нимъ. Это была великая заслуга партіи, чѣмъ бы она ни была куплена. Впослѣдствіи, и уже за границей, Г. очень хорошо понималъ значеніе возведенной постройки славянофиловъ и не даромъ говорилъ: «Наша европейская западническая партія тогда только получитъ мѣсто и значеніе общественной силы, когда овладѣетъ тѣми и вопросами, пущенными въ обращеніе славянофилами».

Но если это-то было невозможно показѣть, то по крайней мѣрѣ уже наступало время понимать важность подобныхъ тѣмъ. Не далѣе какъ въ 1847 г., самъ Бѣлинскій уже говорилъ о нецѣлости противопоставлять національность общечеловѣческому развитію, какъ будто эти явленія непремѣнно должны исключать другъ друга, между тѣмъ какъ, въ сущности, они постоянно совпадаютъ. Общечеловѣческое развитіе не можетъ выражаться иначе, какъ чрезъ посредство той или другой народности, оба термина даже и немислимы одинъ безъ другого. Мысль свою онъ подробно развилъ въ статьѣ: «Обозрѣніе литературы 1846 года». Въ ней особенно любопытно одно мѣсто. Къ этому мѣсту Бѣлинскій подходитъ предварительнымъ и очень обстоятельнымъ изложеніемъ мнѣнія, что какъ отдѣльное лицо, не наложившее печати собственнаго своего духа и своего содержанія на полученныя имъ идеи и представленія — никогда не будетъ вліятельнымъ лицомъ, такъ и народъ, не сообщившій особеннаго, своеобразнаго штемпеля и выраженія нравственнымъ основамъ человѣческаго существованія, всегда останется мертвой массой, пригодной для производства надъ нею всякихъ экспериментовъ. Пространное развитіе этого положенія Бѣлинскій заключаетъ словами, почти буквально повторяющими точно такія же слова Грановскаго, сказанныя въ Соколовѣ по поводу сочувствія, какое вынуждаютъ къ себѣ почасту основныя убѣжденія «славянъ», хотя собственно критикъ нашъ этихъ словъ Грановскаго самъ не слышалъ. Вотъ это мѣсто: «Что *личность* въ отношеніи къ идеѣ *человѣка*, то — *народность* въ отношеніи къ идеѣ *человѣчества*. Безъ

ціональностей чело́вѣчество было бы мертвымъ логическимъ абрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. *Въ отношеніи къ этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманистическихъ космополитиковъ*, потому что если первые и ошибаются, какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе такой-то логики. Но, къ счастью, я идѣю остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому.....» [ол. для редакція новаго «Современника» 1847 г., для котораго такъ писалась и гдѣ она была помѣщена, думала однакоже иначе въ этомъ предметѣ. Такъ какъ борьба съ славянофильской партией, да интересъ болѣе или менѣе художественной литературы обличенія, составляли пока всю программу новаго журнала, то понятно, что движеніе его критика на встрѣчу къ обычнымъ врагамъ петербургской журналистики затемняло одну и важную часть самой программы журнала. Впослѣдствіи я слышалъ, что редакція много опала на статью съ такой странной, небывалой тенденціей въ петербургско-западнической печати, и которой она должна была открыть свой новый органъ гласности.

Такимъ образомъ разрѣшалась долгая полемика Бѣлинскаго съ ютѣйшими своими врагами.

Основаніе «Современника», 1847 г., положило предѣлъ участію Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», которыхъ онъ такъ сердно послужилъ въ теченіи шести лѣтъ, что создалъ почетное имя и положеніе журналу и потерялъ свое здоровье. Съ половины 845 г. мысль покинуть «От. Записки» не оставляла Бѣлинскаго, чѣмъ его особенно поддерживалъ Н. А. Некрасовъ съ практической точки зрѣнія. Дѣйствительно, матеріальное положеніе Бѣлинскаго, годъ отъ году, становилось все хуже и никакого выхода не представляло ни съ какой стороны. Силы его слабѣли, семья требовала увеличенныхъ средствъ существованія, а въ случаѣ катастрофы, которую онъ уже предвидѣлъ, оставалась безъ куска хлѣба. Може́тъ быть, никто изъ нашихъ писателей не находился въ положеніи болѣе схожемъ съ положеніемъ тогдашняго работника и пролетарія въ Европѣ. Подобно имъ, онъ никого лично не могъ обвинять въ устройствѣ гнетущихъ обстоятельствъ своей жизни — всѣ исполняли, по отношенію къ нему, добросовѣстно свои обязательства, никакихъ притѣсненій онъ не испытывалъ, никакихъ чрезвычайныхъ требованій не предъявлялось, и никто не дѣлалъ попытокъ увернуться отъ условій, принятыхъ по взаимному соглашенію — все обстояло, такимъ образомъ, чинно, благопристойно, *ре- лектабельно*, по англійскому выраженію, вокругъ него. Но трудъ

его все-таки приобретал свою цѣнность только тогда, когда дѣл изъ его рукъ, приносилъ всю пользу, какой отъ него дать можно было, изданію, а не тому, кто его произвелъ. Не и возможности поправить дѣло, не измѣняя обычныхъ экономическихъ условій, утвержденныхъ разъ навсегда. Съ каждымъ Бѣлинскій все болѣе и болѣе убѣждался, что чѣмъ сильнѣе нѣтъ онъ напрягать свою дѣятельность и чѣмъ блестяще бы оказываться ея результаты, въ литературномъ и общественномъ смѣтѣ хуже будетъ становиться его положеніе, въ виду неизбѣжнаго истощенія творческаго матеріала и уничтоженія самой способности къ труду, вслѣдствіе его удвоенной энергіи. Будущность представлялась ему, такимъ образомъ, въ очень мрачныхъ краскахъ, половиною 1845 г. мы слышали горькія жалобы его на свою судьбу, въ которыхъ онъ не щадилъ и самого себя: «Да что дѣлать судьбѣ этой, — говорилъ онъ въ заключеніе, — съ нимъ человѣкомъ, которому ничего въ прокъ не пошло, что ему ни давала» <sup>1)</sup>).

И дѣйствительно, съ концомъ 1845 г. Бѣлинскій покинулъ время журнальную работу и разстается съ «Отечественными записками». Событіе это произвело нѣкотораго рода переполохъ въ маленькомъ литературномъ мірѣ того времени. Съ удаленіемъ главнаго пророчили паденіе журнала, но журналъ устоялъ, всякое предпріятіе, уже добывшее себѣ прочныя основы и отчасти притомъ готовую арену для литературной дѣятельности приходящихъ талантовъ. Таковъ былъ молодой Майковъ, прішедшій въ свои руки наслѣдство Бѣлинскаго—критическій отдѣлъ началъ этотъ обрѣталъ въ немъ новую и свѣжую силу, въ атрофіи и разслабленіи, которыми ему грозили.

В. Н. Майковъ отложилъ въ сторону весь эстетическій, личный и политическій багажъ Бѣлинскаго, и за норму произведеній искусства принялъ количество и важность быто

---

<sup>1)</sup> Пріложу анекдотъ изъ этихъ проявленій самоосужденія и самообличенія, въ которыхъ онъ былъ склоненъ, но въ которыхъ былъ также всегда и искра. Одинъ изъ журнальныхъ редакторовъ того времени, напечаталъ въ своемъ и переводный романъ и заглавилъ за него условленную сумму переводнику, пожелавъ имѣть вычитку перевода отдѣльной книжкой и въ свою пользу. Но онъ не энергичнаго человѣка, который, послѣ беззастѣсливыхъ протестовъ, рѣшился въ дѣлѣ серьезно, и пожелавъ дойти до судебныхъ инстанцій, какія тогда существовали. Редактору пришлось уступить и возратить переводнику его собственныя выслушавъ рассказы, Бѣлинскій молча принялся шарить по угламъ комнаты, и такъ само молчу, и подымавъ ее рассказчику, прибавилъ: „Учите жепа, а вы молчу, какъ должно беречь свое добро“. Но вычитка этому онъ не могъ, не смѣлъ бытъ Бѣлинскимъ.

и общественных вопросов, ими поднимаемых, и способы, с какими авторы — указывают и разрѣшаютъ ихъ. Преждевременная смерть помѣшала ему развить вполне свое созерцаніе <sup>1)</sup>).

Съ разрывомъ старыхъ связей не все еще кончилось для Вѣлинскаго; надо было отыскать средства существованія. Вѣлинскій предвидѣлъ это и обратился, еще до разрыва, за совѣтомъ и помощью къ друзьямъ, излагая имъ свой планъ — издать уже прямо отъ своего имени большой альманахъ изъ совокунныхъ ихъ трудовъ, если они согласятся войти въ его виды и намѣренія. Отвѣтъ не замедлилъ явиться. Со всѣхъ сторонъ знаменитые и не-знаменитые писатели наши поспѣшили препроводить къ нему все, что имѣли у себя на-готовѣ, и уже къ началу 1846 г., въ рукахъ Вѣлинскаго образовалась значительная масса рукописнаго и частію очень цѣннаго матеріала, какъ показало позднѣйшее его опубликованіе. Не могла скрыться отъ глазъ самого Вѣлинскаго и вниманія его ближайшихъ совѣтниковъ во всемъ этомъ дѣлѣ, Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, важность собраннаго матеріала. Послѣдніе уже давно искали самостоятельной издательской дѣятельности и пробовали ее не разъ — выпускомъ альманаховъ и сборниковъ, но тутъ представлялся случай къ основанію уже большого предпріятія — новаго періодическаго изданія. Матеріаль Вѣлинскаго могъ бы служить ему, на первыхъ порахъ, готовой поддержкой. Тогда и возникла мысль о приобрѣтеніи стараго, Пушкинскаго «Современника», строено, почти безвѣстно существовавшаго подъ руководствомъ П. А. Плетнева, — мысль, которая и приведена была въ исполненіе Некрасовымъ и Панаевымъ. Они купили вмѣстѣ съ тѣмъ и весь «матеріаль» Вѣлинскаго (Панаевъ былъ главнымъ вкладчикомъ при всѣхъ этихъ операціяхъ), что и помогло Вѣлинскому расплатиться съ долгами и впервые почувствовать себя свободнымъ человекомъ. При этомъ новые редакторы «Современника» 1847 г. открывали ему еще и перспективу въ будущемъ, которая особенно должна была цѣниться Вѣлинскимъ. Они включали его въ число неофициальныхъ соиздателей журнала (официальнымъ выступался, въ видѣ юруки передъ цензурой, проф. А. В. Никитенко) и предоставляли ему, кромѣ платы за статьи, еще и долю въ выгодахъ изданія, какія окажутся. Безъ популярнаго имени Вѣлинскаго дѣйствительно трудно было обойтись предпріятію, но къ этому примѣшивалась еще надежда, раздѣляемая и Вѣлинскимъ, что всѣ лучшіе дѣятели

<sup>1)</sup> Вмѣстѣ съ В. Н. Майковымъ былъ еще и другой замѣчательный молодой человекъ, В. А. Милютинъ, тоже рано погибшій. Они оба могутъ считаться послѣдними творческими замѣчательными десятилѣтія и составляютъ уже переходъ къ литературному періоду 1850—60 г.

Москвы послѣдуютъ за нимъ въ новое изданіе и разорвутъ связь съ «Отечественными Записками». Надеждѣ этой, однакоже, не суждено было исполниться. Московскіе литераторы, да и нѣкоторые изъ литераторовъ въ Петербургѣ, желая полного успѣха «Современнику», находили, что два либеральныхъ органа въ Россіи лучше одного, что раздвоеніе направленія на два представителя еще болѣе гарантируетъ участь и свободу журнальныхъ труженниковъ, и что, наконецъ, по коммерческому характеру всякаго журнальнаго предпріятія,—врядъ ли и новое будетъ въ состояніи идти по какой-либо иной дорогѣ, въ своихъ расчетахъ съ людьми, какъ на по той же самой, по которой шло и старое. Все это происходило въ то время, когда я, уже съ февраля 1846 г., находился за границей.

### XXXI.

Въ одно прекрасное утро, по осени 1847 года, въ крошечномъ салонѣ парижской моей квартиры, улицѣ Saintmartin, 41, явился господинъ, хорошо выбритый, по русскому обычаю, съ волосами, зачесанными на затылокъ, и въ долгополомъ сюртукѣ, который странно мѣшалъ его порывистымъ движеніямъ. Это былъ Г., носившій еще на всей своей внѣшности рѣзкій отпечатокъ московскаго жителя, но скоро преобразившійся, благодаря парижскимъ портнымъ и другимъ артистамъ, въ полного джентльмена западной расы—съ подстриженной головой, щегольской бородкой, очень быстро принявшей всѣ необходимыя очертанія, и пиджакомъ, ловко и свободно державшимся на плечахъ. Я обрадовался ему несказанно и выслушалъ юмористическую повѣсть объ усиліяхъ и домогательствахъ, какія потребовались ему для выѣзда, и потомъ о долгомъ вояжѣ его, еще на *почтовыхъ*, черезъ всю Германію. Онъ прибылъ въ Парижъ со всѣмъ семействомъ, остановился на Place Vendôme и расспрашивалъ меня, какъ парижскаго старожила (я уже прожилъ цѣлый годъ въ столицѣ Франціи) объ условіяхъ, образѣ жизни и привычкахъ новой своей резиденціи, къ которымъ, тоже по-русскому обычаю, и привыкся весьма скоро. И не онъ одинъ подчинился этого рода превращенію и измѣненію своей оболочки, а съ нею и самаго образа жизни, но и семья его—и притомъ съ свободой и развязностію, которыя могли бы считаться изумительными, если бы не были всеобщими, всѣмъ извѣстнымъ свойствомъ нашей природы. Жена Г., послѣ первой недѣли своего пребыванія въ Парижѣ, представляла уже изъ себя совсѣмъ другой типъ, чѣмъ тотъ, который олицетво-



рала собою въ Москвѣ. Впрочемъ, внутренняя переработка, измѣнившая ея нравственную фізіономію, началась еще тамъ, — какъ буду говорить — и только завершилась въ Парижѣ. Изъ тихой, задумчивой, романтической дамы дружескаго кружка, стремившейся къ идеальному воспитанію своей души и не дѣлавшей никакихъ запросовъ и никакихъ уступокъ внѣшнему міру, она вдругъ превратилась въ блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное мѣсто въ большомъ, всесвѣтномъ городѣ, куда прибыла, хотя никакой претензіи на такое мѣсто и не заявляла. Новыя формы и условія существованія вскорѣ вытѣснили у нея и послѣднюю память о Москвѣ. — Быстрота всѣхъ подобныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ метаморфозъ, испытываемыхъ русскими людьми, зависѣла, кромѣ ихъ предрасположенія къ ней, еще и отъ многихъ другихъ причинъ.

Парижъ, наприимѣръ, знаменитаго буржуазнаго короля Людовика-Филиппа обаятельно дѣйствовалъ различными сторонами своей политической жизни на русскихъ, пробиравшихся туда всегда болѣе или менѣе секретнымъ, воровскимъ образомъ, такъ какъ въ нашихъ паспортахъ заграничныхъ того времени поименованіе Франціи официально воспрещалось. Впечатлѣніе, производимое Парижемъ на путешественъ съ сѣвера, походило на то, которое является вслѣдъ за неожиданной находкой: они припадали къ городу со страстію и увлеченіемъ путника, вышедшаго изъ голой степи къ давно ожидаемому источнику. Первое, что бросалось въ глаза при этой встрѣчѣ съ столицей Франціи, было, конечно, ея соціальное движеніе. Вездѣ по протяженію Европы уже существовали партіи, подвергавшія разбору условія и порядки европейской жизни, вездѣ уже слагались общества, разсуждавшія о способахъ остановить, измѣнить и направить теченіе современной жизни въ другую сторону, но только въ Парижѣ кригическое движеніе это вошло, такъ-сказать, въ колею обычныхъ дневныхъ явленій и притомъ освѣщалось чрезвычайно эффектно лучами французскаго народнаго духа, который умѣетъ располагать въ живописныя группы людей, ученія и идеи, и дѣлать изъ нихъ картины и зрѣлища для публики, прежде чѣмъ они сдѣлаются руководителями и преобразователями общества. Не было возможности держаться отъ участія въ этому движенію, которое слагалось изъ гѣткихъ, остроумныхъ статей журнальнаго міра, изъ пропаганды въ театрѣ, изъ періодическихъ лекцій и конференцій профессоровъ и не-профессоровъ. Такъ, три воскресенья сряду, я слышалъ въ залѣ одного пассажа самого О. Конта, излагавшаго основныя черты своей теоріи передъ толпой, которая и не предчувствовала чѣмъ оканчивается эта теорія впоследствии. Движеніе дополнялось еще массой соціальныхъ книгъ, начавшихъ извѣстную войну противъ офи-

ціальної політичної економії, і фамільними зібраннями честних, начитаних і розвитих работников, уже прийнявших къ свѣдѣнію новия положенія соціалізма і оброботывавшихъ ихъ, по-своему, какъ въ послѣдствіи депутатъ Корбонъ, часовщикъ по ремеслу, котораго миѣ тоже удалось видѣти въ его мастерской, служившей ему и редакціей для его журнала «l'Atelier». Все это были огоньки, которые предшествовали знаменитой революціи 48-го года, нѣкѣтъ, впрочемъ, еще тогда не предчувствуемой, и которая, сказать между прочимъ, своимъ внезапнымъ приходомъ ихъ всѣхъ и потушила. Когда я прибылъ въ Парижъ по веснѣ 1846, я уже засталъ тамъ цѣлую русскую колонію, съ главными и выдающимися ея членами, Б. и С—вымъ, занятую непрерывнымъ исканіемъ и обсужденіемъ бытовыхъ, историческихъ, философскихъ и всякихъ вопросовъ, какіе постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральномъ королѣ Людовикѣ-Филиппѣ.

Однако иначе нельзя было назвать показѣсть того образа занятій европейскими вопросами, который существовалъ тогда между русскими, какъ—забавой.

Дѣло шло тутъ преимущественно объ удовлетвореніи любопытства, раздражаемаго безустанно явленіями каждаго текущего дня, объ исполненіи обязанности стоять на сторожѣ относительно всего, чтó происходитъ важнаго и ничтожнаго въ городѣ, о добычѣ живого матеріала для разбора его, для упражненія критическихъ своихъ способностей, а затѣмъ и болѣе всего для развитія безконечной, пестрой, золототшвейной ткани разговоровъ, споровъ, выводовъ, положеній и контръ-положеній. Никакой отвѣтственности передъ собстvenной совѣстію, никакого обязательнаго начала для устройства собственной жизни и поведенія при этомъ еще не представлялось никому. Необходимости подобнаго распорядка съ собою не предвидѣлось и въ будущемъ. О русской политической эмиграціи не было еще и помина: она явилась только тогда, когда прокатился громъ революціи 1848 г. и заставилъ многихъ обратиться къ своему прошлому, подвести ему итоги и поставить себя самого въ ясное, опредѣленное положеніе, какъ къ грозному явленію, неожиданно разразившемуся надъ Европой, такъ и къ правительствамъ, которые были имъ испуганы. Правда, отъ времени до времени падали въ среду нашихъ людей, потѣшавшихся Парижемъ, напоминовенія о требованіяхъ другого строя жизни, чѣмъ тотъ, которымъ они наслаждались. Такъ случилось съ извѣстнымъ Г—виннымъ, котораго официально вызывали въ Россію за пустѣйшую книжонку, — *напечатанную имъ по-французски въ Парижѣ, безъ дозволенія*. Это былъ опытъ политической экономіи, представлявшей менѣе, чѣмъ учебникъ.

простую выписку из школьных тетрадок, да и то не совсемъ толковую. Но во всякомъ случаѣ уже совершенно невинную. Я. кажется, и не встрѣчалъ на вѣку моего писателя, менѣе заслуживавшаго вниманія, какъ этотъ Г—винъ, въ одно время игравшій на биржѣ и въ *оплозцію*, пробиравшійся въ жокей-клубъ, въ мѣръ лоретокъ, и въ демократическія консилиабумы—наглый и ребячески-трусливый, но онъ остался въ Парижѣ, несмотря на вызовъ, и сдѣлался прежде всѣхъ русскихъ «политическимъ» эмигрантомъ и притомъ изъ особеннаго начала, изъ страха: ему перешли всевозможные ужасы, которые, по отношенію къ нему, просто были неминуемы <sup>1)</sup>. Послѣ *наломаніи* въ родѣ того, какое получилъ Г—винъ, кругъ дилеттантствующихъ политиковъ и социалистовъ нашихъ нѣкоторое время обсуждалъ этотъ фактъ съ разныхъ точекъ зрѣнія, и потому снова отдавался увлекающему потоку своихъ зачатій и страстнаго, но безотвѣтнаго влѣшательства въ интимныя дѣла французской національности.

Не должно думать, чтобъ эта азартная игра со всѣмъ содержаніемъ Парижа велась только людьми, литераторами и политически развитыми: къ ней примѣшивались часто и такіе особы, которые имѣли совсѣтъ иные цѣли въ жизни, — не культурныя. Такъ, по дорогѣ въ Европу я получилъ рекомендательное письмо къ извѣстному Марксу отъ нашего степного помѣщика, также извѣстнаго въ своемъ кругу за отличнаго пѣвца цыганскихъ пѣсень, ловкаго игрока и опытнаго охотника. Онъ находился, какъ оказалось, въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ учителемъ Лассалемъ и будущимъ главой интернаціональнаго общества; онъ увѣрилъ Маркса, что, предавшись душой и тѣломъ его лучезарной проповѣди и дѣлу водворенія экономическаго порядка въ Европѣ, онъ ѣдетъ обратно въ Россію, съ намѣреніемъ продать все свое имѣніе и бросить себя, и весь свой капиталъ въ жерло предстоящей революціи. Далѣе этого увлеченіе идти не могло, но я убѣжденъ, что, когда лихой помѣщикъ давалъ всѣ эти обѣщанія, онъ былъ въ ту минуту искрененъ. Возвратившись же на родину, сперва въ свои имѣнія, а затѣмъ въ Москву, онъ забылъ и думать о горячихъ словахъ, прозвенѣвшихъ нѣкогда какъ эффектно передъ изумленнымъ Марксомъ, и умеръ не такъ давно престарѣлымъ, но все еще пылкимъ холостякомъ въ Москвѣ.

<sup>1)</sup> Всего забавнѣе, что онъ и самъ считалъ себя важнымъ преступникомъ, боялся испугать своей персоной дипломатическимъ путемъ, и побѣждалъ объясняться съ министромъ Домогалецъ, который, выслушавъ его опасенія, засмѣялся и замѣтилъ: „Какой надоръ. Живите спокойно, дѣлайте чтѣ хотите, да ужъ если вамъ нуженъ непремѣнный опытъ, то вотъ мой—я очень охотно омыюсь въ политикѣ дѣломъ“ (рассказъ ~~о немъ~~).

Не мудрено, однако же, что послѣ подобныхъ продѣлокъ, какъ у самого Маркса, такъ и у многихъ другихъ сложилось и долгое время длилось убѣжденіе, что на всякаго русскаго, къ нимъ приходящаго, прежде всего должно смотрѣть, какъ на подосланнаго шпиона, или какъ на безсовѣстнаго обманщика. А дѣло между тѣмъ гораздо проще объясняется, хотя отъ этого и не становится невиннѣе.

Я воспользовался однакоже письмомъ моего пылкаго помѣщика, который, отдавая мнѣ его, находился еще въ энтузіастическомъ настроеніи,—и былъ принятъ Марксомъ въ Брюсселѣ очень дружелюбно. Марксъ находился подъ вліяніемъ своихъ воспоминаній объ образцѣ широкой русской натуры, на которую такъ случайно наткнулся, и говорилъ о ней съ участіемъ, усматривая въ этомъ новомъ для него явленіи, какъ мнѣ показалось, признаки неподдѣльной мощи русскаго народнаго элемента вообще. Самъ Марксъ представлялъ изъ себя типъ человѣка, сложеннаго изъ энергій, воли и несокрушимаго убѣжденія—типъ, крайне замѣчательный и по внѣшности. Съ густой, черной шапкой волосъ на головѣ, съ волосистыми руками, въ пальто, застегнутомъ на-искось—онъ имѣлъ однакоже видъ человѣка, имѣющаго право и власть требовать уваженія, какими бы ни являлся передъ вами и что бы ни дѣлалъ. Всѣ его движенія были угловаты, но смѣлы и самонадѣянны, всѣ приемы шли наперекоръ съ принятыми обрядами въ людскихъ сношеніяхъ, но были горды и какъ-то презрительны, а рѣзкій голосъ, звучавшій какъ металлъ, шелъ удивительно къ радикальнымъ приговорамъ надъ лицами и предметами, которые произносилъ. Марксъ уже и не говорилъ иначе, какъ такими безапелляціонными приговорами, надъ которыми, впрочемъ, еще царствовала одна, до боли рѣзкая нота, покрывавшая все, что онъ говорилъ. Нота выражала твердое убѣжденіе въ своемъ призваніи управлять умами, законодательствовать надъ ними и вести ихъ за собой. Предо мной стояла олицетворенная фигура демократическаго диктатора, какъ она могла рисоваться воображенію въ часы фантазій. Контрастъ съ недавно покинутыми мною типами на Руси былъ наирѣшительный.

Съ перваго же свиданія Марксъ пригласилъ меня на совѣщаніе, которое должно было состояться у него на другой день вечеромъ съ портнымъ Вейтлингомъ, оставившимъ за собой въ Германіи довольно большую партію работниковъ. Совѣщаніе назначалось для того, чтобы опредѣлить, по возможности, общій образъ дѣйствій между руководителями рабочаго движенія. Я не замедлил явиться по приглашенію.

Портной-агитаторъ Вейтлингъ оказался бѣлокурнымъ, красивымъ молодымъ человѣкомъ, въ сюртукѣ щеголевататаго покроя, съ бород-

кой, кокетливо подстриженной, и скорѣе походилъ на путешественнаго *комми*, чѣмъ на суроваго и озлобленнаго труженика, какого я предполагалъ въ немъ встрѣтить. Отрекомендовавшись на-скоро другъ другу и притомъ съ отѣнкомъ изысканной учтивости со стороны Вейтлинга, мы сѣли за небольшой зеленый столикъ, на одномъ узкомъ концѣ котораго помѣстился Марксъ, взявъ карандашъ въ руки и склонивъ свою львиную голову на листъ бумаги, между тѣмъ какъ неразлучный его спутникъ и сотоварищъ по пропагандѣ, высочій, прямой, по-англійски важный и серьезный, Энгельсъ открывалъ засѣданіе рѣчью. Онъ говорилъ въ ней о необходимости между людьми, посвятившими себя дѣлу преобразованія труда, объяснить взаимныя свои воззрѣнія и установить одну общую доктрину, которая могла бы служить знаменемъ для всѣхъ послѣдователей, не имѣющихъ времени или возможности заниматься теоретическими вопросами. Энгельсъ еще не кончилъ рѣчи, когда Марксъ, поднявъ голову, обратился прямо къ Вейтлингу съ вопросомъ: «Скажите же намъ, Вейтлингъ, вы, которые такъ много надѣлали шума въ Германіи своими коммунистическими проповѣдями и привлекли къ себѣ столько работниковъ, лишивъ ихъ мѣстъ и куса хлѣба, какими основаніями оправдываете вы свою революціонную и социальную дѣятельность, и на чемъ думаете утвердить ее въ будущемъ?» Я очень хорошо помню самую форму рѣзкаго вопроса, потому что съ него начались горячія пренія въ кружкѣ, продолжавшіяся, впрочемъ, какъ сейчасъ окажется, очень недолго. Вейтлингъ, видимо, хотѣлъ удержать совѣщаніе на общихъ мѣстахъ либеральнаго разглагольствованія. Съ какимъ-то серьезнымъ, озабоченнымъ выраженіемъ на лицѣ, онъ сталъ объяснять, что цѣлю его было не созидать новыхъ экономическихъ теорій, а принять тѣ, которыя всего способнѣе, какъ показалъ опытъ во Франціи, открыть рабочимъ глаза на ужасъ ихъ положенія, на всѣ несправедливости, которыя, по отношенію къ нимъ, сдѣлались лозунгомъ правителей и общества, научить ихъ не вѣрить уже никакимъ обѣщаніямъ со стороны послѣднихъ и надѣяться только на себя, устраниваясь въ демократическія и коммунистическія общины. Онъ говорилъ долго, но, къ удивленію моему и въ противоположность съ рѣчью Энгельса, сбивчиво, не совсѣмъ литературно, возвращаясь на свои слова, часто поправляя ихъ и съ трудомъ приходя къ выводамъ, которые у него или запаздывали или появлялись ранѣе положеній. Онъ имѣлъ теперь совсѣмъ другихъ слушателей, чѣмъ тѣ, которые обыкновенно окружали его станокъ, или читали его газету и печатные памфлеты на современные экономическіе порядки, и утерялъ при этомъ свободу мысли и языка. Вейтлингъ, вѣроятно, говорилъ бы и еще долѣе, если бы Марксъ, съ гнѣвно-

стиснутыми бровями, не прервалъ его и не началъ своего возраженія. Сущность саркастической его рѣчи заключалась въ томъ, что возбуждать населеніе, не давая ему никакихъ твердыхъ, продуманныхъ основаній для дѣятельности, значило просто обманывать его. Возбужденіе фантастическихъ надеждъ, о которомъ говорилось сейчасъ, — замѣчалъ далѣе Марксъ, — ведетъ только къ конечной гибели, а не къ спасенію страдающихъ. Особенно въ Германіи обращаться къ работнику безъ строго-научной идеи и положительнаго ученія равносильно съ пустой и безчестной игрой въ проповѣдники, при которой, съ одной стороны, полагается вдохновенный пророкъ, а съ другой — допускаются только ослы, слушающіе его, разинувъ ротъ. «Вотъ, — прибавилъ онъ, вдругъ указывая на меня рѣзкимъ жестомъ, — между нами есть одинъ русскій. Въ его странѣ, Вейтлингъ, ваша роль могла бы быть у мѣста: тамъ, дѣйствительно, только и могутъ удачно составляться и работать союзы между нелѣпыми пророками и нелѣпыми послѣдователями». Въ цивилизованной землѣ, какъ Германія, продолжалъ развивать свою мысль Марксъ, люди безъ положительной доктрины ничего не могутъ сдѣлать, да и ничего не сдѣлали до сихъ поръ, кромѣ шума, вредныхъ вспышекъ и гибели самого дѣла, за которое принялись. Краска выступила на блѣдныхъ щекахъ Вейтлинга, и онъ обрѣлъ живую, свободную рѣчь. Дрожащимъ отъ волненія голосомъ сталъ онъ доказывать, что человѣкъ, собравшій сотни людей во имя идеи справедливости, солидарности и братской другъ другу помощи подъ одно знамя, не можетъ назваться совсѣмъ пустымъ и празднымъ человѣкомъ, что онъ, Вейтлингъ, утѣшается отъ сегодняшнихъ нападокъ воспоминаніемъ о тѣхъ сотняхъ писемъ и заявленій благодарности, которыя получилъ со всѣхъ сторонъ своего отечества, и что, можетъ быть, скромная подготовительная его работа важнѣе для общаго дѣла, чѣмъ критика и кабинетные анализы доктринъ, вдали отъ страдающаго свѣта и бѣдствій народа. При послѣднихъ словахъ взбѣшенный окончательно Марксъ ударилъ кулакомъ по столу такъ сильно, что зазвенѣла и запаталась лампа на столѣ и вскочилъ съ мѣста, проговаривая: — «Никогда еще невѣжество никому не помогло!» Мы послѣдовали его примѣру и тоже вышли изъ-за стола. Засѣданіе кончилось, и покуда Марксъ ходилъ взадъ и впередъ, въ необычайномъ гнѣвномъ раздраженіи по комнатѣ, я на-скоро распрощался съ нимъ и съ его собесѣдниками и ушелъ домой, пораженный всѣмъ мною видѣннымъ и слышаннымъ.

Сношенія мои съ Марксомъ не прекратились и послѣ выѣзда моего изъ Брюсселя. Я встрѣтилъ его еще, вмѣстѣ съ Энгельсомъ, въ 1848 году, въ Парижѣ, куда они оба пріѣхали тотчасъ послѣ

февральской революціи, намѣреваясь изучать движеніе французскаго социализма, очутившагося теперь на-просторѣ. Они скоро оставили свое намѣреніе, потому что надъ социализмомъ этимъ господствовали всецѣло чисто-мѣстные, политическіе вопросы, и у него была уже программа, отъ которой онъ не хотѣлъ развлекаться — программа добиваться съ оружіемъ въ рукахъ господствующаго положенія въ государствѣ для работника. Но и до этой эпохи были минуты заочной бесѣды съ Марксомъ, весьма любопытныя для меня: одна такая выпала на мою долю въ 1846 году, когда по поводу известной книги Прудона: «*Système des contradictions économiques*», Марксъ написалъ мнѣ по-французски пространное письмо, гдѣ излагалъ свой взглядъ на теорію Прудона. Письмо это крайне замѣчательно: оно опередило время, въ которое было писано, двумя своими чертами — критикой положеній Прудона, предугадавшей цѣликомъ всѣ возраженія, какія были предъявлены на нихъ впоследствии, а потомъ новостью взгляда на значеніе *экономической исторіи* народовъ. Марксъ одинъ изъ первыхъ сказалъ, что государственныя формы, а также и вся общественная жизнь народовъ съ ихъ моралью, философій, искусствомъ и наукой — суть только прямые результаты *экономическихъ* отношеній между людьми, и съ перемѣной этихъ отношеній сами мѣняются или даже и вовсе упраздняются. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы узнать и опредѣлить законы, которые вызываютъ перемѣны въ экономическихъ отношеніяхъ людей, имѣющія такія громадныя послѣдствія. Въ антиноміяхъ же Прудона, въ его противопоставленіи однихъ экономическихъ явленій другимъ, произвольно сведеннымъ другъ съ другомъ и, *по свидѣтельству исторіи*, нисколько не вытекавшимъ одно изъ другого, Марксъ усматривалъ только тенденцію автора облегчить совѣсть буржуазіи, возводя не-пріятныя ей факты современныхъ экономическихъ порядковъ въ безобидныя абстракціи à la Гегель и въ законы, будто бы, присущіе самой природѣ вещей. На этомъ основаніи онъ и обзываетъ Прудона *теологомъ* социализма и мелкимъ *буржуа* съ головы до ногъ. Окончаніе этого письма передаю въ дословномъ переводѣ, такъ-какъ оно можетъ служить хорошимъ комментариемъ къ сценѣ, рассказанной выше, и даетъ ключъ для пониманія ея:

«Въ одномъ только я схожусь съ господиномъ Прудономъ (NB. Марксъ вездѣ пишетъ: «*monsieur Pr.*»), именно — въ его отвращеніи къ плаксивому социализму (*sensiblerie sociale*). Ранѣе его я уже назвалъ себя множество враговъ моими насмѣшками надъ чувствительнымъ, утопическимъ, *бараньимъ* социализмомъ (*socialisme mou-tonnier*). Но г. Прудонъ странно ошибается, замѣняя одинъ видъ *сентиментализма* другимъ, именно сентиментализмомъ мелкаго буржуа

и своими декламациями о святости домашнего очага, супружеской любви и других тому подобных вещах, — той сентиментальностью, которая, вдобавокъ, еще и глубже была выражена у Фурье, чѣмъ во всѣхъ самодовольныхъ пошлостяхъ нашего добраго г. Прудона. Да онъ и самъ хорошо чувствуетъ свою неспособность трактовать объ этихъ предметахъ, потому что по поводу ихъ отдается невыразимому бѣшенству, возгласамъ, всѣмъ гнѣвамъ честной души — *igne hominis probi*: онъ пѣнится, клянеть, доноситъ, кричитъ о позорѣ и чужѣ, бьетъ себя въ грудь и призываетъ Бога и людей въ свидѣтели того, что непричастенъ гнусностямъ социалистовъ. Онъ занимается не критикой ихъ сентиментализма, а — какъ настоящій святой или папа — отлученіемъ несчастныхъ грѣшниковъ, причемъ воспѣваетъ хвалу маленькой буржуазіи и ея пошленькимъ патриархальнымъ доблестямъ, ея любовнымъ упражненіямъ. И это не съ-проста. Самъ г. Прудонъ съ головы до ногъ есть философъ и экономистъ маленькой буржуазіи. Чтѣ такое маленькій буржуа? Въ развитомъ обществѣ онъ, вслѣдствіе своего положенія, неизбѣжно дѣлается съ одной стороны экономистомъ, а съ другой — социалистомъ: онъ въ одно время и ослѣпленъ великолѣпіями знатной буржуазіи, и сочувствуетъ страданіямъ народа. Онъ мѣщанинъ и виѣстѣ — народъ. Въ глубинѣ своей совѣсти онъ похваляетъ себя за безпристрастіе, за то, что нашелъ тайну равновѣсія, которое, будто бы, не походитъ на *«juste milieu»*, золотую середину. Такой буржуа вѣруетъ въ противорѣчія, потому что онъ самъ есть не что иное, какъ социальное противорѣчіе въ дѣйствіи. Онъ представляетъ на практикѣ то, чтѣ говоритъ теорія, и г. Прудонъ достоинъ чести быть научнымъ представителемъ маленькой французской буржуазіи. Это его положительная заслуга, потому что мелкая буржуазія войдетъ непременно значительной составной частью въ будущіе социальные перевороты. Мнѣ очень хотѣлось, виѣстѣ съ этимъ письмомъ, послать вамъ и мою книгу *«О политической экономіи»*, но до сихъ поръ я не могъ еще отыскать кого-нибудь, кто бы взялся напечатать мой трудъ и мою критику нѣмецкихъ философовъ и социалистовъ, о чемъ я говорилъ вамъ въ Брюсселѣ. Вы не повѣрите, какія затрудненія встрѣчаетъ такая публикація въ Германіи со стороны полиціи, во-первыхъ, и со стороны самихъ книгопродавцевъ — во-вторыхъ, которые являются корыстными представителями тенденцій, мною преслѣдуемыхъ. А что касается до собственной нашей партіи, то она, прежде всего, крайне бѣдна, а затѣмъ добрая часть ея еще крайне озлоблена на меня за мое сопротивление ея декламациямъ и утопіямъ».

Книга *«О политической экономіи»*, упоминаемая Марксомъ въ письмѣ, есть, какъ полагаю, послѣдній его трудъ: *«Капиталъ»*,



увидѣвшій свѣтъ только недавно. Признаюсь, я не повѣрилъ тогда, какъ и многіе со мной, разоблачающему письму Маркса, будучи увлеченъ, вмѣстѣ съ большинствомъ публики, паѳосомъ и діалектическими качествами Прудонскаго творенія. Съ возвращеніемъ моимъ въ Россію, въ октябрѣ 1848 года, прекратились и мои сношенія съ Марксомъ и уже не возобновлялись болѣе. Время надеждъ, гаданій и всяческихъ *аспираций* тогда уже прошло, а практическая дѣятельность, выбранная затѣмъ Марксомъ, такъ далеко убѣгала отъ русской жизни вообще, что, оставаясь на почвѣ послѣдней, нельзя было слѣдить за первой иначе, какъ издали, посредственно и неполно, путемъ газетъ и журналовъ.

Разсказанный здѣсь эпизодъ съ Марксомъ, можетъ быть, не покажется лишнимъ въ картинѣ Парижа, если прибавить, что точно такія же сцены и по тѣмъ же вопросамъ происходили во всѣхъ большихъ городахъ Европы и, конечно, чаще всего именно въ Парижѣ: мѣнялись люди, мѣнялась драматическая обстановка, согласно другому развитію и образованію характеровъ: сущность преній и столкновеній въ демократическихъ кружкахъ оставалась та же. Вездѣ искали *цѣльныхъ* доктринъ социализма, научныхъ изъясненій и оправданій для *чувства* недовольства, изъ котораго социализмъ вышелъ, плановъ для общины, гдѣ трудъ и наслажденіе шли бы рука объ руку. Потребность упразднить массу нелѣпныхъ, незрѣлыхъ, бесплодныхъ опытовъ, предпринимаемыхъ для осуществленія этого идеала непосвященными, мало подготовленными и фантастическими умами — чувствовалась повсюду. Этимъ и объясняются совокупныя усилія лучшихъ дѣятелей социализма — найти такой типъ рабочей общины, который бы далъ возможность доказать несомнѣнно, что каждая нравственная и матеріальная потребность человѣка обрѣтутъ въ ней удобное и комфортабельное помѣщеніе для себя. Движеніе умовъ, какъ въ области теорій, такъ и въ пробахъ почвы для практическаго разрѣшенія экономическихъ трудностей было всеобщее до тѣхъ поръ, пока оно не уперлось въ «національныя мастерскія», гдѣ и было подавлено для того, чтобы возродиться уже на другихъ началахъ...

Съ первыхъ же шаговъ своихъ въ Парижѣ, Г., переѣхавшій на постоянную квартиру, въ Avenue Maigny, откуда онъ писалъ въ «Современникъ» 1847 г., — Г., говорю, по складу своего ума и наклонности къ энергическому вчинанію при всякой данной задачѣ, очутился какъ-бы въ своемъ родномъ элементѣ. Онъ бросился тотчасъ же въ это сверкающее море отважныхъ предположеній, безпощадной полемики, всевозможныхъ страстей и вышелъ оттуда новымъ и крайне нервнымъ человѣкомъ. Мысль, чувство, воображеніе пріобрѣли у него болѣзненную раздражительность, которая сказывалась,

прежде всего, въ негодованіи на господствующій политическій режимъ, который занимался обезсиливаніемъ однихъ ученій другими. Затѣмъ, не менѣе гнѣва и злобы возбуждала въ немъ и ясность реформаторскихъ проектовъ, фальшиво обѣщающихъ положить конецъ всѣмъ преніямъ и уже торжествующихъ побѣду, прежде самаго сраженія. То и другое явленіе одинаково казались ему признаками несостоятельности общества, и въ одну изъ минутъ задушевнаго анализа ощущеній, полученныхъ имъ при первомъ знакомствѣ съ европейскимъ социализмомъ, онъ написалъ одну изъ тѣхъ своихъ статей, которая можетъ назваться самымъ пессимистскимъ созерцаніемъ западнаго развитія, какое только высказывалось по-русски; но зато она и была имъ писана уже *съ другою берега*—онъ видѣлъ теперь во-очію то, что до сихъ поръ было ему извѣстно издалика. Несмотря на эту исповѣдь, Г. подчинился почти безусловно тому самому движенію, которое считалъ безысходнымъ. Долгое обращеніе съ предметомъ изслѣдованія втянуло его въ его интересы, въ его задачи и намѣренія, что часто бываетъ со страстными натурами, встрѣчающими на пути слѣпыя, но непоколебимыя вѣрованія. Не было человѣка, который бы безпощаднѣе отзывался о несостоятельности европейскаго строя жизни и который бы вѣстѣ съ тѣмъ столь рѣшительно пригнѣвался къ нему, повѣряя имъ свою дѣятельность, матеріальныя и умственныя привычки. Письма Г. изъ Avenue Marigny уже носили на себѣ ясный, хотя еще и осторожно наложенный штемпель гуманныхъ идей, съ намеками на вопросы новаго рода, такъ что они должны считаться первыми пробами приложенія въ русской литературѣ социологическаго способа понимать и обсуждать явленія. Начиная съ разбора драмы Феликса Пиа и до подробностей парижскаго быта—все въ нихъ отражало настроеніе, почерпнутое изъ другихъ источниковъ, а не изъ тѣхъ, которыми питались наши философскія, замаскированно-либеральныя и филантропическія тенденціи. Друзья Г. въ Москвѣ и Петербургѣ любовались этимъ оригинальнымъ, всегда блестящимъ, но вѣстѣ и новымъ поворотомъ его таланта, и не предчувствовали, что тутъ начинается дѣло, которое далеко уведетъ отъ нихъ автора писемъ въ сторону, да и самъ авторъ еще и не помышлялъ о томъ, гдѣ очутится, по логическому развитію принциповъ и ихъ послѣдствій.

Впрочемъ, московскіе друзья Г., любясь сатирической нѣтъкостью писемъ, восхищаясь остроуміемъ ихъ замѣтокъ и обличеній, часто останавливаясь по-долгу на проблескахъ глубокой мысли въ опредѣленіи текущихъ явленій тогдашняго французскаго общества,—друзья все-таки не выполнѣ вѣрили въ объективную правду писемъ, и считали ихъ отчасти произведеніемъ обычнаго фрондѣрства, свойствен-

наго всѣмъ путешественникамъ, которымъ стыдно съ перваго же раза покориться чужой странѣ и не сдѣлать оговорокъ, вступая въ близкія съ ней связи. Отголосокъ этого мнѣнія сказался всего сильнѣе у В. П. Боткина, что и заставляетъ меня сдѣлать выписку изъ московскаго его письма ко мнѣ, отъ 12 октября 1847 г.:

«Кстати, прочелъ въ 10 № «Современника» три письма Г. изъ Avenue Maigny и прочелъ ихъ съ самымъ живымъ удовольствіемъ. Первое письмо хуже прочихъ: въ немъ даже замѣтно нѣкоторое усиліе съострить; разумѣется, не вездѣ, но кое-гдѣ острота не вяжется сама собою къ перу, къ фразѣ. Что касается до его взгляда на театры и городъ, то при всемъ его превосходствѣ, при всемъ блескѣ и глубокомысліи, по моему мнѣнію, это все-таки *первое на-малодное* впечатлѣніе. Je ne cherche pas chicane à sa manière de voir—и вполнѣ признавая за нихъ право смотрѣть на вещи подъ своимъ угломъ, я все-таки остаюсь при своемъ прежнемъ мнѣніи и не стану подражать славянской нетерпимости Г., который меня разбранилъ за то, что я осмѣлился быть не одного съ нимъ мнѣнія. Во-вторыхъ, я прочелъ его письма съ наслажденіемъ: это такъ увлекательно, такъ игриво, это—арабескъ, въ которомъ шутка свивается съ глубокой мыслью, сердечный порывъ съ летучей остротой; что мнѣ за дѣло, что я о многомъ думаю совершенно иначе: всякій имѣетъ право смотрѣть на вещи по-своему, и Г. смотритъ на нихъ такъ живо, такъ увлекательно, что я вовсе теряю желаніе спорить: наслажденіе пересиливаетъ всякое другое чувство. Но, по моему мнѣнію, главный недостатокъ ихъ въ неопредѣленности точки зрѣнія; да, мнѣ кажется, Г. не далъ себѣ яснаго отчета ни въ значеніи стараго дворянства, которымъ онъ такъ восхищался, ни въ значеніи bourgeoisie, которую онъ такъ презираетъ. Что же за этикъ у него остается? Работникъ. А земледѣлецъ? Неужели Г. думаетъ, что уменьшеніе избирательнаго ценза измѣнитъ положеніе буржуазіи. Я не думаю. Я не поклонникъ буржуазіи, и меня не менѣе всякаго другого возмущаетъ и грубость ея нравовъ, и ея сильный прозаизмъ, но въ настоящемъ случаѣ для меня важенъ фактъ. Я скептикъ; видя въ спорящихъ сторонахъ въ каждой столько же дѣльнаго, сколько и пустого, я не въ состояніи пристать ни къ одной, хотя въ качествѣ угнетеннаго—классъ рабочій, безъ сомнѣнія, имѣетъ всѣ мои симпатіи, а вѣстѣ съ тѣмъ не могу не прибавить: дай Богъ, чтобъ у насъ была буржуазія! Cet air de matador, съ которымъ Г. все рѣшаетъ во Франціи—очень милъ, увлекателенъ, а его, мочи нѣтъ, какъ люблю въ немъ, именно потому, что знаю мягкое, голубиное сердце этого матадора, но вѣдь рѣшеніе Г. ровно ничего не уясняетъ: оно только скользитъ по вещамъ. Всѣ эти вопросы до

такой степени сложны, что невозможно поднять ни одинъ, не под-  
нявши вѣсть съ нимъ нѣсколькихъ»...

Итакъ, даже оставляя въ сторонѣ личные счеты В. П. Боткина  
съ Г., который высказывалъ ему часто горькую правду по поводу  
его безхарактерной поправки всѣмъ вѣшнимъ прианкамъ париж-  
ской жизни—приведенный отрывокъ все-таки выражалъ мнѣніе и  
другихъ друзей Г., хорошо понимающихъ причины и поводы демо-  
кратическихъ возгласовъ о буржуазіи въ ея отечествѣ, но считав-  
шихъ такіе возгласы непригодными для русскаго общества, которое  
еще лишено образовательныхъ элементовъ, принесенныхъ нѣкогда  
этой самой буржуазіей въ исторію. Притомъ же, друзья и не знали,  
куда еще заведетъ Г. его огульное осужденіе Европы, и боялись,  
что авторитетное слово его отразится въ извращенномъ видѣ на  
умахъ и представленіяхъ русскихъ читателей. Того же самого боя-  
лись они и отъ исповѣди Бѣлинскаго, когда онъ попалъ за-границу  
и обнаружилъ воззрѣнія на западную культуру, близко подходившія  
къ воззрѣніямъ Г., о чемъ еще будемъ говорить. Можетъ быть,  
въ числѣ причинъ, побудившихъ Г. написать позднѣе вышеупомя-  
нутую свою статью, было и желаніе разъяснить друзьямъ свои истин-  
ныя отношенія къ европейскому міру, и мѣсто, которое онъ намѣ-  
ренъ въ немъ занять. Извѣстно, что въ статьѣ противопологалось  
безвыходному положенію европейскаго общества появленіе народа,  
одно присутствіе котораго въ Европѣ тревожитъ умъ, который  
извѣстенъ только съ мрачныхъ сторонъ своихъ, но который несетъ  
съ собою народную культуру, качества мысли и сердца, имѣющія,  
повидиному, большую будущность. Къ этой нотѣ, впервые раздав-  
шейся у Г. въ упомянутой статьѣ, Г. потомъ часто возвращался и  
пробовалъ брать эту ноту на множество ладовъ, но она не у всѣхъ  
друзей вызвала сочувствіе, а нѣкоторые долго находили ее напря-  
женной и фальшивой, несмотря ни на какія варьяція и смятченія,  
которыми сопровождалъ ее по-часту авторъ...

Между тѣмъ, жизнь Г. шла по-прежнему очень шумно и весело,  
несмотря на внезапныя остановки его посреди разсвѣній и развле-  
ченій Парижа и наступавшія за ними заботливыя оцупыванія почвы  
подъ своими ногами; но перерывы эти были не долги, кругъ зна-  
комыхъ его все болѣе и болѣе увеличивался, бѣдны разрастались,  
говоръ усиливался <sup>1)</sup>. Ни онъ, да и никто изъ русскихъ друзей

<sup>1)</sup> Увлеченіе потокомъ развернувшейся передъ нимъ жизни отражалось и на пла-  
нахъ писательской его дѣятельности. Онъ началъ повѣсть изъ французской революціи  
89 года съ русскимъ дѣятелемъ посреди ея, и не усомнился послать разсказъ въ  
„Современникъ“. Позднѣе Панаевъ говорилъ мнѣ въ Петербургѣ: Г. съ ума сошелъ,  
посылаетъ намъ картины французской революціи, точно она у насъ дѣло призванное

его вовсе и не думали о томъ, что можетъ наступить минута, когда жить амфибіей посреди двухъ міровъ—западнаго и русскаго—не станетъ возможности, и придется выбирать между порядками, одинаково сильно и ревниво, хотя и на различныхъ основаніяхъ, представляющими права на обладаніе всѣмъ человѣкомъ. Минута была не за горами (всего одинъ годъ раздѣлялъ ее отъ людей), но когда она пришла,—наступили горькіе расчеты, болѣзненные пожертвованія, вынужденныя, противоестественныя отреченія, испортившія окончательно жизнь Г., да и многихъ другихъ еще вѣстѣ съ нимъ.

### XXXII.

Начавъ говорить о зачаткахъ будущей русской эмиграціи, я не могу обойти молчаніемъ новаго элемента движенія, которымъ обогатился Парижъ къ тому времени, именно—польскаго. Элементъ этотъ существовалъ, конечно, и прежде, но теперь онъ совершенно преобразился.

Онъ сбросилъ съ себя мистическій оттѣнокъ, который сообщили ему Товянский и Мицкевичъ, пять лѣтъ передъ тѣмъ, не проповѣдывалъ болѣе ученія о мессіанизмѣ, разрѣшающемъ народныя и всякіе другіе вопросы посредствомъ нарочно посылаемыхъ для того, предъизбранныхъ отъ вѣчности людей, и не говорилъ уже о братствѣ всѣхъ славянскихъ племенъ, какъ о послѣдней цѣли ихъ историческаго развитія. Вмѣсто этого, въ Парижѣ засѣдалъ тогда, такъ называемый, центральный революціонный комитетъ изъ поляковъ, объявившій себя единственнымъ уполномоченнымъ отъ польскаго народа, для управленія дѣломъ возстановленія павшаго королевства въ старыхъ его границахъ, требовавшій для своихъ безапелляціонныхъ декретовъ слѣпое повиновеніе отъ каждаго, кто только говоритъ польскимъ нарѣчіемъ, и достигавшій своей цѣли вполнѣ. Комитетъ совсѣмъ не думалъ о примиреніи между славянами на какихъ-либо общихъ имъ основаніяхъ, а предписывалъ имъ просто войну противъ правительствъ, подъ которыми живутъ. Съ помощью своихъ агентовъ, прокламацій, администраторовъ и генераловъ, посылаемыхъ на различные и самые опасные пункты въ славянскихъ земляхъ, онъ держалъ всѣ нити обширнаго республиканскаго заговора въ своихъ рукахъ и только-что произвелъ галиційское движеніе 1846 г., кончившееся рѣзней землевладѣльцевъ и паденіемъ Кракова, послѣ котораго комитетъ и замолкъ на время, соображая и позабытое. Повѣсть, разумѣется, не попала въ печать, а явилась за границей, въ особомъ сборникѣ.

новые планы возстаній и движеній. Такъ какъ энергія дѣйствій была единственнымъ правомъ комитета на существованіе и единственной инвеститурой, какую онъ предъявлялъ своимъ недоброжелателямъ, въ родѣ аристократической партіи Чарторискаго, то и всѣ члены этой ассоціаціи отличались, или старались отличаться, точно такой же энергіей. Она, между прочимъ, очищала и мѣсто въ самомъ комитетѣ для честолюбцевъ, да имѣла и множество другихъ выгодъ. Прежде всего она освобождала людей отъ излишне требовательныхъ запросовъ со стороны иностранцевъ: отъ героевъ чего требовать? Одна эта доказанная революціонная энергія отвѣчала за все, замѣщая удобно всѣ другія качества, какія могли доставать людямъ, она закрывала всѣ ихъ недостатки по образованію и умственному развитію, шла въ объѣмъ даже за нравственные свойства ихъ и за моральный характеръ, когда ихъ не оказывалось на лицо, — словомъ, персоналъ польскихъ эмигрантовъ жилъ въ Парижѣ какимъ-то особеннымъ, привилегированнымъ сословіемъ. Къ нему именно и пристроился одинъ изъ русскихъ искателей политическаго дѣла—Б., знакомый уже намъ.

Уже съ 1842 года Б. предвѣщалъ то, чѣмъ сдѣлался впоследствии. Въ этомъ году онъ помѣстилъ въ извѣстномъ журналѣ А. Руге свою статью подъ псевдонимомъ: «Elyzard», которая возбудила вниманіе ученыхъ нѣмецкихъ бюргеровъ своими *искусно построенными* обвиненіями нѣмецкаго гения въ бесплодной способности его переводить всѣ требованія времени и развитія на почву схоластики, и затѣмъ, увидавъ ихъ въ облаченіи и пышныхъ орнаментахъ философской теоріи, успокаиваться и приниматься опять за новыя упражненія въ томъ же же родѣ. Будучи самъ однимъ изъ жаркихъ адептовъ германской философіи, онъ разорвалъ съ нею всѣ связи, а чтобъ положить между собой и ею достаточное физическое и нравственное пространство—перевѣхалъ изъ Берлина въ Парижъ и принялся искать политическаго занятія по редакціямъ журналовъ, мастерскимъ работниковъ, демократическимъ кафе-ресторанамъ — и, наконецъ, успѣлъ обрѣсти въ польской пропагандѣ нѣчто похожее на специальность и призваніе. Послѣ нѣкотораго колебанія, вызваннаго самой ея односторонностью, о которой часто и упоминалъ въ бесѣдахъ съ друзьями, онъ окончилъ тѣмъ, что принялъ ее вполнѣ и отдался ей уже безоглядно, открыто и рѣшительно, сжигая за собой корабли, не оставляя ни малѣйшей тропинки позади себя, на случай отступленія. Никто еще изъ русскихъ до него такъ смѣло не отрывался отъ домашнихъ пенатовъ своихъ, прежняго строя мыслей, старыхъ воспоминаній и созерцаній въ пользу запрещенной религіи польскаго дѣла. Обаяніе этой религіи заключалось для него

преимущественно въ революціонномъ характерѣ, за который ей отпущались многія узкія стремленія, многіе темные инстинкты. Это было что-то похожее на революціонный романтизмъ своего рода, гдѣ призраки и фантомы шли впереди логики, указаній исторіи, соображеній разсудка и опыта. Подъ покровомъ такого романтизма можно было сожалѣть о существованіи въ человѣчествѣ различныхъ національностей, враждебныхъ другъ другу, — и въ то же время служить самому исключительному національному дѣлу изъ всѣхъ, когда-либо бывшихъ на свѣтѣ; можно было отказываться отъ патристическихъ предразсудковъ вообще, — и развитъ въ себѣ взгляды и чувства польскаго ультра-патріота; можно было, наконецъ, считаться свободнымъ отъ всѣхъ религіозныхъ и сословныхъ опредѣленій, — и жить душа въ душу съ воюющимъ католичествомъ и шляхетствомъ. Такой широкой дороги для радикальнаго дилеттантства не представлялъ даже и социализмъ, требовавшій все-таки отъ человѣка въ каждомъ своемъ подраздѣленіи (а ихъ было тогда не мало) отреченія отъ другихъ соперничающихъ съ нимъ дѣловъ.

Въ это же время возникло и ученіе о необходимости привить польскую оппозиціонную энергію къ русской національности, лишенной ея отъ природы: развитіе этого ученія Б. принялъ на себя, и не мало способствовалъ тому, что черезъ посредство газетъ, брошюръ, рѣчей и трактатовъ, ученіе вошло на нѣкоторое время въ сознаніе Европы. Ему казалось, что онъ дѣлаетъ при этомъ двойное дѣло — возбуждаетъ сочувствіе къ одному славянскому народу, оскорбленному исторической несправедливостью, и воспитываетъ основы независимаго сужденія въ другомъ славянскомъ народѣ, именно — у соотечественниковъ. Такъ какъ отъ количества единомышленниковъ въ русскомъ мірѣ зависѣла большая или меньшая важность его собственнаго положенія въ эмиграціи, то Б. производилъ наборъ приверженцевъ не очень строго и разборчиво, зачисляя въ ряды ихъ, вмѣстѣ съ умами, наклонными заниматься политическими проблемами, и просто любопытствующихъ людей, или такихъ, которые искали болѣе или менѣе интересныхъ и пикантныхъ знакомствъ въ Парижѣ. Самъ онъ, однако же, подавалъ примѣръ открытаго исповѣданія своихъ убѣжденій, которое ищетъ случаевъ довести свои положенія до общаго свѣдѣнія и при нуждѣ не отступить для этого передъ уличной манифестаціей или политическимъ скандаломъ. Таковъ былъ проходившій имъ тогда фазисъ жизни, предшествовавшій послѣднему ея періоду, когда Б. выработалъ изъ себя полнѣйшій типъ космополита, до того полный, что казался *отвлеченностью* и становился почти непонятнымъ съ точки зрѣнія реальныхъ усло-

вій человеческого существованія, — типъ, не признававшій силы никакихъ историческихъ, географическихъ, бытовыхъ условий для опредѣленія судьбы и дѣятельности народовъ, упразднявшій расы, племена, сложившіяся государства и общества — для постройки на нихъ обломкахъ одного общаго образца рабочей жизни.

Б. скоро достигъ апогея нивелирующаго философскаго и экономическаго романтизма, но это было еще впереди, а теперь, въ качествѣ только польскаго агитатора, онъ ждалъ случая торжественно и официально, такъ сказать, заявить свой выборъ партіи. Случай представился, почти наканунѣ революціи 1848 года, при празднованіи польской колоніей годовщины варшавскаго возстанія 1830 года. Б. произнесъ на юбилей, передъ многочисленнымъ собраніемъ и въ публичной залѣ свою извѣстную рѣчь, въ которой остерегалъ поляковъ отъ попытокъ примиренія съ врагами, какія были уже дѣланы нѣкоторыми изъ ихъ соотечественниковъ, и, напротивъ, возбуждалъ ихъ къ враждѣ на-смерть за свою національную идею, причемъ, конечно, не былъ скупъ на мрачную характеристику главныхъ противниковъ идеи. Министерство Гизо, такъ боявшееся вообще народныхъ страстей и всякаго предлога къ нимъ (а особенно польскаго), не оставило рѣчь безъ отвѣта, и на третій день послѣ ея произнесенія выслало оратора изъ Парижа, причемъ самъ Гизо, отвѣчая на запросъ по этому случаю въ палатѣ депутатовъ, сказалъ, что нельзя же дозволить всякой свирѣпой личности (*une personnalité violente*), въ родѣ Б., нарушать общественный порядокъ и международныя приличія. Тогда Б. уѣхалъ въ Брюссель, написавъ предварительно письмо къ министру внутреннихъ дѣлъ, графу Дюшателю, въ которомъ, упрекая его за превышеніе власти, замѣчалъ, что будущность принадлежитъ не ему и его партіи, а тѣмъ, кого онъ гонитъ и преслѣдуетъ теперь.

Несмотря на силу привлекательности, какою обладалъ Б., и благодаря своей чуткости ко всѣмъ вопросамъ совѣсти, возникающимъ въ сознаніи человека, благодаря еще ежеминутной готовности заниматься разрѣшеніемъ нравственныхъ и умственныхъ затрудненій, которыми страдаютъ люди, ищущіе выхода изъ противорѣчій своей мысли со своимъ воспитаніемъ и природными наклонностями, — Б. все-таки не могъ устроить откровенныхъ сношеній между русской колоніей и польской эмиграціей, какъ часто ни сводилъ ихъ, и какъ искусно ни направлялъ ихъ бесѣды. Очень тонкой струей, почти незамѣтной для посторонняго глаза, но внутренно ощущасимой всѣми участниками дѣла, пробѣгала какая-то *фалшь* въ сношеніяхъ между двумя сторонами, и Г. открылъ ее тотчасъ же, какъ очутился между ними. Съ обѣихъ сторонъ существовало множество мысленныхъ огра-



иченій, — того, что въ доктринѣ іезуитовъ называлось «restrictions mentales», и всего обильнѣе такими приёмами и уловками были именно тѣ патетическія минуты, когда стороны сходились на какихъ-либо общихъ началахъ и дружелюбно подавали другъ другу руки, радуясь единству и согласію своихъ либеральныхъ идей. Каждая изъ сторонъ еще подразумѣвала нѣчто такое, чего не высказывала, а это невысказываемое и было самое существенное. Надо вспомнить, что тогдашняя польская эмиграція, вслѣдъ за своими передовыми людьми, и при явномъ и тайномъ одобреніи Европы, жила мыслию о необходимости польскаго верховенства, польской гегемоніи въ будущемъ федеративномъ союзѣ славянскихъ племенъ, стояла за право Польши требовать отъ близкихъ и дальнихъ своихъ соплеменниковъ, во имя своей высшей цивилизаціи и давней принадлежности къ европейской культурѣ, добровольной покорности и нужныхъ жертвъ для осуществленія этого протектората. Понимая неудобство излагать передъ русскими друзьями свою руководящую національную идею, польская эмиграція не ставила ее на видъ, когда рѣчь заходила о роли и призваніи различныхъ національностей славянскаго міра, а такая рѣчь заходила поминутно.

Много другихъ любопытныхъ соображеній, а подѣ-часъ и откровеній племенного духа и характера, высказывалось въ этихъ разговорахъ, но сообщать ихъ здѣсь, по разнѣрамъ и цѣлямъ нашей статьи, не предстоитъ возможности. Между прочимъ маститый Лелевель, жившій въ Брюсселѣ въ крайней и почетной бѣдности, изумилъ меня однажды правдой и откровенностію своихъ воззрѣній, хранимыхъ другими его соотечественниками только про себя. Впрочемъ, онъ и послѣднихъ изумлялъ тѣмъ же не разъ, какъ, напримеръ, въ извѣстной своей польской исторіи, гдѣ высказалъ столько горькой правды своему народу. Проѣздомъ черезъ Брюссель я встрѣтилъ Лелеведа въ излюбленномъ имъ кафе, на антресолихъ котораго онъ и жилъ, пользуясь трубой изъ его печи, проведенной мимо его комнаты и согрѣвавшей ее зимою. Регулярно каждый вечеръ онъ ходилъ въ кафе выпивать свою чашку кофе, причемъ расплачивался парой су, тщательно завернутыхъ въ бумажку. Послѣ непродолжительной бесѣды съ этимъ ветераномъ польскаго дѣла, я думалъ, что не услышу болѣе его голоса, но на другой день онъ зашелъ ко мнѣ и, не заставъ дома, оставилъ небольшую записку по-французски. Къ великому моему удивленію, я нашелъ въ ней королевскій трактатецъ о томъ, что въ русскомъ языкѣ, будто бы, не существуетъ словъ для выраженія понятій о личной чести и добродѣтели — *honneur, vertu*. Существующее слово *честь* въ русскомъ языкѣ выражаетъ, будто бы, одно понятіе о родовомъ или служеб-

номъ отличіи, и въ этомъ смыслѣ оно только и понималось у насъ искони, а добродѣтель есть составное слово, придуманное нами по нуждѣ, для обозначенія *психическаго* качества, котораго оно, однако же, нисколько не передаетъ. Такимъ образомъ, старикъ выходилъ на соглашеніе съ поднятымъ забраломъ и не скрывалъ своего настоящаго мнѣнія о контрагентѣ, съ которымъ намѣревался вступить въ сдѣлку.

Скрыть, впрочемъ, правду отъ глазъ русскихъ, минутныхъ своихъ доброжелателей, эмиграція все-таки не могла, и вызывала у нихъ подобную же затаенную національную думу. Русскіе выказывали передъ политическими врагами своими образцовое великодушіе, дѣлали всевозможныя уступки польскому патріотическому чувству, вѣрили ихъ обвиненіямъ и укорамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ держали въ сохранности заднюю мысль свою, подсказывавшую, что право на какое-либо главенство въ славянскомъ мірѣ, если о немъ позволительно еще думать, можетъ принадлежать только крѣпкому политическому тѣлу, какъ ихъ отечество, которое и есть настоящій представитель этого міра. Много надо было принимать предосторожностей, чтобы помѣшать этимъ тайнымъ, невыговариваемымъ мыслямъ — выдти наружу и разорвать международный миражъ, который успѣлъ образоваться въ Парижѣ, благодаря Б. По инстинктивному чувству опасности потерять возможность сходовъ, которыя если ничего не разрѣшали, то, по крайней мѣрѣ, пріучали людей другъ къ другу (и это уже было тогда не маловажнымъ дѣломъ), явилось обоюдное, не подготовленное заранее соглашеніе держать въ сторонѣ всѣ жгучіе народныя вопросы, полныя ссоръ и препирательствъ, предоставляя ихъ разрѣшеніе будущему времени, и ограничиться показѣмъ упражненіями въ гуманнхъ и благородныхъ чувствахъ, которыя такъ легко, удобно и эффектно выставлять на показъ. На этихъ основаніяхъ хорошее настроеніе всѣхъ членовъ кружка было обезпечено, и въ Парижѣ становилось однимъ праздникомъ больше. Такъ начинался польскій вопросъ въ русскомъ мірѣ, и я представляю здѣсь только фактъ, не разбирая его ни съ политической, ни съ нравственной точки зрѣнія, и не упоминая о его послѣдствіяхъ.

Кстати замѣтить, Б. самъ сознавался, что польскій вопросъ дорогъ ему особенно тѣмъ, что далъ возможность помѣстить куда-нибудь жизненные цѣли, пристроиться къ какой-либо дѣятельности. По высылкѣ изъ Парижа, онъ, въ октябрѣ 1847, написалъ къ друзьямъ, тамъ оставшимся, письмо изъ Брюсселя, изъ котораго извлекаю слѣдующія строки: «Я, вѣроятно, скоро долженъ буду снова ораторствовать; показѣмъ не говорите объ этомъ, кромѣ Т\* — дѣло еще не совсѣмъ рѣшено. Можетъ статься, что меня и отсюда

также прогонять—пусть себя гоняют, а я буду темъ смѣлѣе, лучше и легче говорить. Вся жизнь моя опредѣлялась до сихъ поръ почти ивольными изгибами, независимыми отъ моихъ собственныхъ предположеній; куда она меня поведетъ? Богъ знаетъ! Чувствую только, что возвратиться назадъ я не могу, и что никогда не измѣню своимъ убѣжденіямъ. Въ этомъ вся моя сила и все мое достоинство, въ этомъ также вся дѣйствительность и вся истина моей жизни, въ этомъ моя вѣра и мой долгъ; а до остального мнѣ дѣла нѣтъ: будетъ, какъ будетъ. Вотъ вамъ моя исповѣдь. Во всемъ этомъ много мистицизма, скажете вы,—да кто же не мистикъ? Можетъ ли быть запля жизни безъ мистицизма. Жизнь только тамъ, гдѣ есть широкій, безграничный и потому и нѣсколько неопредѣленный, мистическій горизонтъ; право, мы всѣ почти ничего не знаемъ, живемъ въ живой сферѣ, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шагъ нашъ можетъ ихъ вызвать наружу, безъ нашего вѣдома и часто даже независимо отъ нашей воли... Приѣмъ, сдѣланный мнѣ поляками, наложилъ на меня огромную обязанность, но вмѣстѣ *показалъ и далъ мнѣ возможность дѣйствовать*. Я знаю, что вы относитесь ко всему этому нѣсколько скептически, и вы съ своей стороны правы; и я тоже переношусь иногда на вашу точку зрѣнія, но что-жъ дѣлать—природы не измѣнить. Вы скептикъ—я вѣрующій—у cadaго изъ насъ свое дѣло. Но довольно объ этомъ. *G. замъ кланяется. Марксъ treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher*—портитъ работниковъ, дѣлая изъ нихъ резонѣровъ. То же самое теоретическое сумасшествіе и неудовлетворенное, недовольное обоимъ самодовольствіе и т. д.». Письмо это, кромѣ свидѣтельства о томъ, что не сущность польской пропаганды привлекала Б. (о ней нѣ отзывался очень свободно), а открываемая ею арена политической и агитаторской дѣятельности—письмо это, говорю, любопытно еще и въ другомъ отношеніи. Оно показываетъ автора въ настоящемъ его свѣтѣ, какъ романтическаго, мистическаго анархиста, чѣмъ нѣ всегда былъ, и чѣмъ объясняется его ненависть къ авторитетному, положительному и законодательствующему Марксу,—ненависть, которая продолжалась болѣе 25 лѣтъ и завершилась между ними *кандаломъ и полнымъ разрывомъ*. Впрочемъ, вскорѣ открылся для Б. и еще новый путь дѣятельности. Не прошло и 6-ти мѣсяцевъ, какъ переворотъ 1848 г. открылъ ему опять двери Парижа, куда нѣ и прибылъ, поселившись въ казармѣ съ работниками, составившими охрану и свиту революціоннаго префекта полиціи, извѣстнаго Кюсидьера. До того, Б. прислушивался къ социализму и знакомился съ руководителями его только какъ съ новымъ элементомъ, въ который могутъ опереться будущіе, замышляемые политическіе

перевороты. Теперь онъ убѣдился, что работники и социализмъ — самостоятельныя силы, способныя и сами вынести наверхъ, на своихъ плечахъ, человека съ даромъ слова, критическимъ талантомъ и природной изобрѣтательностью на почвѣ теорій, отвлеченныхъ построений и пышныхъ иллюзій. Онъ отдался фантастическому социализму съ тѣмъ же увлеченіемъ и съ тою же готовностію на жертвы, какъ и фантастическому полонизму, ему предшествовавшему.

Между тѣмъ, какъ русско-польскіе вдохновенные праздники торжествовали водвореніе вѣчнаго мира на сѣверѣ Европы, такіе же торжества происходили, по разнымъ поводамъ и въ разныхъ формахъ, во всѣхъ углахъ Парижа. Образованные иностранцы собственно для такихъ праздниковъ, съ великолѣпными спектаклями и апофеозами будущаго, и съѣзжались, почерпая въ нихъ свѣдѣнія о состояніи и направленіи умовъ въ отечествѣ всяческихъ реформаторскихъ попытокъ. Русская колонія не отставала ни отъ кого при этомъ, а Г. былъ часто самъ душой и героемъ подобныхъ праздниковъ. Онъ очень скоро сдѣлался, какъ и Б., изъ зрителя и *актера* участникомъ и *солистомъ* въ парижскихъ демократическихъ и социальныхъ хорахъ. Подъ электрическимъ дѣйствіемъ всѣхъ возбуждающихъ элементовъ города, живая природа Г. мгновенно пустила въ сторону ростки необычайной силы и роскоши, въ которыя вся и ушла, надрывая свое нормальное существованіе. Многосторонняя образованность Г. начинала служить ему всю ту службу, къ какой была способна, — онъ понималъ источники идей лучше тѣхъ, которые ихъ провозглашали, находилъ къ нимъ дополненія и очень часто поправки и ограниченія, ускользавшія отъ специалистовъ по даннымъ вопросамъ. Онъ начиналъ *удивлять* людей, и немного прошло времени съ его пріѣзда, какъ около него сталъ образовываться кругъ болѣе чѣмъ поклонниковъ, а, такъ-сказать, *любознителей* его со всѣми признаками страстной привязанности. Въ числѣ послѣднихъ находился и извѣстный эмигрантъ, поэтъ Г — гъ, который потомъ внесъ столько горя и страданія въ его личное и семейное существованіе. Не разъ при разгарѣ этого интеллектуальнаго пира въ Парижѣ, мнѣ вспоминались московскіе пиры села Соколова, сопровождавшіеся такимъ же нервнымъ возбужденіемъ умственныхъ и физическихъ силъ, но уже какая была разница въ содержаніи и строеніи!

Относительно изумленія, возбуждаемаго въ иностранцахъ обширностію пониманія нѣкоторыхъ русскихъ людей, способомъ ихъ ставить вопросы и признаками вообще необычайныхъ способностей можно было бы привести много любопытныхъ подробностей. Г. и Б. собирали дань этого изумленія, смѣшаннаго почти со страхомъ, едва не

каждомъ шагѣ. Они постоянно, послѣ встрѣчи съ знакомыми и  
и знакомыми лицами, оставляли ихъ въ раздумьи на счетъ загадоч-  
хъ натуръ такой силы мысли, такой смѣлости воззрѣній и языка,  
гающихся одинокими экземплярами развитія посреди своихъ зем-  
ковъ. Извѣстная замѣтка Мишле, пришедшаго даже въ смущеніе  
въ паюса, остроумія и широкихъ размаховъ одной прочитанной  
въ книги Г., показываетъ, что авторъ «Исторіи Франціи» до-  
льно тщательно искалъ объясненія этому новому для него явленію  
думалъ найти его въ швабско-русскомъ, а не чисто-славянскомъ  
онсхожденіи автора. Что касается до Б., то уже и тогда при-  
дили къ нему за совѣтомъ и разъясненіемъ по вопросамъ фило-  
рскаго, отвлеченнаго мышленія, и притомъ такіе люди, какъ, на-  
имѣръ, Прудонъ. Одинъ изъ умныхъ и развитыхъ французовъ,  
горькій видѣлъ пробѣлы въ умственномъ развитіи своей собственной  
раны—созывалъ ради Б. своихъ знакомыхъ и при этомъ говорилъ:  
вамъ покажу чудище (*une monstruosité*) по сжатой діалектикѣ и  
лучезарной концепціи сущности всяческихъ идей» (*par sa dia-  
tique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur  
ence*).

Если Г., какъ мы замѣтили выше, понесъ на себѣ слѣды па-  
жской жизни, то тѣмъ менѣе могла избѣжать заразы оныяющей  
мосферы большого города—тихая, сосредоточенная жена Г. Она  
еобразилась въ истую парижанку, усвоила себѣ яркую демократи-  
жскую окраску и горячо принимала къ сердцу интересы французской  
зни, восторгаясь и любясь разными, болѣе или менѣе, бѣдными  
страдающими людьми, выброшенными ею на улицу, и особенно  
ни полу-буржуа и полу-работниками, которые, кромѣ размышленій  
формъ будущаго, неизбежнаго переворота, никакого другого за-  
гя на свѣтѣ не имѣли. Домъ Г. сдѣлался подобіемъ Діонисіева  
а, гдѣ ясно отражался весь шумъ Парижа, малѣйшія движенія и  
ленія, пробѣгавшія на поверхности его уличной и интеллектуаль-  
й жизни. И только одна М. О. К., сопровождавшая Г. въ ихъ  
гешествіи, не захвачена была водоворотомъ и служила живымъ  
поминовеніемъ о недавно покинутой ими и уже позабываемой  
сквѣ. Больная, рѣдко выходившая изъ дома, посвятившая себя  
оду за дѣтьми и только издали прислушивавшаяся къ гулу, ко-  
ый пелся отъ всемірнаго города, она становилась какимъ-то ана-  
онизмомъ въ семьѣ, впрочемъ очень любившей и уважавшей ее.  
къ ни интересна была по своему содержанію и разнообразію новая  
тановка, въ которую попала теперь эта умная и многосторонне  
азованная женщина, но мысль ея постоянно жила въ кругу да-  
нихъ друзей, оставленныхъ въ Москвѣ и занятыхъ своими не

блестящимъ и не шумнымъ дѣломъ — спасти умы и нравственное чувство людей отъ загрубнѣя, наступающаго со всѣхъ сторонъ. Однимъ своимъ присутствіемъ въ домѣ Г. она говорила хозяевамъ и нѣкоторымъ изъ русскихъ гостей ихъ о другой культурѣ, о недавнихъ, уже пренебрегаемыхъ друзьяхъ, занятыхъ у себя дома невзрачной, подготовительной, черновой работой просвѣщенія. До нихъ ли было теперь при такомъ блескѣ, при такихъ очаровательныхъ дорогахъ, открытыхъ на всѣ стороны каждому умственному и нравственному побужденію и даже всякому капризу мысли! Въ образѣ М. Ѳ. К., стояла передъ Г. олицетворенная элегія съ горячими симпатіями къ прошлому, — а кто изъ тѣхъ, которые неслись теперь въ вихрь всяческихъ наслажденій европейскимъ міромъ и добной свободой, имѣлъ время останавливаться передъ элегіями или прислушиваться къ нимъ?!

### XXXIII.

Вскорѣ мнѣ уяснилось, что были и другія причины къ холодности между друзьями, переѣхавшими за-границу, и тѣми, которые остались дома, — посущественнѣе разсѣяній Парижа. Послѣ нѣсколькихъ, искреннихъ и довѣрчивыхъ бесѣдъ, — происходившихъ у насъ обыкновенно по ночамъ — въ Парижѣ, я не могъ сомнѣваться болѣе, къ великому моему изумленію, что въ глазахъ Г. и его семьи — Москва совершенно поблекла, лишилась своихъ красокъ, утеряла магическое слово, отворяющее сердца. Вся старая жизнь въ ней казалась уже Г. и его женѣ сухой стенью; на ней уже не росло болѣе трогательныхъ воспоминаній, да и тѣ, которыя оставались отъ давняго времени, видимо завяли, не поддерживаемы тщательныхъ уходомъ, который также необходимъ для воспоминаній, какъ для дѣтей и цвѣтовъ.

Переворотъ этотъ объяснить не совсѣмъ легко, потому что онъ вышелъ изъ довольно сложнаго психическаго процесса и воспитался массой очень тонкихъ нервныхъ раздраженій, — но несомнѣнно, что начался переворотъ еще въ Москвѣ и только довершился за-границей. Обстоятельство это пролило для меня большой свѣтъ на всѣ приемы Г. въ Парижѣ, на всю его судорожную торопливость поставить себя въ центръ новой жизни: другая, старая, которая могла бы служить ей противовѣсомъ, уже скрылась для него въ туманѣ и болѣе не существовала. Никто еще не возбуждалъ во мнѣ такъ сильнаго предчувствія, при первыхъ же шагахъ Г. на почвѣ европейскаго, что онъ приростетъ къ ней навсегда, что почва эта окон-

чужельно овладѣть имъ и уже не уступить его никакой другой, хотя фактическихъ поводовъ для такого пророчества пока еще и не представлялось ниткуда. Но я тогда не зналъ, что Г. просто старается нажить себѣ второе, духовное отечество, такъ какъ первое уже лишилось своей притягательной силы и существовало только какъ поводъ къ сожалѣнію, дружескому участию и великодушному предложенію посильныхъ услугъ, если потребуются.

Извѣстно, что незадолго до отъѣзда за-границу, Г. потерялъ отца и получилъ довольно значительное наслѣдство, сдѣлавшее его сравнительно богатымъ человѣкомъ. Рамки, въ которыхъ заключено было до того его московское существованіе, раздвинулись, но показались ему еще тѣснѣе, стѣснительнѣе, чѣмъ прежде; съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ поднялись и окрылились желанія, а желанія и стремленія у этого въ высшей степени сангвиническаго характера находились въ уровень съ его образованіемъ и мыслію. При томъ же для Г. наступала та пора жизни, когда человѣкъ испытываетъ обыкновенно мучительную потребность самой напряженной дѣятельности (ему шель 35-ый годъ); но простора для дѣятельности въ той формѣ и тѣхъ размѣрахъ, какіе ему были нужны, онъ, конечно, найти не могъ. Оставалось убивать весь избытокъ законившейся энергіи въ пустомъ мозговомъ одушевленіи, въ шумѣ дружескихъ собраний, въ поддержаніи или опроверженіи болѣе или менѣе дѣльныхъ тезисовъ на вечерахъ и по обѣдамъ; но, во-первыхъ, это не могло продолжаться долго, а во-вторыхъ, скоро оказалось, что и по этой тропинкѣ уже нельзя было двигаться. Центры прежнихъ собраний распались, дружескія интимныя сходы не удавались болѣе. Последнимъ особенно повредилъ переворотъ въ матеріальномъ бытѣ Г. и сравнительно богатая обстановка его дома, жившаяся, конечно, безъ всякаго преднамѣренія у новыхъ хозяевъ. Не было увлеченія, составлявшаго букетъ подобныхъ сходокъ въ прежнее время, когда онѣ возникали на общихъ издержкахъ, требовали нѣкотораго пожертвованія, вызывали хлопоты и хозяйскія соображенія. Г. рассказывалъ, что появленіе какого-нибудь серебрянаго подноса или канделябра въ его новомъ хозяйствѣ поражало такъ-бы нѣмотой его друзей: искренность и веселіе пропало, какъ только повстрѣчались съ готовымъ комфортомъ. Онъ относилъ это явленіе къ той каплѣ демократической зависти, которая живетъ въ сердцахъ даже самыхъ лучшихъ людей; но такое изъясненіе мнѣ казалось всегда несправедливостію: тутъ было сожалѣніе объ утраченныхъ условіяхъ прежняго скромнаго образа жизни. Когда уже казалось почти невозможнымъ собрать подъ одну кровлю близкихъ людей безъ того, чтобы не увидать признаковъ измѣненныхъ отно-

шеній съ ними, и когда скоро оказалось (о чемъ сейчасъ будетъ говорить), что они уже расходятся и въ пониманіи предметовъ—что оставалось дѣлать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были изслѣдованы до нитки, вопросы, казавшіеся особенно важными, переверочены на всѣ лады. Серьезной работы, въ которую можно было бы уйти и запереться отъ міра—не обрѣталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поѣдающій огонь дѣятельности чѣмъ ни попало. А между тѣмъ, почти 6-боекъ, существовала, въ формѣ западнаго міра,—просторная арена для безконтрольнаго удовлетворенія всѣхъ умственныхъ потребностей, но доступъ къ ней былъ невозможенъ, по особенному положенію Г. въ отечествѣ. Много усилій употребилъ онъ, чтобъ разорвать эту цѣпь, связывающую его движенія, и вѣроятно не успѣлъ бы, если бы В. А. Жуковский не принялъ участія въ его судьбѣ и не помогъ ему достигнуть цѣли.

Не менѣе любопытна и душевная исторія, пережитая въ эту же пору женою Г. И ей, какъ и мужу ея, страшно надоѣла дисциплина, которую ввелъ и неуклонно поддерживалъ тогдашній идеализмъ между друзьями. Наблюденіе за собой, отиетаніе въ сторону, какъ опаснаго элемента, нѣкоторыхъ побужденій сердца и натуры, неустанное хожденіе по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенныхъ мыслей,—все это походило на строгій монашескій искусь. Какъ всякій искусь, онъ имѣлъ свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимымъ при продолжительности. Любопытно, что первымъ, поднявшимъ знамя бунта противъ проповѣди о нравственной выдержкѣ и объ ограниченіи свободы отдаваться личнымъ физическимъ и умственнымъ поползновеніямъ былъ О. Онъ и привилъ къ обоимъ своимъ друзьямъ, Г. и его женѣ (особенно къ послѣдней), воззрѣніе на право cadaго располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленныхъ правилъ, столь же условныхъ и стѣснительныхъ въ официальной морали, какъ и въ приватной, и кую заводятъ иногда дружескіе кружки для своего обихода. Нѣтъ сомнѣнія, что воззрѣніе О. имѣло аристократическую подкладку, давая развитымъ людямъ съ обеспеченнымъ состояніемъ возможность спокойно и сознательно пренебрегать тѣми нравственными стѣсненіями, какія проповѣдываются людьми, незнавшими отъ роду обязанностей и наслажденій полной матеріальной и умственной независимости. Въ основѣ его лежало еще и уваженіе къ фیزیологическимъ потребностямъ лица, которыя всего менѣ признавались демократическими умами, искавшими установить общія правила и начала даже и для органическихъ и психическихъ отличій человѣка. Оно приняло въ вкусу тогдашнему Г., выбитому изъ обывденной колеи московскаго



ужескаго существованія, и это обстоятельство, вмѣстѣ съ сохранившейся нѣжностью къ товарищу своего дѣтства, объясняетъ то выское мнѣніе объ О., которое не разъ выражалъ Г., называя его ободнѣйшимъ человѣкомъ и умнѣйшей головой въ Россіи. То до вѣрно, что вліяніе О. имѣло неисчислимыя послѣдствія для саго Г., а также и для жены его.

Вся эта работа передвиженія съ одной точки зрѣнія на предгн — на другую, начавшаяся съ появленія О. въ Москвѣ, въ 46 г., — шла однакоже гораздо медленнѣе у Г., чѣмъ у его жены. не скоро отдѣлался отъ первоначальной философской своей заски. Несмотря на свое отреченіе отъ статутвъ идеалистическаго цѣна, къ которому принадлежалъ, несмотря на попытки *секулязовать*, такъ-сказать, свою жизнь, Г. долго и потомъ сохранялъ себѣ печать, приемы и сословныя отличія своего прежняго званія. Типъ строгаго учителя и нравственнаго проповѣдника остался нимъ и послѣ того, какъ онъ сошелъ, такъ-сказать, съ кафедръ поселился на публичномъ рынкѣ, раздѣляя его волненія, ропотъ жалобы. Отъ нѣкоторыхъ основныхъ началъ исповѣдуемой имъ когда философско-моральной доктрины онъ никогда уже и не отивался. Впослѣдствіи онъ даже казался, на основаніи именно его первороднаго грѣха, многимъ умамъ и характерамъ, позднѣе родившимся и уже не знавшимъ никакихъ стѣсненій, — полу-либеромъ и нерѣшительнымъ человѣкомъ. По наружности никакой перены въ способъ пользоваться своей жизнію и молодостью съ нимъ произошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ стоялъ на европейской почвѣ. ъ и прежде, не стѣсняясь началами и правилами, отдавался своцно влеченію мимолетной фантазіи, всякому затронутому чувству первому впечатлѣнію, но тогда еще у него сохранялось въ цѣлти сознаніе, что онъ остается тѣмъ же человѣкомъ, просвѣтленнмъ благодатію высшаго пониманія жизни, какимъ воспитала его да, что онъ не потерялъ способности судить правильно о собенныхъ увлеченіяхъ своихъ, и для сохраненія ихъ не продавалъ мей души и многихъ годовъ ея научнаго воспитанія. Также своцно распоряжался онъ и теперь своею парижскою жизнію, но съ орженіемъ въ нее политическихъ и соціальныхъ страстей — успотельной фикціи для совѣсти не существовало болѣе: всѣ эти званія имѣли свои уставы, нѣтъ не провѣренныя, очень требовательныя, а подѣ-часъ и возмущавшія непривычное къ нимъ ухо и рство; вдобавокъ они еще выдавали себя за догматы, безъ принія которыхъ къ нимъ и подступать не слѣдуетъ. Запасъ старыхъ никогда вполне не растраченныхъ моральныхъ убѣжденій составилъ у Г. уже ненужный къ нимъ придатокъ, потерялъ значеніе

*регулятора* мыслей и существовалъ безъ цѣли, иѣшая увѣровати нравственную сторону предметовъ окончательно, и не имѣя съ собою упразднить ихъ въ глубинѣ совѣсти, какъ ложные и подтвержденные продукты одного общественнаго, болѣзненнаго дуга. Положеніе могло выдти трагическимъ — и впоследствии такъ и вышло.

Наоборотъ, разложеніе старыхъ теорій и представленій отразилось полнѣе и рѣшительнѣе на душѣ бѣдной, воспримчивой, изной по характеру и природѣ, женѣ Г. — и переработало ее окончательно. Реакція противъ условій московскаго существованія налась у нея съ того мгновенія, когда она почувствовала непреодолимое отвращеніе къ *буржуазнымъ* добродѣтелямъ, которыя составляли основу всего быта, окружавшаго ее, но она внесла еще страсть въ свою критику. Ей уже сдѣлались не только скучны, но и позорны доблести при домашнемъ очагѣ, семейный героизмъ, вседовольный и гордый самими собой, и вѣчное прославленіе всѣхъ пожертвованій, трудовъ и добровольныхъ лишеній, которосносились передъ ея глазами на алтари разныхъ богѣ или непочтенныхъ молоховъ, величаемыхъ, по ея мнѣнію, идеями. Съ побудившейся жаждой къ расширенію своего существованія, она ненавидѣла нескончаемое хожденіе все въ одну сторону, по-солонь и объясняла устройство этой невыносимой церемоніи, походившейся ея глазахъ на раскольничье радѣніе, частію тѣмъ, что она необходима жрецамъ кружка для прикрытія ихъ слабой, апатической, раниченной природы, а частію тѣмъ, что она доставляетъ вообобщенныя истинности и побужденія потѣху гордаго самоуспокоенія. Никогда такъ радикально не относился самъ Г. къ старому кружку друзей, никогда не высказывалъ столько жестокости и справедливости въ приговорахъ надъ нимъ, никогда не отзывался о немъ съ такой ненавистью, цѣнилъ однако даже и въ спорахъ старинныя кружкомъ неслыханныя усилія его членовъ выносить и нести тяготы времени наиболѣе мужественно, благо разумно и зависимо. Но все это пропало изъ вида его жены, захлѣбилось кой-то наивной, незлобливой диффамацией прежнихъ друзей, и только приходилось вспоминать о нихъ. Жена Г. возлагала на отвѣтственность старыхъ знакомыхъ и долгую скуку презвѣстной жизни, между тѣмъ какъ настоящей причиной этой сибирѣ, какъ скоро объяснилось, запоздалый, нечтательный и безпечный романтизмъ. Несмотря на постоянное чтеніе серьезныхъ и странныхъ писателей, несмотря на философскій говоръ, раздѣлившій постоянно около жены Г. и, конечно, не щадившій никакія иллюзіи и фальшивыхъ рѣшеній вопросовъ, — душа ея имѣла

свои секреты, сберегала про себя тайны задачи и питалась, въ самомъ шумѣ скептическихъ изліяній, скрытными романтическими стремленіями и чаяніями. Но куда ни обращала она свои глаза — ничего похожаго на порядочный романтизмъ нигдѣ не оказывалось на лицо вокругъ нея. Она была счастлива въ мужѣ, въ семьѣ, въ друзьяхъ — и страдала отсутствіемъ поэзіи, которая не сопровождала всѣ эти благодатныя явленія, въ той мѣрѣ, какъ бы ей хотѣлось. Она предпочла бы поэтическія бѣды, глубокія несчастія, окруженныя симпатіей и удивленіемъ постороннихъ, и минутныя упоенія — тому простому безмятежному благополучію, которымъ наслаждалась. Задачей ея жизни сдѣлалось, такимъ образомъ, обрѣтеніе романтизма, въ томъ видѣ, какъ онъ существовалъ въ ея фантазіи: за нимъ она и погналась со страстію и неутомимостью искателя волшебныхъ кладовъ, надѣясь когда-нибудь напасть на его слѣды и вкусить отъ той испробованной немногими смертными амброзіи возвышенныхъ чувствъ, какую онъ готовитъ для своихъ вѣрныхъ слугъ, — узнать отраду небесныхъ ощущеній, имъ доставляемыхъ. Подъ конецъ жизни ей показалось, что она держитъ эту чашу съ волшебнымъ напиткомъ въ своихъ рукахъ, но при первомъ же прикосновеніи губъ — глубочайшее отвращеніе и жгучее раскаяніе во всемъ, что было сдѣлано для обладанія драгоценнымъ сосудомъ, овладѣло всѣмъ ея существомъ и свело преждевременно въ могилу.

Я не намѣренъ разсказывать здѣсь печальныя подробности болѣе головной, чѣмъ сердечной страсти, какъ она развилась на реальной почвѣ у этой все-таки замѣчательной женщины, но нѣкоторыя черты исторіи важны и для опредѣленія отношеній между различными эмиграціями.

Дѣло въ томъ, что поэтическая мечтательница ознакомилась съ жизнію по *романтизму*, которую наконецъ обрѣла въ Парижѣ черезъ посредство въ высшей степени развитой, изящной и вмѣстѣ холодной и эгоистически-сластолюбивой личности, какою и былъ вышеупомянутый Г — гъ. Личность эта, вдобавокъ, была еще двойной германской знаменитостію, — она прославилась лирическими пѣснями, призывавшими народы къ оружію, и радикализмомъ взглядовъ на правительство вообще, и на прусское въ особенности. Подъ мягкой, вкрадчивой наружностію, прикрываясь очень многостороннимъ, прозорливымъ умомъ, который всегда былъ на сторожѣ, такъ-сказать, и опираясь на изумительную способность распознавать малѣйшія душевныя движенія человѣка и къ нимъ поддаиваться, — чудная личность эта таила въ себѣ сокровища эгоизма, эпикурейскихъ склонностей и потребности лелѣять и удовлетворять свои страсти, чего бы то ни стоило, не заботясь объ участи жертвъ, кото-

рыя будуть падать падъ ножомъ ея свирѣпаго эгоизма. Всѣ средства своего образованія, развитія, дѣйствительно не совсѣмъ обыкновенныхъ, даже и въ кругу передовыхъ людей Европы, а также и своего нервнаго темперамента, часто разрѣшавшагося лирическими, вдохновенными вспышками и порывами,—всѣ эти средства, говорю, перепробовала замѣчательная личность, здѣсь описываемая, для дѣла обольщенія заѣзжей мечтательницы, для доставленія себѣ побѣды надъ всѣми запросами многотребовательной ея фантазіи. Долго отыскиваемый романтизмъ являлся теперь передъ женой Г. въ великолѣпномъ, ослѣпительномъ видѣ! Ловигринъ со сказочныхъ высотъ былъ передъ нею на лицо, и, только подойдя къ нему ближе, она вдругъ увидѣла, какой страшный образъ скрывается за ангельской маской, имъ усвоенной,—и въ ужасѣ, послѣднимъ сверхъестественнымъ движеніемъ воли, она вырвалась изъ его рукъ, измученная и оскорбленная. Можетъ быть, обольститель и дѣйствительно чувствовалъ нѣкотораго рода любовь и привязанность къ обреченной имъ жертвѣ, какъ это бываетъ у иныхъ преслѣдователей; но когда жертва ускользнула отъ него, любовь и привязанность пропали безслѣдно, а мѣсто ихъ заняли бѣшенство неудачи, жажда мести за помятое тщеславіе и за оскорбленіе, нанесенное его гордости и самолюбію. Онъ принялся публично бросать грязью въ женщину и семью, благополучіе которыхъ разрушилъ, употребляя при этомъ средства, возмущавшія даже и друзей его...

И вотъ, чѣмъ кончался романтизмъ для бѣдной женщины, предавшейся ему и поплатившейся за него жизнію, и вотъ какъ разрѣшались столкновенія наивной натуры съ человекомъ, принадлежащимъ къ типу людей, встрѣчающихся на Западѣ, и вооруженнымъ съ головы до ногъ, какъ для доблестныхъ, такъ и для всякихъ другихъ подвиговъ.

Всего печальнѣе и поучительнѣе въ этой исторіи—то, что Г. самъ ввелъ человека подобнаго закала въ свой домъ и самъ водворилъ его у себя. Позднѣе, Г. говорилъ, что обращеніе его съ этимъ человекомъ было болѣе *фамиллярное*, чѣмъ дружественное. Можетъ быть, это и такъ въ смыслѣ психической вѣрности, но мы всѣ видѣли его непрестанныя ухаживанія за нашимъ эмигрантомъ, его усилія выказаться передъ нимъ блестящими сторонами ума, купить его вниманіе. Такъ было, впрочемъ, на первыхъ порахъ у Г. и съ другими эмигрантами и знаменитостями радикальнаго міра — гораздо менѣе развитыми, чѣмъ тотъ, о которомъ мы говоримъ. Онъ и имъ открывалъ сокровища своего ума, сердца, расточалъ передъ ними блески остроумія и начитанности, не спрашивая, спо-

собны ли они еще понимать то, что имъ показывають такъ неразсчитисто.

Да куда же, спросать, дѣвалась способность Г. къ тонкому анализу характеровъ, о которой я говорилъ прежде, его сатирическая и полемическая *жизлка*, которая такъ сильно билась въ Москвѣ и помогала ему создавать такіе жѣткіе, часто безпощадные и уничтожающіе портреты знакомыхъ людей. Куда пропалъ признанный мастеръ разительно-схожихъ каррикатуръ и горячихъ эпиграммъ, имѣвшихъ все подобіе біографическихъ данныхъ? Они не пропали, какъ оказалось впоследствии, Г. не утерять, не лишился ни одной изъ прежнихъ своихъ силъ, но, въ поискахъ за новой духовной отчизной, онъ ихъ сдерживалъ искусственно, старался затоптать, запрягать подалѣе въ глубь души для того, чтобы добыть себѣ искусственную слѣпоту, дѣлавшуюся теперь уже необходимостью для оправданія себя. Онъ принималъ мѣры противъ своей прозорливости и склонности къ комическимъ разоблаченіямъ; на этомъ условіи только и могъ сохраниться, въ умѣ его, весь окружавшій его міръ въ качествѣ дѣйствительнаго, не призрачнаго существованія, но міръ этотъ не хотѣлъ знать объ усиліяхъ Г. понять его съ наилучшей стороны, а потребовалъ раздѣленія съ нимъ его предразсудковъ, предвзятыхъ идей, необдуманныхъ рѣшеній и плановъ. Г. склонился и въ эту сторону, и только когда чаша была переполнена, дѣйствительность сдѣлалась нестерпима, нагло-ясна въ своей несостоятельности — возвратились къ Г. прежнія качества ума, вся мощь глубокаго психолога-мыслителя, и онъ отдалъ на судъ будущихъ русскихъ людей, въ извѣстныхъ своихъ «Запискахъ» — какъ самого себя, такъ и типы дѣятелей, ведшихъ за собой политическія фаланги того времени. — Многое и другое еще возвратилось къ нему тогда...

При отъѣздѣ Г. за границу изъ Москвы, въ послѣдній разъ собрались около него всѣ друзья и сопровождали его до первой станціи петербургской дороги. Г. ѣхалъ на Петербургъ и въ омнибусъ: — желѣзнаго пути еще не было. Прощальный обѣдъ, устроенный на станціи, закончился, несмотря на шумное начало его, въ грустномъ настроеніи друзей — многіе изъ нихъ плакали. Чего-бы, кажись, плакать по случаю отъѣзда за границу, на болѣе или менѣе продолжительное время, молодой, исполненной силъ и надеждъ, семьи? Но виѣсть съ ней ѣхалъ еще человѣкъ, который, на зло всѣмъ недоразумѣніямъ, составлялъ еще такую необходимость въ жизни своихъ друзей, что утрата его, даже и на короткій срокъ, поразила ихъ — когда наступила минута разставанія. Что бы заговорили они, если бы могли предчувствовать, что для всѣхъ ихъ это была уже утрата вѣчная. Сопровождаемый горячими напутствіями, почти

страстными выраженіями любви и дружбы, Г. тронулся въ дальнѣйшій путь подъ трогательнымъ впечатлѣніемъ этой разлуки. Онъ довелъ впечатлѣніе свое всецѣло и до Парижа, да и въ послѣдующемъ развитіи его жизни оно не разъ возставало въ его памяти, хотя уже не могло примирить его съ покинутымъ и далеко оставленнымъ позади міромъ. Только въ минуты полного нравственнаго одиночества, испытаннаго имъ особенно передъ основаніемъ своего журнала, да въ минуты горькихъ раздумій о своемъ дѣлѣ, которое, чѣмъ бы онъ ни жертвовалъ для него, все-таки не давало ему полной натурализаціи въ сонмѣ европейскихъ дѣятелей—только тогда воспоминанія о Москвѣ—теплой, обильной струей приливали къ его сердцу и извлекали вопль страдающей души, доходившій и до друзей въ Вѣлокаменной. Онъ препоручалъ имъ своихъ дѣтей, преноручалъ имъ защиту собственнаго имени и взывалъ къ ихъ участию, поощренію, нравственной поддержкѣ. Оказалось, что жить безъ старыхъ связей съ Россіей становилось невыносимымъ сиротствомъ. Толпы людей, привлеченныхъ къ нему журнальнымъ полемъ, открытымъ имъ для искреннихъ и для корыстныхъ обличеній, для нуждъ общественной важности и для нуждъ личной нести и задѣятаго самолюбія—не могли ихъ замѣнить...

Такъ носила бурная, кипучая волна европейской жизни этотъ драгоценный самородокъ, брошенный въ нее изъ какой-то далекой, неизвѣстной планеты,—носила изъ стороны въ сторону, разбивая его и, конечно, не заботясь о томъ, куда его сложить и пристроить.

Иначе выразилось дѣйствіе той же европейской среды на другого и тоже замѣчательнаго русскаго человѣка, Василія Петровича Боткина. Г. уже не засталъ его въ Парижѣ, но я еще успѣлъ, до отъѣзда его обратно въ Россію, прожить съ нимъ цѣлый годъ и съѣздить съ нимъ еще лѣтомъ 1846 г. въ Тироль и Ломбардію, причемъ путешествіе наше совершалось довольно оригинальнымъ способомъ. Минуя публичныя кареты и diligences, насколько было возможно, а также и черезъ-чуръ гостепріимные дворцы съ отелями и ресторанами, мы ѣхали въ телегахъ и колясочкахъ мѣстныхъ промышленниковъ извоза, и три мѣсяца жили между крестьянами, подочниками, работниками, но народнымъ австеріямъ, рынкамъ и темнымъ закоулкамъ городовъ и селеній. Я сожалѣю, что не велъ дневника этой поѣздки, который могъ бы быть любопытенъ теперь, послѣ переворотовъ, обновившихъ Австрію и Италію...

Извѣстно, что В. П. Боткинъ женился на француженкѣ, пріѣхавшей ~~отсюда~~ ~~оттуда~~ ~~откуда~~ въ Россію и не думавшей никогда о формальномъ бракѣ, какъ и сама заявляла. Когда друзья Боткина захѣтели ему, что проектъ женитьбы на дѣвушкѣ, которая

ничего другого не желаетъ, какъ весело прожить съ любимымъ человекомъ болѣе или менѣе долгое время, представляетъ нѣкотораго рода странность,—Боткинъ пришелъ въ великое негодованіе. «Такъ вотъ чѣмъ кончается, говорилъ онъ, ваша гуманность и исканіе идеаловъ!—эксплуатировать женщину, натѣшиться ею и потомъ бросить, когда надоѣла—хорошія основы!» — Вракъ былъ совершенъ по всѣмъ обрядамъ, въ Казанскомъ соборѣ, но черезъ мѣсяцъ Боткинъ увидалъ свою ошибку, и бросилъ тотчасъ же несчастную женщину на произволъ судьбы, не желая уже болѣе и слышать о ней. Какъ всегда бываетъ, онъ возненавидѣлъ въ ней собственный промахъ и наказывалъ въ ней свой собственный грѣхъ. Выѣстъ съ тѣмъ вся одежда крайняго идеалиста, какую онъ носилъ постоянно, вопреки всѣмъ новымъ модамъ — вдругъ соскочила съ него, какъ въ театральномъ превращеніи у многоумнаго Фауста, обратившагося мгновенно въ бѣшенаго юношу. Онъ предался всей сенсуальной жизни, окунулся въ самый омутъ парижскихъ любовныхъ и всяческихъ приключеній, дополняя ихъ раздражающими впечатлѣніями искусства, въ которомъ кропотливо рылся, отыскивая тончайшія черты произведеній, что было видоизмѣненіемъ того же культа сенсуализму, которому онъ предался. Онъ отрывался отъ него, по временамъ, чтобъ освѣжить голову отъ хмѣля одуряющихъ наслажденій, и возвращался къ нимъ еще съ болѣею энергіей. Плодомъ такихъ *инициативныхъ* перерывовъ была его поѣздка въ Испанію и прекрасная книга его, за ней послѣдовавшая: «Письма изъ Испаніи». Изъ того же источника происходили и его занятія социальными и политическими вопросами, въ которыхъ онъ съ изумительной прозорливостію открывалъ и потомъ преслѣдовалъ малѣйшія черты скрытаго идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сдѣлавшіяся теперь предметами его ожесточенной ненависти. Въ такомъ настроеніи засталъ его и уже въ Москвѣ серьезный поворотъ дѣлъ, начавшійся повсемѣстно въ Европѣ, съ 1848 года. Никто болѣе его не испугался этого поворота, да поворотъ еще и укрѣпилъ въ немъ зародившееся настроеніе, такъ какъ оно могло служить нѣкоторымъ образомъ щитомъ и охраной противъ подозрѣній въ моральной склонности къ утопіямъ. На склонѣ жизни, съ ослабленіемъ силъ, и уже тогда, когда онъ самъ сдѣлался значительнымъ капиталистомъ, В. П. Боткинъ занялъ почетное и видное мѣсто въ рядахъ нашей ультра-консервативной партіи. Но онъ превратился въ ультра-консерватора на свой собственный манеръ, который ставилъ его неизмѣнно выше большинства его собратьевъ по убѣжденіямъ. Въ основу своего послѣдняго созерцанія, онъ положилъ, кромѣ чувства сохраненія своего общественнаго положенія,

которое у него всегда было очень живо, еще и доктрины двух великих современных мыслителей—Карлейля и Шопенгауера. Он почерпнул у первого его ненависть ко вседневной болтовнѣ журналистики и литературныхъ репортеровъ, выѣстъ съ ученіемъ о спасительной силѣ повиновенія великимъ авторитетамъ, просвѣтителямъ народовъ и двигателямъ исторіи, гдѣ бы они ни встрѣтились. Отъ второго онъ усвоилъ его глубочайшее презрѣніе къ толпѣ и народнымъ массамъ и его энергическія проклятія, беспредметному философствованію ушниковъ, разлагающихъ только безъ конца и цѣли одну собственную мысль. Такимъ образомъ, замѣчательный человѣкъ этотъ перешелъ множество стадій развитія, и только смерть помѣшала ему видѣть, во что слагается и чѣмъ кончается нашъ русскій консерватизмъ.

#### XXXIV.

Къ числу особенностей тогдашняго Парижа принадлежало еще и важное качество его—представлять для людей, ищущихъ почему-либо уединенія, самое тихое мѣсто во всей континентальной Европѣ. Въ немъ можно было притаиться, скрыться и заслониться отъ людей, не переставая жить общей жизнію большого, всесвѣтнаго города.

Не надо было употреблять и особенныхъ усилій для того, чтобы найти въ Парижѣ замиренный, такъ-сказать, уголокъ, изъ котораго легко и спокойно могло быть наблюдаемо одно ежедневное творчество города и народного французскаго духа вообще, что представляло еще занятіе, достаточное для наполненія цѣлыхъ дней и мѣсяцевъ. Такіе уголки добывались во всѣхъ частяхъ города—и притомъ за сравнительно небольшія пожертвованія <sup>1)</sup>. Отъ одного изъ такихъ уголковъ я былъ неожиданно оторванъ очень печальнымъ извѣстіемъ изъ Россіи. В. П. Боткинъ писалъ мнѣ, что Вѣлиинскій становится плохъ и приговоренъ докторами къ поѣздѣ за-границу, именно на воды Зальцбрунна, въ Силезію, начинавшія славиться своими цѣлебными качествами противъ болѣзней легкихъ. Друзья составили между собой подписку для отправленія туда больного; къ участію въ подпискѣ приглашалъ меня и Боткинъ. Я отвѣчалъ, что пріѣду самъ въ Зальцбруннъ и надѣюсь быть полезнѣе Вѣлинскому этимъ способомъ, чѣмъ какижъ-либо другимъ. Точно такое же рѣшеніе принялъ и И. С. Тургеневъ, находившійся тогда въ Берлинѣ. Онъ немедленно отправился на встрѣчу неопытнаго воя-

<sup>1)</sup> Въ такихъ уголкахъ жило много нѣмецкихъ ученыхъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ доканчивать свои работы, а изъ русскихъ въ это время тамъ находился Н. Г. Фроловъ, переводившій „Космосъ“ Гумбольдта, и П. Н. Еудравцевъ, дописывавшій диссертацию: „Судьбы Италіи“.



жера, мало разумѣвшаго по-нѣмецки и никогда еще не покидавшаго своей родины, въ Штеттинѣ, гдѣ и принялъ его подъ свое покровительство. Оба они и прибыли черезъ Берлинъ въ Оберъ-Зальцбруннъ, поселясь въ чистомъ деревянномъ домикѣ съ уютнымъ дворикомъ на главной, но далеко не блестящей улицѣ бѣднаго еще городка.

Итакъ, оторвавшись отъ всѣхъ связей въ Парижѣ и отложивъ на будущее время планы разныхъ путешествій, я направился въ июнѣ 1847 г. въ Зальцбруннъ. Переночевавъ въ Бреславлѣ, я на другой день рано очутился въ неизвѣстномъ мнѣ мѣстечкѣ, и на первыхъ же шагахъ по какой-то длинной улицѣ встрѣтилъ Тургенева и Бѣлинскаго, возвращавшихся съ водъ домой...

Я едва узналъ Бѣлинскаго. Въ длинномъ сюртукѣ, въ картузѣ съ прямымъ козырькомъ и съ толстой палкой въ рукѣ—передо мной стоялъ старикъ, который по временамъ, словно заставляя себя врасплохъ, быстро выпрямлялся и поправлялъ себя, стараясь придать своей наружности тотъ видъ, какой, по его соображеніямъ, ей слѣдовало имѣть. Усилія длились недолго и никого обмануть не могли: онъ представлялъ изъ себя очевидно организмъ, разрушенный на половину. Лицо его сдѣлалось бѣло и гладко, какъ фарфоръ, и ни одной здоровой морщины на немъ, которая бы говорила объ упорной борьбѣ, поддерживаемой человѣкомъ съ наплывающими на него годами. Страшная худоба и глухой звукъ голоса довершали впечатлѣніе, которое я старался скрыть, сколько могъ, усиливаясь сообщить развязный и равнодушный видъ нашей встрѣчѣ. Бѣлинскій, кажется, замѣтилъ подлогъ. «Перенесли ли ваши вещи къ намъ въ домъ»?—проговорилъ онъ торопливо и какъ-то сконфуженно, направляясь къ дому.

Вещи были перенесены—я поселился во второмъ этажѣ квартиры—и начался длинный, томительный мѣсяцъ безнадѣжнаго леченія, о которомъ старый широколицый, приземистый докторъ Зальцбрунна уже составилъ себѣ, кажется, понятіе съ перваго же дня. На всѣ мои разспросы о состояніи больного, о надеждахъ на улучшение его здоровья, онъ постоянно отвѣчалъ одной и той же фразой: «Да, вашъ пріятель очень боленъ». Болѣе новой или объясняющей мысли я такъ отъ него и не добился.

Каждое утро Бѣлинскій рано уходилъ на воды и, возвратясь домой, поднимался во второй этажъ и будилъ меня всегда одними и тѣми же словами—«проснися, сибаритъ». У него были любимыя слова и поговорки, къ которымъ привыкалъ и которыхъ долго не мѣнялъ, пока не обрѣтались новыя, обязанныя тоже прослужить порядочный срокъ. Такъ, всѣ свои довольно частые споры съ Турге-

невнимъ онъ обыкновенно начиналъ словами: «Мальчикъ,—берегитесь—я васъ въ уголъ поставлю». Было что-то добродушное въ этихъ прибауткахъ, походившихъ на дѣтскую ласку. «Мальчикъ-Тургеневъ» однако же высказывалъ ему подъ-часъ очень жесткія истины, особенно по отношенію къ неумѣнію Бѣлинскаго обращаться съ жизнію и къ его непониманію первыхъ реальныхъ ея основъ. Бѣлинскій становился тогда серьезенъ и начиналъ разбирать психическія и бытовныя условія, мѣшающія иногда полному развитію людей, хотя бы они и имѣли всѣ необходимыя качества для развитія; однако же многія слова Тургенева, какъ я замѣтилъ послѣ, западали ему въ душу, и онъ обсуждалъ ихъ еще и про себя нѣкоторое время. Какъ ни оживленны были, по временамъ, бесѣды наши, особенно когда дѣло касалось личностей и физіономій, оставленныхъ по ту сторону нѣмецкой границы, но онъ все-таки не могли наполнить цѣлаго лѣтнаго монотоннаго дня, и притомъ въ городкѣ, лишенномъ всякаго интеллектуальнаго интереса. Напрасно друзья перебирали свои воспоминанія за утреннимъ кофе, который всемѣрно дили, сидя подлѣ навѣсомъ барака, игравшаго на дворикѣ нашего домика роль курьёзной бесѣдки безъ сада и зелени; напрасно потомъ долгій «table d'hôte» въ какомъ-то ресторанѣ наполнялся анекдотами, передачей журнальныхъ новостей и замѣтокъ о прочитанныхъ книгахъ и статьяхъ — времени оставалось еще нестерпимо много. Притомъ же скоро оказалась необходимость понизить и тонъ всѣхъ разговоровъ. Случалось, что смѣхъ, вызванный какимъ-либо забавнымъ анекдотомъ—переходилъ у Бѣлинскаго въ пароксизмъ кашля, страшно и долго колебавшаго его грудь и животъ, а съ другой стороны—какая-либо замѣтка, принятая имъ къ сердцу, мгновенно выгоняла краску на его лицѣ и вызывала оживленное слово, за которымъ однако-жъ слѣдовало почти тотчасъ физическое изнеможеніе. Чисто растительная, животная жизнь въ перемежку съ чтеніемъ и общеніемъ нѣсколькихъ мыслей становилась необходимою; но Тургеневъ не могъ выдерживать этого режима. Онъ сперва нашелъ выходъ изъ него, принявшись за продолженіе «Записокъ Охотника», начало которыхъ появилось нѣсколькими мѣсяцами ранѣе и впервые познакомило его со вкусомъ полнаго, литературнаго и популярнаго успѣха. Онъ написалъ въ Зальцбруннѣ своего замѣчательнаго «Бурмистра», который поправился и Бѣлинскому, выслушавшему весь рассказъ съ вниманіемъ и сказавшему только о Пѣночкинѣ: «что за мерзавецъ—съ тонкими вкусами!» Но затѣмъ Тургеневъ уже не могъ долѣе насиловать свою подвижную природу, и однажды, послѣ полученія почты, объявилъ намъ, что уѣзжаетъ на короткое время въ Берлинъ—проститься съ знакомыми, отъѣзжающими въ Англію, но

что, проводивъ ихъ, снова вернется въ Зальцбруннъ. Онъ оставилъ даже часть вещей на квартирѣ. Въ Зальцбруннъ онъ не возвращался, вещи его мы перевезли съ собой въ Парижъ, самъ онъ чуть ли не побывалъ за это время въ Лондонѣ.

Молодые годы Тургенева были наполнены примѣрами такихъ неожиданныхъ поворотовъ въ сторону отъ предпринятаго дѣла, имѣвшихъ силу всегда удивлять и бѣсить его друзей, но надо сказать, что отклоненія эти выходили у него постоянно изъ одного источника. Тургеневъ тогда еще не могъ останавливаться долго на одномъ рѣшеніи и на одномъ чувствѣ—изъ опасенія замѣшкаться и упустить самую жизнь, которая бѣжитъ мимо и никого не ждетъ. Имъ овладѣвалъ родъ нервнаго безпокойства, когда приходилось только издали прислушиваться къ ея шуму. Онъ постоянно рвался къ разнымъ центрамъ, гдѣ она наиболѣе кипитъ, и сгоралъ жаждой ощупать возможно большее количество характеровъ и типовъ, ею порождаемыхъ, каковы бы они ни были. Не мало жертвъ принесъ онъ этому влеченію своей природы, становясь иногда рядомъ съ довольно ничтожными личностями, по своимъ стремленіямъ, и продолжая съ ними подолгу одинаковый путь, точно онъ былъ его собственный или особенно излюбленный имъ. Онъ никогда не раздѣлялъ безразличности большей части людей его круга, которая мѣшала имъ приближаться къ характерамъ и личностямъ извѣстнаго круга идей и строя жизни—и тѣмъ лишала ихъ значительной доли поучительныхъ наблюденій и выводовъ. Къ тому же, сознаніе разнообразныхъ средствъ успѣха, данныхъ ему образованіемъ и природой, затемняло еще тогда для Тургенева и жизненные цѣли. Въ эти годы молодости и ея увлеченій ему казалось еще, что онъ можетъ испробовать всѣ возможныя существованія и соединить въ себѣ солидныя качества писателя и художника съ качествами, нужными для пріобрѣтенія репутаціи побѣдителя на всѣхъ рынкахъ, ристалищахъ и аренахъ свѣта, какіе всякое нѣсколько развитое общество открываетъ своимъ празднымъ силамъ и тщеславію. Всѣ эти стремленія скоро улеглись подъ вліяніемъ столько же годовъ, сколько и труда надъ самимъ собой, особенно подъ отрезвляющимъ вліяніемъ сознаннаго имъ, наконецъ, литературнаго своего призванія; но ихъ еще помнятъ его прежніе сотоварищи, а нѣкоторые изъ нихъ помнятъ еще и съ цѣлью сдѣлать изъ этихъ давно угасшихъ стремленій основную черту его біографіи. Вотъ почему я и рѣшился дать здѣсь мѣсто моимъ воспоминаніямъ о сущности самаго явленія—въ надеждѣ, что они, воспоминанія эти, можетъ быть, помогутъ судить о немъ съ мѣрой и осторожностію, которыя не всегда сохраняются современниками нашего поэта-романиста.

При небольшомъ вниманіи уже и тогда постоянно сказывалось, что истинныя сочувствія Тургенева совершенно ясны и опредѣленны, несмотря на его равномѣрно-ласковое отношеніе къ самымъ разно-качественнымъ элементамъ общества; что истинныя привязанности и предпочтенія его не только имѣютъ обдуманныя основанія, но и способны къ продолжительной выдержкѣ. Впослѣдствіи все это обнаружилось ясно, но круги наши, привыкшіе вообще строго держаться въ своихъ границахъ, пугливо и подозрительно смотрѣть на все, что лежитъ за ними и о бокъ съ ними, долго не могли помириться съ упомянутой расточительностію Тургенева на связи и знакомства. Независимость всѣхъ движеній Тургенева, свободные переходы его отъ одного стана къ другому, противоположному, отъ одного круга идей къ другому, ему враждебному, а также и радикальныя перемены въ образѣ жизни, въ выборѣ занятій и интересовъ,—поочередно приковывавшихъ къ себѣ его вниманіе, были загадкой для строгихъ друзей его, и составили ему, въ средѣ ихъ, незаслуженную репутацію легкомыслія и слабохарактерности, но никто еще у насъ такъ часто не обманывалъ пророчествъ и опредѣленій своихъ критиковъ; никто такъ успѣшно не передѣлывалъ общественныхъ приговоровъ въ свою пользу, какъ именно Тургеневъ. Пока масса эксцентрическихъ анекдотовъ о немъ ходила по литературному міру, въ видѣ свидѣтельства о расположеніи его полагаться, для пріобрѣтенія себѣ почетнаго мѣста въ свѣтѣ, болѣе на эффектные слова и поступки, чѣмъ на содержаніе и достоинство ихъ—Тургеневъ ни о чемъ другомъ не думалъ, какъ о разборѣ явленій, полученныхъ имъ путемъ опыта и наблюденій, какъ о превращеніи ихъ въ свое умственное добро—и при этомъ разборѣ обнаружилъ качества мыслителя, поэта и психолога, поразившія его преждевременныхъ біографовъ. Такъ, между прочимъ, изъ близкихъ и дружескихъ сношеній съ разнородными слоями общества, не исключая и тѣхъ, которые стояли у нашихъ круговъ на *index*, считались слоями отверженными и недостойными вниманія, возникла у Тургенева та, смѣю выразиться, *нужда справедливости* по отношенію къ людямъ и—какъ необходимая ея окраска—то благо-расположеніе къ нимъ, которыя составили ему другую и уже болѣе вѣрную репутацію—чрезвычайно симпатическаго, доброжелательнаго и *много понимающаго* человѣка въ нашемъ русскомъ мірѣ.

Очень скоро Тургеневъ сдѣлался на цѣлый литературный періодъ излюбленнымъ человѣкомъ этого многосложнаго русскаго міра, который признавалъ въ немъ свое довѣренное лицо и поручилъ ему ходатайство по всѣмъ своимъ дѣламъ. А дѣла эти всѣ были невещественнаго свойства и состояли преимущественно въ отыскиваніи

авъ на сочувствіе къ нравственнымъ и умственнымъ представле-  
мъ русскаго міра. Тургеневъ оказался не ниже задачи. Почти  
самаго начала литературнаго поприща онъ успѣлъ открыть въ  
этомъ народѣ цѣлый строй замѣчательныхъ представлений и  
необычной морали, что особенно было цѣнно, такъ какъ дѣло  
шло о робкомъ и застѣнчивомъ классѣ общества, который не  
вѣтъ, да и вообще не любитъ говорить о себѣ и про себя. Пе-  
юся ту же пытливость анализа на другіе классы общества, Тур-  
гевъ сдѣлался въ Россіи лѣтописцемъ и историкомъ умственныхъ  
душевныхъ томленій всего своего времени по разрѣшенію настоя-  
тельныхъ запросовъ пробужденной мысли, очнушагося ума и сердца,  
которые не знали покамѣстъ, какъ найти для себя выходъ и что  
собою дѣлать. Въ сущности, вся литературная дѣятельность Тур-  
гева можетъ быть опредѣлена какъ длинный, подробный и поэ-  
тически-объясненный реестръ идеаловъ, какіе ходили по русской  
лѣ, между разнородными слоями ея образованнаго и полу-обра-  
заннаго населенія, въ теченіе 30 лѣтъ и посреди обычной обста-  
нки жизни и суровыхъ условій существованія, въ которыхъ она  
спасалась. Тургеневъ открылъ особенное творчество на Руси, твор-  
ство въ области идеаловъ, и какъ бы мечтательны, молоды, пе-  
льны ни были на видъ эти идеалы, какой бы характеръ частнаго до-  
пняго дѣла, единичныхъ, разрозненныхъ стремленій мысли и чувства,  
носили они на себѣ,—поучительная сторона ихъ заключалась въ  
новизности съ тѣмъ, чѣмъ русская жизнь тогда особенно кичи-  
ь и что обыкновенно производила. Но внутренній смыслъ вся-  
хъ идеаловъ, даже и самыхъ скромныхъ, такъ привлекателенъ и  
адаетъ такой силой возбуждать вниманіе и сочувствіе, что на-  
хъ останавливаются подѣ-часъ и умы, далеко ушедшіе по лѣст-  
цѣ научнаго и гражданскаго развитія. Идеалы вообще есть се-  
ное добро всего образованнаго человѣчества, а при этомъ часто  
чается, что и не значительная вещь становится дорогой по вос-  
инаніямъ и мыслямъ, съ нею связаннымъ. Вотъ почему едино-  
сное, почти восторженное одобреніе, какимъ были встрѣчены на-  
адѣ рассказы Тургенева, объясняется,—кромѣ мастерства изло-  
ія, ему свойственнаго и удивившаго искушенный художническій  
съ Европы, кромѣ любопытства, возбужденнаго картинами неиз-  
тной, своеобразной культуры,—еще и тѣмъ, что рассказы эти  
нимали край завѣсы, за которой можно было усмотрѣть тайну  
овноя и общечеловѣческой производительности у новыхъ, чуж-  
хъ людей, работу ихъ сознанія и страдающей мысли. Мы слы-  
и въ послѣднее время, что старшій Гизо, прочитавъ «Гамлета  
игровскаго уѣзда» Тургенева, увидалъ въ этомъ рассказѣ такой

глубокій психическій анализъ обще-человѣческаго явленія, что пожелалъ познакомиться и лично поговорить о предметѣ съ его авторомъ. Мнѣнія философа и критика—Тэна, а также и Ж.-Занда, о рассказѣ: «Живныя мощи», извѣстны. Последняя писала автору: *Nous tous, nous devons aller à l'école chez vous.* Уже не говорю о рецензентѣ и историкѣ беллетрическихъ произведеній Германіи, Юліанѣ Шмидтѣ, который провозгласилъ Тургенева—королемъ современной новеллы. Трудно и пересчитать всѣ симпатическіе отзывы иностранцевъ о дѣятельности нашего романиста.

Тургеневъ не измѣнилъ качествамъ своего творчества и тогда, когда позднѣе вывелъ передъ публикой типы и образы сдѣлаго отрицательнаго характера: и на этихъ холодныхъ фizioноміяхъ лежатъ еще огненные слѣды какого-то давняго прохода по нимъ тѣхъ же волненій, катастрофъ и паденій, какіе вызывались идеальными стремленіями у людей предшествовавшей эпохи вообще. По всей справедливости, Тургенева можно бы было назвать искателемъ душевныхъ *кладовъ*, таящихся въ нѣдрахъ русскаго міра, и притомъ искателемъ, обладающимъ необманчивыми примѣтами для добыванія ихъ: онъ разрылъ многое множество существованій съ цѣлью получить вещественное свидѣтельство о той идеѣ, *idée fixe*, которая ихъ питаетъ и служитъ путеводною звѣздой въ жизни, и никогда не удалялся съ пустыми руками отъ работы, вынося, если не цѣльныя дорогія, психическія откровенія, то въ крайнемъ случаѣ зачатки и пробы идеальныхъ созерцаній. Все это и сдѣлало его толкователемъ своей эпохи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и первокласснымъ писателемъ въ отечествѣ и за-границей. Полное развитіе однакоже всѣхъ творческихъ пріемовъ Тургенева, не пренебрегавшихъ и раздражающими красками, жесткими словами, ядовитыми намеками для опредѣленія грубой, пошлой, обычной русской дѣйствительности, и открывавшихъ въ то же время теплыя, цѣлительныя струи, какія просачиваются въ этой же самой дѣйствительности—все это творчество, говорю, тогда лежало еще впереди. Тургеневъ еще только собиралъ для него матеріалы.

И. С. Тургеневъ остался за границей во Франціи и по отъѣздѣ Бѣлинскаго во-своися. Онъ жилъ почему-то довольно долго въ провинціи (въ Brie, и чуть ли не замкѣ Ноганъ, помѣстьи Ж.-Зандъ), а когда наѣзжалъ въ Парижъ, то довольно разсѣяннo прислушивался къ толкамъ соотечественниковъ, интересуясь не столько предметами, которые ихъ занимали, сколько проявленіемъ ихъ характеровъ, психическими основами ихъ мнѣній, причинами, которыя опредѣляли у нихъ тотъ или другой выборъ доктринъ и созерцаній. Изученіе лица стояло у него всегда на первомъ планѣ;

бѣжденія цѣнились не столько по своему содержанію, сколько по вѣту, какой они бросаютъ на внутреннюю жизнь человѣка. Черту эту онъ раздѣлялъ съ большинствомъ художниковъ и вообще съ психологами по природѣ. Художникомъ и психологомъ былъ онъ и о отношеніи къ самому себѣ. Двойной анализъ—эстетическій и оральный, какому сталъ онъ рано подвергать самого себя, подъ овецъ переработалъ всю его нравственную фیزیономію, потушивъ уету пустыхъ исканій, погоню за напускными чувствами и волненіями, необходимыми для эфемерныхъ триумфовъ. Европейская жизнь него помогла ему въ этомъ трудѣ надъ собой. Вообще говоря, Европа была для него землей обновленія: корни всѣхъ его стремленій, основы для воспитанія воли и характера, а также и развитія самой мысли заложены были въ ея почвѣ—и тамъ глубоко развѣтвились и пустили отпрыски. Понятно становится, почему онъ предпочиталъ съ-молода держаться на этой почвѣ, пока совсѣмъ не твердился на ней. Не мало упрековъ отъ соотечественниковъ вынесъ онъ на вѣку своемъ за это предпочтеніе, казавшееся имъ обиднымъ; въкоторые изъ нихъ видѣли тутъ даже отсутствіе національных бѣжденій, космополитизмъ обезпеченнаго человѣка, готоваго провѣнять гражданскія обязанности свои на комфортъ и легкія поѣздки заграничнаго существованія, и проч. и проч. Ни въ одномъ изъ взводимыхъ на него преступленій Тургеневъ, конечно, не провинился, да ими и не могъ провиниться человѣкъ, литературная дѣятельность котораго—то-есть, другими словами, вся задача жизни—ничего иного никогда и не высказывала, кромѣ постоянной, пламенной думы о своемъ отечествѣ, и который жилъ ежедневной мыслію о немъ, гдѣ бы ни находился, что хорошо извѣстно и старымъ и новымъ его знакомымъ. Не отсутствіе народныхъ симпатій въ душѣ и не надменное пренебреженіе къ строю русской жизни дѣлали Европу необходимою для его существованія, а то, что дѣлалъ обильнѣе текла умственная жизнь, поглощающая пустыя стремленія, что въ Европѣ онъ чувствовалъ себя болѣе простымъ, дѣльнѣе, вѣрнымъ самому себѣ и болѣе свободнымъ отъ вздорныхъ искушеній, чѣмъ когда становился лицомъ къ лицу съ русской дѣятельностію.

Особенно важно замѣтить, что и въ то время, и позднѣе, никакого разрыва съ отечествомъ не могло существовать у Тургенева—уже и потому, что онъ всегда оставлялъ тамъ часть своего существованія, куда бы ни уходилъ, предметъ страсти, такъ-сказать, именно русскую литературу,—понимая подъ этимъ словомъ художническую, критическую и публицистическую дѣятельность. Другая—ученая литература жила тогда въ замѣнутыхъ кругахъ и съ обще-

ствомъ сношеній не вела. На той, первой, популярной литературѣ и сосредоточились всѣ помыслы Тургенева. Извѣстно, что въ то время русская литература считалась ступенью къ изученію законовъ и условій искусства. Люди той эпохи видѣли въ занятіи искусствомъ единственную, оставшуюся имъ тропинку къ нѣкотораго рода общественному дѣлу: искусство составляло почти спасеніе людей, тамъ какъ позволяло имъ думать о себѣ, какъ о свободно-мыслящихъ людяхъ. Никогда уже послѣ того *идея* искусства не понималась у насъ такъ обширно и въ такомъ универсальномъ, политико-соціальномъ значеніи, какъ именно въ эти годы затишья. Искусствомъ дорожили: это была единственная цѣнность, которая находилась въ обращеніи, и какой люди могли располагать. Каждая теорія искусства, присвоивавшая, добывавшая ему новыя утѣшительныя области, каждое расширеніе его вѣдомства, принимались съ великой благодарностью. Чѣмъ просторнѣе становилось въ своихъ владѣніяхъ искусство, чѣмъ далѣе отодвигались его границы, — тѣмъ сильнѣе увеличивалось число предметовъ, подлежащихъ публичному обсужденію. Вся работа общественной мысли возложена была на одного только агента ея, и такое пониманіе искусства жило почти во всѣхъ умахъ, но, разумѣется, сильнѣе появлялось у присяжныхъ дѣателей его. Такъ и у Тургенева — привязанность къ русской литературѣ и искусству составляла органическое чувство, одолѣть которое уже были не въ силахъ никакіе посторонніе соблазны и впечатленія. Вѣлинскій высоко цѣнилъ это качество своего друга. Для Тургенева и многихъ его современниковъ, послѣ народа, ничего болѣе важнаго и болѣе достойнаго вниманія и изученія, чѣмъ русская литература, вовсе и не существовало въ Россіи: ее одну они тамъ и видѣли, и на нее возлагали всѣ свои надежды. Другіе голоса, которые рядомъ съ нею неслись оттуда и подъ-часъ настойчиво требовали вниманія и уваженія къ себѣ, проходили безъ отзвука въ ихъ мысли. Для Тургенева, — да, повторяю — и для многихъ другихъ еще за нимъ — слѣдить за русской литературой значило — слѣдить за первенствующимъ (если не единственнымъ) воспитывающимъ и цивилизующимъ элементомъ въ Россіи.

Убѣжденіе это связывалось еще съ представленіемъ дѣльнаго литератора какъ неизбѣжно высоко-нравственнаго лица; занятіе литературой, казалось всѣмъ, требуетъ прежде всего чистыхъ рукъ и возвышеннаго характера. Можно было бы привести много примѣровъ, гдѣ это мнѣніе высказывалось отъ имени публики. Гоголь, котораго нельзя упрекнуть въ потворствѣ литераторамъ, рассказавъ въ своей извѣстной «Перепискѣ» случай, когда одного какого-то писателя, провинившагося неблаговиднымъ поступкомъ въ провинціи,



известный член общества остановилъ строгимъ выговоромъ, кончавшимся замѣчаніемъ: «а еще литераторъ!» Тургеневъ подержалъ свое страстное чувство къ литературѣ и свои заботы о ней — на самомъ дѣлѣ. Многіе изъ его товарищей, видѣвшіе воззрожденіе «Современника» 1847 г., должны еще помнить, какъ опоталъ Тургеневъ объ основаніи этого органа, сколько потратилъ онъ труда, помощи совѣтомъ и дѣломъ на его распространеніе и укрѣпленіе. Первые №№ «Современника» содержатъ, кромѣ начала «Записокъ Охотника», еще нѣсколько историческихъ и критическихъ замѣтокъ Тургенева, не попадавшихъ въ полное собраніе «Сочиненій». Кстати сказать: эстетическія и полемическія зачатки Тургенева носили всегда какой-то характеръ *междудѣлья*, иначались умомъ, но никогда не обладали той полнотой содержания, которая необходима для того, чтобы сказанное слово осталось въ памяти людей. То же самое сужденіе можетъ быть приложено и къ его позднѣйшимъ объясненіямъ съ критиками и недоброжелателями, къ его исповѣданіямъ своихъ мнѣній (*professions de foi*), пожеланіямъ и дополненіямъ его созерцаній и проч. Они не удовлетворяли ни тѣхъ, къ кому относились, ни публику, которая слѣдила за его мнѣніями. Тургеневъ овладѣвалъ вполне своими темами, становился убѣдительнымъ только тогда, когда разъяснялъ предельно и самого себя на аренѣ художественнаго творчества. Русская литература, прикрѣпленная тогда исключительно къ этой аренѣ и разными обширнымъ и мелкимъ ея отдѣламъ, становилась такъ важнымъ жизненнымъ явленіемъ, что за нею въ глазахъ Тургенева должно было пропасть и пропадало все, что дѣлалось друго на родинѣ. Настоящее дѣло было въ однѣхъ ея рукахъ — и онъ думалъ о русской журналистикѣ, публицистикѣ и русской художественной дѣятельности вообще не онъ одинъ, какъ уже мы знаемъ.

Вотъ почему, между прочимъ, Тургеневъ хладнокровно обошелъ всѣ идеи и доктрины тогдашней русско-парижской колоніи: они искали изъ другихъ источниковъ, чѣмъ тѣ, въ которыхъ онъ полагалъ настоящую, цѣлебную силу. Русскій «политическій» чело-вѣкъ представлялся ему пока въ типѣ первокласснаго русскаго писателя, создающаго вокругъ себя публику и заставляющаго слушать и поневолѣ.

Очень характеристично для этого отдаленнаго времени то обстоятельство, что исключительная любовь Тургенева къ литературѣ еще казалась подозрительной и навлекъ ему непріятности. По возвращеніи въ Россію въ 1851 г., Тургеневъ былъ потрясенъ извѣстіемъ о смерти Гоголя (1852), и послалъ въ одну московскую

газету нѣсколько горячихъ строкъ сочувствія къ погибшему дѣятелю уже послѣ того какъ въ Петербургѣ состоялось распоряженіе о допущеніи надгробныхъ панегириковъ автору «Мертвыхъ Душ». Никто не освѣдомился, зналъ ли или не зналъ Тургеневъ о состоявшемся распоряженіи и можно ли было даже, предполагая, что распоряженіе было ему извѣстно, поставить ему въ вину желаніе провести свою статейку въ свѣтъ, такъ какъ для достиженія своего желанія онъ не нарушалъ никакихъ положительныхъ законовъ и подвергъ статью обыкновенному цензурному ходу, только на рѣшительномъ нѣсколькихъ сотъ верстъ отъ Петербурга — въ Москвѣ. Тогдашній предсѣдатель цензурнаго комитета въ Петербургѣ (Мусин-Пушкинъ) однакоже усмотрѣлъ въ бѣгствѣ статьи изъ-подъ «вѣдомства и появленіи ея въ Москвѣ *ослушаніе начальству*, и въ слѣдствіе былъ нѣсячный арестъ Тургенева при одной изъ Сѣзскихъ и затѣмъ высылка въ деревню на жительство. Благодаря этому, Сѣзская, гдѣ онъ содержался (у Большого театра, межъ Екатерининскимъ каналомъ и Офицерской улицей), попала въ русскую литературу и сдѣлалась *исторической* Сѣзской. Тамъ, среди разныхъ домашнихъ расправъ полиціи, бывшихъ тогда еще въ полномъ цвѣтѣ, но въ квартирѣ самого частнаго пристава, куда былъ переведенъ по повелѣнію Государя Наслѣдника (нынѣ цесаревича Императора), Тургеневъ написалъ тотъ маленькій очеркъ, который не утерять и доселѣ способности возбуждать вниманіе читателя, именно рассказъ «Муму». На другой день своего освобожденія и передъ выѣздомъ въ ссылку, онъ намъ и прочее его. Истинно трогательное впечатлѣніе произвелъ этотъ рассказъ вынесенный имъ изъ сѣзскаго дома, и по своему содержанію, и по спокойному, хотя и грустному тону изложенія. Такъ отвѣчалъ Тургеневъ на постигшую его кару, продолжая безъ усталы начатую и дѣятельную *художническую* пропаганду по важнѣйшему политическому вопросу того времени.

Послѣ этого отступленія, которое, въ виду разнорѣчивыхъ тѣнъ о замѣчательномъ человѣкѣ, порожденномъ той же эпохой 40-хъ годовъ, казалось мнѣ совершенно необходимымъ — возвращенью назадъ. Итакъ, послѣ отъѣзда Тургенева, мы остались съ Бѣлинскимъ вдвоемъ, съ глазу на глазъ, въ Зальцбруннѣ.

### XXXV.

Бѣлинскій явился мнѣ въ эти дни долгихъ бесѣдъ и каждаго часаго общенія мыслей совершенно въ новомъ свѣтѣ. Страстная натура, какъ ни была уже надорвана мучительнымъ недугомъ, е

далеко не походила на потухшій вулканъ. Огонь все тлился у Бѣлинскаго подъ корой наружнаго спокойствія и пробѣгалъ иногда по всему организму его. Правда, Бѣлинскій начиналъ уже бояться самого себя, бояться тѣхъ еще не порабощенныхъ силъ, которыя въ немъ жили, и могли при случаѣ, вырвавшись наружу, уничтожить за-разъ все плоды прилежнаго леченія. Онъ принималъ мѣры противъ своей впечатлительности. Сколько разъ случалось мнѣ видѣть, какъ Бѣлинскій, молча и съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное имъ ощущеніе сильно вѣдалось въ его душу, а онъ считалъ нужнымъ оторваться или освободиться отъ него. Минуты эти походили на особый видъ душевнаго страданія, присоединеннаго къ физическому, и не скоро проходили: мучительное выраженіе довольно долго не покидало его лица послѣ нихъ. Можно было ожидать, что, несмотря на все предосторожности, наступитъ такое мгновеніе, когда онъ не справится съ собой,—и, дѣйствительно, такое мгновеніе наступило для него въ концѣ нашего пребыванія въ Зальцбруннѣ.

Надо знать, чѣмъ былъ за полгода до своей смерти Бѣлинскій, чтобы понять весь пафосъ этого мгновенія, имѣвшаго весьма важныя послѣдствія, и отъ дальнѣйшихъ и окончательныхъ результатовъ котораго освободила его только смерть. Я подразумѣваю здѣсь извѣстное его письмо къ Гоголю, много потерявшее теперь изъ первоначальныхъ своихъ красокъ, но въ свое время раздавшееся по интеллектуальной Россіи, какъ трубный гласъ. Кто повѣритъ, что когда Бѣлинскій писалъ его, онъ былъ уже не прежній боецъ, искавшій битвы, а, напротивъ, человѣкъ, наполовину замиренный и потерявшій вѣру въ пользу литературныхъ споровъ, журнальной полемики, трактатовъ о теченіяхъ русской мысли и рецензій, уничтожающихъ болѣе или менѣе шаткія литературныя репутаціи.

Мысль его уже обращалась въ кругу идей другого порядка и занята была новыми нарождающимися опредѣленіями правъ и обязанностей человѣка, новой *правдой*, провозглашаемой экономическими ученіями, которая упраздняла все представленія старой, отрицаемой правды, о нравственномъ, добромъ и благородномъ на землѣ, и ставила на ихъ мѣсто формулы и тезисы разсудочнаго характера. Бѣлинскій давно уже интересовался, какъ мы видѣли прежде, этими проявленіями пытливаго духа современности, но о какомъ-либо приложеніи ихъ къ русскому міру, гдѣ еще не существовало и азбуки для разбора и разумѣнія ихъ языка,—никогда не помышлялъ. Онъ пришелъ только къ заключенію, что дѣло развитія каждой отдѣльной личности, ищущей нѣкоторой высоты и свободы для своей мысли, должно сопровождаться посильнымъ участіемъ въ изслѣдованіи свойствъ

и элементовъ того потока политическихъ и социальныхъ идей, въ который брошены теперь цивилизація и культура Европы. Для облегченія этой работы, необходимой для каждой мало-мальски мыслящей и *совѣстливой* личности, Вѣлинскій и начиналъ думать, что слѣдовало бы и въ русской литературѣ установить коренныя точки зрѣнія на европейскія дѣла, съ которыхъ и могла бы начинаться независимая работа критики у насъ и свободное изслѣдованіе всего ихъ содержанія.

Одного только не могъ онъ переносить: спокойствіе и хладнокровное размышленіе покидало его тотчасъ, какъ онъ встрѣчался съ сужденіемъ, которое, подъ предлогомъ неопредѣленности или неубѣдительности европейскихъ теорій, обнаруживало попопзновеніе позорить труды и начинанія эпохи, не признавать честности ея стремленій, подвергать огуломъ насмѣшкѣ всю ея работу, на основаніи тѣхъ самыхъ отжившихъ традицій, которыя именно и привели всѣхъ къ нынѣшнему положенію дѣлъ. При встрѣчѣ съ ораторствомъ или диффамацией такого рода, Вѣлинскій выходилъ изъ себя, а книга Гоголя «Переписка съ друзьями» была вся, какъ извѣстно, проникнута духомъ недоувѣрчивости и наглого презрѣнія къ современному движенію умовъ, которое еще и плохо понимала. Вдобавокъ, она могла служить и тормазомъ для возникавшихъ тогда въ Россіи плановъ крестьянской реформы, о чемъ скажу ниже. Негодованіе, возбужденное ею у Вѣлинскаго, долго жило въ скрытномъ видѣ въ его сердцѣ, такъ какъ онъ не могъ излить его вполне въ печатной оцѣнкѣ произведенія по условіямъ тогдашней цензуры, а потому, лишь представился ему случай къ свободному слову, — оно потекло огненной лавой гнѣва, упрековъ и обличеній.

Понятно, однако же, что съ новымъ настроеніемъ Вѣлинскаго волненія и схватки русскихъ литературныхъ круговъ, въ которыхъ онъ еще недавно принималъ такое живое участіе, отошли на задній планъ. Онъ даже начиналъ смотрѣть и на всѣ собственную дѣятельность свою въ прошломъ, на всю изжитую имъ самую борьбу съ литературными противниками, гдѣ такъ много потрачено было силъ и здоровья на пріобрѣтеніе кажущихся побѣдъ и очень реальныхъ страданій, какъ на эпизодъ, о которомъ не стоить вспоминать. Такъ выходило, по крайней мѣрѣ, изъ его суровой, несправедливой оцѣнки самого себя, которую въ послѣдніе мѣсяцы его существованія не одинъ я слышалъ отъ него. Вѣлинскій становился одинокимъ посреди собственной партіи, несмотря на журналъ, основанный во имя его, и первымъ симптомомъ выхода изъ ея рядовъ явилась у него утрата всѣхъ *старыхъ антипатій*, за которыя еще крѣпко держались его послѣдователи, какъ за средство сообщать видъ стой-

ти и энергіи своимъ убѣжденіямъ. Онъ до того удалился отъ жковаго настроенія, что получилъ возможность быть справедливымъ и, наконецъ, упразднилъ въ себѣ всѣ закоренѣлыя, почти зательныя ненависти, которыя считались прежде и литературъ, и политическимъ долгомъ. Не многіе изъ его окружающихъ или причины, побуждавшія его разсчитаться со своимъ прошлымъ, не оставляя позади себя никакого предмета злобы, — а при-а была ясна. Въ умѣ его созрѣвали цѣли и планы для литературы, которыя должны были измѣнить ея направленіе, оторвать почву, гдѣ она укоренилась, и вызвать враговъ другой окраски конечно, другого, болѣе рѣшительнаго и опаснаго характера, чѣмъ прежніе враги, хотя и горячіе, но уже обезсиленные на-полоу и безвредные...

Я уже упомянулъ, какое странное впечатлѣніе произвело на жайшихъ его сотрудниковъ по журналу заявленное имъ сочув-е къ той части славянофильскихъ воззрѣній на народъ, которая етъ быть принята каждымъ размышляющимъ человекомъ, къ ой бы партіи онъ ни принадлежалъ. Хуже еще было, когда инскому вздумалось похвалить, со всѣми надлежащими оговор-и, «Воспоминанія Булгарина», тогда вышедшія, и замѣтить, что любопытны по характеристикѣ русскихъ нравовъ въ началѣ ны-няго столѣтія, системы тогдашняго публичнаго воспитанія и во-е заведенныхъ порядковъ жизни, которыхъ авторъ былъ самъ цѣтелемъ и жертвой. Похвала Булгарину въ устахъ Бѣлинска-какъ ни была еще скромна сама-по-себѣ, показалась однако же ой чудовищной вещью журнальнымъ соредакторамъ критика, что напечатали статейку, уже переработавъ и переименовавъ ее до знаваемости, и тѣмъ вызвали укоризненное примѣчаніе послѣдую-о издателя сочиненій Бѣлинскаго, гласившее: «Статья эта, ечатанная по рукописи, — въ «Современникѣ», — какая-то стран-передѣлка». Редакція имѣла нѣкоторое моральное право желать ой передѣлки. Во-первыхъ, никто не былъ приготовленъ къ по-ному нарушенію всѣхъ традицій либеральной журналистики, свя-авшей съ нѣкоторыми литературными именами множество вопро-ь, которые только *полемически* и могли быть поднимаемы въ ати, и которые давали этимъ именамъ значеніе символовъ, для хъ понятныхъ и не требовавшихъ дальнѣйшихъ разъясненій; а вторыхъ — можно было думать, что Бѣлинскій не остановится на вомъ шагѣ въ дѣлѣ упраздненія либеральныхъ традицій своей тіи, что грозило оставить въ будущемъ саму партію безъ дѣла, глой сиротой, не знающей за что приняться. Многіе изъ дру-уже относили къ упадку умственныхъ силъ поворотъ, замѣчае-

мый въ направленіи Бѣлинскаго, и выражали опасеніе, что онъ обратится на разрушеніе по частямъ тѣхъ началъ, которыя окрашивали такъ долго и ярко его собственную дѣятельность, причемъ новый журналъ, конечно, терялъ одинъ изъ крупныхъ девизовъ своего знамени.

Опасенія несбывшіяся, но они не вовсе взяты были съ вѣтра. Бѣлинскій по временамъ обнаруживалъ мрачный взглядъ на свою прошлую литературную жизнь. Помню, какъ однажды, послѣ особенно мучительнаго дня кашля и уже укладываваясь въ постель, онъ вдругъ заговорилъ тихимъ, полу-грустнымъ, но твердымъ тономъ: «Не хорошо болѣть, еще хуже умирать, а болѣть и умирать съ мыслью, что ничего не останется послѣ тебя на свѣтѣ,—хуже всего. Чтѣ я сдѣлалъ? Вотъ хотѣлъ докончить исторію русской народной поэзіи и литературы, да теперь и думать нечего. А можетъ быть кто-нибудь тогда и вспомнилъ-бы обо мнѣ, а что теперь? Знаю, чтѣ вы хотите сказать,—прибавилъ онъ, замѣтивъ у меня движеніе,—но вѣдь двѣ-три статьи, въ которыхъ еще половина занята современными пустяками, уже и теперь никому ненужны, не составляютъ наслѣдства. А все прочее понадобится развѣ историку нашей эпохи»... И такъ далѣе...

Я оставилъ его съ тяжелымъ чувствомъ на душѣ. Это сомнѣніе въ пользѣ цѣлаго жизненнаго труда — имѣло для меня трагическій смыслъ. И нельзя было приписать слова Бѣлинскаго дѣйствию болѣзни: онъ, видимо, думалъ и прежде о томъ, чтѣ теперь высказалъ,—за рѣчью его слышалось какъ-бы долгое предварительное соображеніе. Выходило, что человѣкъ, пользующійся большою популярною извѣстностью, обремененный, такъ-сказать, сочувствіями цѣлаго поколѣнія, имъ воспитаннаго, — еще считаетъ себя призракомъ въ исторіи русской культуры и не убѣжденъ въ достоинствѣ той монеты, на которую куплено его вліяніе и слава. Много было несправедливости къ самому себѣ въ этой оцѣнкѣ, но много заключалось въ ней и новыхъ возникшихъ требованій отъ литературнаго дѣятеля, а также много горя — и не одного личнаго.

Но интересы мысли и развитія, на которые Бѣлинскій постоянно обращалъ свое вниманіе, всегда выводили его изъ всякаго субъективнаго настроенія, какъ бы оно ни было глубоко и искренне, — выводили на свѣтъ, къ людямъ и дѣламъ ихъ. Это случилось и теперь.

Тогда много шумѣла извѣстная — теперь уже позабытая — книга Макса Стирнера: «Der Einzige und sein Eigenthum» (Единичный человѣкъ и его достояніе). Сущность книги, если выразить ее наиболѣе краткимъ опредѣленіемъ, заключалась въ возвеличеніи и про-

своленіи эгоизма, какъ единственнаго оружія, какинъ частное лицо, притѣсняемое со всѣхъ сторонъ государственными распоряженіями, можетъ и должно защищаться противъ матеріальной и нравственной эксплуатаціи, направленной на него узаконеніями, обществомъ и государствомъ вообще. Книга принадлежала къ числу многочисленныхъ тогдашнихъ попытокъ подѣлать существующія основы политической жизни другими лучшимъ издѣлія, и достигала, какъ часто бывало съ этими попытками, цѣлей, совершенно противоположныхъ тѣмъ, какія имѣла въ виду. Возводя эгоизмъ на степень политической доблести, книга Стирнера устраивала въ сущности дѣла плутократіи (кстати — легкій каламбуръ, представляемый этимъ словомъ на русскомъ языкѣ, не разъ и тогда употреблялся Бѣлинскимъ въ разговорѣ). Ознакомившись съ книгой Стирнера, Бѣлинскій принялъ близко къ сердцу вопросъ, который она поднимала и старалась разрѣшить. Оказалось, что тутъ былъ для него весьма важный нравственный вопросъ.

— Пугаться одного слова: «эгоизмъ», — говорилъ онъ, — было бы ребячествомъ. Доказано, что человѣкъ и чувствуетъ, и мыслить, и дѣйствуетъ неизмѣнно по закону эгоистическихъ побужденій, да другихъ и имѣть не можетъ. Бѣда въ томъ, что мистическія ученія опошляли это слово, давъ ему значеніе прислужника всѣхъ низкихъ страстей и инстинктовъ въ человѣкѣ, а мы и привыкли уже понимать его въ этомъ смыслѣ. Слово было обезчещено по-напрасну, такъ какъ въ сущности обозначаетъ вполне естественное, необходимое, а потому и законное явленіе, да еще и заключаетъ въ себѣ, какъ все необходимое и естественное, возможность моральнаго вывода. А вотъ я вижу тутъ автора, который оставляетъ слову его позорное значеніе, данное мистиками, да только дѣлаетъ его при этомъ нѣякомъ, способнымъ указывать путь человѣчеству, открывая во всѣхъ позорныхъ мысляхъ, какія даются слову, еще новыя качества его и новыя его права на всеобщее уваженіе. Онъ просто дѣлаетъ со словомъ то же, что дѣлали съ нимъ и мистики, только съ другого конца. Отсюда и выходитъ невообразимая путаница: я полагаю, напримѣръ, что книга автора найдетъ восторженныхъ цѣнителей въ тѣхъ людяхъ, одобренія которыхъ онъ совсѣмъ не желалъ, и строгихъ критиковъ въ тѣхъ, для которыхъ книга написана. Нельзя серьезно говорить о эгоизмѣ, не положивъ предварительно въ основу его — *моральный* принципъ, и не попытавъ затѣмъ изложить его теоретически, какъ *моральное* начало, чѣмъ онъ, рано или поздно, непременно сдѣлается...

Я передаю здѣсь смыслъ рѣчи Бѣлинскаго въ томъ порядкѣ, какъ она запечатлѣлась въ моей памяти, и, конечно, другими сло-

вами, а не тѣми самими, какія онъ употреблялъ. Нѣсколько разъ, при разныхъ случаяхъ и въ разное время возвращался онъ опять къ вопросу, который видимо занималъ его. Не могло быть сомнѣнія, что вопросъ связывался съ послѣднимъ видоизмѣненіемъ долгой моральной проповѣди, которую Бѣлинскій велъ всю свою жизнь, и постепенное развитіе которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповѣди на столько любопытно, что можетъ оправдать попытку собрать его замѣтки, съ помощью уцѣлѣвшихъ въ моей памяти отрывковъ, въ одно цѣлое, причѣмъ необходима оговорка, уже столько разъ прежде дѣлаемая, что изложеніе не дастъ ни малѣйшаго понятія о пылѣ и краскахъ, какія сообщалъ авторъ своему слову, ни о формѣ, въ какую выливалась его рѣчь.

— Грубый, животный эгоизмъ, — размышлялъ Бѣлинскій, — не можетъ быть возведенъ не только въ идеалъ существованія, какъ бы хотѣлъ нѣмецкій авторъ, но и въ простое правило общежитія. Это — разъединяющее, а не связующее начало въ своемъ первобытномъ видѣ, и получаетъ свойство живой и благодѣтельной силы только послѣ тщательной обработки. Ктѣ не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всѣмъ живымъ міромъ на землѣ, есть также точно источникъ всѣхъ ужасовъ, на ней происходившихъ, какъ и источникъ всего добра, которое она видѣла! Значить, если нельзя отдѣлаться отъ этого чувства, если необходимо считаться съ нимъ на всѣхъ пунктахъ вселенной, въ политической, гражданской и частной жизни человѣка, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему нравственное содержаніе. Точно то же было сдѣлано для другихъ такихъ же всесвѣтныхъ двигателей — любви, наприимѣръ, полового влеченія, честолюбія, — и нѣтъ причины думать, что эгоизмъ менѣе способенъ преобразоваться въ моральный принципъ, чѣмъ равносильныя ему другія природныя побужденія, уже въ него возведенныя. А моральнымъ принципомъ эгоизмъ сдѣлается только тогда, когда каждая отдѣльная личность будетъ въ состояніи присоединить къ своимъ частнымъ интересамъ и нуждамъ еще интересы постороннихъ, своей страны, цѣлой цивилизаціи, смотрѣть на нихъ какъ на одно и то же дѣло, посвящать имъ тѣ самыя заботы, которыя вызываются у нея потребностію самосохраненія, самозащиты, и прочее. Такое обобщеніе эгоизма и есть именно преобразованіе его въ моральный принципъ. Вотъ уже и теперь есть примѣры въ нѣкоторыхъ государствахъ такихъ передовыхъ личностей, которыя принимаютъ оскорбленіе, нанесенное одному человѣку на другомъ концѣ свѣта, за личную обиду и обнаруживаютъ настойчивость въ преслѣдованіи незнакомаго преступника, какъ будто дѣло идетъ о возстановленіи собственной чести. И замѣтить надо, что при этомъ лю-



бовъ, сочувствіе, уваженіе и вообще сердечныя настроенія не играть никакой роли—покровительство распространяется, въ одинаковой мѣрѣ, и на людей, часто презираемыхъ отъ всей души защитниками ихъ,—на такихъ, которыхъ послѣдніе никогда не допустить въ свое общество, да, случается, не признають пользы и самаго существованія ихъ на свѣтѣ. Что это такое, какъ не эгоизмъ, превосходно воспитанный и достигшій уже до чувствительности строгаго, нравственнаго начала. Но такихъ передовыхъ личностей еще очень мало—и они остаются покажѣть исключеніями. Французы обозначаютъ словомъ *самодарность* эту способность сберечь самого себя въ другихъ, и пытаются сдѣлать изъ него научный терминъ, вводя понятіе, которое оно выражаетъ, въ политическую экономію, какъ необходимый ея отдѣлъ. А что такое солидарность какъ не тотъ же эгоизмъ, отшлифованный и освобожденный отъ всѣхъ частицъ грубаго матеріала, входившаго въ его составъ. Говорятъ, что всѣ старыя и новыя философы и проповѣдники тоже учили искони думать о ближнемъ болѣе, чѣмъ о самомъ себѣ. Это правда, но они не столько учили, сколько *приказывали* вѣрить своимъ словамъ, требуя жертвъ и не обѣщая никакихъ вознагражденій за послушаніе, кромѣ похвалъ совѣсти—и успѣхъ этихъ приказаній былъ таковъ, какъ извѣстно, что эгоизмъ живетъ и доселѣ повсемѣстно въ самомъ сыромъ и нетронутomъ видѣ. О насъ уже и говорить нечего. Несмотря на многовѣковые приказы быть чувствительными къ страданіямъ ближняго—найдется ли у насъ пятокъ человѣкъ, которые возмущались бы ударами, падающими не на ихъ собственную кожу? Единственную крѣпкую и надежную узду на эгоизмъ выковываетъ человѣкъ самъ на себя, какъ только доходитъ до высшаго пониманія своихъ интересовъ. Нѣмецкій авторъ напрасно соболѣзнуетъ о жертвахъ, какія требуются теперь отъ каждой отдѣльной личности государствомъ и обществомъ, и напрасно старается защитить эту личность, проповѣдуя всеотрицающій эгоизмъ: настоящій эгоизмъ будетъ всегда приносить добровольно огромныя жертвы тѣмъ силамъ, которыя способствуютъ облагороживанію его природы, а это именно и составляетъ задачу всякой цивилизаціи. Государство и общество никакой другой цѣли въ сущности и не имѣютъ, кромѣ цѣли способствовать прекращенію *животнаго* эгоизма личности, въ чуткій, воспримчивый духовный инструментъ, который сотрясается и приходитъ въ движеніе при всякомъ вѣяннн насилія и безобразія, откуда бы они ни приходили...

Этотъ бѣглый, поверхностный очеркъ размышленій Вѣлинскаго по поводу книги Стирнера—показываетъ, что послѣдняя моральная его проповѣдь уже основывалась на дѣйствиі тѣхъ врожденныхъ

психических силъ человека, которыя впоследствии были подробно изслѣдованы и получили названіе *альтруистическихъ*. Бѣлинскій предупредилъ нѣсколькими годами анализъ психологовъ, но, конечно, не могъ дать его въ надлежащей чистотѣ и опредѣленности, что, вѣроятно, помѣшало и изложенію его взглядовъ въ печати, гдѣ отъ нихъ не находится никакого слѣда. Онъ уже боялся прямого, непосредственнаго философствованія, и не хотѣлъ къ нему возвращаться послѣ своихъ старыхъ опытовъ на этомъ поприщѣ <sup>1)</sup>.

Въ тѣсной связи съ настроеніемъ Бѣлинскаго находится уже его призывъ, обращенный къ художественной русской литературѣ и беллетристикѣ—принять за конечную цѣль своихъ трудовъ служеніе общественнымъ интересамъ, ходатайство за низшіе, обездоленные классы общества. Призывъ находится въ послѣдней, предсмертной статьѣ Бѣлинскаго, написанной имъ по возвращеніи изъ-за границы и напечатанной въ «Современникѣ» 1848: «Взглядъ на русскую литературу 1847 года». Обзоръ этотъ составляетъ какъ-бы мостъ, перекинутый авторомъ отъ своего поколѣнія къ другому—новому, приближеніе котораго Бѣлинскій чувствовалъ уже и по задачамъ, какія стали возникать въ умахъ. Не разъ и въ старое время Бѣлинскій высказывалъ тѣ же мысли—о необходимости ввода въ литературу мотивовъ общественного характера и значенія, какъ способа сообщить ей ту степень дѣльности и серьезности, съ помощію которыхъ она можетъ еще расширить принадлежащую ей роль первостепеннаго агента культуры. Теперь критикъ уже склоненъ былъ требовать отъ литературы исключительнаго занятія предметами социальнаго значенія и содержанія и смотрѣть на нихъ какъ на единственную ея цѣль. Разница въ постановкѣ вопроса была тутъ немаловажная, и объясняется она, кромѣ всего другого, еще и состояніемъ умовъ, новыми реформаторскими вѣяніями, обнаружившимися въ обществѣ. Тогда именно крестьянскій вопросъ пытался впервые выдти у насъ на свѣтъ изъ тайныхъ пожеланій и секретнаго канцелярскаго его обсужденія: составлялись полу-официальныя комитеты изъ благонамѣренныхъ лицъ, считавшихся сторонниками эмансипаціи, принимались и поощрялись проекты лучшаго разрѣшенія вопроса, допускались, подъ покровительствомъ и-ва имуществъ, экономическія изслѣдованія, обнаружившія несостоятельность

---

<sup>1)</sup> Можетъ быть, подъ вліяніемъ вышесказанныхъ мыслей, Бѣлинскій и получилъ представленіе о Сикстинской Мадоннѣ, которую потомъ видѣлъ въ Дрезденѣ, какъ объ ультра-аристократическомъ типѣ. Онъ перевелъ ея *божественное* спокойствіе, такъ опозитизированное у насъ В. А. Жуковскимъ, на простое опредѣленіе, по которому въ лицѣ ея выражается равнодушіе къ страданіямъ и нуждамъ низшаго египетскаго міра или, другими словами, полное отсутствіе альтруистическихъ чувствъ.

обязательнаго труда и проч. Все это движеніе, какъ извѣстно, продолжалось не долго, обезсиленное сначала тайнымъ противодѣйствіемъ потревоженныхъ интересовъ, прикрывшихся знаменемъ консерватизма, а затѣмъ окончательно смолкшее подъ вихремъ 1848, налетѣвшимъ на него съ береговъ Сены, который опустошалъ преимущественно у насъ зачатки благихъ предначертаній. Но до этой непредвидѣнной катастрофы, казалось, наступила благопріятная минута указать, что всѣ истинно-великія литературы древняго и новаго міра никогда не имѣли другихъ цѣлей, кромѣ тѣхъ цѣлей, какія поставляетъ себѣ и общество въ стремленіяхъ къ лучшему умственному и матеріальному самоустройству. Это именно и сдѣлалъ Бѣлинскій во «Взглядѣ на литературу 1847 г.», причемъ, если изъ рѣчи, которую повелъ онъ тогда, устранить оцѣнку произведеній эпохи, не относящуюся прямо къ вопросу, то рѣчь эта можетъ быть названа предтечей и первообразомъ всѣхъ послѣдующихъ рѣчей въ томъ же духѣ и направленіи, сказанныхъ десять лѣтъ спустя, за исключеніемъ только одной черты ея, рѣзко отдѣляющей и Бѣлинскаго, и его эпоху, отъ наступившаго за ними времени. Черта образовалась изъ особеннаго пониманія самыхъ условій искусства, хотя бы и съ политической окраской.

Съ достовѣрностію можно сказать, что когда Бѣлинскій писалъ свою статью, передъ глазами его мелькали соображенія отчасти и практическаго характера. Изящная литература могла пособить, такъ сказать, родамъ давно ожидаемой крестьянской реформы. Какъ ни упорно держались слухи о признанной необходимости ея въ официальныхъ кругахъ — никто не говорилъ о ней прямо въ печати. Множество соображеній мѣшали реформѣ спуститься на площадь и принять единственный путь, ведущій къ осуществленію ея — путь всенародныхъ толковъ. Изъ этихъ мѣшающихъ соображеній наиболѣе вѣское было слѣдующее: — ни одно самое умѣренное и сдержанное слово, ни одно самое хладнокровное и безстрастное изслѣдованіе, которыя захотѣли бы говорить о поводахъ къ измѣненію крѣпостничества — этой коренной основы русской жизни — не могли бы обойтись безъ характеристики темныхъ сторонъ, ею порожденныхъ и оправдывающихъ посягновенія на ея существованіе и заведенные ею порядки. Избѣжать горькой необходимости — осуждать прошлыя времена и выѣсть сохранить въ цѣлости идею реформы, ихъ отрицающую — вотъ что составляло трудную дилемму, на разрѣшеніе которой уходила безплодно вся энергія нововводителей, и которая постоянно держала ихъ на почвѣ осторожныхъ внушеній и намековъ, не обязывающихъ къ немедленному принятію рѣшенія. Литература романовъ, повѣстей, такъ-называемая изящная литература вообще могла сослужить при

этомъ большую службу. Она не обязана была знать о существованіи затрудненій и опасеній по дѣлу реформенной пропаганды, а при и смѣло начать ее отъ своего имени. Обманывая глаза своимъ притворнымъ равнодушіемъ къ политическимъ вопросамъ, занимаясь по видимому, самымъ ничтожнымъ дѣломъ пріисканія темъ и драматическихъ сюжетовъ для развлеченія публики, литература эта могла войти потаенной дверью въ самую среду вопросовъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія, что уже и дѣлала не разъ. «Записки Охотника», «Записки доктора Крупова», «Бѣдные люди» Достоевскаго, а, наконецъ мелодраматическій «Антонъ Горемыка» и «Деревня» — уже показывали, какъ произведенія чистой фантазіи становятся трактатами психологіи, этнографіи и законодательству. Бѣлинскій думалъ, что пришло время для литературы взять на себя всю ту работу, которую другіе дѣятели откладывали именно подъ предлогомъ бѣшенія, и произвести за нихъ тотъ слѣдственный процессъ на старыми условіями русскаго существованія, какой долженъ прешествовать окончательному ихъ устраненію и осужденію. Бѣлинскій вѣстѣ съ тѣмъ, становился и сторонникомъ правительства, какъ это можно видѣть и въ многочисленныхъ печатныхъ его заявленіяхъ отъ 1847 года. Нужда въ такомъ содѣйствіи литературы, однокоржъ, скоро миновала, и, наоборотъ, вся ею уже заготовленная этой цѣлью работа признана была даже опасной. Совсѣмъ тѣмъ остается вполнѣ достовѣрнымъ, что если бы движеніе продолжалось, литература приняла бы на себя всѣ ненависти раздраженныхъ интеллигентовъ и эгоистическихъ страстей, отдала бы себя на проклятія поруганія и развязала бы другимъ руки только на свѣтлое, благодатное и благодарное дѣло возстановленія права и справедливости въ странѣ.

Ясно, что какъ проповѣдь, такъ и всѣ намѣренія Бѣлинскаго въ этомъ случаѣ скорѣе можно назвать *консервативными* въ ширномъ смыслѣ слова, чѣмъ революціонными, какъ прославляли ихъ потомъ соединенные враги печати и реформъ въ строѣ русскаго общества. Здѣсь кстати будетъ сказать вообще о прозвищѣ «революцонера и агитатора», какое получилъ Бѣлинскій у своихъ, ему временныхъ и у позднѣйшихъ враговъ, которыми одинаково было распространять эту репутацію. Ни одно изъ его увлеченій, ни одинъ изъ его приговоровъ, ни въ печати, ни въ устной бесѣдѣ не даютъ права узнавать въ немъ, какъ того сильно хотѣли ненавистники, — любителя страшныхъ социальныхъ переворотовъ, сирѣчь мечтателя, питающагося надеждами на крушеніе общества въ которомъ живетъ. Тѣ вѣщешки Бѣлинскаго, на которыя указывали диффаматоры его для подтвержденія своихъ словъ, всегда бы

произведеніемъ ума и сердца, обиженныхъ въ своемъ нравственномъ существѣ, въ своей *идеалистической* природѣ. Ими онъ только облегчалъ душевныя страданія и мстилъ подъ-часъ за грубое прикосновеніе къ какому-либо гуманному чувству своему; но одно недоразумѣніе или одна злая подозрительность могли предполагать за всѣмъ этимъ еще жажду скорыхъ расправъ, внезапныхъ потрясеній и простора для личной мести. Никогда и мысленно не принималъ онъ защиты тѣхъ разрушительныхъ явленій, которыя проходятъ иногда черезъ исторію и дѣйствуютъ въ ней со слѣпотою стихійныхъ силъ, не имѣя подъ собою часто никакихъ моральныхъ основъ, и составляя какъ-бы страшную и вѣстѣ нелѣпую импровизацію жизни, раздраженной до послѣдней степени несчастіями и страданіями. Не разъ Бѣлинскій и самъ признавался, когда заходила рѣчь о такихъ эпохахъ, упоминаемыхъ исторіей западныхъ европейскихъ народовъ, что въ подобныя времена онъ былъ бы совершенно ничтожнымъ, растеряннымъ человѣкомъ, годнымъ единственно на то, чтобы умножить собою число жертвъ, обыкновенно оставляемыхъ ими за собою. Все, что не носило на себѣ печати мысли, не имѣло интеллектуальнаго характера и выраженія, вселяло ему ужасъ. Бѣлинскій легко, быстро понималъ всякую смѣлую идею и всякое смѣлое рѣшеніе, состоящее въ какомъ-либо, хотя бы и дальнемъ родствѣ, съ началами — и приходилъ въ-тупикъ передъ роковыми *случайностями*, такъ часто направляющими жизнь помимо человѣческаго предвидѣнія. На нихъ онъ никогда не рассчитывалъ и никогда не вводилъ ихъ въ кругъ своего созерцанія. Оставаясь такимъ же идеалистомъ въ пониманіи условій историческаго прогресса, какъ и въ своей жизни, онъ отличался неспособностію признать нужду лжи, даже когда она успокаиваетъ колеблющіеся умы, чувствовалъ неодолимое отвращеніе потворствовать пустымъ людямъ и вздорнымъ явленіямъ, если бы они даже и дѣйствовали въ рядахъ его собственной партіи. У Бѣлинскаго не было первыхъ, элементарныхъ качествъ революціонера и агитатора, какими его хотѣли прославить, да и прославляютъ еще и теперь люди, ужасающіеся его честной откровенности и внутренней правды всѣхъ его убѣжденій; но взаимно у него были всѣ черты настоящаго человѣка и представителя 40-хъ годовъ — и между этими чертами одна очень крупная, къ которой теперь и перехожу.

Черта эта состояла, какъ уже было сказано, въ особенномъ пониманіи искусства, какъ важнаго элемента, устроивающаго психическую сторону человѣческой жизни и черезъ нея развивающаго въ людяхъ способность къ воспріятію и созданію идеальныхъ представленій. Чертой этою Бѣлинскій рѣзко разграничивалъ свою эпоху отъ послѣдующей, съ которой во всемъ другомъ имѣлъ множество

точекъ соприкосновенія. Разлагая и опровергая старый эстетическій афоризмъ — искусство для искусства, переводя всѣ задачи литературы на общественно-служебную почву, помѣщая искусство и фантазію въ авангардъ, такъ-сказать, доблестной арміи волонтеровъ, сражающихся за великодушныя идеи, что значило, по мысли критика, сражаться за хорошо понятые интересы каждаго лица въ государствѣ—Вѣлинскій хотѣлъ, чтобы войско это снабжено было и надежнымъ оружіемъ, а такимъ оружіемъ для него онъ считалъ всегда поэзію и творчество. Онъ допускалъ и простое обличеніе зла, простое отрицаніе на-голо, но смотрѣлъ на нихъ, какъ на рукопашную схватку, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть неизбѣжна, но которая одна никогда не рѣшаетъ дѣла и не одолеваетъ враговъ. Одолеваетъ ихъ или, по крайней мѣрѣ, наноситъ имъ неисчислимыя раны только творческій талантъ, такъ какъ одинъ онъ можетъ собрать миллионы безобразныхъ случайностей, пробѣгающихъ черезъ жизнь, въ цѣльную поразительную картину, и одинъ онъ способенъ выдѣлить изъ тысячи лицъ, болѣе или менѣе возбуждающихъ наше негодованіе, полный типъ, въ которомъ они всѣ отразятся. Нѣтъ надобности повторять здѣсь то, что онъ говорилъ по этому поводу, но необходимо отиѣтитъ и удержать въ памяти основу его литературно-политической теоріи. Основой этой было коренное убѣжденіе, что созданіе художническихъ типовъ указываетъ положительными и отрицательными сторонами своимъ дорогу, по которой идетъ развитіе общества—и ту, по которой оно должно бы идти въ будущемъ. Это убѣжденіе оставило ясные слѣды въ статьѣ критика: «Взглядъ на русскую литературу 1847», гдѣ его всякій и можетъ найти <sup>1)</sup>).

Я уже сказалъ, что эта статья была тѣмъ послѣднимъ звеномъ въ развитіи одного періода нашей литературы, къ которому прикнули и за которое цѣплялись первыя звенья новаго, послѣдующаго ей направленія. Перерыва тутъ не было, какъ его, кажется, не было ни въ одну изъ эпохъ русской исторіи, но характеры явленій обозначались, на первыхъ порахъ, значительными отступленіями и несходствами. Черезъ 10 лѣтъ послѣ смерти Вѣлинскаго, изъ его теорій измѣннаго принято было ученіе объ общественныхъ цѣляхъ искусства, а всѣ добавочныя положенія къ его ученію оставлены были въ сторонѣ.

Новое поколѣніе, уже успѣвшее пережить грозный промежутокъ времени съ 1848—1856, принялось за дѣло изслѣдованія формъ

<sup>1)</sup> Пусть читатели посмотрятъ эти слова въ „Современникѣ“. 1848, гдѣ статья появилась, или въ „Собраніи соч. Вѣлинскаго“, 1861, часть однадцатая, страницы 348—356 и 363—365.

еской жизни, недостатковъ ея и отсталыхъ порядковъ, какъ только явилась возможность говорить людямъ о самихъ себѣ <sup>1)</sup>). Наступилъ періодъ обличеній. Понятно, что поколѣніе взялось за это дѣло съ тѣми орудіями производства, какія состояли у него готовы на лицо, и не имѣло причины ожидать прибытія щегольского тонкаго оружія (*les armes de luxe*) искусства для начатія своей работы. Съ теченіемъ времени руки привыкли такъ къ простымъ орудіямъ беллетристической фабрикаціи, что многіе, даже очень давнѣйшие судьи дѣла стали уже сомнѣваться въ пользѣ водворенія чуждѣ усовершенствованныхъ инструментовъ производства, имѣвшихъ же и ту невыгоду, что не всякій умѣлъ съ ними обращаться и работать ими свой хлѣбъ. Надо было привыкать жить безъ юрчества, изобрѣтательности, поэзіи — и это дѣлалось при существованіи и полной дѣятельности такихъ художниковъ, какъ Островскій, Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Тургеневъ, Левъ Толстой Некрасовъ, которые продолжали напоминать о нихъ публикѣ всѣми юными произведеніями!

Критика пришла на помощь озадаченной публикѣ. Извѣстно, что вслѣдъ за первыми проблесками оживившейся литературной дѣятельности, наступила у насъ эпоха *регламентации* убѣжденій, мнѣній и направленій, спутавшихся въ долгій періодъ застоя. Русский литературный міръ еще помнитъ, съ какой энергіей, съ какими талантомъ и знаніемъ цѣлей своихъ производилась эта работа приращенія идей и понятій въ порядокъ и къ одному знаменателю. На помощь къ ней призваны были историческія и политическія науки, философскія и этическія теоріи. Всѣмъ старымъ знаменамъ и лозунгамъ, подъ которыми люди привыкли собираться — противопоставлялись другія и новыя, но при этомъ постоянно оказывалось, что всего нѣтъ поддавалось *регламентации* именно искусство, бывшее всегда, самой природѣ своей, наименѣе послушнымъ ученикомъ теорій. Одичинить его и сдѣлать вѣрнымъ слугою одного господствующаго направленія удавалось только строгимъ религіознымъ системамъ, да то не вполне, такъ какъ нельзя было вполне побѣдить его наклонности мѣнять свои пути, развлекать вниманіе капризными хитростями, смѣяться надъ школой, и выдумывать свои собственныя рѣшенія вопросовъ. Оно составляло именно дисгармоническій элементъ

<sup>1)</sup> Какъ бы презрительно ни отзывалась потомъ критика о всемъ запасѣ мелкихъ блуденій, ѣдкихъ воспоминаній, горькаго опыта, накопившихся у насъ въ теченіи этихъ лѣтъ молчанія и терпѣнія и открывшихъ наконецъ исходъ для себя пощюю единственно нужнаго и возможнаго искусства, все-таки должно сказать, что литература обличеній, какъ выраженіе обиженнаго личнаго или народнаго чувства, имѣетъ еще смыслъ, котораго ни одинъ историкъ нашего общества не пропуститъ безъ вниманія.

въ періодъ, слѣдовавшій за Бѣлинскимъ. Оставить за нимъ привилегію существовать особнякомъ, на всей своей волѣ, въ то время, когда всѣмъ предлагался общій и обязательный трудъ въ одномъ духѣ и за однимъ практическимъ дѣломъ—значило рисковать встрѣтить искусство поперегъ дороги и противъ себя. Строгая дисциплина критики, для разбора и соотвѣтственной оцѣнки тѣхъ изъ художниковъ, которые приняли ея программу, и тѣхъ, которые ея не подчинились—становилась необходимостію. Какъ ни строга была эта дисциплина, введенная критикой, но помѣшать обществу увлекаться неузаконенными образцами творчества она не могла. Тогда и явилось рѣшеніе отодвинуть искусство вообще на задній планъ, пояснить происхожденіе его законовъ и любимыхъ приемовъ немоущею мысли, еще не окрѣпшей до способности понимать и излагать прямо и просто смыслъ жизненныхъ явленій. Кругъ занятій, снисходительно предоставленныхъ чистому художеству, намѣченъ былъ съ необычайной скупостію. Ему предоставлялась именно передача нимолетнихъ сердечныхъ движеній, капризовъ воображенія, нервныхъ ощущеній, оттѣнковъ и красокъ физической природы—всего, что лежитъ внѣ науки и точнаго изслѣдованія. Всѣ остальные претензіи искусства на дѣятельную роль въ развитіи общества были устранены, серьезные темы изъяты изъ его вѣдѣнія и разложены на соотвѣтствующіе имъ отдѣлы философіи, научной критики, спеціальныхъ изслѣдованій. Мыслящее общество тщательно ограждалось отъ вліянія того самого агента, который успѣшнѣе всего приготавливаетъ душу человѣка для принятія сѣмянъ какъ гражданскихъ, такъ и всякихъ другихъ идеаловъ. По временамъ, конечно, еще возникали протесты противъ этой несправедливости къ искусству, и раздавались голоса, которые указывали на важность художественныхъ литературныхъ произведеній въ дѣлѣ образованія характеровъ, направленія умовъ къ нравственнымъ цѣлямъ, возвышенія уровня мыслей, но они проходили безслѣдно. И по справедливости! Всѣ эти попытки напоминать о дѣйствіи идеальнаго и изящнаго на сердца людей, на складъ ихъ представленій, а затѣмъ на всѣ ихъ крупныя и мелкія поступки, уже и потому не могли имѣть успѣха, не принимая даже въ соображеніе болшую или меньшую діалектическую ихъ слабость, —что новому поколѣнію необходимо было, прежде всего, довести дѣло свое до конца, выразить всю свою сущность, и затѣмъ уже оно могло оглянуться назадъ и дополнить себя всѣмъ тѣмъ, чего ему недоставало. Такъ именно съ теченіемъ времени и случилось.

Казалось бы, что различное пониманіе вопросовъ объ искусствѣ не должно было положить особенно яркой разграничивающей черты между двумя періодами развитія, особенно когда во всемъ другомъ



ни имѣли такое множество точекъ соприкосновенія. И однакожъ опросовъ этихъ достаточно было, чтобы ослабить въ значительной степени связи, ихъ соединяющія, и дать каждому изъ нихъ особое выраженіе и удалить ихъ другъ отъ друга на значительное состояніе. Это случилось потому, что между ними оказалась разнь на теоретическомъ опредѣленіи изящнаго, а оказалась разница въ *міросозерцаніяхъ*. Споры объ искусствѣ, какъ и вообще о всѣхъ истинно-великихъ вопросахъ науки и цивилизаціи, тѣмъ особенно и по-лительны, что какова бы ни была ихъ относительная важность, въ нихъ всегда кроется и течетъ невидимой струей то или другое міросозерцаніе. При этомъ слѣдуетъ сказать, что исторія прохожденія различныхъ созерцаній, отвѣчавшихъ у насъ въ свое время задушевному стремленію цѣлыхъ поколѣній, имѣетъ права на полнѣйшее уваженіе наше, съ какой бы личной точки зрѣнія мы и относились къ ея содержанію.

Послѣ 30 лѣтъ, протекшихъ со смерти Бѣлинскаго, можно уже уже судить о міросозерцаніи его, не смущаясь притокомъ случайныхъ настроеній, которые окрашивали его иногда своимъ особеннымъ, но скоро проходившимъ цвѣтомъ. Созерцаніе Бѣлинскаго все заключается въ пониманіи жизни и цивилизаціи, какъ силъ, предназначенныхъ на доставленіе человѣку *полноты духовнаго и матеріальнаго* существованія. По количеству идей и представленій, способствующихъ осуществленію той полноты разумнаго бытія, ка-кая носилась передъ его глазами въ формѣ идеала, онъ судилъ объ истинномъ достоинствѣ и значеніи эпохъ, людей и произведеній ихъ. Утайка, пропускъ, скрытіе какого-либо изъ элементовъ, обходимыхъ для достиженія этой полноты, было-ли то дѣломъ недобросовѣстности или послѣдствіемъ недосмотра, одинаково про-ждали его критическую чуткость. Онъ самъ постоянно и добросовѣстно занимался разборомъ и опредѣленіемъ настоящихъ и подложныхъ психическихъ и соціальныхъ дѣятелей, заявляющихъ претенд-ды на удовлетвореніе всѣхъ нуждъ ума и развитія. Въ оцѣнкахъ ихъ и другихъ онъ могъ быть иногда излишне нервенъ, рас-пре-дѣлять краски, подъ вліяніемъ одушевленія или негодованія, не всѣмъ равномерно, но документы, на которыхъ основывалось его сужденіе, всегда были подлинныя, скрѣпленныя свидѣтельствомъ исто-ри, точными изслѣдованіями науки объ идеальныхъ и реальныхъ потребностяхъ человѣческой природы. Удовлетвореніе этихъ потреб-ностей, безъ своевольныхъ исключеній, подсказываемыхъ расчетами и ждами разныхъ теоретическихъ построекъ, онъ и считалъ задачей цивилизаціи и призваніемъ ея. Переходя отъ общаго выраженія къ истиннымъ приложеніямъ того-же самаго созерцанія, надо сказать,

что Бѣлинскій требовалъ уже отъ каждой идеи, отъ каждаго образа, ученія и литературнаго произведенія вообще, которые представлялись его глазамъ, полноты содержанія, упраздняющей самую возможность вопросовъ и дополненій. Но такіа цѣльныя явленія искусства и мышленія встрѣчались рѣдко, а болѣею частію приходилось имѣть дѣло съ созданіями, еще сильнѣе отличающимися ко личествомъ своихъ упущеній, чѣмъ открытій въ области выбранныхъ ими темъ. Собственно говоря, вся его литературная критика какъ еще ни старалась закрыться дипломатическими оговорками и изворотами, къ которымъ и Бѣлинскій прибѣгалъ по нуждѣ времени, наравнѣ со всѣми другими, — была въ сущности не чѣмъ инымъ, какъ рядомъ возстановленій, реставрацій и оправданій разныхъ позабытыхъ или искусственно принижаемыхъ чертъ цивилизаціи, психическихъ и культурныхъ потребностей личнаго и общественнаго существованія. Работа эта вошла у Бѣлинскаго въ привычку мысли, и что особенно важно — весьма часто обращалась и на самого себя, чѣмъ легко объясняются его неоднократныя перемѣны точекъ зрѣнія на предметы, столь удивлявшія и возмущавшія его враговъ.

Извѣстно, что художественныя произведенія, какъ изящной такъ и ученой литературы, обладаютъ качествомъ оставлять оченъ малую пожизну искателямъ разсѣянностей или недосмотровъ автора исчерпывать свой предметъ и представлять такую твердую выводовъ и заключеній, для разрушенія которой, даже и въ малѣйшей части, потребна почти такая же сила и способность, какія находились въ обладаніи и у самого ея строителя. Вотъ за такими-то произведеніями стараго и новаго міра, въ переводахъ и оригиналахъ, Бѣлинскій проводилъ дни и ночи: они никогда не старѣлись для него, сколько бы онъ ихъ ни пересчитывалъ, никогда не могли договорить ему своего послѣдняго слова. Какъ у аскетовъ другого порядка идей, у него была потребность каждодневнаго приближенія къ алтарю художническихъ произведеній и углубленія въ таинства, на немъ свершаемыя. Постоянное обращеніе съ великими образцами ученой и изящной литературы возвысило его духъ на такую степень, что люди въ его присутствіи чувствовали себя лучше и свободнѣе отъ мелкихъ помысловъ, уходили отъ него съ освѣженнымъ чувствомъ и добрымъ воспоминаніемъ, каковы бы рода ни велась съ нимъ бесѣда. Говоря фигурально, къ нему всегда являлись нѣсколько по *праздничному*, въ лучшихъ нарядахъ, и моральной нерыхой нельзя было передъ нимъ показаться не возбудивъ его негодованія, горькихъ и горячихъ обличеній. Такъ былъ человѣкъ, который первый указалъ русской литературѣ

реальное направлѣніе, кажется, прежде чѣмъ о немъ вспомнила и Европа, а теперь призывалъ ту же литературу на политическую арену, на занятіе вопросами гражданскаго, общественнаго характера. Что двигало этого эстетика по преимуществу? Конечно, {прежде всего, благородное сердце, искавшее средствъ пособить первымъ, неотложнымъ нуждамъ развитія, еще вовсе и неначавшагося для массъ его соотечественниковъ, и затѣмъ все то же исканіе полноты идеальнаго и реальнаго типа для жизни и мысли. Сзади этой предполагаемой литературной дѣятельности ему открывалось еще все громадное поле европейской цивилизаціи съ его обработкой, съ его пріобрѣтеніями, сдѣланными въ теченіи столькихъ вѣковъ! Съ него онъ и глазъ не спускалъ. Ни одного изъ всѣхъ опытовъ — старыхъ и новыхъ, приложенныхъ къ нему, ни одного счастливаго результата ими уже даннаго — не хотѣла бы лишиться эта страстная душа! Конечная цѣль всѣхъ его требованій и указаній заключалась въ томъ, чтобъ выработать изъ русской жизни полнаго работника просвѣщенія, чтобъ надѣлать ее всѣми тѣми силами и воспитательными началами, которыя образовали въ Европѣ лучшихъ и надежныхъ ея работниковъ. Не нужно, кажется, прибавлять, что всѣ эти дальновидные расчеты оказались на дѣлѣ мечтой, но тотъ еще не будетъ въ состояніи правильно судить объ эпохѣ Бѣлинскаго, кто не пойметъ и не признаетъ, что всѣ мечтанія и фантазіи подобнаго рода были въ то время положительнымъ и весьма серьезнымъ дѣломъ.

Возвращаясь къ разсказу.

Приближалось время окончанія лечебнаго курса и нашего отъѣзда изъ Зальцбрунна. Бѣлинскій чувствовалъ себя гораздо лучше, кашель уменьшился, ночи сдѣлались покойнѣе — онъ уже поговаривалъ о скукѣ житія въ захолустьи. Почти наканунѣ нашего выѣзда изъ Зальцбрунна въ Парижъ, я получилъ неожиданно письмо отъ Н. В. Гоголя, извѣщавшаго, что изданная имъ «Переписка съ друзьями» надѣлала ему много непріятностей, что онъ не ожидаетъ отъ меня благопріятнаго отзыва о его книгѣ, но все-таки желалъ бы знать настоящее мое мнѣніе о ней, какъ отъ человѣка, кажется, не страдающаго заносчивостію и самообожаніемъ. Это было первое письмо послѣ того надменно-учительскаго, о которомъ говорено, и первое послѣ короткой встрѣчи нашей въ Парижѣ и Вамбергѣ. Оно довольно ясно обнаруживало въ Гоголѣ желаніе если не утѣшенія и поддержки, то по крайней мѣрѣ тихой бесѣды. Въ концѣ письма Гоголь неожиданно вспоминалъ о Бѣлинскомъ и кста-ти посылалъ ему дружескій поклонъ, вмѣстѣ съ письмомъ прямо на его имя, въ которомъ упрекалъ его за сердитый разборъ «Пе-

реписки» во 2-й № «Современника». Это и вызвало то знаменитое письмо Вѣлинскаго о его послѣднемъ направленіи, какого 1 годъ еще и не выслушивалъ доселѣ, несмотря на множество перья занимавшихся разоблаченіемъ недостатковъ «Переписки», попреки и бранью на ея автора. Когда я сталъ читать вслухъ пис Гоголя, Вѣлинскій слушалъ его совершенно безучастно и разсѣянъ, — но, пробѣжавъ строки Гоголя къ нему самому, Вѣлинскій вспуль и продолжалъ: «А! онъ не понимаетъ, за что люди на него сердятся — надо растолковать ему это — я буду ему отвѣчать».

Онъ опять вызовъ Гоголя.

Въ тотъ же день небольшая комната, рядомъ съ спальней Вѣлинскаго, которая снабжена была диванчикомъ по одной стѣнѣ круглымъ столомъ передъ нимъ, на которомъ мы свершали над довольно скучныя, послѣ-обѣденныя упражненія въ пикетъ — превратилась въ письменный кабинетъ. На кругломъ столѣ явилась чашечка, бумага, и Вѣлинскій принялся за письмо къ Гоголю какъ за работу, и съ тѣмъ-же пыломъ, съ какимъ производилъ свои срочныя журнальныя статьи въ Петербургѣ. То была именитая, но писанная подъ другимъ небомъ...

Три дня сряду Вѣлинскій уже не поднимался, возвращаясь въ домъ, въ мезонинъ моей комнаты, а проходилъ прямо свой импровизированный кабинетъ. Все это время онъ былъ и чаливъ и сосредоточенъ. Каждое утро, послѣ обязательной чашки кофе, ждавшей его въ кабинетѣ, онъ надѣвалъ лѣтній сюртукъ, садился на диванчикъ и наклонялся къ столу. Занятія длились часового нашего обѣда, послѣ котораго онъ не работалъ. ] покажется удивительнымъ, что онъ употребилъ три утра на составленіе письма къ Гоголю, если прибавить, что онъ часто отрывался отъ работы, сильно взволнованный ею, и отдыхалъ, не вставая, опрокинувшись на спинку дивана. Притомъ же и самый процессъ составленія былъ довольно сложенъ. Вѣлинскій набросалъ сперва письмо карандашомъ на разныхъ клочкахъ бумаги, затѣмъ переписалъ его четко и аккуратно на-бѣло, и потомъ снялъ съ готового текста копію для себя. Видно, что онъ придавалъ большую важность дѣлу, которымъ занимался, и какъ булда внималъ, что составляетъ документъ, выходящій изъ рамки частнаго интимной корреспонденціи. Когда работа была кончена, онъ подошелъ ко мнѣ передъ круглымъ столомъ своимъ и прочелъ свое извѣщеніе.

Я испугался и тона, и содержанія этого отвѣта, и, конечно не за Вѣлинскаго, потому-что особенныхъ послѣдствій заграничнаго переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидѣть

пугался за Гоголя, который долженъ былъ получить отвѣтъ, и живо представилъ себѣ его положеніе въ минуту, когда онъ сталъ читать это страшное бичеваніе. Въ письмѣ заключалось не то только опроверженіе его мнѣній и взглядовъ: письмо обнаруживало пустоту и безобразіе всѣхъ идеаловъ Гоголя, всѣхъ его погнѣій о добрѣ и чести, всѣхъ нравственныхъ основъ его существованія—виѣсть съ дикимъ положеніемъ той среды, защитникомъ которой онъ выступилъ. Я хотѣлъ объяснить Бѣлинскому весь объемъ о страстной рѣчи, но онъ зналъ это лучше меня, какъ оказалось: «Что же дѣлать?» сказалъ онъ. «Надо всѣми мѣрами снасать идей отъ бѣшеннаго человѣка, хотя бы взбѣсившійся былъ самъ смеръ. Что же касается до оскорбленія Гоголя, я никогда не могу къ оскорбить его, какъ онъ оскорблялъ меня въ душѣ моей и въ ней вѣрѣ въ него».

Письмо было послано, и затѣмъ уже ничего не оставалось дѣлать въ Зальцбруннѣ. Мы выѣхали въ Дрезденъ, по направленію къ Арижу.

Здѣсь, забѣгая впередъ, скажу, что по прибытіи въ Парижъ, уже поджидавшій насъ, явился въ отель Мишѣ, гдѣ мы оставались, и Бѣлинскій тотчасъ же разсказалъ ему о вызовѣ, почтенномъ имъ отъ Гоголя, и объ отвѣтѣ, который онъ ему подалъ. Затѣмъ онъ прочелъ ему черновое своего письма. Во все время чтенія уже знакомаго мнѣ письма, я былъ въ сосѣдней комнатѣ, куда, улучивъ минуту, Г. шмыгнулъ, чтобы сказать мнѣ на ухо: «Это—геніальная вещь, да это, кажется, и завѣщаніе его».

### XXXVI.

Нелюбимость Бѣлинскаго, казалось, все еще увеличивалась за границей, съ теченіемъ времени, виѣсто того чтобы уменьшиться. Онъ утерялъ всякую охоту заводить связи, даже и минутныя, съ знакомыми лицами; наоборотъ, чѣмъ долѣе шло время, тѣмъ онъ больше сосредоточивался въ помыслахъ о семьѣ, которая положительно заслоняла для него всю заграничную обстановку. Исключеніе ставляли двухъ-трехъ-лѣтніе нѣмецкіе мальчишки—на тѣхъ онъ отрѣлся охотно и, не разъ указывая мнѣ на какой-нибудь особенно выдающійся экземпляръ,—приговаривалъ глухо: «у меня точно кой же былъ дома». Словомъ, семья сдѣлалась для него уголкомъ, въ которомъ онъ мысленно запирался тотчасъ же, какъ оказывалась возможность къ тому. Всего любопытнѣе, что онъ желалъ гавить свѣтъ и окружающихъ людей въ невѣдѣніи на счетъ сво-

его пріюта, и когда заходила о немъ рѣчь, отзывался равнодушно, не скрывая только—чего уже нельзя было скрыть—страстной любви своей къ дѣтямъ.

Біографическая черта эта, кажется, стоитъ того, чтобъ остановиться на ней. Бѣлинскій женился въ 1843 г. уже тогда, когда романтическій періодъ его жизни миновалъ, и когда онъ укрѣпился въ мысли, что далѣе ждать нечего отъ судьбы и случая, что онъ предопредѣленъ не вѣдать сочувствія женскаго сердца, какъ въ силу своего вѣшняго, будто бы, непривлекательнаго вида, такъ и въ силу нравственныхъ своихъ качествъ, будто бы, несимпатичныхъ вообще для женской природы. Замѣчательно было однакожь то, что съ самаго 1838 г. онъ не умолкалъ громить и преслѣдовать одиночество, на которое, повидимому, такъ рѣшительно согласился. Въ его глазахъ и опредѣленіяхъ строгое одиночество, если оно вѣрно самому себѣ, составляло противоестественное, искусственное, а потому и безнравственное явленіе, изъ какого бы душевнаго настроенія ни выходило. Исключенія изъ правила, въ родѣ художника Иванова и ему подобныхъ, и онъ признавалъ, но думалъ, что и о нихъ надо судить только по важности идеи, для которой ими принесена была жертва. Онъ и покинулъ собственную систему одиночества тотчасъ, какъ явился предлогъ къ тому—и покинулъ съ немновѣрной торопливостью, изумившей друзей. Тогда объясняли этотъ фактъ тѣмъ, что онъ встрѣтилъ привязанность, которая нанесла ударъ его скептическому пониманію самого себя, сохранившись черезъ значительный промежутокъ времени. Неожиданность такого открытія была настолько сильна, что привела его къ мысли переустроить весь свой бытъ.—Какъ бы то ни было, онъ привелъ въ исполненіе свое рѣшеніе, при недоумѣвающихъ лицахъ друзей, предвидѣвшихъ въ этомъ поступкѣ новыя затрудненія жизни для него. Женившись, Бѣлинскій не отказался однакожь отъ своихъ воззрѣній на *средство души* и *стремленій*, какъ на единственный элементъ, узаконяющій брачное состояніе, и сознавался, что въ его собственномъ бракѣ не доставало идеальнаго повода и отсутствовало поэтическое настроеніе. Онъ высказывалъ это мнѣніе, не стѣняясь, и передъ всѣми громко и часто, и здѣсь нельзя не признать достоинство отвѣта, какой онъ получалъ на свои вспышки. Умно-разсчитанное или уже врожденное по темпераменту хладнокровіе наиболѣе заинтересованной въ дѣлѣ стороны позволило свободно истекать этимъ протестамъ и критическимъ обращеніямъ на совершившійся фактъ: они ни на волю не иѣшали другой сторонѣ—вести семейное дѣло въ одномъ духѣ, стойко, спокойно, правильно. Подъ конецъ, съ наступившимъ упадкомъ физическихъ силъ, обна-

ружилась на Бѣлинскомъ та непреоборимая, громадная, нивелирующая мощь *моногамическаго* общежительства, которая побѣждаетъ всѣ порывы, мечтанія и фантазіи человѣка. Бѣлинскій видѣлъ уже въ домашнемъ очагѣ своемъ какъ-бы цѣлящую силу для больного сердца, и въ рукѣ, которая спокойно ему служила, какъ-бы руку, удерживающую его на свѣтѣ.

Первымъ благомъ жизни становилась теперь для него та заботливая тишина, то чуткое молчаніе домашняго быта, которыя позволяли ему думать свои пламенные думы про себя, болѣть сердцемъ безъ помѣхи. Раздѣлъ горькихъ мыслей и ощущеній часто бываетъ подстрекательствомъ къ нимъ, а въ послѣднемъ онъ уже болѣе не нуждался. Онъ нуждался въ другомъ, а именно въ отдаленномъ, но симпатическомъ наблюденіи за своей кончавшейся жизнью. Семья Бѣлинскаго умѣла организовать такое наблюденіе, которое не давало себя чувствовать, и не спрашивала у него никогда объ исторіи болѣзни, не добивалась признаній и исповѣди, не заставляла рассказывать страданій. Она приучила его къ существованію, упрощенному до возможной степени и приноровленному столько же къ состоянію его мысли, сколько и къ физическому его состоянію. По-нятно послѣ того, что обычные спутники всякаго путешествія — какъ-то: многолюдство, пестрота жизни, назойливость вѣшнихъ явленій, напрашивающихся на вниманіе, уже казались ему нестерпимыми, такъ-какъ составляли новую лишнюю прибавку въ психическомъ его мірѣ, какой онъ вовсе не хотѣлъ. Вотъ почему онъ и писалъ длинныя письма изъ-за границы, часто украдкой, не къ друзьямъ въ Петербургъ, а къ женѣ и женщинѣ, которая, по его же мнѣнію, не въ силахъ была войти въ кругъ идей, нѣсколько отличныхъ отъ тѣхъ, къ какимъ привыкла; поэтому также этотъ поэтъ въ душѣ, воспитанный на чтеніи и изученіи художниковъ, но уже усталый — не видѣлъ ни памятниковъ культуры, ни самодѣльнаго творчества природы на своемъ пути и стоялъ передъ ними часто нѣмой, разсѣянный, видимо поглощенный совсѣмъ другой и чуждой имъ мыслию.

Особенное отвращеніе испытывалъ Бѣлинскій къ внезапнымъ бесѣдамъ, которыя такъ часто завязываются на дорогахъ съ незнакомыми людьми: отвращеніе это иногда разрѣшалось довольно комическими эффектами. На пути къ Дрездену прыгнулъ въ нашъ вагонъ съ одной станціи какой-то очень вертлявый и, повидимому, весьма добродушный полякъ. Услыхавъ русскій говоръ, онъ обратился къ сосѣду, которымъ, по несчастію, былъ Бѣлинскій, и началъ съ нимъ слѣдующую короткую бесѣду, передаваемую буквально. «Вы русскій?» — «Русскій». — «Прямо изъ Россіи?» — «Со-

вершению прямо». — «И, конечно, хорошо говорите по-французски?» — «Совсѣмъ не говорю». — «Значить, только по-нѣмецки?» — «И по-нѣмецки тоже не умѣю». — «Стало-быть, — приставалъ неутомимый полякъ и уже съ печальнымъ видомъ, — вы только по-русски говорите?» — «Немножко, и то неохотно», отвѣчалъ Бѣлинскій, откидываясь въ уголъ кареты. Надо было видѣть выраженіе изумленія на лицѣ вопрошавшаго: я не могъ удержаться отъ смѣха и перевелъ бесѣду уже на себя, начиная ее опять съ начала...

Въ Дрезденѣ мы остановились на недѣлю, Бѣлинскій заказывалъ бѣлье и, большей частью, лежалъ на диванѣ своей комнаты съ книгой въ рукѣ. Онъ равнодушно гулялъ по берегу Эльбы, осматривалъ безучастно городъ, зашелъ и въ *Grüne-Gewölbe*, которая своими дорожными дѣтскими игрушками и сокровищами пробуждала его вниманіе съ тѣмъ, чтобы привести его почти въ негодованіе, и, наконецъ, раза два побывалъ въ Картинной Галерей. Здѣсь, по принятому обыкновенію туристовъ, онъ также сѣлится передъ Сикстинской Мадонной, но вынесъ впечатлѣніе, совершенно противное тому, какое они обыкновенно испытываютъ при этомъ и затѣмъ описываютъ. Онъ первый, кажется, не пришелъ въ восторгъ отъ ея небеснаго спокойствія и равнодушія, а, напротивъ, ужаснулся ему, что было также косвеннымъ признакомъ гениальности мастера, создавшаго этотъ типъ. Въ дрезденской же галерей испытывалъ онъ и другое эстетическое горе: онъ наткнулся тамъ на маленькій *chef-d'oeuvre* Рубенса — «Судъ Париса», въ которомъ роль Венеры и обожженныхъ ея соперницъ играли три фламандскія красавицы, снятыя съ натуры съ поразительной вѣрностью и реализмомъ. Бѣлинскій, привыкшій понимать Венеръ и греческихъ женщинъ, какъ осуществленіе идеальной красоты на землѣ, очутился тутъ передъ тремя нагими матронами, пышущими здоровьемъ, упитанными и тучными, какъ огороды и сады ихъ отечества, будущими матерями здоровыхъ бургомистровъ и фабрикантовъ. Живописный реализмъ возбудилъ отвращеніе у поклонника реализма литературнаго. Онъ не могъ помириться съ картиной, какъ ни указывали ему на изумительный колоритъ ея, на жизненность этихъ тѣлъ, отъ которыхъ, кажется, еще вѣяло теплотъ, какъ и отъ бархатныхъ, парчевыхъ одѣяній, утрехтскаго издѣлія, только-что ими покинутыхъ, на гармонію, рельефность всѣхъ ея частей, — Бѣлинскій стоялъ въ недоумѣніи и продолжалъ называть Рубенса поэтомъ мясниковъ. Только нѣсколько позднѣе, когда указали ему, въ большой гравюрѣ, на другую картину того же мастера: «Торжество Выха», на этотъ пиръ, въ которомъ всѣ фигуры, начиная съ омытаго тигра, до послѣдней вакханки, охвачены столько же хмельнымъ виноградныхъ гроздіемъ,



олько и безграничной радостью молодой жизни, отрывшей возможность наслаждения на землѣ, Бѣлинскій пришелъ въ изумленіе тѣ силы рисунка, смѣлости мотивовъ, отъ идеи, доведенной до исшей степени ея пафоса и выраженія. Когда замѣтили ему, что картина принадлежит той же рукѣ, которая произвела и «Судъ ариса», Бѣлинскій добродушно замѣтилъ: «Ну, значить, я началъ, да съ меня нечего взять—я вѣдь олухъ въ этихъ дѣлахъ».

Съ недоразумѣніями подобнаго рода мнѣ приходилось встрѣяться не разъ и потомъ, и слышать—напримѣръ, отъ Г.—остроинныя выходы противъ манеры католическихъ живописцевъ помѣщать святыхъ на облакахъ въ *сидячемъ положеніи*, низводить пеловъ на землю и заставлять ихъ играть на арфахъ, лютняхъ скрипкахъ, и проч., и проч. Все это казалось крайне ненатуральнымъ и чудовищнымъ тѣмъ самымъ людямъ, которые въ литературныхъ произведеніяхъ нисколько не возмущались, когда встрѣяли описанія сновъ, тайныхъ разговоровъ влюбленныхъ, мимолетныхъ психическихъ ощущеній, что все должно бы оставаться, по существу, секретомъ и для авторовъ, которые сами не могли ни его подобнаго ни подглядѣть, ни подслушать. То кажется несомнѣннымъ, что для пониманія какъ литературныхъ, такъ и пластическихъ созданій, необходимо свыкнуться съ ихъ обычными приѣмами, помириться съ нелогичностью нѣкоторыхъ изъ нихъ и приять въ нихъ авторитетную силу для своей мысли. Но подчиненность такого рода особенно противна, когда она является не въ видѣ навыка, полученнаго съ незапамятнаго времени, а требуется режде всего отъ человека, какъ начало премудрости, безъ котораго нечего и приступать къ сужденію о предметахъ искусства. [ожетъ быть, это обстоятельство именно и подсказало оригинальное мшеніе Бѣлинскому, когда, прибывъ въ Кельнъ, онъ не пожелалъ идѣть знаменитой абсиды его собора, тогда еще недостроеннаго. въ мимоходомъ взглянулъ на нее снаружи, уже проѣздомъ на ганцію желѣзной дороги, и только сказалъ: «Обширное помѣщеніе, нечего сказать, для католической идеи, которая тамъ должна была роживать».

Парижъ оказался уже не подъ силу Бѣлинскому. Съ первыхъ же дней лихорадочное движеніе толпы, днемъ и ночью шумящія и мѣшляющіе кафе и магазины, суета и говоръ, возстающіе съ ранняго утра, и толпы, перекрестнымъ огнемъ раздающіеся со всѣхъ сторонъ, утомили его скорѣе, чѣмъ я ожидалъ. Проѣхавъ по улицамъ и площадямъ Парижа, побывавъ нѣсколько (немного) разъ въ операхъ и театрахъ, онъ почувствовалъ почти тотчасъ же необходимость скрыться куда-нибудь отъ этого неумолкающаго празд-

ника. Онъ нашелъ два пріюта: за письменный столонъ въ своей комнатѣ, на которомъ писалъ много и долго къ жонѣ—во-первыхъ, и въ семьѣ Г., гдѣ М. О. К. и хозяйка окружали его попеченіями и успѣвали разглаживать морщины, наведенныя усталостью отъ зрѣлища мятущихся людей, цѣлей и намѣреній которыхъ угадать нельзя.

Впечатлѣніе, произведенное на него Парижемъ, было вообще, такъ-сказать, удивленно-грустное. «Все въ немъ,—говорилъ Бѣлинскій,—должно принимать громадныя размѣры: алчность, развратъ и легкомысліе, также точно какъ и разработка идей и знаній, и благородныя порывы, и стремленія,—да разобраться въ этомъ омутѣ и узнать, чего въ немъ больше — дѣло очень трудное». Онъ не разъ спрашивалъ у друзей: въ самомъ ли дѣлѣ необходимы для цивилизаціи такіе громадныя, умопомрачающіе центры населенія, какъ Парижъ, Лондонъ и др.

Конечно, окружающіе Бѣлинскаго посѣщали открытъ ему тѣ источники, которыми питается движеніе Парижа, такъ много удивившее его: именно—музеи, лекціи, сходки и проч. Бѣлинскій слѣдовалъ покорно за своими вожатыми, но, видимо, смотрѣлъ на это, какъ на исполненіе долга, какъ на нѣчто схожее съ праздничными *эмизтами* по начальству. Не трудно было поддѣлать его благодарный взглядъ всякій разъ, когда его освобождали отъ этого, своего рода спѣшнаго нагляднаго обученія и замѣняли его сокращеннымъ изложеніемъ того или другого любопытнаго явленія въ литературѣ, наукѣ или жизни. Всего болѣе интересовался онъ вопросомъ, какого результата въ будущемъ слѣдуетъ ожидать отъ всѣхъ этихъ начинаній, къ какому положительному выводу можно придти относительно дальнѣйшаго развитія цивилизаціи уже и теперь, на основаніи существующихъ данныхъ, — словомъ, какъ велика сума общечеловѣческихъ надеждъ, носимыхъ въ себѣ всей этой видимой культурой? Отвѣтовъ получено было много и, болѣею частью, самихъ благопріятныхъ для грядущихъ поколѣній, за исключеніемъ только мнѣнія Г. по этому предмету, которое особенной вѣры въ силу современныхъ людей и ихъ способности къ прогрессу не обнаруживало. Бѣлинскій оставался, такимъ образомъ, между двумя противоположными сужденіями о предметѣ, который его занималъ. Не считая самого себя достаточно подготовленнымъ для разрѣшенія вопроса собственной мыслью, онъ покинулъ Парижъ съ неяснымъ представленіемъ дѣла, которое дѣлалъ городъ. Да и кто могъ тогда ясно видѣть, что готовится въ немъ, или предсказать, что несетъ ему ближайшій, наступающій день исторіи?

Вообще, насколько становился Бѣлинскій снисходительнѣе къ

русскому міру, настолько строже и взыскательнѣе относился къ заграничному. Съ нимъ случилось то, что потомъ не разъ повторялось со многими изъ нашихъ самыхъ рьяныхъ западниковъ, когда они дѣлались туристами: они чувствовали себя какъ-бы обманутыми Европой, смотрѣли на нее съ упрекомъ, какъ будто она не сдержала тѣхъ обѣщаній, какія надавала имъ втихомолку. Это обычное явленіе объясняется довольно просто. Сухая, дѣловая, часто ограниченная и невѣжественная и всегда мелочная — плутоватая толпа новыхъ людей первая встрѣчала заграничій путешественниковъ и, случалось, довольно долго держала ихъ въ средѣ своей, прежде чѣмъ они переходили къ явленіямъ и порядкамъ высшаго строя жизни. Но тогда они уже расположены были требовать у послѣднихъ отчета за всю видѣнную прежде пошлость и возлагать на эти явленія отвѣтственность за все то безобразное и ничтожное, которое не было уничтожено ихъ вліяніемъ. Бѣлинскій не избѣгъ общей участи путешественниковъ. Подъ впечатлѣніемъ скучнаго процесса своего леченія и особенно подъ впечатлѣніемъ зрѣлища громадной людской массы, не имѣющей и предчувствія тѣхъ идей и началъ, которыя возвѣщались міру отъ ея имени, Бѣлинскій давалъ мрачный отчетъ о заграничномъ своемъ житьѣ-бытьѣ друзьямъ въ Москвѣ — и напугалъ ихъ. Имъ показалось, что онъ можетъ вернуться домой скептикомъ по отношенію къ европейской культурѣ вообще, и въ дальнѣйшей своей дѣятельности, даже нехотя и противъ своей воли, способствовать при такомъ настроеніи распространенію надменныхъ взглядовъ на западную цивилизацію, уже существующихъ въ русскомъ обществѣ. Опасенія свои они сообщили и самому Бѣлинскому. Одинъ изъ нихъ — В. П. Боткинъ писалъ:

«Москва. 19 іюля, 1847. Сегодня получилъ твое письмо изъ Дрездена, милый мой Виссаріонъ... Понимаю твое отвращеніе отъ Германіи, Бѣлинскій, — очень понимаю, хоть и не раздѣляю его. Я не могу жить въ Германіи, потому что нѣмецкая общественность не соответствуетъ ни моимъ убѣжденіямъ, ни моимъ симпатіямъ, потому что нравы ея грубы, что въ ней мало такта дѣйствительности и реальности и такъ далѣе, но я не изрекаю ей такого приговора, какъ ты — и относительно дурныхъ и хорошихъ сторонъ народовъ придерживаюсь нѣсколько эклектизма. Понимаю твою скуку; я и здоровый захворалъ бы отъ скуки, проведя полтора мѣсяца въ Германіи, а ты еще провелъ ихъ въ Силезіи, въ Сальцбрунѣ! Парижъ, я надѣюсь, постоитъ за себя. Но за чѣмъ тебѣ видѣть тамъ однихъ только *конституціонныхъ подданныхъ*? Тамъ есть много такого, что посущественнѣе и поинтереснѣе ихъ. Политическіе очки не всегда показываютъ вещи въ настоящемъ свѣтѣ,

особенно если эти очки сдѣланы изъ принятыхъ заочно доктринъ. Часто и доморощенные доктрины заставляютъ городить вздоръ (что доказываетъ книга Луи Влана; съ твоими умными мнѣніемъ о немъ совершенно согласенъ), а бѣда если нашъ братъ пріѣзжаетъ въ страну съ заранѣе вычитанною доктриною... Получа твое письмо, я тотчасъ побѣжалъ подѣлиться имъ съ Коршемъ и сегодня пошелъ его къ Грановскому... Ты получилъ письмо отъ Гоголя? По разсказамъ—это письмо показываетъ, что Гоголь потерялъ, наконецъ, смыслъ къ самымъ простымъ вещамъ и дѣламъ.. Сейчасъ получаю твое ко мнѣ письмо обратно отъ Грановскаго; онъ не доволенъ имъ и боится, чтобы ты съ твоей теперешней точки зрѣнія на Германію и Францію не сталъ бы писать о нихъ, воротясь въ Россію. Въ самомъ дѣлѣ—это было бы большимъ торжествомъ для нашихъ невѣждъ и мерзавцевъ. О цензурныхъ обстоятельствахъ, надѣюсь, тебѣ сообщилъ уже Некрасовъ, и ты, конечно, уже знаешь, что теперь Ж. Зандъ не будетъ читаться на русскомъ языкѣ...» и т. д.

Не трудно было окружающимъ Бѣлинскаго, къ которымъ московскіе друзья тоже обращались съ запросами о нравственномъ его состояніи, разъяснить, что въ основаніи всѣхъ его нареканій на заграничную жизнь лежатъ совсѣмъ не враждебное Европѣ чувство, а скорѣе чувство нѣжное къ ней, раздосадованное только тѣмъ именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои нормы.

Настроеніе, однакоже, не прошло у Бѣлинскаго безслѣдно.

О мозговыхъ раздраженіяхъ русской либеральной колоніи, съ ея заботами объ устройствѣ для себя наилучшаго умственнаго комфорта, причеи, конечно, не могли быть забыты ею и эффектные подробности изъ современныхъ открытій—уже и говорить нечего. Бѣлинскій не обратилъ на колонію никакого вниманія, какъ на дѣло, извѣстное ему по опыту—и у себя дома <sup>1)</sup>.

Мы слышали, что позднѣе и уже находясь въ Петербургѣ. Бѣлинскій принималъ извѣстіе о революціи 48-го года въ Парижѣ почти съ ужасомъ. Она показалась ему неожиданностію. оскорбительной для репутаціи тѣхъ умовъ, которые занимались изученіемъ общественнаго положенія Франціи и не видѣли ея приближенія. Горько пенялъ онъ на своихъ парижскихъ друзей, даже и не замечавшихся передъ нимъ о возможности близкаго политическаго пере-

<sup>1)</sup> Къ польскому вопросу Бѣлинскій всегда относился только съ гуманной точки зрѣнія, находя, что жертвы исторіи и собственныхъ грѣховъ могутъ возбуждать глубокое состраданіе, какъ вообще и всѣ утасія національности прежнихъ эпохъ.— Политической сторона польскаго вопроса онъ никогда не касался и постоянно обходилъ его съ равнодушіемъ.

ворота, который, какъ оказалось, и былъ настоящимъ дѣломъ эпохи. Этотъ недостатокъ предвидѣнья, по мнѣнію Бѣлинскаго, превращалъ людей или въ рабовъ, или въ беззащитныя жертвы одного вѣшняго случая. Упреки были справедливы, но надо сказать, что окончательная форма переворота была неожиданностію и для тѣхъ, кто его устроилъ.

Жена Г., по инстинкту женскаго сердца, поняла, между прочимъ, Бѣлинскаго, заѣхавшаго въ Парижъ, лучше и скорѣе всѣхъ другихъ. Она собрала маленькую и хорошо подобранную коллекцію «образовательныхъ» игрушекъ, уже существовавшихъ тогда въ Парижѣ, хотя и безъ систематизаціи ихъ, и подарила ее дочери Бѣлинскаго. Между подарками были зоологическіе альбомы съ великобѣнными рисунками животныхъ всѣхъ поясовъ земли, которыми Бѣлинскій не уставалъ восхищаться. Онъ мечталъ о воспитаніи дочери на естествознаніи и точныхъ наукахъ. Между прочимъ, онъ въ это время нашелъ игрушку и для самого себя. Фланируя по улицамъ, онъ наткнулся въ одномъ магазинѣ готовыхъ платьевъ на изумительно пестрый халатъ съ огромными красными разводами по бѣлому фуляровому полю—и влюбился въ него. Халатъ былъ именно той *выставочной* вещью, которую магазины нарочно заказываютъ, съ цѣлью огорошить проходящаго и остановить его передъ своими зеркальными стеклами. Бѣлинскій почувствовалъ родъ влеченія къ этому предмету, долго колебался и наконецъ купилъ его, серьезно растолковывая намъ, что предметъ совершенно необходимъ ему для утреннихъ работъ въ Петербургѣ. Подробность заслуживаетъ упоминовенія потому, что этотъ несчастный халатъ надѣлалъ потомъ много хлопотъ ему и мнѣ.

По мѣрѣ того, какъ приближалось время къ отъѣзду Бѣлинскаго въ Россію, о чемъ онъ уже сталъ мечтать чуть ли не со дня своего появленія въ Парижѣ, возникалъ вопросъ о способахъ удобнѣйшаго отправленія его на родину, такъ-какъ предоставить Бѣлинскаго самому себѣ въ этомъ дѣлѣ не было возможности, по малой его опытности и неспособности бесѣдовать на иностранныхъ діалектахъ. Рѣшеніе вопроса было уже принято, когда представилась возможность дать Бѣлинскому благонадежнаго сопутника и вѣстѣ оказать услугу честному старику, занимавшему важную въ Парижѣ должность «*protégé*»—привратнику въ нашемъ домѣ. Старика, очень строгаго къ *простымъ* жильцамъ, которые поздно возвращались домой, и привязавшагося къ русскимъ своимъ пансіонерамъ какъ-то страстно и безотчетно—звали Фредерикъ. Онъ былъ родомъ нѣмецъ изъ Саксоніи, свершилъ походъ 12-го года въ Россію съ арміею Наполеона, попалъ въ ординарцы къ губернатору

Москвы маршалу Даву, что и помогло ему возвратиться цѣлымъ и невредимымъ въ Парижъ, гдѣ онъ и поселился. Онъ охотно, особенно подъ хмѣлькомъ, рассказывалъ объ ужасахъ, какіе онъ видѣлъ на пути въ Россію, и изъ Россіи и въ Москвѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сгоралъ желаніемъ побывать на родинѣ (гдѣ-то около Лейпцига), которой не видалъ уже болѣе 35 лѣтъ, и, когда я предложилъ ему, подъ условіемъ сперва довести моего пріятеля до Берлина, посѣтить на нашъ счетъ свой фатерландъ и затѣмъ возвратиться назадъ къ мѣсту, которое покажеться будетъ блисти его супруга (толстая и величественная баба), старикъ какъ-то присѣлъ, положилъ обѣ руки между колѣнъ и, легко подпрыгивая, могъ только нѣсколько разъ промывать: «Oui, Monsieur! Ah, Monsieur!..» Для Бѣлинскаго нашелся надежный проводникъ, говорившій по-нѣмецки и по-французски, и готовый беречь его особу и особенно его кошелекъ, какъ честь знамени или пароль, полученный отъ своего шефа.

Въ Парижъ пришелъ также и отвѣтъ Гоголя на письмо Бѣлинскаго изъ Зальцбрунна. Грустно замѣчалъ въ немъ Гоголь, что опять повторилась старая русская исторія, по которой одно неосновательное убѣжденіе или слѣпое увлеченіе непременно вызываетъ съ противной стороны другое, еще болѣе рискованное и преувеличенное, посылалъ своему критику желаніе душевнаго спокойствія и возстановленія силъ и разбавлялъ все это мыслями о серьезности вѣка, занимающагося идеей полнѣйшаго построенія жизни, какого еще и не было прежде. Что онъ подразумѣвалъ подъ этимъ построеніемъ — письмо не высказывало и вообще не отличалось ясностью изложенія. Бѣлинскій не питалъ злобы и ненависти лично къ автору «Переписки», прочелъ съ участіемъ его письмо и замѣтилъ только: «какая запутанная рѣчь; да, онъ долженъ быть очень несчастливъ въ эту минуту».

День отъѣзда изъ Парижа, послѣ предварительнаго совѣщанія съ друзьями, былъ назначенъ окончательно. Наканунѣ его, вечеромъ, Бѣлинскій посидѣлъ еще разъ на любимомъ своемъ мѣстѣ, на мраморныхъ ступенькахъ террасы, окружающей площадь Согласія, «de la Concorde», задумчиво смотря на луксорскій обелискъ посреди площади, на Тюльери, выступавшій фасадомъ и куполомъ изъ каштановаго сада своего, на мостъ черезъ Сену и Бурбонскій дворецъ за нимъ, обратившійся въ палату депутатовъ, и вспоминая страшныя сцены и драмы, нѣкогда разыгрывавшіяся въ этихъ мѣстахъ. Поздно ночью, послѣ прощанія у Г., возвратились мы домой. Все было тамъ уложено и приготовлено съ помощью Фредерика, и на другой день въ 5 часовъ утра мы были уже на по-

а въ половинѣ 6-го — и въ каретѣ, которая должна была  
ити насъ на дебаркадеръ дальной сѣверной желѣзной дороги.  
Одѣвѣваясь въ ней и за какіе-нибудь четверть часа до от-  
амаго поѣзда, мнѣ вздумалось спросить Бѣлинскаго: «захва-  
и вы халатъ?» Бѣдный путешественникъ вздрогнулъ и глу-  
голосомъ произнесъ — «забылъ, онъ остался въ вашей комнатѣ,  
анѣ». — Ну, — отвѣчалъ я, — бѣда не большая, я вамъ пере-  
го въ Берлинъ. Но упустить халатъ изъ рукъ показалось Бѣ-  
му невыносимымъ горемъ. Надо было видѣть ту печальную  
слышать тотъ умоляющій голосъ, съ которыми онъ сказалъ  
ельзя ли теперь? Отказать ему не было возможности безъ  
женя въ его умѣ всѣхъ пріятныхъ впечатлѣній вояжа. Я  
лъ на помощь русское авось, остановилъ карету и послалъ  
ика скакать, въ первомъ попавшемся фіакрѣ, домой что есть  
подобрать халатъ и застать насъ еще на станціи. Простѣе  
ны отложить поѣздку до завтра, но мной завладѣлъ тоже нѣ-  
го рода азартъ и желаніе одолѣть помѣху, во что бы то ни  
Русское авось однако не измѣнило на этотъ разъ. Я едва  
взять билетъ для Бѣлинскаго, распорядиться съ его бага-  
какъ пробилъ третій звонокъ, а Фредерика не было. Из-  
, что на французскихъ дорогахъ царствуетъ или царствовалъ  
й распорядокъ, такъ что подъ криками и командами кондук-  
мнѣ всегда казалось, что я скорѣе на бастионѣ крѣпости,  
на мирномъ дебаркадерѣ желѣзной дороги. На этотъ разъ  
ующіе бастиономъ были еще суровѣе обыкновеннаго. Въ ра-  
нную дверь настѣжь, по третьему звонку гнали они теперь  
пассажировъ на террасу съ такимъ неистовствомъ, что можно  
подумать: нѣтъ ли у насъ сзади непріятельской артиллеріи и  
въ: *allez, passez, dérerchez-vous!* Я шепнулъ Бѣлинскому,  
оставилъ адресъ свой въ Брюсселѣ на станціи и ждалъ тамъ  
ика; затѣмъ его втиснули въ толпу, изъ которой онъ выле-  
на террасу, но меня, какъ не имѣющаго билета, уже не пу-  
туда: права провожать своихъ знакомыхъ и родныхъ граж-  
Парижа тогда не имѣли, да кажется и теперь не имѣютъ.  
роисходило затѣмъ съ Бѣлинскимъ на террасѣ, онъ описалъ  
отомъ изъ Брюсселя. Измученный, надорванный шумомъ, сует-  
олчками, онъ остановился съ билетомъ въ рукахъ на тер-  
тяжело дыша и не зная, куда направиться. Тутъ усмотрѣлъ  
инъ изъ бѣшеныхъ кондукторовъ, рыскавшихъ на террасѣ,  
илъ билетъ и съ восклицаніемъ: *mais que faites vous là, sac-*  
! — потащилъ его за руку и бросилъ въ первый попавшійся  
поѣзда, который уже тронулся. Такъ онъ и доѣхалъ до

гражданскаго существованія, какъ и учителя его — Карамзинъ и Жуковский, но съ тою разницей, что послѣдніе пользовались возможностью доводить свои теоріи до свѣдѣнія оффиціальнаго міра, между тѣмъ какъ Пушкинскія теоріи, которыя онъ обдумывалъ долгое время, должны были остаться при немъ одною, и притомъ въ необдѣланномъ, разбросанномъ, почти безсвязномъ видѣ. Много было уже у насъ попытокъ добраться до смысла истинныхъ политическихъ и общественныхъ убѣжденій Пушкина съ помощію самихъ его произведеній и тѣхъ выводовъ, какіе они представляютъ, — но все-таки приговоры, основанные на этомъ критическомъ разборѣ, и могутъ имѣть достовѣрности личныхъ показаній и признаній автора. Всего чаще, подобныя приговоры не принимаютъ въ соображеніе случайности поэтическаго настроенія, которымъ иногда выражается не подлинная мысль автора, а только мысль, навѣянная ему сюжетомъ, содержаніемъ его образа или его фантазіи. Подлинная мысль человека обрѣтается преимущественно въ его бесѣдахъ съ самимъ собою, наединѣ со своею совѣстью, при кабинетной повѣркѣ съ глазу на-глазъ всего своего умственнаго достоянія. Между всѣми остатками такой литературной дѣятельности А. С. Пушкина, особенно печатно подлинной его мысли помѣчены черновые планы политическихъ статей, заготовляемыхъ поэтомъ для «Литературной Газеты» барона А. А. Дельвига 1830 года, а затѣмъ отзывы и сужденія Пушкина при перечнѣ указовъ и событій временъ Петра I-го, за исторію котораго онъ принялся въ 1832 году, по порученію правительства. Передачей этой *подлинной мысли* Пушкина въ области политическихъ и общественныхъ вопросовъ мы теперь и занимаемся, не отказываясь, впрочемъ, и отъ задачи услѣдить ея болѣе или менѣе далекое отраженіе и на нѣкоторыхъ литературныхъ и поэтическихъ его произведеніяхъ; вообще, основная мысль Пушкина сохранилась, въ его бумагахъ, въ формѣ набросковъ, недоговоренныхъ положеній и отрывковъ, соединить которые въ нѣчто цѣлое и однородное представляло не маловажное затрудненіе и потребовало особеннаго труда и усилій.

## I.

Настоящая цѣль изданія «Литературной Газеты» 1830—31 г. заключалась, какъ извѣстно, преимущественно въ томъ, чтобы обрѣзывать какой-либо оплотъ противъ журнальной монополіи, захваченной издателями «Сѣв. Пчелы» и «Сына Отечества», благода-



жалкой безпомощности самих писателей и апатическому характеру всего литературного мира. Монополия эта, какъ всегда бываетъ, тщательно наблюдала за тѣмъ, чтобы сохранить свое привилегированное положеніе всякими позволительными и непозволительными средствами. Оставляя въ сторонѣ всѣ ея *неласныя* старанія представить себя какъ единственную охранительницу интересовъ порядка и благочинія — достаточно упомянуть объ орудіяхъ, какія она употребляла, чтобы держать въ страхѣ передъ собою печать и пишущихъ. Орудіями этими служили, во-первыхъ, безустанное преслѣдованіе писателей *независимыхъ*, но еще не составившихъ себѣ имени; лести и искательство передъ знаменитостями, если они обнаруживали расположеніе покрывать своимъ молчаніемъ заведенный порядокъ дѣлъ, — и наоборотъ — ругательства, клевета, позорные намеки всякаго рода, если они теряли терпѣніе и поднимали голосъ, а затѣмъ необычайное снисхожденіе, покровительство и жаркая рекомендація всякому ничтожеству и посредственности, которыя становились добровольно подъ его монополію и въ ней искали залоговъ успѣха и упроченнаго положенія въ печати. Монополия торжествовала. Благодаря заведенному ею террору въ литературномъ мірѣ, полному равнодушію образованнаго общества къ дѣламъ печати, и согласію, полученному ею, гдѣ слѣдуетъ, на предоставленіе простора въ приложеніи дисциплинарныхъ мѣръ къ непокорнымъ умамъ, — она превратила почти весь тогдашній, немногочисленный персоналъ русскихъ писателей въ льстецовъ, клеветовъ и агентовъ своихъ корыстныхъ цѣлей. Къ сожалѣнію, издатель «Московского Телеграфа», который могъ бы образовать относительно довольно сильную, самостоятельную и противодѣйствующую ей партію, тоже вошелъ въ ея интересы и пристроился къ ней, напуганный, вѣроятно, московской оппозиціей своему журналу, сильно обнаружившейся при появленіи соперничающаго «Московского Вѣстника», 1827 г., а еще — вѣроятно, по расчету обезоружить одного изъ членовъ монополіи, О. В. Булгарина — это типическое лицо своего времени, пользовавшееся довѣріемъ нѣкоторыхъ правительственныхъ лицъ, несмотря на то, что постоянно вводило ихъ въ ошибки своими сообщеніями. Горькій опытъ показалъ Н. А. Полевому, какъ невѣренъ былъ его расчетъ.

Ко всему этому слѣдуетъ еще присоединить первое появленіе у насъ памфлетической литературы. Съ альманахами — «Сѣверный Меркурій» 1829 г. и «Сѣверная Звѣзда» 1830 — 32, изданія М. А. Бестужева-Рюмина — на свѣтъ впервые выступалъ *низшій* родъ журнальной quasi-демократіи, руководимый враждебнымъ чувствомъ ко всѣмъ пріобрѣтеннымъ литературнымъ положеніямъ. Бестужевъ-Рюминъ отличался своего рода цѣпкостью, не связанъ былъ

понятіями о приличіи и достоинствѣ своихъ сужденій и представлялъ ранній, хотя еще и тусклый образецъ бойца, который старається смѣлостію и наглостію выдти изъ толпы, гдѣ его удерживаютъ отсутствіе таланта и образованія. Такъ, въ одномъ изъ своихъ изданій Вестужевъ-Рюминъ развязно напечаталъ нѣсколько рукописныхъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина, безъ вѣдома автора, всегда боявшагося подобныхъ нескромностей, и подъ одними литерами «Ан.» Пушкинъ даже и не протестовалъ, наученный еще прежде опытомъ, что литературная собственность не признается въ его отечествѣ. Въ 1827 г. чиновникъ при Третьемъ Отдѣленіи, статскій совѣтникъ Ольдекопъ, перевелъ на нѣмецкій языкъ его «Кавказскаго плѣнника» и выпустилъ въ свѣтъ съ полнымъ русскимъ текстомъ en regard, что равнялось новому, самовольному изданію поэмы. Всѣ усилія Пушкина—добиться защиты своихъ правъ, обращавшагося за этимъ къ ближайшему начальству смѣлаго переводчика—остались безуспѣшны. Оскорбленный авторъ, махнувъ рукой, тогда же и сказалъ: «Ну, и чортъ съ нимъ, если на него нѣтъ суда».

Въ такомъ видѣ и съ такими правами и обычаями влились свои дни журналистика и печать русская къ началу 1830 г.

Понятно, послѣ того, заявленіе, сдѣланное «Литературной Газетой», на первыхъ же порахъ, о своемъ намѣреніи поднять литературную критику изъ ея прискорбнаго состоянія и предоставить поле дѣятельности для писателей, которые не могутъ участвовать ни въ одномъ изъ Петербургскихъ и Московскихъ журналовъ. Заявленіе было написано Пушкинымъ и содержало правдивый фактъ. Послѣ прекращенія «Московского Вѣстника», цѣлая группа, и самая значительная,—литераторовъ, въ которой числились такіе лица, какъ В. А. Жуковскій, Е. А. Варатынскій, князь П. А. Вяземскій, И. А. Крыловъ, П. А. Катенинъ, и наконецъ, самъ Пушкинъ—дѣйствительно не имѣла органа. Группѣ этой именно и принадлежитъ какъ первая мысль объ основаніи газеты, такъ и выборъ редактора для нея. По общему соглашенію, въ редакторы былъ призванъ А. А. Дельвигъ, пользовавшійся репутаціей очень тонкаго критика и имѣвшій за собой преимущество почти безотлучнаго пребыванія въ Петербургѣ. Правда, всѣ эти основатели газеты помогали ей впослѣдствіи болѣе совѣтами, чѣмъ произведеніями своими, за исключеніемъ одного И. А. Крылова, даваго ей значительный вкладъ новыхъ басенъ своихъ; а между тѣмъ совокупныя ихъ усилія были бы совершенно необходимы для того, чтобы бороться съ такими опытными и изворотливыми врагами, какіе поджидали новый журналъ. Душой его сдѣлался Пушкинъ. Онъ при-

ялѣ на себя важнѣйшую, полемическую часть газеты, и повелѣе ее, какъ увидимъ, съ такимъ пыломъ и въ такомъ рѣшительномъ, безпощадномъ тонѣ, какой до того еще и не былъ знакомъ въ нашей литературѣ. Монополія тотчасъ же распознала грозившую ей опасность, и для отвращенія ея собрала все свои силы литературныя, а также и тѣ, которыми располагала *она* литературы. Вспомогательная въ то же время памфлетическими выходками Вестужевской школы, она очень искусно перенесла вопросъ о причинахъ появленія юваго журнала на политическую почву, назвавъ издателей и сторонниковъ «Литературной Газеты» — кружкомъ людей, желающихъ выдѣлиться изъ общаго положенія, существующаго для литераторовъ, и стать особнякомъ, образовать партію знаменитостей, водворить «принципъ аристократизма» тамъ, гдѣ его быть не можетъ, и направлять общественную мысль, въ смыслѣ этого принципа. Этотъ опасный, при тогдашнемъ режимѣ, намекъ и дерзкій вызовъ, брошенные монополіей въ такомъ видѣ, были подняты «Литературной Газетой»; или, лучше, ея вдохновителемъ, Пушкинымъ—съ необычайной энергіей. Теперь уже вполне извѣстно, что именно Пушкинъ былъ отчасти составителемъ, а отчасти внушителемъ всѣхъ гдѣхъ многочисленныхъ полемическихъ замѣтокъ, въ которыхъ участіе избраннаго круга людей въ дѣлахъ общества и литературы объявлялось желательнымъ и въ то время необходимымъ для подлітія строя жизни и уровня мысли въ государствѣ. Въ противоположность съ задачами и цѣлями, какія можетъ имѣть подобный избранный кругъ, публицистъ «Литературной Газеты» поставилъ на мѣдѣ задачи какаго-нибудь проходима-литератора, въ родѣ Виктора, — и дѣйствительно, статья Пушкина о запискахъ этого сыщика, въ № 20 «Литературной Газеты», нанесла чувствительный ударъ Булгарину, какъ нравственной личности. Далѣе, тотъ же публицистъ действовалъ ядовитыми эпиграммами враговъ всякой умственной и моральной возвышенности въ людяхъ, какъ признака аристократизма (ср. эпиграмму Пушкина на того же Булгарина), и наконецъ въ пресловутой статейкѣ, надѣлавшей много шума и не мало бѣдъ самому издателю «Газеты» (и она тоже принадлежитъ Пушкину), дошелъ до замѣчанія, что неумолкаемыя нападки журналовъ Булгаринскаго пошиба на аристократію могутъ кончиться тѣмъ, чѣмъ они кончились въ другой странѣ — криками черни: «les aristocrates à la lanterne», и припѣвомъ «ça ira». Статейка еще добавляла свою походку восклицаніемъ: «avis au lecteur!»

Враги Пушкина и вся Булгаринская партія поздно тогда спохватились, что сдѣлали ошибку, затронувъ его и приложивъ къ юму свой инсинуаціонный способъ борьбы: Пушкинъ встрѣтилъ ихъ

на той самой почвѣ, гдѣ они считали себя непобѣдимыми, и далѣ почувствовать, что оружіе инсинуаціи можетъ быть обращено и противъ нихъ самихъ. Испугъ, произведенный замѣткой Пушкина въ Бунгаринскомъ лагерѣ монополистовъ, былъ понятенъ: она наносила ударъ ихъ официальной репутаціи — благонадежности; но, бросая ее въ такомъ рѣзкомъ видѣ, Пушкинъ надѣялся, что она вызоветъ столь же рѣзкій отвѣтъ — и тѣмъ дастъ поводъ къ началу серьезной, *принципиальной* полемики.

Ничего подобнаго не случилось. Враждебная партія нисколько не была расположена затрогивать основы своихъ или чужихъ вѣнъ и предпочла ограничиться горячими протестами противъ злонамереннаго вывода, сдѣланнаго изъ ея словъ, и скрыться подъ покровительство общихъ цензурныхъ законовъ. Но Пушкинъ уже не хотѣлъ оставить ее спокойно предаваться, по прежнему, безмятежному удовольствію вести простую диффаматорскую игру вокругъ именъ и личностей, послѣ того, какъ уже былъ поднятъ вопросъ о направленіяхъ и слѣдовало выразить свое отношеніе къ нимъ. Онъ принялся за объясненіе и распространеніе первоначальной замѣтки, въ формѣ разговора между двумя лицами: *А.* и *Б.*, въ которыхъ уже налагалъ отчасти свое воззрѣніе на явленія, носившія названія русской аристократіи и демократіи. Разговоръ предназначался итъ тоже для «Литературной Газеты», въ чемъ можно убѣдиться и по нѣкоторымъ его приемамъ и нѣсколько осторожному тону изложенія; но Пушкинъ въ этомъ случаѣ слишкомъ понадѣялся на выносливость печати и рассчитывалъ на публикацію, не договорившись, по французскому выраженію, предварительно съ хозяиномъ. Было найдено, что весь этотъ литературный споръ занялъ уже слишкомъ далеко и затронулъ стороны жизни, не подлежащія его вѣдѣнію, и послѣ должныхъ внушеній обѣимъ сторонамъ, дальнѣйшее его развитіе дѣлалось болѣе невозможнымъ. «Разговоръ» такъ и остался въ бумагахъ Пушкина въ томъ необдѣланномъ еще видѣ, въ какомъ онъ здѣсь и приводитъ его <sup>1)</sup>:

---

<sup>1)</sup> Для библиографовъ и для будущаго истинно-полнаго собранія сочиненій Пушкина, мы можемъ еще привести замѣтки его, вошедшія въ свѣсъ „Литературной Газеты“ и не вошедшія ни въ одинъ изъ сборниковъ его твореній. Таковы: № 10, стр. 98—о князѣ Виземскомъ; № 12, стр. 98—о каррикатурахъ въ Англіи, которая содержитъ намекъ на Н. А. Полевого; № 16, стр. 129—о гекзаметрахъ Мерзлякова, въ сравненіи съ гекзаметрами Дельвига; № 20 стр. 162—отвѣтъ критику, объявленному при разборѣ одного литературнаго сборника, что итъ причинъ сомнѣваться въ отсутствіи въ немъ знаменитыхъ писателей; № 36, стр. 293—вторая замѣтка о благонадежности навадокъ на дворянство.

«А. Читалъ ты замѣчаніе въ «Литературной Газетѣ», гдѣ сравниваютъ нашихъ журналистовъ съ демократическими писателями XVIII-го столѣтія?—Б. Читалъ.—А. Какъ же ты его находишь?—Б. Довольно неумѣстнымъ <sup>1)</sup>.—А. Конечно—иначе нельзя думать. Какъ не стыдно литераторамъ обижать такимъ образомъ юю братію!...—Б. Согласенъ.—А. Русскіе журналисты не заслуживали такого презрительнаго сравненія.—Б. А! такъ извини: я съ тобою не согласенъ.—А. Какъ такъ?—Б. Я было тебя не полагъ. Мнѣ показалось, что ты находишь обиженными демократическихъ писателей XVIII столѣтія, которыхъ съ нашими никакимъ образомъ сравнивать нельзя. Томасъ, Дюкло, Шамфортъ—были столь же умные, какъ и честные люди—не безпримѣрные гонимы, но литераторы съ отличнымъ талантомъ.—А. Въ «Литературной Газетѣ» сказано, что эпитафии ихъ приготовили крики: à la lanterne! leu жто въ самомъ дѣлѣ эпитафии произвели французскую революцію?—Б. О французской революціи «Литературная Газета» молить—и хорошо дѣлаетъ.—А. Помилуй, да посмотри—les aristocrates à la lanterne, ça ira, и т. д.—Б. И ты тутъ видишь французскую революцію?—А. А ты что тутъ видишь, если смѣю спросить?—Б. Одинъ жалкій эпизодъ французской революціи—гадкую сцену въ огромной драмѣ.—А. Такъ видно—ты стоишь за «Литературную Газету». Давно-ль ты сдѣлался аристократомъ?—Б. Какъ, аристократомъ?—Что такое аристократъ!—А. Что такое аристократъ? О, да ты журналовъ не читаешь. Вотъ видишь ли: издавъ «Литературной Газеты» и сотрудники его, и читатели его—сѣ аристократы!—Б. Воля твоя, я смысла тутъ не вижу. Будучи самъ литераторомъ, я читаю «Литературную Газету», ибо мнѣ любопытно знать ея мнѣнія: мнѣ досадно видѣть въ ней иногда личности и колкости, отвѣты, возраженія, мелочную войну, которую е худо предоставить литературнымъ башкирцамъ; но никогда не видалъ я въ «Литературной Газетѣ» ни дворянской спѣси, ни гоненія на прочія сословія. Дворяне ли баронъ Дельвигъ, князь Вяземскій, Пушкинъ, Баратынскій—нигъ до этого и дѣла нѣтъ. Они въ этомъ не толкуютъ. Заступаясь за грамотное купечество, въ лигъ г. Полевого—они сдѣлали хорошо; заступаясь нигъ за просвѣщенное дворянство—они сдѣлали еще лучше.—А. А что значитъ: vis au lecteur! Къ кому это относится? Ты скажешь—къ журналистамъ, а я такъ думаю—не къ цензурѣ ли?—Б. Да хоть бы и къ цензурѣ—что за бѣда?... Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждаго сословія, но смѣяться надъ сословіемъ,

<sup>1)</sup> Этотъ Б., какъ выразитель Пушкинскихъ мнѣній, имѣетъ въ виду еще и литературную полицію, также встревоженную рѣзкой замѣткой.

потому только, что оно такое сословіе, а не другое—не хорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападают? Видь не на новое дворянство, получившее свое начало при императорѣ Петрѣ I и императрицахъ и по большей части составляющее намъ знать, истинную, богатую, могущественную аристократію. *Ras si bête!* Наши журналисты передъ этимъ дворянствомъ въжались до крайности; они нападаютъ именно на старинное дворянство, которое ни-къ, по причинѣ раздробленныхъ имѣній, составляетъ у насъ родъ среднего состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просвѣщеннаго, состоянія, къ которому принадлежитъ и большая часть нашихъ литераторовъ. Издѣваться надъ нимъ (и еще въ официальной газетѣ) не хорошо и даже не благоразумно.—А. Почему же статья «Литературной Газеты» показалась неблагонамеренной многимъ?—Б. Потому, что политическіе вопросы никогда не были у насъ разбираемы. Журналы наши, не нарочно наступивъ на однихъ изъ таковыхъ вопросовъ, сами испугались движенія, ими произведеннаго. Демократическіе наши журналы (въ прямомъ или переносномъ смыслѣ), нападая на дворянство, должны были найти отпоръ и нанести его въ «Газетѣ». Все это естественно, даже утѣшительно, но, повторяю, вопросы политическіе для насъ еще новость.—А. Знаешь ли что? Мнѣ хочется разговоръ нашъ передать издателю «Литературной Газеты» — чтобъ онъ нанечаталъ его себѣ въ оправданіе.—Б. И хорошо сдѣлаешь. Есть обвиненія, которыя не должны быть оставлены безъ вниманія, отъ кого бы они, впрочемъ, ни происходили. Повредить замѣчаніемъ нельзя. Образъ имѣнія почтенныхъ издателей «Сѣверной Пчелы» — *слишкомъ хорошо* извѣстенъ, и «Литературная Газета» повредить имъ не можетъ, а г. Полевой, въ ихъ компаніи и подъ ихъ покровительствомъ, можетъ быть тоже безопасенъ».

Въ этомъ отрывкѣ есть небольшая тирада, уже однажды нами приведенная («Пушкинъ въ Александровскую эпоху»), о нападкахъ журналистики преимущественно на остатки старыхъ дворянскихъ родовъ, лишенныхъ всякаго политическаго значенія, но имъ предпочли, вмѣсто опущенія ея—повторить теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ ее встрѣтили въ первый разъ.

Когда, вслѣдствіе запрещенія, оказалось невозможнымъ продолжать споръ въ томъ полемическомъ тонѣ, какой онъ принялъ съ самаго начала, Пушкинъ перешелъ къ мысли возобновить его въ болѣе спокойной, объективной формѣ руководящихъ статей и трактатовъ, которые бы могли найти уже безопасный пріютъ въ той же «Литературной Газетѣ» и сообщить ей общественно-политическій отзывокъ.

и душѣ его лежало: — съ одной стороны, объяснить роль либеральной, огрессивной, патриотической аристократіи въ государствахъ, которые ею обладаютъ, а съ другой — открыть въ современной литературѣ у разработки политическихъ вопросовъ, какъ нѣкогда сдѣлалъ Карамзинъ для своей эпохи въ своемъ журналѣ «Вѣстникъ Европы» (1802—1803 гг.). Пушкинъ принялся набрасывать проамны и конспекты для статей съ *направленіемъ*, — но куда намѣчалъ существенныя черты и ходы будущей своей работы, сама «Литературная Газета» была приостановлена. Поводомъ къ этой рѣ послужило нѣсколько переводныхъ стиховъ изъ воззванія измѣра Делавина къ бойцамъ іюльскаго переворота, тогда прогрессивнаго во Франціи, и появившихъ въ газету совершенно случайно, къ дополненію печатной страницы, и притомъ всего болѣе за своимъ, такъ какъ сочувствія къ историческому факту, который упоминался въ стихахъ — имъ Дельвигомъ и никто изъ литераторовъ могли читать по простой причинѣ, которую раздѣляли со всѣмъ нѣмъ обществомъ того времени: они не имѣли вовсе никакого вѣнія о немъ. Распоряженіе это однакоже сопровождалось печальными послѣдствіями для Дельвига. Онъ призванъ былъ къ отвѣту гералдомъ Венкендорфомъ, и при этомъ вытерпѣлъ такую бурю цорвннй, угрозъ и оскорбленій, что она потрясла физическій и вѣственный его организмъ. Онъ заперся въ своемъ домѣ, завелъ рты, дотолъ не видѣнныя въ немъ, никуда не показывался и кого не принималъ, кромѣ своихъ близкихъ. Подъ дѣйствіемъ того образа жизни и глубоко-почувствованнаго огорченія можно до опасаться, что первая серьезная болѣзнь унесетъ всѣ его силы. къ и случилось — болѣзнь не заставила себя ждать и быстро свела въ могилу (14 января 1830 г.). «Литературная Газета», однако, послѣ довольно долгаго перерыва явилась опять на свѣтъ, подъ редакціей извѣстнаго тогда составителя безцвѣтныхъ «обозрѣній еской Словесности» для альманаховъ — Ореста Сомова, и въ рукахъ продолжала еще существовать нѣкоторое время, нѣмъ уже не тревожащая, но и никому ненужная. Пушкинъ отложилъ сторону всѣ планы статей для журнала, пересталъ думать о нихъ, наконецъ, позабылъ вовсе объ ихъ существованіи...

Но они стоятъ того, чтобы вывести ихъ изъ забвенія, на которое были обречены. Какъ еще ни безсвязны, ни сматы и лачны всѣ эти проекты неосуществленнаго труда, потребовавшія въ насъ объясненій гораздо болѣе пространныхъ, чѣмъ они сами; къ им кажутся съ перваго вида многіе изъ тезисовъ, тутъ приведенныхъ, рѣзко парадоксальными и неуиѣренно-горячими по выраженію недостатки, которые вѣроятно были бы сглажены или обойдены

при обработкѣ ихъ), — но въ своей совокупности эти программы автора представляютъ довольно ясно и отчетливо существенныя черты и коренныя основанія полной политической теоріи, законченнаго ученія, цѣльнаго историческаго созерцанія. Оно найдено было Пушкинымъ долгими размышленіями о способѣ выяснить себѣ современное ему положеніе общества, найти точку отравленія для своей мысли, и всего болѣе созрѣло въ бесѣдахъ съ людьми, занимавшимися тѣми же поисками за отчетливымъ опредѣленіемъ своей эпохи въ прошлое царствованіе. Вотъ почему теорія Пушкина, какъ она создается изъ сложенія и возстановленія всѣхъ отрывковъ, оставшихся послѣ нея, имѣетъ двойное значеніе: во-первыхъ, какъ вѣрное отраженіе весьма любопытной и важной стороны Александровской эпохи, которой Пушкинъ былъ вѣрнымъ представителемъ, и, во-вторыхъ, какъ документъ, далеко не лишенный интереса для занимающихся исторіей идей, которыя въ разное время посѣщали умы нашего образованнаго общества. Между прочимъ, мы убѣждены, что извѣстный, глубоко-сочувственный, почти восторженный отзывъ Мицкевича о «политическомъ» смыслѣ Пушкина возникъ преимущественно изъ знакомства съ основными чертами этой самой теоріи, которая уже давно народилась и созрѣвала въ головѣ ея автора. Приводимъ, по порядку, первый образчикъ Пушкинскихъ программъ:

«Что такое потомственное дворянство? — Сословіе народа высшее, т.-е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. — Кѣмъ? — Народомъ, или его представителями. — Съ какою цѣлью? — Съ цѣлью имѣть мощныхъ защитниковъ (народа), или близкихъ и непосредственныхъ къ властямъ представителей. — Какіе люди составляютъ сіе сословіе? — Люди, которые имѣютъ время заниматься чужими дѣлами. — Кто сіи люди? — Отлинные по своему богатству или образу жизни. — Почему такъ? — Богатство доставляетъ способъ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву *du souverain*. Образъ жизни, т.-е., не ремесленный или земледѣльческій, ибо все сіе налагаетъ на работника или земледѣльца различныя узы. — Почему такъ? — Земледѣлецъ зависитъ отъ земли, или обработанной, и болѣе всѣхъ неволенъ; ремесленникъ — отъ числа требователей торговыхъ, отъ мастеровъ и покупателей. — Нужно ли для дворянства пріуготовительное воспитаніе? — Нужно. — Чему учится дворянство? — Независимости, храбрости, благородству, чести вообще. — Не суть ли сіи качества природныя? — Такъ, но образъ жизни можетъ ихъ развить, усилить или задуть. — Нужны ли они въ народѣ, также, какъ, напримѣръ, трудолюбіе? — Нужны, и дворян-



ство — la sauvegarde трудолюбиваго класса, которому некогда развиваться сін качества».

Къ этимъ, едва намѣченнымъ мыслямъ и во многихъ мѣстахъ не вполне дописаннымъ фразамъ есть еще у Пушкина дополненіе, которое можетъ служить пмъ и комментариемъ. Оно состоитъ также изъ вопросовъ и отвѣтовъ:

«Что составляетъ дворянство въ республикѣ?—Богатые люди, которыми народъ кормится.—А въ государствѣ?— Военные люди, которые составляютъ войско государево.— Чѣмъ *кончается* (погибаетъ) дворянство въ республикѣ?—Аристократіей правъ.—А въ государствѣ?—Рабствомъ народа. А=В».

Какъ ни лаконичны по своей формѣ всѣ эти замѣтки, но, повторяемъ, смыслъ ихъ кажется намъ вполне яснымъ. Не видя возможности для крѣпостного тогда народа, ни способности въ немъ—самому заботиться о своей участи, и возлагая на дворянство историческую миссію служить ему опорой и защитой—Пушкинъ ставитъ и необходимыя условія для подобной дѣятельности. Она «кончается»—говоритъ онъ—а съ ней и государственное значеніе условія, если оптиматы въ республиканскихъ обществахъ соберутся въ одну эгоистическую замкнутую касту («аристократія правъ»), или когда при другихъ формахъ правленія благосостояніе и вліяніе дворянства будетъ соиздаваться—независимо или даже въ противоположность процвѣтанію всего народа.

Естественно, что придавая такое народовоспитательное и политическое значеніе потомственному независимому дворянству въ государствѣ, Пушкинъ долженъ былъ считать всѣ факты и явленія русской исторіи, помѣшавшіе развитію у насъ дворянскаго института и не позволявшіе ему исполнить свое историческое призваніе—фактами и явленіями въ высшей степени печальными. Такъ, онъ сожалѣлъ объ отмиѣнѣ мѣстничества и уничтоженіи разрядовъ, что, по его мнѣнію, произошло совсѣмъ не изъ видовъ настоящей, государственной потребности, а изъ домогательства и соперничества мелкихъ дворянскихъ родовъ, завистливо смотрѣвшихъ на привилегіи старшихъ своихъ собратій, да и тутъ еще Пушкинъ не признавалъ «соборный приговоръ» при царѣ Ѳеодорѣ окончательнымъ устраненіемъ мѣстничества. Оно еще довольно долго существовало, по его мнѣнію, и послѣ того, и всѣ разрядные списки, хотя и сожженные официально, управляли еще дѣловымъ русскимъ миромъ и жили всецѣло въ памяти людей, вплоть до Петра I, окончательно

похоронившаго ихъ *табелю о рангахъ*. Въ этомъ смыслѣ, личность Петра I, создавшая такую полную систему подчиненія *всѣхъ* свободныхъ людей, всякаго чина и званія, одной безотвѣтной службѣ государству, гдѣ они и *сравнились*—являлась Пушкину, какъ личность, по преимуществу, революціонная, и порядокъ, ею водворенный на Руси, революціоннымъ. «Пора кончить революцію въ Россіи!» — восклицаетъ онъ въ разныхъ мѣстахъ своей переписки съ друзьями, а кончить ее иначе нельзя, по его воззрѣнію, какъ созданіемъ въ лицѣ имущественно и политически самостоятельнаго дворянства — сильнаго оплота противъ озлобленнаго класса выходцевъ изъ народа съ одной стороны, и помѣщичьей наклонности — придерживаться азіатскихъ порядковъ существованія и въ нихъ искать своего спасенія—съ другой. Обѣ эти тенденціи представляли для него совершенно одинаковыя величины:  $A=B$ , — употребляетъ его формулу. «Наслѣдственные преимущества — говорилъ онъ — вѣсшихъ классовъ общества суть условія ихъ независимости. Въ противномъ случаѣ, классы эти становятся наемниками и несутъ ихъ обязанности».

Какъ еще ни благоговѣлъ Пушкинъ передъ цивилизаторскою дѣятельностію Петра I, но нѣкоторые изъ его внутреннихъ по государству распоряжковъ имѣли силу возбуждать въ немъ горькое чувство сомнѣнія, что отразилось и въ предварительныхъ очеркахъ исторіи Петра I, за которую онъ принялся въ 1832 году, — но объ этомъ скажемъ подробнѣе ниже. Покажишь онъ смотрѣлъ на Петра единственно какъ на безжалостнаго истребителя единственнаго сословія, которое еще могло умѣрять его порывы и увлеченія. Онъ называлъ его соединеніемъ Робеспьера и Наполеона, — въ одномъ лицѣ воплощеніемъ всей революціи.

«Вотъ уже 150 лѣтъ, — восклицалъ онъ, — что «Табель о рангахъ» считаетъ дворянство въ одну кучу (que la «Табель о рангахъ» balaye la noblesse), а затѣмъ уничтоженіе майоратства хитростнымъ (плутовскимъ, употребляя его терминъ) образомъ при Аннѣ Ивановнѣ довершило паденіе передового класса, начатое «Табелью». — Что изъ этого слѣдуетъ, — прибавлялъ Пушкинъ: — восшествіе Екатерины II, 14 декабря и т. д.». Пушкинъ до того сроднился со своимъ представленіемъ о революціонномъ характерѣ многихъ мѣропріятій Петра и другихъ, за нимъ послѣдовавшихъ, въ томъ же духѣ, что рассказываетъ самъ въ «Запискахъ» своихъ, какъ однажды и гораздо позднѣе описываемой эпохи, носѣтивъ однажды покойнаго великаго князя Михаила Павловича, сказалъ ему въ глаза на разставаньи: — Je connais bien votre famille. Les R\*—ont été de tout temps révolutionnaires. «Спасибо, — отвѣ-

часть шута великий князь, — что наградилъ новымъ качествомъ: намъ его не доставало».

Въ томъ же порядкѣ идей и подъ вліяніемъ тѣхъ же представлений или у Пушкина и историческія изслѣдованія до-петровской старины, ближайшимъ поводомъ къ которымъ было появленіе «Исторіи русскаго народа», Полевого. Въ другомъ мѣстѣ (см. «Матеріалы для біографіи Пушкина», 1855 года) указаны были образцы этихъ набѣговъ на русскую исторію, подъ руководствомъ принятой мысли и *априористическаго* метода заниматься ея вопросами, который, какъ видно и изъ предшествующихъ выписокъ, вошелъ у него въ обычай; этимъ Пушкинъ опять связывался съ Александровскою эпохой, не знавшей другого метода изслѣдованія. «Исторія» Полевого, вдобавокъ, открывала еще къ нему и широкую дорогу, будучи сама собраніемъ догадокъ, болѣе или менѣе спорныхъ, и попыткой отыскать ключъ къ уразумѣнію лѣтописныхъ русскихъ данныхъ въ трудахъ западныхъ писателей, объяснявшихъ лѣтописи другихъ народовъ. Особенно первые томы этой «Исторіи» представляли массу фальшивыхъ аналогій между фактами западнаго происхожденія и явленіями русскаго міра, которыхъ сводить вмѣстѣ было любимымъ упражненіемъ автора. При кропотливости университетской официальной исторической науки, которая заимѣла торжественность и самоувѣренность прежней Карамзинской школы пересчетомъ лѣтописныхъ сказаній и повтореній буквального ихъ смысла, не заботясь о своеобразной племенной народной жизни, за нею скрывавшейся, — «Исторія» Полевого должна была показаться дерзостью. Составитель ея, однако же, предчувствовалъ, какъ теперь уже почти всѣми признано, нѣкоторыя изъ задачъ будущаго русскаго историка, но для обработки ихъ ему не доставало научной подготовки и первыхъ необходимыхъ свѣдѣній объ особенностяхъ славянской культуры, объ идеяхъ и представленіяхъ, управлявшихъ славянскимъ міромъ и опредѣлившихъ его судьбу и развитіе. Иначе и быть не могло: важнѣйшія изслѣдованія, освѣтившія и выдвинувшія на первый планъ всѣ эти вопросы, явились гораздо позднѣе. Весьма понятно, что присяжные ученые отнеслись къ труду Полевого въ рѣзкихъ статьяхъ своихъ со злобой и презрѣніемъ напрасно потревоженныхъ людей, но гораздо труднѣе понять — почему вознехивались на него дилеттанты исторической науки, которыхъ тогда было много въ обществѣ, и которые не менѣе критикуемаго автора обладали произвольными взглядами на прошлое Руси, почерпнутыми отовсюду, кромѣ изученія предмета. Тайна объясняется тѣмъ, что построеніе гипотезъ всегда у нихъ имѣло въ виду коронованіе русской исторіи самыми дорогими (и въ сущности вовсе ненужными)

вѣнцани, а у Полевого сопровождалось скептическими замашками... Фантазія съ отрицающимъ характеромъ казалась уже нестерпимой. Пушкинъ тоже возсталъ противъ нея.

Извѣстно, что онъ напечаталъ въ «Литературной Газетѣ» критическую статью объ «Исторіи» Полевого, тотчасъ по выходѣ ея 1-го тома. За ней должна была слѣдовать другая, приготовленія къ которой остались въ его бумагахъ. Все та же главная, господствующая тема его созерцанія управляетъ и здѣсь его сужденіями, просвѣчивая сквозь всѣ полемическіе приемы и возраженія, и обнаруживая себя даже и тамъ, гдѣ, казалось, словесному вопросу не могло быть мѣста. Предлогомъ для ввода послѣдняго въ изслѣдованіе московскаго періода нашей исторіи послужилъ взглядъ Полевого на удѣльную систему, какъ на проявленіе въ русской формѣ западнаго феодализма. Пушкинъ приступилъ тотчасъ же къ опроверженію этого мнѣнія, и въ отрывкѣ, приведенномъ нами прежде (въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», 1855), старался собрать данныя для показанія несостоятельности такого предположенія. Въ этомъ отрывкѣ, направленномъ противъ мысли Полевого, Пушкинъ противопоставлялъ феодализму институтъ боярства, который ничего общаго съ первымъ не имѣлъ, и онъ восходилъ изъ этого противопоставленія до опредѣленія разницы въ духѣ и характерѣ западныхъ и русскихъ «среднихъ вѣковъ». Содержаніе и мысль этого отрывка Пушкинъ именно и собирался превратить во вторую статью объ «Исторіи» Полевого. Здѣсь мы дополняемъ отрывокъ только одной небольшой, но очень характерной замѣткой автора, не появившей въ свое время въ печать, отсылая читателя за полнымъ содержаніемъ программы къ «Матеріаламъ» 1855 года. Опровергая Полевого, Пушкинъ, какъ оказывается и по другимъ источникамъ, еще сожалѣлъ объ отсутствіи въ нашей исторіи такого явленія, какъ феодализмъ. По его мнѣнію, феодальный институтъ въ своемъ естественномъ развитіи и перерожденіи могъ бы осѣсться у насъ въ видѣ перваго опыта въ учрежденіи независимости (верхняя палата), и вызвать второй, который ни чѣмъ другимъ не могъ быть, какъ собраніемъ общинныхъ представителей (Common-house). Вотъ, какъ резюмируетъ самъ авторъ свою фантастическую постройку въ дополнительной части программы, о которой мы говоримъ:

«Феодализмъ могъ бы развиваться, какъ первый шагъ учрежденій независимости (общины—были бы второй), но онъ не успѣлъ... Мѣсто феодализма заступила аристократія.—Какое время силы нашего боярства? — Во время удѣловъ, когда удѣльные князья сами сдѣлались боярами.—Когда пало боярство? — При Іоаннахъ, которые къ одному мѣстничеству не дерзнули прикоснуться.—Были ли

дворянскія грамоты?—Мининъ!—Было ли зло иѣстиничество?.. Вездѣ ли существовало оно? Зачѣмъ уничтожено было оно? И было ли оно въ самомъ дѣлѣ уничтожено?—*Петръ*».

Другая проба высказать свои убѣжденія была сдѣлана Пушкинымъ уже на беллетристической аренѣ, но и тутъ ей не болѣе повезло, чѣмъ въ первыхъ двухъ пробахъ. Махнувъ рукой, послѣ запрещенія «Литературной Газеты», на проекты статей, ей предназначенныхъ, Пушкинъ не потерялъ нити своей политической доктрины, а только перенесъ ее, спустя 3—4 года (1833—34 г.), въ повѣсти и рассказы, гдѣ она, какъ красная нитка, и заплеталась въ ткань ихъ романтической интриги. При печатаніи, однако-жъ, этихъ произведеній — уже послѣ смерти автора — иѣста, содержащія намеки на эту доктрину, подверглись исключенію, и красная нитка только кое-гдѣ и ключьями осталась на поверхности рассказовъ. Понятно, что въ беллетристическомъ изложеніи политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержанія, только ту сторону свою, которая обращена была на осѣиженіе нравовъ общества, идей, въ немъ живущихъ и выведенныхъ типовъ. Все прочее оставалось въ полу-мракѣ. На творческомъ станкѣ доктрина потеряла много въ объемѣ, но неизмѣримо выиграла въ блескѣ и цѣнности. Набрасывая свои повѣствовательные отрывки, Пушкинъ уже становится замѣчательнымъ нравоучителемъ, хотя и не покидаетъ своей горячей защиты правъ высшаго просвѣщеннаго сословія. Уваженіе къ предкамъ онъ считаетъ нравственной силой, укрѣпляющей волю, создающей *характеръ*, ставящей высокія жизненные цѣли, и возвышающейся до степени ядовитого сатирика и негодующаго патріота, когда принимается обличать слѣпоту и пустоту русскаго *образованнаго* общества, совершенно позабывшаго все свое прошлое для того, чтобы помнить только малые и пошлые интересы дневного существованія, заниматься и думать вопросами самаго низменнаго свойства, и притомъ въ такихъ разборахъ, къ какимъ способны бываютъ единственно люди, живущіе безъ идеаловъ. Сочувственное отношеніе къ старинѣ, къ исторіи и культурѣ предковъ, лежавшее скрытно въ основѣ всѣхъ политическихъ теорій автора, здѣсь выдѣлилось уже въ пламенную рѣчь и горячую проповѣдь, — и приходится сказать, что проповѣдь эта чуть ли не составляла и самое существенное и единственно-плодотворное зерно всего его ученія.

Извѣстно, что въ послѣднее время своей жизни поэтъ нерѣдко переводилъ на вымышленныя имъ лица нѣкоторыя черты собственнаго своего созерцанія, подчасъ даже особенности своего характера, полученные психическимъ анализомъ своей личности и ду-

ховной природы, какъ было уже замѣчено нами прежде, при разборѣ его произведеній и, между прочимъ, при его разсказѣ объ «Импровизаторѣ», гдѣ лицо героя Чарскаго представляетъ уменьшенное отраженіе нравственнаго облика самого автора. Другой примѣръ прививки своихъ воззрѣній и убѣжденій къ вымышленному лицу поэтъ представилъ въ извѣстномъ разсказѣ: «Разговоръ вечеромъ на раутѣ»<sup>1)</sup>. Весь этотъ разговоръ намъ кажется передачей дѣйствительной бесѣды, слышанной авторомъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ какомъ-либо изъ аристократическихъ и дипломатическихъ салоновъ Петербурга, куда онъ былъ вхожъ. Въ рукописи разговоръ кончается слѣдующимъ мѣстомъ, которое—можетъ быть—пріятно будетъ встрѣтить читателямъ, послѣ полувѣкового сна его подъ спудомъ, хотя въ сущности оно представляетъ не болѣе, какъ повтореніе и развитіе уже извѣстной, малюбленной Пушкинской тѣмы. Мѣсто начинается вопросомъ одного изъ собесѣдниковъ, именно иностраннаго *дипломата*, о русской аристократіи—и завершается отвѣтомъ его русскаго собесѣдника, устами котораго говоритъ уже самъ авторъ. Иностранный дипломатъ откidyваетъ бесѣду замѣчаніемъ:

— «Вы упомянули о вашей аристократіи: что такое ваша аристократія? Занимался вашими законами, я вижу, что наследственной аристократіи, основанной на недѣлимости имѣній, у васъ не существуетъ, кажется. Между вашимъ дворянствомъ существуетъ гражданское равенство, и доступъ къ оному ни чѣмъ не ограниченъ. На чемъ же основывается ваша, такъ-называемая, аристократія? Развѣ только на одной древности родовъ русскихъ?»

— «Вы ошибаетесь,—отвѣчалъ онъ,—древнее русское дворянство вслѣдствіе причинъ, вами упомянутыхъ, у насъ въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда. Древніе роды ихъ восходятъ до Петра и Елизаветы. Денщики, пѣвчіе, хохлы—вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинствамъ. Достоинство всегда достоинство, и государственная польза требуетъ его возвышенія. Смѣшно только видѣть въ ничтожныхъ внукахъ спѣсъ какого-нибудь Монморанси, перваго христіанскаго барона. Я, напримѣръ,—продолжалъ русскій—не могъ бы отыскать въ хроникахъ

<sup>1)</sup> Этотъ коротенькій разсказъ былъ единственнымъ, написаннымъ Пушкинымъ еще до основанія «Литературной Газеты» (1829), между тѣмъ какъ всѣ другіе, какъ «Египетскія Ночи», только-что упомянутыя, «Романъ въ письмахъ», «Моя родословная», созданы послѣ нея.

моего родоначальника. Знаю только, что предки мои сражались близъ Александра Невского, были у трона Ивана IV и возвели на престолъ... но если бы я подумалъ назвать себя аристократомъ, то, вѣроятно, насмѣшилъ бы многихъ. Мы такъ положительны, что прошедшее для насъ не существуетъ: Карамзинъ недавно разсказалъ намъ нашу исторію, но едва ли мы выслушали его. Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого-нибудь дяди-дурака или баюль двоюродной сестры. Мы на колѣняхъ предъ настоящимъ случаемъ, успѣхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошлому и уваженіе къ нравственнымъ качествамъ, у насъ...—Забвѣйте, что неуваженіе къ предкамъ есть первый признакъ безнравственности».

Эта горячая діатриба, направленная столько же противъ суетной фамиліиной спѣси, сколько и противъ пренебреженія всѣхъ семейныхъ преданій, еще уступаетъ въ выразительности и яркости другой такой же діатрибѣ, встрѣчаемой въ очень замѣчательномъ и, къ сожалѣнію, тоже неоконченномъ разсказѣ: «Романъ въ письмахъ». Тамъ она служитъ послѣдней крупной и опредѣляющей чертой для фізіономіи главнаго дѣйствующаго лица повѣсти, нѣкоего Владиміра Z. Это лицо, даже и въ теперешнемъ своемъ видѣ, представляетъ замѣчательно-полный типъ аристократическаго славянофила временъ Александра I. Нигдѣ еще Пушкинъ не рисовалъ такъ ярко собственного своего образа, состоянія собственной своей мысли и задушевныхъ убѣжденій своихъ, какъ въ этомъ вымышленномъ лицѣ, сохраняя ему всѣ живыя краски и особенности самостоятельнаго и оригинальнаго характера. Приводимый отрывокъ находился въ одномъ изъ писемъ романа (письмо VIII), слѣдовалъ за восклицаніемъ Владиміра Z., по поводу матеріальнаго настроенія нашего общества («Къ чему ведетъ такой матеріализмъ? — не знаю»), и начинался еще пофранцузски:

«Но пора положить этому преграды. *Affecter le mépris de la naissance est un ridicule dans le parvenu et une lâcheté dans le gentilhomme.* Говоря въ пользу аристократіи, я не корчу англійскаго лорда: мое происхожденіе, хоть я его не стыжусь, не даетъ мнѣ то никакого права, но я, безъ прискорбія, никогда не могъ видѣть уничтоженія нашихъ историческихъ родовъ. Никто у насъ ими не дорожитъ, начиная съ тѣхъ, которые имъ принадлежатъ. И какой гордости воспоминаній ожидать отъ народа, который пишетъ на памятникѣ: «Гражданину Минину и князю Пожарскому». Какой князь Пожарскій? Чтó такое гражданинъ Мининъ? Былъ у

насъ овольничій князь Дмитрій Михайловичъ Пожарскій, и бы. Козьма Миничъ Сухорукій, выборный земли русской. Но отечест забыло даже настоящія имена своихъ избавителей. Прощедшее д. насъ не существуетъ. Жалкій народъ!

«Образованный французъ или англичанинъ дорожить строко стараго лѣтописца, въ которой упоминается имя его предка, чс. наго рыцаря, павшаго въ такой то битвѣ, или въ такомъ-то го. возвратившагося изъ Палестины, но калмыки не ягѣють ни д. ранства, ни исторіи. Дикость и невѣжество не уважають проше. шаго, пресмыкаясь предъ однимъ настоящимъ. И у насъ иной и тонокъ Рюрика болѣе дорожитъ звѣздой двоюроднаго дядюшк. чѣмъ исторіею своего дома, т.-е. исторіею отечества. И это вы ст. вите ему въ достоинство. Конечно, есть достоинства выше знаи. ности—именно, достоинства личныя. Имена Минина и Л. моносова вдводемъ перевѣсятъ все наши старинныя родосло. мыя. Но неужто потомству ихъ снѣшно было бы гордиться сп. именами. Я видѣлъ родословную Суворова, писанную имъ самимъ Суворовъ не презираетъ своимъ дворянскимъ происхожденіемъ».

И, наконецъ, въ безпрестанныхъ пробахъ передать свое с. зерцаніе въ такой формѣ, которая покорила бы вниманіе публи. — Пушкинъ дошелъ до самаго блестящаго выраженія его ! великолѣпной поэзі: «Мѣдный Всадникъ» (1833 г.), хотя тоа за смертію поэта, не получившей окончательной отдѣлки. Обезумѣ. шій отъ горя, ничтожный потомокъ знатнаго боярскаго рода—современный коломенскій чиновникъ—осмѣливается укорять велика. императора во всѣхъ своихъ несчастіяхъ и даже посягаетъ на угро. передъ бронзовымъ ликомъ его, въ которомъ онъ внезапно открывает. того человека, который лишилъ его фамилію гражданскаго значені. низвелъ его самого въ ряды бездольнаго служака и косвенно настиг. даже послѣ своей смерти, въ послѣднемъ его убѣжищѣ—сердечной. счастіи, унесенномъ наводненіемъ въ основанномъ имъ Петербург. Пушкинъ называетъ этого потомка знатнаго боярскаго рода толь. по имени:

Прозванья намъ его не нужно —  
Хотя къ минувши времена  
Оно, быть можетъ, и блистало.  
И поэтъ перомъ Карамзина  
Въ родимыхъ преданіяхъ прозвучало:  
Но имя съѣдомъ и женой  
Оно забыто. Намъ герой  
Живетъ въ Коломенѣ, гдѣ-то служить.  
Дичится знатныхъ, и не тужить  
Ни о покойникѣ-родитѣ.  
Ни о забытой старинѣ..



Нельзя не остановиться на бессмысленной, съ первого вида, угрозы, слетѣвшей съ устъ этого несчастнаго, подѣ конецъ его рѣчи: «Ужо тебя...» — восклицаетъ онъ! Невольно думается, что въ этомъ нелѣпомъ: «ужо тебя» — безумецъ выразилъ промелькнувшую въ его головѣ мысль о возможности еще найти судъ въ потомствѣ и передѣлать приговоръ, давшій такую славу и значеніе имени грознаго реформатора. Мѣдный-Всадникъ, погнавшійся за нимъ, словно угадалъ его тайную мысль <sup>1)</sup>.

Всѣ эти идеи Пушкина теперь, по прошествіи почти 50 лѣтъ со дня его смерти, не покажутся никому ни очень новыми, ни очень вѣрными: онъ получили такое обобщеніе въ послѣднее время, будучи подняты снова борьбой и преніями по поводу нашего земскаго самоуправленія, и притомъ подвергнулись такому критическому обсужденію, что ни для кого не могутъ уже болѣе служить соблазномъ. Притомъ же, одна часть этого воззрѣнія, затрогивающая важность и достоинство историческихъ традицій, обработана была послѣдствіемъ съ силой эрудиціи и діалектики, конечно превышающимъ все, что говорилъ поэтъ, и даже все, что онъ могъ сказать по этому поводу въ свое время. Но за Пушкинымъ и за Александровскою эпохой, его воспитавшей, остается честь перваго поднятія многихъ подобныхъ же вопросовъ русской культуры и общественнаго быта.

Рано или поздно эти вопросы должны были снова явиться на свѣтъ и сдѣлаться уже предметами серьезнаго разбора, ученой и многосторонней полемики, какъ и случилось. Разногласіе по ихъ поводу еще не кончилось, и оградить нѣкоторыя стороны Пушкинскаго ученія отъ превратнаго толкованія представляется еще и теперь необходимою. Несомнѣнно, что ученіе поэта можетъ дать поводъ къ важнымъ недоразумѣніямъ, если переставить исходный пунктъ, отъ котораго отправлялся авторъ, на другую почву. Теорія, довольно похожая на ту, которую проповѣдывалъ поэтъ, но въдобавокъ требовавшая, чтобы всѣ заботы государства обращены были на интересы одного избраннаго сословія исключительно передъ другими, не разъ уже являлась въ средѣ нашего общества съ претензіями на высокую политическую мудрость. Какую бы строгую оптику и критику ни заслуживали взгляды Пушкина, — но достоверно, что ничего общаго съ вышеупомянутой теоріей они не имѣютъ. Мы видѣли, что конечная цѣль всѣхъ его разсужденій была все-таки забота о народѣ и о доставленіи ему той доли защиты и свободы

<sup>1)</sup> Это восклицаніе было опущено въ изданіи сочиненій Пушкина 1855—57, гдѣ осталась только начальная фраза угрозы: „Добро, строитель чудотворный!“ См. томъ VII, изданіе 1857, стр. 72.

въ трудѣ, какихъ онъ самъ, по стеченію обстоятельствъ и по известной тогдашней обстановкѣ своей добыть не могъ. Направленіе Пушкина выходило не изъ кровной привязанности къ боярскимъ привилегіямъ, какъ таковымъ, а изъ сожалѣнія о потерѣ передовыя сословія тѣхъ орудій, которыя могли бы дать ему средства сослужить великую службу отечеству. Чувствуешь, что не въ видѣ лицемѣрной оговорки, а изъ глубины души воскликнулъ онъ: «Имена Мнина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родослосныя». И могъ ли сдѣлать своимъ политическимъ знаменемъ одтеорію о наслѣдственномъ правѣ на почетъ, безъ разбора нравственныхъ качествъ лица, тотъ человѣкъ, который въ самомъ разгаристократическаго одушевленія своего твердо поставилъ афоризмъ: «личныя достоинства выше знатности». Подъ теоріей Пушкина многихъ его современниковъ текла невидимая, но хорошо чувствуемая горячая политическая струя, не позволявшая расти вокругъ сеичему похожему на корыстный расчетъ, родовую кичливость и узкій эгоизмъ, хотя сама теорія представляетъ много спорныхъ сторонъ и является роднымъ дѣтищемъ своего времени, не знавшая еще другихъ дорогъ къ устраненію злоупотребленій и къ обновленію себя, кромѣ тѣхъ, которыя она прокладывала въ своемъ изображеніи, въ области благородныхъ мечтаній и великодушныхъ химеръ.

## II.

Какъ известно, А. С. Пушкинъ тотчасъ послѣ свадьбы своей въ Москвѣ (18 февраля 1831 года) уѣхалъ въ Петербургъ. Состоя двѣ недѣли послѣ того, именно въ мартѣ мѣсяцѣ, онъ поляется на дачѣ, въ Царскомъ-Селѣ, и безвыѣздно проводитъ тамъ мѣсяцевъ въ хорошо-знакомомъ ему городѣ. Эти семь мѣсяцевъ положили основаніе всей послѣдующей жизни Пушкина и должны считаться исходнымъ пунктомъ новой литературной его дѣятельности.

Дворцы, сады и парки царской резиденціи оживились къ концу 1831 года прибытіемъ двора. Выѣстъ съ нимъ прибылъ, конечно, и главный наставникъ Государя Цесаревича, В. А. Яковскій. Давнія дружескія связи между нимъ и Пушкинымъ занулись еще въ болѣе крѣпкій узелъ, благодаря частнымъ, ежедневнымъ ихъ свиданіямъ, а также и весьма серьезному настроенію, которое царствовало вокругъ нихъ. Политическій горизонтъ былъ мраченъ, какъ въ Европѣ, такъ и въ Россіи. Друзья сходили для того, чтобы передавать другъ другу извѣстія о тяжеломъ

ложениі государства, посѣщеннаго холерой, и мысли о неудачахъ, затрудненіяхъ и ошибкахъ нашей польской кампаніи.

Польское возстаніе находилось въ апогеѣ своего развитія и потребовало усилій и жертвъ для подавленія его, сначала и непредвидѣнныхъ. Втихомолку передавались печальныя новости съ театра войны: нерѣшительность дѣйствій русской арміи, возрастающія надежды инсurreкціи, сочувствіе къ ней со стороны народовъ Европы; за междоусобной войной проглядывала возможность большой европейской войны въ близкомъ будущемъ! Нравственная сторона польскаго вопроса особенно обращала вниманіе друзей въ Царскомъ-Селѣ, такъ какъ въ ней-то и заключалось все дѣло. Пока большинство русскаго общества негодовало просто на медленность вооруженной расправы съ непріателемъ, обвиняя въ томъ людей, соитѣниковъ и прочихъ, Жуковский и Пушкинъ всего болѣе думали о принципѣ, который возстаніе положило въ свою основу и который себя оправдывало.

И было о чемъ подумать. Подъ знаменемъ нарушеннаго принципа народной воли и національности, Франція, только-что провозгласившая этотъ принципъ у себя, стала почти цѣлкомъ въ рядъ самыхъ ожесточенныхъ враговъ Россіи. Начавшаяся борьба двухъ славянскихъ племенъ вызвала тамъ въ печати и на трибунѣ бурю ненависти, угрозъ и всевозможныхъ обвиненій противъ русскаго народа и правительства, — бурю, которая сообщилась и ближайшимъ соседямъ Россіи. По секрету передавались слухи объ опасномъ положеніи правительствъ, конституціонныхъ и абсолютныхъ, одинаково истощавшихся въ усиліяхъ сдерживать порывы своихъ народовъ, которые требовали почти въ одинъ голосъ передѣлки европейской исторіи и трактатовъ во всемъ, что они сказали въ пользу и въ интересъ Россіи. Не одинъ Пушкинъ приходилъ въ негодованіе отъ этого непомятаго озлобленія умовъ, не одинъ онъ думалъ, что какъ бы ни велики были успѣхи нашей секретной дипломатической борьбы съ направленіемъ, — одной этой борьбой еще не было достаточно, и слѣдовало бы вызвать на борьбу съ нимъ голосъ самого общества. Какъ ни совѣтовали еще послѣднему покрывать всѣ яростныя нападки его враговъ однимъ горделивымъ молчаніемъ, но многимъ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ и Жуковскимъ, казалось, что внимательство общества въ полемику было еще нужнѣе ему самому, для разрѣшенія болѣзненныхъ тревогъ его собственной совѣсти и сознанія, чѣмъ даже для отраженія несправедливыхъ обвиненій со стороны. Конечно, выразительныхъ словъ: «бунтъ», «мятежъ» — достаточно было для успокоенія чувства законности у большинства тогдашней русскаго публики, но вопросъ о нравственномъ

правѣ употреблять силу оружія противъ идеи о политическо-мостоятельности у народа, котораго много лѣтъ приучали къ официально,—этотъ вопросъ оставался и затѣмъ смутнымъ для чительной части русской интеллигенціи. На этотъ вопросъ и Пушкинъ и рѣшился отвѣчать, противопоставляя польской идѣ заграничной ея пропагандѣ другую идею, обнаруживавшую, по мнѣнію, настоящій историческій и нравственный смыслъ начавшейся борьбы двухъ родственныхъ племенъ. Идея эта имѣла еще качество, что способна была оправдать мѣры, принимаемыя для подавленія ея торжества. 5-го августа 1831 года, за три недѣли до паденія Варшавы, Пушкинъ написалъ по адресу европейцевъ и польскихъ враговъ нашихъ пьесу «Клеветникамъ Россіи», которую можно назвать первой политической журнальной статьей, написанной у насъ по польскому вопросу, — и это несмотря на лирическую форму. Политическая мысль укрѣплась здѣсь подъ покровомъ Державинской оды и сложила тутъ свои зародыши, за неимѣніемъ никакого другого пріемника. Замѣчательно, что ей вслѣдовали и, можетъ быть, всего сильнѣе тѣ, которые не считали возможнымъ и нужнымъ призывать на помощь своему дѣлу всесильный голосъ публицистики. Всѣмъ она даровала ключъ къ гонимому толкованію смутнаго и щекотливаго вопроса, но самая привлекательная ея сторона заключалась въ томъ, что она возлагала великую народную миссію на непосредственныхъ дѣятелей войны. Такимъ образомъ, настоятельная потребность минути была удовлетворена, хотя, безъ сомнѣнія, и въ то же время. Много разъ потомъ ссылались на мысль Пушкина, что польскій вопросъ представляетъ, по преимуществу, домашнее дѣло славянскаго міра, отъ поворота котораго въ ту или другую сторону зависить направленіе и будущее славянства вообще; и разъ также и разрабатывали эту мысль въ различныхъ смыслахъ. За Пушкинымъ остается, въ концѣ концовъ, непререкаемая первая попытка подложить нравственную и теоретическую основу подъ голый фактъ ненавистнаго столкновенія двухъ родственныхъ племенъ.

27-го августа, совершилось столь долго и нетерпѣливо ожидаемое паденіе Варшавы, далеко не прекратившее, впрочемъ, извѣстно, развитіе племенной борьбы. Пушкинъ приветствовалъ это событіе стихотвореніемъ «Бородинская годовщина», которое, вмѣстѣ съ пьесой «Клеветникамъ Россіи» и стихотвореніемъ Жукова по тому же случаю, напечатано въ одной брошюрѣ: «На Варшаву, 1831 г.». Также точно напечатали они въ одной же брошюрѣ четыре народныхъ сказки, сочиненныя ими въ

скомъ-Селѣ, по уговору между собою. Въ это время они все дѣлали сообща.

Болѣе чѣмъ вѣроятно, потому, что и появленію той знаменитой пьесы предшествовалъ долгій обмѣнъ мыслей въ дружескомъ кругу, который образовался около Пушкина въ Царскомъ-Селѣ, и который состоялъ почти весь изъ лицъ, приближенныхъ болѣе или менѣе къ императорскому двору, а потому и знавшихъ многія подробности и секреты политики, скрытыя еще отъ глазъ толпы. Въ кругу этомъ, между прочимъ, особенное покровительство и поощреніе встрѣтила мысль Пушкина основать печатный органъ для отраженія наговоровъ европейской прессы. Сохранился отрывокъ изъ пробы Пушкина составить формальное прошеніе въ этомъ смыслѣ.

«У насъ періодическія изданія не суть представители различныхъ политическихъ партій (которыя въ Россіи и не существуютъ), и правительству нѣтъ надобности имѣть свой officialный журналъ; но тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, общее мнѣніе имѣетъ нужду быть управляемо. Нынѣ, когда справедливое негодованіе и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединили всѣхъ насъ противъ польскихъ мятежниковъ, озлобленная Европа нападаетъ покаймъ не оружіемъ, но ежедневной бѣшеной клеветой. Конституціонныя правительства хотятъ мира, а молодые поколѣнія, волнуемыя журналами, требуютъ войны... Пускай позволяютъ намъ, русскимъ писателямъ, отражать безстыдныя и невѣжественныя нападенія иностранныхъ газетъ».

Не дожидаясь однако же этого дозволенія и не испросивъ, такъ сказать, благословенія на подвигъ, Пушкинъ возвысилъ голосъ — и успѣхъ, какъ упомянуто, оказался громадный.

Проектъ изданія политическаго журнала не былъ вовсе покинутъ и послѣ появленія знаменитаго стихотворенія, — только, благодаря толкамъ и совѣтамъ дружескаго круга, въ проектъ замѣшались теперь еще другіе и гораздо болѣе обширные планы, вмѣстѣ съ соображеніями объ окончательномъ устройствѣ общественнаго положенія Пушкина. Дѣйствительно, надо было, думали тогда, опредѣлить мѣсто, которое слѣдуетъ занять поэту въ свѣтѣ, послѣ того какъ онъ сдѣлался семейникомъ, какъ миновала эра молодыхъ увлеченій и фрондёрства, построенныхъ на самомъ снисхожденіи тѣхъ, кого они затрогивали. Дворъ смотрѣлъ на Пушкина съ участіемъ, и при всякомъ важномъ случаѣ его жизни доказывалъ это участіе несомнѣннымъ образомъ, какъ-бы приглашая поэта отнестись сферу публичной дѣятельности, которая позволила бы ему разсчитывать на признательность, во имя общественныхъ заслугъ и достоинства своихъ трудовъ. По мысли дружескаго круга, слѣдовало

выбрать еще занятіе, рядомъ съ обычными занятіями поэзіей, которыя въ рѣдкихъ только случаяхъ давали тогда устроенное гражданское положеніе. Дѣло было нелегкое. Пушкинъ не хотѣлъ и слышать ни о какого рода занятіяхъ, которыя ограничивали бы его независимость, изуродовали бы его талантъ, или потребовали бы сдѣлокъ съ совѣстью; онъ предпочиталъ лучше оставаться по прежнему «заподозрѣннымъ» человѣкомъ, чѣмъ сдѣлаться «выборнымъ» на подобныхъ условіяхъ. Друзья Пушкина раздѣляли его сомнѣнія, но въ поискахъ за лучшими поприщами для будущей его дѣятельности и общественной роли они пришли къ заключенію, что въ русскомъ мірѣ существуютъ два вакантныхъ мѣста, отвѣчающія всѣмъ наиболѣе взыскательнымъ требованіямъ совѣстливаго труженника. Первое изъ этихъ мѣстъ могло составить удѣлъ истиннаго журналиста, политическаго писателя, «уполномоченнаго» разъяснять публикѣ духъ, намѣренія и цѣли правительства и отклонять отъ него безумные толки, легкомысленную или превратную оцѣнку его постановленій, обнаруживая ихъ сущность и присущія имъ яды. Второе мѣсто было еще обольстительнѣе: оно возводило Пушкина въ должность официального историка Петровской эпохи и открывало путь къ занятію государственнаго поста исторіографа, не имѣвшаго еще своего представителя съ самой смерти послѣдняго его обладателя — Н. М. Карамзина. Какъ ни сильно отзывались еще эти предположенія романическимъ и утопическимъ характеромъ, но Пушкинъ съ жаромъ ухватился за нихъ: они отвѣчали тайнымъ пожеланіямъ его собственной мысли. Онъ тотчасъ же и принялся за положеніе основъ къ ихъ осуществленію, и не далѣе какъ въ іюнѣ 1831 г. подалъ уже просьбу генералу Бенкендорфу, въ которой заявлялъ свое желаніе служить посредникомъ между правительствомъ и публикой, если оно того пожелаетъ, и прежде всего заняться исторіей Петра I, съ правомъ входа въ государственные архивы.

Мы можемъ привести только черновой набросокъ этой просьбы. Не имѣя подлинника и не зная, увидитъ ли онъ когда-нибудь свѣтъ, полагаемъ, что и первоначальный, блѣдный абрисъ просьбы Пушкина будетъ все-таки любопытенъ для читателя. То достоверно — что при окончательной редакціи авторъ документа сохранилъ большую часть его содержанія. Это доказывается ссылкой на письмо въ статьѣ, принадлежащей перу высшаго чиновника Третьяго Отдѣленія, М. М. Попову, который видѣлъ и самый документъ (см. статью: «Алек. Серг. Пушкинъ» въ «Русской Старинѣ», 1874. т. X, августъ). Авторъ этой статьи цитируетъ изъ просьбы поэта, совершенно сходно съ черновой ея подготовкой, только первое положеніе ея, гдѣ Пушкинъ жалуется на неполученіе своевременно

двухъ слѣдовавшихъ ему чиновъ и сопровождаетъ цитату укоризненнымъ замѣчаніемъ отъ себя: «Знаменитый, уважаемый всею Русью, поэтъ печалился, что онъ въ служебной іерархіи не болѣе, какъ коллежскій секретарь». Тутъ есть, можетъ быть, и невольное недоразумѣніе. Пушкинъ, добиваясь права на посѣщеніе государственныхъ архивовъ, не могъ забыть, что оно, во-первыхъ, обуславливалось тогда состояніемъ лица на службѣ по какому-либо вѣдомству, и часто находилось, по понятіямъ того времени, въ тѣсной зависимости отъ чина, имъ носимаго. Вотъ какія побужденія управляли имъ, когда онъ напоминалъ о служебной несправедливости, ему оказанной, а совѣтъ не мелкое тщеславіе, какъ говорили еще при жизни поэта многочисленные его враги изъ Булгаринскаго лагеря, которые радовались всякому случаю навязать комическую погрешку на простую и очень мало-честолюбивую фигуру поэта. Но вотъ и самый документъ:

«Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогаетъ. Осмысливъ уже благодѣяніями Его В—ва, мнѣ давно было тяжело мое бездѣйствіе. Я всегда готовъ служить ему по мѣрѣ моихъ способностей. Мой настоящій чинъ (тотъ самый, съ которымъ я выпущенъ былъ изъ лицей), къ несчастію, *будетъ мнѣ препятствіемъ* на поприщѣ службы. Я считался въ иностранной коллегіи отъ 1817 до 1824 г. Мнѣ слѣдовало за выслугу имъ еще два чина, т.-е. титулярнаго совѣтника и коллежскаго ассесора. Бывшіе мои начальники забывали о моемъ представленіи, а я имъ о томъ не напоминалъ. Не знаю, можно ли мнѣ будетъ получить то, что мнѣ слѣдовало.

«Если государю императору угодно будетъ употребить перо мое для политическихъ статей, то постараюсь съ точностію и съ усердіемъ исполнить волю его величества. Съ радостію взялся бы я за редакцію «политическаго и литературнаго журнала», то-есть такого, въ которомъ печатались бы политическія и заграничныя новости, около котораго соединились бы писатели съ дарованіями, и такимъ образомъ приблизилъ бы къ правительству людей полезныхъ, которые все еще дичатся, напрасно полагая его непріязненнымъ къ просвѣщенію. Осмѣливаюсь также просить дозволенія заняться историческими изысканіями въ нашихъ государственныхъ архивахъ и библіотекахъ. Не смѣю и не хочу взять на себя званіе исторіографа, послѣ незабвеннаго Карамзина, но могу со временемъ исполнить давнишнее мое желаніе написать исторію Петра Великаго и его наслѣдниковъ до государя Петра III».

Отвѣтъ не заставилъ себя ждать и превзошелъ ожиданія Пушкина. 31 іюля 1831 г., ему обѣщано было разрѣшеніе на изданіе газеты, и тогда же — съ явной охотой и благорасположеніемъ — дано право на посѣщеніе и изученіе государственныхъ архивовъ и библиотекъ, подъ руководствомъ статсъ-секретаря Д. Н. Блудова. Нѣсколько поздне и уже послѣ того, какъ были написаны обѣ патриотическія пьесы (Клеветникамъ Россіи и Бородинская годовщина), т.-е. въ ноябрѣ мѣсяцѣ, самымъ неожиданнымъ образомъ устроилось и офиціальное, служебное положеніе Пушкина. Его причислили къ министерству иностранныхъ дѣлъ *сверхъ штата*, согласно съ отзывомъ начальниковъ вѣдомства, заявившихъ о неимѣніи вакантныхъ мѣстъ въ своемъ распоряженіи; но при этомъ Пушкину положено было весьма значительное, по времени, содержаніе, по 5000 р. асс. въ годъ, что отчасти сравнивало его со сверстниками, успѣвшими обогнать поэта на іерархическомъ поприщѣ. Казалось, всѣ спѣшили на встрѣчу желаніямъ и помысламъ Пушкина въ Царскомъ-Селѣ, и самыя распоряженія, которыхъ онъ былъ предметомъ, носили еще явную печать сочувствія къ намѣренію поэта связать новый, семейный періодъ своей жизни съ дѣльнымъ, обширнымъ патриотическимъ трудомъ. Оставалось пользоваться предоставленными ему выгодами и свободой — и довести постепенно оба предпріятія, взятая имъ на себя, до блестящихъ результатовъ, какіе они обѣщали и какіхъ онъ былъ въ правѣ ожидать отъ своего труда. Извѣстно однакоже, что оба предпріятія, на пути своего развитія, встрѣтили неожиданныя помѣхи, преимущественно въ нравственномъ, душевномъ, субъективномъ настроеніи ихъ автора, — помѣхи эти въ короткое сравнительно время успѣли остановить ростъ Пушкинскихъ проектовъ, а, наконецъ, и вовсе упразднить ихъ.

Главной силой, разрушившей планы Пушкина, были именно политическіе и общественные идеалы его, которые не умістились въ рамкахъ, офиціальнo заготовленныхъ для нихъ.

Исторію паденія замысловъ Пушкина начинаемъ съ проекта газеты. Не подлежитъ сомнѣнію, что новый политическій органъ, задуманный поэтомъ, связывался у него съ воспоминаніями о «Литературной Газетѣ» барона Дельвига. Еще въ предыдущемъ 1830 году Пушкинъ мечталъ о превращеніи изданія друга въ газету политическую и заготовилъ даже формальную просьбу въ этомъ смыслѣ, часть которой уже извѣстна публикѣ, по выдержкамъ изъ нея, напечатаннымъ прежде, въ нашихъ матеріалахъ для біографіи Пушкина, 1855 года. Побужденія, которыя онъ тогда выставлялъ на видъ, требуя дополненія «Литературной Газеты» политическимъ от-



люмъ, значительно разнились съ тѣми, которыя теперь легли въ основу его новаго прошенія. Тогда онъ говорилъ о матеріальномъ нравственномъ ущербѣ, какой терпятъ русскіе писатели отъ монополии «Сѣверной Пчелы», захватившей иностранныя извѣстія и взыскующей этой даровой силой для привлеченія, такъ-сказать, *искусственныхъ* подписчиковъ и читателей и для распространенія между ними своихъ корыстныхъ, часто клеветническихъ нападокъ на враговъ. На матеріальный ущербъ, наносимый цѣлому и наиболѣе достойному классу русскихъ писателей, Пушкинъ всего болѣе и налегалъ, предполагая, что администрація будетъ особенно чувствительна къ охраненію интересовъ законнаго труда, честнаго добыванія людьми насущныхъ средствъ къ жизни. Онъ ходатайствовалъ о дозволѣніи газеты своего друга подцензурнымъ политическимъ отдѣломъ единственно во имя справедливости, восстановленія нарушенныхъ правъ писателей и доставленія имъ возможности бороться явнымъ оружіемъ съ соперниками, которые теперь занимаютъ прилеглированное положеніе въ обществѣ. Внезапное исчезновеніе «Литературной Газеты» со сцены журнальнаго міра сдѣлало ненужнымъ дальнѣйшее ходатайство о расширеніи ея программы.

Совсѣмъ другія требованія заявлялись теперь Пушкинымъ, и действительно, теперь у него не то стояло на первомъ планѣ. Онъ обирался привлечь лучшихъ, надежнѣйшихъ силы нашего литературнаго міра къ общей работѣ по выясненію существующихъ порядковъ русской жизни, по толкованію смысла правительственныхъ мѣръ распоряженій, по развитію въ обществѣ твердыхъ политическихъ идей—и особенно понятій о своемъ достоинствѣ, обязанностяхъ и мнѣніи въ государствѣ.

Въ разныя эпохи нашей жизни и многими даровитыми нашими людьми давно уже сознавалась необходимость выдти изъ тяжелаго положенія, какое всегда выпадаетъ на долю общества и частныхъ лицъ, которымъ приходится стыдиться тѣхъ самыхъ основъ существованія, которымъ они покоряются. Весьма честные и благородные умы, съ самаго начала столѣтія, заняты были у насъ постоянно поисками нравственнаго смысла въ коренныхъ учрежденіяхъ государства—думали о реформѣ, преобразованіи тѣхъ изъ нихъ, которыя почему-либо утерали прежній смыслъ. Либеральный консерватизмъ не былъ новостію на Руси—и причина понятна: съ осмысленнымъ и понятымъ фактомъ современнаго политическаго быта осси какъ будто становилось легче для совѣсти подчиниться всѣмъ о требованіямъ и естественнымъ послѣдствіямъ. Той же работѣ выясненія, оправданія историческаго положенія государства и мнѣнія его, по возможности, новыми элементами нравственнаго

содержанія, Пушкинъ намѣревался посвятить, вслѣдъ за нѣкоторыми своими предшественниками, и новую политическую газету. Здѣсь мы имѣемъ замѣтить, что мысли, которыя онъ собирался проводить въ ней, были ему самому нужны, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ его будущимъ слушателямъ и читателямъ: онъ, эти мысли, возстановляли его морально въ собственныхъ его глазахъ, разрѣшали тѣ *большыя совѣсти*, которыя сопровождаютъ обыкновенно всякія переломныя направленія и убѣжденія. Мало того—онъ пыталъ еще и надежду, что идеальнымъ представленіемъ обязанностей, лежащихъ на тѣхъ, которые занимаютъ важнѣйшія функціи въ государствѣ, онъ привлечетъ ихъ къ высшему пониманію своего призванія и долга, чѣмъ и окажетъ немаловажную услугу современникамъ. Желая попробовать почву, на которой ему придется дѣйствовать, Пушкинъ представилъ даже разсмотрѣнію ген. Бенкендорфа и образчики томъ и пріемовъ, въ какихъ онъ намѣренъ излагать выдающіеся событія внутри имперіи, выѣравъ для этого нѣсколько фактовъ изъ ближайшей современной исторіи <sup>1)</sup>. Образчики эти, отчасти взятые имъ прямо изъ записной своей книжки, не имѣютъ ничего общаго ни по языку, ни по намѣренію, съ рутиннымъ, приниженнымъ и подobenнымъ способомъ сообщать полуофициальныя извѣстія, какой тогда господствовалъ въ нашей журналистикѣ. Пушкинъ или даетъ картинный разсказъ происшествія и оставляетъ его говорить такими образомъ самого за себя, или разъясняетъ его смѣлыми словами убѣжденного человѣка. Онъ собирался стать русскимъ консервативнымъ публицистомъ на *свой* образецъ, и его надобно было еще умѣть понимать, прежде чѣмъ разлагать и цѣнить сущность его мнѣній.

Мысль—доставить русской формѣ политическаго быта такое же почетное мѣсто въ области теорій государственнаго права и политическихъ наукъ вообще, какое въ нихъ занимаютъ наиболѣе уважаемыя и цѣнимыя формы правленій, пришла Пушкину опять какъ отвѣтъ на позорящія обвиненія заграничной интеллигенціи. Онъ сдѣлался очень чувствителенъ къ выходкамъ и диффамациямъ западнаго либерализма, направленнымъ на *всю* исторію Россіи и на общество. Ему казалось, что отыскать нравственныя начала, на которыхъ зиждется наше государство, значитъ—оградить честь русскаго ума и народнаго характера, участвовавшихъ въ его образованіи. И нѣтъ сомнѣнія, что большинство тогдашнихъ писателей на содѣйствіе которыхъ Пушкинъ и рассчитывалъ, пошли бы охотнѣе

<sup>1)</sup> Два-три такихъ образчика, отдѣленные отъ матеріаловъ и документовъ, которыми мы пользовались въ прежнихъ біографическихъ опытахъ о Пушкинѣ, напечатаны были въ „Библіографическихъ Запискахъ“, 1859, № 5, стр. 134, 135 и слѣд.

нить. Кому же не было бы дорого обрѣсть идею и моральную нову въ томъ порядкѣ дѣлъ, въ томъ родѣ жизни, съ которыми связано безповоротно все существованіе каждаго изъ нихъ; кому не была дорога возможность хотя бы діалектически развить и публично высказать затаенныя вѣрованія и надежды своей души? Да кромѣ того, многіе распознавали въ намѣреніяхъ Пушкинна еще оцѣ возвышенную цѣль, — именно, цѣль создать черезъ посредство своего органа и для обращенія въ публикѣ популярное ученіе, содержащее философски высокое пониманіе и опредѣленіе вообще государственной власти, — они и не ошибались въ этомъ.

Подъ программой журнала, дѣйствительно таилась у Пушкинна общественная теорія, имѣвшая въ виду доставить государственной власти санкцію мысли и свободнаго анализа, наравнѣ со всѣми другими санкціями, ею прежде полученными со стороны церкви, рава и народныхъ убѣжденій. Не трудно намѣтить основныя черты этой теоріи, какъ онѣ оказываются въ статьѣ Пушкинна о Радищевѣ, въ разборѣ книги послѣдняго, озаглавленной: «Мысли на догѣ», и какъ онѣ отложились во множествѣ отрывковъ, оставшихся послѣ поэта въ бумагахъ его, какъ просвѣчивали въ устныхъ его заявленіяхъ, долго сохранявшихся его семействомъ ирузьями.

Теорія Пушкинна была опять, въ сущности, не что иное, какъ траженіе патріотическихъ воззрѣній В. А. Жуковского, который одичилъ имъ своего друга тѣмъ легче, что послѣдній носилъ въ себѣ зародышъ такого направленія уже издавна, по свидѣтельству ближайшихъ его друзей, какъ, напр., кн. П. А. Вяземскаго. Вѣроятно, въ Царскомъ-Селѣ оба поэта сошлись ближе въ пониманіи сущности доктрины, которую одинъ изъ нихъ уже и прежде намѣтилъ въ безсмертныхъ словахъ, сказанныхъ имъ въ своей запискѣ: *Подробный планъ ученія В. К. Наслѣдника*“, недавно опубликованной («Русск. Старина», 1880, февраль): «Уважай общее мнѣіе, — говоритъ въ ней поэтъ-наставникъ, — оно часто бываетъ противителемъ монарха; оно вѣрнѣйшій помощникъ его... общее мнѣіе всегда на сторонѣ правосуднаго государя. Люби свободу, то-есть правосудіе... свобода и порядокъ одно и то же: любовь царя къ вѣдѣ утверждаетъ любовь къ повиновенію въ подданныхъ» и проч.

Консерватизмъ Пушкинна совершенно совпадалъ съ этой исходной точкой политическихъ убѣжденій Жуковского, и оба они думали совершенно одинаково о важнѣйшихъ явленіяхъ русской жизни. Съ духовныя стремленія общества, думалъ Пушкинъ, — всѣ его надежды и чаянія, равно какъ и требованія матеріальнаго свойства, обращаются въ правительствѣ, какъ въ естественномъ своемъ хра-

илищѣ, данномъ исторіей. Они тщательно берегутся тамъ до тѣхъ поръ, пока съ наступленіемъ срока, переработанныя долгой мыслью и въ совѣтѣ съ лучшими умами страны, выходятъ опять на свѣтъ въ образѣ учреждений, въ формѣ созданія новыхъ и возстановленія старыхъ правъ,—возвращаясь, такимъ образомъ, снова въ народъ, но уже становясь ступенью въ его прогрессивномъ развитіи. Нѣтъ ни стыда, ни униженія безпрекословно подчиняться такой чуждой власти, какъ бы, впрочемъ, она ни называлась: абсолютной, патриархальной, деспотической и т. д. Вотъ въ краткихъ словахъ сущность консервативной теоріи Пушкина, которая порождала извѣстные его заявленія въ томъ же духѣ, часто останавливавшія на себѣ вниманіе его современниковъ и послѣдующихъ его цѣнителей, и которую онъ собирался развивать въ новомъ своемъ органѣ.

Здѣсь необходимо сказать, что примѣры иногда весьма оживленной критики заведенныхъ порядковъ и официальныхъ мѣропріятій, которая по-часту встрѣчается въ запискахъ и въ корреспонденціи Пушкина отъ этого же времени, нисколько не свидѣлствуютъ объ его измѣнѣ своимъ убѣжденіямъ. Напротивъ, онъ чрезвычайно дорожилъ новыми нажитыми убѣжденіями даже и послѣ того, какъ принужденъ былъ отказаться отъ публичной ихъ защиты. Можно доказать фактами, что всякій разъ, какъ грубые толчки и удары со стороны реального міра нарушали стройность его консервативной теоріи, колебали ея основанія и грозили потрясти вѣру въ ея положенія, онъ глубоко возмущался и спѣшилъ съ горчичимъ обличеніемъ всѣхъ тѣхъ, которые дѣломъ и примѣромъ своимъ поднимали на нее руку. Онъ становился въ это время не только раздражителемъ и дерзкомъ, но и глубоко несчастливъ,—словно цѣлость и неприкосновенность теоріи была ему необходима для возможности собственнаго существованія, спасала его самого отъ большой умственной и нравственной бѣды.

Сложнѣе представляется на видъ, съ перваго раза, другой вопросъ, неизбежно идущій вслѣдъ за первымъ. Что же сдѣлалось теперь у Пушкина съ его тѣсами о важности передового сословія въ государствѣ, о призваніи аристократіи служить надежнымъ посредникомъ между народомъ и правительствомъ, и съ другими тѣсами подобнаго рода? Какъ помирилъ онъ новую свою консервативную теорію съ прежней, которую никогда не покидалъ совѣсть, и которой придерживался, какъ извѣстно, еще въ 1835 году, то-есть почти наканунѣ смерти? Отвѣтъ на вопросъ не такъ затруднителенъ, какъ онъ сначала кажется. Противорѣчіе между двумя ученіями при ближайшемъ разсмотрѣніи сводится на простое недоразумѣніе между двумя однородными силами, которыя всегда наклон-

къ компромиссу и примиренію. На *теоретической* почвѣ особенно противорѣчіе легко сглаживается. Не трудно было возве-; напримеръ, Пушкину, хотя онъ никогда не занимался философскими выкладками, оба принципа къ высшему единству, и съ ющю разныхъ аналогій и діалектики самымъ естественнымъ образомъ представить противоположныя свои начала составными частями одного и того же цѣлаго, одного же общественного идеала, всеспособными къ совѣстной жизни. Такъ именно и случилось съ Пушкинымъ. Враждебные по натурѣ элементы свободно пріютились его мысли и мирно процвѣтали въ ней рядомъ другъ съ другомъ, взаимно ограничивая и умирняя себя и представляя зрѣлище ретической гармоніи, какое рѣдко даютъ тѣ же элементы, когда произрастаютъ на реальной, исторической почвѣ.

Но каковы бы ни были отношенія Пушкина къ обоимъ своимъ нѣмъ, — несомнѣнно, что для публичной ихъ защиты въ журналѣ требовался нѣкоторый просторъ мысли, нѣкоторая свобода въ видѣ явленій и право свободного критическаго разбора тѣхъ изъ нихъ, которыя могутъ затемнять свѣтлый ликъ поставляемаго на цѣ идеала. Это было, можетъ статься, еще необходимѣе для дѣйствительной консервативной теоріи, чѣмъ для первой, либерально-пархической, которая, нося на себѣ слишкомъ явно фантастическій характеръ, ни въ какихъ особенныхъ заботахъ и предосторожностяхъ не нуждалась. Другое дѣло—ученіе о государственной сти. Нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, призывать публику къ ишему пониманію своего быта, хлопотать о поднятіи уровня политическихъ идей въ обществѣ, проповѣдывать спасительныя, обоюція и укрѣпляющія истины, употребляя то же самое, полутное, пошлое бормотанье, которое служило тогдашней печати и передачѣ ея внутреннихъ и вѣшнихъ событій. Для успѣха пространенія новыхъ философско-политическихъ началъ между азванными людьми эпохи все-таки требовалось хотя бы подобіе ественной рѣчи, нѣчто похожее на одушевленіе человека, промутаго своимъ предметомъ, и желательно было дѣйствіе бодрого ва, сбросившаго съ себя старую, обветшалую и изношенную оболку. Но тутъ-то и встрѣтились затрудненія. Генераль Бенкен-фъ, завѣдывавшій ходомъ и направленіемъ общественной мысли никогда особенно не довѣрявшій благонадежности писателей и аналитиковъ, не нашелъ и теперь достаточныхъ причинъ для ого-либо измѣненія цензурныхъ обычаевъ времени въ пользу новаго изданія. Онъ думалъ, что, испробованный и освященный употребленіемъ, способъ понимать и излагать предметы политическаго актера — совершенно достаточенъ для русскаго общества и от-

вѣчасть воплѣтъ всѣмъ умственнымъ его запросамъ. Въ этому присоединилось у него закоренѣлое убѣжденіе, что всѣ, слишкомъ вышешенныя цѣли, поставляемыя себѣ русскими людьми и всѣ крупныя ихъ замыслы, выходящія за черту общаго уровня дѣлъ и понятій, служатъ имъ только удобнымъ способомъ скрывать тенденціозныя настрѣнія весьма сомнительнаго свойства. Онъ и не замедлялъ обнаружить вскорѣ эту часть своихъ убѣжденій самымъ недвусмысленнымъ образомъ.

Въ 1832 г., явился альманахъ «Сѣверные Цвѣты», издаваемый Пушкинымъ и его друзьями въ пользу семейства покойнаго барона Дельвига. Въ этомъ сборникѣ статей, Пушкинъ помѣстилъ превосходное свое стихотвореніе: «Анчаръ — древо яда», которое и сдѣлалось поводомъ довольно непріятной для автора исторіи. Подъ предлогомъ, что пьеса его, безпрекословно дозволенная къ печати обыкновенной цензурой, не была предварительно послана на обсужденіе верховной цензуры, какъ требовалъ того порядокъ, генералъ Бекендорфъ упрекалъ Пушкина въ нахѣтъ принятымъ на себя обязательствамъ, въ нарушеніи честнаго слова и въ обманѣ. Замѣчательно, что надзоръ, молчаливо терпѣвшій доселѣ подобныя же, довольно многочисленныя уклоненія Пушкина отъ правила — возсталъ теперь съ горячимъ обвиненіемъ и притомъ въ такой формѣ, которая показалась слишкомъ рѣзкой Пушкину, такъ что онъ долго не могъ забыть ея и вспоминалъ еще о ней съ горечью, спустя четыре года, въ письмѣ къ женѣ изъ Москвы, въ 1836 г., когда состоялъ уже четыре мѣсяца редакторомъ журн. «Современникъ»: «Брюловъ сейчасъ отъ меня ѣдетъ въ П.-В., скрѣпя сердце; бонсея климата и неволи. Я стараюсь его утѣшить и ободрить; а, между тѣмъ, у меня у самого душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я журналистъ. *Будучи еще порядочнымъ человекомъ* <sup>1)</sup>, я получалъ ужъ полицейскіе выговоры, и мнѣ говорили: Vous avez trompé, и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть какъ на Фаддея Булгарина и Николая Полева, какъ на шпіона; чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и съ талантомъ! Весело — нечего сказать <sup>2)</sup>!»

Пушкинъ, разумѣется, принялся тогда отписываться, ссылаясь на прежніе притѣры и представляя новые доводы въ свое оправданіе. Онъ-молъ не хотѣлъ мелкими произведеніями своей музы похищать время сильно занятыхъ государственныхъ людей, а всѣ

<sup>1)</sup> То-есть, еще не облеченный формально въ званіе издателя политической газеты какъ предполагалось сдѣлать, въ 1832 г. послѣ опубликованія программы и условій подписки.

<sup>2)</sup> См. „Вѣсти. Европѣ“, 1876, мартъ, стр. 88.

крупныя произведенія свои неотложно представлялъ на ихъ разсмотрѣніе и обсужденіе и проч. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ очень хорошо понялъ, что сущность дѣла заключается совсѣмъ не въ нарушеніи установленныхъ правилъ относительно появленія въ свѣтъ его стихотвореній, а въ характерѣ и содержаніи самой пьесы. Составленіе различной участи раба и князя, дѣйствующихъ каждый въ законамъ своего положенія и призванія, показалось надзору отдаленнымъ политическимъ намекомъ. Единственное объясненіе неоразумной съ проступкомъ живости и безцеремонности упрековъ приходилось искать въ досадѣ надзора на то, что подобныя сошительныя и опасныя мотивы поэзіи могутъ еще встрѣчаться подъ перомъ автора, послѣ всѣхъ благодѣяній, на него излитыхъ. А, между тѣмъ, пьеса Пушкина не имѣла ничего преднамѣреннаго и дѣлкомъ вылилась, безъ всякой примѣси, изъ одного его поэтического созерцанія людей и природы. Все это заставило крѣпко призадуматься Пушкина. Если по поводу небольшого стихотворенія, гуждаго всякихъ намековъ и постороннихъ цѣлей, могли отродиться такіа вспышки гнѣва и негодованія, чего же можно было ожидать впредь для будущей газеты отъ подозрительности надзора? Водрость Пушкина не устояла при мысли, что ему предстоитъ ежедневно садиться на скамью подсудимыхъ и разъяснять непонятныя надзоромъ слова и фразы. Онъ упалъ духомъ. Когда московскіе его друзья, обрадованные извѣстіемъ о приобрѣтеніи имъ печатнаго органа въ свое распоряженіе, просили его о программѣ и выражали ясныя сангвиническія надежды на успѣхъ журнала, Пушкинъ попытался охладить ихъ настроеніе. Насмѣшливо и съ досадой писалъ онъ имъ: «Какую программу хотите вы видѣть? часть политическая — *официально* ничтожная, часть литературная — *сущственно* ничтожная: извѣстія о курсѣ, о пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ — вотъ вамъ и вся программа... Я хотѣлъ уничтожить монополию и успѣхъ. Остальное мало меня интересуетъ. *Газета моя будетъ немного похуже «Сѣверной Пчелы»*. Угождать публикѣ не намѣренъ, браниться съ журналами хорошо разъ въ пять лѣтъ, то — Косичкину, а не мнѣ. Стихотвореній помѣщать не намѣренъ, бо и Христосъ запретилъ метать бисеръ передъ публикой: на то проза-мнякина»...

Черновой отрывокъ любопытнаго письма, здѣсь приведенный, указываетъ, что поэтъ не сразу отказался отъ намѣренія редактировать газету, хотя ясно прозрѣвалъ, какая будущность ей предстоитъ. Но прошло немного времени, и невозможность дать свое изданію, которое должно было оказаться, по условіямъ существованія, его ожидавшимъ, *немного похуже «Сѣверной Пчелы»*,

какъ онъ выразился, уяснилась ему вполне. Когда пропали изъ вида высокія цѣли и намѣренія, лежавшія въ основаніи первоначальнаго проекта, какая была надобность еще цѣпляться за него, посвящать ему свой трудъ. Пушкинъ принялъ намѣреніе сдать общедальнѣйшаго веденія постылаго предпріятія первому человѣку, который согласился бы принять на себя роль подставнаго издателя. Онъ вскорѣ и нашелъ такого человѣка, да притомъ такъ обрадовалъ своей находкѣ, что порядочно не разузналъ и фамиліи замѣстителя. Въ перепискѣ съ женой онъ постоянно называлъ его «Отрыжкынъ», а, между тѣмъ, это было довольно извѣстное и типическое лицо петербургскаго міра: статскій совѣтникъ, Наркинъ Ивановичъ *Тарасенко-Отрышковъ*.

Н. И. Отрышковъ успѣлъ составить себѣ репутацію серьезнаго ученаго и литератора по салонамъ, гостиницамъ и кабинетамъ вліятельныхъ лицъ, не имѣя никакого имени и авторитета ни въ ученомъ, ни въ литературномъ мірѣ. Онъ прослылъ агрономомъ, политико-экономомъ, финансовою способностью, не соприкасаясь съ людьми науки и не выходя на арену публичности. Вѣроятно, въ одномъ изъ петербургскихъ салоновъ Пушкину и указали на Н. И. Отрышкова, какъ на образцоваго и дѣльнаго сотрудника по журналу. Отрышковъ не усумнился взять въ свои руки газету, сдѣлавшую предметомъ мукъ и отвращенія для ея основателя, и вести ее безъ признака редакторской способности, безъ литературныхъ связей въ обществѣ и безъ капитала, нужнаго, чтобы поставить на ноги сложное предпріятіе. Пушкинъ не хотѣлъ ни во что вѣнчиваться. Вышло то, что должно было выдти — переговоры длились и ничѣмъ не кончились. Когда позднеѣ, и уже послѣ смерти Пушкина — одинъ изъ многочисленныхъ покровителей Отрышкова — графъ Г. Г. Строгоновъ, назначенный предсѣдателемъ въ опеку по дѣламъ Пушкинской фамиліи, ввелъ Отрышкова, вслѣдъ за собой, и въ опекускую комиссію, онъ игралъ въ ней весьма значительную роль. Подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Отрышкова печаталось и смертное изданіе «Сочиненій Пушкина», удивившее даже и тогдашнюю, не очень взыскательную публику, своей безпорядочностію, онъ же предлагалъ, для устройства матеріальнаго положенія семьи Пушкина, мѣры, которыя, безъ щедротъ государя, выпавшихъ на ея долю, конечно, не обезпечили бы прочно ея будущности и существованія, какъ это случилось. По окончаніи ликвидаціи долговъ имущества умершаго поэта, Отрышковъ собралъ бумаги, прошедшія черезъ его руки, въ теченіи довольно долгаго процесса этого разбирательства, и принесть ихъ въ даръ Императорской Публичной бібліотекѣ. Тамъ, въ числѣ другихъ документовъ, можно видѣти



атическое изображеніе наружнаго вида газеты, которую онъ  
 ся издавать. Это — пустой листъ бумаги, расчерченный перомъ  
 ѣсколько отдѣловъ съ оглавленіями: — Внутреннія извѣстія,  
 нія извѣстія и т. д. Вотъ все, что осталось на свѣтѣ отъ га-  
 и отъ политической *идеи* Пушкина:

## СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНІЕ

ПЛАНА ГАЗЕТЫ, НАБРОСАННАГО РУКОЮ ПУШКИНА

апр 1833 г. съ при- .....	<div style="text-align: center;"> <b>„ДНЕВНИКЪ“</b> </div> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Политическая и литературная газета.		Понедѣльникъ. Котора редакція открыта съ 9 ч. утра до 9 ч. вече- ра ежедневно.
внутреннія извѣстія. ~~~~~ .....	<div style="text-align: center;"> <b>Новости заграничныя.</b> </div> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> .....		
СМѢСЬ. ~~~~~ .....			

Въ дополненіе къ этому плану, присоединимъ небольшое замѣ-  
 : изъ бумагъ Н. И. Отрѣшкова, хранящихся въ Публичной  
 біотекѣ.

16 сентября 1832 г. Пушкинъ далъ довѣренность титуляр.  
 т. Нарк. Ив. Отрѣшкову на принятіе званія редактора поли-  
 ской и литературной газеты, ему дозволенной, съ правомъ за-

готовлять бумагу, завести собственную типографию на два станка, нанять квартиру для редакціи и для этого *занять* 2000; а 1-го октября ген. Бенкендорфъ извѣстилъ Наталью Ник. Пушкину, что готовъ принять въ редакторы Отрѣшкова; но 2-го октября д. с. с. Мордвиновъ поставилъ въ извѣстность самого Пушкина, чтобы онъ не приступалъ къ изданію до возвращенія Бенкендорфа изъ Ревеля и представленія Государю образцовъ журнала. Къ числу образцовъ, кромѣ упомянутыхъ въ статьѣ, принадлежалъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, и листокъ, приведенный нами выше съ схематическимъ изображеніемъ плана газеты.

Нѣсколько болѣе сохранилось документовъ и свидѣтельствъ отъ другого замысла Пушкина — написать исторію Петра I, который тоже не осуществился, какъ и первый, но съ тою разницею, что погасалъ уже медленно и постепенно, съ ходомъ самыхъ работъ историка.

Съ необычайнымъ рвеніемъ принялся Пушкинъ, особенно лѣтомъ 1832 г., за разборъ и чтеніе документовъ, касающихся царствованія Петра I въ государственномъ архивѣ, являясь туда ежедневно пѣшкомъ съ Черной рѣчки, гдѣ жилъ. По первымъ же собраннымъ матеріаламъ, онъ приступилъ къ составленію текста, къ спокойному, стройному повѣствованію о жизни и эпохѣ государя, точно предварительная критическая разработка свидѣтельствъ была уже окончена авторомъ; за то, позабытая вначалѣ, она явилась послѣ въ серединѣ труда и разстроила его. Пушкинъ самъ почувствовалъ, что прямое изготовленіе историческаго текста послѣ бѣлаго взгляда, брошеннаго на данныя, изъ которыхъ трудъ долженъ выростать — есть дѣло весьма преждевременное. Почти на каждой строчкѣ своего повѣствованія, онъ встрѣчался съ сомнѣніемъ или относительно достовѣрности источника, откуда взятъ былъ описываемый фактъ, или относительно правильной постановки и освѣщенія его. Всѣ такія сомнѣнія онъ обозначалъ вопросительными знаками въ рукописи и — текстъ повѣствованія покрытъ такими знаками. Они указывали, гдѣ должна была произойти новая провѣрка данныхъ и новое изслѣдованіе ихъ, въ дополненіе упущеній первоначальнаго поверхностнаго обзора. Нѣсколько примѣровъ Пушкинскаго историческаго разсказа, пересѣченнаго во всѣхъ направленіяхъ такими предостерегающими знаками, и нарушающими какъ чтеніе его, такъ и вниманіе и довѣріе читателя — собраны нами въ матеріалахъ для біографіи Пушкина въ 1855 г.

Историкъ однако-жъ продолжалъ упорствовать въ намѣреніи изготовить сперва текстъ сочиненія для того, чтобы впослѣдствіи разрушать его критической провѣркой, и довелъ свою работу до 1689

—провозглашенія Петра единодержавнымъ правителемъ государ-  
Тутъ онъ остановился, вѣроятно, потому, что дальше и нельзя  
идти въ этомъ направленіи: масса преобразовательныхъ мѣръ  
ха, требовавшая настоятельно классификаціи и тщательнаго  
ра, загромаждала дорогу. Пушкинъ перемѣнилъ манеру труда;  
отказался отъ эпического разсказа и замѣнилъ его самымъ  
тливнымъ подборомъ, въ хронологическомъ порядкѣ фактовъ и  
въ царствованіи за каждый годъ, сопровождая выписки свои  
ичаніями для памяти, съ цѣлью, по всѣмъ вѣроятіямъ, воспользо-  
и тѣми и другими, когда достаточное количество собраннаго  
іала позволить приступить къ составленію уже настоящей  
и.

Ютъ, эти именно примѣчанія Пушкина къ указамъ и событіямъ  
преобразователя — и тонъ, въ которомъ по-часту излагаются  
и составляютъ единственную существенную часть всего его  
. Въ нихъ обнаруживается тайная мысль историка, — та са-  
которая неотступно преслѣдовала его и прежде, и которая те-  
помѣшала ему довести до конца свое предпріятіе и написать  
анную книгу — несмотря на весь его талантъ и на все его  
любіе.

ѣтъ яснѣе возставала передъ нимъ картина дѣятельности  
и, благодаря самому предпринятому сборнику, тѣмъ сильнѣе  
цлялось у Пушкина старое предѣставленіе о гениальномъ импе-  
ѣ, какъ объ олицетвореніи страшной бури, одинаково сметаю-  
передъ собой, безъ выбора и сожалѣнія, все, что ей встрѣ-  
и на пути до тѣхъ поръ, пока не истощится сама собой ея  
дная, феноменальная сила. Завязтому типу людей Александров-  
эпохи, какимъ былъ Пушкинъ, казалась тяжелою ношею даже  
годарность за великіе отечественные подвиги, если они совер-  
съ помощію крутыхъ и нравственно-оскорбительныхъ мѣръ.  
менѣ расположенъ былъ Пушкинъ, по личному характеру сво-  
оправдывать реформы, которыя шли на-перекоръ нѣкоторымъ  
твеннымъ народнымъ особенностямъ, и возмущался ими, когда  
е оставляли въ покоѣ частнаго, безвреднаго убѣжденія, или  
затрогивали наивныя, простосердечныя вѣрованія. Большое  
ойство въ сознаніи Пушкина внесено было соображеніемъ, что  
я правда цѣликомъ, и при всякомъ случаѣ, стояла на сто-  
грознаго реформатора, а между тѣмъ мѣры, какія онъ при-  
ѣ для доставленія торжества своимъ ошибкамъ и погрѣшно-  
, ничуть не уступали въ энергіи и безпощадности мѣрамъ, съ  
цью которыхъ онъ осуществлялъ и свои великія предначерта-  
юди гибли, положенія уничтожались, общество колебалось уже

въ пользу явной исторической невозможности, чему свидетельствомъ остался законъ о престолонаслѣдіи и друг. Сквозь призму своего установившагося воззрѣнія на Петра I, Пушкинъ видѣлъ или думалъ, что видитъ двойное лицо — гениальнаго создателя государства и старый восточный типъ *«бича божія»*. Рука Пушкина дрожала. Уже много накопилось матеріаловъ для исторіи въ его сборникѣ и ждало только обработки, а онъ все не приступалъ къ ней. Онъ искалъ способа изобразить лицъ великаго государя, согласно со своимъ собственнымъ пониманіемъ его, и не оскорбляя officialнаго міра, ожидавшаго безусловной апоеозы преобразователя, для чего собственно и были открыты ему государственныя архивы. Пушкинъ такъ и умеръ, не отыскавъ способа примирить эти два совершенно противоположныя требованія, и все продолжалъ еще собирать матеріалы, какъ будто отъ количества ихъ ожидалъ совѣта, помощи и вдохновенія въ этомъ дѣлѣ.

Большая часть замѣтокъ и примѣчаній Пушкина, на которыхъ мы основываемъ выводы, здѣсь изложенные, отличаются чрезвычайно живымъ, критическимъ характеромъ. Извѣстно, что посмертное «Собраніе сочиненій Пушкина» издавалось, по волѣ государя, почти безъ участія цензуры; но, прилагая къ изданію свою обычную пометку о дозволеніи печатать (май и іюнь 1840 г.), цензура все-таки заявила мнѣніе о совершенной невозможности открыть право свободнаго обращенія въ публикѣ многимъ циническимъ приговорами и заключеніямъ автора. Мѣста эти и были выпущены по ея настоянію, лишивъ остальную часть труда почти всякаго интереса. Для оправданія цензуры того времени въ этомъ случаѣ достаточно сказать, что, по запальчивому тону и крайне рѣзкому выраженію мысли, замѣтки Пушкина и теперь, по прошествіи почти 50 лѣтъ со времени ихъ составленія, походятъ скорѣе на ожесточенныя тирады озлобленнаго человѣка, чѣмъ на вопросы и сомнѣнія ученаго. Выбираемъ изъ ряда Пушкинскихъ замѣтокъ наиболѣе удобныя для сообщенія публикѣ понятія объ ихъ общемъ характерѣ:

*«1711—1714 г. У князя Меншикова на фейерверкѣ на щитѣ надпись: «Гдѣ же правда, тамъ и помощь божія»; однако Богъ помогъ не намъ. Въ сіе же время изданъ тиранскій указъ о запрещеніи во всемъ государствѣ каменнаго строенія.— 1715. Петръ опять издалъ одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ: онъ повелѣлъ готовить юфть по новымъ способамъ, по обыкновенію своему, угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою.— 1718. Приказываетъ юфть для обуви дѣлать не съ дегтежъ, а съ ворванными саломъ, подъ страхомъ конфискаціи и галеръ, какъ обыкновенно кончатся хозяйственные указы Петра.— 1721. Указъ о возвращеніи роди-*

телямъ деревень, принадлежащихъ имъ и невиннымъ ихъ дѣтямъ, также и о платежѣ заимодавцамъ. NB. Сей законъ справедливъ и милостивъ, но фактъ изъ коего онъ проистекаетъ — самъ по себѣ, несправедливость и жестокость. Отъ гнилаго корня отпрыскъ живой. — 1721. Сенатъ и синодъ подносятъ ему титулъ Отца отечества, Всероссийскаго императора и Петра Великаго. Петръ не долго церемонился и принялъ его. Сенатъ (т.-е., восемь стариковъ) прокричали: *vivat!* Петръ отвѣчалъ рѣчью гораздо болѣе приличной и разсудительной, чѣмъ это все торжество. — 1722. Петръ былъ гнѣвъ. Дворяне не явились на смотръ. Издалъ указъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежніе. — 1722. Манифестъ о правѣ наследства, т.-е. уничтожилъ всякую законность въ порядкѣ наследства, и отдалъ престолъ на произволеніе...

И такъ далѣе. Наиболѣе рѣзкимъ словомъ отличаются замѣтки, касающіяся женитьбы Петра на Екатеринѣ магдебургской; процесса царевича Алексѣя, гдѣ встрѣчается такое утверждение: «Петръ хвастался своей жестокостію»; процесса несчастныхъ Монсовъ и обстановка, сопровождавшая смерть реформатора.

Значило-ли все это, что Пушкинъ не обладалъ надлежащимъ органомъ для пониманія великой государственной стороны въ дѣятельности Петра I, что онъ лишенъ былъ способности чутъ и распознаванія великихъ идей, управляющихъ поступками гениальныхъ людей? Далеко отъ того! Пониманіе величія задачи, поставленной себѣ преобразователемъ, и благоговѣніе передъ силой и ясностію, съ которыми онъ проводилъ ее въ народъ, Пушкинъ обнаруживалъ не разъ въ теченіи своей поэтической дѣятельности. Онъ не выдержалъ только восторженнаго настроенія своихъ стихотвореній, посвященныхъ имени Петра, когда ближе подошелъ къ жизненнымъ подробностямъ его царствованія и услышалъ, такъ сказать, вопли жертвъ и шумъ развалинъ, падавшихъ подъ ударами преобразователя, расчищавшаго дорогу новому порядку дѣлъ и новымъ идеямъ. Художническая натура Пушкина мѣшала ему сдѣлаться трезвымъ историкомъ. Ему недоставало сухости воображенія, необходимой для того, чтобы хладнокровно взвѣшивать и опредѣлять цѣну роковыхъ событій, не чувствуя страшной, раздражающей драмы подъ ними, и не смущаясь ею, когда она выступаетъ наружу. Поэтическая способность переносится всецѣло въ дальнія эпохи и жить съ ними, какъ бы въ качествѣ ихъ современника, мѣшала ему исполнять обязанности историка. Онъ слишкомъ любилъ побѣжденныхъ и проигравшихъ свое дѣло, слишкомъ возмущался, когда побѣдители вычливо предавались торжеству, хотя бы послѣднее было вынесено самымъ историческимъ ходомъ дѣлъ и необходимостію. Въ числѣ его замѣ-

токъ находится одна, весьма важная, которая показываетъ, что онъ радъ былъ встрѣтиться на пути своихъ изслѣдованій съ соображеніями, которыя открывали ему возможность войти въ роль безстрастнаго судьи и резонёра гораздо полнѣе, чѣмъ онъ дѣлалъ это доселѣ:

«Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первые суть плоды ума обширнаго, исполненнаго добродетельства и мудрости; вторые — нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется писаны кнутомъ. Первые были для вѣчности или, по крайней мѣрѣ, для будущаго; вторые — вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помыщика.

«NB. Это внести въ исторію Петра, обдумавъ».

Итакъ, вотъ та твердо поставленная программа, изъ которой долженъ былъ у Пушкина возникнуть образъ великаго монарха. Самъ собой рождается при этомъ вопросъ — была ли возможность этой программѣ, по времени, осуществиться на дѣлѣ? Прежде всего тутъ бросается въ глаза нѣсколько искусственное дѣленіе цѣльной фигуры преобразователя на двѣ части, имѣющія каждая свое особенное выраженіе. Очень много возраженій способно вызвать такое предполагаемое раздвоеніе политической дѣятельности у Петра I, такъ какъ источникъ ея, при всемъ ея разнообразіи, былъ одинъ и тотъ же — сознаніе могущества самодержавной власти, вѣра въ дѣло, заботливость о будущемъ государства, непреклонная воля. Все это уравнивало передъ лицомъ реформатора всѣ сферы общества и администраціи и клало одинаковую печать на всѣ его распоряженія, великія и малыя, безъ различія. Государственные учрежденія, несмотря на свое коллегіальное устройство, слѣдили за всякимъ настроеніемъ учредителя и предупреждали его, не вѣря въ свою самостоятельность; въ частныхъ, хозяйственныхъ предписаніяхъ могущественнаго «помыщика» легко усмотрѣть не малую долю благожелательства и мудрости, несмотря на ихъ жестокую форму, которая такъ возмущала Пушкина. Но оставляя въ сторонѣ этотъ вопросъ, слѣдуетъ остановиться еще на другомъ. Если бы Пушкину и удалось, силой большого таланта, провести искусно и счастливо параллель своей программы въ историческомъ изложеніи — кого бы она удовлетворила? — Большинство публики и весь офиціальныи міръ ждали отъ поэта просто лучезарнаго лика Петра I и, конечно, возмущались бы всякимъ яркимъ пятномъ, которое бы на немъ приняты; съ другой стороны, даже и позволеніе на самый осто-

жизни и необходимый, по существу дѣла, вводъ тѣней въ образъ царя Пушкинъ принужденъ былъ бы покупать цѣною едва внятныхъ намековъ, полу-откровеній, недоговоренныхъ мыслей, что лило бы его трудъ всякаго наукообразнаго значенія въ глазахъ идущихъ и компетентныхъ судей. Въ виду разнообразныхъ и односторонне настоятельныхъ требованій, успѣхъ исторіи становился сомнительнымъ, какую бы дорогу, впрочемъ, самъ авторъ ни выбралъ. При такихъ условіяхъ труда, естественно, что онъ долженъ былъ остановиться у Пушкина—и остановился дѣйствительно.

Какъ-бы предчувствуя свою неудачу, Пушкинъ успѣлъ открыть и себя въ архивахъ побочное дѣло, которое утѣшило его отчаяніемъ за медленный ходъ главной работы. Часто случается, что издатель, свободно и довѣрчиво допущенный ко всѣмъ сокровищамъ богатаго книгохранилища, знакомится тамъ съ документами, не касающимися прямо его предмета, но въ высшей степени интересными. Такимъ документомъ, завладѣвшимъ всѣмъ вниманіемъ Пушкина, оказалось дѣло о Пугачевскомъ бунтѣ: оно сразу произвело въ немъ производительную энергію, которая дремала за совлеченіемъ все разрастающагося сборника петровскихъ указовъ и рупиныхъ чертъ его жизни и примѣчаній къ нимъ. Правда, что это второстепенное, побочное дѣло прямо перенесло Пушкина въ сферу творчества, въ ту сферу, гдѣ онъ былъ полнымъ хозяиномъ господиномъ своего таланта. Выписывая официальные данныя о Пугачевскомъ бунтѣ и перефразировывая ихъ въ простой, чрезвычайно интересный и строгій рассказъ—Пушкинъ въ то же время воплощалъ духъ эпохи, и представлялъ картину событія и жизненные подробности въ мастерскомъ романѣ,—известной «Капитанской дочкѣ». Эта образцовая историческая повѣсть зачалась въ архивѣ пыли, выросла на донесеніяхъ, промеморіяхъ, слѣдственныхъ процесссахъ, снятыхъ ея авторомъ съ молчаливыхъ полокъ, гдѣ они долго покоились, а закончилась въ одной изъ уральскихъ станицъ, куда въ слѣдующемъ 1833 году Пушкинъ отправился черезъ Казань, Симбирскъ и Оренбургъ для проверки и осмотра мѣстъ дѣйствій, какъ своего романа, такъ и своей исторіи. Эти близцы назначены были пополювать одного другого.

*Исторію Пугачевского бунта*, которую озаглавить Пушкинъ хотѣлъ первоначально народнымъ, генерическимъ прозвищемъ всей охи: «*Пугачевщина*», нельзя назвать въ настоящемъ смыслѣ сло- исторіей. Это скорѣе дѣльная, хорошо составленная докладная записка, назначенная для быстрого ознакомленія съ предметомъ читателя, который бы поинтересовался имъ,—чѣмъ и объясняется ея издѣланный, чисто объективный и невозмутимый тонъ, который

такъ восхищалъ друзей поэта, и, между прочимъ, Н. В. Гоголь когда она явилась въ печати. Всѣ краски, бытовныя подробности, в живость изображенія этой русской «жакетин» выпала на долю «Евдотьевской дочки». Извѣстно — какинъ изяществомъ постройки он отличается, какинъ добродушнымъ юморомъ вѣетъ отъ описан патріархальныхъ порядковъ того времени и какинъ мастерствомъ и созданіи типическихъ характеровъ въ духѣ эпохи она отличается.

Романъ и историческая записка составили какъ-бы отдыхъ для Пушкина, явились чѣмъ-то въ родѣ его *междудѣлій*, которое одне коже еще сильнѣе напоминало ему самому и всѣмъ другимъ о главной задачѣ, за нимъ еще числящейся. Первенствующій его трудъ не подвигался впередъ, даже собственно говоря не начинался вовсе а нетерпѣніе публики видѣть первые его всходы росло съ года и годъ. По разсказамъ приближенныхъ Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгіе сборы его на заложеніе фундамента исторіи — будутъ приписаны, пожалуй, отвращенію къ герою ея, могутъ показаться бѣгствомъ съ поля сраженія, или, что еще хуже, думать поводъ подозрѣвать его въ преднамѣренномъ обманѣ... Пушкинъ никогда не терялъ надежды найти выходъ изъ раздвоенна психическаго состоянія, въ какомъ находился по отношенію къ личности Петра I. Онъ продолжалъ свои работы, и еще въ предпоследній годъ своей жизни (1836) уѣхалъ въ Москву и провелъ нѣсколько мѣсяцевъ въ тамошнемъ архивѣ М-ва Иностранныхъ Дѣлъ. Но это было уже только поискомъ дополнительныхъ свѣдѣній, потому что главные подготовительныя работы были кончены еще прошлымъ 1835 г., какъ оказывается изъ подписи на послѣднихъ страницъ его сборника матеріаловъ: «15 декабря 1835».

Заканчивая нашъ опытъ передачи, по неизданнымъ документамъ политическихъ и общественныхъ идеаловъ Пушкина, не може обойтись безъ послѣдней замѣтки. Идеалы поэта могутъ показать теперь несостоятельными въ своей сущности, построенными на данныхъ, чуждыхъ русской жизни; утопическій, мечтательный ихъ характеръ можетъ быть обсуждаемъ и осуждаемъ болѣе или менѣе строго, а научная сторона ихъ — не выдерживать повѣрки и проно челоуѣкъ, желѣявшій подобныя идеалы *пятьдесятъ* лѣтъ то назадъ, останется внѣ приговоровъ и заключеній, какіе-бы ни дали о его ученіяхъ и теоретическихъ взглядахъ. Онъ всегда останется тѣмъ, чѣмъ былъ при жизни — представителемъ типа гуманнаго развитія въ свою эпоху, примѣромъ челоуѣка, который, во всѣхъ обстоятельствахъ, сохранялъ живое гражданское чувство,



всю жизнь обнаруживалъ неустанную энергію въ проповѣди справедливыхъ, честныхъ отношеній между людьми, за что и подвергался часто обвиненію въ безпокойномъ либерализмѣ, — который, наконецъ, всею душою постоянно желалъ для своей родины умноженія правъ и свободы, въ предѣлахъ законности и политическаго быта, утвержденнаго всѣмъ прошлымъ и настоящимъ Россіи...

Май, 1880 г.



# Н. В. СТАНКЕВИЧЪ

(БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

## I.

### ВСТУПЛЕНІЕ.

Имя Станкевича прежде всего возбуждаетъ вопросъ: чѣмъ заслужилъ человѣкъ, его носившій, право на вниманіе общества и на снисходительное любопытство его?

Станкевичъ умеръ двадцати семи лѣтъ (родился въ 1813 году, скончался въ 1840) отъ роду, оставивъ одну плохую трагедію: «Василій Шуйскій»<sup>1)</sup>, въ пятистопныхъ стихахъ, написанную имъ

<sup>1)</sup> Трагедія Станкевича: „Василій Шуйскій“ (Москва, 1830 года, 107 стр. in-8), посвященная председателю общества любителей русской словесности, А. А. Писареву, исполнена чертъ, относящихся къ театральнымъ воспоминаніямъ молодого автора. Свиданіе Скопина-Шуйскаго съ неvěстой его Ольгой (не имѣющей другого прозванія), происходитъ вечеромъ, и театръ представляетъ *садъ съ рѣшеткой*, да и при первой встрѣчѣ съ любезной, Скопинъ *цѣлуетъ у ней руку* и проч. Точно то же воспоминаніе руководило автора и въ постройкѣ пьесы и въ изображеніи какъ злобныхъ, такъ и великихъ романтическихъ характеровъ. Стихъ однако же весьма гладокъ, иногда даже изященъ, а пафосъ трагедіи замѣчательнъ по своему благородству и достоинству. Станкевичъ началъ печатать очень рано свои произведенія, въ чемъ такъ сильно раскаивался потомъ. Первые его опыты были еще помѣщены въ журналѣ „Бабочка“; затѣмъ мы находимъ въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“, на 1831 годъ, его стихотвореніе: „Филинъ“,—весьма мало замѣчательное, и въ „Телескопѣ“ 1831 же года другое: „Ночные Духи“—фантазію, не лишенную поэтическаго оттѣнка. Гораздо менѣе его въ пьесѣ: „Кремль“, напечатанной въ „Литературной Газетѣ“ 1831 года, № 7; но опять признаки истиннаго поэтическаго чувства являются въ другой пьесѣ „Грусть“ (Ночь темна, снѣгъ валитъ), помѣщенной въ той же „Литературной Газетѣ“ 1831 года, № 18. Затѣмъ Станкевичъ преимущественно печаталъ свои стихотворенія въ журналахъ: „Телескопъ“ и „Молва“. Такъ, въ 1832 году, „Телескопъ“ (№ 6 и 9) помѣстилъ двѣ его пьесы: „Мгновеніе“, „Къ мѣсяцу“, а „Молва“ (№ 70) одну: „Не сожалѣй“. Въ

шестнадцать лѣтъ и вскорѣ потомъ имъ самимъ скупленную и уничтоженную. Она сдѣлалась теперь библиографическою рѣдкостью. Съ 1831 по 1835 годъ, въ разныхъ, преимущественно московскихъ журналахъ, разбросаны были его мелкія стихотворенія, замѣчательныя по отношенію къ развитію его идей, но не представляющія въ самихъ себѣ достаточной степени глубины и жѣсткости выраженія, чтобъ остановить вниманіе читателя, хотя основные мотивы почти всѣхъ ихъ имѣютъ несомнѣнный поэтический характеръ. Сверхъ того, въ тѣхъ же журналахъ помѣщаемы были его переводныя и оригинальныя статьи философскаго содержанія, болѣею частью безъ подписи имени, такъ что найти и указать ихъ теперь нѣтъ почти никакой возможности. Понятно, что не съ этой стороны можетъ быть усмотрѣно истинное выраженіе фizioноміи Станкевича, и не этимъ можетъ онъ купить сочувствіе публики къ своему лицу. Гораздо важнѣе литературной дѣятельности Станкевича были его сердце и его мысль. Мы постараемся уловить (на сколько намъ это возможно) поэтическое развитіе мысли Станкевича въ кратковременный срокъ, данный судьбой на его образованіе, но предупредимъ читателя теперь же: пусть не ищетъ онъ памятниковъ,

1834 году, Станкевичъ отдалъ въ альманахъ „Денница“ стихотвореніе: „На могилѣ Эпикіа“ и другое: „Фантазія“ (Люблю я смотрѣть, какъ ночью порою). Всѣ эти произведенія несомнѣнно обличаютъ поэтический элементъ въ авторѣ, но не успѣвшій сосредоточиться и ясно выразить себя. Въ Молвѣ 1834 года, № 20, есть еще письмо Станкевича къ издателю, въ которомъ онъ жалуется на произвольную перепечатку журналомъ „Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ“ въ 16 № 1834 года одного ранняго своего стихотворенія, посланнаго когда-то въ „Сѣверные Цѣтны“. Если прибавимъ къ этому еще повѣсть Станкевича: „Нѣсколько многовѣній изъ жизни Графа Т...“, напечатанную въ „Телескопѣ“ 1834 (часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, о которой упоминаемъ ниже, то представимъ весь итогъ печатной литературной дѣятельности Станкевича. Можно дополнить этотъ перечень еще одною подробностію. Станкевичъ, по рожденной ему шутливости, писалъ еще и пародіи, которыя тогда, какъ и нынѣ, были въ ходу. *Евритидинъ* (К. С. Ак—ъ), пародировавшій въ „Молвѣ“ 1832 года романтическія трагедіи пьесой: *Олеизъ подѣ Константинополемъ*, а въ „Телескопѣ“ 1835 года безцѣпныя стихотворенія эпохи пьесами: „Воспоминанія“, „Скала“ (томъ XXVII)—имѣлъ даже успѣхъ. Станкевичъ, въ сообществѣ съ Н. А. Мельгуновымъ, напечаталъ пародію на поэмы безталанннхъ подражателей Пушкина и Баратынскаго, въ „Молвѣ“ 1832 года № 75, подъ заглавіемъ: „Калмыцкій Пѣвнникъ“, гдѣ

Этень и блѣдный и печальный,  
Разставшись съ Питеромъ, летитъ,

а лица его Пострѣлъ поетъ пѣсню про синіе глаза и русую косу—

Присушили, засушили,  
Загубили, ухидили  
Вы Пострѣла молодца, и проч.

О весьма важныхъ переводахъ Станкевича для журнала „Телескопъ“ 1835 года мы говоримъ далѣе въ біографическомъ очеркѣ.

цѣльных произведеній, чего-либо полного и законченнаго. Нѣсколько философских отрывковъ, нѣсколько прерванныхъ этюдовъ, связь и мысль которыхъ еще нуждаются въ поясненіяхъ біографа — вотъ все, что мы можемъ представить ему. Заранѣе сознаемся мы, что Станкевичъ лишень тѣхъ правъ, которыя какъ у насъ, такъ и вездѣ, долженъ предъявлять писатель или дѣятель, если жизнь его разоблачается передъ публикой до самыхъ сокровенныхъ своихъ побужденій. Вопросъ: что же остается послѣ Станкевича, если считать самую переписку его, какъ впрочемъ и слѣдуетъ, не настоящею дѣятельностію, а только матеріалами для опредѣленія его личности и его характера? — вопросъ этотъ мы дѣлали самимъ собою прежде читателя.

Намъ остается именно эта личность и этотъ характеръ, какъ они выразились въ перепискѣ его, которую здѣсь вкратцѣ разберемъ и передаемъ <sup>1)</sup>. На высокой степени нравственнаго развитія личность и характеръ человѣка равняются положительному труду, и послѣдствіями своими ему нисколько не уступаютъ. Мы имѣемъ тому нѣсколько примѣровъ въ нашей литературѣ, проходившихъ обыкновенно молчаніемъ въ такъ-называемыхъ исторіяхъ русской словесности. Это объясняется формализмомъ вообще нашей исторіи словесности, въ основаніе которой не было доселѣ положено изученіе общества и круговъ, его составляющихъ. Такимъ образомъ мы находимъ въ ней имена людей, болѣе или менѣе прославившихся своими произведеніями, или (что иногда не все равно) болѣе или менѣе прославляемыхъ, но жизненнаго источника ихъ дѣятельности мы не знаемъ. Случается, что между ними стоитъ совершенно незнакомое лицо, мало высказавшееся, или совсѣмъ не высказавшееся передъ публикой, но замѣшанное во всѣ начинанія эпохи, опредѣлившее воззрѣніе и духовную дѣятельность цѣлаго ряда производителей и образовавшее наконецъ нравственный характеръ ихъ, который потомъ и отражается въ литературныхъ, художественныхъ, жизненныхъ и служебныхъ дѣлахъ ихъ; другими словами, отражается на цѣлѣнъ обществѣ, на многихъ разнородныхъ слояхъ его. Но какъ подступитъ къ подобному лицу, стоящему совершенно уединенно, безъ замѣтки въ книжныхъ росписяхъ, безъ заслугъ въ формулярномъ своемъ спискѣ, безъ критическаго или даже безъ всякаго другого аттестата? Разумѣется, легче пройти мимо такого лица, благо есть предлогъ во всеобщемъ молчаніи, чѣмъ вникнуть въ его значеніе и угадать родъ его дѣятельности. Для послѣдняго еще нужна и нѣкоторая зоркость взгляда: не всякій способенъ видѣть

<sup>1)</sup> Полная переписка Станкевича вышла отдѣльной книжкой, вмѣстѣ съ біографическимъ очеркомъ его въ 1857 г. (Николай Владиміровичъ Станкевичъ. Москва, 1857).

тамъ, гдѣ нѣтъ матеріальныхъ признаковъ ея. Никогда измѣ, выдававшійся у насъ за ученую дѣятельность, никогда псевдо-реализмъ, ограничивающійся перечетомъ матеріальныхъ, не рѣшились бы говорить о подобномъ лицѣ, отличен-  
олько даромъ упорной мысли, отыскивающей истину безъ, и даромъ любви, которая всѣ открытія мысли спѣшитъ въ близкимъ людямъ и не успокоивается до тѣхъ поръ, пока  
шнить имъ ту вѣру въ познаніе, ту сладость благихъ ощу-  
какія она сама вкусила. Какъ взяться формализму и псевдо-  
ости за подобное лицо, особливо когда вокругъ него не ско-  
никакихъ событій, и вся исторія человѣка есть только ис-  
звычайно-пытливаго ума, ищущаго гармоническихъ, со-  
хъ соотношеній съ необычайно-деликатнымъ и любящимъ серд-  
Конечно, задача эта именно есть задача всѣхъ современныхъ  
въ, и можетъ быть весьма поучительно было бы видѣть стре-  
одного мыслителя, надѣленного пылкими чувствами, къ раз-  
ю ея въ своемъ сознаніи; но человѣкъ этотъ почти ничѣмъ  
явилъ внутренней работы своей, почти ни за что печатное  
копisches нельзя ухватиться, чтобъ положить въ основаніе  
на... Сколько предлоговъ для молчанія!

благодаря имъ, исторія лица, имѣвшаго сильное вліяніе на  
іе просвѣщенія и идей въ обществѣ, спокойно отстраняется  
безъ всякаго упрека самимъ себѣ за лѣность собственной на-  
исли; и всѣ послѣдующія явленія въ литературѣ и жизни,  
ивѣянные, или косвенно порожденные имъ, являются односто-  
и разрозненными на глаза наблюдателя, какъ грибы послѣ  
по народной поговоркѣ. Сравненіе, впрочемъ, не вполне вѣрно.  
бовъ все-таки есть нѣчто общее — благотворный дождь, ихъ  
вшій.

лицѣ Станкевича мы находимъ одного изъ такихъ замѣча-  
хъ дѣятелей, ничего не оставившихъ послѣ себя, и предла-  
теперь біографическій очеркъ его на судъ публики.

анкевичъ жилъ скоро, потому что ему не долго было жить:  
лѣднаго университетскаго курса въ 1833 году, когда ему  
олько двадцать лѣтъ, уже начинаютъ показываться въ немъ  
ки болѣзни лёгкихъ и органическаго истощенія, которое воз-  
о по мѣрѣ развитія мысли, усиленія стремленій, важности и  
сти задачъ, поставляемыхъ цѣлью жизни. Еще въ универси-  
й аудиторія онъ сталъ центромъ кружка товарищей, равныхъ  
свѣдѣніямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только  
ятся люди въ молодые годы свои) вліянію свѣтлаго ума,  
однаго сердца и строгихъ нравственныхъ требованій. Станке-

вичъ дѣйствовалъ обаятельно всѣмъ своимъ существомъ на сверстниковъ: это былъ живой идеалъ правды и чести, который въ раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостию, живо чувствующею свое призваніе. Извѣстно, что онъ открылъ Кольцова, не подовѣрѣвая, можетъ-быть, всей важности своей находки, указавъ на него сперва друзьямъ своимъ, а наконецъ и публикѣ. Также мало предчувствовалъ Станкевичъ, что въ другѣ, съ которымъ близко сошелся года за три до своей смерти, питаетъ онъ чловека, долженствующаго имѣть такую долю вліянія на образованіе въ Россіи, какую до него немногіе имѣли—незабвеннаго Т. Н. Грановскаго. Грановскій называлъ себя ученикомъ Станкевича, конечно не въ смыслѣ добытой отъ него эрудиціи: въ этомъ, по общему приговору, онъ былъ самъ богатъ и въ помощи товарищей не нуждался; но ученикомъ Станкевича былъ онъ въ доблестной наукѣ сбереженія души, воспитанія воли, неослабнаго бодрствованія въ благихъ помыслахъ. Еслибъ мы не имѣли сознанія самого Грановскаго, то могли бы *угадать* тѣсную связь, соединявшую его съ другомъ молодости. Никто такъ полно не сохранилъ на себѣ нравственнаго сходства со Станкевичемъ въ поступкахъ, направленіи, отчасти даже въ способѣ выраженія своихъ мыслей, какъ Грановскій. Станкевичъ отпечаталъ на немъ неизгладимо лучшую часть души своей, духовный образъ свой. Иною дорогою шла третья замѣчательная личность изъ кружка Станкевича, хорошо знакомая современникамъ нашимъ: мы говоримъ о В. Г. Бѣлинскомъ. Она посвятила себя на борьбу со всѣмъ, что ей казалось обманомъ, лицемеріемъ, косностию и неоправданнымъ самодовольствомъ въ литературѣ и въ обществѣ. Надѣленная пылкимъ, огненнымъ характеромъ, она издержала на эту борьбу всю себя до плоти и крови своей и умерла, оставивъ послѣ себя столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращеніе отъ всякой лжи, претензій и призрака, столь необходимое для литературной борьбы, извѣстный критикъ нашъ воспиталъ и укрѣпилъ въ обществѣ человека, который отвергалъ ихъ принципомъ собственного своего существа и не щадилъ какъ въ себѣ, такъ и въ самыхъ близкихъ людяхъ. Затѣмъ пропускаетъ еще имена многихъ лицъ, болѣе или менѣе стремившихся по пути, который начали они вѣстѣ съ своими товарищами: скажемъ однако, что между нашими современниками встрѣчается не мало людей, уже пережившихъ пору молодости, но одушевленныхъ пылкими жаромъ къ общей пользѣ и пренебреженію: большая часть ихъ дѣлала со Станкевичемъ первую травму жизни, первый пылъ благородныхъ стремленій. Есть много и такихъ, которые въ тени, въ незаметности, но тѣмъ болѣе по-

итномъ кругу дѣйствія сѣютъ благодатныя сѣмена, собранныя общими силами въ эпоху ихъ молодости, при помощи человѣка, неумолимо заботившагося, какъ увидимъ, о сборѣ и уходѣ этихъ сѣмянъ — будущей пищи поколѣній. Нельзя сказать, разумѣется, чтобы се, прикасавшееся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяніемъ его образа мыслей, или было проникнуто духомъ его строгаго направленія: иные неспособны были вполне усвоить примѣра его, у другихъ жизнь и нерадѣніе заглушили благодатныя зерна; но какъ бы, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, *выше себя*. А не есть ли это настоящая и важнѣйшая задача всякаго дѣятеля, не есть ли это признаніе философа и моралиста, и благороднѣйшая цѣль, на которую человѣкъ долженъ употреблять всѣ силы и способности, данныя ему природою?

И когда оглянешься назадъ, къ ненаписанной еще исторіи нашего общества, то съ изумленіемъ видишь еще нѣсколько другихъ именъ, принадлежавшихъ молодымъ людямъ, подобно Станкевичу пошеченнымъ преждевременною смертію и бывшимъ, подобно ему, произвѣстниками русскаго образованія. Они завѣщали другимъ дѣло, которое сами только предчувствовали. Такимъ былъ Андрей Турчневъ, другъ Жуковскаго и Батюшкова, для поколѣнія, предшествовавшаго 1812 году; такимъ былъ Веневитиновъ для поколѣнія, принадлежавшаго 1825 г., и такимъ былъ Станкевичъ для молодыхъ людей между 1835 и 1840 годами. Мы уже слышали еще нѣсколько именъ, игравшихъ одинаковую роль съ этими ранними эфемерами въ другихъ кругахъ нашего общества и испытавшихъ одинаковую съ ними участь: они быстро потухли, прогорѣвъ яркимъ огнемъ на небосклонѣ и освѣтивъ далекое пространство подъ бой. Подвергаясь упреку въ благодушномъ суевѣріи, можно подумать, изучая ихъ, что юныя силы, живущія въ нашемъ народѣ, по эфемерамъ выбрасываютъ часть собственнаго, излишняго богатства средствомъ этихъ пышныхъ и скоропреходящихъ организацій. Какъ бы то ни было, но фактъ имѣетъ самъ по себѣ важное значеніе и еще важнѣйшее по той ближайшей нравственной пользѣ, какая можетъ быть извлечена изъ него. Само теченіе нашей жизни представляетъ отъ времени до времени, въ лицѣ избранныхъ людей, голый и удивительный примѣръ для подражанія каждому молодому поколѣнію, начинающему общественную жизнь. Влестящіе идеалы отъ у насъ передъ всякою новою отраслію отечественныхъ дѣлаемыхъ какъ образцы, къ которымъ должна стремиться молодость и того, чтобы найти все, чего ожидаетъ отъ нея общество и обрѣтается въ ней самой. Станкевичъ принадлежалъ къ числу этихъ

благотворныхъ указателей. Вотъ почему мы желали бы отдать ренisku Станкевича, которую разбираемъ и самую память его покровительство современнаго поколѣнія, того, которое не у способности распознавать и уважать въ прошлыхъ поколѣніяхъ дей съ высокими нравственными задачами.

## I.

### ДѢТСТВО СТАНКЕВИЧА.

Николай Владиміровичъ Станкевичъ, какъ уже сказано, | ся въ 1813 году, въ деревнѣ своего отца Воронежской гус | Острогожскаго уѣзда. По первымъ годамъ его молодости | нельзя было угадать въ немъ человѣка съ нѣжною, хворомъ | низаціей. Это былъ мальчикъ веселый, здоровый и необычайнъ | вый; деревенскій просторъ и относительная свобода, данная | ку отцомъ его, развили въ немъ рѣзвость до того, что онъ | лася для своихъ нянюшекъ, дядекъ и даже для посѣтителе | почти тѣмъ, что французы называютъ «enfant terrible». | Станкевича былъ высокаго практическаго ума, здраваго смъ | благородныхъ правилъ. Достаточно сказать, что, несмотря | многосложныя занятія, преимущественно основанныя на финан | оборотахъ,—родительская власть чувствовалась въ дому его н | гнеть, а только какъ ограниченіе воли, еще необузданной | шленіемъ, и почти всегда какъ ограниченіе разумное и смъ | тельное. Вспомнимъ эпоху, къ которой пришлось дѣтство | Станкевича, и мы поймемъ характеръ и достоинство человѣка | понимавшаго въ то время свои обязанности семьянина. За то и | Станкевичъ росъ *честно*, если можно такъ выразиться: — о | венное слѣдствіе честнаго обхожденія съ дѣтми. Мелкихъ | ковъ, скрытности, притворства, лжи и лицемерія, онъ никогъ | зналъ, благодаря своему воспитанію, которое не считало на | иногда даже и очень бойкія, тяжкія, неоплатимыя преступлен | Молодой Станкевичъ часто подвергался какимъ-то пароксизмамъ | вости. Рассказываютъ, что, стоя однажды на балконѣ дереве | дома, онъ увидалъ внизу отца, который разговаривалъ на | цѣ съ почтеннымъ купцомъ, обладавшимъ лысиной необыкновенъ | размѣра; лысина эта тотчасъ же привлекла вниманіе молодого | кевича, и онъ никакъ не могъ воспротивиться искушенію п | на нее сверху, что и исполнилъ къ ужасу купца и къ совъ



му недоумѣнію родныхъ. Въ другой разъ рѣзвость Станкевича шла причиной пожара, истребившаго до тла отцовскую деревню, и Удеревку, которая такъ часто приводится въ его перепискѣ. Будучи семи лѣтъ, онъ досталъ гдѣ-то ружье, пробрался на чердакъ дома и выстрѣлилъ въ кровлю. Кровля загорѣлась, и вскорѣ терзъ разнесъ пламя по всей деревнѣ. Цѣлый день не могли отыскать мальчика: онъ убѣжалъ въ сосѣднюю рощу и собирался тамъ воспользоваться на житье, какъ дикій человѣкъ.

Естественно, что Станкевичъ сдѣлался страстнымъ охотникомъ, какъ только получилъ въ полное свое владѣніе ружье и собаку. Хотя была продолженіемъ его прогулокъ и той родственной связи съ природой, которая началась съ младенчества: охота только дала ему болѣе опредѣленную цѣль. Съ тѣхъ поръ, и до конца жизни, въ былъ охотниковъ ревностнымъ, неутомимымъ, упорнымъ. Дни, едѣли проводилъ онъ на охотѣ и возвращался домой съ запасомъ анекдотовъ, разсказовъ о встрѣчахъ, и юмористическихъ наблюденій. Главныя собаки не отходили отъ него въ деревнѣ. Съ одною изъ нихъ онъ жилъ душа въ душу; Діана спала на его постели и чаше, свободно раскинувшись, стелкивала съ нея хозяина. По природной веселости и врожденному юмору, сбереженными имъ тоже до конца жизни, Станкевичъ иногда вдругъ отрывался отъ занятій и динъ съ глазу на глазъ начиналъ бесѣду съ любимой собакой. Что вы задумались, Діана? что за меланхолія такая? не хотите-ли унаты? чего хотите? щецъ, кашки, хлѣбца, или, можетъ, сладенькихъ косточекъ? Да отвѣчайте же!» и такъ далѣе. Весной это или предостереженія отъ опасностей любви, вѣроломства кавалеровъ, губельнаго послѣдствія страстей и проч. Нѣсколько разъ виѣли, какъ, возвращаясь съ охоты, утомленный и распаленный зноемъ, танкевичъ, во всемъ охотничьемъ костюмѣ и въ сапогахъ, бросился въ рѣку, бѣжавшую подъ горой, на которой стоялъ деревенскій домъ. Верхомъ онъ также ѣздилъ много и хорошо. Молодость его была бодрая, свѣжая, здоровая — естественное слѣдствіе изъогоразумной свободы, предоставленной ей.

Десяти лѣтъ Станкевичъ поступилъ въ Острогожское уѣздное училище и безъ всякаго изумленія очутился между дѣтьми всѣхъ классовъ, начиная съ бѣднаго чиновничьяго до мѣщанскаго и цесового: онъ и прежде въ деревнѣ, по системѣ, заведенной въ домѣ, былъ только сверстникомъ всѣхъ другихъ мальчиковъ и весьма чаше ихъ товарищемъ. Пребываніе въ уѣздномъ училищѣ не оставило безъ послѣдствій: тамъ привыкъ онъ къ общительности, отичавшей его позднѣе, и къ понятію о достоинствѣ и самостоятельности каждаго человѣка. Можетъ-быть, тутъ же получили первую

пищу насмѣшливость, сатирическая подмѣтка крупной черты въ характерѣ другого, смѣтливость, способность передразнить товарища и самый юморъ Станкевича—всѣ тѣ качества, которыя, будучи послѣ смягчены образованіемъ, очищены и освѣщены умною веселостію, составляли прелесть его характера и обаяніе его бесѣды. Станкевичъ бывалъ въ воронежскомъ театрѣ, любилъ его, какъ всѣ дѣти, и рано открылъ въ себѣ замѣчательныя актерскія способности. Возвращаясь на зимнія и лѣтнія вакаціи въ деревню, онъ тамъ устраивалъ, съ помощью братьевъ, сестеръ и сосѣдей, домашніе спектакли, гдѣ повторялъ пьесы, случайно видѣнныя имъ, и гдѣ былъ всегда главнымъ и лучшимъ актеромъ. Заставлялъ другихъ радоваться, приносить имъ, если не пользу (это было еще рано), то по крайней мѣрѣ забаву и удовольствіе — было его страстію. Куда направлялъ онъ иногда врожденный свой юморъ, могутъ намъ указать двѣ черты изъ его жизни, относящіяся уже къ эпохѣ его зрѣлой молодости. Встрѣтивъ гдѣ-то у сосѣдей ребенка, имѣвшаго какой-то недостатокъ въ произношеніи, Станкевичъ каждый день проводилъ съ нимъ по нѣсколькимъ часамъ, посадивъ его къ себѣ на колѣни, забавляя его рассказами, показывая даже, какъ можно сообщить движеніе своему уху, и постоянно исправляя природный порокъ его, въ чемъ подѣ конецъ и успѣлъ совершенно. Въ 1836 году, Станкевичъ просиживалъ всѣ ночи у больной сестры, забавляя ее неистощимыми шутками, анекдотами и выходками, съ цѣлью развлечь и удалить отъ нея черныя мысли и грустныя предчувствія. Она обязана была ему выздоровленіемъ, столько же по крайней мѣрѣ, сколько и докторамъ, а между тѣмъ, въ эту эпоху, Станкевичъ былъ весьма далекъ отъ ровнаго, спокойнаго настроенія духа, такъ нужнаго для искренней веселости.

Двѣнадцать лѣтъ, именно въ 1825 г., Станкевича перевезли въ Воронежъ и помѣстили въ Благородный пансіонъ, основанный Павломъ Кондратьевичемъ Оеодоровымъ. Всѣ преподаватели пансіона были изъ гимназій, гдѣ и самъ основатель его занималъ должность учителя математики; пансіонъ, наравнѣ съ гимназіей, приготовлялъ молодыхъ людей къ поступленію въ университеты. Говорить ли о четырехлѣтнемъ пребываніи молодого Станкевича подѣ надзоромъ весьма умнаго директора, какимъ былъ П. К. Оеодоровъ, скончавшійся еще недавно цензоромъ въ Москвѣ? Директоръ обладалъ искусствомъ управлять дѣтьми безъ насильственныхъ средствъ, облегчающихъ управленіе въ ущербъ характеру и нравственности какъ подчиненныхъ, такъ и начальниковъ. Всего болѣе поражала воспитанниковъ его стойкость и сильно развитой *point d'honneur*, не допускавшій придирокъ и легкомысленныхъ замѣчаній, откуда бы они

ни выходили. Затѣмъ, обращеніе его съ дѣтьми имѣло въ себѣ что-то торжественное и эффектное, дѣйствовавшее благотворно на молодые умы. Онъ казался глубоко огорченнымъ, разстроеннымъ и даже больнымъ, когда приходилось разбирать школьническія продѣлки и изрекать осужденіе; онъ умѣлъ также затрогивать самолюбіе мальчиковъ, стыдить ихъ безъ униженія, употребляя иронию, къ которой дѣти, можетъ-быть, еще чувствительнѣе, чѣмъ взрослые. Все это произвело сильное впечатлѣніе на Станкевича, который у директора своего учился даже и математикѣ весьма порядочно. Вообще Станкевичъ бережно сохранялъ память о наставникѣ, смущался впоследствии при неблагопріятныхъ слухахъ о немъ и всячески старался спасти свое уваженіе къ бывшему учителю: мы увидимъ далѣе, что люди, которыхъ онъ считалъ своими образователями, были въ его глазахъ благодѣтели, не подлежащіе личному его суду ни въ какомъ случаѣ.

Но чему собственно выучился Станкевичъ въ пансіонѣ? Онъ прочелъ всѣхъ русскихъ классиковъ и, вѣроятно, вытвердилъ на память всѣ бывшія тогда въ ходу «руководства». Даже по выходѣ изъ университета, Станкевичъ сознавался еще въ недостаткѣ многихъ свѣдѣній, входящихъ въ составъ общаго образованія; а по выходѣ изъ пансіона, онъ зналъ рѣшительно только то, что знали его учителя. Скудный запасъ этотъ никакъ не можетъ остановить наше вниманіе. Мы считаемъ гораздо важнѣе всего этого три нравственныхъ явленія, возникшія посреди обычнаго теченія пансіонской жизни и получившія впоследствии у Станкевича весьма важное развитіе, именно: признаки глубокой религіозности, запавшей въ душу его и уже никогда не покидавшей ея; признаки нѣжнаго сердца, рано открывшагося для ощущеній дружбы и любви; наконецъ, признаки неутолимой жажды къ познѣи, обнаружившейся страстію къ стихотворству. Разумѣется, послѣднее было въ сущности весьма слабымъ выраженіемъ его впечатлѣній, но самая наклонность опредѣляетъ уже характеръ Станкевича, способъ будущаго пониманія предметовъ и родъ красокъ, подѣ которыми должна была ему представиться жизнь съ первой встрѣчи.

Читатель увидитъ далѣе степени, по которымъ шло религіозное настроеніе духа въ Станкевичѣ: первоначальный корень религіозныхъ убѣжденій не иссыхалъ отъ многообразныхъ вѣтвей, пущенныхъ имъ впоследствии, и никогда не терялъ производительной силы вообще. Ограничимся здѣсь упоминаніемъ о той потребности симпатіи, которая доказываетъ раннюю полноту чувствъ и которая пришла къ Станкевичу еще въ дѣтствѣ. До самаго отъѣзда своего за границу, въ 1837 году, онъ сберегалъ въ бумагахъ своихъ цвѣткъ,

нарисованный не твердою женскою рукою, съ подписью: «К. . . .» Живописецъ была дѣвочка, съ которою Станкевичъ танцевалъ на такъ-называемыхъ актахъ пансіона и которую встрѣчалъ въ женскомъ учебномъ заведеніи Воронежа, посѣщая сестру свою, которая тамъ воспитывалась. Дѣтская привязанность эта была, однако же, такого свойства, что глубоко врѣзалась въ душу обоихъ и съ трудомъ поддавалась уничтожающему дѣйствію времени. Еще въ 1843 году, наканунѣ Свѣтлаго праздника, Станкевичъ вспоминалъ объ этой привязанности, какъ о самомъ чистомъ и дорогомъ подаркѣ своей первой молодости. И теперь, въ глуши степной деревни, можетъ-быть, есть женское существо, съ умиленіемъ обращающее мысль къ той порѣ первыхъ волненій чувства. . . . Поэтический элементъ, вложенный природою въ душу Станкевича, бросалъ его отъ стихотворства къ музыкѣ, отъ музыки къ театру и отъ театра въ лѣсъ, къ охотѣ. Станкевичъ учился играть на фортепьяно сперва въ Воронежѣ, а потомъ въ Москвѣ у извѣстнаго въ свое время преподавателя музыки и композитора Гребеля. Мы убѣждены, что одно изъ проявленій этого дѣятельнаго элемента, стихотворство, сблизило Станкевича съ Кольцовымъ. Кольцовъ бралъ книги изъ единственной тогда въ Воронежѣ библіотеки, куда часто заходилъ и Станкевичъ; да по разнообразнымъ перекупкамъ и поставкамъ своей фамиліи Кольцовъ бывалъ и въ пансіонѣ. Не надо обладать большою долей фантазіи для предположенія, что ихъ связала тайная страсть къ стихотворству, взаимно открытая другъ у друга. По преимуществамъ образованія, Станкевичъ сдѣлался покровителемъ поэта-торговца, указывалъ ему книги для прочтенія, и нѣсколько позднѣе, уже будучи въ Москвѣ, ввелъ въ кругъ литераторовъ, а наконецъ, въ 1835 году издалъ книжку его стихотвореній, на деньги, собранныя общою подпиской знакомыхъ и пріятелей въ одинъ вечеръ. Въ отношеніи къ таланту между ними, конечно, была значительная разница. Кольцовъ обладалъ даромъ чувствовать въ себѣ и русскую природу, и русскую жизнь, и, можетъ-быть, еще важнѣйшимъ даромъ—находить образы и звуки для цѣльнаго выраженія ихъ. Поэтический элементъ у Станкевича былъ слишкомъ общъ, безразличенъ, философствующаго характера и, въдобавокъ, еще не обрѣталъ настоящаго выраженія, истинной формы. Покуда первый распространялъ по лицу Россіи свою neodолжимо-удекательную пѣснь, второй отказывался (въ 1835 году) отъ поэтической производительности, появивъ въ себѣ отсутствіе средствъ, требуемыхъ ею; но поэтический элементъ отъ этого не былъ потерянъ. Онъ сосредоточился, смѣемъ такъ выразиться, внутри его души, проникъ въ характеръ его, освѣтилъ его мысли, побужденія,

инстинкты, опредѣлили самыя поступки его и даже внѣшнюю форму ихъ: Станкевичъ, благодаря ему, обратился самъ въ полное поэтическое существо, какииъ его видѣли и знали еще многіе живущіе люди, свидѣтельство которыхъ мы только повторяемъ здѣсь.

Пансіонскій курсъ былъ однакоже конченъ, и въ 1830 году Станкевичъ переѣхалъ въ Москву, въ домъ и семейство извѣстнаго профессора Михаила Григорьевича Павлова, откуда и держалъ экзаменъ на поступленіе въ университетъ. М. Г. Павловъ, который тогда еще не содержалъ пансіона, столь извѣстнаго потомъ всей Москвѣ, и къ которому Станкевичъ былъ рекомендованъ бывшимъ своимъ наставникомъ, П. К. Оеодоровымъ, имѣлъ большую долю млінія на направленіе и развитіе Станкевича. Выдержавъ экзаменъ и поступивъ въ словесное (какъ тогда называлось) отдѣленіе университета, Станкевичъ продолжалъ жить у профессора, пользуясь небольшою комнатою въ его домѣ и общимъ столомъ съ его семействомъ. Все это устройство было нарушено появленіемъ холеры въ Москвѣ въ 1830 году. Университетъ былъ на время закрытъ, студенты распушены по домамъ, исключая тѣхъ, которые принимали дѣятельное участіе въ мѣрахъ для прекращенія болѣзни, и только въ январѣ 1831 года возобновились лекціи; въ октябрѣ 1831 г. листокъ «Молвы» (№ 40, 1831) извѣщалъ объ открытіи пансіона М. Г. Павлова на основаніяхъ строго обдуманной системы воспитанія. Обладавшій многостороннимъ знаніемъ, профессоръ уже былъ опытенъ въ этомъ дѣлѣ; онъ нѣсколько лѣтъ сразу имѣлъ подъ надзоромъ своихъ «Влагородный пансіонъ», учрежденный при Московскомъ университетѣ. Объ экзаменахъ въ его новомъ и скоро прославившемся учебномъ заведеніи, Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ присылалъ нѣсколько разъ въ редакцію «Молвы» самыя истинныя отзывы. Станкевичъ продолжалъ почти до конца курса жить въ домѣ Павлова и состоять подъ его нравственнымъ вліяніемъ.

Первые два года пребыванія Станкевича въ Москвѣ (1830—1831) можно отиѣтить только однимъ обстоятельствомъ: Станкевичъ основательно выучился по-нѣмецки и коротко ознакомился съ поэтами Германіи. Обстоятельство, какъ увидимъ сейчасъ, не маловажное по своимъ послѣдствіямъ. Съ какою жаждою припасть онъ къ этому источнику высокихъ впечатлѣній, свидѣствуетъ его переписка; онъ не отходилъ отъ него, если можно такъ выразиться, и образы, созданные великими и даже второстепенными пѣвцами Германіи, носилъ съ собою на лекціи университета, на дружескія бесѣды и въ шумъ свѣта, который начиналъ привлекать его. Уже на второмъ университетскомъ курсѣ мысль юнаго Станкевича была

въ полной зависимости отъ всѣхъ тѣхъ людей, которые и у с въ отечествѣ подчинили умы и стремленія цѣлаго поколѣнія. Отда рождается особенный взглядъ на окружающій міръ: Станкеви судилъ его съ высоты поэтического представленія любимыхъ своихъ творцовъ; отсюда также вытекало и строгое пониманіе жизни и цѣли: онъ раздѣлялъ съ образцами своими благоговѣнное уваженіе къ достоинству человѣка и его призванію. Для Станкевича нѣмкая поэзія не была только родникомъ эстетическихъ впечатлѣній: она сдѣлалась, виѣстѣ съ тѣмъ, мѣриломъ, на которое прикидывалъ онъ всю жизнь и собственное свое нравственное достоинство. Онъ по ней выучился распознавать признаки ничтожества и смѣяться въ явленіяхъ, принимаемыхъ за существенное и необходимое условіе жизни; онъ по ней выучился требовать отъ себя моральнаго усовершенствованія. Теперь трудно и повѣрить, сколько обновляющихъ и исправительныхъ началъ принесла нѣмецкая поэзія молодымъ людямъ 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ дѣятельное отношеніе съ нею. Мечты юности были здѣсь воспитателями сердца и души; любой поэтической образъ — нравственнымъ представленіемъ вдохновенный афоризмъ — обязательнымъ правиломъ для жизни. Пламенный стихъ Шиллера или Гёте хранился, какъ оружіе на бою съ своими и чужими эгоистическими страстями и передавался такъ другимъ. Поэма, романъ, трагедія и лирическое произведеніе служили кодексами для разумнаго устройства своего внутренняго міра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу и его кругу, что поэзія сдѣлалась учительницей ихъ, тѣмъ чѣмъ она была съ перваго появленія своего на свѣтъ.

Но этимъ еще не ограничивалось вліяніе нѣмецкой поэтической литературы: она расширила также пониманіе Станкевича и воздѣйствовала въ дѣятельности всѣхъ умственныхъ его силъ. Въ произведеніи этой литературы свободная фантазія пѣвца безпрестанно касалась философскихъ положеній, часто даже и зарождается она въ область чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, уступаетъ дорогу мысли и, подъ конецъ, сама пропадаетъ въ философской идеѣ, какъ песчинка въ полномъ блескѣ солнца. Легко представить себѣ, какъ должны были дѣйствовать на молодой, пылкій умъ безпрестанные намеки поэзіи, которую онъ изучалъ такою жадностію, и какъ пораженъ былъ онъ особеннымъ родомъ величія, заимствуемаго ею отъ непосредственнаго соучастія мысли. По мѣрѣ чтенія, которое все болѣе и болѣе расширялось, Станкевичъ начиналъ предчувствовать существованіе одного общаго строенія въ литературныхъ дѣятеляхъ Германіи и одного великаго элемента въ ихъ произведеніяхъ, пробѣгающаго невидимую, жи-

тельною струей по всей области творчества. Переписка Станкевича отражает ту мучительную работу исканія общаго начала между наиболѣе яркими, наиболѣе потрясающими мыслями нѣмецкой поэзіи,—работу, которая началась для него со студенческой скамьи. Прибавимъ, что ею же были заняты многіе изъ его товарищесверстниковъ. Чѣмъ смѣлѣе выдавалась мысль изъ среды поэтического образа, тѣмъ напряженнѣе становились усилія отыскать ея полное значеніе и возвести до общаго положенія, которое могло бы сдѣлать ее независимой пояснительницей всѣхъ случаевъ жизни. Попытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполненнымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопредѣленнаго, смутнаго и произвольнаго, какъ легко можно убѣдиться изъ образцовъ, находящихся въ перепискѣ, но это былъ вѣсть съ тѣмъ и ранній искусъ въ философскомъ мышленіи. Поэтическое слово родины Шиллера и Гёте, возвысивъ нравственныя требованія, наполнило самый умъ молодыхъ людей множествомъ вопросовъ, привело его въ неизъяснимое напряженіе и въ глубинѣ ихъ сознанія зажгло первый слабый свѣточъ, который долженъ былъ отъ размышленія, чтенія и науки развиться впоследствии до силы и степени вѣрнаго нравственнаго свѣтила.

Мы не ошибаемся и не преувеличиваемъ, приписывая такъ много въ начальномъ образованіи Станкевича дѣйствию нѣмецкой поэзіи и литературы. Впечатлѣнія, испытанныя имъ тогда, были ему общи со многими изъ его друзей; воспоминанія послѣднихъ служили намъ свидѣтельствомъ и указаніемъ того, что онъ самъ переживалъ въ первые годы своей студенческой эпохи. Еще многіе помнятъ ту почти непрерывную цѣпь эстетическихъ потрясеній, которыя почерпалъ кругъ Станкевича ежечасно изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отражаемаго литературой народа. Общій характеръ, лежащій въ основаніи нѣмецкой поэзіи, постоянно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, проясненной и возвеличенной имъ природы. Вмѣсто одной скромной студенческой жизни своей, они окружены были тысячею жизней, движеніемъ, такъ-сказать, многообразныхъ существованій, казущихся мертвыми и бездушными простому глазу. Они присутствовали при обязательномъ зрѣлищѣ, смыслъ и происхожденіе котораго еще не вполне уразумѣвали, но время пониманія было уже не далеко. Наслаждаться безъ изслѣдованія, безъ вопроса о причинѣ наслажденія, они уже не могли, даже по глубинѣ и силѣ полученныхъ впечатлѣній. Надобно было имѣть много старческой наклонности къ бездушному сибаритизму, чтобы въ виду обильнаго, почти неистощимаго творчества Германіи, не спросить ничего о силѣ, рождающей его, доволь-

ствуясь только одною удовлетворенною потребностію наслажденія. Какъ ни великолѣпно было еще зрѣлище само по себѣ, но остановиться на одной виѣшней красотѣ его, на богатствѣ, пышности и разнообразіи его явленій—не представлялось возможности. Эстетическое наслажденіе *обязываетъ*, какъ и всякое другое. Да еслибы и можно было подозрѣвать у молодого, свѣтлаго и неспорченного чувства нѣчто подобное эгоистическому исканію однихъ раздражительныхъ впечатлѣній, то сущность нѣмецкой поэзіи возвратила бы его къ болѣе строгому и серьезному направленію. Весь необъятный хороводъ жизни, представляемый ею, все-таки зарождался въ человѣкѣ, и первый аккордъ, дававшій ему сигналъ, выходилъ изъ души человѣческой. Въ какой бы неизмѣримый кругъ потомъ онъ развился онъ на глазахъ зрителя, какую бы огромную часть міра онъ захватилъ въ своемъ развитіи, онъ неизбѣжно возвращался къ своему источнику, къ человѣку, и пропадалъ въ душѣ его, видимо составляя съ ней и съ природой, такимъ образомъ, одно неразрывное цѣлое. Единство поэзіи и философскаго воззрѣнія, свойственнаго народу, или послѣдовательно выработаннаго имъ, выражалось при этомъ очевидно. Много однако-жъ протекло времени для Станкевича въ одноиъ предчувствіи этой родственной связи поэзіи и философіи Германіи, но онъ наконецъ пришелъ путемъ искусства къ вопросу: «въ чемъ же состоитъ само ученіе, рождающее созданія такой глубины и такого могущества?» Въ этомъ вопросѣ заключалось все будущее развитіе Станкевича; вопросъ установилъ его наклонности и стремленія и ввелъ его въ германскую науку философіи, которой Станкевичъ уже не извѣнялъ до конца жизни. Разуиѣтся, что съ той поры, какъ представилась ему необходимость изученія системы, или системъ, опредѣлившихъ поэтическое настроеніе нѣмцевъ, кончилось отрочество его. Онъ вступалъ въ юношескій возрастъ, принося съ собою страстную жажду познанія и твердо вѣруя въ возможность безусловной полноты его.

## II.

### (СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ).

Давно было сказано, что цѣль всякаго университетскаго преподаванія не есть созданіе ученыхъ людей, а только возможно полное сообщеніе средствъ высшаго образованія, конечно, виѣсть съ необходимыми нравственными направленіями. Это арсеналъ, гдѣ всякій



оружается по силамъ; но употребленіе оружія и вся добыча, какая ѣ можетъ быть пріобрѣтена, оставляются усиліямъ человека, поощающимъ, какъ извѣстно, иногда цѣлую жизнь его. Надо сказать, что московскій университетъ 1831—1833 годовъ еще далеко отстоялъ отъ послѣдующаго своего развитія, когда благотѣльная мѣра, принятая въ 1828 году (посылка молодыхъ русскихъ рмныхъ за границу для образованія себя къ профессорскому звачу), стала приносить первые свои плоды. Впрочемъ, не мѣшаетъ гѣтить, что университетъ, во всемъ своемъ составѣ, и особенно въ денческой части, какъ будто предчувствовалъ эпоху обновленія, зрѣвшуюся между 1833—35 годами, по мысли просвѣщеннаго нистра и патріотическаго попечителя московскаго учебнаго округа, мфовъ: С. О. Уварова и С. Г. Строгонова. Съ 1831 оказыва-ся въ учащихся признаки пробужденія высшихъ интересовъ и но-й жизни. Правда, поколѣніе буйныхъ студентовъ вмѣстѣ съ по-лѣніемъ преподавателей, занимавшихся построеніемъ *xpиек* и каждо-цнымъ повтореніемъ одной отсталой теоріи, еще не совсѣмъ мино-ю, но уже не ему принадлежитъ большинство. Въ противополож-сть малочисленному кругу слушателей, одушевленныхъ одною мн-ію—высидѣть себя, такъ или иначе, аттестатъ и степень, обра-ется другой кругъ, проникнутый любовью и уваженіемъ къ са-му познанію. Не довольствуясь однимъ формальнымъ исполненіемъ ихъ обязанностей, онѣ поставляютъ себя задачей — дополненіе фиціальнаго преподаванія, бодро продолжая развитіе основаній, лученныхъ съ каеедры, и вводя въ сферу своихъ занятій пред-ги, еще не тронутые въ аудиторіи. Вѣра въ науку, тоска по ней молодое предчувствіе истины помогали тутъ неопытности. Въ из-стные годы и въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, люди, при воз-жденной страсти къ познанію, столько же учатся другъ отъ друга, алько и отъ учителя. Тогда-то образуется особенный родъ взаим-го и весьма широкаго воспитанія, гдѣ одушевленная передача от-ытій, сдѣланныхъ однимъ, толки о результатахъ, къ которымъ ишелъ другой, открываютъ новые пути и новыя соображенія для ихъ. Правда, при такомъ общемъ трудѣ, систематическое образо-ніе проигрываетъ именно настолько, насколько выигрываютъ и ошряются личныя способности каждаго къ занятіямъ, къ догадкѣ къ обсужденію предмета; но не надо забывать, что тутъ не могло ть выбора. Этими бодрими характеромъ, идущимъ на встрѣчу ихъ вопросовъ и отыскивающимъ ихъ вездѣ, гдѣ есть случай, ичался именно кругъ Станкевича въ студенческую эпоху 1832 — 34 годовъ. Онѣ отражается и въ его перепискѣ.

Мы весьма далеки отъ намѣренія писать исторію университета,

по поводу одного изъ его многочисленныхъ воспитанниковъ, но можемъ не сказать, что въ словесномъ отдѣленіи его, куда пошелъ Станкевичъ съ самаго начала, находились еще люди, подживавшіе достоинство своихъ кафедръ съ честію. Таковъ бы М. Т. Каченовскій, преподававшій въ словесномъ отдѣленіи рускую исторію (1832 по 1834), М. П. Погодинъ, читавшій тамъ всеобщую исторію (съ 1833 года), С. П. Шевыревъ, открывъ въ 1834 лекціи исторіи поэзіи и русской словесности и т. д. Каждый изъ нихъ или опирался на мысль для защиты своего учения или вводилъ ее, какъ дополненіе къ сообщаемымъ свѣдѣніямъ, и даже какъ окраску данныхъ въ извѣстный цвѣтъ. Но мысль, какою бы свойства она ни была, составляетъ именно ту приправу которой особенно ищетъ пылливый умъ молодости и съ помощью которой онъ легко обращаетъ въ свое достояніе многочисленные разнообразныя факты. Особенно это было вѣрно по отношенію свѣдѣнію, бодрому кругу юношей, образовавшемуся въ средѣ словеснаго отдѣленія университета. Вотъ почему люди, перечисленные нами, имѣли въ ту эпоху свою долю вліянія, и вліянія весьма сильныя на умы слушателей, что также, вмѣстѣ со многими другими подробностями студенческой жизни, отражается въ перепискѣ Станкевича.

Но мы знаемъ, что у Станкевича, кромѣ общихъ вопросовъ науки, были еще свои тайныя любимыя вопросы эстетическаго разрѣшенія которыхъ онъ искалъ всѣми силами и гдѣ только могъ. Первый человѣкъ, прямо отвѣтившій на нихъ, былъ Н. И. Надеждинъ, которому поэтому и принадлежитъ весьма значительная роль въ первоначальномъ развитіи Станкевича. Въ 1832 году Н. Надеждинъ, тогда еще молодой профессоръ, открылъ свои лекціи въ университетѣ теоріей изящныхъ искусствъ, въ 1833 перешелъ къ исторіи искусствъ, излагаемой по памятникамъ, а въ 1834 окончилъ логикой, почувствовавъ, по собственному сознанію, невозможность правильнаго изложенія законовъ искусства, безъ предварительнаго ознакомленія слушателей съ законами самой мысли. Широкая начитанность профессора и замѣчательный даръ красноречія дѣлали его почти неистощимымъ. Онъ проводилъ со своими слушателями вмѣсто одного часа, положеннаго для каждой лекціи, часто два, и долго еще послѣ обычнаго звонка текла его умная плодovitая рѣчь, никогда не утомлявшая аудиторію. Вообще, имѣлъ сходство съ преподавателями извѣстнаго парижскаго Collège de France (французской коллегіи), гдѣ преимущественно царствуютъ импровизація и нѣкоторый дилеттантизмъ, допускаемые какъ противъдѣйствіе строгости и сухости Сорбоннскаго преподаванія. Въ сожа-

ни, намъ ничего не осталось отъ его курса. Но здѣсь Станкевичъ впервые встрѣтился съ отголоскомъ Шеллингова ученія о высшей истинической способности, сознающей въ себѣ единство съ общимъ мировымъ разумомъ и открывающей степени проявленія его въ природѣ и искусствѣ.

Намъ извѣстно изъ воспоминаній тогдашнихъ воспитанниковъ университета, что студенты словеснаго отдѣленія двухъ курсовъ 1833 и 1834 годовъ, слушали лекціи всѣхъ вѣдѣній, въ одной обширной залѣ. Лекціи смѣнялись одна другою безъ всякаго промежутка, что продолжалось иногда часовъ по шести сряду. Вниманіе слушателей, естественно, было утомлено, но никогда не измѣняло Надеждину, какъ только наступала его очередь. Онъ могъ даже насиловать вниманіе своихъ слушателей, какъ мы видѣли. Очень естественно также, что это долгое пребываніе студентовъ во вѣдѣніяхъ, и на одномъ мѣстѣ, давало пищу и просторъ наблюдательности, остроумію, а иногда и забавнымъ выходкамъ, служившимъ какъ-бы разсѣяніемъ для этого многочисленнаго собранія молодыхъ людей. Случалось притомъ, и довольно часто, что значительная часть аудиторіи словеснаго отдѣленія спускалась однимъ этажемъ ниже, въ скромную залу физико-математическаго, и наполняла ее биткомъ. Это было при лекціяхъ М. Г. Павлова, читавшаго сперва физику, потомъ теорію сельскаго хозяйства, и въ обоихъ случаяхъ распространявшаго границы своихъ предметовъ до включенія въ нихъ цѣлаго философскаго созерцанія. Здѣсь однакожъ мы имѣемъ свидѣтельство о сущности преподаванія, благодаря книгѣ, изданной профессоромъ въ 1833 году, «Основанія Физики» (Москва), хотя учебная книга, въ обязанность которой вѣнчается сжатость и строгая система, разумеется, не можетъ передать всѣхъ развитій и поясненій, къ какимъ способно вообще живое слово человѣка. Конецъ первой ея части съ заглавіемъ: «О веществѣ» и, преимущественно, глава II: «Вещество само въ себѣ» (стр. 281—302), заключаютъ космогоническую теорію, основанную на гипотезѣ чисто философскаго свойства и развитую съ замѣчательною послѣдовательностію, съ высокими діалектическимъ талантомъ. Гипотеза вытекаетъ изъ философскаго положенія о сходствѣ или тождествѣ безграничной свободы съ хаосомъ, небытіемъ, — этомъ тождествѣ, которое было разорвано благимъ, всемогущимъ: «да будетъ». Отвлеченное понятіе, силлогизмы и послыш котораго образуются изъ силъ и стихій природы, преобладаетъ надъ всею теоріею, а объясненіе самаго вещества, какъ взаимнаго дѣйствія свѣта и тяжести, тоже превращенныхъ въ понятія, ясно указываютъ профессору мѣсто между европейскими «Natur-Philosophen» — философами природы, которыхъ породила система молодости

**Шоляпинъ.** Такимъ образомъ, Станкевичъ имѣлъ уже намекъ на значеніе искусства, какъ части общей, міровой жизни; теперь онъ получилъ понятіе и о блестящей роли, какую современное ему философское ученіе предоставляло природѣ въ царствѣ духа или идеи, что было все равно.

Прежде говорили мы, что Станкевичъ жилъ въ квартирѣ Павлова, часто раздѣляя съ нимъ скромную трапезу; онъ не рѣдко имѣлъ случай бесѣдовать у него и съ Надеждинымъ; но сколько послѣдній былъ общителенъ и готовъ на отвѣтъ при всякомъ запросѣ столько первый не любилъ дѣлиться своею мыслію и сообщалъ ей только въ ученой формѣ лекцій, хотя оба сходились по разнымъ путямъ къ одному воззрѣнію. Павловъ не охотно отвѣчалъ и на личные вопросы Станкевича и старался скорѣе уклониться отъ нихъ, чѣмъ дать имъ послѣднее удовольствіе. Станкевичъ, какъ и всѣ другіе, долженъ былъ ограничиться его преподаваніемъ і объясненіемъ прочитаннаго; но первый толчекъ молодому соображенію былъ уже данъ, любознательность возбуждена, и весьма скорѣ Станкевичъ добрался до самыхъ источниковъ, откуда истекли слова, выраженія его воззрѣнія у обоихъ профессоровъ.

[illegible]

отражался въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ болѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей — высвободить въ себѣ самую божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, мечтательнаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумаго существованія.

Не далѣе 1834 года, человекъ, понимавшій философскія ученія преимущественно съ ихъ моральной стороны, В. Г. Бѣлинскій, выразилъ воззрѣніе всего круга Станкевича въ статьѣ, оставившей во себѣ сильное впечатлѣніе. Она была напечатана въ «Молві» въ 1834 году (съ № 38 по № 52) подъ заглавіемъ: «Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ». Пусть читатель обратитъ вниманіе на начало этой статьи, гдѣ весь міръ, а стало-быть и искусство, опредѣляются, какъ отраженіе одной безконечной идеи, равно живущей и въ бѣгѣ кометы, и въ слезѣ ребенка, и въ произведеніи художника; пусть прочтетъ онъ нравственныя требованія критика, изложенныя въ яркомъ описаніи двухъ дорогъ, свѣтлой и позорной, и различныхъ цѣлей, къ которымъ онъ приводятъ; пусть остановится онъ на опредѣленіи способовъ соединенія съ безконечною идеей посредствомъ отреченія отъ своего я, борьбы со всѣмъ, что затемняетъ лишь идеи и неограниченной любви... Тутъ высказана сущность убѣжденій, царствовавшихъ въ кругѣ Станкевича, и высказана съ тою твердой постановкой правилъ, которая отличала всегда автора статьи. Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что изъ воззрѣнія, общаго автору со Станкевичемъ, родились всѣ строгія нравственныя требованія статьи отъ литературныхъ дѣятелей, развитыя еще болѣе впоследствии. Она составляетъ въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оцѣнка *направленій* и возникаетъ побужденіе смотрѣть на произведенія искусства, какъ на провозвѣстниковъ высшаго нравственнаго порядка <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Ученіе, занявшее весь умъ Станкевича и оказавшее самую совѣсть его, сообщено имъ было многими изъ своихъ друзей, какъ на примѣръ Колюцову, который посвятилъ этому предмету одну изъ своихъ думъ. Самъ Станкевичъ произвелъ стихотвореніе, наглядное тѣмъ же кругомъ идей. Оно относится къ 1833 году, и мы приводимъ его здѣсь, какъ поясненіе тогдашнихъ его мыслей и представленій:

„Подвигъ жизни“.

Когда любовь и жажда знаній  
Еще горять въ душѣ твоей,  
Бѣги отъ суетныхъ желаній,  
Отъ убивающихъ людей.

Еще многіе помнятъ, какъ Станкевичъ, въ эту эпоху с развитіа, суетливо отыскивалъ книги философскаго содера старался учредить порядокъ въ чтеніи и обращался за совѣтъ къ опытнымъ людямъ, знающимъ съ историческимъ ходомъ гескаго мысленія. Все это было, конечно, необходимо для уас теоріи, открывшей съ перваго раза далекія перспективы во стороны, но неизслѣдованной въ самомъ механизмѣ ея. Онъ сѣ о дѣятель по великолѣпію его произведеній, но самого дѣя еще не зналъ. Было, однакожъ, и другое побужденіе къ страст неутолимому изученію философскихъ истинъ, кромя того рода слаженія и поученія, которыя въ нихъ почерпаются. Станкевичъ искалъ еще въ философіи опоры своему живому религіозному ству. Несмотря на отвѣты, уже полученные въ теоріи и спосо удовлетворить требованіямъ поэтически-настроеннаго сердца, еще думалъ обрѣсть въ ней полный миръ и спокойствіе совѣсти съ полнымъ познаніемъ. Тогда же набросалъ онъ сти «Моя Метафизика», гдѣ вводилъ въ положенія любимаго с ученія—особенное понятіе: «*чувство всеобщей идеи*», и по ствомъ его старался узаконить всѣ надежды сердца, которыми дорожилъ, стремленія, предчувствія и радости его. Надо ска что это настроеніе, жаждавшее утвердить на мысли и разумѣ самыя тонкія психическія ощущенія человѣка, было у Станкевича въ ту пору общее со всѣми членами его круга, безъ исключенія. Когда, въ 1835 году, вошелъ въ этотъ кругъ человѣкъ, на дѣйствіи въ высшей степени способностями къ философскимъ занятіямъ, то стремленіе это получило еще большее развитіе.

Что касается до Станкевича, то можно сказать съ достовѣрностью:

---

Себѣ всегда предъ всѣми вѣренъ,  
Иди, люби и не страшись!  
Пускай твой путь земной измѣренъ —  
Съ *непомогающимъ* дружишь!

Пускай гоненье свѣта взмететь  
Звѣздой злосчастья надъ тобой,  
И миръ тебя возненавидитъ.  
Отричь, попри его стой!

Онъ для тебя погибнетъ долгий,  
Но спасена душа твоя!  
Ты притечешь самодовольный  
Къ предѣламъ страшныхъ бытій.

Тогда свершится подвигъ трудный:  
Перешагнешь предѣлъ земной —  
И станешь житію повсюдой —  
И все наполнится тобой.

всегдашнемъ присутствіи этой двойной цѣли во всѣхъ его дѣлахъ. Почувствовать скорѣ недостатокъ свѣдѣній о самихъ себѣ, каковыя слѣдуетъ мыслящая способность человѣка, онъ шелъ къ Канту, и въ томъ, что знаменитый философъ относитъ этическую философію, видѣлъ оправданіе и узаконеніе всѣхъ желаній и стремленій сердца, которые такъ знакомы были молодому Станкевичу. Когда наступила очередь Фихте, Станкевичъ, какъ и прежде, въ самомъ ученіи о *чистомъ мышленіи*, принятомъ за достовѣрную истину и за единую сущность міра, подозрѣвалъ, способныя отвѣчать требованіямъ его духовной и поэтической природы. Даже гораздо позднѣе, когда въ 1838—39 находясь въ Берлинѣ, Станкевичъ приступилъ, подъ руководствомъ Вердера, къ изученію логики Гегеля, которая имѣла намереніе установить непреложную форму для разума и съ тѣмъ показать непреложное содержаніе, живущее въ немъ, даже и тогда не покидало его тайное стремленіе, ждавшее весь философскій путь его съ самаго начала. Объ этихъ юношески-теплыхъ и благородныхъ ожиданіяхъ и надеждахъ, будемъ говорить, а теперь замѣтимъ, что искра, зароненная этими чисто эстетическаго свойства, разгорѣлась, какъ и до поглощенія въ неуспѣшномъ изслѣдованіи цѣлаго и высшаго періода нѣмецкой философіи.

Въ всего сказаннаго легко угадать, что строгость жизненной задачи такъ рано понятой, и высота нравственныхъ требованій были, еще въ студенческую эпоху жизни, положить особенный отпечатокъ на самого Станкевича и сообщить фязіономіи его мыслящее и чувствующее выраженіе. Такъ дѣйствительно и было.

Переписку Станкевича нѣсколько разъ встрѣчается завѣреніе, что онъ живетъ для дружбы и искусства, и не видитъ возможности иной жизни для себя. Подъ именемъ дружбы слѣдуетъ понимать у него, какъ онъ самъ потрудился объяснить, столько потребность привязанности къ людямъ, надѣленнымъ высокими душевными качествами и привлекательнымъ по характеру, сколько и чувство, жаждущее симпатіи и ласковаго участія. Потребность въ другому все богатство собственнаго сердца, всю собственную способность къ любви и доброжелательству, — не оставляла его. Часто и часто ожидаетъ онъ въ это время появленія некоего существа, которое отгадаетъ присутствіе этого обильнаго источника симпатіи и придетъ утолить въ немъ потребность взаимно-счастія. Часто также, не находя вокругъ себя ни малѣйшаго приближенія, возвѣщающихъ приближеніе подобнаго существа, онъ страдаетъ съ тоской и жалобой къ своей участи и считаетъ себя

недостойнымъ принять дорогого гостя. Онъ думаетъ, что судьба не даромъ отказываетъ ему въ этомъ благѣ... Въ одномъ письмѣ онъ чрезвычайно добродушно сознается, что съ самаго дѣтства, каждый разъ, какъ ему случалось ѣхать на балъ или въ собраніе, онъ ожидалъ какой-нибудь важной катастрофы въ жизни, всего болѣе случайной встрѣчи съ существомъ, которое наполнить собою всю душу его. Иногда, по извѣстному обману чувства, онъ насильно создаетъ себѣ желанный образъ, навязываетъ на человѣка роль, не совсѣмъ сходную съ его характеромъ, и въ жаркомъ дню иранбѣ изливаетъ передъ созданіемъ собственной фантазіи излишекъ ощущеній, которыми было исполнено его необычайно любящее, нѣжное и благородное сердце. Нѣкоторые изъ знакомыхъ ему женщинъ, угадывая инстинктомъ своего пола одну сторону въ характерѣ Станкевича, называли его *небеснымъ*. Онъ смѣялся безпоощадно надъ прозвищемъ, которое могло бы быть даже оскорбительно, еслибы не было крайне добродушно. Подвиги жизни, труды и наслажденія ея, Станкевичъ считалъ настоящимъ удѣломъ, земною долей человѣка, а тайную игру его страстей и ощущеній — только скрытнымъ дѣтелемъ, который сообщаетъ цвѣтъ и форму его явному, земному существованію. Этихъ умѣрялъ онъ и въ самомъ себѣ расположеніе къ мечтательному представленію жизни.

О важнѣйшихъ лицахъ, составлявшихъ кругъ Станкевича, мы упомянемъ далѣе съ нѣкоторою подробностію, а теперь рѣшаемся представить общую характеристику его знакомыхъ и пріятелей, сохраняя то разнообразіе, какое отличало ихъ самихъ относительно понятій и нравственныхъ требованій.

Здѣсь, съ самаго начала останавливаютъ насъ слова, сказанныя Станкевичемъ по поводу одного изъ университетскихъ товарищей, направленіе котораго впослѣдствіи заслужило осужденіе прежде бывшихъ его друзей: «Холодный человѣкъ не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ; холодный человѣкъ долженъ быть стойкъ: иначе онъ будетъ подлець.» Въ этихъ словахъ заключается настоящее опредѣленіе характера, господствовавшего въ кругѣ Станкевича. Надо, однакожъ, сказать, что основная мысль круга, центромъ котораго былъ Станкевичъ, росла вмѣстѣ съ личнымъ развитіемъ главы его и вмѣстѣ съ жизнію, до тѣхъ поръ, какъ достигла полного разумнаго выраженія. Чувство, соединявшее разнородныя личности между собою, подъ конецъ уже имѣло исходнымъ пунктомъ своихъ единство стремленій къ нравственнымъ цѣлямъ, одушевленіе къ истинѣ и добру и общее исканіе путей къ нимъ. Особенно это послѣднее качество составило важное отличіе круга въ послѣдній періодъ его развитія отъ того времени, когда Станкевичъ собиралъ



а чаемъ, въ маленькой своей комнатѣ, въ нижнемъ этажѣ дома, занимаемаго пансіономъ Павлова, своихъ товарищей по университету, и вечера летѣли въ предчувствіи явленій, какими исполнена еще незнакомая, вдали свѣтлѣвшая жизнь, въ разсказахъ о попыткахъ перенести ту или другую сторону ея, въ фантастическихъ представленіяхъ ея принадлежностей и въ наслажденіи другъ другомъ, не разбирая хорошенько нравственной сущности, какая заключена была въ каждомъ. Давно замѣчено, что до эпохи нѣкоторой возмужалости чувства, оно не распознаетъ относительнаго достоинства предметовъ и только старается возвысить ихъ до себя, даже наперекоръ ихъ природѣ. Станкевичъ, напримѣръ, былъ какъ-то неутомимъ въ привязанности къ одному изъ своихъ пріятелей, который занимался изобрѣтеніемъ вычурныхъ нарядовъ и причесокъ, и возражалъ на упреки въ безпечности словами: «Охъ, братецъ, ты не знаешь, что значитъ жить въ семействѣ», сваливая бѣду на пріятности и развлечения, находимыя въ большомъ семейномъ кругу. Онъ иногда прикидывался мрачнымъ и отчаяннымъ по части сердечныхъ дѣлъ и былъ добрый малый; но Станкевичъ лелѣлъ въ немъ какое-то представленіе своей собственной фантазіи, что въ ту эпоху случалось съ нимъ довольно часто. Истиннымъ добрымъ малымъ, въ хорошемъ смыслѣ слова, былъ также другой товарищъ Станкевича, о которомъ нерѣдко упоминается въ перепискѣ, — покойный поэтъ В. И. Красовъ. Жизнь этого человѣка могла бы составить содержаніе весьма поучительнаго разсказа. Онъ весь былъ воодушевленіе, но, къ сожалѣнію, часто безъ дѣйствительныхъ, серьезныхъ поводовъ къ тому. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, принималось тогда за коренное свойство его поэтической натуры, хотя скорѣе это было дѣломъ фантазіи, болѣзненно развитой на счетъ всѣхъ другихъ душевныхъ силъ. Онъ поминутно встрѣчалъ необыкновенныя созданія. Не останавливаясь долго на разборѣ, въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ онъ чудныя существа и необычныя происшествія, о которыхъ потомъ и разсказывалъ со всѣми *невольными* прикрасами возбужденнаго воображенія. Самъ онъ объяснялся съ находками своими чрезвычайно восторженно, и одна изъ *тѣхъ глубокихъ натуръ, которыя все понимаютъ*, послѣ поэтическаго монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича: почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Ко всему этому присоединялись у нашего поэта юношеская горячность въ привязанностяхъ, совершеннѣйшая безпечность въ жизни и неизмѣнная доброта сердца <sup>1)</sup>). По выходѣ изъ уни-

<sup>1)</sup> О примѣчивости его сердца, какъ и объ отсутствіи всякаго соображенія при изученіи впечатлѣній, можетъ служить слѣдующій анекдотъ. Станкевича позвали въ

верситета онъ жилъ бѣдно, ничего не дѣлалъ для поправленія своего положенія, пѣлый день пребывалъ въ мечтахъ и зимой спасался от холода подъ одѣяломъ своей постели, гдѣ снова фантазировалъ и писалъ стихи. Подобныя искреннія, дѣтски-открытыя натуры всегда вызываютъ симпатію окружающихъ, и Станкевичъ, часто дававшій волю юмору своему насчетъ пріятеля, любилъ его, однакожъ, какъ любить существо, живущее по своимъ особеннымъ, почти исключительнымъ законамъ. Одно время онъ бралъ у него уроки въ латинскомъ и греческомъ языкахъ, такъ какъ Красовъ поступилъ въ университетъ изъ семинаріи и зналъ языки эти довольно основательно. Нѣсколько поздиѣе, тщетныя усилія Станкевича вызвать пріятеля изъ праздности и обратить къ какому-либо труду ослабили нѣсколько чувство, связывавшее ихъ, особенно когда Станкевичъ замѣтилъ еще и признаки нѣкоторой претензіи въ фантазіяхъ Красова, что неминуемо должно было случиться рано или поздно. Воодушевленіе, какъ и все другое на свѣтѣ, имѣетъ свои предѣлы, за которыми уже является насмѣлованіе его и ложная, непріятная подставка придуманнаго ощущенія. Чувство Станкевича однакожъ не истребилось совсѣмъ, и мы знаемъ, что онъ еще съ любовью вспоминалъ о старомъ своемъ другѣ въ Берлинѣ.

И вся жизнь того времени, можно сказать, была окрашена особымъ цвѣтомъ, проникнута тѣмъ направленіемъ, которое трудно передать безъ участія поэтическаго таланта. Въ составъ его входило много безграничной довѣренности къ людямъ, много юношескаго правленіе университета для сообщенія чего-то. Случилось, что въ то время онъ сидѣлъ дома и занимался съ Красовымъ. Станкевичъ тотчасъ же одѣлся и отправился. На подорожѣ онъ слышитъ, что кто-то послѣднимъ его догоняетъ. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенческомъ мундирѣ, со шпагой. „Ты куда?“ спрашиваетъ его Станкевичъ.—„За тобою, за тобою, отвѣчаетъ Красовъ со слезами на глазахъ. Я буду защищать тебя до послѣдней капли крови“.—Станкевичъ съ трудомъ вразумилъ его, что едва ли потребно будетъ такое развитіе силъ и храбрости. Красовъ въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности, кончившейся очень рано, еще при жизни Станкевича, произвелъ нѣсколько чрезвычайно теплыхъ и мягкихъ стихотвореній. Особенно замѣчательны они бойкостью стиха и эффектомъ приѣмовъ, не лишённыхъ граціи. Началъ онъ лирическими стихотвореніями, въ которыхъ, несмотря на благородство чувствъ, замѣтенъ нѣсколько узкій взглядъ на предметы. Таковы патріотическія пѣсни: „Къ Урагу“ („Молва“ 1835 года, № 27), „Булатъ“ (ib. № 36) мистическая: „Еврей“ (ib. № 39) и т. д. Любопытно, что въ томъ же 1835 году „Молва“ напечатала „Silentium“ Ф. Тютчева,—произведение глубокаго поэтически-философскаго характера, не обратившее однакожъ на себя должнаго вниманія. По отъѣздѣ Станкевича въ Берлинъ, Красовъ получилъ мѣсто въ Кіевѣ, не унялся тамъ, возвратился въ Москву съ какимъ-то обзоромъ, въ одной шлохой шинелькѣ и питалъ черными хлѣбомъ. Здѣсь получилъ онъ мѣсто преподавателя, безпрестанно отгадывалъ множество будущихъ талантовъ и гениевъ въ своихъ ученикахъ, наконецъ женился, и недавно умеръ въ больницѣ, оставивъ послѣ себя довольно многочисленное семейство.

бности привязывать мечты собственного сердца къ самому об-  
яному, пустому событію жизни. Въ письмахъ Станкевича, при-  
жащихъ къ этой эпохѣ, есть рассказъ о неожиданной смерти  
то чудной дѣвушки, владѣвшей, по смыслу повѣствованія,  
ли не даромъ прозрѣнія и угасшей въ семействѣ, гдѣ проис-  
зненіе ея было источникомъ грубой, тяжелой драмы. Мы не знаемъ  
бностей исторіи, но не надо быть чрезвычайно прозорливымъ  
того, чтобъ убѣдиться въ нѣкоторомъ преувеличеніи событія со-  
ны тѣхъ, для которыхъ такое преувеличеніе было необходимою  
бностію духа: такъ настроенъ онъ былъ къ отысканію глубо-  
поэтического смысла въ каждомъ явленіи <sup>1)</sup>. Товарищъ Стан-

Станкевичъ посвятилъ памяти этой дѣвушки одушевленное и довольно выдер-  
е стихотвореніе. Приводимъ его здѣсь. Оно было напечатано въ альманахѣ  
аца“ на 1834 годъ, подъ заглавіемъ:

„На могилѣ Эмилии“.

Привѣтъ могилѣ одинокой!  
Печальный мохъ ее покрылъ  
Съ тѣхъ поръ, какъ смерти сонъ глубокой  
Отъ насъ ея жилищу скрылъ.  
Оконченъ рано подвигъ трудный,  
Загадка жизни рѣшена!  
Любовь почилъ безпробудно  
И радость тлѣнью предана.  
Какіе тайные законы  
Тебя бѣ въ сей жизни ни вели,  
Но участь горькую Миньйоны  
Ты испытала на земли;  
Ты съ горемъ свыклась съ колыбели,  
Тебя не видѣлъ отчій кровь,  
Звѣздой падучей пролетѣла  
И жизнь, и младость, и любовь.  
Но надъ печальною могилой  
Не смолкнулъ голосъ клеветы,  
Она терзаетъ призракъ милый  
И жжетъ надгробные цвѣты.  
Пусть люди ждутъ судьбы со страхомъ,  
И чѣмъ бы ни былъ смѣхъ земной,  
Повсюдной жизнью, или прахомъ —  
Благословеніе съ тобой!  
Но если утро воскресенья  
Придетъ на свѣтлыхъ облакахъ,  
Возстань съ лучомъ преображенья  
Въ твоихъ лазоревыхъ очахъ.  
Лети, лети въ края отчизны,  
Оковы тлѣнья разорви —  
Будь съ нимъ одна въ единой жизни,  
Въ единой вниждающей любви.

кевича ...ка, почитавшій себя особенно связаннымъ съ судьбой и участію покойницы, былъ въ сущности добродушнѣйшій молодой человѣкъ, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ неподдѣльной малороссійской наивности, съ склонностію къ чувствительности и лѣнивому созерцанію жизни, какое часто встрѣчается у его земляковъ. Онъ не кончилъ университетскаго курса и постоянно возбуждалъ участіе Станкевича, который поддерживалъ въ немъ искры умственной энергіи до тѣхъ поръ, пока товарищъ совсѣмъ не пропалъ у него изъ вида.

Надо сказать вообще, что какое-то чутье истины и врожденный даръ юмора спасали Станкевича отъ упорства въ ложныхъ увлеченіяхъ. Даже въ эту раннюю эпоху жизни, онъ былъ надѣленъ обыкновеннымъ свойствомъ благодатныхъ натуръ: ложь надѣдала ему прежде, чѣмъ онъ успѣвалъ открыть ее. Свойство это служило ему какъ-бы оградой, воспрещавшей переступить послѣднія грани романтическаго настроенія и потеряться въ мірѣ призраковъ. Въ письмахъ его отъ этой эпохи безпрестанно встрѣчаются порывы сердца безъ ясной цѣли или съ цѣлью, выдуманною произвольно; но съ первыхъ шаговъ къ ней, онъ тотчасъ же возвращается, поправляетъ себя съ усмѣшкой и становится на прежнее мѣсто. Можно подумать, что ему измѣняется почва тотчасъ, какъ пошелъ онъ не въ надлежащую сторону, или что невыразимая тоска преграждаетъ ему путь съ перваго шага по ложной тропѣ. Яснѣе обозначится это качество при описаніи его молодыхъ привязанностей. Но и кровъ того есть въ перепискѣ Станкевича много свидѣтельствъ, подтверждающихъ слова наши. Такъ, читатель встрѣтитъ между письмами довольно большую фантазію, навѣянную оперой и минутнымъ душевнымъ состояніемъ, и конечно, будетъ удивленъ, замѣтивъ, что черезъ почту, Станкевичъ цѣнитъ по достоинству какъ то, такъ и другое, и въ полной трезвости ума свободно отталкиваетъ отъ себя игру ощущеній, подъ вліяніемъ которой находился еще такъ недавно. Онъ говорилъ тогда: «Все, что я писалъ къ тебѣ... было писано въ припадкѣ какого-то нравственнаго фанатизма, который подымаетъ насъ на ходули, возлагаетъ на насъ очки, увеличивающія въ 1,000 разъ и пр.» (письмо 1-го декабря 1833 года) Иногда даже мгновенная вспышка заканчивается улыбкой и пропадаетъ въ добродушной шуткѣ, уничтожающей на половину все значеніе невольнаго порыва. Эта способность поправляться и зорко оглядывать себя въ минуты самыхъ сильныхъ увлеченій не покинул его, какъ скоро увидимъ, и впослѣдствіи, когда, судя по наружности, можно было бы предполагать, что одно чувство любви не раздѣльно владѣетъ всѣмъ существомъ его. Отступленіе было тут

гораздо труднѣе: истина ощущенія и обманчивая фантазія смѣшались такъ крѣпко въ сердцѣ, что разобрать ихъ было дѣло не легкое. Не всякій былъ бы способенъ даже заподозрить вѣрность и правду своего чувства, но изъ прилежнаго наблюденія характера Станкевича мы извлекли убѣжденіе, что на днѣ души его жилъ какой-то таинственный, вѣчно бдящій сторожъ, который возвышалъ свой голосъ при малѣйшемъ прикосновеніи невѣрнаго или даже сомнительнаго чувства и не давалъ покоя Станкевичу, покуда впечатлѣніе не было очищено отъ случайной примѣси ложнаго элемента. Станкевичъ остановился въ самомъ цѣлу страсти, столько же удивленный и нравственно-потрясенный своимъ поступкомъ, сколько могли быть близкіе или сторонніе свидѣтели его; но дѣйствовать иначе было уже не въ его власти. Мы видимъ постоянно эту строгую новѣрку своего существа въ перепискѣ Станкевича, и она-то, кажется намъ, возвела образъ его до того типа, который невольно останавливаетъ вниманіе и вызываетъ къ себѣ наше уваженіе.

Станкевичъ любилъ въ первое время общество, танцы, новыя знакомства и людской говоръ, который, между прочимъ, есть тоже своего рода воспитатель, если умѣть разбирать его и пользоваться имъ. Станкевичу всегда было необходимо видѣть много людей, также какъ необходимо было много мыслить про себя. Изъ переписки его видно, что онъ имѣлъ частыя бесѣды съ дамами, занимавшимися русскою литературой и искусствомъ вообще; но не онѣ составляли настоящую приманку, увлекавшую его въ свѣтъ. Онъ просто искалъ жизни и потому, что она была незнакома ему, и по требованію природы своей, неспособной заключиться только въ себѣ самой и тѣмъ ограничиться. Онъ былъ чистъ отъ самолюбія и гордости, обыкновенно мѣшающихъ сближенію между людьми, и думалъ, что общество и частное лицо равно нуждаются другъ въ другѣ и равно ищутъ другъ друга. Правда, въ послѣдствіи, когда жизнь для Станкевича сосредоточилась на небольшомъ числѣ искреннихъ привязанностей, онъ осуждалъ свою прежнюю страсть къ связямъ и знакомствамъ, но сохранилъ уже навсегда свободный взглядъ на общество и способность становиться съ перваго раза въ прямня, откровенныя и благородныя отношенія къ людямъ. Для всего этого мы имѣемъ свидѣтельство Н. А. Мельгунова, въ домѣ котораго студентъ Станкевичъ часто бывалъ, и запросто, и на семейныхъ вечерахъ: простота и изящество его обращенія уже и тогда были замѣчены. Станкевичъ обязанъ былъ Н. А. Мельгунову, кромѣ наслажденія музыкой, составлявшей любимое занятіе хозяина, еще знакомствомъ со многими извѣстными людьми. Тутъ же, кажется, онъ впервые встрѣтилъ и Я. М. Невѣрова, этого друга своей молодости, пере-

писма съ которыми занимаетъ чуть-ли не третью часть всего нашего сборника. Я. М. Невѣровъ былъ старше Станкевича и окончилъ курсъ въ 1832 году, когда тотъ еще прошелъ одну половину его, и не самую важную, какъ знаемъ. Въ 1833 Невѣровъ уѣхалъ въ Петербургъ на службу, участвовалъ тамъ въ изданіи «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія», въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду», въ «Энциклопедическомъ Лексиконѣ» и пр. Весьма часто случается, что благородная и даровитая молодость ищетъ руководителя въ болѣе возмужаломъ и опытномъ человѣкѣ и, выбравъ его, откровенно ему подчиняется. Такъ было и здѣсь. Станкевичъ создалъ себѣ въ лицѣ Невѣрова нѣчто похожее на «директора совѣсти». На Я. М. Невѣровѣ истощилъ онъ потребность сердечной исповѣди и принималъ его приговоры, какъ необходимую поправку своихъ побужденій и наклонностей. Такое нравственное самоограниченіе тоже нерѣдко встрѣчается у пылкихъ, многообщающихся натуръ, и даже чѣмъ независимѣе онѣ по природѣ, тѣмъ покорнѣе слѣдуютъ, на первыхъ порахъ, за выбраннымъ наставникомъ. Станкевичъ былъ пораженъ въ другѣ своемъ соединеніемъ рѣдкой доброты съ глубочайшею религіозностію и непоколебимою стойкостью правилъ. Эти качества долго держали Станкевича подъ безграничнымъ вліаніемъ, и въ первое время ничего другого ему и не приходило въ голову требовать отъ дружбы. Когда, впоследствии, духовныя потребности Станкевича усложнились до того, что не могли получить удовлетворительнаго отвѣта отъ посторонняго лица, и надо было искать отвѣта въ себѣ самомъ, — вліаніе начало уменьшаться само собою; но связь, образуемая благородствомъ помысловъ и цѣпью дорогихъ воспоминаній, осталась между ними навсегда.

Такимъ былъ первый кругъ, въ которомъ сначала призвано было дѣйствовать чувство, называвшееся у Станкевича дружбой. Мы сообщимъ, по необходимости, одинъ только поверхностный очеркъ его, но скажемъ — сказаннаго уже будетъ достаточно для уразумѣнія сущности и отличительныхъ его свойствъ. Можно прибавить еще одну черту, важную по себѣ, но имѣющую нѣкоторое значеніе по отношенію къ нашему обществу. Въ характерѣ Станкевича не было нисколько элементовъ удачи, которая такъ вѣтически выражается у русскаго народа, а въ образованныхъ классахъ ограничивается трактирными и домашними кутежами, грубымъ воссателствомъ на права личности, иногда даже въ произволѣ. Черта эта приобретаетъ важность, разумеется, только съ той минуты, когда общество смотритъ на насъ равнодушно, или даже съ кривосмѣломъ благосклонности, радуясь ей, какъ безвредному источнику внешнего нила. Мало того, что кругомъ Станкевича жила идея нравств. и бодра, но

она, благодаря ему, носила рѣдкій оттѣнокъ скромности. Несмотря на его природную веселость, было что-то умѣренное и деликатное въ его шуткѣ, подобно тому, какъ мысль его отличалась истиннымъ разумомъ, несмотря на страсти и увлеченія молодости. Все это, конечно, держало разнородныя личности, изъ которыхъ состоялъ кругъ его, въ одномъ общемъ настроеніи и на одной нравственной высотѣ. Читатель легко пойметъ, что философско-поэтический элементъ, присутствовавшій въ Станкевичѣ, былъ именно тѣмъ дѣятельствомъ, который волновалъ сердца и выводилъ ихъ изъ летаргіи. Куда бы животворный элементъ этотъ ни обращался въ теченіи своей, онъ увлекалъ за собою даже самыя упорныя, самыя лѣныя натуры. Въ сборникѣ писемъ Станкевича есть одно (отъ 24 апрѣля 1835), гдѣ онъ сосредоточиваетъ мысли на собственномъ религіозномъ чувствѣ—и какія теплыя, любящія слова находитъ онъ тогда, слова, которыя должны были вызвать сочувствіе окружающихъ. Проникнутый важностію предмета, Станкевичъ перебираетъ всю свою жизнь до мельчайшихъ движеній сердца, до самыхъ тайныхъ своихъ наклонностей, и съ упоеніемъ говоритъ о блаженствѣ чувствовать въ себѣ потребность живой вѣры. Обѣты исправленія сыплются изъ груди, взволнованной сладкою любовью и радостію религіознаго одушевленія, наполняющаго ее. Описаніе кануна Свѣтлаго Воскресенія соответствуетъ предшествовавшему изложенію впечатлѣній. Ночь идетъ тихо и серьезно для людей, собравшихся вокругъ Станкевича; каждый изъ собесѣдниковъ старается наполнить минуты ея лучшими своими помыслами, избраннѣйшими своими воспоминаніями. Станкевичъ думаетъ о первой, святой любви своей. Какимъ-то тихимъ восторгомъ звучатъ слова: «Въ половинѣ 12-го мы вышли на дворъ.... Погода была тихая, прекрасная; небо ясно и усыяно звѣздами.... За нѣсколько часовъ шелъ дождь.... Вдругъ ударили колокола... Къ намъ пришелъ Бѣлинскій и увлекъ насъ въ Кремль! Мы подходили къ Иверской и услышали пушки: Василій Блаженный вдругъ озарился ихъ молніею, и ударъ разсыпался по Кремлю. Пока дошли мы до мѣста, стрѣлять уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу... возвратились къ заутренѣ къ Козьмѣ и Дамьяну». Психическое настроеніе подобнаго рода, даже вызванное предметомъ меньшей важности, само по себѣ способно всегда поднять душу выше обыкновеннаго ея уровня. Такъ и было съ пріятелями Станкевича во многихъ случаяхъ.

Переходя къ искусству, мы видимъ изъ переписки Станкевича, что работа, заданная всѣмъ умственнымъ способностямъ его нѣмцкою поэзіею и литературой, продолжается безостановочно. Онъ попрежнему живетъ въ мірѣ, созданномъ Гёте и Шиллеромъ, еще не за-

ботясь объ опредѣленіи границъ каждаго и уясненіи существенныхъ отличій любимыхъ своихъ поэтовъ. Потребность опредѣлить ихъ относительное значеніе явилась гораздо позднѣе, когда разграниченіи были области ихъ дѣятельности на основаніи понятій о поэтахъ личныхъ впечатлѣній и поэтахъ всего окружающаго міра (субъективныхъ и объективныхъ). Станкевичъ переходилъ отъ одного къ другому, не замѣчая скачка и не чувствуя ни малѣйшаго потрясенія въ эстетическомъ наслажденіи, да къ тому же онъ читалъ въ одно время и тогдашнихъ французскихъ романистовъ: Гюго, Бальзака, Жакоба Библиофила, и даже, какъ видимъ, находилъ въ нихъ отзвукъ на нѣкоторыя струны своего сердца. Поэзія была для него безразлична, но степени ея понималъ онъ съ замѣчательною ясностію. Вся критическая способность его, напримѣръ, несмотря на разнообразіе предметовъ, вызывающихъ ее, занята была въ эту эпоху преимущественно объясненіемъ образовъ германской поэзіи. Онъ былъ прикованъ къ ней и, можно сказать, почти страдалъ неутолимою жаждой измѣрить всю ея глубину, завладѣть всѣмъ ея смысломъ. Чувство это сказывается, по нашему мнѣнію, въ тѣхъ воодушевленныхъ строкахъ его переписки, гдѣ онъ излагаетъ свои впечатлѣнія при чтеніи Оберона, свой взглядъ на знаменитую пѣснь Миньлонн, на баллады Гёте, между прочимъ, на «Коринескую Невѣсту». Вотъ что пишетъ онъ, напримѣръ, по поводу «Невѣсты»:—«Нельзя не пасть передъ Гёте, прочитавъ его созданіе! Грозный союзъ любви и смерти, блѣдныя уста, пьющія кровавое вино, мертвая грудь, согрѣваемая сладострастнымъ пламенемъ,—и сила юности, испарившаяся въ одинъ мигъ наслажденія, овладѣвають душою, потрясаютъ всѣ нервы, такъ что, по окончаніи чтенія, чувствуешь странный покой, подобный тому, который господствуетъ въ природѣ послѣ ночной грозы, когда туча перешла на другую половину неба, и звѣзды едва начинаютъ блистать, освобождаясь изъ-подъ ея покрыва... Другое произведеніе Гёте, которое мы позволяемъ себѣ называть, по примѣру Станкевича, «Баядерой», породило у него мысль написать драму. Въ ней хотѣлъ онъ представить судьбу одного чувства любви, показавъ его сперва на низшей ступени физическаго влеченія, и возводя рядомъ очищеній до той минуты, когда, просвѣтленное и облагороженное, оно роднится съ небомъ и въ немъ исчезаетъ. Созданіе Гёте, казалось Станкевичу, заключаетъ тысячу драмъ, которыя могли бы служить ему поясненіемъ, но объяснять Гёте его собственнымъ элементомъ—поэзію, конечно, было дѣломъ юношеской смѣлости. Вѣроятно, по этой причинѣ исполненіе плана откладывалось недѣля за недѣлей и наконецъ совсѣмъ было оставлено; но самый планъ служить для насъ указаніемъ, какъ пред-



ставилась любовь духовнымъ очамъ Станкевича. Съ меньшей силой владѣлъ всѣми нравственными способностями его и Шиллеръ. Извѣстное стихотвореніе Шиллера: «Resignation» было у него на утѣ и на языкѣ почти непрерывно. Онъ находилъ постоянно случаи примѣнять основную мысль его къ самому себѣ. Каждый разъ, какъ излишне-пылкія надежды Станкевича встрѣчали отпоръ въ обстоятельствахъ и въ людяхъ и разбивались объ эти преграды, онъ вспоминалъ любимое свое стихотвореніе и вмѣстѣ съ нимъ повторялъ: «Кто тоскуетъ по другомъ мірѣ, тотъ не долженъ знать земныхъ наслажденій. Кто вкусилъ отъ земного наслажденія, тотъ не надѣйся на награду другого міра, гдѣ пышно разцвѣтаютъ только терніи и скорби нашего дольнаго существованія». Затѣмъ еще письма Станкевича украшены многочисленными цитатами изъ этого поэта, или лучше, этого неизмѣннаго друга всѣхъ избранныхъ людей, которые въ немъ отыскиваютъ опору для благороднаго чувства, разгадку неясныхъ стремленій своей возвышенной природы. Цитаты изъ Шиллера—это вопль самой души Станкевича, обращенной къ силѣ, жаждущей на землѣ благо, любовь, и дающей успокоеніе сердцу. Вопль обыкновенно затихаетъ у него въ одномъ помыслѣ, всеразрѣшающемъ и цѣлбно-дѣйствующемъ. «Христосъ да будетъ съ тобою и съ нами», пишетъ онъ обыкновенно другу своему въ заключеніе, а иногда прибавляетъ свою любимую тогдашнюю поговорку, почти не сходившую съ устъ его *Es herrscht eine allweise Güte über die Welt* (Надъ міромъ царствуетъ премудрая благость).

По самому устройству нашего общества и началамъ воспитанія, кромѣ литературы, только два вида искусства остаются у насъ для эстетическихъ потребностей публики: музыка и театръ. За привычкою къ оцѣнкѣ другихъ отраслей изящнаго, даже за первыми понятіями о нихъ, приходится, по большей части, переселяться на чужую почву, и этотъ недостатокъ воспитанія отражается, кажется намъ, на самомъ обществѣ относительною бѣдностію его разговора и нѣкоторою узкостію взгляда при эстетическихъ сужденіяхъ вообще. Какъ бы то ни было, но изъ переписки Станкевича мы узнаемъ, какое важное значеніе имѣлъ для него театръ. Вотъ что говоритъ онъ, между прочимъ: «Театръ становится для меня атмосферою; прекрасное моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ храмѣ искусства, какъ-то вольнѣ душѣ. Множество народа не стѣсняетъ ея, ибо надъ этимъ множествомъ паритъ какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, объ его совершенствѣ, о прелестяхъ изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропроходящіе».... Даже эти слова еще не вполне передаютъ силу того очарованія,

которым обладалъ театръ, въ высокомъ своемъ значеніи, для всего круга Станкевича. Полное выраженіе его должно опять искать у Бѣлинскаго, въ одной изъ превосходнѣйшихъ страницъ статьи, уже разъ упомянутой нами («Литературныя Мечтанія», Молва № 51, стр. 419). Сказавъ, что въ театрѣ вы радуетесь и страдаете не за свою жизнь, и что, напротивъ, ваше холодное я исчезаетъ тамъ *въ пламенномъ зѣфирѣ любви*, критикъ продолжаетъ: «Если васъ мучитъ тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша искала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнію ночи, такой-то пленительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная, — здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новою, неукротимою силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленные на васъ съ тоской и любовью.... Невозможно описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душой человѣческой.... О, какъ было бы хорошо, еслибы у насъ былъ свой народный русскій театръ! Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокими и смѣшными, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть бѣшеніе пульса ея могучей жизни.... о, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете»... Эти восторженные слова выражали истинное чувство Станкевича и Бѣлинскаго: переступая за порогъ театра, они входили въ святилище и никакъ не могли настроить себя подъ ладъ болѣе чѣмъ обыкновенныхъ вещей, тамъ процвѣтавшихъ. Послѣдній почти всегда оставлялъ театръ или глубоко потрясенный, или раздраженный до крайности. Относительно музыки, Станкевичъ сознавался въ одной слабости. Онъ былъ подверженъ скорой усталости, слѣдовавшей тотчасъ за первыми, сильными раздраженіемъ нервной системы. Съ половины длиннаго концерта онъ уже ничего не понималъ и тѣмъ болѣе, чѣмъ настойчивѣе старался возбудить въ себѣ силу воспріимчивости. Вотъ почему громадные оперы, появившіяся въ то время, «Жидовка», «Робертъ» и проч., давили и уничтожали его до тѣхъ поръ, пока онъ не успѣвалъ разобрать ихъ многообразныя составныя части. Въ-загнѣвъ все, что дѣйствовало прямо на душу, что могло быть поглощено ею безъ помощи соображеній и умственнаго напряженія, начиная съ оперы «Герольда» до гениальныхъ симфоній нѣмецкаго искусства, приводило Станкевича въ упоеніе. Чуждыя вещи произошли съ нимъ, когда онъ нечаянно встрѣтился съ композиторами, наиболѣе отбѣснѣвшими тоску, грусть и фантазію, удивительнаго и сосредоточеннаго чувства, именно

съ Шубертомъ. Станкевичъ чуть съ ума не сошелъ. Вотъ какъ рассказываетъ онъ случай этотъ: «Во-первыхъ, я очень радъ, и мнѣ досадно, что ты первый написалъ мнѣ о Шубертѣ. Какъ мы услышали его въ одно время? Я нашелъ эту піесу <sup>1)</sup> нечаянно у нашего острогожскаго помѣщика С\*, въ музыкальномъ журналѣ «Филомела», котораго никто у нихъ никогда не разыгрывалъ. Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я попробовалъ—и чуть не сошелъ съ ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фантастическое прекрасное чувство, которое охватываетъ душу, какъ самъ царь младенца, при чтеніи этой баллады. Уже начало переносить тебя въ этотъ темный, таинственный міръ, мчитъ тебя durch Nacht und Wind... и проч.

Настроеніе какъ Станкевича, такъ и Бѣлинскаго, частію происходило и отъ того, что они избрали эстетическимъ учителемъ своимъ человѣка, не дѣлавшаго никогда ни малѣйшихъ уступокъ слабости, современному вкусу или модѣ, изъ своей возвышенной теоріи изящнаго, именно Гофмана, автора *Seltsame Leiden eines Theater-Directors* (необычайныя страданія нѣкоего директора театра), *Fantasie-Stücke in Callots Manier* (фантастическіе отрывки въ манерѣ Калло) и множества фантастическихъ сказокъ и романовъ, извѣстныхъ нашей публикѣ по переводамъ. Пламенная, почти горючая любовь къ искусству, отличавшая Гофмана, приходилась въ уровень съ необычайно-возбужденною критическою пытливостью его русскихъ поклонниковъ. Въ немъ обрѣтали они страстную, почти идеальную привязанность къ дѣлу, которое сами считали чуть-ли не единственнымъ *дѣломъ* въ мірѣ, достойнымъ этого имени. Гофманъ почти никогда не ошибался въ значеніи предмета, принадлежащаго искусству: но онъ не иначе изображалъ его, какъ въ огненномъ, нестерпимомъ блескѣ, въ сверхъ-естественныхъ, фантастическихъ размѣрахъ. Исполнивъ задачу, онъ самъ падалъ ницъ передъ собственнымъ представленіемъ, въ благоговѣйномъ ужасѣ. Нѣкоторыя мѣста первыхъ двухъ выписанныхъ нами сочиненій (особенно музыкальныя новеллы *Fantasie-Stücke*) свидѣтельствуютъ ясно, что гениальное созданіе приводило его въ трепетъ, какъ человѣка, застигнутаго явленіемъ неземнаго міра, но онъ берегалъ способность передавать свой трепетъ въ восторженной, а иногда сильной и саркастической рѣчи. Электрически дѣйствовалъ онъ на молодые, серьезные умы, считавшіе слово его поэтическимъ прозрѣніемъ въ самую глубь творчества. Несмотря на то, что большая часть сужденій Гофмана о театрѣ и музыкѣ производитъ то же самое впечатлѣніе, какое испыталъ извѣстный эстетикъ Готто, при

<sup>1)</sup> Erlkönig, Шуберта.

его описаніи характера Донъ-Жуана <sup>1)</sup>, Гофманъ имѣлъ весьма благотворное вліяніе на развитіе нашей критики. Необычайныя художническія требованія Гофмана возвысили пониманіе цѣли и задачи искусства и, конечно, были источникомъ того обилія идей, какое вскорѣ выказала она въ самомъ дѣлѣ. Мы разумѣемъ статьи Бѣлинскаго объ игрѣ Мочалова въ роли Гамлета, напечатанныя въ «Московскомъ Наблюдателѣ», 1838 года, часть XVI (мартъ и апрѣль), подъ заглавіемъ: «Гамлетъ, драма Шекспира». Тутъ строгость всѣхъ требованій отъ актера и идеальное представленіе его признанія находятся въ близкомъ родствѣ со способомъ воззрѣній Гофмана, только развиты онѣ въ формѣ критической статьи, вѣсто живыхъ, лирическихъ изображеній Гофмана. Самыя повѣсти и фантастическія сказки послѣдняго находили симпатическій отголосокъ въ кругѣ Станкевича: онѣ такъ хорошо соотвѣтствовали господствовавшей философской системѣ своимъ могущественнымъ олицетвореніемъ безжизненной природы. Тутъ еще была своего рода истина, понятная сердцамъ, поэтически или мечтательно настроеннымъ. Юморъ Гофмана и его картины будничной, пошловатой нѣмецкой жизни тоже нравились людямъ, не имѣвшимъ понятія о ея тупой правильности и чисто внѣшней серьезности. Неудивительно поэтому, что еще въ 1839 году, Бѣлинскій выражалъ между разговорами свое недоумѣніе: отчего западная критика не ставитъ Гофмана наравнѣ со всѣми великими поэтами Европы, между тѣмъ какъ онъ обладаетъ тою же сущностью, тѣмъ же разнообразіемъ и тою же глубиной проникновенія въ жизнь? <sup>2)</sup>

Впрочемъ, строгое пониманіе, какъ задачи искусства, такъ и вообще человѣческаго призванія, было въ природѣ Станкевича и лучшихъ людей его круга. Качество это только развилось отъ чтенія и общихъ размышленій, имъ порожденныхъ. Такъ или иначе, оно проявилось бы неизбѣжно и при другихъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя мы здѣсь излагаемъ. Для Станкевича и избранныхъ друзей его не было въ нравственномъ мірѣ пустыхъ или маловажныхъ

<sup>1)</sup> „Огненное объясненіе Донъ-Жуана, предложенное Гофманомъ, способно измолдовать, а не удовлетворить человѣка“. (Vorstudien für Leben und Kunst 1835, см. стр. 11 и 24).

<sup>2)</sup> Многія подробности для біографическаго нашего очерка взяты нами изъ переписки Станкевича съ Я. М. Невѣровымъ, но далеко не всѣ. Станкевичъ въ первую эпоху своей жизни (съ 1831 по 1835) многого не высказываетъ своему другу, какъ бы боясь его здраваго, *порядочнаго*, какъ самъ выражается, взгляда на предметы. Онъ иногда уменьшаетъ передъ нимъ силу впечатлѣній своихъ, а иногда открываетъ ихъ съ одной, самой обыкновенной стороны. Примеровъ множество. Прямой и положительный. Я. М. Невѣровъ не доиралъ философіи и не жаловалъ вообще предчувствій, стремленій, порывовъ. Только съ 1835 слогъ переписки становится у Станкевича разительнѣе; ученикъ и наставникъ мѣняются ролями.

ещей. Къ каждому явленію этого міра они подступали весьма серьёзно. Шутка ихъ надъ безсильными или безобразными порождениями человѣческой дѣятельности не имѣла ничего легкомысленнаго и точно такъ же отражала тогдашнія убѣжденія ихъ, какъ и строгое, одушевленное слово. Каждый предметъ литературы казался имъ стоящимъ того, чтобъ изслѣдовать его генеалогію, причину и обстоятельства его происхожденія; часто умъ, серьёзно настроенный, заходилъ слишкомъ далеко въ этихъ поискахъ и не видалъ ближайшей, ограниченной и ничтожной причины, породившей явленіе. Они грѣшили доблестными недостатками, свойственными великой благородной молодости. Никогда не могло прійти въ голову Станкевичу и его друзьямъ, напримѣръ, что новая русская трагедія не есть плодъ стремленія выразить свой взглядъ на ту или другую сторону жизни, а только первый опытъ челоѣка, навѣвающего себя руку вообще на трагедію. Все было для нихъ событіемъ, порождавшимъ пренія, надежды, заключенія, а иногда длинную, серьёзную переписку. Полемика, которая возгорѣлась въ Москвѣ, по случаю дебютовъ прибывшаго сюда петербургскаго артиста Каратыгина, и которая породила весьма замѣчательный обмѣнъ мыслей между партіями <sup>1)</sup>, отразилась также и въ корреспонденціи Станкевича; но отъ изслѣдованія качествъ актера и сравненія ихъ съ родомъ таланта его московскаго соперника, Мочалова, кружокъ Станкевича восходилъ до опредѣленія характера публики въ обѣихъ столицахъ, различія художественныхъ и общественныхъ ихъ требованій и проч. Такъ велико было побужденіе отыскать непременно мысль каждого случая—побужденіе, составляющее отличительную, симпатическую сторону переписки самого Станкевича.

Нѣтъ сомнѣнія, что прилежный, кропотливый библіографъ могъ бы доставить себѣ удовольствіе, разобравъ, какому эстетическому и философскому ученію и какому именно лицу принадлежатъ теоріи

<sup>1)</sup> Листки „Молвы“ 1833 года, гдѣ происходила борьба приверженцевъ артиста и его супруги, тоже дебитировавшей въ Москвѣ,—съ единственнымъ ихъ критикомъ-каждоднемъ П. Щ., приобрѣли необыкновенную извѣстность. Многіе помнятъ живое впечатлѣніе, произведенное ими на публику. Полемика длилась весьма долго, съ 44 по 61 №, хотя уже съ 56 № П. Щ. добровольно отступаетъ отъ нея, не побѣжденный, но какъ-будто усталый. Этотъ П. Щ., кромѣ остроумія и діалектической способности, имѣвалъ еще глубокое пониманіе сценическаго искусства и сообщилъ публикѣ нѣсколько мыслей о немъ, которыя были бы замѣтны въ устахъ первыхъ европейскихъ знатоковъ дѣла. Станкевичъ почти раздѣлялъ его взглядъ на нашего знаменитаго артиста, но изъ уваженія къ другу Я. М. Невѣрову, состоявшему въ числѣ безусловныхъ поклонниковъ В. А. Каратыгина, опредѣлявшихъ даже достоинство его игры мѣрой приличія и свѣтскости, въ ней находившихъ, долго таить свою настоящую мысль и только подъ конецъ обнаруживаетъ ее вполнѣ. Черта тонкой деликатности, мягкости и снисходительности сильнаго вліянія Я. М. Невѣрова на умъ его.

и положенія, которыя стала высказывать критика Бѣлинскаго съ 1835 года (въ «Телескопѣ» этого года); но онъ погрѣшилъ бы значительно, еслибы, на основаніи своихъ изысканій, вздумалъ уменьшить заслугу самого автора статей. Въ кругѣ Станкевича идеи германскихъ мыслителей были въ постоянномъ обращеніи: друзья его сходились для обсужденія ихъ и взаимнаго обмѣна соображеній, порожденныхъ неутожимымъ чтеніемъ; изъ этого первоначальнаго родника своей литературно-критической дѣятельности, Бѣлинскій выносилъ строго-обдуманныя статьи. Бѣлинскій можетъ назваться по преимуществу обобщителемъ идей. Любопытнѣйшую часть переписки Станкевича въ 1833—35 годахъ, безъ сомнѣнія, составляютъ первыя напряженныя усилія обратить нѣкоторыя эстетическія соображенія, возникавшія какъ у него самого, такъ и вокругъ него, въ безусловныя и доказанныя истины. Тутъ вы видите, такъ-сказать, внутренность той мастерской, въ которой выработывалъ Бѣлинскій свои воззрѣнія на искусство и жизнь вообще, а изъ воззрѣній—приговоры и сужденія о дѣятеляхъ обѣихъ сферъ. Читатель найдетъ въ письмахъ Станкевича неопредѣленные намеки на всѣ вопросы, занимавшіе потомъ Бѣлинскаго и болѣе или менѣе приближенные имъ къ разрѣшенію. Такова была участь попытокъ Станкевича опредѣлить значеніе художественности въ произведеніяхъ, показать различіе между чистою мыслию и мыслию, доступною предметамъ искусства, и переходя къ частностямъ, попытки опредѣлить значеніе романовъ Полеваго, Загоскина и проч., поэтической дѣятельности гг. Бенедиктова, Тимофеева, Шевырева и проч., и проч. Все это было досказано Бѣлинскимъ. На долю Бѣлинскаго выпалъ талантъ быстро усматривать всѣ результаты данной мысли, талантъ чутко примѣнять ее къ современности, отвѣчая новымъ потребностямъ общественнаго развитія, или даже вызывая ихъ на свѣтъ, и, наконецъ, талантъ неутомимо проводить между повседневными явленіями словесности иногда на лету, но крѣпко схваченное эстетическо-философское положеніе. На эту работу употребилъ онъ и всю свою жизнь; плодомъ этой работы, понимаемой весьма строго, было то, что со времени Бѣлинскаго роль писателя сдѣлалась чрезвычайно трудна, а поколѣніе писателей-сибаритовъ, добивавшихся репутаціи, потѣшая игрой своего таланта себя и пріятелей, миновалось безвозвратно. Вообще никто у насъ до Бѣлинскаго не давалъ столько мѣста въ своей жизни искусству и эстетическимъ соображеніямъ; оттого и самыя ошибки его въ оцѣнѣ произведеній, и излишняя взыскательность при нѣкоторыхъ случаяхъ еще имѣютъ въ себѣ гораздо болѣеую долю правды и поученія, чѣмъ иные приговоры, воплотивъ непогрѣшительныя, потому что они вполне поверхностны.

ошибки некоторых людей бывают почти так же плодотворны, как их положительные заслуги, и наоборот, непогрѣзительность другихъ и истины, ими высказываемыя, часто поражаются безплодностью. Счастливыя человѣкъ, который можетъ ошибаться, сохраняя достоинство мыслящаго, глубоко нравственнаго и полезнаго человѣка въ своихъ ошибкахъ!

Станкевичъ до конца своего поприща постоянно наслаждался Пушкинымъ. Онъ присоединилъ его къ тому кругу завѣтныхъ писателей, къ которымъ относился во всѣхъ важныхъ случаяхъ своей жизни. Правда, было время, когда потокъ общаго мнѣнія увлекъ и его съ Бѣлинскимъ: они думали, что съ 1831 года талантъ любимаго поэта погасъ и возстанетъ съ трудомъ изъ новой обстановки, окружившей его существованіе, но это было не продолжительно у обоихъ. Они скоро довѣрились поэту. Позднѣе Станкевичъ писалъ эти замѣчательныя строки, исполненныя мысли и столь проникнутыя упованіемъ, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи ихъ признать: «... Переведу Вердеру *«зимнюю дорогу»* прозою, какъ прозу, и прочту стихи по-русски. Тутъ такая цѣлость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, удалаго! У Гёте есть нѣсколько такихъ стихотвореній, какъ напримѣръ: *«Da droben auf jenen Berge»*. У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина меньше фантастическаго, больше *Fleisch und Blut* (то-есть плоти и крови): тутъ неразвитое, простое чувство. Но у Гёте, кромѣ того, есть много такихъ вещей, гдѣ видно его мировое развитіе, котораго, разумѣется, Пушкинъ не имѣлъ и котораго мы ему не приписываемъ; но въ этихъ простыхъ, коротенькихъ исповѣдяхъ цѣльной, живой и умной натуры — истинная поэзія! Мало ли у него такихъ вещей!...» (отъ 27-го августа 1838). Эти лаконическіе афоризмы Станкевича могли бы быть развиты въ большую и дѣльную статью.

Вскорѣ къ имени Пушкина присоединилось другое дорогое имя, радѣвшее съ первымъ горячую привязанность Станкевича и другихъ его, имя Гоголя. Почтенный біографъ Н. В. Гоголя, оказавшій такую важную услугу публикѣ сообщеніемъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, касающихся жизни этого писателя, Н. М\* (псевдонимъ, какъ известно), къ сожалѣнію, пропустилъ безъ вниманія нравственную поддержку, данную Москвою автору *«Мертвыхъ душъ»*, поддержку, на которую онъ оперся при самомъ началѣ своего авторскаго поприща. Несмотря на одобренія Пушкина, Жуковскаго и ихъ друзей, петербургская публика относилась къ Гоголю, съ тѣхъ поръ, какъ онъ перешелъ изъ малороссійской повѣсти къ русскому современному быту, если не враждебно, то по крайней мѣрѣ весьма осторожно. Пріемъ *«Ревизора»* доказалъ ея нерасположеніе и ея подо-

зрительность. Неизвѣстно, что стало бы съ авторомъ, впечатлительнымъ до крайности, еслибы Москва раздѣлила сомнѣнія и холодность петербургской публики, но здѣсь онъ встрѣтилъ участіе, поднявшее, какъ намъ хорошо извѣстно, нравственную бодрость его и сообщившее ему увѣренность въ своихъ силахъ. Последняя все болѣе и болѣе росла съ тѣхъ поръ.... Нѣтъ сомнѣнія, что Бѣлинскій первый положилъ твердый камень въ основаніи всей послѣдующей его извѣстности, начавъ первый объяснять смыслъ и значеніе его произведеній. Можно думать, что Бѣлинскій уяснилъ самому Гоголю его призваніе и открылъ ему глаза на самого себя: для этого есть нѣсколько доказательствъ несомнѣннаго, историческаго характера. Но какъ бы то ни было, Станкевичъ и весь кругъ его поняли съ перваго раза смѣхъ, производимый созданіемъ Гоголя, весьма серьезно, почти такъ, какъ понималъ его впоследствии самъ авторъ. Что касается до поэзіи, то людямъ, искушеннымъ въ этомъ дѣлѣ, легко было угадать ея оттѣнокъ на лицахъ и описаніяхъ Гоголевской фантазіи. Станкевичъ, смѣшливый отъ природы, уже не могъ никогда вспоминать нѣкоторыхъ подробностей въ его картинахъ безъ того, чтобы не потерять совершенно хладнокровія. Такое дѣйствіе производило на него, напримѣръ, воспоминаніе о жидѣ (въ Тарасѣ Бульбѣ), который, снявъ верхнюю одежду, сталъ вдругъ похожъ на цыпленка. Да и въ первое знакомство съ Гоголемъ одно предчувствіе юмористическаго элемента, который такъ обильны его творенія, повергало Станкевича въ припадокъ неудержимаго смѣха. При первомъ чтеніи повѣсти Гоголя: «Коляска», на которое собрались нѣкоторые друзья Станкевича, едва произнесены были слова, открывающія повѣсть и еще не заключающія въ себѣ ничего особеннаго, раздался общій дружный хохотъ, съ трудомъ побѣжденный. Такъ встрѣчали молодые люди будущаго знаменитаго писателя нашего, угадывая въ его веселости и въ смѣхѣ, нѣтъ порождаемомъ, первые симптомы литературной возмужалости, выѣстъ съ признаками пробуждающагося народнаго сознанія.

Именемъ Гоголя мы и могли бы заключить описаніе студенческой эпохи Станкевича. Оно составляетъ естественный переходъ къ слѣдующему періоду, гдѣ какъ значеніе, такъ и пониманіе этого писателя особенно выказались, но мы рѣшаемся еще остановиться на нѣсколько мгновений. Въ перепискѣ Станкевича, такъ и сямъ, мелькаютъ намеки на его сердечныя привязанности, которыя иногда служатъ причиною особеннаго и довольно-продолжительнаго душевнаго состоянія. Можно было бы оставить безъ вниманія эту обыкновенную повѣсть волеиій молодого сердца, еслибы въ ней не отражался, какъ въ зеркалѣ, весь характеръ Станкевича, сложившійся



изъ тѣхъ многообразныхъ элементовъ, описаніемъ которыхъ мы занимались доселѣ.

Стараніе выработать изъ себя нравственное лицо, *человѣка*, въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова, получаетъ особенную цѣну, когда оно кладется въ основаніе самой жизни, не слабѣетъ при напорѣ живыхъ, естественныхъ *впечатлѣній* молодости, и когда даетъ тонъ и краску тѣмъ чувствамъ, которыя въ извѣстныхъ эпохи нераздѣльно господствуютъ надъ всеми нашими способностями.

Мы соберемъ въ хронологическомъ порядкѣ подробности, какія сообщаетъ намъ переписка Станкевича о возникшихъ тогда привязанностяхъ его. Конечно, въ первой упоминаемой тамъ встрѣчѣ съ молодой женщиной, имѣвшею совершенно простой взглядъ на предмети и опиравшеюся только на весьма поверхностное пансіонское воспитаніе, не могло заключаться важныхъ поводовъ къ размышленію и повѣркѣ своихъ чувствъ. Станкевичъ, какъ видимъ, принималъ живое участіе въ особенностяхъ ея положенія; его благоразуміе и сдержанность были тутъ въ порядкѣ вещей. Однакожъ, Станкевичъ тотчасъ же подвергаетъ строгому критическому осмотру и ту долю вниманія, на которое имѣетъ право всякое женское лицо, да въ-добавокъ еще отыскиваетъ въ себѣ признаки кокетства. Онъ старается очистить свою совѣсть откровеннымъ признаніемъ передъ другомъ. Въ 1833 году, въ то время, когда Станкевичъ былъ на ваканціи въ деревнѣ (августъ мѣсяцъ), въ одно изъ общихъ путешествій куда-то въ гости, завязывается снова прежнее знакомство, и съ этихъ поръ начинается тотъ деревенскій романъ, который такъ удивительно описанъ Пушкинымъ въ стихотвореніи «Зима»:

«Что дѣлать намъ въ деревнѣ?»

Несмотря, однако же, на совершенную невинность отношеній между молодыми людьми, поводъ къ нимъ и самое выраженіе ихъ кажутся Станкевичу не безукоризненными, да отъ разбора этого онъ переходитъ къ разбору предмета, ихъ вызвавшего, и отрываетъ, что предметъ не заслуживалъ расположенія и въ сущности никогда имъ не пользовался. Но тогда игра въ лицейское чувство, которой онъ поддался, порождаетъ цѣпь горькихъ упрековъ душѣ его и угрызения совѣсти. Станкевичъ запутывается въ ощущеніяхъ своихъ и проситъ помощи друга. «Когда бы ты, добрый геній, былъ ю мною!» восклицаетъ онъ. Зная основанія его, мы вполне вѣримъ его жалобамъ, какъ вѣримъ безпокойству челоѣка, потерявшаго прямую дорогу, и убѣждены въ искренности его восклицанія: «Кто бы сказалъ, что эта ничтожная связь можетъ разрушить блаженство челоѣка!»

Между тѣмъ деревенскій романъ кончился отъѣздомъ Станкевича въ Москву, но онъ, спустя нѣсколько времени, возобновился здѣсь 17-го сентября 1833. Станкевичъ пишетъ къ другу письмо, въ которомъ находимъ слѣдующія слова: «Другъ, другъ! какая сцена! Цѣлый день былъ я у Бр. . . ., въ театрѣ думалъ ѣхать къ пріѣзжимъ, знакомымъ, ходилъ, усталъ, *измучивался*, ѣду къ нимъ. Пріѣзжаю, она одна сидитъ и гадаетъ на картахъ....» Подробностей объясненія, при такомъ запутанномъ душевномъ состояніи, въ какомъ находился онъ, мы не знаемъ, а знаемъ только результатъ объясненія. Станкевичъ удалился съ твердостью отъ искушеній собственнаго сердца еще болѣе, чѣмъ отъ постороннихъ искушеній. Казалось бы, нравственное требованіе, вполне удовлетворенное его поступкомъ, должно было наградить его душевнымъ миромъ; но это сдѣлалось только наполовину. Въ сердцѣ его рождается новый упрекъ самому себѣ, упрекъ въ невозвратной потерѣ мгновенія любви и сочувствія. Сожалѣніе о потерянномъ блаженствѣ еще не скоро уступаетъ мысли, начинающей мало-по-малу приобретать всю свою твердость. Для того, чтобы оправдать себя въ собственныхъ глазахъ (онъ считалъ себя виновнымъ!), Станкевичъ прибѣгаетъ къ извѣстной любимой имъ пьесѣ изъ Шиллера: «*Resignation*», стараясь почерпнуть въ ней убѣжденіе, что изъ двухъ цвѣтковъ, надежды и наслажденія, ему достался въ удѣлъ только первый, то спасается за объявленіемъ, что въ минуту свиданія онъ былъ боленъ и разстроенъ, то съ гордостью упоминаетъ о блаженствѣ потерять существо, съ которымъ *разлучила тебя твоя мысль*. Скорый отъѣздъ молодой особы свѣялъ съ души Станкевича послѣдніе остатки этой мгновенной бури, а новая возникающая привязанность скорѣе стала наполнять тѣ скоро исправимыя разрушенія, которыя прежняя оставила по себѣ.

Нѣтъ ничего легче, какъ посягать на подобныя противорѣчія съ самимъ собою, назвать ихъ романтизмомъ, идеализмомъ, рефлексіей и пожать плечами, сожалея о времени, которое утрачено человекомъ на подобные вздоры. Дѣйствительно, можно гораздо проще понимать отношенія между людьми. Два существа сошлись лицомъ къ лицу въ жизни — чего же болѣе? вотъ уже и пара. Такое очевидное, и какъ говорятъ обыкновенно, здоровое представленіе жизни, къ сожалеанію, сдѣлалось чуть ли не общимъ, благодаря исключительнымъ теоріямъ простоты и естественности. Есть запутанность болѣе почетная и нравственная, чѣмъ иная здоровая простота, поклонниковъ которой мы нынѣ встрѣчаемъ такъ много, даже въ молодыхъ людяхъ. Естественность ихъ требованій ясность ихъ поводовъ, прямое направленіе ихъ воли и душевно

дѣйствіе ихъ—все это только признаки ихъ испорченности. Человѣкъ, сходящій съ ума отъ призрака, конечно, достоинъ сожалѣнія, но человѣкъ, никогда не знавшій ничего, кромѣ ближайшихъ, житейскихъ цѣлей, врядъ ли не болѣе заслуживаетъ его. Станкевича, его тяжелые переходы отъ одной идеи къ другой, склонность исчерпывать все, что въ нихъ заключается—кажутся явленіями избранной натуры. Въ такихъ страданіяхъ выражается глубокое нравственное чувство, и изъ такихъ страданій дѣлать наконецъ мѣръ долга и чести, Побѣдивъ наконецъ игру физическихъ силъ и покоривъ ихъ волю, Станкевичъ обрѣтаетъ новую пріязнь, которая тоже идетъ навстрѣчу ему — но какаѣ разницы въ направленіяхъ! наученный опытомъ, онъ принимаетъ благоразумныя мѣры про- опасной короткости сношеній и собирается крѣпко стоять на- жѣ противъ того, что самъ называетъ братскою любовью <sup>1)</sup>. Эти предосторожности оказались вскорѣ ненужными, мысль его получила свободу, но дальнѣйшій опытъ показалъ ему воз- можность драмы и для подобныхъ отношеній. Мы видимъ изъ пере- писки Станкевича, что сближеніе и отдаленіе равно поставлялись въ вину, равно возбуждали подозрительность и даже горькія чувствія... И тутъ-то отрадно дѣйствуетъ на читателя привычка, ни на минуту не забывающаго во всѣхъ этихъ, конечно, ихъ волненіяхъ того уваженія, которымъ обязанъ онъ благо- му женскому лицу, а еще болѣе того уваженія даже къ не-

Нѣсколько позднѣе Станкевичъ изложилъ въ стихахъ впечатлѣніе, оставленное имъ его наклонностями. Онъ послалъ стихи въ „Молву“, прося напечатать ихъ именемъ: *Гирчико*. Вотъ они:

Два жизни.

Я. М. Н—у

Was ist das Leben ohne Liebesglanz?

SCHILLER.

Печально ндуть дни мои,  
Душа свой подвигъ совершила:  
Она любила — и въ любви  
Небесный пламень истощила.

Я два созданья въ мірѣ зналъ,  
Мнѣ въ двухъ созданьяхъ міръ явился;  
Одно я пламенно лобзалъ,  
Другому пламенно молился.

Двѣ дѣвы чтить душа моя,  
По нимъ тоскуетъ грудь младая,  
Одна роскошна какъ земля,  
Какъ небеса свята другая.

раздѣляемому чувству, которое составляетъ именно честь мужчины. Снисхожденіе къ нравственнымъ страданіямъ женскаго сердца было закодвонною чертой для Станкевича, которому онъ не могъ переступить. И такимъ образомъ, исторія первыхъ его наклонностей становится исторіей его моральнаго развитія, и молодая страсть, явившіяся съ годами, дѣлаются орудіями его усовершенствованія и приготавливаютъ изъ него, наравнѣ съ другими дѣятелями, полную благородный и поэтическій характеръ, какой мы и постараемся передать читателю въ дальнѣйшемъ описаніи нашемъ.

### III.

#### ПРАВСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТЪ ВЪ СТАНКЕВИЧѢ И ВЫХОДЪ ИЗЪ НЕГО.

Въ 1834 году, Станкевичъ покидаетъ университетъ, окончивъ курсъ и получивъ степень кандидата. Онъ тотчасъ же отправляется въ Петербургъ, какъ видно это по значительному перерыву въ его корреспонденціи съ другомъ (съ 11 марта по 27 апрѣля). Онъ и прежде собирався къ нему потолковать о многомъ, что не укладывалось на бумагу и лучше передается однимъ полусловомъ, чѣмъ цѣлыми страницами письма. Давнишнее желаніе его было теперь исполнено, и полтора мѣсяца, проведенные съ Я. М. Невѣровымъ въ Петербургѣ, принадлежать, по своимъ послѣдствіямъ, къ весьма важнымъ эпохамъ жизни Станкевича.

Въ Петербургѣ, вѣроятно, рѣчь шла объ отысканіи какого-нибудь существеннаго занятія, о значеніи службы, какъ дѣятельности, правильно и точно опредѣленной, о приготовленіи себя къ экзамену на магистра и о наблюденіи за своею наклонностію къ фантазіямъ, къ воображаемымъ задачамъ, которыя всѣ уже рѣшены историческимъ и другими путями. Все это сильно подѣйствовало на

И мнѣ-ль любить, какъ я любилъ?  
Я-ль пламень счастья разрушу?  
Мой другъ! дѣя жизни я отжилъ  
И затворилъ для міра душу.

1834 г.

Въ этой поэтической призмѣ, настоящія, жизненные черты событій до того сдѣлались, что послѣдній стихъ уже совершенно противорѣчитъ истинѣ, какъ скоро увидимъ.

уль Станкевича, да иначе и не могло быть: время мечтаній и предчувствій должно было прекратиться съ окончаніемъ университетскаго курса. Онъ понималъ, что стоитъ на окраинѣ жизни, и глазъ его охватывалъ необозримое поле существованія, которое разстилалось передъ нимъ. Надо было отискать мѣсто въ этомъ пространствѣ, а слова его опытнаго друга указывали ему на одно существенное условіе, которыя пріобрѣтается тамъ осѣдлость и права гражданства. Слѣдовало ограничить свои пытливые запросы, избрать родъ дѣятельности, приписаться, такъ-сказать, къ почвѣ, усмирить бродячую фантазію и навсегда отсѣчь у мысли своей поползновеніе къ философскимъ странствованіямъ по свѣту. Свобода представленія предметовъ еще могла быть допущена на студенческой скамьѣ, но въ человѣкѣ она должна уступить мѣсто благоразумной подчиненности общему пониманію ихъ. Проникнутый этими мыслями, Станкевичъ возвращается къ себѣ въ деревню, въ Удеревку, и приступаетъ къ труду образованія изъ себя скромнаго работника по какой-либо наукѣ. Выборъ его падаетъ на исторію, хотя дотогѣ никогда не приходило ему въ голову посвятить себя исключительно этому предмету. Правда и то, что насильственное избраніе рода дѣятельности, по приговору случайной нужды, сопровождается у Станкевича уже постоянно признаками душевнаго безпокойства и разлада съ собою, которыхъ онъ ни устранить, ни одолѣть не можетъ.

По прибытіи въ деревню, онъ устраиваетъ свои занятія, открывая ихъ обширнѣй, многостороннѣй чтеніемъ. Онъ начинаетъ съ Геродота, переходитъ отъ него къ Фукидиду, перечитываетъ Илиаду, Одиссею и старается дать систему своимъ упражненіямъ. Плодомъ этого неутомимаго чтенія остаются нѣкоторыя замѣтки о писателяхъ, а въ томъ числѣ превосходная характеристика Фукидида и его исторіи, которая, по нашему мнѣнію, въ 20-лѣтнемъ читателѣ обличаетъ весьма развитой историческій смыслъ. Указываемъ на письмо Станкевича отъ 20 ноября 1835 г., гдѣ содержится взглядъ его на *несправедливыхъ* Аѳинянъ, которыхъ, однакожъ, цѣлые города, какъ Платея, приносили себя въ жертву, на доблестныхъ Спартанцевъ, качества которыхъ менѣе трогательны, чѣмъ пороки Аѳинянъ, на длинныя рѣчи, влагаемыя Фукидидомъ въ уста своихъ героевъ, и на ихъ историческую достовѣрность—все это носить печать не совсѣмъ обыкновенной даровитости. Такъ около полугода проводитъ свое время Станкевичъ въ двухъ небольшихъ комнатахъ, не оштукатуренныхъ, а только вымазанныхъ. Два зеркальца въ одной изъ нихъ, со шкафчиками, набитыми книгами подъ ними; постель въ другой, украшенной еще портретомъ отца Станкевича, ружьемъ и ломбернымъ столомъ, составляли всю мебель; но видъ изъ обѣихъ

открывался прямо на дуга, поля и на главное строеніе. Изъ жизни своего Станкевичъ выходилъ только въ часы, посвященныя общими семейными собраніями, и на охоту.

Во все продолженіе этой тихой, сельской жизни, Станкевичъ видимо, старается сѣзнить для себя, если смѣетъ такъ выразитъ горизонтъ дѣятельности и остановить естественный ходъ своего витія, чтобъ какъ-нибудь попасть въ практическую сферу существованія, которая такъ поразила его въ Петербургѣ. «Я много занятъ тебѣ и Петербургу, говорятъ онъ: я началъ дорожить временемъ; теперь мнѣ совѣстно прошляться цѣлый день на охотѣ. Мысль объ экзаменѣ на степень магистра стоитъ на первомъ планѣ, а между тѣмъ его выбираютъ почетнымъ смотрителемъ Острогскаго уѣзднаго училища и, какъ кажется, по собственной его просьбѣ. Если министръ меня утвердитъ, прибавляетъ онъ, то у меня будетъ прекрасный мундиръ, а вице-мундиръ такой, какъ у тебѣ. Но дѣло тутъ было не въ мундирѣ, а въ рѣшимости отыскать занятіе, полезное въ обществѣ, простое и обыкновенное, смѣетъ къ тому еще побуждалъ его, кромѣ всѣхъ другихъ поводовъ, примѣръ, который находился въ собственномъ его семействѣ: о Станкевичѣ былъ одинъ изъ числа самыхъ свѣтлыхъ практическихъ умовъ своего времени. Съ обязанностями почетнаго смотрителя дѣлялась въ мысли нашего Станкевича вся та ограниченная, плодотворная сфера дѣятельности, которая остается человѣку по тому, какъ слишкомъ смѣлый полетъ мысли оказался пустою и стоятельною претензіей. Онъ собирается вывести изъ употребленія наказаніе *палками* въ школахъ, водворить ланкастерскую систему обученія въ приходскихъ училищахъ, написать первоначальный курсъ исторіи для низшаго преподаванія и проч. Онъ пробовалъ даже читать уроки, въ видѣ собственного испытанія, братьямъ одного изъ друзей своихъ и т. д. Слѣдуя все далѣе по тому же пути безразумнаго обузданія своихъ фантазій и стремленій, что уже самъ себя доказывало ненормальное состояніе его души, онъ восклицалъ и весьма искренно въ эту эпоху: «Честолюбіе мое насытилось, исполнивъ, еслибъ я со временемъ могъ сдѣлаться инспекторомъ казенныхъ училищъ въ какомъ-нибудь округѣ». Но природа вообще скоро поддается усиліямъ и волѣ нашей, хотя бы мы возставали на нее съ большимъ запасомъ рѣшимости и терпѣнія. Пламенное возмущеніе не скоро тухнетъ, а иногда горитъ даже тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше стараешься тушить его. Оно напоминало о себѣ Станкевичу поминутно. «Иногда ночью, пишетъ Станкевичъ, когда потушены свѣчи, когда воетъ вѣтеръ, чортъ знаетъ, чего не лѣзетъ въ голову: жизнь кажется скучною церемоніею, будущность безот-  
—

ма; вспоминаешь ничтожныя слова, сны; начинаешь хоронить друзей, чувствуешь тяжесть въ груди и засыпаешь безпокойно.... разсвѣтеть, и вся тоска пропала, и первое движеніе—молитва>... Упорѣ самого воображенія держится жажда полноты знанія и полноты жизни, разъ возбужденная въ дуплѣ нашей: противъ этой жажды безсильны все доводы разсудка. Ее нельзя смирить ни увѣщаніями, ни преслѣдованіями. Станкевичъ хорошо выражалъ присутствіе этого дѣятеля въ себѣ, когда говорилъ: «одна мысль объ *односторонности*, связанная съ мыслию о нравственномъ усыпленіи, въ состояніи все отравить для меня». Но когда воображеніе и потребность обширной дѣятельности совокупно возставали противъ ига, возложеннаго на нихъ, Станкевичъ встрѣчалъ ихъ съ удвоенною энергіей сопротивленія, испытывая себя до конца. Истощивъ все свои средства на эту борьбу, онъ прибѣгаетъ обыкновенно къ молитвѣ. «Я не молюсь о своемъ счастьи, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, съ меня довольно быть *человѣкомъ*. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ совершить подвигъ на землѣ; и если слезащій взоръ обратится къ нему съ другою, невольною молитвою, я говорю—но да будетъ, не яко же азъ хочу, но яко же ты хочещи». Наконецъ, съ теплою надеждой на успѣхъ обращается Станкевичъ къ одному еще остающемуся источу для безпокойной его мысли, когда все другіе выходы были у нея отняты или закрыты имъ самимъ: онъ собирается посвятить себя на воспитаніе молодого поколѣнія. Въ этомъ планѣ видитъ онъ обрѣтеніе того цѣлительнаго средства, которое должно окончательно примирить его съ собою. «Если у меня теперь есть, говоритъ онъ, какая-нибудь *idea fixe*, то это о воспитаніи въ духѣ нравственности и религіи, о возможности поддержать ее и о ускореніи всѣми силами человечества на пути его къ царствію Божію, къ чести, къ вѣрѣ». Но и этотъ планъ, такъ рѣшительно и смѣло принятый, свидѣтельствовалъ, по самой необъятности своей задачи, что онъ есть произведеніе иной силы, чѣмъ твердой и скромной готовности служить ближнему на всякомъ поприщѣ. Онъ былъ, какъ и все прочее, болѣзненнымъ крикомъ души, обузданной въ своихъ стремленіяхъ, но несколько не направленной къ истиннымъ своимъ потребностямъ. Такъ переживалъ Станкевичъ послѣдній искусъ, предшествующій возрасту мужества и крѣпости, и еслибы намъ ничего не осталось отъ Станкевича, кромѣ формы, въ которой выражались его страданія, то одна эта форма могла бы служить свидѣтельствомъ его теплой, истинно-человѣческой и богатой натуры.

Мы видѣли, какъ часто Станкевичъ ищетъ прибѣжища и утѣшенія въ религіозномъ чувствѣ. Природное влеченіе, конечно, звало

сто туда каждый разъ, какъ омраченное сознание требовало свѣта и помощи; но въ эту эпоху онъ съ удвоенною энергіей держится за обычнаго своего руководителя. Дѣло въ томъ, что и довѣріе къ любимой наукѣ, еще не изслѣдованной вполнѣ, тоже потрясено было вихремъ съ другими началами. Впрочемъ, поверхностное знакомство съ отдѣльными мыслями философскихъ системъ должно было освѣтить душу его тѣмъ слабымъ, мерцающимъ свѣтомъ, который не есть полная ночь, но такъ же далекъ и отъ отраднаго сіянія дня: нерѣшимость, томленіе и грусть бываютъ вообще неразлучными спутниками этихъ сумерекъ мысли. Возбужденное состояніе мыслящей способности, необходимое для укрѣпленія и дальнѣйшаго роста ея, выражалось у Станкевича общимъ сомнѣніемъ въ силѣ разума, сомнѣніемъ въ возможности соглашенія противоположныхъ ученій. Такъ продолжалось до начала 1836 года. Въ теченіи полутора года, этотъ свѣтлый и въ высшей степени совѣстливый умъ, какъ, по справедливости, выразился одинъ изъ друзей Станкевича о немъ, лишенъ былъ оснований и опирался только на Монтаньевское скептическое: «можетъ-быть». Дѣйствительно, оно служило ему какъ-бы временнымъ прибѣжищемъ, откуда, не переставая трудиться, искать и мыслить, ожидалъ онъ появленія дня и минуты выхода на твердую почву. Въ продолженіе этого срока, Станкевичъ отказался отъ всѣхъ претензій на творчество, сдѣлалъ строгую нравственную повѣрку существа своего, приготовляя въ себѣ мужа и будущаго дѣятеля, хотя въ 1835 году ему былъ только 22-й годъ. Когда же минуты грусти и сомнѣній слишкомъ отягощали его сердце, онъ погружался въ самого себя, въ религиозное свое чувство и тамъ уже находилъ спокойствіе, свободу и безопасность <sup>1)</sup>.

Задумчивый отъѣнокъ, который лежитъ на всей перепискѣ Станкевича, принадлежащей къ этому времени, еще усиливается, когда роковая болѣзнь, носимая имъ въ груди, начинаетъ возвышать свой голосъ. Еще и прежде исповѣдь Станкевича прерывалась жалобами на бѣдность и немощи своего организма; теперь, словно

<sup>1)</sup> Существуетъ повѣсть Станкевича „Нѣсколько мгновеній изъ жизни графа Т\*...“ (см. „Телескопъ“ 1834 г., часть 21) съ подписью Ф. Зоричъ, въ которой находятся черты, соответствующія психическому состоянію Станкевича около 1834 г. Въ ней сказались дума или предчувствіе автора относительно будущей судьбы своей. Тонъ повѣсти торжественный, лирический, и авторъ ея рисуетъ молодого человѣка, который преждевременно погибъ отъ полноты внутренней жизни, оставивъ послѣ себя любимую женщину и друга. Начало повѣсти особенно замѣчательно тѣмъ, что представляетъ картину развитія юной, благородной натурѣ, искавшей въ наукѣ дополненія неумолкающимъ требованіямъ чувства и въ страстномъ, религиозномъ чувствѣ послѣдняго слова науки. Черты эти, какъ мы видѣли и еще увидимъ, дѣйствительно составляли отличительную принадлежность глубоко-нравственной природы Станкевича.



уровень съ духовнымъ состояніемъ, физическая его оболочка поутно испытываетъ глубокія потрясенія, которыми не суждено ю миноваться, какъ первому. Въ теченіи трехъ годовъ его переездовъ, обнимающей время пребывания на службѣ, переездовъ изъ селъ въ деревню и обратно, большого вояжа на Кавказъ въ 36 и отправления за границу въ слѣдующемъ 1837 году,—лицо Станкевича безпрестанно сопровождается въ умѣ читателя призракъ смерти, который, кажется, слѣдитъ за нимъ неотступно. Но анное дѣло! болѣзнь вноситъ еще одну привлекательную черту его физіономію, надѣленную множествомъ обаятельныхъ подробностей. Изящество всего существа Станкевича нигдѣ не выразилось такою полнотою и силой, какъ въ способѣ говорить о своихъ страданіяхъ. То, что безобразитъ, раздражаетъ и лишаетъ человека настоящего характера, является у Станкевича въ видѣ грусти, тихой жалобы, освѣщаетъ лицо его удивительно кроткимъ, кинимъ свѣтомъ, способствуетъ къ уразумѣнію его души. Онъ пишетъ о своихъ страданіяхъ, какъ-будто рисуетъ картину съ художескою цѣлью, и поэтической элементъ является тутъ безъ вѣдома, только какъ естественная принадлежность его природы. Вотъ, примѣръ, одно мѣсто этого рода изъ трогательнаго и превосходнаго письма отъ 11 декабря 1834: «Что досаднѣе всего, — я не могу, какъ прежде, надолго предаться одной, постоянной мысли, которая бы совершенно меня наполнила; не могу жить, какъ думалъ, всякая другая жизнь для меня прозябаніе. Часто я Богъ знаетъ къ разфантазируюсь о своихъ подвигахъ, потребность дѣятельно — не дастъ мнѣ покоя — и что же? прочту нѣсколько строкъ — головѣ туманъ и опять отчаяніе... Я почти пересталъ заниматься... Знаешь ли ты стихотвореніе Пушкина: «Второе ноябрь»? — въ немъ изображеніе моей деревенской, зимней жизни. Теперь пишу къ тебѣ вечеромъ, на дворѣ воетъ метель, *свѣтъ темно нитъ, отъ грусти сердце нитъ*. Головѣ немножко отлегло, и я могу предаться сладкому раздумью: ты не можешь себѣ представить, къ отрадамъ бывають мнѣ рѣдкія минуты облегченія, — будь я музыкантъ, кажется, сталъ бы импровизировать; слова, слова, наплывъ раженіе опредѣленныхъ понятій, бѣгутъ меня, я боюсь всего опредѣленнаго, всего точнаго: это производитъ головную боль. Моцартъ Дюнь Жуанъ поддѣрпываетъ и утѣшаетъ меня больше всего». Тогда, впрочемъ, молодая жизнь, какъ-будто возмущенная жестоко приговоромъ судьбы, вступаетъ во всѣ права свои и дней пять, на шесть обрѣтаетъ снова энергію, бодрость и веселіе, сія должны бы всегда сопутствовать ей. Тогда (особенно, если реакція организма совпадала съ днемъ праздника и съѣздомъ

знакомыхъ въ одно мѣсто, какъ случилось въ новѣйшій 1835-й годъ. Станкевичъ предается живой натурѣ своей съ неописаннымъ увлеченіемъ; комическій талантъ его, способность перениманія чужихъ приѣмовъ, даръ забавныхъ разсказовъ и шутокъ развертывается шумно и свободно, онъ устраиваетъ гаданья, переряживанья, шутки, пляски, театръ, гдѣ самъ играетъ (и по обыкновенію очень хорошо). Какъ-будто желая забыться отъ физическихъ страданій и духовныхъ безпокойствъ, онъ встрѣчаетъ 1835-й годъ пѣсенкой Гюго:

La tombe est noire,  
Les jours sont courts,  
Il faut, sans croire  
Aux faux discours,  
Très souvent boire —  
Aimer toujours.

и сравниваетъ минутное свое увлеченіе съ чуднымъ мѣстомъ Моцартоваго Донъ-Жуана: *treibt der Champagner*. Но энергія испаряется, какъ пѣна шампанскаго; напряженное веселіе исчезаетъ въ усталости, и болѣзнь, послѣ краткаго отдыха, снова даетъ чувствовать свою горькую отраву, свое ничѣмъ непритупимое жало. Надо читать у Станкевича описаніе этихъ переходовъ и испытать на себѣ драматическое свойство ихъ: тогда только становится понятна борьба молодыхъ силъ въ возрастающемъ недугѣ.

„ . . . . Огни погашены,  
Гирлянды сняты со стѣн“,

говоритъ Станкевичъ въ одномъ мѣстѣ, «и мнѣ стало грустнѣе прежняго! какъ-будто судьба издали, на мгновеніе, показала мнѣ радости жизни, чтобъ я зналъ, чѣмъ она меня лишаетъ». Слова текутъ его жалобы, по обыкновенію исполненныя такою граціею и скромностію, что невольно удивляешься человеку, способному такъ смотрѣть на свои страданія. Впечатлѣніе удваивается, когда видишь вѣстѣ съ тѣмъ, что требованія нравственнаго рода не покидаютъ Станкевича ни на минуту, и что онъ ужасается своей болѣзнію не столько за дѣйствіе ея на тѣло, сколько за дѣйствіе ея на душу. «Убийственна для меня мысль: болѣзнь похищаетъ у тебя душевную энергію; ты ничего не сдѣлаешь для людей. Природа, можетъ-быть, дала тебѣ средства стать, если не выше толпы, то въ переднихъ рядахъ ея, а болѣзнь забиваетъ въ середину». Немного далѣе, онъ уже возвращается къ личному своему характеру, ужасаясь возможности его порчи вслѣдствіе долгаго гнета физической немощи. «Послѣднее письмо твое утѣшило меня, наставило. Да, я буду мужемъ, я притерплюсь къ боли, но жаль, если я сдѣлаюсь холод-

ниги стоикомъ: я отъ себя этого не надѣялся.» Стоикомъ онъ не сдѣлался и до кончины сохранилъ въ цѣлости всю нравственную основу свою.

Въ концѣ января 1835 г., Станкевичъ отрывается отъ деревни и уѣзжаетъ въ Москву, встрѣчая съ обыкновенною радостію знакомый городъ, къ которому онъ всегда чувствовалъ непреодолимую любовь. Радость была на этотъ разъ, можетъ-статься, слѣдствіемъ предчувствія. Въ Москвѣ нашелъ онъ, во-первыхъ, опору для мысли, разрѣшеніе своихъ колебаній въ твердой рѣшимости продолжать прежде начатое дѣло философскаго образованія, а во-вторыхъ, неожиданную любовь, потребность которой была у него равносильна со всѣми другими потребностями.

Оставляемъ нѣкоторыя подробности, касающіяся послѣдняго обстоятельства, которыя, какъ увидимъ, не лишены своего рода поученія, до слѣдующей главы, а теперь займемся преимущественно исторіей возстановленія умственныхъ наклонностей Станкевича и утвержденія ихъ на почвѣ, уже болѣе не измѣнявшей ему никогда. Тотчасъ по прибытіи въ Москву, Станкевичъ, по собственнымъ его словамъ, *нечаянно попалъ* на Шеллинга. Въ этой случайности есть однако-жъ, что бы онъ ни говорилъ, нѣкоторая послѣдовательность. Нечаянность тутъ должна пониматься не въ смыслѣ перваго слуха о системѣ, а въ смыслѣ перваго дѣльнаго изученія ея: Станкевичъ попалъ только на прилежное изученіе источниковъ науки, которою занимался и прежде. Онъ предался изученію тѣмъ съ болѣшимъ рвеніемъ, чѣмъ сильнѣе сдерживалъ его во все время пребыванія въ деревнѣ. Со всѣмъ тѣмъ какое-то опасеніе еще мѣшаетъ ему отерять тайну петербургскому товарищу; но какъ дружба имѣетъ своего рода обязательства и законы, то Станкевичъ рѣшается сообщить ему въ формѣ шутки о новомъ, или лучше возобновленномъ своемъ направленіи. «Съ Ключниковымъ, говоритъ онъ, мы читаемъ одинъ разъ въ недѣлю Шеллинга: *это пріемъ самый умѣренный*. Мы хотимъ непременно вполне понять его, ясно увидѣть ту точку, до которой могъ дойти умъ человѣческій въ свою долговременную жизнь...» и проч. Эти уклончивыя строки, въ которыхъ цѣлю изученія философіи становится не сама она, а постороннія соображенія—написаны въ мартѣ 1835 г., когда изученіе Шеллинга сдѣлало у Станкевича значительные успѣхи. Между тѣмъ, въ томъ же году, Станкевичъ близко сходитса съ молодымъ офицеромъ, только что вышедшимъ въ отставку и прочитывавшимъ отъ скуки французскіе трактаты о сенсуализмѣ, какъ началъ всякаго познанія. Станкевичъ засаживаетъ его прямо съ Кондильяка за Гегеля, потому что и самъ уже перешелъ, втайнѣ отъ петербургскаго друга,

къ системѣ этого мыслителя, производившей тогда сильное волненіе въ Германіи. Молодой офицеръ оказался человекомъ необычайно логическаго ума, отличавшагося строгимъ, сжатою діалектикою, и врожденными способностями къ философскимъ занятіямъ, способностями, которыя помогали ему легко отерывать живой смыслъ въ мнѣхъ сухихъ отвлеченностяхъ. Усиленный морально этою помощію еще болѣе поддерживаемый сущностію самаго ученія Гегеля, въ торомъ онъ искалъ выѣтъ со всѣми товарищами примирительныя отвѣты на всѣ свои вопросы, Станкевичъ перебиваетъ тогъ возвышаетъ голосъ при заглавной бесѣдѣ съ отсутствующимъ петербургскимъ другомъ. Какъ и слѣдовало ожидать отъ его гуманной природы, прежде всего старается онъ передать убѣжденія, почерпнутыя въ науку, сдѣлать товарища причастникомъ общаго ея достоянія, и слова его исполнены достоинства, теплоты, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свѣтлой, неотразимой истины. Мы не можемъ располагать письмами Станкевича въ нашемъ біографическомъ очеркѣ и должны ограничиться немногими выдержками. Вотъ одна изъ нихъ, писанная Станкевичемъ въ концѣ этого замѣчательнаго года (20 дека 1835): «Я знаю твои старыя замѣтки. Ты всегда былъ противъ философіи, и ты правъ въ отношеніи къ себѣ. Душа у тебя не наполнилась *убѣжденіемъ*. Я самъ нѣкогда *убѣжденъ*, но сообщилъ ихъ людямъ въ намѣхъ вѣкъ иначе нельзя, какъ доведши ихъ нѣкоторой степени знанія. Кромѣ этого, признаюсь тебѣ, другъ и ходъ человѣческаго ума, его стройное развитіе и приращеніе, вѣная истина, облекающаяся въ разныя одежды, соответственно вѣи народу, и все болѣе и болѣе являющаяся своею сущностію—ка явленіе можетъ быть занимательнѣе?... Ты говоришь, что я все ошибался въ призваніи. Иногда. Это участь всѣхъ. Но философъ я не считаю своимъ призваніемъ; она, можетъ-быть, ступень, черъ которую я перейду къ другимъ занятіямъ; но прежде всего я долженъ удовлетворить этой потребности. И не столько манитъ и рѣшеніе вопросовъ, которые болѣе или менѣе рѣшаетъ вѣра, сколько самый *методъ*, какъ выраженіе послѣднихъ успѣховъ ума. Я е болѣе хочу убѣдиться въ достоинствѣ человека и, признаюсь, : тѣлъ бы убѣдить потомъ другихъ и пробудить въ нихъ высшіе интересы». Есть еще нѣкотораго рода осторожность въ этихъ с вахъ, но въ нихъ уже замѣтно, что мысль Станкевича начинае освобождаться отъ предубѣжденій относительно любимаго сво предмета. Годъ времени прошель не даромъ для Станкевича. Мелъ прочимъ, Вѣлинскій, съ обыкновенною своею живостію и послѣ вательностію доведши скваченныя имъ идеи новой системы, ка извѣстно, до крайняго ихъ смысла, передъ которымъ самъ оста

мися, занялся въ это же время редакціею журнала «Телескопъ», перешедшаго къ нему съ № 7 (1835), по случаю отъѣзда редактора Н. И. Надеждина за границу. Рядомъ статей, слѣдовавшихъ одна за другою <sup>1)</sup>, онъ тотчасъ же превратилъ «Телескопъ» изъ эклектическаго, поверхностнаго и какъ-то беззаботно-умнаго журнала въ критическій журналъ, съ эстетическимъ характеромъ, съ ясною и строгою цѣлью—опредѣлить отношенія литературныхъ дѣятелей къ поэзіи, мысли, обществу и нравственности. Малая опытность Бѣлинскаго въ хозяйственной части помѣшала ему вести журналъ одинаково равно; но время его завѣдыванія (по декабрь 1835) <sup>2)</sup> все-таки отличило «Телескопъ» отъ предшествовавшей и послѣдующей редакцій. Въ журналѣ его (№ 13, 14 и 15, 1835 г.) Станкевичъ помѣстилъ большую переводную статью: «Опытъ о философіи Гегеля», соч. Вильма, да Станкевичу же, какъ намъ кажется, принадлежитъ и переводъ статьи Минье: «Лютеръ на Ворискомъ сеймѣ», напечатанной въ № 8 журнала того же года. Между тѣмъ переписка его съ Я. М. Невѣровымъ продолжается безостановочно. Въ половинѣ слѣдующаго 1836 года онъ уже выступаетъ передъ нами съ откровенною защитой ума, какъ первенствующей душевной способности. Это уже былъ полный выходъ къ наукѣ, и Станкевичъ становится къ ней съ этого времени въ симпатическія отношенія, исполненныя довѣренности и надежды... Не мало способствовалъ установленію этого гармоническаго союза и предметъ его изученій, германская философія, объяснявшая участіе разума во всей вѣковой жизни человѣческаго рода. Опираясь на нее и на собственныя убѣжденія, укрѣпленныя ею, Станкевичъ уже пишетъ слѣдующія строки отъ 21 сентября 1836 года: «Человѣкъ, который имѣетъ душу, любитъ искусство и сознаетъ что-то похожее на разумъ и гармонию въ кучѣ разныхъ разностей, которую онъ называетъ природою, человѣкъ, который вѣритъ иногда уму, напримѣръ, хоть въ томъ, что  $5 \times 5 = 25$ , не долженъ бояться свободнаго хода мысли ни въ какомъ отношеніи. Ты никакъ не можешь сказать: умомъ не разрѣшить сомнѣній... Ты, который признаешь разумъ и любовь міра, ты отрицаешь совершенство, ты находишь явную нецѣльность въ организаціи ума, который есть вѣнецъ созданія.... Каждое созданіе есть совершенство; одинъ умъ имѣетъ потребности, которыхъ онъ удовлетворить не можетъ, одинъ онъ уродъ въ Божьемъ созданіи, из-

<sup>1)</sup> Вотъ перечень ихъ: статья «О Русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя»; подробные разборы: «Стихотвореній г. Баратынскаго», «Стихотвореній Владимира Бѣдикова» и «Стихотвореній Кольцова».

<sup>2)</sup> Бѣлинскій успѣлъ до января 1836 года издать всего шесть книжекъ, именно съ № 7-го по 14-й. Остальныя доданы были въ теченіи 1836 г. самимъ Надеждинымъ.

гнаникъ изъ общей гармоніи, и это оторванное звено вселенной называется частицею Божества. Такое убѣжденіе — нелѣпость. Да и чѣмъ передается тебѣ убѣжденіе? не умомъ ли? Развѣ убѣжденіе не есть мысль, мысль, одобряемая цѣлымъ разумніемъ, которое невольно и безотчетно сознаетъ свое единство съ нею?...» Какъ желая отвѣчать на самыя затасанныя сомнѣнія друга, Станкевичъ пишетъ еще цѣлую оригинальную статью: «О возможности философіи, какъ науки», которая не нашлась въ его бумагахъ и участь которой, къ сожалѣнію, намъ неизвѣстна. Понятно послѣ того, что онъ не могъ удовольствоваться уступкою, которую Я. М. Невѣрова волею и неволею долженъ былъ сдѣлать для философіи, признавая въ занятіи ея своего рода пользу, какъ и во всякомъ другомъ занятіи. Станкевичъ возражалъ полу-шутливо и полу-серьезно, но твердо, говоря, что подобнаго рода уваженіе къ философіи хуже вражды къ ней и не заслуживаетъ никакой благодарности съ ея стороны. Вѣстѣ съ тѣмъ, Станкевичъ объясняетъ, что путь его избранъ навсегда, и во избѣжаніе будущихъ недоразумѣній, тутъ же предлагаетъ новое правило для взаимныхъ отношеній: не смотрѣть на равенство мнѣній другъ у друга и помнить, что связь ихъ основана не на мнѣніяхъ, а на сочувствіи, какое всегда бываетъ у людей, одинаково полюбившихъ добро (письмо 1836 г. октября). Конечно, другъ его былъ встревоженъ этимъ изложеніемъ основаній, этимъ *profession de foi*, разграничивающимъ область дружбы и правъ ея отъ области мышленія, гдѣ всѣ ея права безсильны. Новымъ письмомъ отъ 25-го января 1837 года Станкевичъ успокоиваетъ его, но удерживаетъ дѣленіе свое и смотритъ на него, какъ на дѣло, совершенно порѣшенное и неизбѣжное. Ему представляется одна только связь — основанная на единствѣ стремленій къ добру, познанию, любви. «Безъ нея, прибавляетъ Станкевичъ, сходныя понятія такъ же мало упрочатъ дружбу, какъ одна привычка, которая имѣетъ силу только при другихъ важнѣйшихъ условіяхъ. Нѣтъ, мы никогда не разойдемся: отчего я такъ убѣжденъ въ этомъ?» Такимъ образомъ, вліяніе друга, вначалѣ столь благотѣльное для Станкевича, было теперь пережито. Станкевичъ шелъ своимъ путемъ, а отъ невольнаго предчувствія, что можетъ идти далеко, — самая переписка его въ послѣднее время мало-по-малу принимаетъ твердый, поучающій характеръ. Станкевичъ начинаетъ говорить, какъ человѣкъ въ власти имѣющій, достигшій уже извѣстной высоты и поджидающій къ себѣ другого... Онъ становится учителемъ.

Около того же времени возникаетъ у Станкевича другая, не менѣе замѣчательная переписка съ лицомъ, столь извѣстнымъ въ нашемъ ученомъ и литературномъ мірѣ, съ Т. Н. Грановскимъ.

Грановскаго Станкевичъ узналъ только въ февралѣ 1836 года, когда тотъ проѣзжалъ черезъ Москву на пути въ деревню къ роднымъ своимъ. Грановскій ѣхалъ проститься съ ними, собираясь въ путешествіе за границу, куда посылаемъ былъ для приготовленія къ занятію каедръ исторіи. 4-го мая 1836 года состоялось, действительно, въ Петербургѣ опредѣленіе объ отправленіи его, и слѣдъ за тѣмъ онъ уѣхалъ. Въ Москвѣ пробылъ онъ весьма короткое время, можно сказать, нѣсколько мгновеній, но этихъ мгновений уже достаточно было, чтобъ затащить между двумя людьми, отчасъ же понявшими другъ друга, самую близкую и крѣпкую нить.

По прибытіи въ Берлинъ и, какъ извѣстно, съ запасомъ довольно скудныхъ свѣдѣній, Грановскій, можно сказать, былъ приведенъ въ ужасъ необъятнымъ полемъ нѣмецкихъ историческихъ разысканій, которое открылось передъ нимъ. На него напалъ страхъ и уныніе. Сомнѣніе въ своихъ силахъ и въ возможности одолѣть всю эту массу ученыхъ изслѣдованій, сомнѣніе, хорошо извѣстное всякому, о добросовѣстно начинаеть какое-либо дѣло, отразилось въ его сѣнахъ. Должно-быть, онъ слишкомъ много далъ въ нихъ мѣста чаянію и грусти, потому что Станкевичъ, по прочтеніи ихъ, сказалъ: «Сухое страданіе—нехорошій признакъ... Обстоятельствамъ надо давать волю надъ собою; есть отрада въ чувствѣ свободы, которая въ самой скорби сознаетъ свое могущество.» Вообще при- да Станкевича не могла выносить страданія безъ облегчительной нѣмѣси поэзіи, и въ сухомъ страданіи, какъ онъ выражается, онъ когда наклоненъ былъ подозрѣвать грубо-эгоистическое основаніе. Онъ послѣшилъ на помощь новому другу письмомъ изъ Пятигорска, въ тогда находился (отъ 14 іюня 1836 года). Въ этомъ замѣчательномъ письмѣ, которое мы особенно рекомендуемъ читателю, онъ оляетъ Грановскаго положить въ основу своихъ трудовъ—идею, быть міросозерпаніе, на которомъ правильно и легко расположатся хіе факты, весь матеріалъ науки. «Мужество, твердость, Грановскій! восклицаетъ онъ, не бойся этихъ формулъ, этихъ костей, которыя облечутся плотію и возродятся духомъ по глаголу Божію, по глаголу души твоей. Твой предметъ—жизнь человѣчества: ищи же въ этомъ человѣчествѣ образа Божія; но прежде приготовься трудными испытаніями—займись философіею! Занимайся тѣмъ и другимъ: и переходы изъ отвлеченной къ конкретной жизни и снова углубленіе въ себя—наслажденіе! Тысячу разъ бросишь ты книги, тысячу разъ отчаешься и снова исполнишься надежды; но вѣрь, вѣрь—и путемъ своимъ.» Но не все еще было сказано имъ. Грановскій, какъ видно, приведенъ былъ даже къ сомнѣнію въ своемъ

призваніи: профессорская кафедра казалась ему предметомъ, находящимся внѣ его силъ, средствъ, способностей. Станкевичъ пишетъ второе письмо, уже по возвращеніи своемъ въ деревню съ Кавказа, отъ 29 октября 1836 года. Соглашаясь съ мыслию, что не такъ-то легко угадать свое призваніе, Станкевичъ строго возбраняетъ себѣ совѣты въ родѣ: «прислушайся къ душѣ твоей и ступай на зовъ ея», потому что въ извѣстные годы многое влечетъ человѣка съ одинаковою силой, да и многое есть въ воспитаніи, что мѣшаетъ душѣ произнести вѣрный приговоръ. Призваніе часто опредѣляется случаемъ, внезапнымъ чувствомъ, неожиданными обстоятельствами. Станкевичъ выбираетъ лучшую форму совѣта: онъ рассказываетъ Грановскому собственную свою жизнь, со всеми ея неопредѣленными стремленіями и съ долгими колебаніями. Исповѣдь Станкевича рѣшается ны привести здѣсь цѣликомъ, потому что она кратко, но вполне перечисляетъ все то, о чемъ мы до сихъ поръ говорили въ нашемъ біографическомъ очеркѣ. Этою драгоценною исповѣдью, такъ живо рисующею передъ нами благородное лицо самого автора ея, заключаетъ мы и исторію послѣдней его борьбы съ своимъ призваніемъ. Онъ обрѣлъ снова старое направленіе, но въ лучшемъ и просвѣтленномъ видѣ. Съ тѣхъ поръ онъ слѣдовалъ ему до конца жизни, расширяя и совершенствуя его наукой, но не измѣняя ему никогда.

«Чтобъ намъ лучше понимать другъ-друга, начинаетъ Станкевичъ, я расскажу тебѣ въ немногихъ словахъ исторію моей душевной жизни, исключивъ изъ нея все, что относится къ *домашнему быту* моей души: это дѣло постороннее. Эта исторія, можетъ-быть, похожа на китайскую; но пусть будетъ такъ. Мальчишка четырнадцати лѣтъ, я *иршилъ стихами*, по вѣрному выраженію одного чудака. Я не безъ души, если она во мнѣ и не имѣетъ большихъ достоинствъ. Мараа бумагу и вытягивая метафоры и пышныя фразы, ногдат что нибудь и чувствовалъ, особенно въ послѣднюю эпоху моего стихотворства, когда я вышелъ изъ-подъ опеки *учителя поэзи* и началъ понемножку лучше понимать сущность искусства и нѣкоторыя стороны жизни. Лекціи Надеждина, какъ ни были онѣ недостаточны, развили во мнѣ (сколько могло во мнѣ развиться) чувство изящнаго, которое одно было моимъ наслажденіемъ, одно — моимъ достоинствомъ и, можетъ-быть, моимъ спасеніемъ! Со всемъ этимъ, Грановскій, я не понималъ жизни, я не имѣлъ цѣли, я былъ такъ мелокъ и ничтоженъ, что стыжусь вспомнить! Я увлекался мнѣніями недалекихъ людей, я *дорожилъ* мнѣніемъ свѣтской черни, мнѣ казалось стыдно не имѣть знакомыхъ, казалось необходимо быть въ свѣтѣ и стараться играть въ немъ какую-нибудь роль. Я говорю тебѣ все это, не запинаясь. Вышедши изъ университета, я



е зналъ, за что приняться—и выбралъ исторію. «Давай займусь» — отъ каковъ былъ этотъ выборъ. Что я въ ней видѣлъ? Ничего. Просто это было подражаніе всѣмъ, вліяніемъ людей, которые не вѣрили теоріи, привычка къ недѣятельности, которая дѣлала страшнымъ занятіе философіей и изрѣдка обдавала какимъ-то холодомъ вѣрѣнію въ достоинству ума. Шеллингъ, на котораго я попалъ почти ечаянно, опять обратилъ меня на прежній путь, въ которому пришла-было эстетика — и съ тѣхъ поръ болѣе и болѣе, при всей оей недѣятельности, я началъ сознавать себя. Грановскій, вѣришь ли? Оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что въ одной всеобъемлющей идее — нѣтъ знанія; что жизнь есть самонаслажденіе любви, и что все другое—призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полного единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнію цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи одной идеи. Что-бъ ни вышло, одного этого я буду скать...»<sup>1)</sup>

Спѣшимъ сдѣлать одно замѣчаніе. — Легкій отзывъ Станкевича пользы, принесенной ему изученіемъ исторіи, вызванъ его скромностію и потомъ неоднократно опровергается имъ самимъ въ дальѣйшемъ ходѣ переписки.

Остановимся здѣсь на минуту. Воспитаніе Станкевича, начатое вмецкою поэзіей, завершается, какъ видимъ, философіей. Что это или настоящее нравственное воспитаніе, доказывается замѣчательнымъ восклицаніемъ Станкевича: «искусство, можетъ-статься, было или спасеніемъ!» Дѣйствительно, оно, какъ старались мы показать режде, оторвало съ неудержимою силою воображеніе, идеи и национности его отъ того уровня, гдѣ, при отсутствіи сильнаго дви-

<sup>1)</sup> Приводимъ еще нѣсколько отрывковъ изъ окончанія этого во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнаго письма, особенно какъ примѣръ твердости и полной зрѣлости, какія наступили для мысли Станкевича въ эту эпоху. „Теперь ты занимаешься исторіей: бери ее какъ поэзію,—прежде нежели ты свяжешь ее съ идеею,—какъ картину разнообразной и причудливой жизни человѣчества, какъ задачу, которой рѣшеніе не въ тебѣ, а въ тебѣ... Ты скорбишь о томъ, что едва знаешь имена тѣхъ людей, которыхъ миллеръ называлъ великими. Не говоря о томъ, что насчетъ величія можно имѣть изныя понятія съ Миллеромъ, я скажу одно: что за потребность узнать о того, и другого, и третьяго? Ты узнаешь ихъ тогда, когда въ тебѣ будетъ вопросъ, котораго ршенію они могутъ способствовать. Всякое чтеніе полезно только тогда, когда къ нему приступаешь съ опредѣленною цѣлію, съ вопросомъ. Работай, усиливай свою ительность, но не отчаивайся въ томъ, что ты не узнаешь тысячи фактовъ, которые кажутся другой. Конечно, твое будущее назначеніе обязываетъ тебя имѣть понятіе обо емъ, что сдѣлано для твоей науки до тебя; но это пріобрѣтается легко, когда ты можешь главное основаніе своему знанію, а это основаніе скрѣпишь идеею. Тогда, вѣрь, бѣглое чтеніе больше сдѣлаетъ пользы, нежели теперь изученіе“.

гателя, онъ легко и скоро мельчаютъ и вырождаются. Роль философіи была еще значительнѣе у насъ. Извѣстно, что нигдѣ нѣтъ недостатка въ искушеніяхъ; но искушенія тамъ опаснѣе, гдѣ не носятъ признаковъ своего мутнаго происхожденія и гдѣ потеряли силу беспокоить совѣсть человѣка. Противъ такихъ-то опасностей, противъ нечистыхъ движеній сердца, какъ бы тонки и ничтожны они ни были, противъ порочнаго снисхожденія къ самому себѣ, стояла у насъ философія. Кто не былъ исполненъ философскимъ содержаніемъ весь, до мыслей, опредѣляющихъ волю и поступки, тотъ еще, въ эту горячую эпоху молодости, не считался послѣдователемъ философіи. Задача, конечно, во многихъ случаяхъ неисполнимая: но важно то, что она была поставлена. Никогда не заслоня собою ни математическихъ, ни естественныхъ, ни всякаго другого рода наукъ, она была у насъ домашнимъ дѣломъ, приучавшимъ умъ искать нравственные законы для каждаго явленія въ мірѣ и обращавшимъ все вокругъ себя въ разумное существо, надѣленное словомъ, поученіемъ и мыслию. Но, скажутъ, надежды Станкевича были несбыточны, и опытъ послѣдующихъ годовъ не подтвердилъ тѣхъ ожиданій отъ философіи, какими исполнены были, вмѣстѣ съ ними, многіе свѣтлые умы въ Европѣ. Намъ замѣтять, что наблюденіе фактовъ породило цѣль изумительнѣйшихъ и благодѣтельнѣйшихъ для человѣчества открытій, которая еще далеко не кончилась, а философскія мечтанія почти уже оставлены и въ первоначальной родинѣ ихъ, Германіи. Позволительно усомниться, чтобы какая-либо образованность рѣшилась отказаться навсегда отъ потребности вопрошать разумъ въ его независимой дѣятельности, опирающейся на собственные силы, но мы принимаемъ и это замѣчаніе. Такъ же точно легко согласиться и съ тѣми, которые замѣтять, что Станкевичъ многими увлекался, хотя слѣдуетъ прибавить, что онъ именно увлекался всѣми тѣми, чѣмъ хорошо увлекаться въ его годы: только изъ подобной довѣрчивой и страстной молодости образуется жизнь, которая—какъ бы потомъ ни сложилась и на что бы ни была посвящена—всегда будетъ добрымъ служеніемъ людямъ, добрымъ служеніемъ обществу. Всѣ эти оговорки ничего не стоятъ для біографа, занятаго преимущественно изображеніемъ характера и вѣрною передачей лица. Для него достаточно, если онъ можетъ показать элементы, входившіе въ развитіе того и другого въ ихъ настоящемъ значеніи. Искусство и философія сдѣлали Станкевича человѣкомъ, котораго одно присутствіе настраивало окружающихъ на правду, на презрѣніе къ темнымъ дѣяніямъ грубости и произвола, на сохраненіе въ моральной чѣлости души своей и на созерцаніе всего

ра, какъ единой жизни, исполненной смысла, поэзии и глубокаго ученія.

Теперь, когда онъ нашелъ сферу дѣйствія, и когда жизнь его какъ-бы приняла одинъ основной цвѣтъ намъ уже легко наметить глѣбшія событія ея, весьма несложныя, но занимательность которыхъ кажется въ подробномъ изложеніи, составляющемъ содержаніе слѣующихъ главъ.

Болезнь не позволила ему заняться обязанностями почтнаго истрителя съ тою строгостію, какую положилъ онъ для себя въ началѣ. Это, какъ и многое другое, отошло къ числу несбывшихся плановъ. Необходимость и особенныя причины, заключавшіяся въ го сердцѣ, о которыхъ будемъ говорить скоро, заставили его прожить въ Москвѣ, почти безвыѣздно, съ малыми отлучками въ деревню, двѣ зимы 1835—36 г. Должность при этомъ, разумѣется, вышла изъ головы. Точно то же, и по тѣмъ же причинамъ, случилось и съ проектомъ экзамена на степень магистра: занятія его изпрестанно нарушаются досаднымъ внимательствомъ болѣзни, отнимавшей прежде всего нравственныя силы, и мыслями, развлекавшими его умъ, когда онъ становился способенъ къ занятіямъ. Экзаменъ откладывался постепенно, сперва къ концу 1835 года, потомъ къ эпохѣ возвращенія съ Кавказа; а по возвращеніи съ Кавказа, въ августъ 1836 года, Станкевичъ уже занятъ проектомъ гѣзда за-границу для окончанія, во-первыхъ, своего образованія, вторыхъ, для возможной помощи недугу, и скажемъ, для успокоенія страданій своего сердца. Экзаменъ уже отлагается ко времени возвращенія изъ-за границы. Недугъ одолевалъ Станкевича. Я нигуда не выхожу, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, и ничего почти не ѣмъ: аппетиту вовсе нѣтъ; за то пилъ бы, пилъ бы, а пить тоже ничего нельзя — все вредно.» Былъ у него еще планъ solo 1836 года—посѣтить въ Петербургѣ стараго друга; но вниманію того болѣзни и другія обстоятельства погнали его, какъ ни идѣли, на кавказскія воды. Въ мартѣ 1837 г. Станкевичъ, уже окончательно разстроенный, слегъ въ постель и былъ близокъ къ смерти. Поспѣшно начинаетъ онъ хлопотать объ отставкѣ и паспортѣ, не зная, съ чего и какъ начать. Онъ убѣдительно зоветъ друга, собравшагося тоже за-границу, отправиться въ путешествіе вмѣстѣ, и томится въ неизвѣстности объ успѣхѣ своихъ просьбъ. Съ одра болѣзни посылаетъ онъ письмо за письмомъ въ Петербургъ, требуя извѣстій, въ какомъ положеніи дѣла его. Обстоятельства и тутъ измѣнили все планы его: Я. М. Невѣровъ отъѣзжаетъ весной 1837 г. за-границу одинъ, прямо изъ Петербурга, на пароходѣ, а Станкевичъ получаетъ паспортъ въ августъ того же года. Изнурен-

ный болѣзнію и нравственнымъ безпокойствомъ, съ трудомъ добирался онъ, по сухому пути, до Бракова (въ сентябрѣ мѣсяцѣ); но чѣмъ далѣе подвигается внутрь Германіи, тѣмъ становится бодрѣе, и довѣрчивѣе смотритъ впередъ. Шутка и юмористическое состояніе духа къ нему возвращаются. Дорога и трехнедѣльное пребываніе въ Карлсбадѣ возстановили его, если не физически, то нравственно, но это было главное. Въ Берлинѣ, куда онъ прибылъ въ октябрѣ мѣсяцѣ, мы находимъ уже Станкевича въ новомъ и чрезвычайно замѣчательномъ состояніи духа, съ котораго и начинаемъ третій, послѣдній періодъ его жизни.

#### IV.

#### ХАРАКТЕРЪ СТАНКЕВИЧА И ЕГО КРУГА.

Поэзія и мысль раскрыли въ характерѣ Станкевича, уже счастливо образованномъ самою природою, такія стороны, которыя, составивъ отличительное его свойство, были вмѣстѣ съ тѣмъ отрадой и поученіемъ для многихъ людей. Эти двѣ силы, образовавшія Станкевича, такъ срослись со всѣмъ его существомъ, что развитіе его характера дѣлается похожимъ на развитіе ихъ самихъ въ формѣ личности, въ живомъ человѣческомъ образѣ. Поэзія и мысль чувствуются попережнѣнно или въ одно и то же время, какъ основной мотивъ, почти во всѣхъ его поступкахъ, словахъ и начинаніяхъ. Сила этихъ неразлучныхъ спутниковъ Станкевича дѣйствовала такъ же просто и такъ же неотразимо на другихъ, какъ любое естественное явленіе: стоило подойти къ нему, чтобъ ихъ почувствовать. Мы не даромъ сказали, что одно его присутствіе сообщало окружающимъ нѣчто похожее на теплое, радостное чувство: его можно было и тогда сравнить съ подземнымъ ключомъ, существованіе котораго узнается по одной роскоши зелени, распространяемой имъ въ кругѣ своего вліянія. Взаимное дѣйствіе двухъ основныхъ элементовъ, жившихъ въ Станкевичѣ, поставило его на какомъ-то особенно широкомъ основаніи. Онъ никогда не былъ исключительно философъ, занимающійся отвлеченіемъ и логическими постройками безъ усталы, также какъ не былъ обожатель искусства до забвенія природы, или любитель природы, который принадлежитъ обществу только за невозможностію его избѣгнуть. Онъ былъ какъ-то дома во всѣхъ этихъ сферахъ и обращался въ нихъ съ равною свободой; способность сосредоточиваться въ идеѣ не лишала его способности постигать явле-

нія жизни во всей ихъ индивидуальности, серьёзные цѣли мышленія не притупляли его живой воспримчивости; онъ также легко всходилъ на высоту отвлеченія, какъ и спускался съ нея; душа его находила себѣ столько же пищи въ произведеніи искусства, сколько и въ уединенныхъ поляхъ и рощахъ его Удеревки. Созерцаніе идеала и живая красота женщины отражались въ немъ съ равной силой, потрясая всѣ струны его сердца и внушая тѣ глубокія соображенія, которыя находилъ онъ въ родникѣ своей души. Даже и тогда, какъ основныя начала его существованія, мысль и поэзія, раздѣляясь на время, были предоставлены только самимъ себѣ, мысль никогда не клонилась къ сухости и педантизму, не перерождалась никогда въ резонерство, пустую потѣху ума, а поэзія не терялась въ пристрастіе къ фразѣ, въ исканіе призраковъ. Мѣра и гармонія были въ природѣ Станкевича.

Мы уже знаемъ, какую строгую школу находилъ Станкевичъ въ своей склонности анализировать свой *домашній душевный бытъ*, употребляя его выраженіе. Тонкія черты анализа проходятъ черезъ всю его переписку; но всѣ обыкновенныя послѣдствія такого анализа — вялость ощущенія, неспособность просто наслаждаться жизнью и встрѣчать ея явленія прямо съ лица, а не съ заднихъ или боковыхъ сторонъ, — всѣ эти послѣдствія были чужды Станкевичу. Самый предубѣжденный глазъ не отыскалъ бы въ его анализѣ дурныхъ примѣтъ себялюбія, нищеты характера, или тупого занятія, которымъ любятъ тѣшиться праздный умъ. О невыносимыхъ претензіяхъ или о смѣшныхъ попыткахъ мѣрить собою всю вселенную нечего и говорить. Напротивъ, работа анализа всегда почти оканчивается у Станкевича тихою жалобой на далекое разстояніе, еще отдѣляющее его отъ идеально-разумнаго существованія, и также часто разрѣшается великодушнымъ укоромъ самому себѣ, въ которомъ посторонній наблюдатель не видитъ иногда и тѣни справедливости, но который былъ нуженъ Станкевичу, какъ благотворный двигатель его души. Анализъ Станкевича, по временамъ, обращается на укрощеніе излишнихъ ожиданій и невѣрныхъ требованій мысли. Такъ Петербургъ и Кавказъ, при первомъ посѣщеніи, не отвѣчаютъ его представленію; онъ примиряется съ ними помощью анализа, называя эту внутреннюю работу мысли «эмансипаціей своего чувства». Въ одномъ письмѣ 1835 года мы встрѣчаемъ, при изложеніи причинъ о необходимости путешествія за границу, еще слѣдующій поводъ: «освѣжить чувство тоскою по родинѣ, оживить эту любовь къ Россіи, гибнущую отъ тысячи обстоятельствъ.» Упорное размышленіе или, говоря языкомъ нѣмецкой логики, *рефлексія*, опредѣляли здѣсь еще не существующее, не родившееся чувство, перескочивъ черезъ

долгий промежуток времени и забывая вперед; но какого свойства это чувство — предоставляемъ судить читателю. Такъ точно, живя въ деревнѣ (1834 г.) и напавъ на мысль о необходимости нѣкотораго устраненія предмета, даже полного отсутствія его для того, чтобъ поэтъ могъ потомъ творчески воспроизвести его въ фантазій, Станкевичъ посвящаетъ этой мысли нѣсколько горячихъ, воодушевленныхъ строкъ, которыя вдругъ прерываются замѣчаніемъ: «Слава Богу! наконецъ я набрелъ на чувство и хоть немного изволнованъ, бесѣдуя съ тобой, а это такъ рѣдко въ гладкой жизни, которую я веду, не имѣя съ кѣмъ поговорить». Недрамающая оглядка на себя, или *рефлексія*, тотчасъ подиѣтила настроеніе души въ самую минуту его развитія, но не ослабила, не прервала, не исказила его. Иногда рефлексія выводитъ у Станкевича чувство совершенно неопредѣленное, но замѣчательно граціозное и поэтическое. Когда Я. М. Невѣровъ, отѣзжая за границу, просто сказалъ, что его манитъ синее море и даль, Станкевичъ отвѣчаетъ: «Другъ! все манитъ насъ, что синее! море прекрасно, потому что его нельзя обозрѣть; даль хороша, потому что въ ней всѣ предметы сливаются съ небомъ и воздухомъ», и проч. Такъ, можно сказать, на послѣдней, крайней ступени мысли, на анализѣ и рефлексіи, которыя иногда такъ грубо выражаются въ людяхъ, менѣе надѣленныхъ природою, и такъ извращаютъ всю жизнь ихъ, Станкевичъ былъ невредимъ и даже извлекалъ, посредствомъ этихъ дѣятелей, новыя и существенныя достоинства, только возвышавшія его характеръ.

То же самое можно сказать и о поэтическомъ его элементѣ. Въ самомъ сильномъ напряженіи чувства, въ порывѣ своемъ въ высь и пространство, Станкевичъ никогда не терялъ изъ вида земли и возвращался къ ней обыкновенно съ живою, по временамъ шумною радостію. Тотъ весьма ошибется, кто заключить, что романтическое настроеніе сдѣлало его безразличнымъ къ обыкновенному ходу жизни и къ большей части ея явленій. Никто здравѣе не понималъ всѣхъ условій человѣческаго существованія, какъ онъ, да врядъ ли кто и болѣе пользовался массою наслажденій, заключающейся въ повседневномъ существованіи. Болѣзнь при этомъ случаѣ была чѣмъ-то въ родѣ спасительнаго ограниченія, еще увеличивающаго цѣну и прелесть жизни. И начиная съ тихихъ семейныхъ радостей до того удовольствія, какое испытываетъ человѣкъ, слѣдуя необходимыми и законными требованіями своей природы, — все было понятно его необычайно-просторному, здоровому, хотя и поэтически настроенному уму. Въ одномъ изъ своихъ писемъ, онъ нѣсколькими словами превосходно изобразилъ весь свой характеръ, со всѣми тѣми разнообразными началами, которыя въ немъ примирились, дополняя собою другъ

а. Говоря о любви къ прекрасному, безъ самаго предмета, на иронію могла бы она остановиться, Станкевичъ прибавилъ: «такая ая, отвлеченная поэзія давно уже начала терять для меня цѣну. ю какъ положительное не имѣло для меня никогда цѣны въ го идеальнаго значенія.»

Веселость чистаго, яснаго сердца отражалась во всѣхъ шуткахъ невинца и сопровождала его въ общество друзей; но иногда она пала мѣсто ироніи и строгому слову. Станкевичъ не могъ выно- . двухъ пороковъ: лжи и претензіи; они дѣйствовали на него и болѣзненно. Насмѣшка и укоръ его въ такихъ случаяхъ не ли вида празднои потѣхи надъ человѣкомъ, а скорѣе обличали реннее страданіе, которое чувствовалось и въ звукѣ его измѣ- нагося голоса, и въ горькомъ выраженіи его обыкновенно крот- ) лица. Вообще Станкевичъ не понималъ легкаго, такъ-сказать, рхностнаго обращенія съ людьми. Никогда не говорилъ онъ съ вѣкомъ для того, чтобъ сдѣлать намекъ или отвѣтъ третьему, ороннему лицу; относился всегда прямо, откровенно къ собесѣд- /, и ясность, сиѣмъ выразиться, всѣхъ его цѣлей и намѣреній авляла одну изъ многихъ причинъ его сильнаго вліянія на умы.

не имѣлъ понятія о грубомъ наслажденіи, которому иногда аются и люди съ благороднымъ характеромъ,—наслажденіи про- ть свои силы на другомъ, неѣе развитомъ человѣкѣ, и испыты- . мѣру своихъ способностей по сравненію съ слабостію ихъ въ кнемъ. Станкевичу, напротивъ необходимо было прежде всего новить нѣкотораго рода нравственное равенство съ собесѣдникомъ, огда этого равенства въ разговорѣ не доставало, онъ принимался авать его. По высокой стыдливости ума, отличающей изящныя рны, чувствовать себя господиномъ значило для него унижать . Разговоръ его въ сущности былъ не что иное, какъ исканіе благодатной искры, которая способна озарить душу человѣка.

такъ навнѣ въ этомъ, что, по замѣчанію его знакомыхъ, ался несравненнымъ мастеромъ дѣла: общее свидѣтельство о силь- ь, многостороннемъ его умѣ преимущественно зиждется на этой юбности разбирать душу собесѣдника, при слабомъ мерцаніи. роее она издаетъ вокругъ себя. Дѣйствительно, надо много ума, ритомъ не книжнаго, для подобной задачи, да сверхъ того надо участіе поэзіи, вдохновенной отгадки. На этомъ пути Станке- ь не останавливался даже передъ самымъ ограниченнымъ умствен- ь или нравственнымъ развитіемъ, потому что онъ *спиралъ* въ у человѣка и въ необъятность ея силъ вообще. Послѣ всего аннаго, уже легко принять единодушное свидѣтельство его близ- ь знакомыхъ, что разговоръ со Станкевичемъ всегда былъ *дѣломъ*,

о чемъ бы онъ ни шелъ, что бесѣда его обыкновенно поднимала множество вопросовъ въ глубинѣ сознанія, и что послѣ каждой такой бесѣды слушатель чувствовалъ какъ-бы прирѣтокъ новыхъ нравственныхъ силъ. Въ дополненіе слѣдуетъ сказать, что Станкевичъ не зналъ за собой того рода творчества, какое постоянно обнаруживалъ: онъ только жилъ, какъ ему суждено было жить, и не имѣлъ понятія о томъ, какъ отражается его жизнь на другихъ. Если совокупить всѣ эти разбросанныя черты въ одно цѣлое, то намъ легко объяснится степень и сила его вліянія на самые проникательные и энергическіе умы, находившіеся, между другими, въ обыкновенномъ его кружкѣ, куда приносилъ онъ мысль и чувство свое безъ всякой утайки.

Кругъ Станкевича получилъ весьма важное развитіе, какъ въ матеріальномъ отношеніи, вслѣдствіе прибытія новыхъ членовъ, такъ и въ нравственномъ—вслѣдствіе того, что прежнее трепетное и радостное предчувствіе жизни уступило мѣсто обсужденію и разбору ея явленій.

Мы не будемъ говорить о литературныхъ заслугахъ Бѣлинскаго, оставляя трудъ этотъ его биографу; но нѣсколько словъ объ отношеніяхъ его къ Станкевичу приходятся здѣсь къ мѣсту. Бѣлинскій, въ многоразличныхъ видоизмѣненіяхъ своей мысли, оставался постоянно энтузіастомъ, чѣмъ и объясняется страстная увлекательность его статей, даже самыхъ отвлеченныхъ, какія писаны имъ были въ 1838—40 годахъ. Крайности, которыя встрѣчаются у него, совершенно незнакомы людямъ, имѣющимъ еще много другихъ занятій, кромѣ предмета, избраннаго ими, такъ сказать, официально для своихъ упражненій. Зато Бѣлинскій уже не способенъ былъ къ вѣтреннымъ словамъ: какъ статьи, такъ и самый разговоръ его носили слѣдствія глубокихъ бороздъ, по которымъ узнается невидимая, напряженная работа головы. Каждое изъ литературныхъ убѣжденій своихъ онъ исчерпывалъ вполне, не утаивая ничего, что въ немъ заключалось, и не входя ни въ какія сдѣлки съ своею совѣстію и съ мнѣніями противниковъ.

Мы имѣемъ свидѣтельство, напримѣръ, что Станкевичъ первый открылъ въ стихотвореніяхъ одного нашего ученаго, именно С. Шевырева, недостатокъ поэзіи, а въ критическихъ его статьяхъ недостатокъ логики. Открытіе это поразило и огорчило Бѣлинскаго, который имѣлъ другія убѣжденія. Можно сказать, оно подѣйствовало на него болѣзненно: такъ тяжело было ему разставаться съ своимъ понятіемъ о человѣкѣ. Онъ тотчасъ принялся за повѣрку догадокъ Станкевича и убѣдившись въ истинѣ ихъ, уже вышедъ открыто съ своимъ сужденіемъ, принявъ и всю отвѣтственность за



го на себя. Авторитетъ противника былъ тогда очень великъ, и не зная, какъ тяжела бываетъ иногда у насъ отвѣтственность за нарушение литературнаго спокойствія въ какомъ-либо самодовольномъ кружкѣ, тотъ пойметъ важность подвига. Дѣятельность чловека, подобнаго Вѣлинскому, конечно, цѣннѣе была Станкевичу въ достоинству, но онъ не любилъ слишкомъ рѣзкаго слова, которымъ, по его мнѣнію, не вполне передаетъ и ту часть истины, какая была для него на свѣтѣ. Станкевичъ противодействовалъ шуткой и нѣтъмъ врожденной горячности Вѣлинскаго, изъ желанія открыть ему по возможности обширнѣйшее поле дѣйствованія, чему излишняя энергія, по его мнѣнію, полагала препятствія. Станкевичъ любилъ вообще всего, что порывисто, что носитъ печать одной ли чловека, хотя бы и энергически настроенной къ истинѣ и брѣ. Такъ же точно Станкевичъ не понималъ гнѣва въ борьбѣ ложнымъ:—невольное раздраженіе, которое оно обыкновенно производитъ въ чловека, разрывалось для него все безъ остатка обидѣніемъ предмета. Этихъ словъ довольно, чтобъ угадать характеристическія отличія двухъ замѣчательныхъ людей. Станкевичъ былъ учителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примѣрѣ этой жизни, и никогда не могъ бы служить ей на буйной ярмаркѣ временности: различіе характеровъ послужило однакожъ къ закрѣпленію связи между ними. Мы знаемъ, что Вѣлинскій съ благоговѣніемъ вспоминалъ о Станкевичѣ въ послѣдній періодъ своей дѣятельности. Его пылкая душа, въ которой было много нѣжности, юго даже тонкой деликатности, прошла сквозь тяжелый гнетъ обязательствъ, почти неизвѣстный его товарищамъ и друзьямъ. Онъ получилъ совсѣмъ другое воспитаніе, чѣмъ они, и это суровое, уединенное воспитаніе закрыло душу его твердымъ панциремъ. Первый, обившійся сквозь эту кору, отыскавшій душу его, угадавшій ея особенность въ симпатіи и жажду сочувствія, первый успокоившій своими мягкимъ, благороднымъ и теплымъ участіемъ—былъ Станкевичъ. Свѣтлый ликъ Станкевича жилъ съ Вѣлинскимъ до конца, конечно много способствовалъ къ устройству безукоризненно-чистаго характера, которому отдають справедливость и самые литературные враги его<sup>1)</sup>.

По прекращеніи «Телескопа» въ 1836 г., Вѣлинскій оставался въ постояннаго занятія. Однажды онъ даже собирался ѣхать за границу, въ качествѣ домашняго учителя, съ какинъ-нибудь семействомъ. Осенью 1836 года, когда Вѣлинскій находился въ деревнѣ

<sup>1)</sup> Единственный порядочный портретъ Станкевича, акварелью, принадлежалъ Вѣлинскому и неизмѣнно находился въ его кабинетѣ, составляя и лучшее украшеніе, и цѣность трудовой его комнаты.

одного из своих друзей, наслаждаясь в домашнем кругу и жившем значительную долю влияния и на многих других, Станкевич советовал ему до поездки за-границу заняться немецким языком. Письмо его исполнено выражений самой нужной дружы. Представив все обыкновенные доводы в пользу изучения философских систем в самых источниках, Станкевич заключает словами: «...Потом воротись в Русь — и тогда будь что хочешь, хоть журналистом, хоть альманашиком — все будет рошно, только будь помирнее.» Может-быть, еще сильнее выражая глубокое сочувствие к Белинскому и трогательное участие в судьбе его друзей письмом, принадлежащим той же эпохе (21 сента 1836) и писанным уже не к нему самому, а о нем. Прилагая его здесь. «Белинский отдыхает у Бакуниных от своей скуки одинокой... жизни. Я уверяю, что эта поездка будет жить для него благотворное влияние. Полный благородных чувств, с достоинством, свободным умом, добросовестный, он нуждается в отдыхе: не по опыту, не по одним понятиям, увидать жизнь благороднейшей ее сущности; узнать нравственное счастье, возможно гармонию внутреннего мира с внешним, — гармонию, которая казалась для него недоступною до сих пор, но которой он теперь верит. Как смягчает душу эта чистая сфера кроткой, христианской семейной жизни! Глубоко понимая Шиллера все лучшее Вольтера творения. Мужчина груб в своей добродетели, все благородные порывы души его носят какую-то печать цинизма, какую жесткость; в нем больше стоицизма, нежели христианства, нежели человечества. Только влиянием женщины, влиянием семейных отношений — это благородное, сильное, но все немного деспотическое чувство долга обращается в отрадное чувство любви; сознание добра в непосредственное его ощущение...» Впрочем, планы, составленные Белинским для своей жизни и вызвавшие такое горячее участие Станкевича, все почти рушились. С 1834 г. он нашел занят соответствовавшее его наклонностям: он принял редакцию журна «Московский Наблюдатель», где гегелианское воззрение, подготовленное промежутком трех лет, с 1835 по 1838, получило все большее место. Станкевич находился уже тогда в Берлине.

Автор стихотворений, помеченных буквою — е — И. П. Ключевский представлял совершенную противоположность с Белинским относительно характера. Надменный в замечательной степени остроумием, он играл между друзьями почти ту же самую роль, какую о время занимал Меркль в кругу Гёте. Он был Мефистофелом небольшого московского кружка, весьма зло и резко подсмеивавшимся над идеальными стремлениями своих друзей. Он был, как

море всѣхъ своихъ товарищей, часто страдалъ меланхоліей, но жертвы его насильчиваго расположенія любилъ его и за веселость, какую распространялъ онъ вокругъ себя, и за то, что въ его изумительныхъ выходахъ видѣли не сухость сердца, а только живость ума, замѣчательнаго во многихъ другихъ отношеніяхъ, и иногда истиннаго юмора. Какъ бы то ни было, но нѣкоторые изъ играючи Кл., направленные на педантизмъ и низость побужденій, могутъ считаться образцовыми въ своемъ родѣ по нѣжности и соли. въ нихъ заключенной. До сихъ поръ сохранились въ памяти тогдашнихъ знакомыхъ нѣсколько словъ Кл., нѣвшихъ большой успѣхъ въ кругу друзей, и дѣйствительно остроумныхъ, какъ напримеръ, то, которое относилось къ Станкевичу. Станкевичъ, часто восклицавшійся тою или другою чертою въ характерѣ своихъ знакомыхъ добродушно завидовавшихъ ихъ достоинствамъ, вызвалъ у него замѣчаніе: «Это серебряный рубль, завидующій величій нѣдраго поробреннаго пятака». Кл. написалъ также въ стихахъ: «Обзорѣніе мірной исторіи», въ которомъ, по увѣренію слышавшихъ, далъ полную волю своему остроумію. Извѣстно, что Станкевичъ читалъ всѣхъ съ книгъ сперва Шеллинга, потомъ Канта, но вскорѣ бросилъ это занятіе сообщая, потому что, вмѣсто обсужденія, Кл. останавливался въ серединѣ параграфа, предлагалъ свои замѣчанія и мѣрилъ смѣху вообще сѣтливаго Станкевича. Лирическія произведенія К., помѣченныя буквою—е—, начали появляться въ журналахъ здѣсь, съ 1838 года, уже по отъѣздѣ Станкевича за-границу. Въ нихъ и слѣды нѣтъ того юмора, который авторъ ихъ оживлялъ между пріятельскими бесѣдами. Не лишены нѣкоторыхъ своего рода юности, эти пьески запечатлѣны характеромъ отвлеченности, туманности и иногда какой-то слезливой сентиментальности. Въ нихъ чувствуется меланхолическое расположеніе и болѣзненная экзальтація, въ которой привилось развившееся, подъ вліяніемъ тогдашнихъ изумительной Гегелевой системы, направленіе примирять противоположности разрѣшать диссонансы. Стихотворенія—е—именно отличаются какою-то напряженною и искусственною примирительностію. Болѣе мы считаемъ себя въ правѣ говорить объ ихъ авторѣ, къ сожалѣнію, слишкомъ рано отказавшемся отъ литературы и общества, который, по убѣжденію людей, близко знавшихъ его, еще могли многого ожидать отъ него.

Мы упомянули разъ о томъ дилеттантѣ философіи, извѣстномъ Б., который перешелъ мало-по-малу въ одного изъ самыхъ жаркихъ ея поклонниковъ. Положенія и истины ея, какъ и самыя разысканія, въ этой сферѣ, сдѣлались его жизнью, между тѣмъ какъ Станкевичъ былъ поминутно развлеченъ всѣми явленіями общества, искусства,

природы и проч. Дилеттантъ, обратившійся въ ревностнаго из- вателя, вскорѣ пріобрѣлъ даръ блестящаго изложенія, который ~~да~~ щалъ ему нѣчто похожее на роль провозвѣстника филосо~~ф~~ истинъ. Въ нему прибѣгали при всякомъ недоумѣніи, затруд~~н~~ номъ вопросѣ, случайномъ перерывѣ идей, и пояснительная его текла блестящею импровизаціей. Разумѣется, тутъ не могло ~~бы~~ какого-либо самобытнаго ученія, да и никто не думалъ о томъ; онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, ~~и~~ даромъ перерабатывать все вычитанное и узнанное въ собствен~~н~~ ыя мысли, такъ что онъ самъ казался почти изобрѣтателемъ и родо~~ч~~ чальникомъ поясняемаго имъ метода. Роль зодчаго, которую человекъ этотъ игралъ въ отношеніи каждаго, такъ или иначе накопившаго сырой, необдѣланной матеріалъ, имѣла своего рода неизбежныя и тяжкія условія. Вся жизнь являлась передъ нимъ сквозь призму отвлеченія, и только тогда говорилъ онъ о ней съ поразительнымъ увлеченіемъ, когда она была переведена въ идею. Все случайное и мгновенное, самобытное жизни было ему гораздо менѣе доступно, хотя усиленно обширнаго, дѣйствительно необыкновеннаго ума онъ успѣвалъ возводить до понятія убѣгающія поэтическія черты жизни и такимъ образомъ овладѣвать ими, но при этомъ они уже много теряли, и иногда то самое, что составляетъ ихъ существенную особенность. Станкевичу оказалъ онъ важную услугу: онъ оковалъ и охолодилъ его живую, подвижную фантазію, на сколько могъ на сколько нужно было для правильнаго труда надъ наукой мысли; онъ пріучилъ его къ самообладанію въ занятіяхъ и, такъ сказать, къ искусству соблюдать порядокъ между идеями <sup>1)</sup>. Оба они находились тогда подъ властію свѣтлаго романтическаго настроенія, но первый наслаждался полнотою и сущностію мысли, между тѣмъ какъ для второго съ мысли только еще начиналась возможность счастливаго состоянія, а само счастье находилось въ жизни, въ отношеніяхъ къ нравственнымъ предметамъ ея. Немаловажное отличіе между ними состояло и въ томъ, что никакое отвлеченное понятіе не могло потревожить и огорчить перваго: оно у него ложилось въ умъ, между тѣмъ какъ второй весьма часто страдалъ понятіями: онъ ложился на всю основу его нравственнаго существа. Мы имѣемъ подтвержденіе этому въ одномъ любопытномъ письмѣ Станкевича отъ 21 апрѣля 1836 года. Прошлый годъ, какъ уже знаемъ, онъ

<sup>1)</sup> Пріятельи иногда жилали (1835—1837) вмѣстѣ, и часто Станкевичъ прерывалъ утренняя занятія друга, влетая къ нему въ комнату съ кочергой и представалъ старуху съ метлой, которою овладѣваетъ невольная пляска подъ звуки волшебнаго флейты. Онъ передавалъ фигуру изъ пантомимы „Волшебная флейта“, нередко являвшейся на сценѣ московскаго театра.

Для Станкевича полнымъ сознаниѣмъ своего призванія и дѣла, стоящаго ему въ жизни. Слѣдующій за тѣмъ былъ посвященъ непривычнымъ философскимъ занятіямъ; но до весны этого года Станкевичъ еще стоялъ на изученіи Канта, какъ родоначальника современнаго движенія германской философіи вообще. Тогда наступила пора Фихте. Послѣ тревожной зимы въ Москвѣ, Станкевичъ, уйдя на Кавказъ, заѣзжаетъ къ себѣ въ деревню, а на дорогу беретъ впервые книгу Фихте: «Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen». Мысли и впечатлѣнія, возбужденныя этимъ серьезнымъ чтеніемъ на почтовомъ трактѣ и въ дорожной бричкѣ, перешли онъ пріятелю своему слѣдующимъ письмомъ: «Мценскъ, 21 апрѣля 1836 года. Другъ! Гдѣ я?—ты знаешь изъ верхней строки. Гдѣ я? право не знаю, съ тѣхъ поръ, какъ прочелъ о назначеніи мовѣка; можетъ-быть, болѣе узнаю, когда прочту послѣднія страчки; а до тѣхъ поръ числюсь подъ именемъ средняго между Принца и Кругомъ. Не знаю, что будетъ со мною. Wissen произвело мнѣ такой сумбуръ въ головѣ, возможность котораго я и не дозрѣвалъ; оно повергло меня въ такое странное, болѣзненное состояніе нерѣшительности... сомнѣнія, что я мучился и не находилъ средствъ выйти изъ него. Теперь уже нельзя остановиться, теперь—впередъ! Нѣтъ! Знанія! Возможно отчетливаго знанія! Такъ тонко, къ удовлетворительно превратить весь міръ въ модификацію мысли, эту мысль сдѣлать модификаціей какого-то неизвѣстнаго субъекта, мысль объ этомъ субъектѣ опять чѣмъ-то созданіемъ; построить въ законовѣ ума цѣлый міръ призраковъ и изъ ума сдѣлать приазкъ—и все такъ отчетливо.... Гдѣ же теперь спасеніе для ума? о сомнѣніе можетъ быть спасеніе.»

«Мало-по-малу улегся хаосъ въ головѣ моей, и въ немъ я вижу ова зародышъ созданія. Читая Кантово доказательство существованія вѣншихъ вещей, я подозревалъ его несправедливость: какъ-то страннымъ движеніемъ эгоизма подавлялъ возраженіе ума,—здѣсь нашель, что думалъ. Изъ Фихте я уже провижу возможность утой системы; но эта подвинула меня къ утѣшительной мысли смертія. Впрочемъ это сочиненіе весьма недостаточно для узнанія о системѣ: оно только намекаетъ на нее.»

«Дорогою въ бричкѣ окончилъ я Wissen и сталъ читать Glauben. черъ былъ прекрасный, но тяжкое состояніе совершенной неизвѣстности—не давало мнѣ имъ пользоваться. Мнѣ какъ-то чужда, какъ-то ртва казалась эта природа, приразкъ меня самого; все было обичиво, враждебно. Напрасно старался я убѣдить себя, что во

всемъ этомъ должна быть своя сообразность съ цѣлю, свое добро— эти мысли были для меня слишкомъ убѣдительно и слишкомъ новы, чтобъ я могъ овладѣть ими по-своему. Теперь только я мирюсь съ ними. Всѣ утѣшительныя мысли жизни—подвигъ, искусство, знаніе, любовь—все теряло для меня значеніе, самъ не знаю почему. Это состояніе прошло, но тѣнь его еще лежитъ на мнѣ. Уже я вѣрю успѣху мысли и успѣху знанія; но все, что касается до меня, вся будущность моя представляется мнѣ въ какомъ-то холодномъ, непріязненномъ свѣтѣ! Это бывало со мной и пройдетъ! Только скорѣе въ деревню, въ поле, за дѣло и за гульбу <sup>1)</sup>.

Не даромъ Станкевичъ сообщалъ другу такъ подробно и такъ краснорѣчиво картину душевнаго своего разстройства. Именно въ подобныхъ случаяхъ не было человѣка, болѣе способнаго разогнать мракъ, опустившійся на сознаніе, поднять силы человѣка и облегчить гнетъ идей, еще не потерявшихъ матеріальной доли тяжести отъ объясненія ихъ. Здѣсь дилеттантъ философій былъ на своемъ мѣстѣ, и тотъ родъ творчества, который былъ ему свойственъ, проявлялся въ подобныхъ случаяхъ блистательнымъ образомъ. Вотъ почему съ такою охотой и съ такимъ рвеніемъ отвѣчалъ онъ на всякій призывъ недоумѣнія.

Принявъ за правило говорить въ нашемъ біографическомъ очеркѣ единственно о тѣхъ лицахъ, которыя уже завершили свою дѣятельность и сошли съ поприща, мы руководствовались важнымъ соображеніемъ, что только такія лица представляютъ собою полную нравственную выраженія, необходимую для приблизительной оцѣнки человѣческаго существованія. Въ этомъ смыслѣ заслуживаетъ упоминovenія еще одно имя—имя поэта Кольцова. Жизнь и отношенія этого человѣка къ кругу Станкевича изложены въ мастерской біографіи, украшающей старое и новое изданіе его стихотвореній. Приведемъ въ дополненіе къ ней только одну черту: Кольцовъ обыкновенно останавливался въ квартирѣ Станкевича, когда случалось ему пріѣзжать въ Москву. Извѣстенъ его практическій смыслъ и глубокая наблюдательность, таившаяся подъ покровомъ скромности и наружной простоты; но гораздо менѣе извѣстно вліяніе на него со стороны людей, съ которыми познакомился онъ въ домѣ Станкевича. Несомнѣнно, что оно ослабило всѣ тѣ привычки, которыя почерпнулъ Кольцовъ въ общемъ народномъ пониманіи ремесла и торговли. Онъ уже перестали составлять необходимую принадлежность его жизни и дали возможность смотрѣть на нихъ иронически, отдѣльно отъ себя, чѣмъ объясняется и расположеніе Кольцова часто затрогивать этотъ предметъ въ своихъ разговорахъ. По нашему.

<sup>1)</sup> То-есть за долгія охотничьи прогулки.

это послѣднее обстоятельство свидѣтельствуетъ уже о свободѣ, какую онъ приобрѣлъ въ отношеніи къ правильной ихъ оцѣнкѣ и нравственному пониманію. Изъ переписки Кольцова, которая, къ сожалѣнію, еще не скоро можетъ быть обнародована, открывается и другой, весьма замѣчательный психическій фактъ. Впечатлѣніе, произведенное на него философскими опредѣленіями жизни, природы и понятій, сильно потрясло творческую способность его и на время остановило ея дѣятельность. Долго не могъ онъ обрѣсти того непосредственнаго взгляда на міръ, который составляетъ сущность его поэзіи и открываетъ тайны народнаго представленія образовъ и поэтическихъ идей. Размышленіе заступило мѣсто созерцанія, спутало и затмило его. Но природа Кольцова, сильная во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, побѣдила новые элементы, которые на время остановили ея правильную дѣятельность. Онъ обратился въ свое добро вопросы, возникшіе тогда передъ нимъ, чему свидѣтелями остаются нѣкоторые изъ его думъ <sup>1)</sup>. Онъ овладѣлъ размышленіемъ, какъ художникъ, и послѣ мгновеннаго перерыва, вышелъ со стихотвореніями, которыя уже далеко оставляли за собой тѣ восемнадцать пьесъ, какія отобраны были въ 1835 г. Станкевичемъ и тогда же изданы имъ особою книжкой <sup>2)</sup>. Знакомство съ философскими началами, даже отрывистое, случайное и неполное, задержавъ на время фантазію его, потомъ возвысило ее, и дѣйствіе этихъ попытокъ философскаго образованія походить, въ приложеніи къ Кольцову, на обильный дождь, клонящій къ землѣ растительность для того, чтобъ

<sup>1)</sup> Думъ Кольцова, особенно 1836 года, когда онъ ихъ особенно много произвелъ, могутъ подтвердить сказанное нами, хотя въ нѣкоторыхъ, наиболѣе удачныхъ, онъ показывалъ необыкновенную силу, разрѣшивъ довольно счастливо труднѣйшую задачу искусства: выразить поэтически отвлеченную мысль. Вообще же 1836 годъ былъ для него тѣмъ годомъ колебанія таланта, о которомъ мы говорили, и это проявляется, кромѣ думъ, и въ стихотвореніяхъ другого рода. Только съ послѣднимъ изъ нихъ по времени, именно съ пьесой: „Косарь“, поэтъ опять становится самимъ собою, но уже съ удвоенною силой таланта, и тѣмъ далѣе идетъ, тѣмъ растетъ все болѣе, до 1842 года, когда гений его, подъ ударами болѣзни и обстоятельствъ, ослабѣваетъ снова. Стоитъ сказать, что задушевный другъ молодости Кольцова, Серебрянскій, первый его цѣнитель, критикъ и воспитатель его эстетическаго чувства, былъ тоже шептунъ, какъ оказывается изъ статьи его: „Мысли о музыкѣ“.

<sup>2)</sup> Въ „Литературной Газетѣ“ 1831 года, томъ 13, № 34, мы находимъ одно стихотвореніе Кольцова „Перстень“, посланное Станкевичемъ въ редакцію тогда же, и при немъ слѣдующую выписку, свидѣтельствующую о томъ, какъ рано сталъ онъ заботиться о распространеніи извѣстности нашего поэта. Вотъ выписка: „Пѣсню сію издатель получалъ изъ Москвы при слѣдующей запискѣ: „Вотъ стихотвореніе самороднаго поэта, г. Кольцова. Онъ воронежскій мѣщанинъ и ему не болѣе двадцати лѣтъ отъ роду; нигдѣ не учился и, занятый торговыми дѣлами по порученію отца, пишетъ часто дорогою, ночью, сидя верхомъ на лошади... Познакомьте читателей „Литературной Газеты“ съ его талантомъ. Н. С—тъ“.

она бодрѣе выпрямилась и свѣжѣе цвѣла. Вообще эта эпоха представляетъ любопытнѣйшую и не тронутую часть въ исторіи образования Кольцова и его творчества.

Мы не станемъ излагать сущности того ученія, которое связывало всѣхъ этихъ людей между собою. Для этого, какъ и для бѣгле полнаго изображенія ихъ характеровъ и взаимныхъ отношеній, надо имѣть въ виду другую цѣль, а не простой біографическій очеркъ, и самый трудъ долженъ имѣть иные условія. Станкевичъ и друзья его жили въ блаженныхъ Елисейскихъ поляхъ умозрѣнія, гдѣ всѣ предметы земного міра вращались просвѣтленныя, въ безплотной оболочкѣ мысли, и юные мыслители выходили оттуда за тѣмъ только, чтобъ бороться съ грубымъ, матеріальнымъ пониманіемъ вещей. Довольно замѣчательно, что въ 1838 году, когда начала Гегелевой философіи стали прилагаться у насъ къ искусству и вообще къ способу воззрѣнія на жизнь (см. «Московский Наблюдатель» 1838), Станкевичъ, въ Берлинѣ, и нѣкоторые товарищи его, у себя въ отечествѣ, принимались только за азбуку всей системы, за первое звено ея — логику. Но такова была судьба всѣхъ наукъ въ Россіи. Прежде источниковъ необходимо было вообще познакомиться съ духомъ науки, требовалось пробудить въ массѣ публики мыслительное любопытство и уже потомъ направлять его къ самымъ источникамъ.

У насъ много смѣялись надъ туманностію отвлеченныхъ теорій изящнаго и надъ изложеніемъ философскихъ ученій, какія стали появляться съ 1838 года <sup>1)</sup>. Смѣхъ этотъ былъ и несправедливъ, и легкомысленъ. Не маловажны были попытки указать законы творчества въ свѣтѣ непогрѣшительнаго отвлеченія, и тѣмъ самымъ подорвать, или по крайней мѣрѣ ослабить довѣренность къ мнѣніямъ, основаннымъ на одной прихоти человѣка. Не маловажно было усилить требованія публики отъ литературныхъ произведеній и вообще отъ предметовъ, подлежащихъ ея обсужденію, познакомивъ читателей

<sup>1)</sup> Можно указать на четыре переводныя статьи, составляющія, такъ-сказать, ядро, по которымъ нѣмецкія метафизическія воззрѣнія притекли въ нашу литературу. Дѣй изъ нихъ напечатаны были въ „Телескопѣ“ 1835 и двѣ остальные въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ 1838 года. Къ числу первыхъ принадлежитъ статья о Гегелѣ, помѣщенная Станкевичемъ и уже нами упомянутая. За ней слѣдовалъ переводъ лекціи Фихте „О назначеніи ученыхъ“ („Телескопъ“ 1835, часть 29, № 17). Далѣе въ „Московскомъ Наблюдателѣ“ были статьи: „Гимназическія рѣчи Гегеля“, съ предисловіемъ переводчика (1838, мартъ, книжка I, часть XVI) и „О философской критикѣ художественнаго произведенія“, тоже съ объясненіемъ отъ переводчика (май, книжка II, часть XVII). Внимательный читатель найдетъ въ выборѣ и содержаніи статей послѣдовательность, соответствовавшую степенямъ развитія идей въ кругѣ Станкевича. Бѣлинскій издалъ въ 1838 году всего 12 книжекъ „Наблюдателя“, съ 1-го марта по 1-е сентября.



въ ихъ идеальнымъ представленіемъ и показавъ, какъ они могутъ быть поняты отвлеченною мыслию. Да и самый процессъ мышленія, въ который тогда же обращено было вниманіе публики, есть, что имъ ни говорили, первая ступень къ самопознанію, и, можетъ-быть, знакомству съ нимъ мы обязаны невидимою преградой, мѣшающею умѣху мелкихъ мыслей и мелкихъ страстей на поприщѣ современной литературы.

Въ эту эпоху господства философскихъ опредѣленій, они отрапнлись, какъ и слѣдовало ожидать, не на одной только умственной дѣятельности Станкевича, но захватили въ кругъ свой и такіа стороны жизни, которыя всего менѣе способны подчиняться имъ. Такъ было, напримѣръ, съ послѣднею любовью Станкевича, начало которой относится къ этому времени. Прѣжнее восторженное отношеніе къ жизни миновалось. Тогда онъ еще не зналъ, чего хотѣлъ, и потому хотѣлъ небывалаго и неизмѣримаго. Теперь порывы къ какому-то необъятно-полному существованію улеглись; душевные стремленія и фантазія обрѣли свои границы, а съ границами — разумность и положительныя цѣли; но съ первымъ земнымъ существомъ, которое явилось, какъ отвѣтъ на тайные призывы сердца, у Станкевича начинается работа философской повѣрки и опредѣленія страсти. Мы остановимся на этой подробности, такъ какъ она служитъ дополненіемъ къ картинѣ его жизненной дѣятельности, и по формѣ, принятой ею въ своемъ развитіи, показываетъ еще любопытный примѣръ сочетанія чувства и поэзіи съ разлагающимъ анализомъ и размысленіемъ.

Въ январѣ 1835 г. Станкевичъ послѣ деревенской жизни, описанной въ предшествующей главѣ, пріѣзжаетъ въ Москву, и здѣсь, съ марта мѣсяца того же года, начинается завязка довольно длинной сердечной исторіи, прошедшей черезъ самыя разнообразныя перипетіи. Предметъ, выбранный имъ тогда, былъ достоинъ его. Нравственная красота дѣвушки не выражалась бойко и ослѣпительно, а, напротивъ, теплилась ровно и тихо подъ покровомъ дѣтской ясности сердца и безсознательной женской граціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ ей не были чужды особенныя требованія отъ жизни, раздѣляемыя всѣми молодыми членами того семейства, къ которому она принадлежала. Трѣбованія эти нельзя иначе пояснить, какъ сказавъ, что въ сущности они были переводомъ всѣхъ обыкновенныхъ условій человеческой природы на мистическій языкъ сердца и воображенія. Такое истолкованіе вовсе не есть что-нибудь исключительное; оно, напротивъ, явленіе замѣчаемое въ каждомъ образованномъ кругу; особенностями оказываются только въ формахъ подобнаго истолкованія жизни, и всего болѣе въ той мѣрѣ, какая при этомъ соблюдается. Но иные

члены этого семейства предавались дѣлу мистическаго и полуфилософскаго изъясненія жизненныхъ явленій съ неутомимою энергіей, съ изумительною дѣятельностію: довѣренность къ своимъ представленіямъ міра была тутъ безграничная; убѣжденіе въ ихъ дѣйствительности слѣпо, непоколебимо и часто въ словѣ, нечаянно вырвавшемся у человѣка, въ звукѣ мелодіи, въ мимолетномъ явленіи природы, открывался для молодыхъ энтузіастовъ міръ необъятный, недоступный выраженію, но сильно чувствуемый. Жажда открыть духовное начало всего сущаго и погрузиться въ него была истинно неутолимая. Надо, однако, сказать, что въ такомъ общемъ направленіи близкихъ ей лицъ, дѣвушка, избранная сердцемъ Станкевича, отличалась скорѣе перенимчивостію, чѣмъ изобрѣтательностію въ этомъ отношеніи. Она жила съ изящною простотою въ разноцвѣтной оболочкѣ догадокъ и предчувствій, которая создана была окружающими для закрытія грубой, матеріальной стороны земного міра.

Въ томъ самомъ домѣ, гдѣ незадолго еще происходили сцены ревности и недоразумѣній между Станкевичемъ и восторженною по своему дѣвушкой, преслѣдовавшею въ немъ свой идеалъ, о чемъ мы говорили въ прошломъ отдѣлѣ, сблизился онъ съ другою особою, которая стройнѣе воплощала романтическія побужденія сердца при зарождающейся привязанности. Въ началѣ марта 1835 г., онъ, кажется, уже имѣлъ причины предполагать сочувствіе къ себѣ, потому что въ письмѣ отъ 13-го числа говорятъ съ восторгомъ и радостію, обличающими смутную надежду... «И четыре эти дня могли бы быть эпохою жизни, еслибъ все то, чтó я услышалъ въ это время, было правда. Не скажу ни слова — горестно будетъ разувериться, а я почти разуверился. Но, другъ мой, еслибъ это была правда, еслибъ это было возможно — новая жизнь началась бы для меня. О, какъ созналъ я Провидѣніе въ ту минуту, когда мнѣ сказали это!» Неожиданный поступокъ молодой энтузіастки, бывшей его поклонницы, приходится къ этому времени. Она рѣшилась именно подарить новой соперницѣ своей то счастье, котораго сама искала, указавъ ей возможность сближенія съ непокорнымъ своимъ идеаломъ и подкрѣпила ея начинающуюся любовь; но такъ какъ все это было дѣломъ насилія своей природы и воспаленной головы, то вскорѣ все и рушилось. Не прошло и мѣсяца, какъ она лежала въ постели въ полномъ нервическомъ разстройствѣ. Вплоть до новаго отъѣзда въ деревню (въ іюль 1835), Станкевичъ, больной и присужденный, между прочимъ, пить минеральныя воды, остается подъ обаяніемъ этого великодушнаго поступка. Онъ выдумываетъ для себя обязанности, налагаетъ цѣпи на всѣ постороннія побужденія, движимый однимъ высокимъ чувствомъ своего долга. Эта тяжелая служба по-

тію о чести и достоинствѣ человѣка — заслоняетъ на время даже образъ новой привязанности: Станкевичъ боится ѣхать въ Петербургъ, гдѣ тогда, кажется, находилось семейство послѣдней, изъ опасенія разбудить чуткую подозрительность соперницы и подать явный поводъ къ самоотреченію и страданіямъ. Переписка его до тѣхъ поръ въ деревню представляетъ непрерывную цѣпь намековъ, въ которыхъ хорошо отражается эта борьба съ обѣтомъ, принятымъ на себя по чувству великодушія и столь же мало удовлетворившимъ его много, какъ и то лицо, въ чью пользу онъ былъ сдѣланъ. Только въ декабрѣ 1835 переполняется для Станкевича мѣра снисхожденія и уступчивости. Онъ начинаетъ понимать все, что есть оскорбительнаго въ непрошенныхъ жертвахъ, неадекватность ихъ и посвященіе на самостоятельность человѣка. «Я не могу слышать какого-нибудь намека равнодушно, пишетъ онъ отъ 2-го декабря, какого-нибудь великодушнаго упрека... Ты представить себѣ не можешь, какъ мнѣ надоѣли всѣ эти пустяки: запутать себя въ нихъ такъ обидно, такъ унижительно.» Правда и то, что къ этому времени относится и рѣшительный поворотъ его къ другому лицу драмы, хотя потребность здравой простоты и трезвости въ людскихъ сужденіяхъ способствовала не мало къ прекращенію этой опасной игры кончайшими чувствами человеческого сердца.

Итакъ, въ іюлѣ 1835 г. Станкевичъ уѣзжаетъ въ деревню; о тутъ образъ новой привязанности вступаетъ во всѣ права свои, абнтыя на мгновеніе, и является ему во всей свѣжести, какую сообщаетъ предметамъ уединенное воспоминаніе. Напрасно Станкевичъ, вѣрный правилу строгаго присмотра за собой, подвергаетъ допросу чувство свое, — оно преслѣдуетъ его и гонитъ изъ деревни. Въ сентябрѣ того же года онъ уже является опять въ Москву, увѣряя какъ петербургскаго друга своего, такъ и самого себя, что будетъ продолжать путь до сѣверной столицы, но вмѣсто того онъ неожиданно перемѣняетъ намѣреніе и уѣзжаетъ въ деревню, гдѣ жило семейство молодой особы, оковавшей его мысль. Въ письмѣ къ Я. М. Левѣрову, извѣщая объ этомъ рѣшеніи, онъ прибавляетъ, какъ-бы оправдываясь передъ строгимъ, взыскательнымъ своимъ другомъ: «Можетъ-быть, я возвращусь дѣлательнѣе и какую-нибудь потерянную недѣлю вознагражу въ три дня.» Но уже дѣло шло совсѣмъ не о потерѣ времени, а объ отвѣтѣ на требованія души, успѣвшей осмыслить новую любовь.

Что происходило въ деревенской жизни, принявшей этого, впрочемъ, ожидавшаго гостя, — мы не знаемъ. Знаемъ только, что 26-го октября Станкевичъ возвращается въ Москву, но уже со всѣми признаками утраченныхъ надеждъ и мечтаній. «Да... пишетъ онъ

съ дороги, изъ Торжка, петербургскому другу, я похоронилъ свою послѣднюю надежду въ жизни и съ этихъ поръ принадлежу долгу и дружбѣ: нѣтъ для меня другихъ чувствъ». По прибытіи въ Москву, онъ развиваетъ ту же самую мысль (письмо 10 го ноября) еще полнѣе: «Грустно сознать, что тебѣ нечего ждать отъ жизни, что лучшая, любимая мечта твоя, съ которою ты сжился, погибла навсегда. Сначала я былъ виѣ себя, ропталъ, но это продолжалось не болѣе трехъ дней; я истощился въ борьбѣ, и теперь душа моя въ летаргическомъ снѣ.» Онъ сравниваетъ потерю надежды на любовь съ потерей близкаго человѣка, оставляющему душу въ какой-то странной серединѣ между привычкою вѣрить въ его существованіе и безотраднѣю дѣйствительностію. Та же болѣзнь сомнѣнія слышится въ его письмахъ и черезъ два мѣсяца, хотя выраженія Станкевича уже гораздо спокойнѣе и утѣреннѣе. Въ декабрѣ 1835 Станкевичъ пишетъ изъ Москвы: «Это была фантазія, а не чувство во всей его силѣ, которое неистребимо. Нельзя было разстаться съ этою фантазіею безъ сожалѣнія, безъ муки. Я прожилъ нѣсколько тяжелыхъ дней, нѣсколько мучительныхъ ночей. Пока я убѣждался—миѣ было больнѣе, нежели какъ я убѣдился. Теперь змиѣ отъ сердца отпала...» Само собою разумѣется, что естественный спутникъ всякаго сомнѣнія—нравственная пустота пришла тотчасъ за предполагаемою утратой чувства. Станкевичъ почувствовалъ себя духовно-одинокимъ, несмотря на важное значеніе, какое придавалъ онъ дружбѣ въ жизни своей. Чтобы избавить себя отъ апатіи, приближеніе которой онъ какъ будто слышитъ, Станкевичъ погружается съ необычайною энергіею въ науку и преимущественно въ философскія изслѣдованія. Къ этому времени принадлежатъ всѣ его живыя, превосходныя письма къ Я. М. Невѣрову и Т. Н. Грановскому о философіи и исторіи. Можно подумать, что чѣмъ менѣе находилъ онъ съ одной стороны твердой опоры въ жизни, тѣмъ сильнѣе искалъ ее съ другой—въ занятіяхъ. Въ такомъ состояніи духа онъ уѣзжаетъ въ деревню, гдѣ и встрѣчаетъ новый 1836 годъ, вспоминая при этомъ одну подробность ребяческаго своего возраста. Какой-то прикащикъ, начитавшійся нѣмецкихъ мистиковъ, увѣрялъ его тогда, что въ 1836 году свершится свѣтопреставленіе. Станкевичъ утѣшалъ себя мыслию, что это еще очень далеко, и что тогда ему будетъ ужъ очень много лѣтъ—двадцать два года. И вотъ этотъ 1836 годъ наступилъ, исполнилось двадцать два года: свѣтопреставленіе не пришло, и жизнь еще была впереди.

Вѣроятно, уже многіе изъ читателей нашихъ замѣтили, что всѣ обѣты одиночества и другія завѣренія Станкевича свидѣтельствуютъ скорѣе о минутной задѣржкѣ, такъ сказать, чувства, чѣмъ о без-

возвратной потерѣ его. Случайныя обстоятельства, которыхъ мы не знаемъ, отбросили любовь во глубь души, и Станкевичъ принялъ это за ея смерть, какъ иногда случается. Едва успѣвъ онъ поселиться въ деревнѣ, какъ тотчасъ же и покидаетъ ее. 24 января 1836 г. онъ уже въ Москвѣ и пишетъ коротенькую записочку Я. М. Невѣрову, извѣщая его о прибытіи туда же и семейства, съ которымъ онъ уже теперь связанъ былъ своимъ сердцемъ. Онъ проводить въ Москвѣ всю зиму и часть весны до мая мѣсяца, и во все это время пишетъ не болѣе трехъ писемъ къ другу, изъ которыхъ въ послѣднемъ зоветъ его уже съ собою на Кавказъ. Въ этихъ письмахъ Станкевичъ уже обходитъ всѣ подробности, касающіяся настоящаго вопроса, весьма мало говоритъ о себѣ, какъ-бы стыдѣсь опровергнуть такъ скоро прежнія свои завѣренія, какъ-будто робѣя передъ откровеннымъ словомъ, чѣмъ должна также объясняться и несвойственная ему лѣнность въ корреспонденціи. Легко догадаться, что внутренній міръ его снова озаренъ и согрѣтъ любовью, которая никогда и не умирала въ его сердцѣ. Дѣйствительно, тутъ произошло сближеніе между нимъ и предметомъ его нѣмыхъ удивленій, сближеніе, показавшее обоимъ настоящее состояніе ихъ сердецъ. Послѣ того путь, который имъ предстоялъ, повидимому, былъ намѣченъ ужъ очень ясно, начиная съ перваго слова любви и до послѣдней цѣли взаимныхъ откровеній—брака по чувству. Самъ Станкевичъ видѣлъ этотъ бракъ вдали какъ необходимое слѣдствіе новаго своего положенія, но онъ остановился именно передъ этимъ слѣдствіемъ. Въ сущности оказалось, что страсть его еще не выросла до той мѣры, чтобъ подчинить совершенно его волю, подсказать твердое, непреодолимое рѣшеніе. Можетъ-быть, для этого не доставало ей очень немногаго, одной капли, но недостатокъ этой послѣдней переполняющей капли уже заранѣе поражалъ безсиліемъ всякую рѣшимость. Въ самой страсти Станкевича видимъ необыкновенную добросовѣстность. Находясь подъ вліяніемъ любимаго существа, исполненнаго кроткой прелести, онъ, однако же, зорко проникаетъ умственнымъ окомъ слабыя стороны собственнаго чувства и не хочетъ вступать съ нимъ въ мировую сдѣлку, какъ поступилъ бы всякій другой на его мѣстѣ—и можетъ быть съ большимъ благоразуміемъ. Но Станкевичъ руководствуется въ жизни не столько благоразуміемъ, сколько правдою. Избѣгая самаго малѣйшаго признака неискренности, Станкевичъ начинаетъ помышлять объ отъѣздѣ за-границу. Причинъ для отъѣзда было, дѣйствительно, очень много, начиная съ разстроеннаго здоровья и до необходимости окончить свое образованіе. Ими легко было прикрыть необходимость другого рода—необходимость положить конецъ отношеніямъ, которыя ему кажутся уже не

совѣтъ правдивымъ. Планъ отъѣзда за-границу, по семейнымъ обстоятельствамъ, не могъ осуществиться ранѣе слѣдующаго года. Оставался Кавказъ, куда поспѣшно и отъѣзжаетъ Станкевичъ въ маѣ 1836 г., приводя въ исполненіе мысль, если не о разрывѣ, то по крайней мѣрѣ о временной разлукѣ.

Если уже и сказанное нами носитъ признаки тонкихъ метафизическихъ опредѣленій, то послѣ свидѣтельства самого Станкевича, которое сейчасъ приведемъ, философское происхожденіе всѣхъ его колебаній становится несомнѣннымъ. Документъ нашъ интересенъ еще и тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ воззрѣнія и нравственныя основанія большей части его московскихъ друзей. Это исповѣдь не одного Станкевича, но и цѣлаго круга въ тотъ періодъ, которымъ занимаемся. 31-го мая, передъ самымъ отправленіемъ своимъ на Кавказъ, въ одной изъ деревень отца, Станкевичъ чертитъ слѣдующія строки, адресуя ихъ тому дилеттанту-философу, который, какъ видѣли, жилъ съ нимъ иногда вмѣстѣ на одной квартирѣ въ Москвѣ. Другъ этотъ хорошо зналъ тайны его сердца и тайны семейства, къ которому оно было обращено. Надо прибавить еще, что существенная часть письма написана по-нѣмецки; но мы предлагаемъ здѣсь читателю вѣрный переводъ его, хотя и съ нѣкоторыми необходимыми пропусками.

«Я не знаю, какъ назвать мою душу—совершенно пустою или только опустошенною. Опустошенною—но что же было въ ней прежде? Пустою—но пустая душа есть достояніе глупцовъ, а я не считаю себя глупцомъ, ни ты, смѣю надѣяться. Въ ней дѣйствительно было *что-то*, но это *что-то*, любезный другъ, такъ мало, такъ ничтожно!.. А я хотѣлъ быть богачомъ,—и въ этомъ моя ошибка, моя вина. Я надѣялся сдѣлаться счастливымъ, счастливымъ безгранично,—и думалъ получить это счастье внѣшнимъ образомъ. Любовь—вѣдь это родъ религіи, которая должна наполнять каждое мгновеніе, каждую точку жизни. Иначе нельзя понимать любовь человеку, уже приведенному къ какой-либо степени сознанія. Но для того, чтобы испытывать подобную любовь, надо быть болѣе развитымъ... Не дано было мнѣ творческой жизни, образуемой такою любовью: правда, я имѣлъ объ ней понятіе, но въ свою собственность превратить ее не могъ. Моя мысль не обнимала такой жизни во всемъ ея пространствѣ: въ послѣднее время, чувство уже начинало объяснять мнѣ ее, но съ другой стороны я все еще продолжалъ искать среднихъ, обыкновенныхъ путей, къ которымъ мы всѣ привыкли болѣе или менѣе издѣтства... Это было несчастье, и послѣдняя страшная катастрофа <sup>1)</sup> можетъ-быть была необходима, чтобы исцѣлить меня отъ

<sup>1)</sup> Сомнѣніе въ чувствѣ и разрывъ съ предметомъ, его возбуждавшимъ.

романтических стремлений (Schönseeligkeit), отъ сонливости души, *чтобъ разрушить выдуманна, фантастическія представленія жизни, чтобъ выбросить меня въ свѣтъ, гдѣ могъ бы дѣйствовать какъ ~~нечто~~мысль, какъ разумное существо, или вполне выказать все свое ничтожество.* Тогда оставалось бы самоубійство; но никогда не рѣшусь и на подобную низость и до послѣдняго моего часа не потеряю надежды сдѣлаться когда-либо *человѣкомъ*. Чтобъ подѣлиться съ ~~чѣмъ-нибудь~~ добромъ своимъ, надо еще обладать чѣмъ-нибудь. Погребенность любви должна быть вызвана не бѣдностію души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищетъ кругомъ себя помощи; нѣтъ, любовь должна выходить изъ богатства нашего духа, исполненнаго силой и дѣятельности и отыскивающаго въ самой любви только новую, высшую, полнѣйшую жизнь...» И вотъ какого рода соображенія пересѣкали путь Станкевичу, и вотъ на какого рода требованія должна была отвѣчать любовь! Онъ былъ правъ, сознавая трудность задачи, поставленной самому себѣ. И какъ ни жалка участь существа, замѣшаннаго въ подобную распрю между сердцемъ и отвлеченными требованіями, Станкевичъ былъ правъ и передъ нимъ, когда для достиженія своихъ цѣлей долженъ былъ пройти мимо его и оставить его одинокимъ на землѣ. Въ жизни бывають случайныя неизбѣжныя жестокости, въ которыхъ нѣтъ виновныхъ, и въ которыхъ жертва и приноситель жертвы одинаково заслуживають уваженіе.

Суровая природа Кавказа произвела непріятное впечатлѣніе на Станкевича: онъ и вообще не расположенъ былъ ко всему, что представляетъ видъ матеріальной силы, хаотическаго безпорядка и борьбы элементовъ. Ему нужно было сперва *подумать*, чтобъ оцѣнить красоту Кавказа въ ихъ величавой дикости, и только посредствомъ обсужденія дошелъ онъ до возможности принять впечатлѣніе и отдать въ немъ отчетъ. «Здѣсь, говоритъ онъ, природа дика и печальна; здѣсь начинается обширная колыбель челоуѣчества; властительницей является здѣсь природа; передъ ней смиряется бѣдное челоуѣчество, чувствуетъ свое дѣтское безсиліе и не смѣетъ мечтать о своемъ первенствѣ... Огромность и дикость давятъ душу, и постепенно, но скоро равняется она съ этими утесами и безпредѣльными равнинами.» Впрочемъ, минеральныя воды Кавказа еще болѣе разстроили его здоровье, и въ августѣ 1836 года онъ возвращается въ Удеревку, гдѣ предается планамъ будущаго своего отъѣзда за границу и однажды восклицаетъ, припоминая всегдашнюю склонность свою—искать счастья въ семейной жизни: «мнѣ надо больше твердости, больше жесткости!»

Послѣ двухъ мѣсяцевъ отдыха онъ опять является въ Москву

(въ октябрѣ 1836) и остается тамъ до весны 1837 года, покончивъ въ это время, какъ мы знаемъ, всѣ разногласія съ петербургскимъ другомъ Невѣровымъ, касательно философскихъ занятій и изложивъ ему замѣчательныя мысли по поводу полученнаго извѣстія о смерти Пушкина.

Не такъ легко было рѣшить вопросъ о любви. Въ началѣ зимы 1836—1837 года семейство его избранной прибыло въ Москву. Тутъ же находился и пріятель, философъ-дилеттантъ, который былъ посвященъ во всѣ тайны этой исторіи. Къ нему слѣдовало прибѣгнуть теперь за совѣтомъ и помощью. Можно угадать, какого рода было то и другое. Вѣроятно, другъ Станкевича, весьма сильный въ разрѣшеніи всѣхъ противорѣчій діалектическимъ способомъ, старался устранить препоны, полагаемыя размышленіемъ и осторожностію ума, указавъ на выходъ, который предстоялъ ему вслѣдствіе логической необходимости. Вѣроятно также, что Станкевичъ, слѣдуя за силлогизмами друга, полагалъ, что и жизнь слѣдуетъ непремѣнно за ними. Но когда онъ обращался прямо къ своему чувству, оно, несмотря на всѣ вызовы, оставалось какъ-то бездѣйственно, слабо и болѣзненно, хотя и не потеряло еще послѣднихъ признаковъ жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что у Станкевича были минуты, когда онъ не зналъ самъ—любить ли онъ, или сердце его уже свободно отъ волненій страсти. Мы видимъ изъ переписки, что по внушеніямъ того или другого признака, открытаго въ себѣ, онъ попеременно или стремится къ цѣли, которою должна была увѣичаться его любовь, или въ изнеможеніи и отчаяніи останавливается посреди пути и съ томленіемъ ждетъ какого-то откровенія, которое бросило бы ему свѣтъ на собственное его сердце. Онъ не могъ однако же выносить долго этихъ потемокъ сознанія, если смѣемъ выразиться такъ, даже и по природѣ своей, искавшей ясности и тамъ, гдѣ она трудно обрѣтается. Нѣтъ сомнѣнія, что Станкевичъ скоро принялъ бы опредѣленное рѣшеніе для своихъ отношеній къ молодой особѣ и не скрывалъ бы отъ нея перемены, происшедшей въ его сердцѣ, еслибъ болѣзненное состояніе этой дѣвушки не требовало въ этомъ дѣлѣ величайшей осторожности, необходимость которой ясно видѣли близкіе ея друзья, указывавшіе эту необходимость и Станкевичу. Столько же изнуренный болѣзнію, сколько и всѣми этими событіями внутренняго своего міра, Станкевичъ отодвигаетъ послѣднее рѣшеніе на далекое, непредѣленное время, слѣдуя въ этомъ еще болѣе совѣтамъ разстроенной души, чѣмъ близкихъ людей и своихъ родныхъ. Послѣдніе письма больного и страдающаго Станкевича наполнены единственно распоряженіями о паспортѣ за границу, объ отставкѣ, о ходѣ этого дѣла въ Петербургѣ, страхомъ за успѣхъ его и ожиданіемъ извѣ-



ний. Наконецъ покидаетъ онъ родину осенью 1837 г., и мало-по-малу, во время пути, начинаютъ возвращаться въ истомленную душу его юной, порядокъ и равновѣсіе силъ.

Мы занялись нѣсколько подробно описаніемъ всей этой исторіи любви потому именно, что въ нашихъ глазахъ она заключаетъ въ себѣ поученіе. Кто не видитъ, что въ ходѣ ея, развитіи и концѣ, есть какой-то порокъ или недостатокъ, нѣшающій каждому ея періоду достигнуть настоящаго своего развитія? Порокъ этотъ, однакоже, есть порокъ силы, или лучше, слишкомъ высокаго пониманія предметовъ. причемъ выпущена изъ вида ихъ жизненная, простая сторона. Такъ всегда наказываются излишне-строгія требованія отъ себя и другихъ, исключительныя, несправедливыя ожиданія, наклонность возводить мысли и поступки до послѣднихъ предѣловъ идеальныхъ притязаній. Бѣды, происходящія отсюда, вполне заслужены; но люди, провинившіеся такимъ образомъ, становятся навсегда любезными, дорогими именами для нашего сердца и для нашей памяти.

Скажемъ въ дополненіе, что самъ предметъ, возбудившій эту душевную драму, ничего не потерялъ отъ неожиданнаго ея развитія. И до отъѣзда за границу и по отъѣздѣ Станкевича находился съ нимъ въ постоянной перепискѣ. Утраты свершились въ душѣ Станкевича; лицо, державшее нити этихъ событій, не утрачивало ничего. Правда, что передъ женскимъ сердцемъ трудно скрыть игру тѣхъ ощущений, которой оно само же дало поводъ; правда, что оно понимаетъ тотчасъ утрату чувства, подъ какой бы формой она ни скрылась... Бываетъ, что оно утѣшается,—и это составляетъ одно изъ частливѣйшихъ свойствъ человѣческой природы, но бываетъ и наоборотъ. . Благородная, поэтически-возвышенная дѣвушка скончалась скорѣе по отъѣздѣ Станкевича за границу. То-есть, скончалась отъ какой-нибудь болѣзни? спроситъ благосклонный читатель. Дѣйствительно, она скончалась отъ обыкновенной болѣзни, но въ томъ дѣло, что зародыши обыкновенныхъ болѣзней бываютъ самыхъ разнообразныхъ свойствъ и имѣютъ иногда такое отдаленное и даже странное происхожденіе, что не поддаются изслѣдованію доктора и науки.

Заключивъ рассказъ нашъ послѣднею историческою данною, не лишеною тоже своего рода поученія. Образъ любимой дѣвушки не заслонилъ въ глазахъ Станкевича другой особы, съ которою онъ находился въ чистыхъ дружественныхъ отношеніяхъ. Самое свойство ихъ взаимныхъ отношеній не давало имъ никакихъ правъ другъ на друга и еще менѣе могло породить какого-либо рода колебанія, юленія и порывы. Такъ все было просто между ними, что они не думали подвергать изслѣдованію и повѣркѣ чувство взаимнаго безкорыстнаго расположенія другъ къ другу. Чѣмъ меньше обра-

щали они вниманія на себя, тѣмъ привязанность становилась крѣпче, лишняя всякаго ухода и нянчанья. Они были связаны безъ узъ и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ свободнѣе могли удалаться другъ отъ друга. По отъѣздѣ за границу Станкевичъ вспомнилъ объ этой дружбѣ, не оставившей никакого слѣда въ перепискѣ; больной прибѣгъ къ послѣднимъ ея услугамъ, и она явилась къ нему и успѣла закрыть ему глаза на вѣкъ въ 1840 г. Такъ дѣйствуетъ сама жизнь въ противоположность съ нашими поправками, украшеніями и толкованіями ея.

---

V.

ДВѢ ЗИМЫ ВЪ ВЕРЛИНѢ.

Благодаря семейной перепискѣ Станкевича, мы можемъ прослѣдить путь его и пребываніе за границей довольно подробно. 24-го августа осмотрѣлъ онъ Кіевъ, и подвигаясь затѣмъ къ австрійской границѣ, 31-го числа былъ уже въ Лембергѣ. Польское и жидовское народонаселеніе, окружающее границу нашу съ этой стороны, возбудило тотчасъ же юморъ Станкевича. Довольно забавно рассказываетъ онъ, что послѣ какого-то жидовскаго обмана при прощаніи денегъ, онъ уже не могъ болѣе терпѣть жидовъ, и каждому приходившему къ нему еврею всегда говорилъ: *Zum Teufel*, на что каждый еврей всегда отвѣчалъ: *Wo wohnt er denn?* Забавную шутку сыгралъ съ нимъ, по словамъ Станкевича, и одинъ почтальонъ, узнавшій о его новопріобрѣтенномъ отвращеніи отъ услужливыхъ факторовъ. Въѣзжая на дворъ лембергской гостинницы, онъ сталъ кричать: «чи нема ту жидовъ? Панъ не може ихъ видѣть». Все это и даже усталость отъ путешествія не могли поколебать обыкновеннаго чувства довольства, которое испытывается при началѣ странствованія по знакомымъ, хотя еще и невиданнымъ землямъ. «Что значить воображеніе! говоритъ Станкевичъ, — за Бродами нѣтъ казалось, что я въѣхалъ совсѣмъ въ другой міръ, что и трава тутъ не такъ растетъ, и небо не такъ смотритъ, а какъ почтальонъ заигралъ въ рожокъ, я самъ не знаю, что со мною сдѣлалось: такъ весело, хотъ плясать!» Дѣйствительно, это было воображеніе, потому что Станкевичъ ѣхалъ больной и торопился въ Карлсбадъ, по пути завѣряя родныхъ въ отличномъ состояніи своего здоровья и своего духа. Въ началѣ сентября Станкевичъ былъ въ Бракѣ и началъ за нужное осмотрѣть извѣстныя Величковскія соляныя копи. Проводникъ освѣщалъ для него факелами и бенгальскими огнемъ фак-

пластическіе корридоры и блестящіе залы копей. Въ одной изъ разрывѣтнхъ пропастей ихъ, внезапно озаренной синнимъ фейерверочнымъ огнемъ, Станкевичъ не могъ удержаться отъ чувства страха. Нельзя не струсить, говоритъ онъ, видя надъ собой страшныя ямы.» Впечатлительность Станкевича была неимоверна. Во время пребыванія въ Римѣ (1840), при осмотрѣ какой-то развалины, лежавшей на пути изъ Альбано, одному изъ товарищей его вздумалось закричать громкимъ голосомъ: Divus Caius Julius Caesar. Это развалины отозвалось на голосъ какъ будто со стономъ. Веселый и разговорчивый дотолѣ, Станкевичъ вдругъ поблѣднѣлъ, умолкъ и, послѣ нѣсколькихъ секундъ молчанія, словно переживъ сильное внутреннее потрясеніе, сказалъ съ упрекомъ товарищу: «Зачѣмъ вы это сдѣлали?» Организція Станкевича, нѣжная по природѣ, въ послѣдніе годы его жизни сдѣлалась чутка и воспримчива до изумительной степени. Воображеніе его всегда бодрствовало, несмотря на слабость физическихъ силъ, а можетъ-быть и по причинѣ этой слабости.

Возвращаясь къ путешествію Станкевича, мы видимъ изъ дневника его, что 9-го сентября, ст. ст., былъ онъ въ Ольмюцѣ, а 14-го въ Прагѣ. Въ Ольмюцѣ пробуетъ онъ высказать личное впечатлѣніе отъ первой готической церкви, встрѣченной имъ на пути, и отъ перваго могущественнаго органа, который загремѣлъ для него подъ сводами. И то и другое ему давно было знакомо въ понятіи, но здѣсь онъ начинаетъ чувствовать предметы и спѣшитъ разложить и опредѣлить свое ощущеніе. Въ Прагѣ онъ встрѣчается съ нидерландскою натуралистическою школою живописи XV столѣтія, съ чуднымъ Гемлингомъ, который вмѣстѣ съ братьями Ванъ-Эйками былъ родоначальникомъ знаменитой школы, породившей Рубенсовъ, Ванъ-Дейковъ, Рембрандтовъ и проч. Первые образцы искусства, встрѣченные имъ, вызываютъ на свѣтъ природное эстетическое чувство его и способность непосредственной, личной оцѣнки изящнаго. Дневникъ его въ городахъ, упомянутыхъ нами, есть просто указатель предметовъ, но указатель, по нашему мнѣнію, необычайно тонкій и утонченный. Видно съ перваго раза малое знакомство съ сущностію того и другого рода искусства и недостатокъ навыка въ оцѣнкѣ ихъ, но есть возвышенное, свѣтлое и оригинальное пониманіе ихъ въ общей идее, чѣмъ Станкевичъ отличался и впоследствии при своихъ сужденіяхъ о пластическихъ искусствахъ вообще. Слово его всегда затрогивало и шевелило душу. Отъ подобныхъ ему профановъ въ образовательныхъ искусствахъ и можно услышать мѣткое сужденіе, открывающее новую сторону предмета, часто неувловимую для глаза, уже свыкшагося съ нимъ. Замѣчаніе это могли бы подтвердить художники наши, Пименовъ и Завьяловъ, встрѣтившіеся

съ нимъ въ Прагѣ на пути своемъ въ Римъ<sup>1)</sup>. Какъ образомъ свѣжести и несомнѣнной возвышенности его образа мыслей можно представить читателю идеи его объ отношеніи музыки и живописи къ храму и служенію, находящіяся въ его перепискѣ. Весьма замѣчательное предчувствіе истины показалъ Станкевичъ и при первомъ почти нечаянномъ столкновеніи съ картиной художника XV вѣка, содержаніе которой передаетъ онъ мастерски въ нѣсколькихъ словахъ.

Въ Прагѣ Станкевичъ видѣлъ у Палацкаго и у Шафарика чешскихъ литераторовъ и былъ тронутъ до слезъ ихъ дѣтскою сыновнею привязанностію къ родинѣ, ея преданіямъ и пѣснямъ, и только рѣзкое, исключительное превознесеніе одной славянской національности нѣсколько нарушало гармонію въ душевныхъ сношеніяхъ съ ними. Станкевичъ, только-что выѣхавшій изъ Россіи, всею обращенъ былъ лицомъ къ Европѣ и не могъ раздѣлять ихъ пристрастія къ европейской цивилизаціи, весьма объяснимаго особеннымъ положеніемъ тамошняго края. Вотъ нѣсколько строкъ о народности, написанныхъ имъ въ Прагѣ и какъ будто отвѣчающихъ на споръ, недавно возникшій объ этомъ предметѣ. «Чего хлопочутъ люди о народности? Надобно стремиться къ человѣческому, свое будетъ не невольѣ. На всякомъ искреннемъ и непримѣльномъ актѣ духа невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше. Гемлингъ вѣрно не хотѣлъ написать Нѣмцу (въ картинѣ, представляющей встрѣчу Елизаветы и Маріи и находящейся въ Прагѣ въ церкви Св. Вита), но его лицо по неволѣ вышло такъ, хотя на немъ святое выраженіе; а эта индивидуальность и составляетъ красоту. Это все равно, если бы я, замѣтивши, что у многихъ людей, являющихся въ обществѣ, есть свои особенныя манеры, старался бы непременно сдѣлаться оригинальнымъ въ этомъ отношеніи и сталъ бы подражать отцовскимъ и дѣдовскимъ манерамъ. Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатывается его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій значитъ хотѣть продлить для него время дѣтства: давайте ему общее человѣческое и смотрите, что онъ способенъ принять, чего недостаетъ ему? Вотъ это угадайте, а поддерживать старое натяжками—это нибудь не годится.»

<sup>1)</sup> Станкевичъ довольно оригинально рассказываетъ о встрѣчѣ своей съ Пиншо-вымъ, котораго зналъ и прежде. Онъ осмѣлился по газетамъ о пребываніи художника въ Прагѣ: „На другой день рано поутру надѣваю поскорѣ теплый спорту и бѣгу... Постучавшись раза два въ дверь, я отворилъ ее и спросилъ: ist Herr Pischow hier?—Ich habe kein Geld, отвѣчаетъ онъ, думая, что въ дверь лѣзетъ какуцникъ. Онъ не узнавалъ меня до тѣхъ поръ, пока я не подошелъ къ самой его постелѣ“

Наконецъ 16-го сентября добирается онъ до Карлсбада и шутя идетъ къ Я. М. Невѣрову и Т. Н. Грановскому, ожидавшимъ его въ Берлинѣ: «Вы думаете, что вы важные люди, потому что стоите въ Friedrichstrasse... да мнѣ что за надобность! Знаю я ваши именины... дайте мнѣ пріѣхать въ Берлинъ; я васъ отпощучу... буду въ вашему брату гонима.» Правда и то, что оба пріятеля, получивъ наконецъ извѣстіе, что Станкевичъ благополучно доѣхалъ до Карлсбада и намѣревается зимовать въ Берлинѣ, пустились выплясывать *pas de deux*, какъ гоголевскій маіоръ Королевъ, по замѣчанію Станкевича. Нельзя сказать, чтобы Карлсбадъ имѣлъ сильное вліяніе на здоровье его, хотя онъ и пробылъ тамъ до 5-го октября, — есть почти три недѣли. Тому мѣшало и частое уклоненіе отъ роговъ, однообразной, монашеской жизни, необходимой при глѣченіи идеями, но мало соотвѣтствовавшей природѣ его, а также и неспокойное состояніе души — остатокъ тѣхъ волненій, которыя пережилъ въ Россіи. Горько жалуется онъ на свою врожденную способность къ мечтательности, на скорую довѣренность къ первому, несомному чувству сердца, что тогда называлось *прекраснодушіемъ* (съ немецкаго *Schönseeligkeit*). Глаза его обращаются совсѣмъ въ другую сторону; онъ помышляетъ о женщинѣ, связанной формальными канонами и потерявшей чувство, которое даетъ имъ смыслъ и значеніе. Твердо защищаетъ онъ передъ другомъ естественныя права ея, во имя духа, который долженъ оживлять каждый человѣческій актъ, каждое человѣческое сношеніе — и защиту эту, по справедливости, называетъ новымъ періодомъ своего развитія. Какъ бы то ни было, въ Карлсбадѣ остался однимъ изъ дорогихъ его воспоминаній. Въ путешествіяхъ случается часто, что первый городъ съ ясною національною фizioноміей оставляетъ неизгладимое впечатлѣніе у человека, несмотря на множество другихъ посѣщенныхъ имъ городовъ, ярче и полнѣе выражающихъ тотъ же характеръ. Въ Карлсбадѣ Станкевичъ обрѣлъ тотъ нѣмецкій міръ, о которомъ думалъ съ вѣстива, съ которыми познакомился сперва, какъ самъ говоритъ, посредствомъ рыцарскихъ романовъ, затѣмъ посредствомъ фантастическихъ повѣстей, про который и за который говорили ему издавна съ любимѣйшіе писатели его. Понравились ему и простота нѣмецкой жизни, отсутствіе празднаго барства, легкость сношеній между людьми, признаки старой цивилизаціи, видимые на самыхъ мелкихъ вещахъ и повсюду умягчившіе не только нравы, но самое слово и выраженіе мысли. Затѣмъ явились типы, характеры, фizioноміи, которые были только живыми воплощеніемъ того, что уже давно заставляло, трогало и смѣшило его за книгами. Онъ пріобрѣтаетъ себѣ большого друга въ часовыхъ дѣлѣ мастерѣ Гофманѣ и еще двухъ

такихъ же искреннихъ друзей при поѣздѣ въ Зедлицъ, именно: золотыхъ дѣлъ мастера изъ Эгера и органнаго мастера оттуда же. Онъ присутствуетъ на всѣхъ балахъ ихъ, на стрѣльбѣ въ цѣль, на вечернихъ собраніяхъ за пивомъ подъ руководствомъ неутомимаго Гофмана: «Дымъ столбомъ, говоритъ Станкевичъ, пиво рѣкою, одинъ музыкантъ играетъ на скрипкѣ, иногда припѣвая для большей выразительности: трара, трара, причемъ гражданство хохочетъ.» Услужливость неимовѣрная. Хозяинъ кабинета для чтенія, куда Станкевичъ зашелъ отъ скуки, тотчасъ узнаетъ въ немъ, хотя и не совѣмъ впопадъ, страстнаго любителя политики, предлагаетъ ему два *№№ Journal des Débats* на домъ и учтиво замѣчаетъ: «*Ohne Politik zu lesen ist man doch todt*» (не читать о политикѣ все равно, что быть мертвымъ). Тутъ же встрѣчаетъ Станкевичъ и нѣмецкихъ геллертеровъ, и студентовъ, и тѣхъ дѣвушекъ, которыя, весело проработавъ цѣлую недѣлю, идутъ, въ праздникъ, въ церковь съ книжками въ рукахъ и съ серьезнымъ выраженіемъ на лицѣ, а вечеромъ также серьезно, но только безъ книжекъ — на вальсъ. Не пропускаетъ Станкевичъ безъ особаго вниманія и шаловливыхъ пансіонерокъ, которыя, узнавъ въ немъ иностранца, всѣ въ одинъ голосъ закричали при встрѣчѣ съ нимъ: «*Guten Morgen*». Затѣмъ еще театръ: оперы, исполняемыя второстепенными пѣвцами съ добросовѣстными и неимовѣрными усиліями, комедіи, которыя, по замѣчанію Станкевича, суть не что иное, какъ дѣтскія правоучительныя пьесы, но съ такими уморительными выходками и комическими сценами, что едва усидишь на стулѣ отъ смѣха, наконецъ драмы и трагедіи, гдѣ мимика, декламация и позы артистовъ достигаютъ послѣднихъ предѣловъ возможнаго... Какъ будто въ соотвѣтствіе съ внѣшнею жизнію, Станкевичъ читаетъ въ Карлсбадѣ романъ Тиса: «*Der junge Tischlermeister*» (молодой столяръ), гдѣ умный графъ, любитель театра и построекъ, ѣдетъ съ другомъ своимъ, умнымъ столяромъ, въ свой замокъ, и оба на дорогѣ поминутно встрѣчаютъ *избранныя происшествія и событія*, которыя подають имъ поводъ къ длиннымъ разсужденіямъ объ искусствѣ, обществѣ и отношеніяхъ, существующихъ между людьми. Эстетическія сужденія, высказываемыя степеннымъ столяромъ, уже гораздо трезвѣе, проще Гофмановскихъ мнѣній и во многихъ случаяхъ мѣткѣ и вѣрны, событія иногда дѣйствительно интересны и забавны, основная мысль романа — о невозможности натянутыхъ связей — тоже имѣетъ долю правды; но механическая постройка романа, до крайности нехудожественная, и самъ онъ, пропитанный страстію къ средневѣковому порядку вещей, обличаетъ уже слишкомъ наклонность къ сентиментальному пониманію будничной нѣмецкой жизни, которая въ немъ и



лись они тотчасъ же въ Берлинъ на общую квартиру, и утомленный Станкевичъ пишетъ къ роднымъ, что послѣ длинной и долгой ѣзды больше чувствуешь цѣну стулу, постели и печи, передъ которыми можно сидѣть и болтать съ Невѣровымъ и Грановскимъ. Такимъ образомъ, Станкевичъ добрался наконецъ до цѣли путешествія и расположился на долгое житье въ сообществѣ своихъ друзей, подлѣ сѣбѣ знаменитаго тогда Берлинскаго университета.

Онъ тотчасъ познакомился съ адъюнктомъ университета Вердеромъ, у котораго сталъ брать private уроки логики въ свободное его время (около 11 часовъ утра). Вердеръ, хорошо знавший тогдашней образованной молодежи русской, учившейся въ Берлинѣ, былъ типомъ добродѣтельнѣйшаго, довѣрчиваго, дѣтски-чистаго нѣмецкаго ученаго. Ему тогда было не болѣе тридцати лѣтъ, и сблизившись съ Станкевичемъ онъ подпалъ, какъ и другіе, вліянію его личности. Вердеръ просто влюбился въ своего ученика, отъ котораго, по его признанію, столько же получалъ самъ, сколько и давалъ ему. Къ великой забавѣ Станкевича, профессоръ объяснялъ свое расположеніе къ нему мыслию, что у русскаго друга его душа совершенно нѣмецкая. Высоко цѣнить и Станкевичъ расположеніе этого замѣчательнаго человѣка, который старался отвлеченными формулами Гегелевой логики сообщить жизнь и поэзію, возводя ихъ до нравственныхъ правилъ, связывая съ ними достоинство человѣка и эстетическое воспитаніе его. Вотъ что говоритъ объ этомъ нашъ путешественникъ: «Профессоръ Вердеръ рѣдкій молодой человѣкъ, наивный какъ ребенокъ. Кажется, на цѣлый міръ смотритъ онъ какъ на свое помѣстье, въ которомъ добрые люди безпрестанно готовятъ ему сюрпризы. Его бесѣды имѣютъ спасительное вліяніе, всѣ предметы невольно принимаютъ тотъ свѣтъ, въ которомъ онъ ихъ видитъ, и становится самому лучше, и самъ становишься лучше.» Такое дѣйствіе производилъ молодой ученый, и одна чрезвычайно умная русская женщина Елизавета Павловна Фролова (урожденная Галахова) мѣтко и полно выразила характеръ его, сказавъ: «Это замѣчательный человѣкъ; жаль только, что онъ съ однимъ собою знакомъ.» Но можетъ-быть въ этомъ единствѣ съ самимъ собою заключалась и его сила. Кромѣ Вердера, Станкевичъ слушалъ курсы исторіи у Ранке, философію права у Ганса, и еще курсы сельскаго хозяйства, такъ какъ онъ не считалъ себя освобожденнымъ высшими занятіями отъ занятій, прямо соответствующихъ его званію и положенію въ русской жизни. Впрочемъ, курсомъ сельскаго хозяйства онъ не совсѣмъ былъ доволенъ: въ два прослушанные имъ семестра дѣло все шло объ историческомъ развитіи сельскаго хозяйства. Въ концѣ 1837 года пріѣхало въ Берлинъ семейство Фроловыхъ, и



хозяйка, та замѣчательная женщина, о которой упоминали мы сейчас и о которой будемъ мы еще упоминать неоднократно, вскорѣ привлекла къ себѣ Станкевича и друзей его. Въ теченіи двухъ зимъ, 1838 и 1839 годовъ, почти каждый день проводили они вечера у г-жи Фроловой, толкуя за часомъ обо всемъ, что можетъ занимать умъ человека; но конечно не въ этомъ еще заключалась прелесть, привлекавшая ихъ къ дому Фроловыхъ, а въ томъ свободномъ и сдержанномъ, веселомъ и благородномъ настроеніи, которое хозяйка его умѣла сообщать своимъ посѣтителемъ.

Станкевичъ совсѣмъ не осматривалъ города, но на общественную жизнь, на публичные собранія и на людей обращалъ сильное вниманіе. Театръ онъ постоянно посѣщалъ и даже по королевской оперѣ принадлежалъ къ партіи примадонны Фассманъ (блондинки собой), между тѣмъ, какъ нѣкоторые изъ его пріятелей стояли за Лёве, высокую и красивую брюнетку. Ссориться, впрочемъ, было не изъ чего, потому что, несмотря на восторги публики, обѣ пѣвицы были — таки довольно плоховаты. Знаменитаго Зейделя Станкевичъ считалъ гениальнымъ актеромъ, но очень скоро подмѣтилъ въ немъ излишнюю заботливость о внѣшней отдѣлкѣ ролей. Любимцами его сдѣлались комики Гернъ и Бекманъ, дѣйствительно превосходные, одинъ по неисчерпаемой веселости и плодovitому изобрѣтенію въ каррикатурахъ, другой по спокойному, неподдѣльному юмору. Мы уже знаемъ наклонность Станкевича къ смѣху. Онъ ходилъ въ Бенигштадтскій театръ Берлина, гдѣ давались преимущественно фарсы, такъ часто, какъ только могъ, и рассказывалъ самъ, что чуть не обезумѣлъ отъ хохота при первомъ представленіи, на какое попалъ. На сцену выведенъ былъ смотритель рынка, который, подмѣтивъ воровъ, слѣдуетъ за ними и подвергается нападенію всѣхъ собакъ рынка, между тѣмъ какъ мошенники благополучно исполняютъ свое дѣло. За сценой слышался совершенно собачій лай, производимый десяткомъ мастеровъ въ этомъ дѣлѣ, и когда Станкевичъ услышалъ эту добродушно-колоссальную глупость, то уже почти лишился чувства. Далѣе смотритель тонетъ въ рѣкѣ и, послѣ спасенія своего, находитъ, что карманы его набиты рыбой. Гернъ сдѣлалъ при этомъ такую мину, что главная актриса, расхохотавшись, просто убѣжала со сцены при всеобщихъ рукоплесканіяхъ. Еще менѣе можно передать знаменитые въ то время фарсы, на которые стекался весь Берлинъ: «Путешествіе на общій счетъ» и «1739, 1839 и 1939 годы». Эти фарсы и особенно берлинскіе *вицы* (разсчитывающіе болѣе на смѣхъ, чѣмъ на пораженіе ума) составляли тогда отличительную, народную характеристику города. Они собирались въ отдѣльныя книжки: Bunter Berlin, Berliner Dummzeug и проч., гдѣ берлинскіи

типъ *женистеера* (Eckensteher: такъ называются поденщики или комиссіонеры, обыкновенно поджидающіе работы на углахъ улицъ) явился, какъ изобрѣтатель всѣхъ уморительныхъ глупостей, придуманныхъ степеннымъ воображеніемъ сѣвернаго германца. Читатель можетъ ознакомиться съ этого рода выходками, и на природномъ діалектѣ ихъ, въ издаваемомъ нынѣ журналцѣ: «*Dorfbarbie*». Станкевичъ съ наслажденіемъ слѣдилъ за этимъ выраженіемъ народности, не упуская впрочемъ изъ виду и другихъ ея проявленій. Онъ посѣщалъ *кнейты*, публичныя гулянья, катанья на саняхъ, маскарады, гдѣ при появленіи новой маски дѣло ограничивается общими крикомъ: э, э! гдѣ въ полночь реветъ осель въ какой-нибудь ложѣ, возбуждая смѣхъ и вопли: да саро! гдѣ находчивость маски ограничивается обыкновенно тѣмъ, что она беретъ вашу руку и чертитъ пальцомъ на ладони ваше прозвище. Природный юморъ Станкевича развился необыкновенно въ Берлинѣ. Въ немъ самомъ жила еще какая-то непреодолимая склонность къ веселости, какое-то побужденіе отдаваться ей, иногда даже наединѣ съ собою и безъ видной причины.

Въ Берлинѣ Станкевичъ познакомился съ веселою и умною дѣвушкой, которую всѣ знали подъ именемъ Берты и которая жила съ дядей, добрымъ, ограниченнымъ старикомъ, выдававшимъ себя за барона. Берта не лишена была остроумія, а жажда удовольствій была ей общая со всѣми нѣмками. Это шимлетное знакомство не прошло даромъ для Станкевича: оно оставило слѣды въ его душѣ. Когда Грановскій въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1838 г. выѣхалъ изъ Берлина съ цѣлью посѣтить библіотеки и ученныя заведенія Дрездена, Праги и Вѣны, и когда съ первою же почтой написалъ къ оставшемуся другу о тяжеломъ чувствѣ видѣть себя совершенно одинокимъ, то Станкевичъ насмѣшливо отвѣчалъ ему: «Э, Иванъ Ивановичъ! Вотъ то-то же! Только что выѣхали, ужъ сейчасъ нельзя ли поговорить съ Иваномъ Никифоровичемъ?» Однакожъ когда онъ самъ вслѣдъ за Грановскимъ покинулъ Берлинъ въ маѣ мѣсяцѣ, то дѣло было еще хуже. Онъ даже плакалъ, а потомъ писалъ къ Грановскому изъ Дрездена, выражая свое сожалѣніе объ отъѣздѣ изъ прусской столицы: «Поздравьте! Лѣве опять въ Берлинѣ. Сегодня дадутъ тамъ Норму, а она будетъ пѣть: *Keusche Götting*, и публика будетъ въ восторгѣ, и всѣ мѣста будутъ заняты, и мы съ вами скоты...» Онъ чуть-чуть не воротился въ Берлинъ, а на слѣдующій годъ и дѣйствительно выкинулъ подобную штуку. Пріѣхавъ въ Дрезденъ, онъ подумалъ, подумалъ, да на другой день сѣлъ въ diligencъ и прискакалъ обратно въ Берлинъ—посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Черезъ нѣсколько сутокъ онъ уже снова былъ въ дорогѣ. Можно

едполагать, что знакомство съ Вертой было первою причиною всѣхъ ихъ нарушеній порядка и установленнаго плана дѣйствій. Вообще Станкевичъ смотрѣлъ на знакомство это не совсѣмъ просто и легко, ита и зналъ настоящую цѣну ему. Въ одну изъ минутъ недовольства, порожденнаго малымъ нравственнымъ основаніемъ своей знакомки, онъ говоритъ про себя съ досадою: «Зачѣмъ же ожидать было большаго! Вѣдь не любилъ же и я! Ахъ, какая мерзкая, капризная натура!» Даже по отъѣздѣ изъ Берлина въ Италію, Станкевичъ еще свѣдомляется о вѣтренной дѣвушкѣ и незадолго до смерти говоритъ ей въ письмѣ къ одному изъ своихъ пріятелей русскихъ. Вообще Станкевичъ иногда не давалъ роста своимъ наклонностямъ, какъ въ настоящемъ случаѣ, но корни ихъ всѣ сохранялъ въ душѣ. Надобно замѣтить еще, что сближеніе съ Вертой возникло въ исходѣ душевной разладицы, когда, утомленный повѣркой своихъ чувствъ и тыканіемъ истины въ собственныхъ ощущеніяхъ, Станкевичъ становится предаться простой, безотчетной жизни, насколько было ему возможно это. Но «такого рода азычество» — употребляя его же выраженіе — совсѣмъ не лежало въ основѣ его характера.

Къ той же эпохѣ пребыванія въ Берлинѣ относятся нѣсколько юмористическихъ стиховъ Станкевича, касавшихся преимущественно о друзей и постоянныхъ собесѣдниковъ въ Берлинѣ. Остатки старой склонности къ стихотворству вышли другимъ путемъ, веселой пародіей и юморомъ. Тутъ есть даже нѣмецкіе стихи, какъ, напримеръ, хоръ духовъ надъ спящимъ Грановскимъ, возвѣщающій ему скорое прішествіе бутеръ-брѣда и горькія жалобы героя, при продолженіи, на отлетѣвшее блаженство, къ которому онъ уже былъ такъ близокъ. Затѣмъ въ этой, такъ сказать, домашней литературѣ: «Посланіе къ Невѣрову, по случаю печальныхъ звуковъ, которые онъ извлекалъ изъ мусикійскаго струмента»; «Возвращеніе въ Берлинъ»; «Поясненіе Гегелевой логики» и проч.

Но вскорѣ это добродушное веселіе начинаетъ пріобрѣтать отблескъ фѣдой насмѣшки и глубокой ироніи, такъ мало свойственныхъ природѣ Станкевича; и съ этими качествами Станкевичъ является съ самаго начала переписки 1838 года. Причины такого устройства, развившагося въ Берлинѣ вмѣстѣ съ юморомъ и, такъ сказать, о-бокъ съ нимъ, уже до такой степени важны, что заслуживаютъ особаго упоминovenія.

Дѣло въ томъ, что Станкевичъ усматривалъ на концѣ своихъ обычныхъ занятій вѣчто такое, что еще было скрыто для пріятелей. въ Берлинѣ кончилось для Станкевича наслажденіе философіей и никакая возможность обращаться съ нею запросто, дѣлать изъ нея одно изъ поэтическому вдохновенію и привлекательной мечтѣ, оправ-

дывать ея привязанности и воззрѣнія, съ которыми свѣлся. Онъ встрѣчался съ чистою мыслию во всей ея наготѣ и сухости, и неизбежныя послѣдствія этой встрѣчи мало-по-малу отрывались отъ умственного взору, между тѣмъ какъ товарищи его думали, что онъ идетъ, какъ слѣдуетъ, къ знакомому благополучному концу. Отсюда рѣзко-насмѣшливое, ироническое обращеніе его. Удивительно, что Станкевичъ никогда прямо не высказалъ новаго своего настроенія и далъ ему испариться въ однихъ намекахъ, отрывкахъ и замѣткахъ, какъ будто боясь привлечь другихъ въ ту болѣзненную работу ума, которой самъ подвергся: замѣчательная и весьма трогательная черта деликатности! Отъ берлинской эпохи остались у Станкевича книги тетрадей, записокъ съ разборомъ логическихъ категорій, отвлеченныхъ понятій, всѣхъ этихъ звеньевъ философской науки, какъ она была составлена Гегелемъ. Здѣсь сбережены необыкновенно острыя опредѣленія разныхъ представленій ума, понятій о качествахъ, иррѣальныхъ тождествахъ и проч., понятій, которыя ежечасно рождаются въ головахъ каждого человѣка; но будучи переведены въ чистое мышленіе, кажутся существами какого-то другого, недвижнаго и холоднаго міра. Училища Вердера — опоэтизировать эти отвлеченности только выказывали ихъ суровую природу. Передъ Станкевичемъ открывалось удивленное царство мысли, и онъ начиналъ распознавать свойства и характеръ жизни, которая предстоитъ человѣку, обрѣтающемуся въ границахъ этой области. Отсюда раздраженное состояніе Станкевича и какая-то игра съ тѣми, которые еще не вполне видѣли, гдѣ они находятся. Дѣломъ первой важности становилось смѣло перемѣнить точку зрѣнія и въ-замѣнъ нѣкоторыхъ пожертвованій, требуемыхъ новыми обязательствами, обрѣсть, даже съ лихвой, все прежде потерянное. Станкевичъ принялся искать опоры для сердца и лучшихъ человѣческихъ стремленій въ тѣхъ самихъ предѣлахъ, которые, казалось, сначала лишены были возможности дать ее. Два года пребыванія своего въ Берлинѣ употребилъ Станкевичъ на эту работу, и въ 1840 году, совершенно умиранный, спокойный, съ многочисленными планами трудовъ въ головѣ, слегъ преждевременно въ постель, далеко отъ друзей и отъ родныхъ, въ Италиі.

Въ перепискѣ Станкевича сохранились ясные слѣды этой работы съ тѣмъ неизбежнымъ вліяніемъ, какое она имѣла на характеръ и душу его. Еще въ январѣ 1839 пишетъ онъ, что доселѣ былъ не въ состояніи прямо приступить къ пространной логикѣ Гегеля (въ 3 частяхъ), и ознакомился съ ней по частямъ энциклопедіи, въ философій права и въ лекціяхъ. Онъ не чувствуетъ въ себѣ силы для жизни, единства, полноты, чтобъ броситься въ этотъ міръ идей, но собственному его выраженію, и признается въ одномъ

нравственномъ пороѣ,—и какомъ пороѣ!—именно для сохраненія всей своей свѣжести, мысль его постоянно должна набираться силъ въ наслажденіи искусствомъ, въ дѣйствительномъ мірѣ. «Какъ сухи и бесполезны, говоритъ онъ, нелѣпны, безпокойныя, отвлеченныя занятія!» Однакожъ, онъ насильно принуждаетъ себя къ нимъ, и дѣйствіемъ сосредоточенной воли подчиняетъ себя напряженному труду до тѣхъ поръ, пока вопль сердца, не выносящаго болѣе сухости, въ которую его обрекли, не отрываетъ его снова отъ работы. И—кто бы подумалъ—мягкій, веселый, остроумный Станкевичъ впадаетъ тогда въ состояніе, близкое къ отчаянію, и восклицаетъ: «А одно снисеніе противъ сумашествія—исторія» (письмо изъ Дрездена отъ 20 мая 1838), та исторія, которую такъ мало цѣнилъ онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Однакожъ, занятіе исторіей не было спеціальностью Станкевича, главнымъ предметомъ всѣхъ его думъ, а скорѣе, какъ мы видѣли, облегчающимъ средствомъ противъ усталости и истощенія ума. Станкевичъ находитъ и еще много другихъ, не менѣе вѣрныхъ пособій, служащихъ какъ-бы возбуждательными агентами для мысли, утомленной долгимъ пребываніемъ въ мірѣ отвлеченностей. «Не рефлектируй, братъ, много, пишетъ онъ (25 іюля 1838 изъ Ахена) Грановскому. Какъ начинаешь путаться въ англійскихъ, давай себѣ скорѣе отдыхъ. Помни, что созерцаніе необходимо для развитія *мысленія*»,—и нѣсколько позднеѣ (27 августа) прибавляетъ, относясь къ нему же: «Вообще, если трудно становится рѣшить что-нибудь, переставай думать и *живи*. Въ сравненіяхъ и выводахъ будетъ кой-что истинное, но вѣрно воплотить схватишь вещь только изъ общаго живого чувства.» Глубокая и жѣтко выраженная истина,—но, по особенному состоянію духа, онъ самъ не часто могъ пользоваться ею въ то время и прилагать ее къ себѣ. Въ одномъ изъ задумевныхъ писемъ его къ Е. П. Фроловой, той умной женщины, о которой выше было упомянуто, Станкевичъ пишетъ (15 іюня 1838, Эмс):... «Моя голова получила такое несчастное устройство, что ее опасно оставлять безъ занятія. Она начинаетъ *свою* работу въ такомъ случаѣ, очень болѣзненную...» Далѣе онъ опредѣляетъ даже, въ чемъ состоятъ обыкновенно эти тяжелыя упражненія головы, предоставленной себѣ самой. Какъ и слѣдовало ожидать отъ всегдашней искренности Станкевича въ отношеніи къ самому себѣ, мы видимъ, что сущность болѣзненной работы ума заключалась въ постоянномъ стремленіи согласить всю свою жизнь, свои побужденія, свой образъ дѣйствій съ выводами науки, которые призналъ онъ истинными. Какъ трудно установить подобныя гармоническія отношенія между своею личностію и общими опредѣленіями истины—пойметъ легко всякій; но добросовѣстный Станкевичъ возводилъ это требованіе въ строгій законъ, безъ соблюде-

нія котораго человѣку нельзя сохранить понятіе о себѣ, какъ о нравственномъ существѣ. Разлада между двумя мірами, едва запятанная, уже лишала его покоя. Необходимость какого-либо рѣшенія жизненныхъ противорѣчій, которыя впрочемъ и разрѣшались обыкновенно самою жизнью, составляло особенно мучительный симптомъ этой болѣзни. Станкевичъ принималъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ рѣшеніе рубить узлы, находя, что это все же лучше, чѣмъ запутывать ихъ; но не у всякаго найдется довольно крѣпкая или довольно грубая рука, чтобъ, не дрогнувъ, произвести подобную операцію. «И въ каждомъ рѣшеніи, говоритъ онъ, невольно заподозринь частичку самолюбія... частичку лѣни или какой-то грѣшной любви къ спокойствію и преданію, котораго не хочется лопать безъ слишкомъ явной причины.» Вообще очень интересно это трогательное, задушевное письмо, въ которомъ заключена душевная исповѣдь его съ тѣмъ тонкимъ, чрезвычайно осторожнымъ изложеніемъ собственныхъ идей, какими онъ всегда отличался при бесѣдѣ съ женщиной. Но такъ поступаетъ онъ въ отношеніи къ друзьямъ, способнымъ вынести болѣе рѣшительный тонъ. Здѣсь являются рѣзкій наметъ и иронія, энергическая мысль выходитъ наружу безъ предварительнаго осмотра и безъ всякаго ослабленія ея. Вотъ, напримѣръ, какъ пишетъ онъ (письмо изъ Дрездена, отъ 8 мая 1838): «Мы въ Дрезденѣ: какіе чувства волнуютъ твою, морю подобную, душу? спросишь ты. Глѣ! Душа—что такое душа?—*Reflexion in sich!* Что море? *Reflexion in Anderes.* Солнце соединило атомы на радость и горе, и это соединеніе называется: рабъ Божій Николай, и этотъ Николай, по милосердію Господнему, вышелъ живымъ изъ многихъ болѣзней и напастей... и, по неисповѣдимымъ судьбамъ, таскается изъ Берлина въ Дрезденъ, изъ Дрездена въ Берлинъ... Жизнь съ ея непогодами и яснымъ небомъ, дорога съ рожею почтальона, каждый городишко съ картофельною дѣвчонкой и каждый переулочекъ въ Дрезденѣ—все это можетъ похвалиться своимъ могуществомъ надъ тѣмъ созданіемъ, которое, будучи возведено на степень всеобщности, называется царемъ природы, а на степени своей единичности—Николаемъ Владиміровичемъ. Каковъ же длинной рѣчи краткій смыслъ? На что тебѣ... смыслъ? Если въ томъ, что сказано, нѣтъ смысла, то зачѣмъ ждать, что онъ будетъ въ комментаріяхъ? Но если ты всю рѣчь принимаешь за предисловіе, то ошибся. Это просто голосъ съ того свѣта.» Не много найдется въ памяти человѣка, знакомаго съ европейскими литературами, отрывковъ, которые, за сѣтью пропитическихъ и шутивыхъ выраженій, являлись бы выдавали душевное состояніе человѣка <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Здѣсь слѣдуетъ сказать, что никакой важности и никакого значенія не пред-

Только пламенная любовь къ наукѣ могла такъ волновать душу человѣка. Простое любопытство или поверхностная любознательность не знаютъ этихъ волненій. Вѣроятно, Вердеръ уже замѣтилъ порывистые переходы отъ предмета къ предмету и вообще душевное безпокойство своего друга, потому что говорилъ ему: *nur ruhig; nicht so und nicht so* (онъ дѣлалъ при этихъ словахъ сильныя жесты руками), *sondern immer so* (причемъ сопровождалъ слова плавными опускающимися жестомъ). Этотъ комическій эпизодъ часто приходилъ на умъ Станкевича, когда разнородныя мысли толпой возставали передъ нимъ, и воспоминаніе о немъ часто способствовало къ водворенію порядка въ его мысляхъ. Мы уже сказали, что томительную, начальную работу Станкевичъ пережилъ въ два года пребыванія своего въ Берлинѣ. Люди, видѣвшіе его потомъ въ Римѣ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, нашли его близкимъ къ физическому разрушенію, но яснымъ и спокойнымъ въ духѣ.

Возвращаемся къ описанію внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни.

Въ маѣ мѣсяцѣ Станкевичъ въ первый разъ покинулъ Берлинъ, вмѣстѣ съ Я. М. Невѣровымъ, и снабженный рекомендаціею Фарнгагена къ Тику, тотчасъ же явился въ Дрезденъ къ знаменитому романисту. Тикъ выслалъ дѣвушку сказать, что у него теперь болитъ горло (изъ чего Станкевичъ заключилъ, что онъ намѣревался при встрѣчѣ съ гостями произнести рѣчь) и просилъ приходить въ четвергъ, надѣясь, можетъ-быть, и на скорый отъѣздъ путешественниковъ. Однако же Станкевичъ и Невѣровъ были упорны, какъ Англичане, явились въ четвергъ по приглашенію, и познакомились съ извѣстною, прославленною манерой Тика читать Шекспира, будучи рекомендованы предварительно всему обществу, подъ именемъ бароновъ. Въ Дрезденѣ же Станкевичъ впервые услышалъ извѣстную тогда пѣвицу Шредеръ-Девріентъ, и былъ отъ нея въ восторгѣ. «Это нашъ братъ—огромная субстанція», писалъ онъ къ Грановскому, насыщаясь надъ фразой, которую Бѣлинскій разъ употребилъ, разсуждая о самомъ Станкевичѣ. Надо сказать, что Грановскій опередилъ своего друга: онъ еще въ началѣ апрѣля выѣхалъ изъ Берлина въ Вѣну. Это обстоятельство породило замѣчательную переписку между ними, которой мы теперь и пользуемся. Затѣмъ съ оставшимся пріятелемъ Станкевичъ обозрѣлъ Саксонскую Швейцарію и посѣтилъ Веймаръ, чтобъ посмотрѣть тамъ на дома Шиллера и

---

ставилъ письмо это относительно того, къ кому оно писано. Также точно могло оно быть адресовано Станкевичемъ и другому близкому лицу. Если Станкевичъ иногда пояснялъ Грановскому смыслъ философскихъ отвлеченностей, то, съ другой стороны, Грановскій помогъ ему, и весьма сильно, въ уразумѣніи сущности общественныхъ и историческихъ вопросовъ, которая не всегда открывалась Станкевичу съ перваго раза.

Гёте. Между прочихъ въ Веймарѣ познакомился онъ со вдовою Гётева сына, которая сама имѣла взрослого сына, страстнаго музыканта, учившагося у Мендельсона. Frau von Goethe приняла друзей очень любезно и ласково; въ домѣ ея Станкевичъ познакомился, въ первыхъ, съ романистомъ Штернбергомъ, курляндцемъ по происхожденію, рослымъ мужчиной, щегольски одѣтымъ и съ претензіей на щегольство языка, и потому, между прочимъ, произносившимъ буквы а почти какъ е; а во-вторыхъ—съ Кёнигомъ, известнымъ у насъ по книгѣ о русской литературѣ, заключающей въ себѣ нѣсколько дѣльныхъ сужденій. Кёнигъ, въ противоположность Штернбергу, имѣлъ довольно простую нѣмецкую фizioномію. 30-го мая Станкевичъ прибылъ въ Эмсъ и цѣлый мѣсяцъ употребилъ на питье его водъ, которыя только раздражали его нервы и мало помогли. Прѣздомъ черезъ Франкфуртъ онъ познакомился съ умнымъ философомъ, католикомъ Каровѣ, а въ Эмсѣ, кромѣ одного добраго нѣмецкаго семейства, гдѣ проводилъ время въ занятіяхъ музыкой, въ общихъ прогулкахъ и въ шуткахъ съ молодыми особами, составлявшими его, Станкевичъ сошелся еще съ нѣкоторыми русскими путешественниками, прибывшими въ Германію на несчастномъ пароходѣ, сгорѣвшемъ у Мекленбургскихъ береговъ. Въ началѣ іюля Станкевичъ отправляется по Рейну въ Боннъ, посоветоваться съ знаменитымъ докторомъ Нассе, который, при взглядѣ на него поднялъ глаза къ небу и воскликнулъ: «Агнер Мапп!» Эмсъ дѣйствительно утомялъ Станкевича. «Дѣтки мои! пишетъ онъ къ роднымъ своимъ, которые были озабочены его долгимъ молчаніемъ. Вѣдь если я пишу рѣдко—на это есть всегда причины. Повѣрите ли, что въ Эмсѣ написать нѣсколько строкъ было для меня величайшимъ трудомъ?» Однако же Нассе совѣтуетъ ему попробовать ахенскіе источники и купанья. Возвратясь снова въ Эмсъ къ оставшемуся тамъ Я. М. Невѣрову, Станкевичъ беретъ его съ собою, и вмѣстѣ поднимаются они опять по великолѣпному Рейну до Кёльна, Станкевичъ переѣзжаетъ затѣмъ въ Ахенъ, гдѣ остается безвыѣздно до начала сентября, выполняя предписанный ему курсъ. Одинъ только разъ во все это время покидаетъ онъ городъ; но къ этому нарушенію курса была уже достаточная причина. Т. Н. Грановскій, соскучившійся безъ друзей своихъ, пріѣхалъ къ нимъ повидаться. Станкевичъ провожалъ его до Бонна, на возвратномъ пути его въ Берлинъ, и воспользовался пребываніемъ своимъ въ Боннѣ, чтобъ познакомиться съ Фихте, философомъ, какъ и знаменитый отецъ его. Станкевичъ рассказываетъ довольно забавно свой разговоръ съ профессоромъ; ночь наканунѣ онъ провелъ безъ сна, на разспросы профессора о системѣ преподаванія логики въ Берлинѣ отвѣчалъ вяло, и наконецъ самъ рѣшился



Решать вопросы не принадлежит ли ему институту Фабри? «А разве-то вышло родной отец его?» — замечает Станкевичъ, при-  
нявша, что профессоръ былъ въ высшей степени удивленъ этимъ извѣ-  
щеніемъ, и выводитъ изъ него заключение, «что съ историка людьми  
вдо говорятъ невзвѣсивъ». Басовичъ скупя одолѣлъ его въ Ахенѣ,  
куда онъ снова возвратился. 1-го сентября Станкевичъ послѣднее  
направляется въ Бельгію разсѣять тоску, наведенную удлинненнымъ  
продолжъ и леченіемъ. Онъ посѣщаетъ Брюссель, Ватерлоо, Ан-  
тверпенъ, Гентъ, Остенде, прихотливается къ великолѣпнымъ па-  
матникамъ искусства въ этой странѣ, обильной имъ, и наблюдаетъ  
политическую жизнь ея. Но впечатлѣнія ложатся такъ-то на слабый  
организмъ его, и усталая душа жаждетъ покоя. Въ журналѣ путе-  
шествія по Бельгіи, который будетъ прилагать къ перепискѣ его,  
есть восклицаніе, выразившее у него при видѣ моря въ Остенде:  
«Мнѣ было скучно съ утра, море привѣтливо къ скукѣ грусти. Мнѣ  
хотѣлось опрометью бѣжать опять въ Германію, въ Берлинъ, при-  
няться за какое-нибудь дѣло: освободиться отъ этой тяжелой игры  
впечатлѣній, отъ вліянія неба и погоды.» 17-го сентября онъ уже  
ѣхалъ во Франкфуртъ въсѣсть съ Невѣровымъ, который въ Боннѣ  
ожидалъ его возвращенія изъ Бельгіи, и въсѣсть пишутъ они от-  
туда письмо къ Грановскому: «подумавъ Грановскій, говоритъ Я. М.  
Невѣровъ, ни во Франкфуртъ, и завтра выѣзжаемъ въ Бассель по  
дорогѣ къ Берлину, такъ что, подвигаюсь мало-по-малу, дней въ  
семь или въ восемь пріѣдемъ на мѣсто.» Сидѣлъ надъ эпитетомъ,  
аннымъ пріятелю, Станкевичъ приписываетъ съ своей стороны:  
*Ворона Грановскій!* Мы во Франкфуртъ и завтра выѣзжаемъ въ  
Бассель по дорогѣ къ Берлину, такъ что, подвигаюсь мало-по-малу,  
ной въ семь или восемь пріѣдемъ на мѣсто. Какъ я радъ, что ни  
стрѣтилъ въ идеяхъ съ почтеннѣйшимъ и глубокомысленнымъ дру-  
гомъ нашимъ...» и т. д. Во Франкфуртъ, или лучше въ Гаагу,  
танкевичъ не преминулъ сходить еще къ доктору Бонну и отобрать  
то предписанія... Наконецъ, оба пріятеля возвратились въ давно-  
желанный Берлинъ, откуда разъѣхались поспѣ въ разныя стороны,  
прибавивъ, чтобъ уже болѣе не встрѣчаться. Они, какъ и Гра-  
новскій, жили уже тогда на разныхъ квартирахъ, неподалеку другъ  
отъ друга.

Кромѣ своихъ занятій и сношеній съ людьми, болѣе или менѣе  
интересными въ Германіи, Станкевичъ еще ведетъ весьма дѣятель-  
ную переписку съ семействомъ, съ сестрами и малолѣтними братьями,  
ставленными имъ въ Россіи. Она, разумѣется, не можетъ войти въ  
оставъ нашего изданія, но имъ обязаны сказать о ней нѣсколько  
словъ. Тонъ этихъ писемъ Станкевича постоянно игривъ и шуточенъ.

но онъ бесѣдуетъ въ нихъ съ дѣтми чрезвычайно серьезно, рассказываетъ имъ подробно свое путешествіе, представляетъ картину Рейна со всѣми его замками и легендами до мелочей, наконецъ не считаетъ лишнимъ говорить о чувствахъ, испытанныхъ имъ при видѣ такого произведенія искусства, при встрѣчѣ съ такимъ-то явленіемъ природы. Онъ отдаетъ имъ себя безъ утайки и презрительнаго сомнѣнія къ уму и понятіямъ ихъ, а въ этомъ и вся сущность хорошаго воспитанія. Есть мѣста въ его письмахъ, которыя могли бы быть цѣлкомъ перенесены въ заочную бесѣду съ возмужалыми и развитыми друзьями, и даже съ публикой. Таково, напримѣръ, описаніе шестикратнаго эха на горѣ Нидервальдѣ, близъ Рейна, которое очень музыкально дѣлалось все тише и тише, каждый разъ разносясь по горамъ, и которому повѣрилъ онъ любезнѣйшія имена, берегаемые имъ въ сердцѣ. Таково еще описаніе многихъ памятниковъ и въ томъ числѣ Майнцскаго собора, перестроеннаго, какъ извѣстно, въ эпоху рококо: «Колокольная его точно зрительная трубочка: такъ бы взялъ ее за шейку, да и вытянулъ.» Въ самомъ Берлинѣ онъ находитъ еще поэтическое слово для молодыхъ своихъ слушателей: «Наступила осень. Сѣрныя тучи въ раздумьѣ ходятъ по нѣбнымъ днямъ по небу... Я выхожу въ такое время гулять Unter den Linden—это главный берлинскій бульваръ... засвѣтло начинаютъ зажигать фонари, и длинная перспектива блѣдныхъ огней въ сизомъ туманѣ имѣетъ что-то волшебное. Въ это время изъ университета выходятъ студенты въ самыхъ разнообразныхъ костюмахъ, болѣею частію въ коротенькихъ полукафтаньяхъ и въ картузѣ съ крошечнымъ козырькомъ; прасолки возвращаются домой, сопровождаемыя собаками, запряженными въ телѣгу съ разною поклажею, и наконецъ я торжественно возвращаюсь домой, очень довольный этимъ повседневнымъ зрѣлищемъ, и т. д.» Не надо забывать, что основной мотивъ всѣхъ этихъ бесѣдъ есть веселая шутка, забавное изложеніе какого-нибудь случая, иногда каламбуръ. На этотъ свѣтлый грунтъ ложатся драгоценныя совѣты его, когда онъ считаетъ нужнымъ обратиться съ совѣтами къ своимъ друзьямъ: «Не забывайте, что въ этомъ мірѣ великъ кругъ вашей любви, гдѣ каждый изъ васъ составляетъ лучшую часть жизни другого: одинъ въ другомъ ищите опоры, утѣшенія, твердости; пусть каждый живетъ для другого — и всѣ будутъ покойны, веселы счастливы...» Къ тому же, каждый изъ этихъ совѣтовъ исполненъ еще, кромѣ братской нѣжности, удивительнаго здравомыслія. Любимой сестрѣ своей объясняетъ онъ разницу между истиннымъ здоровымъ чувствомъ и тѣмъ обманчивымъ впечатлѣніемъ, которое производитъ иногда лѣтній вечеръ, свѣчи, музыка, духи и усталость послѣ бала. «Они сообщаютъ такое настроеніе

у, что всякій предметъ хорошъ: но смотри на предметъ при солнечномъ свѣтѣ—въ его истинѣ—и счастье само придетъ. Надо стараться только быть достойною счастья, а жизненные неурядицы изводить поэзіей сердца. Жизнь хороша—и только одна жизнь хороша. Плохо намъ, если мы будемъ принимать сонъ и мечту за жизнь. Если увидишь, что какой-нибудь вздыхаетъ—плюнь, дуракъ извѣрное. Любить можетъ только сильный человѣкъ.» Съ первой до послѣдней строки письма эти запечатлѣны чувствомъ и умомъ...

Вторая зима, проведенная Станкевичемъ въ Берлинѣ, ничѣмъ не отличалась съ вѣшной стороны отъ первой, но она принесла съ собою тѣ окончательные матеріалы, которыхъ не доставало ему для полноты характера. Вскорѣ все собранное его мыслию начало устроиваться во внутреннемъ его мірѣ съ удивительною гармоніей и соответствіемъ всѣхъ частей между собою. Вторая зима замѣчательна еще и тѣмъ, что мало-по-малу отходили отъ Станкевича въ близкіе ему люди: при ея концѣ Я. М. Невѣровъ отправился въ пароходъ въ Петербургъ; Грановскій спѣшилъ тоже домой, но, страдая въ то время слабостію груди, отправился съ раннею весною въ Зальцбруннъ (въ Силезіи), извѣстный своею сывороткой и водами противъ болѣзней легкихъ. Семейство Фроловыхъ въ то же время уѣхало въ Петербургъ, хотя и не надолго. Въ іюнѣ 1839 года опнова было уже за границей, и съѣхалось съ Станкевичемъ во Флоренцію. Передъ отъѣздомъ изъ Берлина, Е. П. Фролова ввела Станкевича въ домъ сестры своей, М. П. Кени, удѣляя такимъ образомъ близкимъ людямъ часть той дружбы, которую сама питала къ нему. Исхѣдъ за ними и Станкевичъ покинулъ Берлинъ, но мы уже знаемъ, что онъ оторвался отъ него съ нѣкоторымъ трудомъ, даже вернулся назадъ съ дороги. Затѣмъ, разрѣзавъ ножомъ, какъ самъ говоритъ, съ дѣла свои въ городъ, онъ спѣшилъ въ Зальцбруннъ. Тамъ застаетъ онъ еще Грановскаго, и вмѣстѣ живутъ они двѣ недѣли въ кучномъ, хотя и многолюдномъ городкѣ (въ немъ было до семисотъ ольныхъ), посѣщая иногда почтеннаго русскаго консула, г. Вюцо, единственную сносную ресторацію и балы въ ней, причемъ случалось, что зала было освѣщена, музыка гремѣла, а хозяинъ стоялъ у дверей и говорилъ любопытнымъ: «Ich warte Menschen» (жду людей). Грановскій уѣхалъ изъ Зальцбрунна прямо къ себѣ въ деревню. Станкевичъ остался одинъ доканчивать курсъ, и выѣхалъ изъ города только въ августѣ мѣсяцѣ, по пути въ Италію.

Мы полагаемъ, что около этого времени Станкевичъ получилъ острое извѣстіе о смерти особы, занимавшей нѣкогда такое большое мѣсто въ его сердцѣ. Это былъ послѣдній узелъ, который развязывала судьба, высвобождая душу Станкевича изъ-подъ тяжелаго прав-

ственного гнета. Мѣсто его заняло свѣтлое и грустное воспоминаніе такъ хорошо высказанное самимъ Станкевичемъ, когда, на Тунскомъ озерѣ (въ Швейцаріи), получивъ ближайшія свѣдѣнія о покойникѣ черезъ А. П. Ефремова, только-что прибывшаго изъ Россіи, предается онъ весь міру прошедшаго и окружаетъ себя тихими, драгоценными тѣнями. Съ этой минуты Станкевичъ становится духовно свободенъ: путы, которыя приковывали его къ прошлому, не даютъ полнаго движенія его волѣ и приводятъ въ заѣмательство его совѣсть, пугливую и пріимчивую въ высшей степени, пали сами собою. Онъ снова предоставленъ былъ себѣ и могъ начать новое свое развитіе твердо и спокойно, не влача за собой по стопамъ мертваго факта, мѣшающаго каждому шагу. Дѣйствительно, съ эпохи уединеннаго пребыванія въ Зальцбруннѣ, Станкевичъ совершенно измѣняется и весь обращенъ лицомъ къ новымъ требованіямъ, понятіямъ и новой жизни, возникшимъ для него изъ новаго воззрѣнія на міръ. Любовь, цѣпи которой еще лежали на немъ, когда самой ея не было, онъ уже замѣщаетъ скорѣ нѣжною дружбой, уладившею его послѣдніе часы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, прекращаются спибки идей съ чувствами, волновавшія его молодость и доказывавшія неполноту обѣихъ сторонъ; пропадаютъ также и рѣзкія проявленія мысли: онъ становится тихъ, свѣтелъ, какъ-то цѣлостенъ. Въ концѣ 1838 года онъ еще писалъ: «Моя надежды, если не богаче, то опредѣленнѣе, впрочемъ и теперь не безъ того, чтобы за ними не было туманнаго.» Въ концѣ 1839 г. все туманное отдѣляется отъ существа Станкевича, и надежды его принимаютъ ту изящную опредѣленность, въ какой представляются намъ, наприимѣръ, явленія природы. Саяя природа возстаетъ передъ нимъ какъ великая хранина, къ которой, послѣ долгаго обхода, опять приведенъ двухъ-лѣтними любимыми своими занятіями. Наконецъ, какъ чудно и плодотворно разрѣшились вообще философскія занятія Станкевича, можно видѣть по превосходнымъ строкамъ, писаннымъ имъ изъ зальцбрунскаго своего уединенія къ М. П. Кени (письмо отъ 15-го августа 1839): «Есть люди съ сильною и богатою натурою, которые переселяются во всѣ характеры, умѣютъ пере-чувствовать всѣ положенія и найти въ каждомъ человѣкѣ что-нибудь для себя, насладиться въ немъ каждымъ чуть замѣтнымъ проблескомъ хорошаго. Это счастливыя. Въ нихъ самихъ все полно, окончено, всѣ стремленія удовлетворены; поэтому они терпѣливы, снисходительны, весело смотрятъ по сторонамъ и скоро во всемъ открываютъ свѣтлыя стороны.»

Очеркъ этотъ есть вѣрный портретъ самого Станкевича, какъ онъ сложился къ началу 1840 года, по окончаніи берлинскихъ занятій, хотя авторъ и не предполагалъ заключать въ этихъ стро-

какъ ничего похожаго на автобіографію, да и не согласился бы никогда, по глубокому чувству скромности, узнать въ нихъ самого себя. Та же скромность заставляетъ его говорить о себѣ далѣе чрезвычайно уклончиво, но мы нисколько не обязаны къ подобнаго рода осторожности. Продолжаемъ выписку.

«Есть и такіе, которымъ всѣ люди пріятны, потому что они ко всему равнодушны. Но я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому классу; я не довольно совершенъ, чтобъ со всѣми найти удовольствіе; я его нахожу съ людьми, которыхъ уважаю отъ всей души... Для меня это рѣшительно открытіе Новаго Свѣта. Прожить нѣсколько времени съ такими людьми, значить для меня прожить *по-человѣчески*, удовлетворить необходимой и лучшей потребности души. Вотъ отчего я такъ радуюсь этимъ свѣтлымъ пунктамъ въ моей будущности. Природа и искусство только намеки, смыслъ ихъ — люди, и лучшіе люди. Кто лишенъ наслажденія людьми, на того природа и искусство должны дѣлать тяжелое впечатлѣніе, должны возбуждать въ немъ чувство неудовлетворенной потребности...» Такъ искусство и природа становятся здѣсь въ подпожіе челоуѣку, который собираетъ всѣ ихъ намеки и открываетъ настоящій смыслъ ихъ. Высокое, гуманное пониманіе жизни было послѣднею степенью въ развитіи Станкевича, результатомъ, окончательно даннымъ ему философскими занятіями. Мы ничего не можемъ прибавить къ драгоценнымъ строкамъ, выписаннымъ сейчасъ: намъ остается, увы! поспѣвая, недолгая работа — прослѣдить жизнь, настроенную на такой задъ, во Флоренціи, въ Римѣ и въ Сѣверной Италіи, гдѣ она потухла.

## VI.

### ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ИТАЛІЮ СТАНКЕВИЧА И СМЕРТЬ ЕГО.

Въ концѣ 1839 года мы находимъ Станкевича во Флоренціи. Послѣ отъѣзда Грановскаго изъ Зальцбрунна (11 іюля 1839), Николай Владиміровичъ прожилъ еще цѣлый мѣсяцъ на водахъ, и только въ половинѣ августа выѣхалъ оттуда. Черезъ Прагу, Нюрнбергъ, Штутгартъ и Карлсруэ прибылъ онъ въ Базель, гдѣ съѣхался съ однимъ изъ старыхъ своихъ товарищей, А. П. Ефремовымъ, и вмѣстѣ съ нимъ совершили они трудный путь по Симплионской дорогѣ, испорченной внезапными дождями, и очутились въ Домо д'Оссола, въ Италіи. Изъ Милана направились они въ Геную, и сѣли тамъ на пароходъ, на которомъ прибыли въ Ливорно. До-

роги по сухому пути, чрезвычайно утомлявшія бѣднаго Станкевича видимо слабѣвшаго день ото дня, заставили предпочесть плаваніе переѣзду. Въ началѣ ноября измученный больной явился во Флоренцію. Тамъ уже ожидало его знакомое семейство Кени, къ которому скоро присоединились и Фроловы, остановившіеся въ одномъ домѣ съ первыми. Неподалеку отъ нихъ, на Piazza S-ta Maria Novella, поселился и Станкевичъ, которому дружба и расположение Е. П. Фроловой сдѣлались уже необходимостію. Первый взглядъ на Италію не произвелъ на Станкевича того радостнаго чувства, которое произведено было болѣе знакомымъ ему міромъ, Германіею. Родовыя черты Италіи гораздо строже, а приготовленія къ принятію и разумѣнію ихъ у насъ гораздо менѣе. Италія требуетъ въ которой уступчивости, нѣкоторой довѣрчивости къ себѣ, особеннаго устраненія укоренившихся привычекъ въ жизни и даже въ сужденіи; затѣмъ уже открываетъ она себя въ величіи своей простоты и отсталости, если хотите. Станкевичъ долго всматривался въ ея повседневную жизнь, въ эту смѣсь классическихъ и средневѣковыхъ особенностей, заключенныхъ въ строго-изящную раму, образуемую неизмѣнною природою. Это было его единственное занятіе во Флоренціи, если исключимъ усиленное историческое чтеніе и упражненія въ музыкѣ. Последнее занятіе развилось у него почти до страсти... Всѣ дѣятельность его обращена была на три предмета, какъ онъ самъ пишетъ къ роднымъ: читать, играть на фортепьяно и топить каминъ. «Три важныя занятія, которыя всѣ мѣшаютъ одно другому», прибавляетъ онъ съ той изящною улыбкой, которая въ нашемъ воображеніи уже неразлучна съ его фizioноміей. Весьма освѣжительно дѣйствовало на него общество Е. П. Фроловой: онъ свьлся съ ними, и съ трудомъ могъ представить себѣ необходимость лишиться его. Разъ только онъ разсердился, именно тогда, когда услышалъ, что въ Россіи начинаютъ считать Шиллера идеалистомъ безъ значенія для дѣйствительности... «Они не понимаютъ, что такое дѣйствительность... дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія—есть случайность... дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть Разумъ, Духъ <sup>1)</sup>». Но вслѣдъ за вспышкой, Станкевичъ требуетъ

<sup>1)</sup> Кстати будетъ упомянуть здѣсь, что въ отсутствіи Станкевича изученіе философіи продолжалось у насъ по прежнему и образовало два направленія. Оба они были вѣтви одного и того же корня, только разошедшіяся въ противоположныя стороны. Разногласіе вышло изъ различныхъ способовъ пониманія и опредѣленія дѣйствительности. Друзья Станкевича не сомнѣвались въ обратномъ дѣйствіи всякой науки на жизнь, и всѣ безъ исключенія искали его въ общемъ развитіи сознанія, которое поднимается и растетъ отъ цѣльнаго вліянія извѣстнаго ученія на всѣ способности и представленія человѣка. Противники думали, что, кромѣ того, существуютъ еще обязанности для человѣка, независимыя отъ науки и отъ дѣйствительности, съ которой

отъ друга, чтобъ онъ осторожно высказалъ эти аргументы ошибающимся пріятелямъ. «Они люди хорошіе, и я съ ними ссориться не хочу», говоритъ онъ. Между тѣмъ пятинѣсячное наблюденіе новой страны во Флоренціи, съ тою способностію къ наблюденію, какою онъ обладалъ, не прошло даромъ, и когда, 6-го марта 1840, Станкевичъ выѣхалъ въ Римъ, то письма его оттуда къ Е. П. Фроловой уже показываютъ совершенное родство мысли съ краемъ, представившимъ ей: наблюдатель поставилъ себя въ уровень съ наблюдаемымъ предметомъ.

Здѣсь мы остановимся, чтобъ сказать нѣсколько словъ о замѣчательной русской женщинѣ, которой посвящена была послѣдняя переписка Станкевича, и которая представляетъ лицо, противоположное женскимъ лицамъ, какія мы видѣли до сихъ поръ. Получивъ весьма блестящее, французское воспитаніе, Елизавета Павловна соединяла съ нимъ оригинальный умъ, необыкновенную способность угадывать людей, и другую, не менѣе важную способность видѣть въ каждомъ предметѣ ту живую, самобытную черту, которою онъ разнится отъ всѣхъ другихъ. Быстрая догадка, такъ свойственная вообще русской природѣ, составляла второе качество этой замѣчательной женщины: она открывала ей мгновенно длинную перспективу идей, даже въ незнакомой сферѣ изслѣдованія, и устанавливала нѣкоторый родъ равновѣрныхъ отношеній между ученымъ специалистомъ и слушательницей его. По роду своего воспитанія, преимущественно французскаго, съ отбѣнкомъ англійской аристократической строгости въ началахъ, она рѣдко восходила до первыхъ основаній, до сущности всякаго вопроса. Онъ дѣлался достояніемъ ея только тогда, когда уже соприкасался съ жизнію какою-либо стороною, и когда выразились его отношенія къ другимъ однороднымъ вопросамъ. Такихъ предметовъ было уже тогда много подготовлено въ Европѣ, начиная съ метафизическихъ преній до толковъ о различіи пониманіи нравственныхъ законовъ въ обществахъ. Въ приложеніи остроумія и женской проникательности къ текущимъ, такъ сказать, дѣ-

---

могутъ быть и въ противорѣчіи. Представителемъ ихъ сдѣлался известный «I—нъ». Оба направленія сталкивались почти всегда враждебно на одномъ или другомъ пунктѣ, будучи согласны на всѣхъ другихъ. Кругъ Станкевича выражался умомъ на словъ основаній. Противники упрекали его въ рабство помысловъ, въ неумѣніе идти къ слабой сторонѣ, хотя бы требованія ея и были истинны. Кругъ жившихъ друзей Станкевича выражалъ, что трудъ разбираться, на чьей сторонѣ истина, предоставляется обществу совѣтовъ, совершающемуся посредствомъ науки и чистого, капризного, ограниченнаго разсудка, а не на чужой сторонѣ. Истина кроется и потому всегда ближе къ справедливости въ числѣ индивидуальныхъ. Истинные юнкские христіанскости въ „Разумъ и Душа“, какъ говоритъ Станкевичъ, пришло отъ враждующихъ сторонъ мысли 1840 года.

ламъ современности открывалась сила Елизаветы Павловны; но она могла назваться также *идеалисткой*, хотя совѣтъ въ иномъ значеніи, чѣмъ тѣ, которыя обыкновенно носятъ это прозвище. Она какъ-то высоко понимала общественныя сношенія и умѣла возвести тонъ, господствовавшій въ ея кругѣ, до идеальнаго выраженія благородства. Она имѣла удивительный даръ распознавать людей. У ней была вѣра въ людей, вмѣстѣ съ способностію угадывать ихъ тайныя наклонности. Съ первыхъ сношеній она ставила человека въ возможность показать себя, и сама поучалась въ этой книгѣ, ея же и раскрытой. Весьма слабая здоровьемъ и страдающая тѣмъ же недугомъ, какъ и Станкевичъ, положившии на блѣдномъ, не совсѣмъ правильномъ лицѣ особенную печать, Елизавета Павловна почти нигуда не выѣзжала, но постоянно видѣла у себя людей изъ высшихъ европейскихъ круговъ. Гумбольдтъ, эта живая энциклопедія познаній, столько же неутомимый въ трудахъ своихъ, сколько и чувствительный къ каждому замѣчательному явленію жизни, былъ въ числѣ ея посѣтителей, когда она находилась въ Берлинѣ. Фарнгагенъ фонъ-Энсе, извѣстный своими біографіями, любилъ проводить время у Фроловыхъ, и, случалось, занимался тѣмъ, что дразнилъ знаменитую Беттину, которая его терпѣть не могла и называла Giftesel. Въ Беттинѣ дѣйствительно было много наивнаго воодушевленія, но иногда мѣсто его занимала ложная, придуманная и пустая восторженность. Она часто бывала у Фроловой, но, говорятъ, побавалась ея въ душѣ, да и сама Елизавета Павловна считала необходимымъ обращаться съ ней немножко свысока. Станкевичъ сохранилъ намъ, въ одномъ изъ своихъ писемъ, превосходную замѣтку Елизаветы Павловны о характерѣ Беттины: «Elle sait le bien et le beau dans leur essence et leur luxe, mais elle n'en sait pas les détails positifs» (прекрасное и доброе знакомо ей въ ихъ сущности и въ ихъ блескѣ, но положительныхъ подробностей того и другого она не знаетъ). Станкевичъ испыталъ при этихъ словахъ такое же чувство, какое испытываетъ человекъ при видѣ отличнаго портрета, оригиналъ котораго ему совершенно неизвѣстенъ, но который истиной своего изображенія невольно вырываетъ слова: какъ вѣрно! Мы раздѣляемъ мнѣніе Станкевича. Одинъ изъ молодыхъ Русскихъ, такъ радушно принятыхъ ею въ Берлинѣ, рассказывалъ намъ сцену, которой былъ очевидцемъ. Разъ явился къ Фроловой какой-то заѣзжій французскій маркизъ или графъ, весь пропитанный тѣмъ блестящимъ салоннымъ умомъ, который, между прочимъ, во Франціи становится рѣже, чѣмъ гдѣ-нибудь. Елизавета Павловна часа два вела съ нимъ діалогъ, похожій на фейерверкъ, и годный въ любую поговорку Альфреда де-Мюссе, а по уходѣ его обратилась снова къ своей



юстой, сдержанной рѣчи, въ которой всегда было скорѣе замѣтно званіе вызвать бесѣду и слушать, чѣмъ говорить.

Елизавета Павловна поняла Станкевича съ перваго раза, да и падать его было немудрено. Его благодушное расположеніе къ людямъ, лгкость обращенія, подчиняющая сердце, заботливость, съ которымъ онъ искалъ лучшихъ струнъ въ душѣ человѣка, и неподдѣльное млажденіе, съ которымъ прислушивался къ нимъ, — все это бросалось въ глаза. Въ способѣ обращенія и во всемъ существѣ Станкевича было столько изящества, что, по увѣренію его пріятелей, онъ казался всегда замѣтнымъ, какъ бы ни было велико общество, ни какъ бы разборчиво ни было оно составлено. Свѣтлая, гармоническая душа Станкевича отражалась во всемъ внѣшнемъ его обликѣ по образу своему устраивала его наружный видъ, рѣчь его и привычки: вотъ почему присутствіе его невольно *чувствовалось* окружающими, да этимъ же объясняется и то обаятельное дѣйствіе, которое онъ всегда производилъ особенно на молодыхъ людей обоаго пола. Въ жизни его, можно сказать, видишь, какъ эти высказанныя и высказанныя привязанности сопровождаютъ его до гроба... Дружба . П. Фроловой къ Станкевичу основывалась еще и на важныхъ нравственныхъ потребностяхъ. Можно безъ особенной смѣлости предлагать, что своимъ пониманіемъ каждаго предмета въ идеѣ Станкевичъ возвышалъ уровень ея мыслей, какъ это онъ дѣлалъ во всѣхъ оныхъ знакомыхъ, не сознавая самъ, по обыкновенію, своей работы. Какъ бы то ни было, Станкевичъ находится въ постоянной перепискѣ съ Римомъ съ Фроловой, отправляя по письму каждую недѣлю, иногда и лѣе, на имя супруга ея, Николая Григорьевича Фролова, сдѣланнаго въ послѣдствіи извѣстнаго у насъ своими изданіями по части тестовѣдѣнія. Переписка эта и будетъ служить намъ нитью, которая поведетъ насъ за Николаемъ Владиміровичемъ въ послѣднее и землѣ мѣсто, гдѣ онъ остановился на нѣкоторое время.

Станкевичъ, какъ знаетъ, выѣхалъ 6-го марта изъ Флоренціи 8-го прибылъ въ Римъ. Онъ поселился на Корсо. Николай Владиміровичъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ упорныхъ туристовъ, которымъ скука одиночества въ неизвѣстномъ городѣ ни почемъ, и которые, послѣ непрерывныхъ бѣганій по улицамъ и осмотрамъ, способны довольствоваться бесѣдой съ проводникомъ. Станкевичъ испытывалъ непреодолимую тоску, если въ городѣ не было у него какого-либо центра, образуемаго другомъ, семействомъ, умною женщиной, и старался тотчасъ отыскать его. Отъ этого центра и велъ онъ потомъ радіусы къ замѣчательнѣйшимъ точкамъ новой мѣстности, да и тутъ многія изъ нихъ, прославленные дорожниками, считалъ онъ просто *наказаніемъ путешественниковъ*. Не видать —

стыдно, а смотрѣть — не стоить, говорилъ онъ. Освободясь отъ этого принужденія, налагаемаго «указателями» и «вожатыми», онъ нашелъ пріютъ столь необходимый для его общежительной природы въ семействѣ Х\*\*, съ которыми познакомился во Флоренціи, и въ средѣ котораго цвѣли молодость, красота и нравственные достоинства въ весьма счастливомъ соединеніи. Около этого семейства собирався общій кругъ знакомыхъ: нѣмецкій живописецъ Рунде, русскіе художники и въ томъ числѣ профессоръ Марковъ, наконецъ полякъ Брык...ій, страдавшій чахоткой, но замѣчательный фортепьянистъ, другъ Листа, и притомъ съ весьма красивымъ, энергическимъ лицомъ, соответствовавшимъ энергіи характера. Онъ зналъ, что болѣзнь его неизлѣчна, и мало заботился о томъ. Станкевичъ, также страстно предавшійся музыкѣ и больной одною съ нимъ болѣзнію, чрезвычайно полюбилъ его. Нѣсколько русскихъ путешественниковъ, въ числѣ которыхъ былъ тогда и И. С. Тургеневъ, еще не начинавшій литературнаго поприща своего, находились между обычными посѣтителями семейства Х\*. Они дѣлали всѣ вмѣстѣ тѣ продолжительныя набѣги на разныя части города, указываемыя дорожникомъ, отъ коихъ въ послѣдствіи Станкевичъ весьма часто устранился. Впрочемъ, единственная идея, которою жилъ тогда весь Римъ, — наслажденіе искусствомъ, привилась къ иностранцамъ какъ болѣзнь и одолѣвала ихъ, не смотря на внезапность своего появленія. Они захватывали ее, казалось, вмѣстѣ съ воздухомъ Тибра, и она имѣла свойства вытѣснять изъ обращенія помыслы о другихъ ближайшихъ и болѣе знакомыхъ имъ интересахъ. Только и разговоровъ было, что объ искусствѣ; все остальное было обречено на смерть и нѣмоту, ради согласія въ общемъ хорѣ; это имѣло своего рода комическую сторону, не ускользнувшую отъ наблюдательности Станкевича. И. С. Тургеневъ, между прочимъ, собирався не шутя посвятить себя живописи, сталъ брать уроки у живописца Рунде, а покажѣтъ занимался рисованьемъ каррикатуръ, по темамъ самого Станкевича, которыя весьма забавляли послѣдняго. Отъ этого движенія, имѣвшаго и свою серьезную сторону, Станкевичъ не могъ устраниваться вполне. Онъ набросалъ тогда нѣсколько замѣтокъ для статьи объ искусствѣ, изъ которыхъ видно, что искусство было для него, какъ и все другое, вопросомъ философскаго и нравственнаго свойства. Отрывки эти весьма мало обдѣланы, состоятъ преимущественно изъ однихъ намековъ и потому затруднительны для пониманія, но тѣмъ, которые привыкли къ философскому языку вообще и къ теченію мыслей у Станкевича въ особенности, мысли этихъ отрывковъ ясны. Станкевичъ намѣревался разработать и объяснить настоящій смыслъ извѣстныхъ словъ Гегеля: «искусство есть прошедшее для насъ.» Ему хотѣлось указать на возможность

ваго искусства, соответствующаго тому представленію жизни, ка-  
же должна дать новая философская идея, когда она достигнет  
своей зрѣлости и перейдетъ въ сознаніе цѣлаго общества. Онъ  
выбралъ систему доводовъ по аналогіи и прежде всего обратился къ  
исторіи за примѣрами и указаніями. Выходя изъ положенія, что духъ,  
сродившій искусство, единъ, Станкевичъ отвергаетъ схоластическія  
дѣленія искусства на многіе роды и видитъ въ немъ только эпохи  
развитія самаго духа. Виды искусства дѣлаются только формами,  
въ которыхъ преобразуется единый, нераздѣльный духъ. Такъ ар-  
хитектура была необходимымъ видомъ искусства, когда человѣкъ  
старался выразить цѣлостъ и необъятность духа, посредствомъ сим-  
вола; скульптура, когда духъ былъ понятъ, какъ сущность человѣче-  
ской природы и ограниченъ человѣческой формой; живопись, когда  
человѣческому проявленію духа слѣдовало возвратить его невеществен-  
ное, безплотное свойство. Здѣсь кончаются отрывки Станкевича, но  
можно догадываться, что въ основаніе новому виду искусства  
онъ полагалъ философскую идею, окончательно поясняющую и укрѣп-  
ляющую вѣрованія, а затѣмъ рождающую новыя явленія жизни,  
новые обычаи и даже новыя понятія о красотѣ...

Но это было теоретическое, отвлеченное представленіе искусства:  
обычно видѣть, какъ проявлялось у Станкевича его личное, *не-  
средственное* эстетическое чувство?

Въ этомъ отношеніи можно сказать, что у Станкевича попадаются  
слова, останавливающія васъ невольно... Всячески соблюдая истин-  
ное представленіе размѣровъ и пропорцій, позволено будетъ сказать,  
что замѣтки Станкевича отчасти напоминаютъ гениальныя замѣтки  
Гегеля объ итальянскомъ искусствѣ. Тутъ дѣло не въ техническихъ  
знаніяхъ и даже не въ знакомствѣ съ историческими данными, а  
въ соображеніяхъ, которыя возникаютъ при отраженіи предмета въ  
человѣческой душѣ. Слова Станкевича проливаютъ тихій, кроткій  
свѣтъ, который волнуется на предметѣ, какъ поэтическое облако,  
общая ему особенное выраженіе. Уже при самой первой встрѣчѣ  
съ жителями Римской Кампаньи, при видѣ людей въ синихъ пла-  
хахъ, съ длинными посохами въ рукахъ, съ медленной, важною  
ходкой, Станкевичъ вспоминаетъ о Титѣ-Ливіи и собирается пере-  
читать его. Успокоившись отъ волненій дороги, онъ, черезъ два дня  
послѣ пріѣзда въ Римъ, идетъ гулять по Корсо, минуетъ Капитолій,  
пускается къ форуму и черезъ рядъ классическихъ развалинъ до-  
стигаетъ арки Тита и Колизея. Онъ не заглядываетъ въ книжку,  
сдаваясь вполне однимъ своимъ впечатлѣніемъ, и встрѣча съ Коли-  
зеемъ вырываетъ у него восклицаніе: «Не знаю каковъ онъ былъ  
въ своемъ цвѣтѣ, въ первобытномъ видѣ, но вѣрно не лучше, чѣмъ

теперь. Я не думалъ много о его назначеніи... я видѣлъ только огромную, гармоническую развалину и темносинее небо, просвѣчивавшее во всё ея окна...» Точно также смотрѣлъ и Гоголь на Болзей. Общій характеръ свободы, простора, даннаго собственной восприимчивости, не стѣсняемой чужимъ представленіемъ предметовъ, лежитъ уже на всѣхъ изслѣдованіяхъ Станкевича въ Римѣ. Онъ какъ будто приводитъ въ исполненіе слова, сказанныя имъ однажды по поводу отношеній между наукой объ искусствѣ и пониманіемъ его: «отдадимъ кесарю кесарево, а Божье душа узнаетъ». Входитъ ли онъ въ соборъ Петра—стройная громада эта, въ которой, по словамъ его, дышишь вольнѣе и высоко поднимаешь голову, рождаетъ у него мысль: «Я никогда не могъ ждать отъ архитектуры чего-нибудь охватывающаго душу; душа выше ея, но она довольна, когда находитъ себѣ такое жилище». Посѣщаетъ ли онъ Пантеонъ—оконченность, миръ и спокойствіе, которые царствуютъ въ зданіи, дѣйствуютъ благотворно на все существо Станкевича, но онъ замѣчаетъ, что древніе слишкомъ рано успокоились, удовлетворились преждевременно, и потому не надобно хотѣть постоянно, долго, исключительно наслаждаться ими; современныя требованія тотчасъ обратятъ умъ на другое и нарушатъ гармонію наслажденія (25-го марта, 1840). Аполлонъ Бельведерскій привелъ Станкевича въ восторгъ: по описанію его видно, что нашъ путешественникъ уразумѣвалъ превосходный греческій типъ, который свѣтился въ этой позднѣйшей копіи. Когда впоследствии говорили ему, что статуя не носитъ на себѣ признаковъ греческаго рѣзца, что, вѣроятно, вышла она изъ римскихъ мастерскихъ временъ Адріана и проч., Станкевичъ, словно влюбленный въ первоначальный типъ статуи, просто замѣчалъ: «это для меня ничего, я упрямы и имѣю свои понятія объ этомъ». Съ такою же откровенностію говоритъ онъ при видѣ *Моисея* Микель-Анджело, что художникъ понималъ въ представленіи божественнаго одно только свойство—силу. Кисть Гвидо-Рени пришлась Станкевичу по сердцу, и онъ прекрасно опредѣляетъ этого художника словами, вызванными наблюденіемъ какой-то головки: «здѣсь уже нѣтъ тѣла—одна душа и музыка.» Станкевичъ осуществляетъ въ Римѣ намѣреніе довѣрять самому себѣ принятое имъ съ первыхъ шаговъ по улицамъ города: «Всякій человекъ *живетъ* и долженъ быть снисходителенъ къ своей индивидуальности, вѣрить ей—не то, она еще болѣе будетъ обманывать его!» И мы убѣждены, что при болѣе долгой жизни, при возможности дальнѣйшаго обсужденія впечатлѣній, на одномъ этомъ основаніи родились бы самобытныя, оригинальныя замѣтки объ искусствѣ, которыя произвели бы то же самое дѣйствіе

на читателей, какое производили нѣкоторые проблески ихъ на весь кругъ его знакомыхъ!

Нельзя забыть при этомъ, что, отдаваясь самому себѣ, Станкевичъ опирался на одну изъ самыхъ превосходныхъ личностей, которая достигала тогда окончательнаго своего развитія. Юморъ Станкевича улегся и приобрѣлъ свѣтлое выраженіе, вмѣстѣ съ граціей въ формѣ и легкимъ оттѣнкомъ задумчивости. То же самое можно сказать почти о всѣхъ другихъ его качествахъ. Въ Римѣ, наприимѣръ, происходили иногда споры объ искусствѣ; особенно былъ одинъ о значеніи *преданія* въ живописи. Станкевичъ допускалъ участіе преданія, какъ атрибута, съ которымъ уже свыкло наше представленіе нѣкоторыхъ лицъ, но отвергалъ его, когда оно становилось на мѣстѣ живого пониманія явленій и характеровъ. Онъ видѣлъ въ немъ тогда или матеріализацію искусства, или уничтоженіе его въ неясныхъ стремленіяхъ, чуждыхъ всякой формѣ. По этому предмету высказано было имъ нѣсколько превосходныхъ мыслей въ письмѣ отъ 25-го марта, да вопросъ этотъ былъ, вѣроятно, и первымъ поводомъ къ статьѣ объ искусствѣ, о которой мы упоминали. Но какъ былъ веденъ самый споръ? Никто не возражалъ и не спорилъ благороднѣе, гуманнѣе, прибавимъ — великодушнѣе Станкевича. Въ столкновеніяхъ мнѣній и въ способѣ доставлять побѣду своимъ убѣжденіямъ обыкновенно открывается грубая или свѣтлая природа человека. У Станкевича не было и признака хитрой изворотливости мысли, желанія захватить другого врасплохъ, жажды поразить и унижить противника — всѣхъ этихъ темныхъ качествъ, дѣлающихъ изъ каждаго спора какую-то печальную арену, гдѣ сталкиваются на глазахъ вашихъ черныя страсти и побужденія, безобразно замѣшанные въ самый вопросъ. Онъ принималъ мнѣніе противника всегда съ лучшей, выгоднѣйшей стороны его, и не могъ представить себѣ возможности обойти его сзади или подкрасться къ нему тайкомъ. Кромѣ споровъ объ искусствѣ, были еще тогда пренія и о философіи, особенно съ однимъ изъ русскихъ профессоровъ словесности, обѣзжавшихъ Италію. Какъ онъ, такъ и другіе оппоненты Станкевича, даже самые упорные, отдавали справедливость его уваженію къ дѣльному спору, которое они называли снисходительностію. «Я, въ самомъ дѣлѣ, говоритъ Станкевичъ, взялъ за правило самообладаніе въ разговорахъ такого рода, и оно гораздо выгоднѣе и для меня и для чести науки, можетъ быть... Оно оковываетъ порывы самолюбія въ другомъ или заставляетъ его обдумать мнѣнія, возникшія *par dépit*.» Пренія о философіи, между прочимъ, побудили Станкевича къ составленію, можетъ-быть, послѣднихъ его замѣтокъ о наукѣ, которую защищалъ онъ всегда съ жаромъ и съ успѣхомъ

искренняго убѣжденія. Мы не можемъ выписать ихъ сплошн, во-первыхъ, по отрывочности ихъ, требующей довольно обширныхъ объясненій, не совѣсть умѣстныхъ въ нашею очеркъ; а во-вторыхъ, по глубокому отвлеченному характеру ихъ, къ которому читающая публика наша весьма мало расположена. Скажемъ только, что въ этомъ послѣднемъ трудѣ Станкевичъ имѣлъ въ виду исторію философіи Рейнгольда, обвинившую впервые Гегеля въ скептицизмъ: обвиненіе, принятое съ ея голоса и многими людьми, незнающими съ системами берлинскаго философа. Мы только приведемъ окончаніе статьи. Предварительно Станкевичъ замѣтилъ, что у Гегеля нѣтъ ни предложеній, ни доказательствъ, и все порождается передъ глазами мыслителя, исключая «Духа», который не подверженъ этому закону. Начавъ чувственнымъ бытіемъ, Гегель, по словамъ Станкевича, приводитъ его къ «Духу»; начавъ уединенною мыслию, Гегель приводитъ ее къ «Духу»; начавъ природой, Гегель приводитъ ее къ человѣку, а человѣку указываетъ истину въ «Духѣ». Идея, по объясненію Станкевича, есть то блаженство, гдѣ человѣкъ наслаждается осуществленіемъ въ себѣ воли Высшаго Духа. Затѣмъ Станкевичъ идетъ далѣе. Онъ снимаетъ весь логическій процессъ, предшествующій появленію идеи, называя его не самою истинною, а только приготовленіемъ къ ней, и остается съ послѣднимъ результатомъ науки — идеей. Приводитъ затѣмъ выписку изъ трактата, для показанія, что скрывалось въ этой идее для самого Станкевича. «Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, въ ходѣ науки умъ постепенно очищается отъ чувственной коры. Онъ прозрѣваетъ. Отдѣльныя мертвыя существованія постепенно сдвигаются съ мѣстъ своихъ, чтобъ исчезнуть въ общемъ, веселомъ хороводѣ жизни. Туманъ рѣдѣетъ, ночные призраки бѣгутъ — и вдругъ *полный свѣтъ любви* наливается на созданіе и довершаетъ дѣло преображенія. Вотъ жизнь, говоритъ философъ, понятая умомъ, которая сначала являлась нашему глазу въ грубой непосредственности. Хорошо. Не забьтса же болѣе объ этихъ призракахъ, которые прогнало солнце <sup>1)</sup>. Это не истина, не абсолютное — и твой трудъ былъ только ходъ къ абсолютному. Теперь ты въ немъ забудь прошедшее. Разверни намъ новую жизнь. Подъ лучами этого солнца построй намъ міръ, проникнутый этою любовью!

« — Но здѣсь кончается *наука*.

«Да. Философія есть ходъ къ абсолютному. Результатъ ея есть *жизнь идеи* въ самой себѣ. Наука кончилась. Далѣе нельзя строить науки и начинается постройка *жизни*...»

Къ этой-то духовно-разумной постройкѣ жизни для себя, кото-

<sup>1)</sup> То-есть о логическихъ отвлеченіяхъ, предшествовавшихъ послѣднему слову науки.

ва была бы практическою повѣркой самаго ученія, и приступалъ споръ Станкевичъ; но смерть застала его на первыхъ шагахъ къ дѣлу.

Смертельный недугъ, который Станкевичъ носилъ въ груди, позволялъ ему даже устроить внутренній міръ свой вполне подъ-ладъ къ тому міру классическихъ чудесъ, тишины и величаваго спокойствія, его окружавшаго. Вліяніе этого міра чувствовалось, но Станкевичъ хотѣлъ родства съ нимъ. «Кромѣ переменчивой погоды, говорить онъ, которая мѣшаетъ покойно и въ порядкѣ видѣть сокровища Рима, меня стѣсняетъ короткій срокъ моего пребыванія въ Римѣ: я не могу хорошенько расположиться, не могу устроить своихъ занятій такъ, чтобъ они сообразны были и съ вѣчною, главною потребностію духа, и съ мѣстностію. Это мѣшаетъ найти центръ, изъ котораго весело и спокойно можно смотрѣть на весь міръ... но дѣлать нечего. Распорядиться такимъ образомъ не совсѣмъ зависитъ отъ моей воли. Этого стѣсненія требуетъ мое здоровье и другія причины...»

Римъ въ его время носилъ особенный характеръ и какъ будто юзавъ былъ для того, чтобъ образовать душу художника или философа. Онъ походилъ на академію, разросшуюся въ большой городъ. У великолѣпныхъ воротъ его зашумѣлъ весь шумъ Европы, и чужеземецъ невольно обращался или къ прошедшему, которое встрѣчало его на каждомъ шагу, или подъ тѣнью его сосредоточивался въ себѣ самомъ, въ собственной мысли. Современная жизнь показывалась въ тогдашнемъ Римѣ одною стороною своей — стороною, обращенною къ искусству. По улицамъ его ходили великолѣпныя процессіи, окрестности его безпрестанно наполнялись шумомъ тѣхъ религіозно-художественныхъ торжествъ, въ которыхъ народъ выказываетъ такъ могущественно свою изобрѣтательность и врожденное чувство изящнаго. Эти проявленія народнаго творчества, вмѣстѣ съ отсутствіемъ пустой роскоши, бѣготни за новостями и съ чертами врожденной веселости, счастливо соединенной въ національномъ характерѣ съ какою-то степенностію, дѣлали изъ обиходной жизни Рима нѣчто весьма не похожее на жизнь въ другихъ городахъ. Одно отсутствіе матеріальныхъ стремленій и горделивое довольство занимъ собой cadaго его гражданина заставили нѣкоторыхъ мыслителей предрекать великую будущность новому Риму. Затѣмъ, если въ оградѣ Рима скрывались и словно пропадали для всего свѣта многія личности, прошумѣвшія въ Европѣ, то не менѣе было и такихъ, которыя въ немъ искали необходимаго приготовленія къ подвигамъ жизни и къ дѣятельности. Въ развитіи каждой серьезной мысли есть минуты, когда она требуетъ нѣкотораго молчанія и нѣ-

которой степени уединенія, подъ прикрытіемъ которыхъ и созрѣваетъ окончательно. Мѣсто, гдѣ совершается процессъ этотъ, разумѣется, значитъ мало, но надобно сказать, что тогда во всей Европѣ не было города способнѣе Рима собрать всѣ нравственныя силы чловѣка въ одинъ центръ и, такъ сказать, въ одну массу. Именно то и происходило со Станкевичемъ. Развитіе его достигало конца, и мудрое, симпатическое, но спокойное созерцаніе міра все болѣе и болѣе росло и укрѣплялось въ немъ. Каждому извѣстно, что достиженіе извѣстной нравственной высоты есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и право на обладаніе всѣмъ, что лежитъ подъ нею; другими словами, полнота развитія скоро усваиваетъ себѣ и тѣ явленія, которыми чловѣкъ никогда не занимался, или на которыя бросилъ только бѣглый, поверхностный взглядъ. Незнакомство съ предметомъ, даже ошибка въ его оцѣнкѣ—тутъ дѣло временное и случайное. Стоитъ только чловѣку ближе поднести предметъ къ умственнымъ очамъ своимъ, и предметъ легко вводится въ ту богатую сокровищницу мысли, гдѣ каждая изъ нихъ занимаетъ свое определенное мѣсто. Вотъ почему нужды нѣтъ, если, занимаясь преимущественно философскимъ представленіемъ жизни, Станкевичъ выпустилъ изъ виду ту или другую подробность современнаго быта, не оцѣнилъ по достоинству той или другой практической его работы, не угадалъ въ какомъ-либо писателѣ, какъ напримѣръ въ Жоржъ-Сандѣ, существеннаго качества его—борьбы съ мертвыми формами жизни. Все это былъ только недосмотръ; все это, прибавимъ, ждало только минуты внимательнаго взгляда, чтобъ получить признаніе своихъ существенныхъ качествъ. При полнотѣ развитія не можетъ быть затворенныхъ дверей ни для какого явленія, носящаго признаки нравственныхъ стремленій; не долго также остаются отверженцами не понятія или еще не изслѣдованныя начинанія людей, и скоро изъ блуждающихъ, осиротѣлыхъ существъ они поступаютъ въ широкую область духа, обращаются въ органическіе члены нашего собственнаго сознанія и дѣйствуютъ въ немъ наравнѣ со всѣми другими, расширяя все болѣе и болѣе кругъ его. Такъ было бы и со Станкевичемъ, потому что полнота духа, какой онъ достигъ въ Римѣ, дѣлала его способнымъ къ богатому гостепріимству идей, въ чемъ преимущественно и состоитъ эта полнота; что въ настоящемъ случаѣ мы не предаемся фантазіи и не пишемъ идеальнаго лица, можемъ намъ служить доказательствомъ покойный Грановскій, принадлежавшій къ школѣ Станкевича. Въ силу развитаго чловѣческаго, общественнаго и историческаго смысла, какое явленіе въ духовномъ мірѣ ускользало отъ его сочувственнаго вниманія и къ какой раз-



ниой сторонѣ человѣческой жизни вообще былъ онъ глухъ или несправедливъ когда либо?...

Между тѣмъ, Станкевичъ видимо и поспѣшно близился, по выраженію поэта, къ своему началу. Болѣзнь его шла не по днямъ, а по часамъ. Уже не было опредѣленныхъ сроковъ для недуга: онъ вставалъ его во всякое время. Разъ Станкевичъ поднимался въ четвертый этажъ дома, гдѣ жили X\*, и читалъ своимъ обыкновеннымъ тихимъ голосомъ стихотвореніе Пушкина: «Снова тучи надо мною.» Пріятель, сопровождавшій его, слѣдовалъ за нимъ и видѣлъ, какъ на половинѣ лѣстницы онъ вдругъ остановился, кашлянулъ и поднесъ платокъ къ губамъ: на платкѣ осталась кровь. Свидѣтель этой сцены невольно содрогнулся, а Станкевичъ только улыбнулся и дочелъ стихотвореніе до конца. Множество системъ и докторовъ было перепробовано, и не принесло пользы: можетъ-быть это даже ускорило ходъ неизбежной развязки. Замѣчательно, что Станкевичъ вообще никогда не говорилъ о своей болѣзни, и если упоминалъ о ней, то не иначе какъ въ шуточномъ тонѣ. Отсутствующимъ друзьямъ онъ даетъ во всѣхъ видахъ убѣдительныя завѣренія въ возможность если не скорого, то радикальнаго своего выздоровленія; роднымъ сообщаетъ одни только намеки на свое физическое состояніе. Опасеніе возмутить чью-либо душу ѣдкимъ чувствомъ — превозмогаетъ ту нужду въ откровенности, которая такъ свойственна больнымъ вообще. Самъ онъ не могъ не видѣть близости смерти, но какъ-то не хотеть вѣрить ей: противорѣчіе, часто встрѣчающееся у молодыхъ людей, осужденныхъ на преждевременный конецъ. Притомъ же въ смерти боялся онъ прекращенія мысли... Ни на минуту не даетъ онъ побѣды матеріальному факту надъ собой: по свидѣтельству очевидцевъ, никогда не падалъ онъ духомъ и всякій новый признакъ физическаго разрушенія встрѣчалъ съ новою надеждой сбросить его и высвободить себя изъ-подъ гнета слѣпота случая. Станкевичъ въ концѣ апрѣля собирается въ Неаполь для свиданія съ В. А. Д\*\*, которую отыскивалъ съ самаго выѣзда изъ Берлина. Онъ думалъ застать ее еще въ Базелѣ, но разѣхался съ нею. На В. А. Д\*\* перенесъ онъ остатокъ той привязанности, которую питалъ нѣкогда къ семейству, такъ много участвовавшему въ событіяхъ его внутренней жизни. Какъ нарочно всѣ знакомые Станкевича, начиная съ X\*\*, выѣхали тогда въ Неаполь, а самъ Станкевичъ посланъ былъ докторомъ въ Альбано, одно изъ очаровательныхъ мѣстъ въ окрестностяхъ Рима, такъ богатаго ими. Но прелесть этого уголка, оканчивающаго пустынную Римскую Кампанью, уже на половину была потеряна Станкевичемъ. Онъ бьется на страдальческомъ своемъ ложѣ, томимый и желаніемъ послѣдовать за своими знако-

мыми въ Неаполь, и невозможностію привести въ исполненіе планъ свой, онъ уже не въ состояніи писать: ѣдкая боль въ боку одолеваетъ его, и каждый день, на нѣсколько минутъ, онъ горитъ, какъ въ огнѣ, по собственнымъ словамъ его. Тогда-то, получивъ извѣстіе отъ Мар—ва объ опасномъ положеніи Станкевича, В. А. Д\*\* сама покидаетъ Неаполь и неожиданно является въ Римъ (въ концѣ мая 1840).

Радостна для Станкевича была эта встрѣча и эта послѣдняя жертва дружбы! Онъ поднимается съ постели и вмѣстѣ ѣдутъ они изъ Альбано въ Римъ. Тамъ Станкевичъ бросаетъ прощальный, предсмертный взглядъ на вѣчный городъ и въ трогательныхъ словахъ благодаритъ небо, еще сохранившее для него это наслажденіе: «Вчера я третьяго дня взглянули на Петра, Пантеонъ и Колизей,—и я благословилъ небо, которое хочетъ, чтобъ образъ Рима дружески покоился въ душѣ моей... Колизей заросъ еще болѣе; зелень на немъ очаровательная, а небо, которое стало еще теплѣе, украсило его такъ, что трудно выйти оттуда; я былъ радъ видѣть все это вмѣстѣ съ Д\*\*. Все дѣйствуетъ на нее прямо, просто и живо...» (письмо 21 мая). Цѣлый мѣсяцъ живетъ онъ еще въ Римѣ. Надежда начинаетъ снова оживать въ его сердцѣ, успокоеніемъ дружбой и тѣмъ разборчивымъ вниманіемъ, на какое способенъ только женщина. Планы будущихъ работъ тѣснятся въ головѣ его; нѣсколько статей уже обдуманы и совсѣмъ готовы къ изложенію, но надо сказать, что уже издавна любимую мыслію Станкевича было написать для русской публики простую, добросовѣстную «исторію философіи». Мысль эта уже не покидала его въ Римѣ, и ей посвящены были всѣ минуты уединенія и спокойствія. Она и теперь возстала вмѣстѣ съ лучомъ надежды, живительнымъ присутствіемъ дружественнаго существа и съ прощальнымъ напутствіемъ чуждаго города, покидаемаго навсегда... Станкевичъ не потерялъ въ болѣзни своей ни одного изъ нравственныхъ основаній, на которыя опиралось его существованіе.

Затѣмъ, въ началѣ іюня онъ покидаетъ Римъ, сопровождаемый В. А. Д\*\* и однимъ изъ пріятелей, А. П. Ефремовымъ, прибывшимъ вмѣстѣ съ нею. Они медленно подвигались къ Флоренціи. Послѣ многихъ измѣненій, Станкевичъ окончательно остановился на одномъ планѣ жизни—все лѣто провести у Комскаго озера, а зиму въ Ниццѣ. Во Флоренціи онъ вспоминаетъ о Вердерѣ, берлинскомъ своемъ другѣ, и какъ будто движимый какою-то горькимъ предчувствіемъ, спѣшитъ расчитаться съ нимъ—заявить ему тотъ долгъ любви и благодарности, который наложилъ онъ на него въ двухлѣтнее знакомство: «Скажите ему мое почтеніе, пишетъ онъ къ пріятелю,

жите, что его дружба будетъ мнѣ вѣчно свята и дорога, и что, что во мнѣ есть порядочнаго, неразрывно съ нею связано.» Благодарность къ людямъ, способствовавшимъ умственному или нравственному его развитію, была у Станкевича особеннымъ родомъ душевной потребности, обращенной точно также на учителя Острогжскаго гимназіи, какъ и на профессора Берлинскаго университета. Тотъ же знакомый, спустя малое время, исполнялъ другое, печальное порученіе Вердеру—извѣщать его запиской о смерти Станкевича, не будучи состояніи лично передать извѣстія. Когда потомъ встрѣтился онъ Вердеромъ и, вспоминая о покойникѣ, сказалъ ему: «Въ немъ ерла и часть васъ самихъ», то эти слова едва не заставили публично зарыдать профессора. Вердеръ написалъ въ память бывшаго его друга стихотвореніе *der Tod*, весьма замѣчательное, какъ юрять слышавшіе его, но, къ сожалѣнію, намъ неизвѣстное.

Во Флоренціи Станкевичъ нашелъ Е. П. Фролову тоже въ дурномъ состояніи: она уѣзжала въ Неаполь искать облегченія подъ невозмутимо-яснымъ небомъ. Простившись съ ней и припомнивъ минуты свѣтлаго состоянія духа, какими надѣлило его ея обитие и ея расположеніе, Станкевичъ выѣхалъ изъ Флоренціи въ Ланъ, по дорогѣ къ озеру Комо. Не доѣзжая Милана, въ сорока ляхъ отъ Генуи, въ городѣ Нови, прославленномъ побѣдой Суэова, скончался этотъ воинъ другого рода, по справедливому заіанію одного изъ знакомыхъ. Случилось это въ ночь съ 24-го 25-е іюня. Съ вечера онъ былъ еще веселъ, рано легъ спать, бѣ быть готовымъ къ отъѣзду на завтра; но когда А. П. Ефреъ, утромъ 25-го числа, пришелъ будить его, онъ уже спалъ ннымъ сномъ,—и неизмѣнная, благородная улыбка еще играла на ѣ его. Тѣло Станкевича перевезли въ Россію къ роднымъ, по-кеннымъ такимъ быстрымъ исходомъ болѣзни, о которой они имѣли ма смутное понятіе, и отъ Станкевича остался на землѣ только ятникъ въ селѣ Удерева—мѣстѣ еще недавняго рожденія его.

Одному изъ его знакомыхъ мы обязаны слѣдующимъ описаніемъ ужности Станкевича. «Станкевичъ былъ болѣе, нежели средняго та, очень хорошо сложенъ; по сложенію нельзя было предполаъ въ немъ расположенія къ чахоткѣ. У него были прекрасныне волосы, покатыя лобъ, небольшіе, каріе глаза; взоръ его гъ очень ласковъ и веселъ, носъ тонкій, съ горбиной, красивый, подвижными ноздрями; губы тоже довольно тонкія, съ рѣзко аченными углами: когда онъ улыбался, онѣ слегка кривились, моъ въ мило. Вообще улыбка его была чрезвычайно пріятлива и родушна, хоть и насѣшлива; руки у него были довольно больъ, узловатыя, какъ у старика. Во всемъ его существѣ, въ дви-

женіяхъ была какая-то грація и безсознательное distinction; точно онъ былъ царскій сынъ, не знавшій о своемъ происхожденіи. Одѣвался онъ просто и носилъ обыкновенно пальто...»

Вотъ что писалъ Т. Н. Грановскій, между прочимъ, къ Я. М. Невѣрову, когда вѣсть о кончинѣ общаго ихъ друга пришла въ Россію: «Я еще не опомнился отъ перваго удара. Настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не вѣрю въ возможность потери—только иногда сжимается сердце.

«Ты потерялъ столько же, сколько и я. Тебѣ нечего говорить о немъ. Онъ унесъ съ собою что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ: его вліяніе на меня было безконечно и благотворно. Этого, можетъ-быть, кромѣ меня, никто не знаетъ. Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается вѣрить.

«Тѣло его привезено въ Россію. Дай Богъ! Мнѣ бы не хотѣлось, чтобъ онъ спалъ такъ далеко отъ насъ».

Что же породило всѣ эти глубокія, неизмѣнныя привязанности? Въ чемъ же состояла эта сила привлекательности, которою надѣленъ былъ Станкевичъ въ такой степени? Отчего, къ кому ни обращались мы за свѣдѣніями о немъ, постоянно встрѣчали одинъ восторженный отзывъ, одно и то же выраженіе любви и сочувствія? Такое общее единодушіе въ чувствахъ сопровождаетъ человѣка только тогда, когда онъ обладаетъ способностію дѣйствовать на душу, потребности которой одинаковы у всѣхъ людей. Причина повсемѣстнаго вліянія Станкевича заключается не въ талантахъ, которыхъ онъ проявить не успѣлъ, не въ познаніяхъ, хотя объемъ ихъ былъ весьма уже значителенъ, не въ умѣ, хотя глубина и проникаемость его были охотно признаваемы. Качества эти, дѣйствительно, могутъ привязать къ себѣ человѣка, но рѣдко, способны оковать его воображеніе и подчинить его совѣсть. Причина полнаго, неотразимаго вліянія Станкевича заключалась въ возвышенной его природѣ, въ способности нисколько не думать о себѣ и безъ малѣйшаго признака хвастовства или гордости невольно увлекать всѣхъ за собой въ область идеала. Составитель этого біографическаго очерка не имѣлъ счастья знать лично Станкевича; поэтому въ статьѣ своей долженъ былъ ограничиться одними намеками на ту силу обаянія, которая дѣйствовала у него постоянно. Станкевичъ не дожилъ еще до многого. Прежде всего онъ не дожилъ до заявленія своихъ началъ въ обществѣ, а стало-быть и до встрѣчи съ тупою ограниченностію, со страстію объяснять мелкими причинами всѣ духовныя стремленія человѣка, съ невѣжественнымъ скептицизмомъ и подозрительностію. Мы не знаемъ, какъ эта неизбежная, житейская борьба,

изжившая и подорвавшая силы стольких людей, отразилась бы на его душѣ. Не слѣдуетъ также выпускать изъ вида, что множество литературныхъ вопросовъ поднято было гораздо позднѣе. Во времена Станкевича они были еще въ зародышѣ и являлись преимущественно въ видѣ понятій, отвлеченныхъ тѣмъ, тезисовъ, на которыхъ изощрялась діалектическая способность, но которые ни къ чему не обязывали и не возлагали на человѣка никакой нравственной отвѣтственности. Мы не можемъ сказать, въ какомъ отношеніи находился бы Станкевичъ ко всѣмъ предметамъ нынѣшняго умственного и научнаго движенія, но имѣемъ право думать, что широта пониманія—слѣдствія того строгаго предуготовительнаго труда, которому онъ подвергъ себя—не осталась бы праздною и бесполезною въ виду ихъ. Спѣшимъ прибавить, что намъ нѣтъ и никакой нужды прибѣгать къ догадкамъ, потому что и безъ нихъ мы имѣемъ въ Станкевичѣ типическое лицо, превосходно выражающее *молодость* того самаго поколѣнія, которое подняло всѣ вопросы, занимающіе нынѣ литературу и науку, которое по мѣрѣ возможности трудилось надъ ними и теперь начинаетъ сходить понемногу съ поприща, уступая мѣсто другимъ дѣятелямъ. Въ Станкевичѣ отразилась *юность* одной эпохи нашего развитія: онъ какъ-будто собралъ и совокупилъ въ себѣ лучшія нравственныя черты, благороднѣйшія стремленія и надежды своихъ товарищей. Въ немъ сошлось, какъ въ центрѣ, все прекрасное, которое было разсыяно въ толпѣ окружавшихъ его друзей. Четверть столѣтія протекла уже съ тѣхъ поръ, какъ одно поколѣніе посреди нашего общества начало сознавать важность строгаго, добросовѣстнаго служенія наукѣ, необходимость нравственныхъ требованій отъ себя и отъ другихъ, общественное значеніе чистоты дѣйствій и побужденій. Въ преддверіи этой замѣчательной четверти столѣтія является свѣтлый образъ Станкевича, какъ представитель всего направленія. Судьба хотѣла, чтобъ атрибутъ молодости былъ неразлученъ съ этимъ образомъ: передъ концомъ молодости она свела Станкевича въ могилу. Воспоминаніямъ друзей и воображенію читателей онъ уже иначе не можетъ представиться, какъ типомъ благороднаго, возвышеннаго молодого человѣка. Такимъ, вѣроятно, найдеть его и будущая, хорошая исторія русскаго образованія, да одна эта принадлежность нравственной его фizioноміи была первою побудительною причиною, какъ сказано въ началѣ нашего труда, къ составленію предлагаемаго біографическаго очерка, построеннаго, преимущественно, на основаніи его переписки съ друзьями, которая появилась вполнѣ, какъ было сказано, въ 1857 году.

11/11/11



1

1









PG  
332  
A67z  
187  
V.1

**Stanford University Libraries  
Stanford, California**

**Return this book on or before date due.**

MAR 19 1976  
JUL 15 1985  
OCT 14 1985

